

4

О. ГЕНРИ

О. ГЕНРИ



О.ГЕНРИ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



О.ГЕНРИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



ПРЕСТИЖ
К Н И Г А



РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА 2006

О.ГЕНРИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый



ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Сборник рассказов

КОЛОВРАЩЕНИЕ

Сборник рассказов

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Сборник рассказов

ПРЕСТИЖ
КНИГА



РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА 2006

УДК 882
ББК 84(4США)
О-36

О. Генри

О-36 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4: Деловые люди; Коловращение; Всего понемножку: Сборники рассказов/ Примеч. А. Старцева.— М.: Литература; Престиж книга; РИПОЛ классик, 2006.— 640 с.

ISBN 5-7905-3823-1 (т. 4)

ISBN 5-7905-3771-5

О. Генри (1862—1910) — псевдоним Вильяма Сиднея Портера, выдающегося американского новеллиста, прославившегося блестящими юмористическими рассказами. За свою недолгую творческую жизнь он написал около 280 рассказов, не считая фельетонов и различных маленьких произведений.

В настоящем Собрании впервые в полном объеме публикуются все 13 сборников рассказов О. Генри, а также произведения, не включенные автором в основные сборники. Свыше 40 рассказов переведены на русский язык впервые.

В четвертый том Собрания сочинений вошли сборники рассказов «Деловые люди», «Коловращение», «Всего понемножку».

УДК 882
ББК 84(4США)

© ООО «РИЦ Литература»,
составление, переводы,
оформление, 2006

© ООО «Престиж книга», 2006

© ООО «ИД «РИПОЛ
классик», 2006

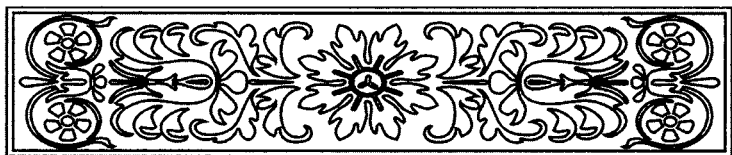
ISBN 5-7905-3823-1 (т. 4)

ISBN 5-7905-3771-5



ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ





ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Вы, конечно, сами все знаете про театры и про актеров. Вы задевали живых актеров локтями на улицах, а они задевали вас за живое на сцене. Вы читали критику на них в газетах и видели в журналах остроумные шутки насчет хористок и длинногровых трагиков. Если свести воедино ваши представления о таинственной закулисной стране, то получится примерно следующее:

Премьерши имеют по пять мужей и массу драгоценностей, фальшивых, конечно. А сложение у них ничуть не хуже вашего, мадам, просто они пользуются накладками. Хористки — это сплошь пергидроль, поклонники и «паккарды». С гастролей все актеры возвращаются по шпалам на своих двоих. Добродетельные актрисы в Нью-Йорке требуют, чтобы на роли комических старух брали их мамаш, а на гастролях — хотя бы двоюродных тетюшек. Настоящее имя Кэрл Беллью — Бойл О'Келли. Джон Мак-Куллок свои разоблачения, вот что записаны на фонограф, попросту украл у Эллен Терри, перекупив по дешевке ее мемуары. Джо Уэббер куда смешнее, чем И. Г. Содери; а Генри Миллер явно стареет и уже не тот, что был раньше. Ночью после спектакля все, кто работает в театре, пьют шампанское и заедают омарами, и так до утра или даже до полудня. Да чего там, все равно кинематограф сделал из них всех котлету.

Но в действительности мало кто из нас знает истинную жизнь служителей Мельпомены. Знали бы, так, наверно, валили бы в актеры еще гуще, чем валят сейчас. Мы поглядываем на них скептически и свысока, хотя потом приходим домой и у себя перед зеркалом пробуем разные жесты и позы.

В последнее время появилась новая точка зрения на актеров. Что будто бы в театрах работают не гастролирующие вакханки и охотники за брильянтами, а самые что ни на есть обычные деловые люди, ученые и аскеты, обреме-



ненные семьями и собственными библиотеками, что они владеют недвижимостью и ведут дела так же здраво и осмотрительно, как любой из нас, благонамеренных граждан, пожизненно привязанных к колесу квартирной платы, растущих цен на уголь, газ и лед и муниципальных сборов.


Которая из этих двух теорий верна, здесь не место гадать. Я просто предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о двух членах эстрадной труппы; а в подтверждение его правдивости могу провести вас через актерский подъезд в старый театр Китора и показать на двери темное пятно от бесчисленных толчков ладонью, когда недосуг поворачивать чугунную витую ручку, — у той двери я последний раз видел Черри, она ласточкой впорхнула к себе в уборную, как всегда рассчитав время до минуты.

Эстрадный дуэт «Харт и Черри» был счастливой находкой. До этого Боб Харт четыре года разъезжал по восточным и западным штатам со своей смешанной программой — в нее входил монолог, три жанровых песенки с молниеносным переодеванием, две пародии на знаменитых пародистов и один характерный танец, не раз удостоенный одобрительного взгляда контрабасиста в оркестре — для настоящего актера нет выше похвалы.

Дело в том, что актеру приятнее всего на свете видеть, как кто-нибудь из его собратьев позорит жалкими ужимками актерское звание. Чтобы доставить себе такое удовольствие, он может покинуть теплое местечко на Бродвее и отправиться за тридевять земель — присутствовать при заклании какого-нибудь своего менее даровитого коллеги. Но случается — хотя и очень редко, — что тот, кто приходит, чтобы поглумиться, остается смотреть и даже потрудит свои руки звучным соприкосновением ладоней.

Однажды вечером Боб Харт всунул свое серьезное и всем в театральном мире известное лицо в окошечко кассы конкурирующей труппы и получил контрамарку в партер.

Вспыхивали и гасли названия номеров программы, одно за другим погружаясь в небытие и все глубже погружая Харта в мрачное уныние. Другие зрители силли и корчились от смеха, свистели и хлопали — Боб Харт, «Бездна Обаяния и На Все Руки Мастер», сидел с постной физиономией и далеко держал ладонь от ладони, словно мальчик, помогающий бабушке смотреть шерсть в клубок.



Но вот начался восьмой номер программы, и «Бездна Обаяния» встрепенулся. Счастливая восьмерка возвещала появление Виноны Черри, «Исполнительницы Характерных Песенок с Перевоплощениями». Вся-то Черри была — дунь и нет ее, но свой номер она умела подать честь по чести. Сначала перед вами появлялась восхитительно юная деревенская простушечка в ситцевом передничке и с корзинкой бутафорских ромашек и пела о том, что у них в старой бревенчатой школе можно научиться не одним только столбикам и глаголам, но и кое-чему другому, особенно «когда учитель в наказание на вечер в классе оставлял». Потом, взмахнув ситцевыми оборками, она исчезала и быстрее, чем в мгновение ока, появлялась снова — уже задорной парижанкой. Ибо Искусству ничего не стоит сблизить нашу добрую красную мельницу и парижскую Moulin Rouge¹. И тогда...

Но дальше вы все сами знаете. И Боб Харт знал. Просто он увидел и нечто другое. В лице Черри он увидел единственную актрису, в точности подходящую, по его мнению, для роли Эллен Граймс в скетче, который он написал и хранил под крышкой своего чемодана. У Боба Харта, как у всякого нормального актера, бакалейщика, газетчика, профессора, маклера или фермера, была припрятана пьеса собственного сочинения. Их хранят под крышкой чемодана или в дупле дерева, в письменном столе или в стоге сена, на книжной полке или во внутреннем кармане, в сейфах, шкапулках и ящиках для угля, пока не появится какой-нибудь новый мистер Фроман².

Но скетч Боба Харта был не из тех, которым суждено заплесневеть без применения. Назывался он «Кот издох — мышам раздолье». Боб написал его и спрятал до того времени, когда ему подвернется партнерша на роль Эллен Граймс, полностью отвечающая его авторскому замыслу. И вот теперь он увидел живую Эллен: у нее была и юность, и бойкость, и наивность, и огонек, и самая безупречная актерская техника — даже на его придирчивый вкус.

После ее выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Черри. Назавтра в пять часов ве-

¹ «Красная мельница» (*фр.*) — знаменитое кабаре.

² Чарльз и Дэниел Фроманы — известные в конце XIX в. американские антрепренеры и режиссеры.



вчера он вошел в старый дом в западном конце одной из Сороковых улиц и послал на верхний этаж свою карточку.

При дневном освещении, в мирской блузке с длинным рукавом и простой шерстяной юбке, с подобранными волосами и скромным выражением лица, она хоть сейчас могла бы выступить на сцене в роли Пруденс Уайз, дочки проповедника и героини великой еще не написанной и не озаглавленной драмы из истории Новой Англии.

— Я знакома с вашей работой, мистер Харт, — сказала мисс Черри Вишенка, внимательно изучив его карточку. — По какому поводу вы хотели меня видеть?

— Я смотрел вас вчера на сцене, — ответил Харт. — У меня есть один скетч, я его написал и пока придерживаю. Там две роли; и мне кажется, вторая вам в самый раз подходит. Вот я и решил потолковать с вами об этом деле.

— Заходите в гостиную, — сказала мисс Черри. — Это меня интересует. Хотелось бы попробовать играть, а не выступать с номерами.

Боб Харт вытащил из кармана своих «Мышей» и прочитал ей.

— Пожалуйста, прочтите еще раз, — попросила мисс Черри.

Потом она предложила несколько поправок: ввести в пьесу вестника взамен разговора по телефону, оборвать диалог перед развязкой, когда герои борются за револьвер, и совершенно изменить все реплики Эллен в том месте, где ее одолевает ревность. Харт без возражений все принял. Она сразу увидела слабые места в его скетче. Ничего не скажешь, женская интуиция, именно этого ему и не хватало. К концу разговора Харт готов уже был ручаться всеми своими навыками, знаниями и накоплениями за четыре эстрадных года, что «Мыши» расцветут пышным круглогодичным цветом в саду гастрольных возможностей. Мисс Черри была не столь поспешна в выводах. Поморщив свой гладкий юный лоб, постучав карандашиком по своим ровным белым зубкам, она, наконец, изрекла последнее слово.

— Мистер Харт, — сказала она. — По-моему, ваш скетч должен иметь успех. Роль этой Граймс подходит мне, будто специально для меня писана. У меня бы она заиграла, как духовой оркестр Сорок четвертого кавалерийского полка на смотру. И вас я видела, знаю, как вы прекрасно управли-


тесь со второй ролью. Но дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваше теперешнее выступление?

— Двести, — ответил Харт.

— А я сто, — сказала Черри. — Обычная скидка для женщины. Но я на эту сумму живу и еще каждую неделю откладываю по несколько зелененьких про черный день. Работа в театре мне нравится; я ее люблю; но еще больше я люблю другое — деревенский домик, который я куплю себе когда-нибудь, а во дворе чтобы бегали рябые курочки-несушки и шесть уток. И позвольте вам сказать, мистер Харт, что у меня сугубо деловой подход. Если вы хотите, чтобы я сыграла роль в вашем скетче, я сыграю. И, по-моему, дело у нас пойдет. Но только я должна вас предупредить: никакой дури я не допущу. Ни о чем таком не может быть и речи. Я работаю в театре ради заработка, как другие девушки работают в конторах и магазинах. Хочу накопить денег на то время, когда мне уже не под силу окажутся теперешние трюки. В «Доме Старых Дам» или в «Убежище Для Непредусмотрительных Актрис» я жизнь кончать не намерена. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно безо всяких глупостей — я согласна. Какие в театре бывают компаньоны, мне известно, но только мы с вами должны во всем от них отличаться. Помните, я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте с желтым табачным пятном на том месте, где лизнул кассир. Считайте, что у меня такое хобби — накопить, пока лето, побольше теплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела; пью только некрепкий чай; в жизни не разговаривала с мужчиной у актерского подъезда и имею вклады в пяти сберегательных кассах.

— Мисс Черри, — проговорил Боб Харт своим красивым, серьезным голосом, — ваши условия мне подходят. Я и сам человек сугубо деловой. Во сне я всегда вижу домик из пяти комнат на северном берегу Лонг-Айленда, на кухне повара-японец стряпает устричный суп и утку по-токийски, а я на веранде качаюсь в гамаке и читаю «В джунглях Африки» Стэнли. И ни живой души вокруг. Вы никогда не интересовались Африкой, мисс Черри?

— Я — нет, — ответила Черри. — Свои деньги я намерена класть в банки. Там начисляют до четырех процентов на вклад. Я рассчитала, что даже при теперешнем жалованье



смогу через десять лет получать пятьдесят долларов в месяц одних процентов. А может, вложу часть капитала в какое-нибудь дело — дамскую парикмахерскую или шляпную мастерскую, — и тогда мой доход увеличится.

— Ну что ж, — сказал Харт. — Во всяком случае, взгляд у вас верный. Если бы все у нас откладывали деньги вместо того, чтобы пускать по ветру, каждый мало-мальски стоящий актер мог бы без опаски смотреть в будущее. Я рад, что у вас такой правильный подход, мисс Черри. Я его разделяю; и мне кажется, что этот скетч, когда мы его как следует отделаем, увеличит и ваши и мои доходы вдвое против теперешнего.

Дальнейшая судьба скетча «Кот издох — мышам раздолье» ничем не отличалась от судьбы всякого удачного драматургического произведения. Его сокращали, разбивали на сцены, переделывали, урезывали, переставляли реплики, снова делали как было, дописывали, вычеркивали, меняли название, восстанавливали прежнее, заменяли револьвер кинжалом, а потом опять кинжал револьвером — словом, подвергали всем существующим видам ужатия и доработки.

Репетировали в пустой гостиной пансиона, где жила Черри, отработывая действие строго по минутам, пока не добились, чтобы шипение старинных часов перед боем всегда раздавалось ровно на полсекунды раньше, чем щелчок незаряженного револьвера, который Эллен Граймс держала в руке, прогоняя захватывающую кульминационную сцену.

Да, это была захватывающая пьеса, и поставлена она была замечательно.

На сцене звучал настоящий выстрел из настоящего заряженного тридцатидвухкалиберного револьвера. Эллен Граймс, девушка с Дальнего Запада, в ловкости и отваге не уступающая Буффало Биллу, пламенно любит Фрэнка Десмонда, личного секретаря и будущего доверенного зятя своего отца. «Арапахо» Граймс, полумиллионер и король скотоводов, — живет на собственном ранчо, которое расположено, судя по деталям пейзажа, где-то не то в штате Невада, не то на Лонг-Айленде. Десмонд (в частной жизни мистер Боб Харт) носит краги и охотничье галифе и местом своего жительства называет город Нью-Йорк, так что непонятно, что же он делает в Неваде или там на Лонг-Айленде, и остается только догадываться, зачем королю скотоводов



понадобились на ранчо кожаные краги, да в них еще и секретарь.

Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как ни прикидывайся, всем нам по душе — этакая смесь «Сына Синей Бороды» с «Цимбелином» в русской постановке.

В «Мышах» было всего две с половиной роли. Харт и Черри, разумеется, исполняли первую и вторую; а половинка всегда доставалась рабочему сцены, который вбегал в смокинге и в панике и кричал, что дом окружили индейцы, а заодно, по приказанию директора, незаметно прикручивал газ в бугафорском камине.

Еще была в этом скетче вторая женская роль — столичной светской красавицы, которая приезжала погостить на ранчо, успев околдовать Джека Валентайна, еще когда он не разорился и был состоятельным клубменом в Нью-Йорке. Эта девица фигурировала на сцене только в виде фотографии — Джек держал ее портрет на каминной полке в их лонг-айлендской... то бишь невадской гостиной. И Эллен, понятно, мучилась ревностью.

А дальше начинались захватывающие события. Старый «Арапах» Граймс в одночасье умирает от грудной жабы — об этом нам театральным шепотом, так, что слышно в последнем ряду, сообщает осиротевшая Эллен, — и при его кончине присутствует только один человек: его секретарь. А известно, что в день смерти у него в библиотеке (это на ранчо!) оставалось 647 тысяч долларов, вырученных от продажи на Восток партии рогатого скота (вот откуда у нас такие цены на бифштексы!). Деньги исчезли. Джек Валентайн был единственным человеком, который находился при старом скотоводе, когда тот предположительно отдал концы.

— «Видит бог, я его люблю, но если это его рук дело...» — ну, вы понимаете. И дальше в достаточно нелестных тонах говорится о нью-йоркской красавице, которая, кстати сказать, так и не появляется на сцене — и можно ее понять, когда Театральное объединение замораживает цены на билеты и дело дошло уже до того, что платье вам на спине застегивает помощник режиссера, на костюмершу просто не хватает средств.

Однако погодите. Приближается развязка. Эллен Граймс, не в силах долгие владеть своим ковбойским темпераментом, совершенно теряет голову от ревности. Она убедилась, что ее Джек Валентайн не только коварен, но еще и расчет-



лив. Одним махом лишиться 647 тысяч долларов и возлюбленного в охотничьих галифе с галунами зигзагом, как температурная кривая у тифозного больного, — это какую хочешь благородную леди выведет из себя. Трепещите же.

Он и она стоят в библиотеке (на ранчо), где над книжными шкафами висят лосиные рога (ведь когда-то, если не ошибаюсь, на Лонг-Айленде в первобытных лесах водились лоси?). Это — начало конца. Я не знаю более интересного места в спектакле, разве что конец начала.

Эллен думает, что деньги взял Джек. Больше-то ведь некому было: директор все представление просидел у окошечка кассы; оркестранты со своих мест не вставали; а через актерский подъезд старый Джимми не пропустит ни живой души — до тех пор пока ему не предъявят в качестве гарантий благонадежности скайтерьера или автомобиль.

Окончательно, как мы сказали, потеряв голову, Эллен говорит Джеку Валентайну: «Грабитель и вор — и хуже того, похититель доверчивых сердец! Ты заслужил смерть!»

При этом она, сами понимаете, выхватывает свой верный револьвер.

— «Но я буду милосердна, — продолжает Эллен. — Ты останешься в живых, и это послужит тебе наказанием. Сейчас ты увидишь, с какой легкостью я могла бы обречь тебя смерти, которой ты заслуживаешь. Вот на камине ее портрет. Пулю, что должна была пробить твое подлое сердце, я всажу в ее прекрасное лицо».

Сказано — сделано. И никаких там холостых патронов, никаких погремущек за сценой. Эллен стреляет. Пуля — настоящая пуля — пробивает фотографию — попадает в скрытую пружину, и панель тайника в стене отодвигается, а там, взгляните-ка! те самые 647 тысяч, лежат как миленькие, ассигнации пачками, золото в мешках. С ума сойти. Ну, вы понимаете. Черри два месяца практиковалась с мишенью на крыше своего пансиона. Тут нужна большая меткость. В спектакле ей надо было попадать в медный кружочек диаметром всего три дюйма, да еще заклеенный обоями; надо было каждый раз остановиться точно на том же месте, и фотография должна была стоять точно в том же положении, и стрелять надо было каждый раз недрогнувшей, твердой рукой.

Конечно же, старый «Арапахо» просто припрятал денежки в укромном месте, и, конечно, Джек не взял себе ничего, кроме собственного жалованья (за что ему, конечно,

можно было бы пришить «присвоение денег при отягчающих обстоятельствах»; но это уже другой вопрос); и, конечно же, нью-йоркская красавица на самом деле обручена с владельцем строительной конторы в Бронксе; так что, естественно, Джек и Элен оказываются под занавес в двойном нельсоне — и все кончается ко всеобщему счастью.

Доведя скетч до совершенства, Харт и Черри дали пробный спектакль. Успех был сногшибательный. Они одержали одну из тех редких побед в искусстве, которые буквально затопляют зрительный зал сверху донизу. Галерка рыдала; оголенный партер плавал в волнах слез.

Театральные агенты ходили по пятам за Хартом и Черри и совали им на подпись бланки контрактов с непроставленными суммами. И вылилось это все в пятьсот долларов еженедельно.

После спектакля, проводив Черри до порога ее пансиона, Харт снял шляпу и пожелал ей спокойной ночи.

— Мистер Харт, — сказала она серьезно, — не зайдете ли на минутку в гостиную? Перед нами открылась возможность заработать приличные деньги. И наша задача теперь — как можно больше сократить расходы, чтобы не тратить сверх нужды ни цента.

— Согласен, — ответил Боб. — Дело есть дело. Вы свои деньги расписываете по банкам; а мне каждую ночь снится мой домик с поваром-японцем, и чтоб там больше ни живой души. Всякое соображение насчет того, как увеличить чистый доход, представляет для меня интерес.

— Зайдите же на минутку в гостиную, — еще серьезнее повторила Черри. — У меня к вам есть деловое предложение, как сократить расходы и помочь вам в осуществлении вашей мечты, а мне — моей. Сугубо деловое предложение.

Скетч «Кот издох — мышам раздолье» шел в Нью-Йорке с огромным успехом целых десять недель — для эстрадных театров срок немалый, — а потом уехал в провинцию. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что он служил нашему делу верным и неисчерпаемым источником дохода, за два года нисколько не утратив своей шумной популярности.

Сэм Паккард, директор одного из нью-йоркских эстрадных театров, так говорил о Харте и Черри:

— Самая лучшая и самая порядочная эстрадная пара. Одно удовольствие — читать их имена в афишке. Спокойные,



трудолюбивые, никаких истерик и сердечных страданий, на работу являются минута в минуту, после выступления — сразу домой, и оба такие джентльмены, ну прямо настоящие леди. Никогда еще актеры не причиняли мне меньше неприятностей и не внушали мне больше уважения к своей профессии.

И здесь, ободрав, наконец, всю шелуху, мы подобрались к зерну нашего рассказа.

В конце второго сезона «Мыши» вернулись в Нью-Йорк для второго прогона в летних театрах и на открытых эстрадах. Их с готовностью и на самых выгодных условиях включали в любую эстрадную программу. У Боба Харта домик его мечты был уже, можно сказать, в кармане, а Черри накопила столько банковских книжек, что пришлось ей покупать для них в рассрочку книжные полки.

Говоря это, я просто хочу убедить вас в том, что и среди актеров очень часто встречаются люди, которые живут во имя избранной цели — как, скажем, человек, мечтающий стать президентом, или бакалейщик, задумавший обзавестись собственным загородным домом, или благородная дама, собравшаяся сменить графский хрен на княжескую редьку. И при этом да будет мне позволено заметить, не для печати, что, идя к своей цели, они поистине способны порой свершать чудеса.

Слушайте же.

Во время представления «Мышей» в новом здании театра «Вестфалия» в Нью-Йорке Винона Черри почему-то нервничала. И, стреляя в фотографию на камине, она, вместо того чтобы попасть в лицо красотке и в медный кружочек, пустила пулю в шею Бобу Харту над левой ключицей. От неожиданности Харт упал замертво, а Черри картинно грохнулась в обморок.

Публика, полагая, что ей показали комедию, а не трагедию с женитьбой и примирением, радостно аплодировала. Единственный человек, не потерявший присутствия духа (один такой всегда найдется на месте подобных происшествий), дал знак опустить занавес, и две бригады рабочих сцены уволокли в разные стороны два распростертых тела. Объявили следующий номер программы, и веселье продолжалось.

У актерского подъезда был выловлен молодой медик, дожидавшийся своей пациентки с букетом алых роз наготове. Он внимательно осмотрел Харта и посмеялся от души.

— В газетах о вас не напишут, старина! — таков был его диагноз. — На два дюйма левее — и была бы повреждена сонная артерия. А так пусть бутафор оторвет у какой-нибудь хористочки от подола полоску валансьенских кружев и наложит вам повязку, потом поезжайте домой, там вас перевяжет районный доктор, и все пройдет. А теперь прошу меня простить, меня ждет тяжелобольная.

Боб Харт воспрянул духом и почувствовал себя гораздо лучше. Тут в помещение, где он лежал, пришел Винчен-те — Великий Фокусник, подлинный артист своего дела. Винчен-те, он же в быту Сэм Григгз из Брэтлборо, штат Вермонт, был серьезный человек, из каждого города посылавший игрушки и сласти двум маленьким дочкам. Он вместе с Хар-том и Черри ездил по провинции и состоял с ними в друж-бе.

— Боб, — озабоченно сказал Великий Фокусник, — слава богу, что рана не опасна. Девочка вне себя.

— Кто? — не понял Харт.

— Да Черри. Мы не знали, в каком ты состоянии, и не пу-скали ее к тебе. Директор и три девушки держат ее там из последних сил.

— Но я же понимаю, это несчастный случай, — сказал Харт. — Я на Черри не в обиде. Просто она не совсем хоро-шо себя чувствовала. Пусть не угрызается. Она человек де-ловой. Через три дня, доктор говорит, я снова смогу высту-пать. Так что незачем ей беспокоиться.

— Парень, — свирепо проговорил Сэм Григгз, нахмуря свой старый, обветренный, складчатый лоб. — Ты что, авто-мат или мужчина? Черри все глаза по тебе выплакала, все кричит: «Боб! Боб!» — и к тебе рвется, а ее держат за руки, за ноги, сюда не пускают.

— Чего это она? — недоуменно спросил Харт. — Через три дня возобновим выступления. Доктор говорит, рана не опасная. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Несчастный случай, я понимаю. Чего это она?

— Да ты-то чего, слепой или дурак? — ответил ему Вин-чен-те. — Она тебя любит и чуть с ума не сошла оттого, что ты ранен. Что с тобой? Или она для тебя ничего не значит? Слышал бы ты, как она тебя зовет!

— Она... меня... любит? — повторил Боб Харт, приподни-маясь на груди размалеванных задников. — Черри меня лю-бит? Да этого быть не может.



— Ты бы на нее посмотрел да сам послушал.

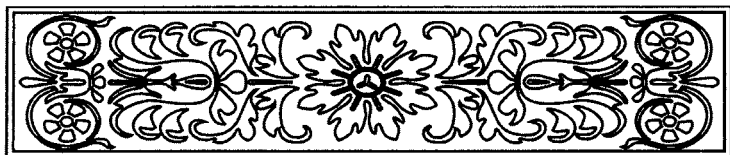
— Но говорю тебе, — сказал Боб садясь, — этого быть не может. Мне никогда ничего подобного и в голову не приходило.

— Тут двух мнений быть не может, — произнес Великий Фокусник. — Она голову потеряла от любви к тебе. Как ты мог быть таким слепцом?

— Но господи ты боже мой! — Боб вскочил на ноги. — Ведь теперь уже поздно. Поздно, говорю тебе, Сэм. Понимаешь? Поздно! Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Не может быть. Тут что-то не так.

— Она плачет по тебе, — сказал Великий Фокусник. — Из любви к тебе она одна борется против троих и так громко зовет тебя, что дирекция не решается поднять занавес. Протри глаза.

— Из любви ко мне? — растерянно повторил Боб Харт. — Да говорю я тебе: поздно! Слышишь? Поздно. Мы же с ней уже два года женаты.



ЗОЛОТО, КОТОРОЕ БЛЕСНУЛО

Рассказ с моралью подобен mosquito с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который долго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не все то золото, что блестит, — но иногда бывает благоразумнее по-дальше убрать пузырек с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла.

Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит Правдивый Джордж¹, находится Литл-Риальто. Здесь можно встретить всех актеров района; это их штаб-квартира. «Никаких мягких, — говорю я Фроману, — два с половиной доллара за выход; ни центом меньше не возьму» — и ухожу.

К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся друг к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рефугио», кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями Вест-Индских островов залетают сюда одетые в плащ и сомбреро сеньоры, выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятной минутой, добывать средства, вербовать флибустьеров, вывозить контрабандой оружие и военные припасы — одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в «Эль-Рефугио», господствует атмосфера, необходимая для их процветания.

¹ Памятник Джорджу Вашингтону.



В ресторане «Эль-Рефугио» подаются кушанья, наиболее ценимые жителями стран, лежащих между Козерогом и Раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ. О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов! Отправляйся в «Эль-Рефугио»! Только там найдешь ты рыбу из Мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают ей цвет, индивидуальность и дух; чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть; неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и... впрочем, заключительное совершенство ее заслуживает отдельного предложения. Вокруг нее, над ней, под ней, поблизости, — но отнюдь не в ней самой, — витает эфирная аура, эманация столь тонкая и нежная, что только Общество Психических Изысканий могло бы открыть ее происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в «Эль-Рефугио» кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая, мимоходом коснулся устами обложенного петрушкой блюда; но поцелуй этот неизгладим, как воспоминание о тех поцелуях, которые «в мечтаниях ты срываешь с уст, уж отданных другому». А потом, когда Кончито, слуга, подает вам порцию румяных frijoles и графин вина, которое прямым сообщением приехало без остановки в «Эль-Рефугио» из Опорто — ah, Dios!..

Однажды с пассажирского парохода Гамбургско-Американской линии сошел на пристань № 55 генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой, объем его талии равнялся сорока двум дюймам, а рост его, вместе с каблуками времен Людовика XV, не превышал пяти футов четырех дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира; одет он был как член конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия.

Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается «Эль-Рефугио». Дойдя до тех краев, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Hotel Espanol». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански: «Aqui se habla Espanol»¹. Генерал вошел, уверенный в том, что он найдет здесь тихую пристань у соотечественников.

¹ Здесь говорят по-испански.

В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О'Брайен. Это была блондинка — несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была воплощенная любезность и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно ее приветствовал, отвесив ей низкий поклон, причем его широкополая шляпа даже слегка коснулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова, как пулемет.

— Испанец или даго¹? — любезно спросила миссис О'Брайен.

— Я из Колумбии, сеньора, — гордо ответил генерал. — Я говорю испанский. На вашем окне написано: здесь говорят по-испански. Как же это?

— Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански, — возразила дама. — А я-то вот и не умею.


Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нем. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оглушительно шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О'Брайен. «Вот где, — сказал себе генерал (без сомнения, на родном языке), — можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я! Не мне, не генералу Фалькону, думать о красоте! Все мои помыслы должны принадлежать моей родине!»

На углу Бродвея и Литл-Риальто генерал растерялся. Трамваи ошеломляли его, а под конец предохранительная решетка одного из них бросила его на ручную тележку, наполненную апельсинами. Извозчик чуть не наехал на него, даже слегка задел беднягу и излил на его голову поток отборной ругани. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услышав над ухом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром: на этот раз его испугала переносная жаровня для орехов... «Yalgame Dios!² Что за дьявольский город!»

Как подстреленная птица, генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили, как подходящую дичь, два охотника.

¹ Daго — кличка итальянцев, португальцев, южноамериканцев латинской расы и т. д.

² Клянусь Богом! (*исп.*)



Один был «Забияка» Мак-Гайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов в восемь длины. Второй Нимврод мостовой был некто Келли, по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утонченные методы.

Оба сразу бросились на столь явную добычу, как генерал; но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскок чившего мистера Мак-Гайра.

— Пшел вон! — резко объявил он. — Я первый увидал его.

И Мак-Гайр скрылся, склонив оружие перед высшим интеллектом.

— Виноват, — обратился к генералу мистер Келли. — Но вы, кажется, пострадали в давке? Разрешите прийти вам на помощь.

Он поднял шляпу генерала и смахнул с нее пыль.

Образ действий мистера Келли не мог не иметь успеха. Генерал, растерянный и смущенный невиданным уличным движением, приветствовал своего спасителя, как истого кабаллеро с бескорыстной душой.

— У меня есть желание, — сказал генерал, — вернуться в гостиницу О'Брайен, где я остановил себя. Карамба, сеньор, какая у вас шумность и быстротность движения в вашем Новом Йорке!

Но вежливость не позволяла мистеру Келли покинуть знатного колумбийца одного среди опасностей, ожидавших его на обратном пути. У входа в «Hotel Espanol» оба остановились. Немного дальше, по другую сторону улицы, сияла скромно освещенная вывеска «Эль-Рефугио». Мистеру Келли, знавшему город как свои пять пальцев, было известно по виду и это заведение, как сборный пункт всех даго. Мистер Келли делил иностранцев на две категории: на даго и на французов. Он предложил генералу отправиться в кафе и подвести под их случайное знакомство жидкий фундамент.

Час спустя генерал Фалькон и мистер Келли все еще сидели за столиком в «Эль-Рефугио», в углу заговорщиков. Перед ними стояли бутылки и стаканы. В десятый раз генерал поверял тайну своей миссии в Соединенные Штаты. По его словам, ему было поручено приобрести оружие — две тысячи винчестеров — для революционеров в Колумбии. В кармане его лежали чеки на сумму в двадцать пять тысяч долла-

ров, выданные Картахенским банком на Нью-Йоркский банк. За соседними столами другие революционеры громким криком передавали политические тайны своим сообщникам; но никто не орал так, как генерал. Он стучал кулаком по столу; он требовал еще вина; он вопил, что данное ему поручение — совершенно секретное и что о нем нельзя даже намекнуть ни одному живому человеку. В душе мистера Келли проснулся ответный, полный сочувствия восторг. Он схватил через стол руку генерала и крепко пожал ее.

— Мусью, — проникновенно сказал он, — я не знаю, где лежит эта ваша страна, но я всей душой за нее. Впрочем, она, вероятно, входит в состав Соединенных Штатов, потому что все стихоплеты и школьные учительницы называют нас Колумбией. Ну и подвезло же вам, что вы сегодня на меня натолкнулись. Я единственный человек во всем Нью-Йорке, через которого вы можете провести ваше дело с оружием. Военный министр Соединенных Штатов — мой лучший друг. Он сейчас здесь, и я повидаюсь с ним завтра и поговорю насчет вас. А пока что, мусью, запрячьте чеки подальше во внутренний карман. Я завтра зайду за вами и поведу вас к нему. Да, послушайте, вот что: ведь у вас речь идет не об округе Колумбия, не правда ли? — заключил мистер Келли, внезапно почувствовав угрызения совести. — Вам все равно не удастся захватить его с двумя тысячами винтовок. Уже пробовали с большим числом, да и то не вышло.

— Нет, нет, нет! — воскликнул генерал. — Это республика Колумбия, ве-ли-ка-я республика на самой верхушке у Южной Америки. Так, так!

— Ладно, — сказал успокоенный мистер Колли. — Ну а теперь давайте-ка понемногу домой собираться. Я сегодня напишу министру, чтоб он мне назначил день для переговоров. Вывести оружие из Нью-Йорка — дело хитрое.

Они расстались у входа в «Hotel Espanol». Генерал, закатив глаза, взглянул на луну и вздохнул.

— Великий это город, этот ваш Новый Йорк, — сказал он. — Правда, что трамваи могут погубить человека, а машина, которая жарит орехи, ужасно кричит в ухо. Но зато, сеньор Келли, здешние сеньоры! Сеньоры с волосами из золота, восхитительно полные, они — *magnificas!* Muy *magnificas!*¹

¹ Великолепны! Прямо великолепно! (*ист.*)

Келли отправился в ближайшую телефонную будку и позвонил в кафе Мак-Крэри на Верхнем Бродвее. Он велел звывать Джимми Денна.

— Кто у телефона? Джимми Денн? — спросил Келли.

— Да, — был ответ.

— Вот ты и соврал! — радостно объявил Келли. — Ты — военный министр. Жди меня — я сейчас приеду. Я, брат, закинул удочку и поймал такую рыбку, которая тебе и во сне не снилась. Она из породы колорадо-мадура, с золотым пояском вокруг, и так начинена купонами, что ты можешь хоть сейчас идти покупать себе все, что хочешь, хоть стоячую красную лампу и статуэтку Психеи у ручья. Я сейчас сажусь в вагон.

Джимми Денн был великим мастером жульнической логики. Он был настоящим артистом и делал только самую тонкую работу. Он в жизни своей не брал в руки дубины и вообще презирал физические меры воздействия. Можно поручиться, что он всегда угощал бы намеченных им жертв лишь чистыми, нефальсифицированными напитками, если бы их можно было вообще достать в Нью-Йорке. «Паук» Келли лелеял честолюбивую мечту — когда-нибудь подняться до уровня Джимми.

Между приятелями произошло в тот же вечер совещание у Мак-Крэри. Келли объяснил дело.

— Это детская игра. Он приехал с острова Колумбии, где происходит какая-то потасовка, или гражданская война, или что-то в этом роде, и его прислали сюда, чтобы закупить две тысячи винчестеров, чтобы решить это дело. Он показал мне два чека, на десять тысяч долларов каждый, и один на пять тысяч. Понимаешь, Джимми, меня даже разозлило, что он не превратил их в тысячные билеты и не подал мне их на серебряном подносе. Теперь надо подождать, пока он сходит в банк и достанет для нас эти деньги.

Совещание длилось часа два, после чего Денн объявил:

— Приведи его туда, на Бродвей, завтра в четыре.

Келли пунктуально заехал в «Hotel Espanol» за генералом. Он застал мудрого воина за приятной беседой с миссис О'Брайен.

— Военный министр ждет нас, — сказал Келли.

Генерал с грустью оторвался от своего занятия.

— Да, сеньор, — со вздохом сказал он. — Долг призывает меня. Но, сеньор, в ваших Соединенных Штатах сеньоры —

какие красавицы! Для примирения возьмите la madame О'Брайен. Она есть богиня Юнона, с глазами как у бычка, как говорится.

На свою беду, мистер Келли считал себя в высшей степени остроумным человеком; не его первого погубила эта черта, и не он первый сторел от фейерверка своего остроумия.

— Без сомнения, — с усмешкой сказал он, — но заметили ли вы, что эта Юнона прибегает к перекиси водорода?

Миссис О'Брайен услышала эти слова, подняла свою золотую головку и посмотрела на удалявшуюся фигуру Келли с обычным деловым видом. Никогда не следует говорить бесцельных грубостей дамам — это допустимо только в трамвае.

Когда лихой колумбиец и его провожатый приехали в назначенное место на Бродвее, их продержали полчаса в передней и затем ввели в канцелярию, где за письменным столом сидел и что-то писал изящный господин с гладко выбритым лицом. Генерал Фалькон был представлен военному министру Соединенных Штатов, и его дело было изложено его старинным другом, мистером Келли.

— А, Колумбия! — многозначительно проговорил министр, когда его посветили во все подробности. — Я боюсь, что, в таком случае, представятся некоторые затруднения. Президент и я — мы расходимся в своих симпатиях. Его сочувствие на стороне существующего строя, а мое... — Министр таинственно, но ласково улыбнулся генералу. — Вам, генерал, без сомнения, известно, что со времени политической борьбы между тамманистами и республиканцами конгресс издал постановление, согласно которому всякие оружейные изделия и военные припасы, вывозимые из страны, должны быть взяты на учет военным министерством. Тем не менее я с удовольствием сделаю для вас все, что могу, ради моего старинного приятеля мистера Келли. Но все должно храниться в строжайшей тайне, так как президент, как я уже говорил, не сочувствует стремлениям революционной партии в Колумбии. Я сейчас прикажу ординарцу принести мне список оружия, имеющегося в данное время на складе.

Министр позвонил, и в комнате тотчас же появился ординарец в фуражке с буквами.

— Принесите мне опись «Б» легкого оружия, — сказал министр.

Ординарец быстро вернулся с печатным списком. Министр погрузился в его рассмотрение.



— Оказывается, — сказал он, — в государственном складе номер девять есть партия в две тысячи винчестерских винтовок, заказанная мароккским султаном, который, однако, не выслал денег своим приемщикам. А по нашим правилам, сумма уплачивается полностью при сдаче заказа. Келли, ваш приятель, генерал Фалькон, может, если хочет, приобрести эту партию винтовок по фабричной цене. А затем, прошу меня извинить, но я вынужден проститься с вами. Я ожидаю сейчас японского посла и Чарлза Мерфи¹; они могут появиться в любую минуту.

Этот разговор имел различного рода последствия. Во-первых, генерал Фалькон почувствовал глубокую признательность к своему уважаемому другу, мистеру Келли. Во-вторых, военный министр был чрезвычайно занят в течение двух ближайших дней: он усиленно закупал пустые ящики из-под винтовок, наполнял их кирпичом и затем устанавливал на складе, нанятом для этой цели. В-третьих, когда генерал вернулся в «Hotel Espanol», миссис О'Брайен подошла к нему, смахнула пушинку с отворота его пальто и сказала:

— Слушайте, сеньор, я не хочу совать свой нос в чужие дела, но скажите мне все-таки, что нужно от вас этому похожему на обезьяну, желтоглазому, длинношеему, визгливому хулигану?

— *Sangre de mi vida!*² — воскликнул генерал. — Невозможно есть, что вы говорите это про моего доброго друга, сеньора Келли?

— Пойдемте-ка в сад, — сказала миссис О'Брайен. — Мне нужно кое о чем поговорить с вами.

Теперь вообразим, что прошел целый час.

— И вы говорите, — сказал генерал, — что за восемнадцать тысяч долларов можно купить всю обстановку дома и снять его на один год вместе с этим садом, так прекрасным и так похожим на *ratio*³ моей дорогой Колумбии?

— И это будет даром, — вздохнула дама.

— Ah, Dios! — воскликнул генерал. — Что для меня война и политика? Это место есть рай. Моя страна — она имеет других храбрых героев, чтобы продолжали сражаться. Что

¹ Лидер демократической партии.

² «Кровь моего сердца!» (*исп.*)

³ Внутренний двор-сад в испанских постройках.

для меня слава и убивание людей? Не нужно ничего. Это здесь я нашел ангела. Купим «Hotel Espanol», и вы будете моей, и деньги не будут выброшены на оружие!

Миссис О'Брайен положила свою золотистую головку, причесанную à la Pompadour, на плечо колумбийского патриота.

— О, синьор,— сказала она со вздохом счастья,— вы ужасны!

Через два дня наступил срок передачи винтовок генералу. Ящики, якобы наполненные оружием, были сложены на складе, нанятом для этой цели, и военный министр сидел на них в ожидании своего друга Келли, отправившегося за жертвой.

В назначенный час мистер Келли торопливо приближался к «Hotel Espanol». Он застал генерала за конторкой, погруженного в какие-то вычисления.

— Я решил, — объявил генерал, — покупать не оружие. Я сегодня уже купил внутренности этой гостиницы, и скоро будет свадебная женитьба генерала Перрико Хименес Виллабланка Фалькона на la madame О'Брайен.

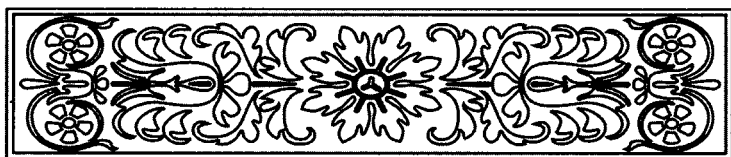
У мистера Келли от негодования захватило дух.

— Ах ты, лысая старая жестянка из-под ваксы! — крикнул он, заикаясь и брызгая слюной. — Мошенник ты и больше ничего! Ты купил гостиницу на деньги, которые принадлежат твоей проклятой стране, черт знает как ее там зовут!

— Ах, — сказал генерал, подытоживая столбец, — это есть то, что называется политикой. Война и революция неприятны. Да. Зачем всегда следовать за Минервой? Не нужно. Гораздо более лучше держать гостиницу и быть с этой Юноной. Ах! Какие она имеет волосы из золота на своей голове!

Мистер Келли опять чуть не задохся.

— Ах, сеньор Келли! — проникновенно сказал генерал в заключение. — Вы никогда, очень видно, не ели рагу из солонины, которое приготавливала мадама О'Брайен.



МЛАДЕНЦЫ В ДЖУНГЛЯХ

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтегью Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один протак: но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной: наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком.

— Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считать умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленьшей. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: «Принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Ман-

хэтгена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в «Ивнинг дэйли».

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столчных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и учнее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто «Иоанн Креститель в молодости».

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюр? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъясил из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-го», или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да, на беду, я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь



судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает *rus in urbe*¹. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирию величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащишь за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить ньюйоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения, — говорит Силвер. — Я знаю настоящую цену этому Кретингауну близ Разиньвилля, и это

¹ Сельский элемент в городе (*лат.*).

так же верно, как то, что Северная река — это Гудзон, а Восточная река — вообще не река¹. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии Спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гудд?

— Могу предложить хоть двадцать способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капитала, Билли?

— Тысяча, — отвечаю.

— А у меня тысяча двести, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом, — говорит он. — Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело! — говорю я. — Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты; левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пескад, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового...

¹ Северной рекой называется Гудзон в его нижнем течении. Восточная река — пролив между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

— Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган. — Рад познакомиться с вами, джентльмены; меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...

— Пирпонт, Пирпонт, — перебивает Клейн. — Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены! — говорит Морган. — С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.


— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции! — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов — да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. И дал своему человеку *a la carte*: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий де Винчи...

— Как, мистер Морган? — говорит Клейн. — Разве не все картины де Винчи находятся в вашей коллекции?

А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Силвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небокреба «Утюг»?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер, — говорит Морган. — Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют тустеп на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорей всего, эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция неполна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат финансист должен, знаете, соблюдать режим.



Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно; а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли?

— Кого — ее? — спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забуддыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит, над конторкой? — говорит Силвер хозяину как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышная картинка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот



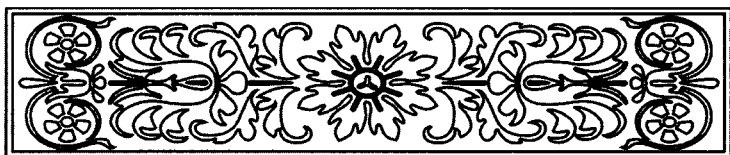
долларов. Это «Досуг любви» Леонардо де Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кеб и покатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаясь. Через два часа является Силвер.

— Ну, как, застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину?

Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти.

— Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?



ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Ясно вижу, как хмурит лоб художник и грызет карандаш, когда речь заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет, — оно и понятно, ибо его профессиональные представления о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводятся всего к четырем персонажам.

Первый из них — сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор воображению. Для этой роли подойдет, в частности, прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица мисс Кларисса Сент-Вавасур, мягко выражаясь, в дезабилье.

Второй вариант — дама с томно воздетыми очами и в рамке из лилий. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверен.

Третий — мисс Манхэттен в воскресной пасхальной процессии на Пятой авеню.

Четвертый — Мэгги Мэрфи в старенькой соломенной шляпке с новым красным пером, разодетая на зависть всей Гранд-стрит¹, сияющая и смущенная.

Зайчики, понятное дело, в счет не идут. Пасхальные яйца — тоже, им слишком круто пришлось от строгих критиков.

Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие очертания. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен, и мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок с *figus carica*².

¹ Улица нью-йоркской бедноты.

² Фиговое дерево (*лат.*).



Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха — это не дата, не время года, не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Данни Мак-Кри.

Розовая, ранняя, пришла в урочный срок заря пасхального воскресенья, пришла, как ей назначено по календарю — то есть после субботы и перед понедельником. В 5.24 встало солнце; в 10.30 его примеру последовал Данни. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышенное лицо и вспоминала, каким двадцать два года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом «Ла Паломы», впервые увидела его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Данни сидел с трубкой у открытого окна общей комнаты, и его взлохмаченные седые волосы трепал весенний ветерок. С трубкой он не расстался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же очень редко встретишь слепого, который курит, — ведь ему не виден дым. Приятно вам было бы слушать, как читают новости из вечерней газеты, и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки?

— Пасха сегодня, — сказала миссис Мак-Кри.

— Мне глазунью, — сказал Данни.

После завтрака он оделся, как подобает одеваться в праздничное утро ломовому извозчику с портовых складов на Канал-стрит, — сюртук, брюки в полоску, лаковые штиблеты, золоченая цепочка поперек жилета, стоячий, с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шонстайна (угол Четырнадцатой, сразу как пройдешь фруктовый ларек Тони), и котелок с загнутыми полями.

— Небось погулять собрался, Данни, — с оттенком грусти сказал старый Мак-Кри. — Говорят, нынче вроде бы праздник. Что ж, время весеннее, на улице благодать. Я по воздуху чую.

— А почему это я не могу сходить погулять? — спросил Данни сварливым басом. — Может быть, я обязан сидеть дома? Что я, хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать

один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру? Кто тебе заработал на этот завтрак, можешь ты мне сказать?

— Ладно, сынок, — сказал старый Мак-Кри. — Я ведь не жалуюсь. Погулять в воскресенье — самое милое дело, я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей, и сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай отдохни, сынок, — в добрый час. Об одном только я горюю, что твоя мать не выучилась грамоте, дочитала бы мне про гиппопотамов... Ну, да что уж теперь.

— Чего это он там мелет насчет гиппопотамов? — спросил Данни у матери, когда проходил через кухню. — Ты уж не в зоопарк ли водила его? Для чего бы, спрашивается?

— Никуда я его не водила, — сказала миссис Мак-Кри. — Так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой. У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час без умолку толковал про древних греков. Он-то, говорю, может, и древний, а она — совсем еще молодая. Не так ты поняла меня, отвечает. Для слепого, Данни, времечко ползет ох как медленно, хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж, кажется, пока не потерял глаза, никого не было его лучше и сильнее. Да. Вот утро-то выдалось какое. Иди, сынок, веселись. Ужин будет холодный, в шесть часов.

— Про гиппопотамов не слышать разговоров? — спросил Данни у дворника Майка, когда спустился и вышел на улицу.

— Пока нет, — сказал Майк и поддернул выше рукава рубахи. — На что только не жаловались за последние сутки — и в части незаконных действий, и природных явлений, и живности. Но насчет этого тихо. Хочешь, сходи к хозяину. А то съезжай с квартиры. У тебя в договоре о найме обозначено про гиппопотамов? Нет? Тогда чего же ты?

— Да это мой старик обмолвился, — сказал Данни. — Просто так, скорее всего.

Данни дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к Северу, в центр квартала, где Пасха — современная Пасха в ярком современном уборе — справляет свое торжество. Из темных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами — такими представлялись взору девушки в пасхальных нарядах.

Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаем: в сюртуках и цилиндрах, с гар-



дений в петлице. Дети несли в руках букеты лилий. Окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями Флоры, сестры той дамы в венке из лилий.

Из-за угла, в белых перчатках, дородный, застегнутый на все пуговицы, вышел полицейский Корриган, квартальный ангел-хранитель. Данни был с ним знаком.

— Слушай, Корриган, — сказал он. — Пасха, она зачем? Когда она наступает — это известно: как наберешься первый раз семнадцатого марта, и чтобы на полный месяц равное действие. Но зачем? Что она, церковный обряд чин по чину, или же ее в интересах политики губернатор назначает?

— Праздник этот местный, — оказал Корриган с непрекаемостью, достойной третьего помощника полицейского комиссара. — Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка. Распространяется и на Гарлем. Бывает, что на Сто двадцать пятую улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства.

— Ну, спасибо, — сказал Данни. — А это... не слышал ты, чтобы люди жаловались на гиппопотамов? Когда, то есть, не слишком выпивши?

— На морских черепахах — случалось, — в раздумье сказал Корриган. — При содействии метилового спирта. А на что покрупнее — нет.

Данни побрел дальше. Побрел, придавленный вдвойне тяжелой повинностью — получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника.

Невзгоды на плечах у рабочего человека — точно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевают столь часто, что привыкают носить с естественным шиком, точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служат самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумает поразвлечься, тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Данни угрюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха, и предавался увеселениям без всякого веселья.

Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана — это было еще приемлемо, и Данни пошел на уступку весне, спросив кружку пива. Он сидел в сырой задней комнате, высланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душою тщился постигнуть таинственный смысл вешнего торжества.

— Скажи, Тим, — обратился он к официанту. — Для чего людям Пасха?

— Иди ты! — сказал Тим и подмигнул в знак того, что его не проведешь. — Что-то новенькое, да? Ясно. Тебя-то кто на это подловил? Ладно, сдаюсь. Так какой ответ — для ватрушек или для желудка?

От Дугана Данни повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Данни, во всяком случае, истолковал его неверно, решив, что виной ему — Кэти Конлан.

Он встретил ее в нескольких шагах от ее дома, когда она шла в церковь. На углу авеню «А» они обменялись рукопожатием.

— Ого! Такой франт, а хмур, словно туча, — сказала Кэти. — Что с тобой? Гляди веселей, пошли в церковь.

— А чего там такое? — спросил Данни.

— Пасха, чудак ты! До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдешь.

— В чем, Кэти, ее суть, Пасхи этой? — сумрачно спросил Данни. — Похоже, что никто не знает.

— Кто не слепой, тот знает, — запальчиво сказала Кэти. — Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка. И юбка. Тогда и понял бы, что Пасха — это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак! Ну, идешь ты со мной в церковь?

— Пойду. Раз эту самую Пасху проворачивают в церкви, стало быть, там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск. Особенно зеленые розы.

В церкви священник растолковал кое-что, и при этом не сказать, чтобы толлок воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился пораньше поспеть домой к праздничному обеду, но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово — воскресение. Не новый акт творения, но рождение новой жизни из старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка, бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание.

После церкви Данни задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза.

— Ты не к нам сейчас? — спросила она. — Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться. Я прекрасно дойду одна.

Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста. Может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер Мак-Кри?

— Зайду, как обычно, в среду вечером, — сказал Данни, повернулся и пошел на ту сторону улицы.

Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Данни прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высеченное из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило, такое маленькое, нежное, щемящее, такое чуждое грубому материалу, из которого был сработан Данни. Оно было ласковее, чем апрельский день, тоньше, нежели зов плоти, чище и глубже, чем любовь к женщине, — разве не отвернулся он от зеленых роз и от глаз, к которым был прикован вот уже целый год? А что это было, Данни не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Данни не было либретто, чтоб уловить смысл полусонного и певучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду.

Внезапно Данни хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль.

— Гиппопотам! — возопил он, обращаясь к опорному столбу надземки. — Нет, это надо же придумать! Ну, теперь-то я знаю, куда он клонил... Гиппопотам! С ума сойти, честное слово! Год прошел, как он это слышал, а гляди ты, почти не промахнулся. Мы кончили 469 годом до Рождества Христова, дальше идет как раз про это. Но поди догадайся, чего он хочет выразить — мозги свихнешь.

Данни вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги.

Старый Мак-Кри все сидел у окна. Погасшая трубка лежала на подоконнике.


— Это ты, сынок? — спросил он.

Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит. Данни вскипел.

— Кто здесь платит за квартиру? — злобно огрызнулся он. — На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?

— Ты хороший сын, — сказал со вздохом старый Мак-Кри. — Так уже вечер?

Данни протянул руку к полке и достал толстую книгу с тисненным золотом заглавием: «История Греции». Пыли на



ней накопилось с палец толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложенное полоской бумаги. Тогда он хотнул коротко и зычно и сказал:

— Желаеть, значит, чтобы тебе почитали про гиппопотама?

— Я слышу, ты открыл книгу? — сказал старый Мак-Кри. — Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын ее читал мне. Шут его знает, сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ступай отдохни, ты наработался за неделю. А я уже привык к этому стулу у окна и к трубке.

— Пел... Пелопоннес, вот мы на чем остановились, — сказал Данни. — А никакой не гиппопотам. Там началась война. И тянулась ни шатко, ни валко, не соврать бы, тридцать лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при Херо... Херонее. Сейчас почитаю.

Целый час, приложив ладонь к уху, старый Мак-Кри упивался событиями Пелопоннесской войны.

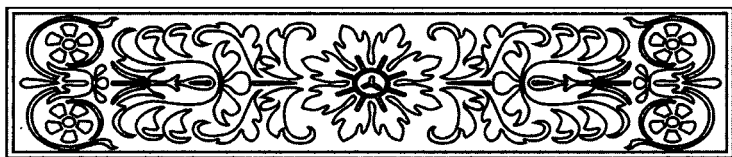
Потом он встал и ощупью добрел до двери на кухню. Миссис Мак-Кри нарезала к ужину холодное мясо. Она подняла голову. Из невидящих глаз старого Мак-Кри текли слезы.

— Слышала, как наш сын мне читает? — сказал он. — Другого такого не сыскать на всем белом свете Вот я и получил назад свои глаза.

После ужина он сказал Данни:

— И правда, светлый день эта Пасха. Ну а теперь ты пойдешь провести вечер с Кэти. Все правильно.

— Кто здесь платит за квартиру и на чьи деньги покупают еду в этом доме? — сердито сказал Данни. — Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Коринфскую битву в 146 году, опять-таки до Рождества Христова, когда Греция, как там сказано, стала не этой... неотъемлемой частью Римской империи. Или я ничто в этом доме?



ПЯТОЕ КОЛЕСО

Люди в очереди теснее сплотили ряды; холод, холод пробирал до костей. Здесь в ожидании дарового ночлега скопились наносные отложения реки жизни, осевшие на мели в том месте, где сливаются Бродвей и Пятая авеню. Они постукивали стылými подошвами об землю, поглядывали на свободные скамейки в сквере напротив, с которых их согнал Дед Мороз, и тихо переговаривались между собой на смеси языков и наречий. А с той стороны площади над ними в морозной дымке высился небоскреб «Утюг», святотатственно вперивший верхушку в самые небеса, точно и впрямь был Вавилонской башней, откуда этот праздничный разноязыкий народ был выведен сюда личным крылатым уполномоченным Господа Бога.

Этот уполномоченный стоял на пустом ящике, головой возвышаясь над стадом своих козлиц, и проповедовал, обращаясь к редким, торопящимся мимо прохожим, каких заносило к нему холодным северным ветром. То был невольничий рынок. За пятнадцать центов вы покупали человека, передавали его в объятия Морфея, а вам зачитывалось на том свете.

Проповедник был сказочно серьезен и неутомим. Он ознакомился со списком всех добрых дел, которые можно предпринять на благо ближнему, и сделал для себя выбор, взявшись обеспечивать нуждающихся ночлегом по средам и воскресеньям. Тем самым на долю остальных филантропов оставалось еще только пять дней в неделю, и если бы они отнеслись к делу с такой же ответственностью, весь этот грешный город превратился бы в одну огромную уютную спальню, где каждый мог бы коротать часы, блаженно задавая храпака и пустив побоку социальные пьесы, сборщика квартирной платы и всякое предпринимательство.


Недавно пробило восемь; под сенью памятника генералу Уорту небольшой плотной массой центоносной руды тол-

пились зеваки. Время от времени от нее кто-нибудь отделялся и скромно или демонстративно, небрежно или деловито вручал проповеднику свою лепту мелкими ассигнациями или серебром. И сразу же вслед за этим его ассистент выраженного скандинавского окраса и такого же темперамента уводил в направлении ночлежного дома новую партию искупленных. А проповедник знай себе взывал к прохожим, и речь его блистала отсутствием каких-либо красот и подавляла грозной монотонностью правды. Прежде чем картина очереди за ночлегом померкнет перед нашим взором, я хотел бы привести в пример одно из его положений — то хотя бы, которое он развивал сейчас. Оно достойно служить девизом всех на свете обществ по борьбе с алкоголизмом.

«Кто пьет одно дешевое виски, никогда не сопьется». Слышите, все пьяницы и забулдыги, от начинающих с маленькой рюмочки и до кончающих нищей могилой? Это про вас.

В задних рядах очереди бесприютных стоял высокий молодой человек с красивым лицом, которое он, впрочем, по-черепашьи втягивая голову в плечи, прятал в воротник своего пальто. То было хорошее драповое пальто; и брюки на нем тоже еще хранили следы портновской утюжки. Должен, однако, по совести предупредить мою читательницу — продавщицу из галантерейного магазина: если она думает, что это юный граф, временно оказавшийся без гроша в кармане, пусть сразу же закроет книгу. Ибо это был не кто иной, как Томас Мак-Квейд, кучер без места, уволенный за пьянство месяц назад и теперь докатившийся до очереди в ночлежку.

Если вы живете в старой части Нью-Йорка, вам наверняка знаком семейный выезд Ван-Смитов: в упряжке пара могучих гнедых тяжеловозов и коляска в форме ванны. В ванне друг против дружки возлежат две старые дамы Ван-Смит, и в руках у них черные зонты, наподобие балдахинов. До своего падения Томас Мак-Квейд правил ван-смитовскими рысаками, а им самим правила ван-смитовская горничная Энни. Но так уж прискорбно устроена жизнь, что гвоздь в сапоге, или отсутствие нужного товара на прилавке, или зубная боль способны на время затмить божественный свет самому истому купидонопоклоннику. А Томас терпел сейчас значительные неудобства. И его в данную минуту не



столько заботила утрата возлюбленной, сколько раздражало присутствие неких порхающих и пляшущих в воздухе, ползающих и пресмыкающихся по асфальту существ, которых больные нервы вполне правдоподобно рисовали ему вблизи холодного бивака этой армии бездомных. Четыре недели на одном виски с галетами, колбасой или соленым огурцом часто дают такой психо-зоологический эффект. И теперь, доведенный до крайности, злой, продрогший и одолеваемый призраками, он испытывал потребность в человеческом участии и общении.

Рядом с ним в очереди стоял молодой человек примерно одного с ним возраста в поношенной, но аккуратной одежде.

— А у тебя какой диагноз, приятель? — с бесцеремонностью, естественной между братьями по несчастью, обратился к нему Томас. — Горькая? У меня — она, голубушка. Поглядеть на тебя, так на попрошайку ты не похож. И я тоже не из таковских. Еще месяц назад я охаживал вожжами двух могучих першеронов, которые катили по Пятой авеню резвее призовых скакунов. А посмотри на меня теперь! Ну а тебя каким ветром занесло на эту распродажу ночлежных мест по сниженным ценам?

Молодому человеку, как видно, пришлось по душе веселые речи отставного кучера.

— Да нет, — с улыбкой ответил он. — Нельзя сказать, что моя беда от алкоголя, если, конечно, не считать алкогольным напитком, что подносит нам Купидон. Я неразумно женился — по мнению моих неумолимых родичей. Год прожил безработным, потому что работать не научен, потом четыре месяца провел в больницах. Жене с ребенком пришлось вернуться к ее матери, а меня только вчера выписали. Денег у меня нет ни цента. Вот и вся моя скорбная повесть.

— Н-да, невесело, — сказал Томас. — Сам-то человек всегда перебьется. А вот женщин с ребятишками жалко.

В это мгновение на Пятую авеню, гудя мотором, выехал автомобиль — такой роскошный, такой красный, такой мощный, и шел он на таком плавном ходу и так беззастенчиво превышал при этом дозволенную скорость, что даже понурые ночлежники подняли головы. На левом боку у него висела запасная шина.

В тот миг, когда великолепное авто поравнялось с очередью, зажимы на шине не выдержали, она упала на асфальт,

упруго подскочила и покатила след за удаляющимся автомобилем.

Сразу же оценив ситуацию, Томас Мак-Квейд поспешил отделиться от паствы проповедника и ринулся на мостовую. За тридцать секунд он настиг катящуюся шину, схватил, вскинул на плечо и лихо припустился догонять автомобиль. Люди на тротуарах кричали, свистели и размахивали тростями, чтобы привлечь внимание сидящих в машине к предприимчивому Томасу.

Самое малое — доллар, так считал Томас, следовал ему по справедливости от этого великолепного автомобилиста в награду за услугу. Меньше у него совести не хватит.

В двух кварталах от места происшествия мотор, наконец, остановился. Внутри сидел маленький темнокожий шофер в толстом кашне, а сзади — большой важный господин в великолепной котиковой шубе и в цилиндре.

В своей лучшей кучерской манере Томас любезно протянул беглую шину владельцу и при этом выразительно посмотрел на него тем глазом, который у него меньше покраснел, в знак того, что здесь готовы принять доллар-другой в звонкой монете, а можно и ассигнациями, и даже более крупного достоинства тоже.

Но этот красноречивый взгляд не был правильно истолкован. Господин в котике взял из рук отставного кучера шину, положил ее внутрь автомобиля и, пристально взглянув ему в лицо, пробормотал что-то непонятное.

— Странно... Очень странно, — были его слова. — Иногда, в отдельных случаях, даже мне самому начинает казаться, что Халдейский Хироскоп дал верный ответ. Возможно ли это?

Затем, уже не столь загадочными словами, он обратился к Томасу, в надежде и ожидании стоящему подле:


— Благодарю вас, сэр, за любезное спасение моей шины. Мне хотелось бы, если позволите, задать вам один вопрос. Знакомо ли вам семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер, по Северной стороне?

— Еще бы, — ответил Томас. — Я и сам там проживал. Раньше, но, увы, не теперь.

Господин в котике распахнул дверцу машины.

— Садитесь, прошу вас, — сказал он. — Вас ждут.

Томас Мак-Квейд повиновался, удивляясь, но не колеблясь. Сидеть в автомобиле, несомненно, приятнее, чем сто-



ять в очереди за ночлегом. Укутанный пледом, он предался плавному бегу мотора и тут на досуге задумался о странном приглашении.

— Наверно, у него просто мелочи нет, — рассудил отставной кучер. — Эти важные господа из высшего света вообще не носят с собой денег. Вот довезет меня до ближайшей забегаловки, где у него открытый счет на предъявителя физиономии, — и пожалуйста вытряхиваться. Ну, во всяком случае, с гигиеническими ночевками на свежем воздухе у меня пока что покончено.

Со своей стороны, загадочный автомобилист из глубины котиковой шубы тоже, по-видимому, дивился странностям жизни. «Непонятно! Немыслимо! Невероятно!» — явственно твердил он себе под нос.

Автомобиль углубился в район Семидесятых улиц, свернул на восток, проехал с полквартала и остановился перед шеренгой богатых домов с широкими лестницами, ведущими к подъездам.

— Окажите мне любезность и войдите в мой дом, — сказал господин в котике, когда они ступили на твердую землю.


«Видно, собрался раскошелиться как следует», — подумал Томас, переступая порог.

В холле было полутемно. Хозяин провел его в дверь налево, плотно прикрыл ее за собой, и они очутились в полнейшей темноте. Вдруг вверху зажегся большой, причудливо изукрашенный шар, бледным светом озарив всю огромную комнату, — убранства роскошнее Томас не видел ни на сцене, ни в книжках с картинками.

Стены покрывал пышный пурпурный штоф, расшитый фантастическими золотыми фигурами. В глубине висел тяжелый сборчатый занавес, тускло-золотой с серебряными звездами и полумесяцами. Мебель была вся дорогая и необыкновенная. А ноги отставного кучера просто утопали в ковре, пушистом и мягком, как снежный сугроб. Здесь и там стояли какие-то замысловатые столики или подставки под черными бархатными покрывалами.

Томас Мак-Квейд одним глазом окинул всю эту роскошь, а другим поискал ее царственного владельца. Но тот непонятным образом исчез.

— Вот это да! — сказал себе Томас. — Колдовской притон, что ли? Кажется, начинаются приключения, как в «Тайнах Моравских братьев». Но куда девался меховой господин?



В это мгновение чучело совы на эбеновой жерди под лампой вдруг медленно подняло крылья, и одновременно глаза его зажглись ослепительным электрическим светом.

С перепугу Томас выругался, схватил со стола подвернувшуюся под руку бронзовую статуэтку Гебы и со всей силы запустил ее в ужасную сверхъестественную птицу. Сова вместе с подставкой рухнула на пол. Тотчас же раздался щелчок, и ряд электрических ламп по стенам и потолку залил комнату матовым светом. Золотой занавес раздвинулся, и появился таинственный автомобилист. Он оказался высок ростом, облачен в черный фрак безупречного покроя и в наилучшем вкусе, имел шелковистую рыжеватого цвета бороду клином и довольно длинную волнистую шевелюру, расчесанную на прямой пробор. Большие притягивающие глаза с оккультной поволокой довершали эту впечатляющую картину. Если вы в состоянии вообразить русского великого князя в тронном зале восточного раджи, где происходит прием заезжего императора, это даст вам кое-какое представление о его величавом облике. Но Томас Мак-Квейд был слишком близок к черным видениям белой горячки, чтобы предаться таким многокрасочным ассоциациям. Ему лощенный и слегка устрашающий хозяин квартиры напомнил зубного врача.

— Понимаете, какое дело, док, — сокрушенно сказал он. — Эта ваша райская пташка на ветке... Надеюсь, я не разбил ей горлышко. Потому что я чуть не опупел, когда она вдруг осветила мне в лицо свои фонари, и со страху запузырил в нее вон той медной красоткой, что торчала тут у вас на стойке.

— Это всего лишь механическая игрушка, — сказал господин, пренебрежительно поведя рукой. — Могу ли я просить вас присесть, пока я буду объяснять, зачем привез вас к себе? Психологическое обоснование моих поступков вас едва ли может интересовать, поэтому я перейду непосредственно к делу. Позволю себе для начала сослаться на ваше признание, что вам знакомо семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер по Северной стороне.

— А что, из серебра у них что пропало? — язвительно осведомился Томас. — Драгоценностей каких недосчитались? Ясно, знакомо. Может, старые леди зонты потеряли? Ну, знакомы они мне, что с того?

Великий князь потер свои белые руки.



— Чудесно! — вполголоса промолвил он. — Превосходно! Неужто же мне и самому придется уверовать в Халдейский Хироскоп? Позвольте мне со всей определенностью сказать вам, — продолжал он уже громче, — что вам совершенно нечего опасаться. Напротив того, я могу, мне кажется, вам обещать счастливые перемены. Посмотрим, посмотрим.

— Может, они зовут меня обратно? — спросил Томас, и отзвук былой профессиональной гордости закрался в его голос. — Обещаю, что исправлюсь и покончу с выпивкой, если меня согласятся испытать еще раз. Но вы-то как об этом прослышали, док? Ей-богу, я в жизни не видывал такого шикарного бюро по найму, фонари в виде сов и все такое прочее.

Любезный хозяин сладко улыбнулся и попросил извинить его на несколько минут. Он вышел на улицу и дал краткое указание шоферу, который ждал у подъезда. А сам, вернувшись в таинственную комнату, сел рядом с гостем и стал занимать его остроумной и приятной беседой, да так успешно, что бедный искатель дарового ночлега вскоре совсем позабыл про уличный холод, от которого он так недавно и так чудесно был избавлен. Слуга принес ему нежнейшей холодной дичи, и сладкого печенья, и стакан волшебного вина; и Томас почувствовал себя утопающим в роскоши «Тысячи и одной ночи». Полчаса пролетели как одно мгновение; и вот у дверей протрубил клаксон возвратившегося автомобиля; при этих звуках великий князь сразу вскочил и снова любезно попросил извинить его на минуту.

В парадные двери вошли две тепло укутанные дамы, хозяин дома гостеприимно встретил их, провел по коридору и ввел в комнату поменьше, которую отделял от огромной комнаты-гостиной толстый двойной занавес. Здесь обстановка была еще изысканнее и прекраснее. На столике розового дерева с золотой инкрустацией были разложены белые листы бумаги и стоял какой-то треугольный инструмент на колесиках, похожий на игрушку, но по виду — из чистого золота.

Та из дам, что была выше ростом, откинула с лица черную вуаль и распахнула манто. Она оказалась пятидесятилетней женщиной с морщинистым, печальным лицом. Вторая, помоложе и покруглее, присела на стул поодаль и чуть позади, как полагается прислуге или компаньонке.

— Вы послали за мной, профессор Черубуско, — устало проговорила старшая. — Надеюсь, на этот раз вы сможете сообщить мне нечто более определенное, чем обычно. Я уже почти потеряла веру в ваше искусство. Я бы и сегодня не откликнулась на ваш зов, но уступила настояниям сестры.

— Мадам, — с великокняжеской усмешкой сказал профессор, — истинное искусство не обманывает. Порой, чтобы найти верную потенциальную сверхчувственную ветвь, нужно затратить много времени. Карты, магический кристалл, звезды, формула Сарацина и оракул из По оказались бессильны, это правда. Однако теперь обнаружена, наконец, верная сверхчувственная дорога. Халдейский Хироскоп увенчал наши поиски успехом!

Голос профессора зазвенел; чувствовалось, что он сам верит в то, что говорит. Пожилая дама посмотрела на него с пробудившимся интересом.

— Но ведь его слова, когда я наложила на него ладони, были бессмыслицей, — возразила она. — Так о чем вы говорите?

— Вот его слова, — произнес профессор Черубуско, поднимаясь во весь свой великолепный рост. — «Он явится в колеснице на пятом колесе».

— Я не много в своей жизни видела колесниц, — заметила пожилая дама, — но знаю, что колесницы о пяти колесах не видела ни разу.


— Прогресс, — объяснил профессор. — Все дело в прогрессе науки и техники. Хотя, если быть совсем точным, речь идет не столько о пятом колесе, сколько о запасной шине. Одновременно шел прогресс и в оккультных науках. Мадам, я повторяю: Халдейский Хироскоп принес нам успех. Я могу не только дать ответ на поставленный вами вопрос, но также и предъявить вам самое вещественное доказательство.

Пожилая дама утратила равнодушие неверия и покой неподвижности.

— О, профессор! — воскликнула она, всплеснув руками. — Когда?.. Где?.. Он нашелся? Не терзайте меня неведением.

— Прошу извинить меня на несколько коротких мгновений, — ответил профессор Черубуско. — Думаю, что смогу наглядно доказать вам все могущество истинного Искусства.

Томас мирно дожевывал хлеб с дичью, когда перед ним внезапно возник ученый чародей.



— Готовы ли вы возвратиться под прежний кров, если вам гарантируют доброжелательный прием и былую благосклонность? — спросил он с любезной, царственной улыбкой.

— А что, я похож на чокнутого? — ответил Томас. — С меня довольно этой безлошадной жизни. Но только возьмут ли они меня назад, вот в чем вопрос. Старуха всегда стоит на своем крепче новой спицы в ступице.

— Мой дорогой юноша, — проговорил хозяин дома, — она разыскивает вас по всему свету.

— Отлично! — воскликнул Томас. — Считайте, что место за мной. Ихняя упряжка пузатых дромадеров, которых они зовут лошадьми, здорово портит руку первоклассному кучеру вроде меня; но все равно я берусь за эту работу, док. У них совсем не так уж и плохо служить.

Тут слашавую улыбку на лице Багдадского калифа как рукой сняло. Он посмотрел на отставного кучера с пронзительным подозрением. И сухо сказал: — Позвольте мне узнать ваше имя и фамилию.

— То есть вы меня разыскиваете, а как звать не знаете? — удивился Томас. — Вот это сыщик! Не иначе как вы из центрального бюро расследований. Да я же Томас Мак-Квейд, целый год отработал шофером при ван-смитовской паре слонов, а месяц назад меня рассчитали за то, что... Ну, вы сами видели, как я разделался с вашей совой. Я в два счета пропил все, что у меня было, и когда отвалилась шина с вашего сверхскоростного драндулета, я как раз стоял с бродягами у памятника Уорту и ждал, чтобы мне подали милостыню на ночлежку. Ну как, почему нынче ценятся вразумительные ответы?

Но, к величайшему своему удивлению, Томас почувствовал, что его хватают за шиворот и, ни слова не говоря, тащат к парадной двери, каковая распахивается перед ним, и он с разгону слетает вниз по ступеням, приведенный в движение беспощадно-недвусмысленным пинком калифской туфли.

Едва обретя ясность рассудка и устойчивость тела, отставной кучер со всех ног пустился обратно к Бродвею.

— Ненормальный, — определил он на бегу таинственного автомобилиста. — Такие, видно, у него забавы. А все-таки мог бы раскошелиться на доллар-другой. Мне вон теперь надо торопиться назад в очередь бездомных любителей дарового ночлега, не то их всех успеют распроповедовать по кроваткам.

Когда Томас завершил свою двухмильную пробежку, оказалось, что из всей армии бесприютных налицо лишь взвод в восемь — десять человек. Он занял положенную новоприбывшему позицию на левом фланге задней шеренги. Впереди него стоял тот самый молодой человек, который рассказал ему о больнице и обмолвился о жене и ребенке.

— Как жаль, что я снова вижу вас в этой очереди, — обернувшись к Томасу, сказал молодой человек. — Я думал, вам подвернулось что-то получше.

— Мне-то? — отозвался Томас. — Да я просто пробежался вокруг квартала, чтобы согреться. А публика, я вижу, не очень-то сегодня спешит со своими лептами на богоугодное дело.

— В такую погоду, — вздохнул молодой человек, — благотворительность не только, по пословице, начинается дома, но там же и кончается.

В это время проповедник и его флегматичный ассистент затанули последний псалом, взывая к Провидению и к прохожим. Те из искателей ночлега, у которых температура в горле еще не упала ниже точки замерзания, стали уныло и фальшиво им подтягивать.

И вдруг на половине второго куплета Томас увидел энергичную молодую особу в развевающейся одежде, смело шагавшую навстречу ветру и поперек мостовой с противоположного тротуара прямо к нему.

— Энни! — завопил он и бросился ей навстречу.

— Ах, глупый ты, глупый! — плача и смеясь, говорила Энни, повиснув у него на шее. — Зачем ты это сделал?

— Это все она, горькая, — кратко объяснил Томас. — Но впоследствии — ни-ни. Ни капли. — Он привел ее на тротуар. — А как ты меня заметила?

— Я приехала за тобой, — ответила Энни, крепко держась за его рукав. — Ах ты, глупый, глупый! Профессор Черубуско сказал нам, где тебя найти.

— Профессор Черубу?.. Не знаю такого. Он в какой пивной работает?

— Он ясновидящий, Томас, самый великий в мире. Он говорит, что видел тебя с Халдейским телескопом.

— Врет, — ответил Томас. — Я его не брал. Сроду у меня не было чужих телескопов.

— И еще он сказал, что ты явился в коляске о пяти колесах, или в колеснице, что ли.



— Энни, — вразумляющим тоном сказал Томас, — ну подумай сама. Была бы у меня колесница или там коляска, я давно бы завалился в ней спать. Не дожидался бы, пока меня убаюкают проповедями и псалмами.

— Послушай, ты, глупый человек. Хозяйка говорит, что возьмет тебя назад. Я ее упростила. Но только смотри! И можешь вернуться сегодня же. Твоя комната над конюшной ждет тебя.

— Вот это да! — прочувствованно воскликнул Томас. — Энни, ты лучшая из женщин. Но когда все эти чудеса произошли?

— Нынче, у профессора Черубуско. Он прислал свой автомобиль за хозяйкой, а она взяла с собой меня. Я и раньше там с ней бывала.

— А каких наук он профессор-то?

— Ясновидящий он и чародей. Хозяйка обращается к нему за советами. Он знает все на свете. Только хозяйке от него до сих пор прокунет, хотя она извела на него сотни долларов. Но зато он сказал, что звезды открыли ему, где можно найти тебя.

— А чего старухе понадобилось от этого Чертопузко?

— Семейная тайна, — ответила Энни. — Ну, хватит вопросов. Поехали домой, глупый ты человек.

И они пошли по улице, но Томас вдруг остановился.

— У тебя есть при себе деньги, Энни? — спросил он.

Энни бросила на него подозрительный взгляд.

— Да нет, знаю я эти твои взгляды, — заверил ее Томас. — Ничего подобного. Ни в жизнь, ни капли. Просто там в очереди со мной стоял один малый, которому худо. Он парень славный, и у него есть дети или жены, что ли, и он на больничном листе. Не от выпивки. Если у тебя найдется полдоллара, чтобы ему заплатить за приличный ночлег, было бы самое милое дело.

Пальцы Энни погрузились в недра кошелька.

— Ну конечно, есть у меня деньги, — говорила она. — Полно денег. Целых двенадцать долларов. — И вдруг, с неискоренимой женской подозрительностью к доброте за чужой счет, добавила: — Только приведи его сюда, я на него сперва посмотрю.

Томас отправился исполнять ее повеление. Болезненный юноша из очереди любезно согласился пойти с ним. Но не успели они приблизиться, как Энни, рывшаяся в своем кошельке, подняла голову и сразу завизжала:



— Ой! Мистер Уолтер!

— Это вы, Энни? — слабым голосом пробормотал молодой человек.

— Ой, господи! Мистер Уолтер! А хозяйка-то где только вас не искала!

— Матушка хочет меня видеть? — спросил тот, и краска прилила к его бледным щекам.

— Да говорю вам, она где только вас не искала! Еще бы не хочет. Она хочет, чтобы вы вернулись домой. Обращалась и в полицию, и в морг, и в сыск, и к юристам, и в газеты объявления давала, и награду назначала, чего не перепробовала! Под конец к ясновидящему подалась. Вы ведь поедете домой, мистер Уолтер, прямо вот сейчас, да?

— С удовольствием, раз она меня зовет, — ответил молодой человек. — Три года — долгий срок. Но только, боюсь, мне придется добираться пешком, если, конечно, трамваи сегодня не развозят пассажиров бесплатно. Раньше я на своих ногах обгонял пару гнедых, запряженных в матушкину коляску. Живы ли еще старые коняги?

— Живехоньки, — с чувством отвечал Томас. — Еще лет десять пробегают. Продолжительность жизни королевского слонабуса битюгиссимуса — сто сорок девять лет. Я ихний кучер, вторично прикомандирован на должность пять минут назад. Давайте поедем все вместе на трамвае... если... э-э-э... Энни заплатит за проезд.

Они вошли в вагон, и Энни дала обоим блудным сынам по пятаку на билет.

— Смотри-ка, как она швыряется деньгами, — съязвил Томас.

— В этом кошельке, — торжественно ответила Энни, — ровно одиннадцать долларов и восемьдесят пять центов. Завтра же возьму все эти деньги и отнесу профессору Черубуско, потому что он — самый великий человек на свете.

— Видно, он и впрямь лихой парень, — сказал Томас, — раз умеет делать такие штуки. Я рад, что духи сообщили ему, где меня найти. Если ты дашь мне адрес, я бы как-нибудь заехал и пожал ему руку.

При этом Томас слегка пошевелился на жестком трамвайном сиденье, и садины в нескольких местах на его теле сразу же дали себя знать.

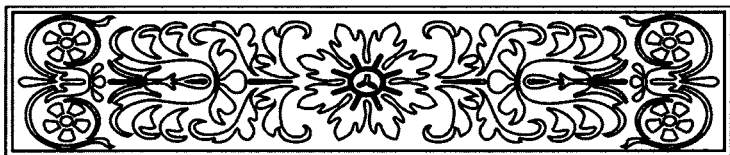
— Послушай, Энни, — озадаченно сказал он, — может, это, конечно, еще игра винных паров, но я вроде бы припо-



минаю, что будто бы ехал в автомобиле с каким-то важным типом, и он привез меня в дом, а там были орлы и электрические фонари. Он угостил меня печеньем и какими-то небылицами; а потом дал пинка и спустил с лестницы. Ежели это мне примерещилось с перепоя, откуда тогда у меня синяки?

— Ладно, помалкивай, — вздохнула Энни.

— Если бы я узнал, где он живет, этот тип, — сказал Томас в заключение, — я бы как-нибудь заехал и набил ему морду.



ПОЭТ И ПОСЕЛЯНИН

Недавно один мой знакомый поэт, всю жизнь проведший в тесном общении с природой, написал стихотворение и принес его редактору.

То была прелестная пастораль, полная живым дыханием полей, пением птиц и ласковым лепетом журчащих ручьев.

Когда поэт, лелея мечту о бифштексе, зашел в другой раз, узнать, как дела, ему вернули рукопись с отзывом: «Очень искусственно».

Мы, его друзья, собрались за столом, чтобы заесть свое возмущение скользкими спагетти и запить дешевым вином.

И тут-то мы вырыли редактору яму. Среди нас был Конант, известный беллетрист, который всю свою жизнь ходил по асфальту, а буколические сцены наблюдал разве только из окна вагона, да и то с душевным отвращением.

Конант тоже написал стихи, он озаглавил их «Газель у родника». То было типичное сочинение человека, который считает, что амариллис не цветок, а пастушка у Феокрита, а все свои сведения о птицах почерпнул из бесед с официантами в ресторане. Конант поставил под стихотворением свою подпись, и мы отправили его тому же редактору.

Все это, конечно, имеет весьма отдаленное касательство к моему рассказу.

Назавтра утром, в то самое время, когда редактор прочел первую строчку стихотворения Конанта, с паром на Западной стороне сошел некто и медленно побрел вверх по Сопок второй улице.

Этот приезжий был молодым человеком с голубыми глазами, разинутым ртом и волосами точно такого цвета, как у бедной сиротки (впоследствии оказавшейся графской дочкой) из пьесы мистера Блейни¹. Брюки у него были плисовые, руки торчали из коротких рукавов куртки, а хлястик

¹ Чарлз Блейни — режиссер и автор множества мелодрам.



приходился под лопатками. Одна штанина была заправлена в сапог, другая болталась поверх голенища. Его соломенной шляпе явно не хватало отверстий для ушей, ибо фасоном она совершенно напоминала лошадиный головной убор. В руке он сжимал саквояж, но описать этот предмет обихода мы не беремся. Даже бостонец не согласился бы носить в таком на службу свои бутерброды и книги. А надухом у приезжего поселянина среди пшеничных прядей торчал клок сена — деревенское рекомендательное письмо, гербовое свидетельство невинности, значок обитателя райских куш, долженствующий оградить его от искушенных городских злодеев.

Горожане шли ему навстречу и понимающе улыбались. Но когда поселянин, стоя в сточной канаве, стал задираť голову на небоскребы, они перестали улыбаться и перестали на него поглядывать. Это уже давно надоело. Кое-кто правда еще задерживал взгляд на его саквояже, чтобы узнать, какие развлечения Кони-Айленда или новые сорта жевательной резинки он рекламирует, но по большей части на него просто не обращали внимания. Даже мальчишки-газетчики и те скучливо морщились, когда он, точно клоун в цирке, шарахался от извозчиков и трамваев.

На углу Восьмой авеню стоял Шулер Гарри, топорща крашенные усы и благодушно поглядывая вокруг. Его тонкая, артистическая натура не могла не страдать при виде такого актерского перехлеста. Он подкрался и стал рядом с поселянином, когда тот, развесив губы, любовался витриной ювелирного магазина.

— Перебор, приятель, — сказал Гарри, критически покачав головой. — Это уж ты лишку хватил. Не знаю, по какой ты части работаешь, но с бутафорией у тебя явный перебор. Клок сена, например, — это даже у Прокторской шайки теперь не в ходу.

— Я вас не понимаю, мистер, — ответил ему простак. — На что мне шайки? Я не в баню приехал из Ольстера, а просто поглядеть на город, потому как с сенокосом мы управились раньше срока. Ну и огромный же городина! Я раньше думал, Поукипси всем городам город, но этот ваш Нью-Йорк еще раз в пять побольше будет.

— Да? Ну, как знаешь, — проговорил Шулер Гарри, подняв брови. — Я ведь не собираюсь соваться, дело хозяйское. Просто вижу, человек перестарался, надо, думаю, совет по-

дать. Что ж, желаю удачи, хоть и не знаю, какой у тебя бизнес. Пошли, пропустим по одной.

— Я и впрямь не откажусь от светлого пивка, — сказал поселанин.

И они отправились в кафе, где у завсегдатаев были каменные лица и бегающие глаза, и сели со своими кружками за столик.

— Вот ладно, что я вас встретил, мистер, — сказал Мякинная Башка. — Сыграем, может, в семерку, а? У меня и картишки с собой.

И он выудил из своего допотопного саквояжа колоду карт — небывалую, бесподобную колоду, засаленную жареным беконом и перепачканную черноземом полей.

Шулер Гарри громко и коротко рассмеялся.

— Нет уж, брат, — твердо ответил он. — Меня этим твоим деревенским видом не купишь. И все-таки я скажу, что ты перебарщиваешь. После семьдесят девятого года так ни в какой глуши уже не ходят. С такой оснасткой ты в Бруклине и парой старых часов не разживешься.

— Вы думаете, у меня денег нету? — гордо сказал Мякинная Башка. Он вытащил на свет Божий плотно скатанную пачку ассигнаций толщиной с кулак и положил на стол.

— Моя доля за бабкину ферму, — пояснил он. — Девять с половиной сотен. Я и надумал — съезжу в город, может, какое дело пригляжу, деньгам применение сделаю.

Шулер Гарри взял пачку в руки и посмотрел на нее чуть ли не с уважением.

— Бывает хуже, — заключил он тоном знатока. — Но все равно в такой одежке ничего у тебя не выйдет. Заведи, брат, себе ботинки цвета беж, черный костюм, соломенную шляпу-канотье с пестрой лентой и толкуй про Питтсбург, грузы и тарифы, да попивай херес за завтраком — тогда, может, и сбудешь эти сомнительные бумажки.

— По какой он части? — полюбопытствовал кое-кто из присутствующих, когда Мякинная Башка собрал свои обогатительные ассигнации и вышел на улицу.

— Видно, фальшивая монета, — пожал плечами Гарри. — А может, он из сыскного отделения. Или это какой-то новый трюк. Слишком уж у него деревенский вид. Не может же быть... мне вдруг пришло в голову... но ведь не может же быть, что это у него настоящие деньги...



А Мякинная Башка побрел дальше. Вскоре его, наверно, опять одолела жажда, потому что он нырнул в винный погребок за углом и заказал пива. У стойки толпилось несколько крайне темных личностей. При взгляде на него глаза их загорелись; но перед лицом такой демонстративной, в нос шибящей деревенской неотесанности интерес их быстро сменился опасливой подозрительностью.

Мякинная Башка перекинул через стойку свой саквояж.

— Пусть постоит у вас часок-другой, мистер, — сказал он, жуя конец ядовитой желтой сигары. — Я погуляю и зайду за ним. Да смотрите в оба: в нем девять с половиной сотен, а вы небось никогда бы и не подумали, на меня глядя-то.

В это время с улицы донеслись звуки фонографа, воспроизводящего игру духового оркестра, и Мякинная Башка ринулся поглазеть на это диво — только хлястик под лопатками мелькнул.

— Дели на всех, Майк, — сказали темные личности, открыто перемигиваясь.

— Да бросьте вы, — отвечал буфетчик, пинком загоня саквояж в дальний угол. — Думаете, я так легко купился? Сразу видно, что он только прикидывается. Какой он фермер? Шестерит у Мак-Аду, и все. Ну и пересолил же он, между прочим. Во всех штатах нет медвежьего угла, где бы сейчас так одевались. Девять с половиной сотен, как бы не так. Девять с половиной дырявых носовых платков — это вернее.

Вдоволь натешившись чудесным изобретением мистера Эдисона, Мякинная Башка вернулся за саквояжем. И потащился с ним вдоль по Бродвею, широко раскрытыми голубыми глазами впивая все, что попадало в поле его зрения. Но Бродвей по-прежнему не принимал его и только мерил взглядами и провожал презрительными улыбками. Из всех старых шуток эта казалась самой знакомой и самой надоевшей. Приезжий поселянин был куда комичнее, нелепее и неотесаннее, чем все, что можно вообразить в хлеву, на пашне или в водевиле, и оттого возбуждал лишь досаду и подозрение. И сено у него за ухом было такое настоящее, такое свежее, оно так благоухало цветущим лугом и так громгласно напоминало о сельской глуши, что даже владелец игры в «скорлупки» при виде его собрал бы свои принадлежности и ушел восвояси.

Мякинная Башка уселся на каких-то ступенях и снова извлек из саквояжа свою пачку желтеньких. Верхнюю два-

дцатку он от нее отслоил и поманил к себе мальчишку-газетчика.

— Сынок, — сказал он, — сбегай-ка куда-нибудь да разменяй мне эту бумажку. А то я остался совсем без мелочишки. Получишь пятак, ежели скоро управишься.

На лице малолетнего газетчика сквозь грязь проступило оскорбленное выражение.

— Ишь ты какой хитрый. Сам меняй свои фальшивые деньги. И одежда на тебе тоже фальшивая. За сто шагов видать.

На углу стоял быстроглазый зазывала игорного дома. Он увидел поселянина и сразу принял холодный, добродетельный вид.

— Мистер, — обратился к нему поселянин. — Я слыхал, у вас тут в городе есть заведения, где можно перекинуться в картишки или, сказать к примеру, в лото. У меня в этом саквояже — девять с половиной сотен, я сам буду из Ольстера, приехал посмотреть, чего у вас тут есть. Не скажете, где человеку поставить на карту долларов этак девять-десять? Хочу потешиться, а потом, глядишь, откуплю себе какое-нибудь дело.


Зазывала поджал губы и стал разглядывать белое пятнышко на ногте своего левого мизинца.

— Да ладно тебе, приятель, ей-богу, — укоризненно сказал он. — Они там в Главном управлении, наверно, сбрендили, если шлют людей в этаким болванском виде. С такой рожей ты к игорному дому на пушечный выстрел не подойдешь. Был уже один, мистер Скотти из Долины Смерти, он тебя давно опередил по части деревенского реквизиата. Катись-ка ты отсюда. Нет, я не знаю злачных мест, где можно поставить полицейский патруль против червонного туза.

И тогда, в который раз отвергнувший великим городом, столь чутким ко всякой искусственности, Мякинная Башка уселся на краю тротуара и созвал свои мысли на конференцию.

— Тут все дело в одежде, — вынес он заключение. — Не иначе. Они думают, что я деревенщина, и не хотят со мной знаться. У нас в Ольстере никто не смеялся над этой шляпой. Но, видать, если хочешь, чтобы ньюйоркцы от тебя носы не воротили, одевайся по-ихнему.

И Мякинная Башка отправился в большой универсальный магазин, где его встретили радостно, и потирали руки,



и снимали с него всяческие мерки, любовно натягивая рулеточную ленту над выпуклостью грудного кармана, где он всего-то хранил на счастье маленький кукурузный початок с четным количеством зерен. Вскоре посыльные с коробками и пакетами уже потянулись к его гостинице на Бродвее...

А в девять часов вечера с крыльца гостиницы спустился некто, в ком Ольстер не признал бы своего. Ботинки цвета беж; канотье моднейшего фасона; светло-серые брюки свежесвыутюжены; из нагрудного кармана элегантного английского пиджака торчит ярко-синий платок. Воротничок — ослепительной белизны, в пору на витрину прачечного заведения; пшеничные волосы аккуратно подстрижены; и клочка сена за ухом, разумеется, нет.

Минуту он постоял во всем своем великолепии, точно праздный бульвардье, обдумывающий маршрут вечерних развлечений. И пошел по людной, ярко освещенной улице легкой упругой походкой миллионера.

Но пока он там стоял, его успела заметить пара самых наметанных и зорких глаз в городе. Крупный брюнет со светлыми глазами одним движением бровей подозвал к себе двух сообщников, топтавшихся у подъезда гостиницы.

— Фермер с монетой, — сказал брюнет. — Зеленый, как огурчик. За мной!


В половине двенадцатого в полицейский участок на Со-рок седьмой улице ворвался пострадавший со сбивчивой, скорбной повестью на устах.

— Девять с половиной сотен! — задыхаясь, твердил он. — Вся моя доля за бабкину ферму!

Дежурный сержант с трудом добился от него имени — Джеймс Бултанг, проживающий в Долине Акаций, округ Ольстер; а затем стал записывать, как выглядели обидчики.

Когда Конант зашел к редактору справиться о судьбе своего стихотворения, его без задержек препроводили прямо в кабинет, уставленный статуэтками работы Родена и Дж. Дж. Брауна.

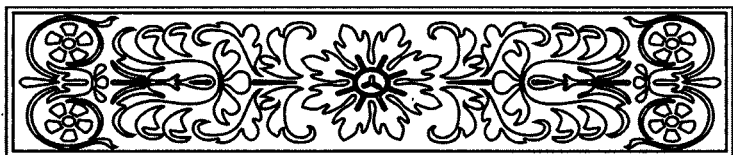
— Едва я прочел первую строку «Газели у родника», — сказал ему редактор, — как сразу понял, что передо мной произведение человека, всю жизнь прошедшего лицом к лицу с Природой. Меня не сбilo с толку совершенство формы. Просто возникло такое чувство — прошу простить из-



битое сравнение, — будто живое, свободное дитя полей и лесов в модной городской одежде шагает по Бродвею. Одеждой не скроешь человека.

— Благодарю, — сказал Конант. — Чек, я надеюсь, будет, как всегда, в четверг?

Морали этого рассказа как-то спутались. Вот две на выбор: «Сиди у себя на ферме», или «Не пиши стихов».



РЯСА

В больших городах таинственные происшествия следуют одно за другим с такой быстротой, что читающая публика, равно как и друзья Джонни Белльчемберза, уже давно перестали выражать свое удивление по поводу его таинственного и необъяснимого исчезновения, случившегося год назад. Теперь тайна уже разгадана, но разгадка ее так необычайна и кажется столь недопустимой с обывательской точки зрения, что только немногие избранные, бывшие в близких отношениях с Джонни, вполне ей верят.


Как известно, Джонни Белльчемберз принадлежал к тесному избранному кругу общества. Не отличаясь тщеславием, свойственным многим представителям этого круга, которые стараются обратить на себя всеобщее внимание эксцентричными выходками и выставлением напоказ своего богатства, он все же всегда был *au courant* всего, что могло бы придать блеск его положению на высшей ступени общественной лестницы.

Он особенно славился своей манерой одеваться. В этом отношении он приводил в отчаяние всех своих подражателей. Всегда безукоризненно чистый и аккуратный, одетый с иголки, обладающий обширнейшим гардеробом, он, по общему признанию, одевался лучше всех в Нью-Йорке, а следовательно, и в целой Америке. Любой портной счел бы за счастье сшить ему костюм даром; подобный клиент явился бы бесценной рекламой. Его слабостью были брюки. Тут могло его удовлетворить только совершенство. Он также относился к малейшей складке не на месте, как другой к заплатке. Он нанял человека, который целыми днями только и делал, что утюжил эти принадлежности туалета, которых, кстати, у Белльчемберза было несметное количество. Друзья говорили, что он не мог носить одни и те же брюки дольше трех часов без смены.

Джонни исчез совершенно неожиданно. В течение трех дней его отсутствие не особенно беспокоило его друзей, но затем они начали принимать обычные меры к розыску его. Но все было тщетно. Он не оставил ни малейшего следа. Тогда начали доискиваться причин, но и причин нельзя было найти. Врагов у него не было, долгов — также. Женщины не играли роли в его жизни. На текущем счету в банке у него лежало несколько тысяч долларов. Никаких странностей за ним не замечалось: наоборот, он отличался в высшей степени спокойным и уравновешенным характером. Все меры к розыску пропавшего были приняты, но без всякого результата. Этот случай был один из тех, — участившихся за последние годы, — когда человек исчезает, подобно сгоревшей свече, не оставив после себя даже дыма.

В мае месяце двое из друзей Бельльчемберза, Том Айрз и Ланселот Джиллиам, решили предпринять прогулку по ту сторону океана. Разъезжая по Италии и Швейцарии, они однажды услышали про монастырь в Швейцарских Альпах, в котором можно было найти кое-какие достопримечательности, более интересные, чем обычные приманки для туристов. Монастырь считался почти недоступным для обыкновенных путешественников, так как был построен на горе с чрезвычайно крутыми склонами, окруженной пропастями. Для американцев он представлял интерес, благодаря трем обстоятельствам, которые, впрочем, никогда этим монастырем не рекламировались. Во-первых, монахи умели готовить совершенно исключительный нектароподобный напиток, который, по слухам, далеко превосходил и бенедктин и шартрез. Во-вторых, у них был огромный медный колокол, отлитый так чисто и правильно, что он не переставая звучал с тех пор, как в него позвонили в первый раз, триста лет назад. Наконец, утверждали, что ни один англичанин никогда не переступил порога монастыря. Айрз и Джиллиам решили, что эти слухи надо проверить.

Целых два дня они употребили на то, чтобы добраться, с помощью двух гидов, до монастыря Сен-Годро. Он возвышался на замерзшей, открытой ветрам скале, и снег лежал вокруг него предательскими сползающими кругами. Монахи, на обязанности которых лежало принимать гостей, встретили их очень радушно. Их угостили ликером, который показался им необычайно крепким и живительным. Они услышали звон огромного, вечно поющего колокола и



узнали, что они действительно первые иностранцы, посетившие эти серые каменные стены, внутрь которых еще не ступала нога беспокойного англичанина, успевшего заглянуть во все уголки земного шара.

В день прибытия, в три часа дня, молодые ньюйоркцы отправились вместе с добрейшим братом Христофором в длинный холодный коридор монастыря, чтобы увидеть шествие братии в трапезную. Монахи шли медленно, парами, наклонив голову и бесшумно ступая ногами, обутыми в сандалии, по выбитым каменным плитам. Когда они поравнялись с посетителями, Айрз внезапно схватил Джиллиама за руку.

— Посмотри, — взволнованно сказал он, — вон на того, который проходит как раз мимо тебя, — сюда, ближе к нам, — он держит руку у пояса. Провались я на этом месте, если это не Джонни Бельчемберз!

Джиллиам взглянул и узнал исчезнувшего законодателя мод.

— Каким чертом, — с удивлением сказал он, — занесло сюда Белля? Не может быть, Томми, чтобы это был он. Никогда не слышал, чтобы Белль отличался особой религиозностью. Откровенно говоря, приходилось слышать от него такие проклятия, когда он правил четверкой и у него что-нибудь не ладилось, что любая церковь предала бы его за них военно-полевому суду.

— Это Белль, вне всякого сомнения, — твердо сказал Айрз, — или же мне необходимо сейчас же отправиться к хорошему окулисту. Но кто бы мог подумать, Джонни Бельчемберз, король франтов, сливки общества, так сказать, занимается покаянием в этом холодильнике, одетый в купальный халат табачного цвета! У меня ум за разум заходит! Давай спросим нашего приятеля, который нас принимал.

Отправились за разъяснениями к брату Христофору.

Монахи уже успели войти в трапезную. Он не понял, о ком говорили молодые люди. Бельчемберз? Да ведь поступающие в монастырь Сен-Годро отказывались от своих мирских имен, когда произносили обет. Гости желают поговорить с одним из монахов? Пусть они дадут себе труд пройти в трапезную и указать, с кем именно: отец настоятель, несомненно, даст нужное разрешение.

Айрз и Джиллиам прошли в залу, где обедала братия, и указали брату Христофору монаха, замеченного ими в ко-

ридоре. Да, это, несомненно, был Джонни Белльчемберз. Теперь они ясно видели его лицо. Он сидел среди своих неопрятных товарищей, опустив глаза вниз, и ел суп из грубой глиняной миски.


Настоятель разрешил путешественникам свидание с монахом, и они стали ждать его в приемной. Когда он вошел, мягко ступая сандалиями, Айрз и Джиллиам оба остановились перед ним в полном недоумении и изумлении: это был Джонни Белльчемберз, но выглядел он совершенно другим человеком. На лице его отражались неизреченное спокойствие, радость достижения, полнейшее и совершеннейшее счастье. Он держался гордо и прямо, и в глазах его было ласковое, просветленное выражение. Он был чист и аккуратен, как, бывало, в Нью-Йорке, в прежние дни. Но какая разница в его костюме! Теперь, по-видимому, на нем была только одна одежда — длинная ряса из грубого коричневого сукна, стянутая у пояса веревкой и падавшая свободными, прямыми складками до полу. Он пожал руку своим гостям со свойственными ему изяществом и непринужденностью. Если чувствовалось какое-нибудь стеснение, то, во всяком случае, не Белльчемберз выказал его. В комнате не было стульев, и разговор пришлось вести стоя.

— Рад тебя видеть, старина, — сказал немного растерявшийся Айрз. — Не ожидал встретиться здесь с тобой. В общем, ты это недурно придумал. Большой свет надоел своей неискренностью. Представляю себе, как должно быть хорошо, когда откажешься от суеты и предашься... эээ... созерцанию и... э-э-э... молитвам и песнопениям и тому подобному.

— Эй, брось это, Томми, — весело сказал Белльчемберз. — Не бойся, я не стану тебя угощать высокопарными речами. Я проделываю все эти штуки вместе с остальной компанией, потому что это требуется правилами. Здесь ведь я брат Амвросий, понимаете? Мне дали ровно десять минут, чтобы поболтать с вами. Что это у тебя, Джиллиам, жилет нового фасона? Такие теперь носят на Бродвее?

— Да, это наш прежний Джонни, — радостно воскликнул Джиллиам. — На кой черт... то есть, я хочу сказать — зачем... Эй, да провались оно совсем! Зачем ты это сделал, старина?

— Сбрось рясу, — стал его умолять Айрз, чужь не плача, — вернись вместе с нами. Вся старая компания с ума сойдет от восторга. Это совсем неподходящее дело для тебя, Белль. Я наверное знаю, что около полдюжины барышень носили



в душе траур, когда ты нас покинул таким необъяснимым образом. Подай в отставку, или достань разрешение от обетов, или что там еще нужно, чтобы уйти с этого ледяного завода. Ты здесь схватишь воспаление легких, Джонни, и... и... батюшки! Да ты без носков!

Белльчемберз опустил глаза, посмотрел на свои ноги, обутые в одни сандалии, и улыбнулся.

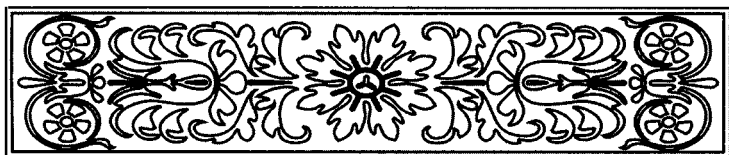
— Вы, ребята, ничего не понимаете, — успокаивающе сказал он. — С вашей стороны очень мило звать меня обратно, но я больше не вернусь к прежней жизни. Я здесь достиг цели всех моих стремлений. Я вполне счастлив и доволен. Здесь я проведу остаток моих дней. Вы видите эту одежду, которую я ношу?

Белльчемберз с нежностью дотронулся до рясы, ниспадавшей прямыми складками.

— Наконец-то я нашел платье, которое не морщит на коленях. Я достиг...

Но в эту минуту по всему монастырю раздался гулкий звон большого медного колокола. По-видимому, он немедленно призывал монахов к молитве, так как брат Амвросий наклонил голову, повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни одного слова. Только проходя через каменную арку, он слегка махнул рукой, как бы прощаясь с друзьями. Молодые люди так и не видали его больше до своего ухода из монастыря.

Вот какой рассказ привезли с собой Томми Айрз и Ланселот Джиллиам из последнего путешествия по Европе.



ЖЕНЩИНА И ЖУЛЬНИЧЕСТВО


На днях я случайно встретился с моим старым приятелем Фергюсоном Поогом — убежденным мошенником высшего полета. Штаб-квартира его — Западное полушарие, а работает он во всех отраслях, начиная с распродажи городских участков среди девственных прерий и кончая импортом в лесистый Коннектикут деревянных игрушек, выделанных из скорлупок орехов, смолотых посредством гидравлического пресса.

Иногда, после удачного и прибыльного дела, Поог приезжает в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть. Он уверяет, что пустыня — кувшин вина, каравай хлеба «и о, Ты, в пространстве Бесконечный» — дают ему столько же отдыха и развлечения, как катание с гор в Луна-парке президенту Тафту.

— Для отдыха, — говорит Поог, — мне необходим большой город. Лучше всего — Нью-Йорк. Правда, я недолюбиваю ньюйоркцев, но Манхеттен¹ почти единственное место на земном шаре, где их не видно.

Когда Поог находится в столице, его всегда можно отыскать в двух местах. Одно из них — небольшая лавка букиниста на Четвертой авеню, где он читает книги по двум интересующим его вопросам: магометанству и набивке чучел. Я застал его в другом — в снимаемой им на Восемнадцатой улице комнате — спальне и приемной одновременно. Он сидел в одних носках и пытался извлечь «Берега Уабаша» из маленькой цитры. Вот уже четыре года, как он старается выудить эту мелодию, но до сих пор еще так далек от цели, что не мог бы зацепить ее даже самой длинной удочкой для форели. На туалете лежали револьвер Кольта сорок пятого калибра вороненой стали и изрядное количество дестяток и двадцаток, туго свернутых в внушительных размеров пачку.

¹ Центральная часть Нью-Йорка.



Рядом, в передней, порхала горничная с убирательным выражением лица; она не могла решиться ни уйти, ни войти, смущенная носками Поога, терроризированная Кольтом и замороженная, как истая дочь столицы, волшебной пачкой.

Не было человека более прямого и простодушного, чем Поог. По сравнению с открытым выражением его лица, значение крика месячного Генри Джеймса, требовавшего груди, могло показаться туманнее халдейской криптограммы. Он с гордостью рассказывал мне эпизоды из его профессии, на которую он смотрел как на искусство. Я полюбопытствовал узнать, знал ли он женщин, преуспевавших в этой профессии.

— Дам? — с западным рыцарством поправил Поог. — Во всяком случае, в очень ограниченном количестве. Они не могут специализироваться на одной какой-нибудь отрасли, потому что им постоянно приходится вести работу более общего характера. Они не могут иначе. Кто на земле владеет деньгами? Мужчины! А слыхали ли вы, чтобы мужчина когда-нибудь дал женщине хоть один доллар, не требуя компенсации? Мужчине он готов отдать все свое состояние — легко, свободно и даром. Но если он опустил хоть один пенни в один из автоматов, поставленных Соединенным Обществом Дочерей Евы, и ананасная жевательная резинка не выпала тотчас же после того, как он дернул рычаг, он сейчас же начинает жаловаться так громко, что вы его услышите за четыре квартала. Мужчина — самый трудный барьер, который женщине приходится брать. Он не отличается щедростью, и для того, чтобы заставить его заплатить, ей приходится работать сверхурочно. В двух случаях из пяти ее усилия пропадают даром. Она не может прибегнуть к техническим усовершенствованиям и дорогим приспособлениям. Он тотчас же заметил бы их, и ее карты были бы сразу раскрыты. Женщинам приходится загребать, что попадает им под руку, — а ведь ручки-то у них нежные. Есть такие, у которых хорошо работают глазные шлюзы: те другой раз вырабатывают до тысячи долларов с промытой тонны. Ну а что делать тем, у которых глаза не на мокром месте? Им приходится прибегать к письмам (с подписью), фальшивым локонам, сочувствию, трясению бедрами, умению вкусно готовить, сентиментальным присяжным, умению втирать очки, к шелковым нижним юбкам, предкам, румянам, анонимным письмам, саше из фиалок, свидетелям, револь-

верам, турнирам, серной кислоте, лунному свету, кольд-крему и вечерним газетам.

— Ты меня возмущаешь, Ферг, — сказал я. — Неужели ты считаешь, что счастливые и согласные супружества тоже основаны на таком шантаже?

— Ну, — сказал Поог. — И там, разумеется, шантаж, но не такого сорта, который требует вмешательства полиции, вызова экстренного наряда или который мог бы дать благодарный сюжет для сенсационной пьесы.

Вот как происходит дело: предположим, что ты — миллионер с Пятой авеню. Ты возвращаешься домой и приносишь особе, сделавшей на тебя заявку, брильянтовую брошку в девять миллионов долларов. Ты преподносишь ей драгоценность. Она восклицает: «О, Джордж!» Она подходит к тебе и целует тебя. Ты ждал поцелуя — ты получил. Вы квиты. Это шантаж.

Но я хочу тебе рассказать про Артемизию Блай. Она была сама из Канзаса и напоминала пшеницу во всех ее составных частях. Волосы у нее были светлые, как усики на колосьях; стройна она была и высока, как стебель, выросший в низине в сырое лето; глаза у нее были большие и круглые, как спорынья, и всем цветам она предпочитала зеленый.

Во время моего последнего путешествия по злачным местам вашего уединенного городка я познакомился с неким Вокрассом. Его оценивали... то есть у него действительно был миллион. Он мне сказал, что работает по уличной части. «Уличный торговец?» — иронически спрашиваю я. «Вот именно, — отвечает он. — Я главный пайщик акционерного общества бетонных мостовых».

Я как-то привязался к нему. Дело в том, что я встретился с ним на Бродвее, однажды вечером, в такую минуту, когда я утратил бодрость духа, счастье, портсигар и деньги. На нем все блестело: цилиндр, брильянтовые запонки и белая крахмальная манишка. Особенно манишка. Я же выглядел чем-то средним между графом Толстым и июньским раком. Мне ужасно не повезло. Я только что... Да пусть мне только попадется этот мерзавец!

Вокрасс остановился и поговорил со мной несколько минут, а потом потащил меня обедать в шикарный ресторан. Там нас угостили Бетховеном, соусом а-ля бордолез, французскими шансонетками, кремом франжипан, лике-

ром и папиросами. Я знаком с этими заведениями: я их посещаю, когда я на коне.

Но на этот раз я был без гроша, и вид у меня был, наверное, такой же жалкий, как у художника, рисующего иллюстрации для журналов; волосы у меня были в поэтическом беспорядке, точно я собирался выступить на вечеринке бруклинской богемы и прочесть главу из «Эльзи в школе». Вокрасс носился со мной как с писаной торбой. Ему было наплевать, что лакей был скандализован. Наконец, его поведение объяснилось.

— Мистер Поог, — объявляет он, — я вас весь вечер эксплуатирую.

— Продолжайте в том же духе, — говорю я. — Надеюсь, вам еще не скоро надоест.

Тут он мне, понимаешь, и рассказал, что он за человек. Он ньюйоркец. У него было одно желание — обратить на себя внимание. Ему хотелось быть на виду. Он мечтал о том, чтобы на него указывали, кланялись ему и говорили другим: «Вот идет Вокрасс». Он сознался, что это была мечта его жизни. У него был всего миллион, и потому он не мог приобрести известность швырянием денег направо и налево. Чтобы обратить на себя внимание, он однажды засадил чесноком небольшую площадь на восточной окраине города, — для бесплатного пользования бедными людьми; но Карнеги, услышавший про это, тотчас же переплюнул его и построил на этой площади бесплатную библиотеку на гэльском наречии. Три раза пробовал Вокрасс попасть под автомобиль, но в результате добился только того, что сломал себе пять ребер и прочел в газетах заметку о том, что автомобиль переехал неизвестного роста пять футов десять дюймов, с четырьмя запломбированными зубами; высказывалось предположение, что это последний из знаменитой шайки хулиганов Ред-Лири.


— А вы попробовали бы репортеров, — сказал я.

— За прошлый месяц, — говорит Вокрасс, — я истратил сто двадцать четыре доллара восемьдесят центов на угощение репортеров завтраками.

— Принесло ли это какой-нибудь результат? — говорю я.

— Чуть не позабыл, — говорит он, — прибавьте восемь долларов пятьдесят центов за пепсин. Да, у меня сделалось расстройство желудка.

— Каким же образом я содействую сейчас вашим усилиям приобрести известность? — спрашиваю я. — Контрастом?



— Сегодня я действительно имел в виду нечто в этом роде, — говорит Вокрасс. — Мне очень жаль, но я вынужден прибегать к эксцентричным выходкам.

Тут он вдруг встает, роняет салфетку в тарелку с супом и отвешивает поклон какому-то господину, который сидит в дальнем углу комнаты под пальмой и ест картошку.

— Комиссар полиции, — довольным тоном объявляет мой честолюбец.

— Друг, — быстро говорю я. — Лезьте вверх сколько хотите, но не выбивайте сами ступеньку из-под ваших-же ног. Если вы пользуетесь мной как ступенькой, для того, чтобы раскланиваться с полицией, вы рискуете испортить мне аппетит; мне будет все время казаться, что меня могут арестовать. Надо быть более внимательным к другим.

Когда подали фрикасе в кастрюльке по-квакерски, мне вдруг пришла в голову мысль об Артемизии Блай.

— А что вы скажете, если я устрою так, что о вас станут писать в газетах? По одному или по два столбца в день во всех решительно — и ваш портрет во многих, и все это на целую неделю? Сколько бы вы дали за это?

— Десять тысяч долларов, — сразу повеселев, сказал Вокрасс. — Но только, чур, без убийства, — говорит он, — и затем я не согласен еще приехать на бал в розовых брюках.

— Этого я от вас и не потребую, — говорю я. — То, что я предлагаю, вполне совместимо с честью и достоинством мужчины и даже будет очень шикарно. Велите слуге подать коньяку и прочие южные фрукты, и я сам сейчас изложу мой *opus moderandi*.

Через час мы заключили сделку. Я послал телеграмму в Салину мисс Артемизии Блай. На следующее же утро она отправилась к старшине четвертой пресвитерианской общины, захватив с собою две фотографии и собственноручное письмо и получила от него взбучку и 80 долларов. Во время короткой остановки в Топеке она успела выменять у вице-председателя одного акционерного общества, в обмен на молниеносную встречу и любовную записочку, — железно-дорожный указатель и пачку кредиток, на обертке которой было нацарапано: «250 долларов».

Через пять дней после получения моей телеграммы она сидела вечером, вся декольте и притом разодетая, и ждала меня с Вокрассом; мы должны были повезти ее обедать в один из семейных ресторанов для дам, куда мужчины допу-



скаются только в том случае, если они играют в безик и не курят ничего более крепкого, чем папиросы из порошка для уничтожения волос.

— Она сногшибательна, — сказал Вокрасс, когда увидел ее. — Газеты отведут ей не менее двух столбцов. Факт!

Вот какой план мы втроем составили: это была настоящая сделка. Вокрасс должен был в течение месяца афишироваться с мисс Блай со всей откровенностью, страстностью и шиком, на которые он был способен. Этим, конечно, он еще ни на йоту не приближался к цели. Господин в белом галстуке и лакированных ботинках, сыплющий из широкого конца рога избытка кредитки на содержание и увеселение высокой стройной блондинки, представляет собой зрелище, весьма обыкновенное в Нью-Йорке; таких господ вы можете видеть там не менее, чем синих черепах во время припадка белой горячки. Но он, кроме того, должен был писать ей ежедневно любовные письма самого ужасного свойства, — вроде тех, которые жены издают после смерти мужей. Через месяц он должен был ее бросить, а она должна была предъявить ему иск в сто тысяч долларов за неисполнение обещания жениться.

Мисс Артемизия должна была получить десять тысяч долларов в виде вознаграждения, если она выиграет дело, если же она проиграет, то эти деньги ей все равно уплачивались. Мы составили письменный договор.

Иногда я сопровождал их во время их выездов, но не особенно часто. Я как-то не подходил под их тон. Иногда она вытаскивала его письма и начинала разбирать их, придираясь к каждому слову, точно это были коносаменты на товар.

— Эй, вы! Послушайте-ка! — начинала она. — Что это такое, скажите на милость? Письмо к торговцу железными изделиями от его племянника, узнавшего, что его тетка заболела крапивной лихорадкой? Эх вы, восточные растяпы! Понимаете вы в любовных письмах, как канзасский кузнечник в буксирных пароходах. «Дорогая мисс Блай!» — из таких выражений вы, что ли, думаете, пекутся свадебные пироги? Вы воображаете, что можете этим заинтересовать публику на суде? Если вы хотите, чтобы лучи славы коснулись ваших редющих седин, вы должны приняться за дело всерьез и называть меня «мумуличка», «кукушечка», «тигренок мой», а подписываться не иначе как: «Моей малень-

кой пупусиньке-мумуличке — собственный большой гадкий мальчишка». Вам надо поумнеть.

После этого Вокрасс начал наяривать. Я уже представлял себе, как будут заседать присяжные, а женщины в публике станут срывать друг с друга шляпки, чтобы лучше видеть и слышать. Я предвидел время, когда мистер Вокрасс станет не менее популярным, чем архиепископ Кранмер, Бруклинский мост или сэндвичи с салатом и сыром. Ему, по-видимому, очень нравилась подобная перспектива.

Наконец, они назначили день; я стоял на Пятой авеню, у шикарного ресторана, и наблюдал через окно. Вошел судебный рассыльный и вручил Вокрассу, сидевшему за столом, повестку. Все обернулись и стали смотреть на них, и он сидел гордый, как Цицерон. Я вернулся к себе домой и закурил сигару в пять центов, так как считал, что десять тысяч долларов у нас в кармане.

Часа два спустя кто-то постучался ко мне в дверь. Оказалось, что это Вокрасс и мисс Артемизия; она держала его под руку и прижималась, — поверишь ли, прижималась! — к нему. И они мне объявляют, что они только что ходили венчаться. Потом они начали изрекать какой-то избитый вздор про любовь и тому подобное. А затем они положили на стол пакет, сказали «прощайте!» и ушли.

— Вот потому-то я и говорю, — заключил Фергюсон Поог, — что женщина никогда не достигнет больших успехов в специальных отраслях. Она слишком занята своим естественным призванием и все свои природные способности к шантажу определяет на службу инстинкту самосохранения и жажде удовольствий.

— А что было в пакете, который они оставили тебе? — с обычным любопытством спросил я.

— Эх, — сказал Фергюсон, — там был билет в телячьем вагоне до Канзас-Сити и две пары старых штанов мистера Вокрасса.



КОМФОРТ

По случаю торжеств кучка раф-райдеров сделала визит Нью-Йорку. Эти лояльные отставные вояки чрезвычайно украсили своим присутствием торжества. Газетные репортеры выкопали из своих чемоданов старые широкополые шляпы и кожаные пояса и смешались с толпой визитеров. Бравые сыны Запада без особого восторга приняли к сведению небоскребы (не выше третьего этажа), позевали на Бродвее, повалились, свернувшись, в широких креслах в холлах гостиниц и в общем являли вид скучный и унылый, напоминая почтенного полковника, отлученного на время маневров от услуг своего камердинера.

От этой делегации ротозеев отвалился как-то один из членов ее, некто «Репейник» Най из Пайн-Фетера, Аризона.

Ежедневный циклон, пронсящийся по Шестой авеню, оторвал его от общества его верных сотоварищей. Пыль, поднятая тысячью шуршащих юбок, ослепила его; мощный грохот вагонов надземной железной дороги оглушил его; ослепительный блеск двадцати тысяч сияющих глаз смутил его воображение.

Шторм поднялся так внезапно и был так страшен, что первым импульсом «Репейника» было броситься на землю и ухватиться за какой-нибудь корень, но вскоре он сообразил, что это была не стихийная, а человеческая буря, и он спасся от нее в подъезд какого-то дома.

Репортеры писали, что ничто, кроме широкополых шляп, не изобличало западного происхождения этих северных гаучо. Да усовершенствует небо репортерские глаза! Костюм из черного диагоналя, измятый в невероятных местах; ярко-голубой самовяз, завязанный на фабрике; низкий отложной воротничок времен Сеймура и Блэра, лоснящийся, как белые эмалевые буквы на окнах день-и-ночь-кроме-воскресных-дней-открытых-ресторанов; согнутые от вечного сидения в седле колени; своеобразный сгиб

большого и других пальцев правой руки от привычного крепкого сжимания лассо; глубоко всосавшийся загар, какого не в состоянии вызвать самое горячее солнце вне Запада; редко мигающие голубые глаза, автоматически разбивающие движущуюся толпу на четверки, как будто это табун, выпускаемый из загона; выражение изолированности и величия, достойное императора или человека, чей кругозор не распространяется дальше, чем на однодневный переезд, — все эти отпечатки Запада лежали на «Репейнике» Нае. О, да — он носил широкополую шляпу, благосклонный читатель, — совершенно такую же, какую надевают кондукторы из почтовой конторы на Мэдисон-сквере, когда они отправляются в Бронкс по воскресеньям после обеда.

Вдруг «Репейник» Най бросился в самую середину потока, ухватил какого-то человека, вытащил его из главного фарватера, по которому текло столичное стадо, и дал ему такого тумака по затылку, что тот отшатнулся к стене.

Жертва подняла свою упавшую с головы шляпу с сердитым выражением лица ньюйоркца, потерпевшего оскорбление и намеревающегося написать по этому поводу письмо в редакцию. Но, взглянув на обидчика, человек убедился, что тумак был только выражением любви и дружеского расположения, сообразно манере Запада, который приветствует друга оскорблениями, гвалтом и кулаками, а врага встречает церемонно и выдержанно, как того требует правильный прицел.

— Святая яичница! — воскликнул «Репейник», крепко ухватив плененную им скотину за переднюю ногу. — Неужто это длинноногий Мерритт?

Другой был... вы ежедневно можете встретить на Бродвее этот образчик: деловой человек: шляпа — последнее слово моды; хорошие — парикмахер, дела, пищеварение и портной.

— «Репейник» Най! — воскликнул он, ухватив покаравшую его руку. — Сердечный друг! Как я рад видеть тебя! Какими чудесами? Ах, да, конечно, торжества! Помню, ты записался в раф-райдеры. Чудесно! Идем, позавтракаем вместе. Никаких! Без отказа!

«Репейник» с грустью, но решительно прижал его к стене рукой размера, очертаний и цвета хорошего седла.

— Длинноногий, — меланхолически сказал он голосом, расстроившим моментально уличное движение, — что они

сделали с тобою? Ты ведешь себя совершенно как горожанин. Они превратили тебя в строку из «Всего Нью-Йорка». «Идем позавтракаем вместе!» В наши дни ты не позволил бы себе говорить о жратве в таких оскорбительных выражениях.

— Я уже семь лет живу в Нью-Йорке, — сказал Мерритт. — Прошло восемь лет с тех пор, как мы с тобой клеймили коров у старичины Гарсия. Зайдем, во всяком случае, в кафе. Приятно все-таки опять услышать «жратва».

Они пробрались сквозь толпу к отелю и, как бы повинувшись какому-то естественному закону, направились прямо к стойке бара.

— Говори, — пригласил «Репейник».

— Коньяку, — сказал Мерритт.

— О боги! — воскликнул «Репейник». — И это тот самый человек, с которым мы вместе видывали зеленого змия в кабачках на Западе! Коньяку? Ах, чтоб тебе! Натурального виски! Ты платишь.

Мерритт улыбнулся и заплатил.

Они позавтракали в маленьком продолжении столовой, сообщавшемся с кафе. Мерритт искусно уклонился от выбора своего друга, который уперся на яичнице с ветчиной, — в сторону пюре из сельдерея, котлетки из форели, пирога с куропаткой и соответствующего салата.

— В тот день, — с огорчением и громоподобным гласом заявил «Репейник», — когда я не буду в состоянии выпить больше одной рюмки перед закуской с приятелем, которого я встретил после восьми лет разлуки в тридцатиценто-вом городе, за столом два на четыре фута, в час дня в третий день недели, — пусть девять мустангов перебрыкнут меня сорок раз через шестьсот сорок квадратных акров пастбища. Зарубил себе на носу эту статистику?

— Правильно, старина, — засмеялся Мерритт. — Официант, принесите мне рюмку абсента фραπε. А тебе что, «Репейник»?

— Натурального, — траурным голосом ответил Най. — Эх, Длиннорогий! Ты пил его когда-то прямо из горлышка! Прямо из бутылки, в седле, на всем скаку — да настоящее виски, арizonское, не эту бурду... Э, да что! Это ты платишь!

Мерритт подсунул талон за напитки под свой бокал.

— Правильно. Ты, вероятно, полагаешь, что город испортил меня. Я такой же хороший ковбой, как и ты, «Репей-

ник», но мне как-то не приходит даже и в голову вернуться к прежней жизни. В Нью-Йорке имеешь комфорт... комфорт! Я хорошо зарабатываю и хорошо проживаю деньги. Довольно с меня мокрых одеял, и гонки за скотом в снежную бурю, и сала с холодным кофе, и встряски раз в полгода. Я полагаю, что буду околачиваться здесь и впредь. Махнем вечером в театр, «Репейник», а потом пообедаем у...

— Я скажу тебе, кто ты такой, Мерритт, — ответил «Репейник», положив один локоть в его салат, а другой в его масло. — Ты сгущенная, бесплодная, безусловная, коротко-рукая, козоухая мисс Салли Уокер. Господь сотворил тебя перпендикулярным и приспособленным для езды раско-рякой и для употребления крепких слов в оригинале. Ты же осквернил творенье Его рук, перекинув себя в Нью-Йорк, надев маленькие ботиночки, завязанные шнурками, и гримасничая. Я видал, как ты арканил и связывал быка в сорок две с половиной секунды. Если бы ты теперь увидел быка, ты побежал бы сделать заявление об этом в полицию. А эти шарлатанские напитки, которые ты прививаешь своему организму, эти настойки из бурьяна с желудями пополам с киндер-бальзамом — неужели они согласуются с человеческой природой? Ненавижу тебя таким!

— Видишь ли, «Репейник», — ответил Мерритт с оттенком извинения в голосе. — До некоторой степени ты прав. Подчас я и сам чувствую, точно я был вскормлен бутылкой. Но говорю тебе, Нью-Йорк предоставляет человеку комфорт. Есть в нем что-то такое! Зрелища и толпа — и как это все меняется ежедневно — и самое дыхание всего этого. Гор-род словно забрасывает аркан длиною в милю вокруг твоей шеи и оборачивает другой конец его где-то около Тридцать четвертой улицы¹. Я сам не знаю, что это такое...

— Бог знает, — печально ответил «Репейник». — И я тоже знаю: Восток проглотил тебя. Ты был дичью, а теперь ты телятина. Ты напоминаешь мне цветочный горшок в окне. Даже в горле у меня от тебя пересохло!

— Рюмку зеленого шартреза, — приказал Мерритт официанту.

— Натурального виски, — вздохнул «Репейник». — Ты платишь, ренегат.

¹ 34-я ул и ца — центр, в котором расположены главные увеселительные места.



— Виноват, но заслуживаю снисхождения, — сказал Мерритт, — ты не можешь этого понять, «Репейник». Здесь такой комфорт, в Нью-Йорке, что...

— Одолжи мне, пожалуйста, твою нюхательную соль, ты, мисс Салли! — воскликнул «Репейник». — Если б я не видел своими глазами, как ты однажды отшил трех вооруженных бахвалов из Мазатцай-Сити с незаряженным револьвером в руках...

Голос «Репейника» заглох в глубоком огорчении.

— Сигар! — сурово крикнул он официанту, чтобы скрыть свое волнение.

— Пачку турецких папирос, — сказал Мерритт.

— Ты платишь, — сказал «Репейник», с трудом скрывая свое презрение.

В семь часов они пообедали в рекламирующемся в газетах ресторане. Там собралось блестящее общество. Сливки. Оркестр играл увлекательно. Не успеет официант передать дирижеру денежный привет от какого-нибудь гостя, как вся капелла моментально загудит.

За обедом Мерритт старался уговорить приятеля. «Репейник» был старым его другом, и он любил его. Он уговорил его попробовать коктейль.

— Так и быть, ради старой дружбы выпью стакан этого отхаркивающего, — сказал «Репейник», — но предпочел бы натурального виски. Ты платишь.

— Ладно, — ответил Мерритт. — А теперь посмотри карточку кушаний. За что ты зацепишься?

— Что за чертовщина! — воскликнул «Репейник», выпучив глаза. — Неужели в этом фургоне-кухне имеются все эти харчи? Да тут их до черта! Это что? Пюре из ля... ля... из лягушек, что ли? Я пас! Господи помилуй! Да тут хватит снеди на двадцать объездов. Валяй, я посмотрю.

Блюда были заказаны, и Мерритт обратился к винной карточке.

— Мэдок здесь недурен, — предложил он.

— Ты — доктор, тебелучше знать, — заметил «Репейник», — а я уж лучше натурального виски. Ты платишь.

«Репейник» осмотрелся кругом. Официант приносил блюда и убирал порожние тарелки. Он наблюдал. Он видел веселую нью-йоркскую толпу.

— Как там были дела со скотом, когда ты уехал из Гилы? — спросил Мерритт.



— Хороши, — ответил «Репейник». — Видишь госпожу в красном шелку с крапинками — там, за столиком? Н-ничего! Я бы позволил ей разогреть свои бобы у моего походного костра. Да, со скотом дела ничего. Она красива, как тот белый мустанг, которого я видел однажды на Черной реке.

Когда подали кофе, «Репейник» протянул одну ногу на ближайший стул.

— Ты говоришь, Длиннорогий, город комфортабельный? — раздумчиво сказал «Репейник». — Да, комфортабельный город. Это не то, что в степи при северном ветре. Как ты назвал эту механику, Длиннорогий? Соус кумберленд? Ничего! Съедобно! И даже очень! Этот белый мустанг удивительно поворачивает голову и встряхивает гривой, погляди-ка! Я думаю, если бы мне удалось продать мое ранчо за приличную сумму, я бы...

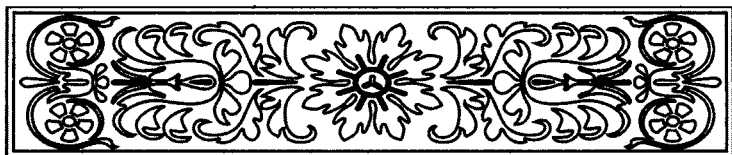
— Гьярсонг! — неожиданно рявкнул он так, что парализовал все ножи и вилки в ресторане.

Официант подплыл к столу.

— Еще два этих — как их там — коктейля! — приказал «Репейник».

Мерритт посмотрел на него и многозначительно улыбнулся.

— Это я плачу, — сказал «Репейник», выпуская клуб дыма к потолку.



НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕЛИЧИНА

Немного раньше начала настоящего столетия некий Септимус Кайнсолвинг, старый ньюйоркец, сделал великое открытие. Он первый открыл, что хлеб печется из муки, а не из видов на урожай. Угадав, что урожай будет неудовлетворительный, и зная, что биржа не имеет ощутительного влияния на произрастание злаков, мистер Кайнсолвинг удачным маневром захватил хлебный рынок.

В результате получилось, что когда вы или моя хозяйка (до гражданской войны ей не приходилось ударить пальцем о палец: об этом заботились южане) покупали пятицентовый каравай хлеба, вы прибавляли два цента дополнительно в пользу мистера Кайнсолвинга в виде благодарности за его прозорливость.

Вторым последствием было то, что мистер Кайнсолвинг вышел из этой игры с 2 миллионами долларов припеку.

Дан, сын мистера Кайнсолвинга, был в колледже, когда проделывался этот математический опыт с хлебом. На вакансии Дан вернулся домой и нашел своего старика в красном шлафроке за чтением «Крошки Доррит» на веранде своего почтенного особняка из красного кирпича в Вашингтон-сквере.

Он удалился на покой с таким запасом добавочных двухцентовых монет, отторгнутых им от покупателей хлеба, что если бы вытянуть эти монеты в одну линию, она обмотала бы земной шар пятнадцать раз и сошлась бы концами над государственным долгом Парагвая.

Дан поздоровался с отцом и отправился в Гринвич Виллидж повидаться со своим товарищем по школе Кенвицем. Дан всегда восхищался Кенвицем. Кенвиц был бледен, курчав, интенсивен, серьезен, математичен, научен, альтруистичен, социалистичен и природно враждебен олигархии. Кенвиц отказался от университета и учился часовому делу в ювелирной мастерской своего отца. Дан был улыбающийся,

веселый, добродушный юноша, одинаково терпимый к королям и тряпичникам. Они радостно встретились, как и полагает антиподам. Затем Дан вернулся в университет, а Кенвиц к своим пружинам и к своей библиотеке — в комнатке позади отцовского магазина.

Через четыре года Дан вернулся на Вашингтон-сквер, снабженный дипломом бакалавра словесных наук и отпирванный двумя годами пребывания в Европе. Бросив сыновний взгляд на пышный мавзолей Септимуса Кайнсолвинга на Гринвудском кладбище и предприняв скучную экскурсию в область отпечатанных на машинке документов в обществе своего поверенного, он почувствовал себя одиноким и безнадежным миллионером и поспешил к своему другу в старый ювелирный магазин на Шестой авеню.

Кенвиц отвинтил лупу от глаза, вытащил из мрачной задней комнаты своего родителя и променял внутренность часов на внешность Нью-Йорка. Они уселись с Даном на скамейке в Вашингтон-сквере. Дан мало переменялся. Он был статен и важен важностью, которая легко распускалась в улыбку. Кенвиц был больше прежнего серьезен, напорист, научен, философичен и социалистичен.

— Теперь мне все известно, — сказал наконец Дан. — С помощью юридических светил я вошел во владение каской бедного папаши и прочим барахлом. В общем, до двух миллионов долларов, Кен. И мне говорили, что он сколотил все это из грошей, которые он выжал у бедняков, покупающих хлеб в лавочке за углом. Ты изучил политическую экономию, Кен, и знаешь все, что касается монополий, трудящихся масс, спрутов и прав рабочего народа. Я раньше никогда не интересовался этими вопросами. Футбол и стремление быть справедливым к людям представляли собою почти весь мой университетский курикулум.

Но с тех пор, как я вернулся домой и узнал, каким путем мой папенька нажил свои деньги, я стал задумываться. Мне страшно хотелось бы вернуть этим индивидам то, что они переплатили лишнего на хлебе. Я знаю, что это окорнало бы ленту моих доходов на порядочное количество ярдов, но я хотел бы рассчитаться с ними. Есть какой-нибудь способ сделать это?

Большие черные глаза Кенвица загорелись. Его тонкие интеллигентные черты приняли почти сардоническое выражение. Он схватил Дана за руку пожатием друга и судьи.

— Это невозможно, — ответил он энергично. — Одна из жесточайших казней для вас, людей, владеющих неправедно добытым богатством, заключается в том, что, когда вы начинаете каяться, вы убеждаетесь, что потеряли силу исправить или оплатить причиненное зло. Я преклоняюсь, Дан, перед твоими благими намерениями, но ты ничего не можешь поделать. Люди были ограблены и потеряли свои кровные гроши. Слишком поздно теперь, чтобы загладить преступление. Ты не можешь выплатить им эти деньги обратно.

— Конечно, — сказал Дан, зажигая трубку. — Мы не можем разыскать каждого из этих дурней и вручить ему надлежащую сдачу. Их такая масса — покупающих хлеб каждый день. Странный вкус у них... Я никогда особенно не интересовался хлебом, разве только в поджаренных гренках с рокфором. Но кое-кого из них мы могли бы найти и высыпать сколько-нибудь из отцовских денег обратно — туда, откуда они были взяты. Это было бы мне облегчение. Противно, должно быть, действительно человеку, когда с него снимают шкуру из-за такой дряни, как хлеб. Наверное, никто не стал бы протестовать, если бы поднялась цена на омаров и на салат из крабов. Валяй, Кен, подумай. Я хочу вернуть назад из этих денег все, что удастся.

— Есть много благотворительных учреждений, — механически заметил Кенвиц.

— Слишком просто, — возразил Дан, затянувшись трубкой. — Можно подарить городу сад или пожертвовать госпиталю грядку спаржи, но я не хочу, чтобы Пауль заработал на том, что мы ободрали Питера. Я хочу покрыть именно хлебный перебор.

Тонкие пальцы Кенвица быстро задвигались.

— А ты знаешь, сколько денег потребовалось бы, чтобы вернуть потребителям то, что они переплатили за хлеб со времени этого биржевого маневра? — спросил он.

— Не знаю, — твердо ответил Дан. — Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона.

— Если бы у тебя было сто миллионов, — пылко воскликнул Кенвиц, — ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не

понимаешь. Ты представить себе не можешь, насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного-единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить.

— Брось, философ! — заметил Дан. — Нет такого горя у centa, которого нельзя было бы залечить долларом.

— Ни одного, — повторил Кенвиц. — Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню там, на Верик-стрит. Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал — тысячу долларов — все, что у него было.

Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье.

— Принимаю этот случай! — воскликнул он. — Веди меня к Бойну. Я верну ему его тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу.

— Напиши чек, — сказал, не двигаясь с места, Кенвиц, — и затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов. После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных.

— Держись случая с Бойном, — сказал Дан. — Страховые общества не значатся в моем благотворительном списке.

— Пиши затем чек на сто тысяч, — продолжал Кенвиц. — Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов.

— Вернись к пекарне! — с нетерпением воскликнул Дан. — Правительству не приходится стоять в хлебной очереди.

— Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю... Пойдем, я покажу тебе, — сказал Кенвиц, вставая.

Часовщик-социалист ликовал. Он был миллионером по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвиц мог уверить вас, что деньги чистое зло и разврат и что ваши новехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине.

Он повел Кайнсолвинга к югу от сквера, на грязную, кишашую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного

кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти.

В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу, как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасил ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила Кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд.

Кайнсолвинг в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном.

— Сколько на этой неделе, мисс Мэри? — спросил часовщик.

Гора грубых серых рубах лежала на полу.

— Почти тридцать дюжин, — приветливо ответила молодая женщина. — Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег.

Глаза ее открыто и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке.

Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон.

— Мисс Бойн, — сказал он, — позвольте представить вам мистера Кайнсолвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком.

Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайнсолвингу, но то не был взгляд, обещающий радость.

Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав волю пессимизму, возмущению и ненависти, которые он питал к спруту, атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал:

— Я очень тебе благодарен, старина, тысячу раз благодарю.

— Мейн готт! Ты с ума сошел! — воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки.

Через два месяца после этого Кенвиц вошел в большую пекарню на Нижнем Бродвее; он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке.



Какая-то дама давала заказ приказчику.

— Эти булки по девять центов, — сказал приказчик.

— Я всегда покупаю их по восьми в верхней части города, — ответила дама. — Не заворачивайте, я проеду туда по пути домой.

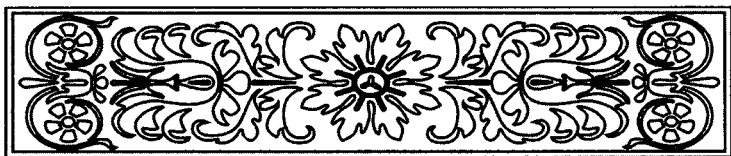
Голос показался часовщику знакомым. Он прислушался.

— Мистер Кенвиц! — радостно воскликнула дама. — Как вы поживаете?

Кенвиц сосредоточил все свое социалистическое и экономическое внимание на ее удивительном боа и на дождавшейся ее снаружи коляске.

— Как, мисс Бойн! — начал он.

— Миссис Кайнсолвинг, — поправила она. — Дан и я обвенчались месяц назад.



ТЕАТР — ЭТО МИР

Моему приятелю-репортеру перепала как-то пара контрамарок — так мне удалось попасть несколько дней назад в один из любимых нашей публикой эстрадных театров.

Среди прочих номеров в программе значилось и соло на скрипке, исполнял его поразительной наружности мужчина — слегка за сорок, но с совершенно седой копной волос. Не страдая пристрастием к музыке, я разглядывал скрипача, пропуская мимо ушей систему производимых им звуков.

— С этим скрипачом месяца два тому назад случилась интересная история, — сказал репортер. — Меня послали к нему. Я получил задание написать колонку, выдержанную в самом что ни на есть веселом и смешном духе. Шефу вроде нравится мой шутейный подход к местным происшествиям. Да, ты не ошибся, я сейчас пишу фарс. Ну, я съездил к скрипачу, разузнал у него все в подробностях, а задание провалил. Вернулся восвояси и развез как мог юмористический отчет об одних похоронах в Ист-Сайде. Почему? Хоть убей, не вижу в этой истории ничего смешного. Вот разве тебе удастся сделать из нее одноактную трагедию для пролога. Факты я тебе все предоставлю.

После спектакля мой друг репортер поведал мне эту историю за кружкой пива.

— Я тебя не понимаю, — сказал я, когда он поставил точку. — Тут есть готовый сюжет для прекрасного юмористического рассказа. Эти трое не могли бы вести себя глупее и нелепее, будь они всамделишными актерами во всамделишном театре. Я сильно подозреваю, что театр — это мир, а все актеры в нем — мужчины и женщины, так я цитирую Шекспира¹.

¹ В комедии Шекспира «Как это вам понравится» один из персонажей говорит: «Мир — это театр, а все мужчины и женщины — актеры» (акт II, сц. 7).

— Возьми и напиши его сам, — сказал репортер.

— И напишу, — сказал я, и слово свое сдержал, хотя бы для того, чтобы показать моему приятелю, какой материал для фельетона он прошляпил.

Неподалеку от Абингдон-сквера стоит дом. В нижнем этаже его уже четверть века помещается лавочка, где торгуют игрушками, галантереей и писчебумажными товарами.

Два десятка лет тому назад в комнатах над лавочкой играли свадьбу. Домом и лавкой владела вдова Майо. В тот вечер вдова выдавала свою дочь Элен за Фрэнка Барри. Шафером жениха был Джон Дилэни. Элен шел девятнадцатый год, и ее портрет красовался в утренней газете по соседству с заметкой, озаглавленной «Дама убивает оптом» (судебная хроника гор. Бьютт, шт. Монт.). Но отвергнув умом и глазами связь между заголовком и портретом, вы хватали лупу и разбирали подпись, в которой Элен именовалась представительницей блистательной плеяды красавиц Нижнего Вест-Сайда. Фрэнк Барри и Джон Дилэни были не менее блистательными кавалерами того же района и закадычными друзьями, из тех, что в любой пьесе так и норовят сделать друг другу пакость. Во всяком случае, те, кто покупает билеты в партер и беллетристику, только того и ждут. Пока что это было первое смешное место в рассказе. Друзья участвовали в состязании, призом в котором служило сердце Элен. Когда победу одержал Фрэнк, Джон пожал ему руку и честь по чести поздравил — ей-ей, поздравил.

После брачной церемонии Элен побежала к себе надеть шляпку. Она выходила замуж в дорожном платье. Новобрачные собирались на неделю уехать в Олд-Пойнт-Комфорт. Внизу их поджидала обычная толпа галдящих дикарей, державших наготове охапки старых башмаков и пакеты с дробленой кукурузой.

Вдруг Элен услышала грохот — это с пожарной лестницы к ней в окно прыгнул обезумевший от страсти Джон Дилэни. Взмокший хохол прилип к его лбу, и он с ходу приступил к осаде утраченной им возлюбленной; осыпав ее бурными попреками, он молил ее скрыться или смыться с ним на Ривьеру, в Бронкс или любую другую местность, где имеются итальянские небеса и *dolce far niente*.

Сам Блейни содрогнулся бы, увидев, как Элен дает отпор Джону. Глаза ее пылали гневом, а своим вопросом, за кого он ее принимает, она буквально испепелила его.

Джон готов был удалиться. Мужество покинуло его. Он отвесил Элен низкий поклон и залепетал что-то насчет того, что «он над собой не властен», а также «навек сохранит в своем сердце память о...», в ответ на что она велела ему, не теряя времени попусту, седлать пожарную лестницу и мчать вниз во весь опор.

— Я устранюсь, — сказал Джон Дилэни. — Уеду на край света. Раз ты принадлежишь другому, оставаться здесь выше моих сил. Мой путь лежит в Африку, там среди незнакомой мне природы я попытаюсь за...

— Бога ради, уходи скорее, — сказала Элен. — Сюда могут войти.

Он опустился перед ней на колени, и она протянула ему свою лилейную ручку, дабы он запечатлел на ней прощальный поцелуй.

Девицы, случилось ли вам пережить тот счастливый миг, когда ваш избранник надежно приторочен к вам узами брака, а отвергнутый вздыхатель врывается к вам с прилипшим ко лбу хохлом, падает на колени и лопочет об Африке и о любви, которая, невзирая ни на что, будет цвести в его сердце, не увядая, подобно бессмертнику? Если да, значит, великий божок Купидон преподнес вам лучший из своих даров. Разом насладиться и своим могуществом, и блаженной незыблемостью своего нового положения, услатить злополучного обожателя лечить разбитое сердце в чужие края и, пока он приникает в прощальном поцелуе к вашим пальцам, ликовать, что ваш маникюр в отменном порядке, — вот это жизнь! Нет, нет, девицы, такой случай упускать нельзя.

А дальше — неужели вы догадались? — дверь, как и следовало ожидать, распахнулась, и в комнату ворвался новобрачный, возревновавший новобрачную к шляпке, которой уделялось так много внимания.

Джон Дилэни напечатлел прощальный поцелуй на руке Элен, махнул через окно и скатился по пожарной лестнице — так начался его путь в Африку.

А теперь, пожалуйста, музыку и помедленнее: всхлип скрипки, вздох кларнета, тихий стон виолончели. Вообразите себе эту сцену. Фрэнк, вне себя от бешенства, испускает душераздирающий крик. Элен кидается ему на грудь, желая внести в дело ясность. Он сбрасывает с плеч ее руки — раз, другой, третий отталкивает он ее (режиссер покажет вам, как это делать) и швыряет — рыдающую, убитую горем,

наземь. Он не желает ее больше видеть и, прорвавшись сквозь толпу ошарашенных зевак, покидает брачный чертог.

А теперь, раз уж театр — это мир, зрителю не миновать выйти во взаправдашнее фойе этого мира и там сочетаться браком, умирать, сесть, богатеть, нищать, ликовать или горевать — весь тот двадцатилетний антракт, который предшествует поднятию занавеса перед следующим действием.

Миссис Барри унаследовала лавку и дом. В тридцать восемь лет она обошла бы на любом конкурсе красоты не одну восемнадцатилетнюю девицу, как по очкам, так и по общим показателям. Лишь немногие помнили теперь, какой комедией кончилась ее свадьба, хотя она и не делала из этих событий тайны. Она не перекладывала их лавандой, не пересыпала нафталином, но и не сбывала журналам.

Однажды процветающий юрист средних лет, постоянно покупавший в ее лавке бумагу и чернила, предложил ей через прилавок руку и сердце.

— Премного вам благодарна, — сказала Элен бодро, — но вот уже двадцать лет я принадлежу другому. И хотя вел он себя как нельзя глупее, сдается мне, я его по-прежнему люблю. Последний раз я его видела через полчаса после свадьбы. Вам какие чернила требуются — копировальные или простые?

Склонясь в изысканном старомодном поклоне над прилавком, юрист почтительнейше поцеловал руку Элен. Из ее груди вырвался вздох. Прощальные поцелуи, даже самого романтического толка, могут приестся. Ей шел тридцать девятый год. Она была хороша собой, привлекательна, а до сих пор от всех своих вздыхателей не видела ничего, кроме попреков и прощаний. Горше того, в последнем она теряла еще и покупателя.

Торговля хирела, и Элен вывесила объявление «Сдаются комнаты». На третьем этаже были приготовлены две просторные комнаты для подходящих жильцов. Жильцы въезжали и неохотно съезжали, ибо в доме миссис Барри царили уют, чистота и отменный вкус.

В один прекрасный день в дом неподалеку от Абингдон-сквера въехал скрипач Рамонти. Грохот и ляг деловых кварталов оскорблял его изысканный слух, поэтому приятель направил его в этот оазис тишины в пустыне городского шума.



Моложавый чернобровый Рамонти с его темной иноземной бородкой клинышком, необычной седой шевелюрой и артистическим темпераментом, проявлявшимся в непринужденной, веселой и общительной манере держаться, прижился в старом доме подле Абингдон-сквера.

Сама Элен жила на втором этаже весьма странной причудливой планировки. Чуть не весь этаж занимал просторный, почти квадратный холл. Вдоль длинной его стены поднималась лестница, дойдя до ее середины, она круго поворачивала и вдоль короткой вела на третий этаж. Холл служил Элен и гостиной и кабинетом. Тут она поставила свою конторку, тут писала деловые письма, тут вечерами читала и шила у горящего камелька, освещенная красными отблесками пламени. Рамонти так тут нравилось, что он проводил в уютном холле чуть не все свое свободное время, занимая миссис Барри рассказами о достопримечательностях Парижа, где он брал уроки у исключительно прославленного и шумного скрипача.

Следом за Рамонти въехал жилец № 2, видный, печальный мужчина едва за сорок, с темной таинственной бородой и жалкими, виноватыми глазами. Он тоже любил проводить время в обществе Элен. Пуская в ход взоры Ромео и красноречие Отелло, он обольщал ее рассказами о дальних странах и завлекал тонким обхождением.

В присутствии этого человека Элен с первой же минуты почувствовала неодолимое волнение. Звук его голоса переносил ее в невозвратные дни девичьей любви. Чувство это с каждым днем становилось сильнее, и Элен не противилась ему, напротив, из него рождалась вера, что этот человек сыграл свою роль в той любви. А потом, рассуждая чисто поженски (да, да, женщины тоже изредка рассуждают), она, минуя пошлые силлогизмы, теории и логику, пришла к выводу, что это ее муж возвратился к ней. Ибо в глазах его она читала любовь, которую женщина всегда безошибочно угадывает, а также тяжкий груз сожалений и сокрушений, которые вызывают жалость, от которой всего один шаг до любви вознагражденной, которая и является *sine qua non*¹ в доме, который построил Джек.

Но она и виду не подала. Если муж выскакивает на минутку из дому, а заскакивает назад через двадцать лет, он не

¹ Необходимым условием (*лат.*).

вправе рассчитывать, что шлепанцы будут ожидать его на привычном месте или что едва ему захочется закурить, к нему опростелются бросаются с зажженной спичкой. Ему не миновать разъяснений, раскаяния, а глядишь, и разноса. Для начала краткое пребывание в чистилище, а там, буде он проявит должное смирение, не исключено, что ему вручат-таки арфу и венец. Вот почему Элен не подала и виду, что знает его тайну или догадывается о ней.

А мой-то приятель-репортер не увидел в этой истории ничего смешного! Ему поручили написать занятную, смешную, потешную, уморительную историю... впрочем я пощажу собрата... и вернусь к нашему рассказу.

Как-то вечером Рамонти задержался в совмещенном холле-конторе-кабинете и изъяснился Элен в любви с нежностью и пылом вдохновенного художника. В речах его горел пламень божественного огня, который бушует в сердцах тех, в ком сочетается мечтатель и творец.

— Но прежде, чем вы ответите мне, — продолжал он, не дав ей сказать, что он застиг ее врасплох, — я считаю своим долгом предупредить вас, что никакого другого имени, кроме Рамонти, я не могу вам предложить. Так назвал меня мой импресарио. Мне неведомо ни кто я, ни откуда родом. Я помню себя лишь с той минутой, как я очнулся в больнице. Я был тогда молод и провел в больнице много недель. До этого дня в моей памяти полный провал. Мне рассказали, что меня подобрала на улице карета скорой помощи — у меня была разбита голова. В больнице решили, что я оступися и ударился головой о бульжник. При мне не нашлось ничего, по чему меня могли бы опознать. Я же сам так ничего и не вспомнил. Когда меня выписали из больницы, я занялся музыкой. Успех сопутствовал мне. Миссис Барри, я не знаю вашего имени, но я люблю вас; с тех пор как я увидел вас впервые, я понял, что другие женщины для меня не существуют... — и все прочее, тому подобное.

Элен почувствовала, что к ней вернулась молодость. Ее захлестнула волна гордости, за ней мелкой рябью набежало тщеславие, но потом она посмотрела Рамонти в глаза, и сердце ее бешено забилося. Элен не ожидала, что она еще способна переживать такие чувства. Голова у нее пошла кругом. Музыкант незаметно для нее вошел в ее жизнь.

— Мистер Рамонти, — сказала она горестно (помните, что этот разговор происходил не в театре, а в старом доме

подле Абингдон-сквера). — Мне очень горько, но я заму-жем.

И она поведала ему свою печальную историю, как и полагается — раньше ли, позже — всякой героине, а уж кому она ее поведаст — антрепренеру или интервьюеру, это как повезет.

Рамонти отвесил низкий поклон, поцеловал Элен руку и поднялся к себе.

Элен же опустилась на стул и мрачно уставилась на свою руку. Ее можно понять. Три обожателя целовали ей руку, седлали горячих скакунов и уносились прочь.

Через час ее навестил таинственный незнакомец с виноватыми глазами. Элен сидела в плетеной качалке и вязала какую-то безделицу. Жилец направился к лестнице, но с полпути вернулся поболтать с Элен. Через разделявший их стол он тоже объяснился ей в нежной страсти. А потом сказал: «Элен, неужели ты не помнишь меня? Мне кажется, я видел по твоим глазам, что ты меня не забыла. Можешь ли ты забыть прошлое и принять любовь, которая выдержала двадцатилетнее испытание? Я бесконечно виноват перед тобой, я страшился вернуться к тебе, но любовь победила рассудок. Можешь ли ты простить, простишь ли ты меня, Элен?»


Элен встала. Таинственный незнакомец сжал ее руку в своих трясущихся руках.

Так они стояли, и мне жаль, что эта сцена и эти чувства пропали для театра.

Ибо в сердце Элен шла борьба. Чистая неувядающая любовь к жениху все еще жила в ней; бесценная, священная память о первом избраннике заполонила половину ее души. Все склоняло ее к этому чистому чувству. Честь, верность и блаженные, незабываемые дни первой любви привязывали ее к нему. Но вторую половину ее души занимало другое, более позднее, более полнокровное, более непосредственное чувство. И старое чувство боролось с новым.

И пока она колебалась, из комнаты наверху донеслись приглушенные, томительно-щемящие звуки скрипки. Старая карга музыка подчас обезоруживает самые благородные сердца. Тут я хочу поспорить с Яго, который говорил, что он скорее «галкам даст клевать свою печенку»¹, чем от-

¹ «Отелло», акт I, сц. 1.



кроет душу; я, напротив, считаю, что тому, у кого душа нараспашку, ничего не грозит, но горе тому, кто души не чаёт в музыке. Музыка и музыкант звали Элен, но честь и прежняя любовь не пускали ее.

— Прости меня, — молил он.

— Можно ли пробыть двадцать лет в разлуке, если любишь? — сказала она, голосом подавая ему надежду на прощение.

— Что мне было делать? — взывал он. — Я ничего не скрою от тебя. В тот вечер, когда он выбежал из дому, я пошел следом за ним. Я потерял голову от ревности. В темном переулке я сбил его с ног. Он не встал. Я осмотрел его. Он ударился головой о булыжник. Я не хотел его убивать. Просто я обезумел от любви и ревности. Притаившись поблизости, я видел, как его увезла скорая помощь. И хотя ты вышла за него замуж, Элен..

— КТО ВЫ ТАКОЙ? — вскричала она в ужасе и вырвала у него руку.

— Неужели ты забыла меня, Элен? Забыла того, кто любил тебя больше всех? Я — Джон Дилэни. Можешь ли ты простить...

Но она уже бежала по лестнице — спотыкаясь, задыхаясь, неслась она навстречу музыке и тому, кто забыл все, но в обеих своих жизнях любил только ее одну; она летела и на бегу рыдала, лепетала, пела: «Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!»

Трое смертных жонглировали годами наподобие бильярдных шаров, а мой приятель-репортер не увидел в этом ничего смешного!



БЛУЖДЕНИЯ БЕЗ ПАМЯТИ

В то утро мы с женой расстались совсем как обычно. Не допив вторую чашку чаю, она проводила меня до двери. Тут она смахнула с моего лацкана невидимую пушинку (истинно женский способ показать, что ты — ее собственность). Я попросила не забывать о моей простуде. Никакой простуды у меня не было. Засим последовал прощальный поцелуй — пресный семейный поцелуй, отдающий ее любимым мылом. Нет, тут нечего опасаться неожиданностей, ни единая крупинка разнообразия не сдобрит привычный обряд. Весьма искусно, что достигается долгой преступной практикой, она перекосила в моем галстуке отлично вколотую булавку, и, закрывая наконец за собой дверь, я услышал, как она шлепает домашними туфлями в столовую допивать остывший чай.

Когда я вышел из дому, ничего такого я не предвидел и не предчувствовал. Приступ застиг меня врасплох.

Перед тем я несколько месяцев чуть ли не сутками напролет усердно трудился над знаменитым судебным делом одной железнодорожной компании и только на днях это дело с блеском выиграл. Собственно говоря, я уже много лет работал почти без отдыха. Добрейший доктор Волни, мой врач и друг, не раз предупреждал меня:

— Смотри, Белфорд, если ты не дашь себе хоть небольшую передышку, это кончится крахом. У тебя либо нервы не выдержат, либо мозг. Ты, наверно, читал, в газетах чуть не каждую неделю пишут про случаи амнезии: ушел человек из дому и пропал, бродит где-то и сам не знает, как его зовут, не помнит, кто он был и как жил... а все из-за маленькой кровяной пробки, которая образовалась в мозгу от переутомления или волнения.

— А я всегда думал, что в таких случаях пробку надо искать в мозгах у репортера, — заметил я.

Доктор Волни покачал головой.

— Нет, эта болезнь не выдумана, — сказал он. — Тебе позарез нужен отдых или перемена обстановки. Ведь сейчас ты движешься по замкнутому кругу: суд, контора, дом. А для развлечения читаешь... свод законов. Прислушайся к моему совету, пока не поздно.

— По четвергам мы с женой вечером играем в крибедж, — возразил я. — По воскресеньям она читает мне вслух письма своей мамы, та пишет аккуратно раз в неделю. А что свод законов — не развлечение, это еще вопрос!

В то утро, идя по улице, я раздумывал над словами доктора Волни. Чувствовал я себя ничуть не хуже, чем всегда, а настроен был, пожалуй, даже лучше обычного.

Когда я проснулся, все тело у меня одеревенело и ныло, ведь не очень-то удобно спать долгие часы в вагоне, да еще сидя. Я откинулся на спинку сиденья и попробовал собраться с мыслями. Думал, думал и наконец сказал себе: «Все-таки должно же у меня быть какое-то имя». Порылся в карманах. Ничего — ни письма, ни визитной карточки, ни документов, ни монограммы. Зато во внутреннем кармане оказалось около трех тысяч долларов в крупных купюрах. «Должен же я кем-то быть», — повторил я себе и стал размышлять.

В вагоне полно народу, и все легко, непринужденно разговаривают между собой, все веселые и отлично настроены, — значит, их связывают какие-то общие интересы. Один пассажир — солидный мужчина, которого облаком окутывал явственный запах корицы и алоэ, дружески мне кивнул, уселся рядом и развернул газету. Порой он отвлекался от чтения, и мы, как всегда бывает в дороге, беседовали о всякой всячине. Оказалось, что я вполне могу поддерживать такой разговор, по крайней мере, память меня ничуть не подводила. Затем мой сосед сказал:

— Вы, конечно, один из наших. На этот раз Запад посылает отборных делегатов. Я рад, что конгресс соберется в Нью-Йорке, мне еще не приходилось бывать в восточных штатах. Разрешите представиться: Р. П. Болдер, фирма «Болдер и Сын» в городе Хикори-Гроув, штат Миссури.

Ни к чему такому не готовый, я все же не дрогнул, как и подобает мужчине в трудную минуту.

Необходимо тотчас совершить обряд крещения и действовать одному в трех лицах: младенец, священник и родитель. Мозг работал медленно, однако пришли на выручку

чувства. Острый запах лекарств, исходивший от соседа, навел меня на удачную мысль...

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я без запинки. — Я провизор, живу в Корнополисе, штат Канзас.

— Я знал, что вы провизор, — любезно отвечал мой спутник. — Я сразу заметил у вас на указательном пальце правой руки мозоль от пестика, у всех нас натерто это место. Вы, понятно, тоже делегат на наш всеамериканский конгресс.

— А что, все эти люди — провизоры? — удивился я.

— Конечно. Этот вагон идет прямо с Запада. И все они провизоры старой закалки, не то что нынешние фармацевты, которые только и знают патентованные таблетки да ампулы и не готовят лекарства сами. Нет, мы своими руками процеживаем микстуры и изготавливаем пилюли, по весне не гнушаемся торговать огородными семенами, а заодно и сладостями и даже обувью. Говорю вам честно, Хампинкер, на этом конгрессе я выскажу кое-что новенькое, людям нужны свежие идеи. Вот, например, вы знаете флаконы с рвотным порошком и сегнетовой солью; в одном случае это виннокислый калий плюс сурьма, в другом — плюс натрий; одно, как вы знаете, яд, другое — совершенно безвредное снадобье. Но наклейки очень легко перепутать. Где почти все провизоры держат эти флаконы? Как можно дальше друг от друга, на разных полках. И напрасно! А я так скажу: держите их рядышком, чтобы в любую минуту сравнить и тем избежать ошибок. Вам понятна моя мысль?

— Мне кажется, это очень здравое рассуждение, — сказал я.

— Вот и хорошо! Значит, когда я преподнесу его конгрессу, вы меня поддержите. Эти мастера кремов да косметики из восточных штатов воображают, что они умней всех, но мы их оставим в дураках с их таблетками-пипетками.

— Рад быть вам полезен, — с воодушевлением отозвался я. — Значит, два флакона с... э-э...

— С винносурьямонатриевой солью и виннокалиенатриевой солью...

— ...должны впредь стоять на полке рядом, — твердо закончил я.

— Теперь еще одно, — продолжал мистер Болдер. — Что вы предпочитаете в качестве среды, когда изготавливаете массу для пилюль: магнезию и углекислую соль или глицерозу рэдикс в порошке?

— Я... э-э... магнезию, — сказал я. Все-таки это было легче выговорить.

Болдер недоверчиво глянул на меня через очки.

— А я признаю только глицирозу рэдикс, — сказал он. — Магнезия спекается.


Короткое молчание.

— Ну вот, опять так называемая амнезия, — сказал он, передавая мне газету, и указал пальцем заметку. — Не верю я в эти истории. В девяти случаях из десяти это наверняка при творство. Опостытели человеку служба и семейство, пришла охота поразвлечься. Вот он и удирает из дому, а когда его найдут, прикидывается, будто потерял память: не помнит собственного имени и не узнает жену даже по родимому пятну на левом плече. Потеря памяти! Как бы не так! Почему же они ее не теряют сидя дома?

Я взял газету и под хлестким заголовком прочитал следующие строки:

«Денвер, 12 июня. — Элвин С. Белфорд, известный адвокат, три дня назад при загадочных обстоятельствах исчез из дому, и все попытки его разыскать остаются тщетными. Мистер Белфорд — человек известный в нашем городе и принадлежит к верхушке нашего общества: он весьма преуспевающий адвокат. Он женат, владеец прекрасного дома и самой большой частной библиотеки во всем штате. В день загадочного исчезновения мистер Белфорд снял со своего текущего счета в банке значительную сумму. С тех пор никто его не видел. Мистер Белфорд всегда был человеком на редкость уравновешенным, к тому же домоседом и, казалось, был вполне доволен своей семейной жизнью и своей деятельностью. Объяснить его странное исчезновение можно разве только тем, что несколько месяцев подряд он слишком напряженно работал над сложной тяжбой Н-ской железнодорожной компании. Опасаются, что крайнее переутомление повлияло на его рассудок. Принимаются все меры для того, чтобы отыскать пропавшего».

— Вы, кажется, уж чересчур недоверчивы, мистер Болдер, — сказал я, прочитав заметку. — А по-моему, все это вполне правдоподобно. С какой стати человек преуспевающий, уважаемый, счастливый в семейной жизни вдруг возьмет и все бросит? Я знаю, такие провалы памяти действительно бывают, людей заносит неведомо куда, они не помнят ни своего имени, ни прошлого, ни родного дома.



— Чушь и бред! — воскликнул Болдер. — Просто они хотят поразвлечься. Уж очень все стали образованные. Мужчины прослышали про эту самую амнезию и прикрываются ею. Да и женщины туда же. Когда им уже не отвертеться, они глядят вам прямо в глаза и дают самое научное объяснение: «Он меня загипнотизировал!»

Так мистер Болдер позабавил меня своими замечаниями и философией, но это мне ничуть не помогло.

Мы прибыли в Нью-Йорк вечером, около десяти. Я взял извозчика, поехал в гостиницу и записал в книге для приезжих свое имя: Эдвард Пинкхаммер. При этом мною овладела чудесная, неистовая, пьянящая легкость — ощущение безграничной свободы, открывшихся новых возможностей. Я словно заново родился. Каковы бы ни были цепи, что прежде сковывали меня по рукам и по ногам, теперь они разбились. Будущее лежало передо мной, точно ровная, гладкая дорога перед ребенком, едва ставшим на ноги, но я вступал на нее вооруженный знаниями и опытом взрослого.

Мне показалось, что портье чересчур долго меня разглядывает. У меня ведь не было никакого багажа.

— Я на конгресс провизоров, — пояснил я. — Мой чемодан где-то задержался.

И я вытащил из кармана пачку денег.

— Как же, как же, — сказал портье и сверкнул в улыбке золотым зубом. — У нас остановилось много делегатов с Запада. — И звонком подозвал мальчишку-рассыльного.


Я постарался еще убедительней сыграть свою роль.

— У нас на Западе сейчас возникло новое течение, — сказал я. — Мы выдвинем на конгрессе предложение хранить флаконы, содержащие виннокислый калий с сурьмой и виннокислый калий с натрием, в непосредственном соседстве, на одной и той же полке.

— Проводи джентльмена в триста четырнадцатый, — поспешно приказал портье мальчишке. И меня мигом переправили в номер.

Назавтра я купил чемодан и кое-что из одежды и зажил жизнью Эдварда Пинкхаммера. Ломать голову над загадками моего прошлого я не стал.


Огромный город, раскинувшийся на островах, поднес к моим губам пряную, сверкающую чашу. Я с благодарностью припал к ней. Ключи от Манхэттена принадлежат тому, кто



их в силах удержать. Становишься либо гостем этого города, либо его жертвой — третьего не дано.

Последующие несколько дней блистали всеми цветами радуги. Эдварду Пинкхаммеру, хоть он и появился на свет считанные часы тому назад, выпало редкое счастье прийти в этот пестрый и увлекательный мир человеком вполне сложившимся и ничем не связанным. Я сидел в театрах, в ресторанах на крыше, где тебя, околдованного, словно на сказочном ковре-самолете переносят в неведомые восхитительные края, населенные игривой музыкой, веселыми красотками и забавно-нелепыми, уморительными карикатурами на род людской. Я шел, куда вздумается, и никто мне был не указ, ничто не помеха — ни пространство, ни время, ни правила приличия. Я обедал в диковинных кабачках, отведывал диковиннейшие яства под звуки цыганского оркестра, под буйные крики неугомонных художников и скульпторов. Бывал я и там, где ночная жизнь трепещет в электрических лучах, точно на ленте синематографа, где можно увидеть разом все банты и шляпки, все золото и драгоценности, какие есть на свете: там весело встречаются те, кого все это украшает, и те, по чьей милости это возможно, и все вместе представляет собою весьма ободряющее и красочное зрелище. И из всего этого я извлек для себя урок. Я понял, что ключ к свободе во все не в Распущенности, но в соблюдении Условности. У врат Обходительности надо платить пошлину, иначе не войдешь в страну Свободы. За всей пышностью и видимым беспорядком, за показным блеском и непринужденностью я разглядел, что все подчинено этому железному закону, хоть он и не бросается в глаза. А стало быть, повинуйся на Манхэттене этим неписаным законам — и ты свободнейший из свободных. Если же ослушаешься их, будешь узником в оковах.

Иногда, смотря по настроению, я ходил обедать в величественные залы с пальмами по углам, где разговаривают вполголоса, где все пропитано аристократизмом и угонченной сдержанностью. А иной раз плавал на пароходиках, битком набитых крикливыми, развязными клерками и продавщицами в поддельных драгоценностях: без стеснения целуясь и флиртуя у всех на глазах, они спешили на побережье, к дешевым грубым развлечениям. И всегда под рукой был Бродвей — сверкающий огнями, роскошный, коварный, изменчивый, желанный Бродвей, который затягивает, как опиум.



Однажды среди дня, когда я вернулся в гостиницу, в коридоре мне загородил дорогу плотный усатый и носатый мужчина. Я хотел пройти мимо, но он с оскорбительной фамильярностью обратился ко мне.

— Привет, Белфорд! — закричал он. — Что вы делаете в Нью-Йорке, черт подери? Вот уж не думал, что вас можно оторвать от книг и вытащить из вашей берлоги! И супруга с вами? Или у вас тут свои делишки?

— Вы обознались, сэр, — холодно возразил я, высвобождая руку, которую он крепко стиснул. — Меня зовут Пинкхаммер. Извините, я спешу.

Он посторонился, и на лице его выразилось изумление. Я пошел к портье за ключом и слышал, как усатый подозвал рассыльного и сказал что-то насчет телеграфного бланка.

— Приготовьте мой счет, — сказала портье. — И пусть уложат и через полчаса снесут вниз мои вещи. Я не желаю оставаться там, где ко мне пристают какие-то темные личности.

В тот же день я перебрался в другую гостиницу — спокойную, старомодную, в начале Пятой авеню.

Чуть в стороне от Бродвея есть ресторан, где можно поесть почти *al fresco*¹, отгородясь от внешнего мира стеною тропических растений. Кругом роскошь и тишина, обслуживают превосходно, и потому здесь очень приятно позавтракать или перекусить. Однажды я пришел сюда и уже направлялся к свободному столику среди папоротников, как вдруг меня придержали за рукав.

— Мистер Белфорд! — воскликнул удивительно милый голосок.


Я обернулся — передо мною в одиночестве сидела дама лет тридцати с необыкновенно красивыми глазами и смотрела на меня так, будто я ее давний и нежно любимый друг.

— Вы чуть было не прошли мимо, — с упреком сказала она. — И не вздумайте уверять, что вы меня не узнали. Почему бы нам хоть раз в пятнадцать лет не пожать друг другу руки?

Я тотчас пожал ей руку. Потом сел напротив нее. Движением бровей подозвал маячившего поблизости официанта. Дама лениво ковыряла ложечкой апельсиновое мороженое. Я заказал *creme de menthe*². Ее волосы были цвета краснова-

¹ На открытом воздухе (*ит.*).

² Мятный ликер (*фр.*).



той бронзы. Но смотреть на них не удавалось, потому что невозможно было оторваться от ее глаз. И все же ни на миг не оставляло ощущение, что перед тобой бронзовеют эти волосы, — так все время ощущаешь закат, когда в сумерки смотришь в глубь леса.

— Вы уверены, что вы меня знаете? — спросил я.

— Нет, — с улыбкой ответила она. — В этом я никогда не была уверена.

— А что бы вы подумали, — с тревогой спросил я, — если вам сказать, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и я приехал из Корнополиса, штат Канзас?

— Что бы я подумала? — повторила она, и глаза ее весело блеснули. — Ну, конечно, подумала бы, что вы не привезли с собой в Нью-Йорк миссис Белфорд. И это очень жаль. Я с удовольствием повидала бы Мэриан. — Она слегка понизила голос. — Вы все такой же, Элвин.

Прекрасные глаза испытующе впивались в мое лицо, ловили мой взгляд.

— Впрочем, нет, вы изменились, — поправилась она, и в ее голосе зазвучали мягкие ликующие нотки. — Теперь я вижу. Вы не забыли. Вы не забывали ни на год, ни на день, ни на час. Я ведь вам говорила, что не забудете.

Я смятенно ткнул соломинкой в ликер.

— Ради бога простите меня, — сказал я, поеживаясь под ее пристальным взглядом. — Но в том-то и дело. Я забыл. Я все забыл.

Она отмахнулась от моих слов. И очаровательно засмеялась над чем-то, что заметила в моем лице.

— До меня иногда доходили слухи о вас, — продолжала она. — Вы теперь такой видный адвокат где-то там на Западе — в Денвере, кажется? Или в Лос-Анджелесе? Должно быть, Мэриан очень вами гордится. Вы, наверно, знаете, я вышла замуж через полгода после вашей женитьбы. Об этом писали в газетах. Одних цветов было на две тысячи долларов.

Как она раньше сказала — пятнадцать лет? Да, пятнадцать лет — это очень много.

— Не слишком ли поздно принести вам мои поздравления? — несколько робея, спросил я.

— Нет, если вы на это отважитесь, — ответила она с такой великолепной смелостью, что я умолк и принялся смущенно чертить ногтем по скатерти.

— Скажите мне только одно, — попросила она и порывисто наклонилась ко мне. — Я уже много лет хочу это знать... разумеется, просто из женского любопытства: решились ли вы после того вечера хоть раз коснуться белой розы, или понюхать ее... или только посмотреть на белую розу, влажную от росы и дождя?

Я отхлебнул из своего бокала.

— Стоит ли повторять, что я не могу ничего такого припомнить, — сказал я со вздохом. — Память моя никуда не годится. И надо ли говорить, как я об этом сожалею.

Дама облокотилась на стол, и взор ее снова пренебрег моими словами и каким-то своим таинственным путем проник мне прямо в душу. Она мягко рассмеялась, и как-то странно прозвучал ее смех: то был счастливый смех, да, и еще в нем слышалось довольство... но и печаль. Я попытался отвести глаза.

— Вы лжете, Элвин Белфорд, — с упоением шепнула она. — Да-да, я знаю: вы лжете.

Я тупо глядел в папоротники.

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я. — Я приехал сюда с делегатами всеамериканского конгресса провизоров. У нас на Западе сейчас возникло новое течение: мы предлагаем ставить флаконы с винносурьмянонатриевой солью и с виннокалиенатриевой солью иначе, чем ставили до сих пор, но вам это, наверно, неинтересно.

У входа в ресторан остановилась сверкающая коляска. Дама поднялась. Я взял ее протянутую руку и поклонился.

— Мне очень, очень жаль, что память мне изменила, — сказал я. — Я мог бы все вам объяснить, но, боюсь, вы не поймете. Вы не соглашаетесь на Пинкхаммера, а я, право, не могу постичь эти... эти розы и все такое.

— Прощайте, мистер Белфорд, — ответила она все с той же грустно-счастливой улыбкой и села в коляску.

В тот вечер я пошел в театр. Когда я вернулся в гостиницу, около меня, как по волшебству, возник какой-то скромный с виду человек в темном костюме, — он полировал себе ногти шелковым носовым платком и, казалось, был всецело поглощен этим занятием.

— Мистер Пинкхаммер, — небрежно начал он, отдавая все внимание своему указательному пальцу, — не могли бы вы уделить мне несколько минут? Может быть, пройдем в ту комнату и поговорим?

— Извольте, — ответил я.

Он провел меня в маленькую отдельную гостиную. Там дожидалась какая-то пара. Дама, наверно, была бы очень хороша собой, если бы лицо ее не омрачали мучительная тревога и усталость. Изящная фигура, а черты лица, цвет волос и глаз как раз в моем вкусе. На ней был дорожный костюм; в необыкновенном волнении она впиалась в меня взглядом и прижала к груди дрожащую руку. Казалось, она готова кинуться ко мне, но стоявший рядом мужчина властным движением руки остановил ее. Потом он направился ко мне. Ему было лет сорок, на висках седина, лицо мужественное, серьезное.

— Белфорд, дружище, — сердечно сказал он, — я так рад снова тебя видеть! Конечно, мы не сомневались, что ты жив и здоров. Я же тебя предупреждал, что ты слишком переутомляешься. Теперь ты поедешь с нами и дома сразу придешь в себя.

Я насмешливо улыбнулся.

— Меня уже так часто обзывали Белфордом, что я, кажется, привык и перестал возмущаться. Но в конце концов это может и надоест. Не угодно ли вам постараться понять, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и что я вас вижу первый раз в жизни?

Он не успел ответить: у женщины вырвался жалобный крик, почти рыдание. Она вскочила, и он напрасно пытался ее удержать.

— Элвин! — всхлипнула она, бросилась ко мне и крепко меня обняла. — Элвин! — снова крикнула она. — Не разбивай мне сердце! Я твоя жена, назови меня хоть раз по имени! Лучше бы ты умер, чем стал таким!

Я почтительно, но твердо отвел ее руки.

— Сударыня, — сказал я строго, — извините меня, но вы слишком опрометчиво принимаете на веру случайное сходство. Очень жаль, — продолжал я и засмеялся, так меня позабавила эта мысль, — что нас с этим Белфордом нельзя держать рядышком на одной полке, как винносурьмянонатриевую соль с виннокалиенатриевой, тогда было бы легче отличить одного от другого. Если вам не понятно это иносказание, последите за работой всеамериканского конгресса провизоров.

Дама повернулась к своему спутнику и схватила его за руку.

— Что же это такое, доктор Волни? — простонала она. — Ох, да что же это?

Доктор повел ее к двери.

— Пойдите пока в свою комнату, — сказал он ей. — Я останусь и поговорю с ним. Его рассудок? Нет, не думаю... разве что задет какой-то небольшой участок мозга. Да, конечно, выздоровеет. Идите к себе и оставьте нас одних.

Дама вышла. Человек в темном костюме тоже вышел, по-прежнему с задумчивым видом полируя ногти. Кажется, он остался в вестибюле.

— Я хотел бы с вами поговорить, мистер Пинкхаммер, если разрешите, — сказал тот, кто остался.

— Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил я. — Но уж извините, я устроюсь поудобней: я устал.

И я растянулся на кушетке у окна и закурил сигару. Он подоavinул стул поближе и уселся.

— Давайте без лишних слов, — начал он миролюбиво. — Вас зовут вовсе не Пинкхаммер.

— Я это знаю не хуже вас, — невозмутимо сказал я. — Но ведь нужно же человеку хоть какое-то имя. Могу вас заверить, что я совсем не в восторге от имени Пинкхаммер. Но когда надо вмиг себя как-то окрестить красивые имена почему-то не придумываются. Хотя... вдруг бы мне пришло в голову назваться Шерингхаузенем или Скроггинсом! Помоему, Пинкхаммер не так уж плохо.

— Вас зовут Элвин Белфорд, — очень спокойно продолжал доктор. — Вы один из лучших адвокатов в Денвере. Вы страдаете приступом амнезии и на время забыли, кто вы такой. Причиной было переутомление и, возможно, слишком однообразная жизнь и недостаток удовольствий. Дама, которая только что вышла отсюда, — ваша жена.

— Я бы сказал, красивая женщина, — заметил я, немного поразмыслив. — Особенно мне понравился каштановый оттенок ее волос.

— Такой женой можно гордиться. С тех пор как вы исчезли, почти две недели она, можно сказать, не смыкала глаз. О том, что вы в Нью-Йорке, мы узнали из телеграммы Айсидора Ньюмена, это наш знакомый коммивояжер из Денвера. Он сообщил, что встретил вас в гостинице и вы его не узнали.

— Да, кажется, был такой случай, — сказал я. — Он назвал меня Белфордом, если не ошибаюсь. Но не пора ли вам представиться?

— Меня зовут Роберт Волни, доктор Волни. Я был вашим близким другом целых двадцать лет и пятнадцать из них —

вашим врачом. Мы с миссис Белфорд приехали сюда искать вас, как только получили телеграмму. Постарайся, Элвин, дружище... постарайся все вспомнить!

— Что толку стараться? — возразил я и нахмурился. — Вы говорите, что вы врач. Тогда скажите: амнезия излечима? Когда человек теряет память, как она к нему возвращается — постепенно или сразу?

— Иногда постепенно и не до конца, а иногда так же внезапно, как пропала.

— Возьметесь ли вы меня лечить, доктор Волни? — спросил я.

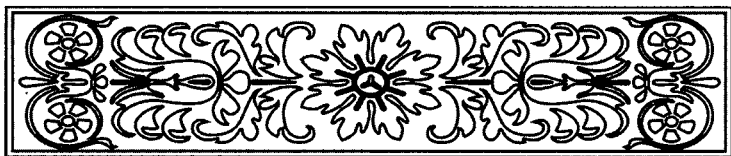
— Старый друг, — ответил он, — я сделаю все, что только в моих силах и во власти науки, чтобы тебя излечить!

— Отлично, — сказал я. — Считайте, что я ваш больной. Но раз так, не забудьте о врачебной тайне.

— Ну, разумеется! — отвечал доктор Волни.

Я встал с кушетки. На стол посреди комнаты кто-то поставил вазу белых роз — большой букет белых роз, душистых, недавно сбрызнутых водой. Я выбросил их из окна как можно дальше и снова опустился на кушетку.

— Ну, вот что, Бобби, — сказал я, — лучше уж я вылечусь сразу. Я и сам устал от всего этого. А теперь поди приведи Мэриан. Но если б ты знал, — прибавил я со вздохом и ткнул его пальцем в бок, — если б ты знал, дружище, как это было восхитительно!



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Города, спеси полны,
Кичливый ведут спор:
Один — от прибрежной волны,
Другой — с отрогов гор.

Р. Киплинг

Ну, можно ли представить себе роман о Чикаго, или о Буффало, или, скажем, о Нэшвиле, штат Теннесси? В Соединенных Штатах всего три города, достойных этой чести: прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско.

Фрэнк Норрис

Восток — это Восток, а Запад — это Сан-Франциско, таково мнение калифорнийцев. Калифорнийцы — не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада. Чикагцы не менее преданы своему городу; но если вы спросите чикагца, за что он любит свой город, он начнет заикаться и мямлить что-то о рыбе из озера Мичиган и новом здании тайного ордена «Чудаков». Калифорниец же за словом в карман не полезет.

Прежде всего он будет добрых полчаса рассуждать о благоприятном климате, пока вы думаете о поданных вам счетах за уголь и о шерстяных фуфайках. А когда он, ошибочно приняв ваше молчание за согласие, войдет в раж, он начнет расписывать Город Золотых Ворот каким-то Багдадом Нового Света. И, пожалуй, по этому пункту опровержений не требуется. Но, дорогие мои родственники (кузены по Адаму и Еве)! Опрометчиво поступит тот, кто, положив палец на географическую карту, скажет: «В этом городе нет ничего романтического... Что может случиться в таком городе?» Да, дерзко и опрометчиво было бы бросить в одной фразе вызов истории, романтике и издательству Рэнд и Мак-Нэлли¹.

¹ Издательство, выпускавшее географические атласы, карты и путеводители.

«Н Э Ш В И Л Ь. Город; столица и ввозный порт штата Теннесси; расположен на реке Кэмберленд и на скрещении двух железных дорог. Считается самым значительным центром просвещения на Юге».

Я вышел из поезда в восемь часов вечера. Тщетно перерыв словарь в поисках подходящих прилагательных, я вынужден обратиться к языку фармацевтов.

Возьмите лондонского тумана тридцать частей, малярии десять частей, просочившегося светильного газа двадцать частей, росы, собранной на кирпичном заводе при восходе солнца, двадцать пять частей, запаха жимолости пятнадцать частей. Смешайте.

Эта смесь даст вам некоторое представление о нэшвилльском морозящем дожде. Не так пахуче, как шарики нафталина, и не так густо, как гороховый суп, а впрочем, ничего — дышать можно.

Я поехал в гостиницу в каком-то рыдване. Большого труда мне стоило воздержаться и не вскарабкаться, в подражание Сиднею Картону¹, на его верх. Повозку тащила пара ископаемых животных, а правило ими что-то темное, но уже вырванное из тьмы рабства.

Я устал, и мне хотелось спать. Поэтому, добравшись до гостиницы, я поспешил уплатить пятьдесят центов, которые потребовал возница, и, честное слово, почти столько же прибавил на чай. Я знал их привычки, и у меня не было ни малейшего желания слушать его болтовню о старом хозяине и о том, что было «до войны».

Гостиница была одною из тех, которые описывают в рекламах как «заново отделанные». Это значит: на двадцать тысяч долларов новых мраморных колонн, изразцов, электрических люстр и медных плевательниц в вестибюле, а также новое расписание поездов и литография с изображением Теннессийского хребта во всех просторных номерах на втором этаже. Администрация вела себя безукоризненно, прислуга была внимательна, полна угонченной южной вежливости, медлительна, как улитка, и добродушна, как Рип ван Винкль². А кормили так, что из-за одного этого стоило проехать тысячу миль. Во всем мире не найдется гостиницы, где вам подали бы такую куриную печенку «броше».

¹ Персонаж из романа Диккенса «Повесть о двух городах».

² Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга.



За обедом я спросил слугу-негра, что делается у них в городе. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, потом ответил:

— Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается.


Заход солнца уже состоялся — оно давно утонуло в морозящем дожде. Значит, этого зрелища я был лишен. Но я все-таки вышел на улицу, под дождь, в надежде увидеть хоть что-нибудь интересное.

«Он построен на неровной местности, и улицы его освещаются электричеством. Годовое потребление энергии на 32 470 долларов».

Выйдя из гостиницы, я сразу натолкнулся на международные беспорядки. На меня бросилась толпа не то бедуинов, не то арабов или зулусов, вооруженных... впрочем, я с облегчением увидел, что они вооружены не винтовками, а кнутами. И еще я заметил неясные очертания целого каравана темных и неуклюжих повозок и, слыша успокоительные выкрики: «Прикажете подать? Куда прикажете? Пятьдесят центов конец», — рассудил, что я не жертва, а всего-навсего седок.

Я проходил по длинным улицам, которые все поднимались в гору. Интересно было бы узнать, как они спускаются потом обратно. А может быть, они вовсе не спускаются в ожидании нивелировки. На некоторых «главных» улицах я видел там и сям освещенные магазины; видел трамвай, развозивший во все концы почтенных горожан; видел пешеходов, упражнявшихся в искусстве разговора, слышал взрывы не слишком веселого смеха из заведения, в котором торговали содовой водой и мороженым. На «неглавных» улицах приютились дома, под крышами которых мирно текла семейная жизнь. Во многих из них за скромно опущенными шторами горели огни, доносились звуки рояля, ритмичные и благонравные. Да, действительно, здесь «мало что делалось». Я пожалел, что не вышел до захода солнца, и вернулся в гостиницу.

«В ноябре 1864 года отряд южан генерала Гуда двинулся против Нэшвиля, где и окружил части северных войск под командованием генерала Томаса. Этот последний сделал вылазку и разбил конфедератов в жестоком бою».



Я всю свою жизнь был свидетелем и поклонником удивительной меткости, какой достигают в мирных боях южане, жующие табак. Но в этой гостинице меня ожидал сюрприз. В большом вестибюле имелось двенадцать новых, блестящих, вместительных, внушительного вида медных плевательниц, настолько высоких, что их можно было бы назвать урнами, и с такими широкими отверстиями, что на расстоянии не более пяти шагов лучшая из подающих дамской бейсбольной команды, пожалуй, сумела бы закинуть мяч в любую из них. Но хотя тут свирепствовала и продолжала свирепствовать страшная битва, враги не были побеждены. Они стояли блестящие, новые, внушительные, вместительные, нетронутые. Но — боже правый! — изразцовый пол, чудный изразцовый пол! Я невольно вспомнил битву под Нэшвилем и по глупой своей привычке делать выводы заключил, что меткостью стрельбы управляют законы наследственности.

Здесь я в первый раз увидел Уэнтурта Кэсуэла, майора Кэсуэла, если соблюсти неуместную южную учтивость. Я понял, что это за тип, лишь только сподобился увидеть его. Крысы не имеют определенного географического местожительства. Мой старый друг А. Теннисон сказал, и сказал по своему обыкновению метко:

*Пророк, прокляни болтливый язык
И прокляни британскую гадину крысу.*

Будем рассматривать слово «британский» как подлежащее замене *ad libitum*¹. Крыса везде остается крысой.

Человек этот сновал по вестибюлю гостиницы, как голодная собака, которая не помнит, где она зарыла кость. У него было широкое лицо, мясистое, красное, своей сонной массивностью напоминавшее Будду. Он имел только одно достоинство — был очень гладко выбрит. До тех пор пока человек бреется, печать зверя не ляжет на его лицо. Я думаю, что, не воспользуясь он в этот день бритвой, я бы отверг его авансы и в уголовную летопись мира не было бы внесено еще одно убийство.

Я стоял в пяти шагах от одной из плевательниц, когда майор Кэсуэл открыл по ней огонь. У меня хватило наблю-

¹ По желанию (*лат.*).



дательности, чтобы заметить, что нападающая сторона пользуется скорострельной артиллерией, а не каким-нибудь охотничьим ружьем. Поэтому я быстро сделал шаг в сторону, что дало майору повод извиниться передо мной как представителем мирного населения. Язык у него был как раз «болтливый». Через четыре минуты он стал моим приятелем и потащил меня к стойке.

Я хочу оговориться здесь, что я и сам южанин, но не по профессии или ремеслу. Я избегаю галстуков-шнурков, шляп с широкими опущенными полями, длинных черных сюртуков «принц Альберт», разговоров о количестве тюков хлопка, уничтоженных генералом Шерманом, и жевания табака. Когда оркестр играет «Дикси»¹, я не рукоплещу. Я только усаживаюсь поудобнее в моем кожаном кресле, заказываю еще бутылку пива и жалею, что Лонгстрит² не... Но к чему сожаления?

Майор Кэсуэл ударил кулаком по стойке, и ему отозвалась первая пушка на форте Сэмтер. Когда он выстрелил из последней — при Аппоматоксе, у меня появилась слабая надежда. Но он перешел на родословные древа и выяснил, что Адам приходился семье Кэсуэл всего лишь троюродным братом, да и то только боковой ее ветви. Покончив с генеалогией, он, к великому моему отвращению, стал расспрашивать о своих семейных делах. Он упомянул о своей жене, проследил ее происхождение вплоть до Евы и яростно опроверг клеветнические слухи о том, что у нее будто бы есть какие-то родственные связи с потомками Каина.

К этому времени у меня родилось подозрение, что он затеял весь этот шум с целью заставить меня забыть, что напитки заказаны им, и в надежде, что я, заговоренный им до полу-смерти, заплачу за них. Но когда мы выпили, он со звоном швырнул на стойку серебряный доллар. После этого мне ничего не оставалось, как только потребовать вторую порцию. Заплатив за нее, я сухо и решительно простился с ним; довольно было с меня его общества. Но прежде чем я отделался от него, он успел громко похвастаться доходами своей жены и показать мне полную пригоршню серебряной монеты.

Когда я подошел к конторке за ключом, портъе вежливо сказал мне:

¹ Военная песня южан во время Гражданской войны в США.

² Лонгстрит — генерал южной армии в Гражданской войне США.

— Если этот Кэсуэл надоедает вам, мы можем его выпроводить. Это несносное существо, бездельник, без каких-либо явных средств к существованию, хотя у него большей частью кое-какие деньги водятся. К сожалению, у нас нет повода вышвырнуть его отсюда на законном основании.

— Нет, зачем же, — сказал я, подумав. — Мне, собственно, не на что жаловаться. Но имейте в виду, что я действительно не ищу его общества. Ваш город, — продолжал я, — по-видимому, очень тихий город. Какого рода увеселения, приключения или развлечения можете вы предложить путешественнику?

— В будущий четверг, сэр, сюда приезжает цирк. Там... Да вот я поищу объявление и пришлю его вам в номер, когда вам подадут воду со льдом. Покойной ночи.

Поднявшись в свою комнату, я выглянул из окна. Было всего только десять часов, но передо мной лежал уже безмолвный город. Продолжало моросить, кое-где блестили огоньки, но на таком далеком расстоянии друг от друга, как коринки в сладкой булке, продаваемой на дамском благотворительном базаре.

— Тихое место, — сказал я себе, когда мой первый башмак ударился в потолок над головой постояльца, занимавшего комнату внизу. — В здешней жизни нет того, что придает красочность и разнообразие городам Запада и Востока. Это просто хороший, обыкновенный, скучный, деловой город.

«Нэшвилл занимает одно из первых мест среди промышленных центров страны. Он является пятым обувным рынком Соединенных Штатов, самым крупным на Юге поставщиком конфет и печенья и ведет обширную оптовую торговлю мануфактурой, колониальными и аптекарскими товарами».

Я должен сказать вам, зачем я приехал в Нэшвилл. Могу вас уверить, что это отступление так же скучно для меня, как и для вас. Ехал я в другое место, по своим делам, но один нью-йоркский издатель поручил мне завернуть сюда для установления личной связи между ним и одним из его сотрудников — А. Эдэр.

От Эдэр (кроме почерка, редакция о нем ничего не знала) поступило всего несколько «эссе» (утраченное искусство

во!) и стихотворений. Просмотрев их за завтраком, редактор одобрительно чертыхнулся, а затем отрядил меня с поручением так или иначе обойти названного Эдэра и законтраковать на корню всю его (или ее) литературную продукцию по два цента за слово, пока другой издатель не предложил ему (или ей) десять, а то и двадцать.

На следующее утро в девять часов, скушав куриную печенку «броше» (попробуйте непременно, если попадете в эту гостиницу), я вышел под дождь, которому все еще не предвиделось конца. На первом же углу я наткнулся на дядю Цезаря. Это был дюжий негр, древнее пирамид, с седыми волосами и лицом, напомнившим мне сначала Брута, а через секунду покойного короля Сеттивайо¹. На нем было необыкновенное пальто. Такого я еще ни на ком не видел и, должно быть, никогда не увижу. Оно доходило ему до лодыжек и было некогда серым, как военная форма южан. Но дождь, солнце и годы так испестрили его, что рядом с ним плащ Иосифа показался бы бледной гравюрой в одну краску². Я останавливаюсь на описании этого пальто потому, что оно играет роль в последующих событиях, до которых мы никак не можем дойти, так как трудно ведь представить себе, что в Нэшвиле могло произойти какое-нибудь событие.

Пальто, по-видимому, некогда было офицерской шинелью. Капюшона на нем не осталось. Весь перед его был раньше богато отделан галуном и кисточками. Но галун и кисточки теперь тоже исчезли. На их месте был терпеливо пришит, вероятно какой-нибудь сохранившейся еще черной «мамми», новый галун, сделанный из мастерски скрученной обыкновенной бечевки. Бечевка была растрепана и раздергана. Это безвкусное, но потребовавшее великих трудов изделие призвано было, по-видимому, заменить исчезнувшее великолепие, так как веревка точно следовала по кривой, оставленной бывшим галуном. И в довершение смешного и жалкого вида одеяния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только вторая сверху. Пальто завязывалось веревочками, продетыми в петли и в грубо проткнутые с противоположной стороны дырки. На свете еще не было одеяния, столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков.

¹ Воинственный вождь зулусов, боровшийся с англичанами в 70-х гг. XIX в.

² По библейской легенде, Иаков любил Иосифа больше своих сыновей «и сделал ему разноцветную одежду».

Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой.

Негр стоял около кареты, такой древней, что, должно быть, еще Хам по выходе из ковчега запрягал в нее пару чистых и занимался извозчичьим промыслом. Когда я подошел, он открыл дверцу, вытащил метелку из перьев, помахал ею для видимости и сказал глухим, рокочущим басом:

— Пожалуйста, сар. Карета чистая, ни пылинки нет. Прямо с похорон, сар.

Я вывел заключение, что ради таких торжественных okazji, как похороны, кареты здесь подвергаются особой чистке. Оглядев улицу и ряд колымаг, стоявших у панели, я убедился, что выбирать не из чего. В своей записной книжке я нашел адрес Эдэр.

— Мне нужно на Джессамайн-стрит, номер восемьсот шестьдесят один, — сказал я, собираясь уже влезть в карету.

Но в эту минуту огромная рука старого негра загородила мне вход. На его массивном и мрачном лице промелькнуло выражение подозрительности и неприязни. Затем, быстро успокоившись, он спросил заискивающе:

— А зачем вы туда едете, сар?


— А тебе какое дело? — сказал я довольно резко.

— Никакого, сар, никакого. Только улица это тихая, по делам туда никто не ездит. Пожалуйста, садитесь. Сиденье чистое, я прямо с похорон, сар.

Пути было, вероятно, мили полторы. Я ничего не слышал, кроме страшного громыхания древней повозки по неровной каменной мостовой. Я ничего не ощущал, кроме мелкого дождя, пропитанного теперь запахом угольного дыма и чего-то вроде смеси дегтя с цветами олеандра. Сквозь струящуюся по стеклам воду я смутно различал только два длинных ряда домов.

«Город занимает площадь в 10 квадратных миль; общее протяжение улиц 181 миля, из которых 137 миль мощеных; магистрали водопровода, постройка которого стоила 2 000 000 долларов, составляют 77 миль».

Номер 861 по Джессамайн-стрит оказался полуразрушенным плантаторским домом. Он стоял отступя шагов тридцать от улицы и был заслонен великолепной купой деревьев и неподстриженным кустарником; кусты самшита,



посаженные вдоль забора, почти совсем скрывали его. Калитку удерживала веревочная петля, заброшенная на ближайший столбик забора. Но тому, кто входил в самый дом, становилось понятно, что номер восемьсот шестьдесят один только остов, только тень, только призрак былого великолепия. Впрочем, в рассказе я еще туда не вошел.

Когда карета перестала громыхать и усталые четвероногие остановились, я протянул негру пятьдесят центов и прибавил еще двадцать пять с приятным сознанием своей щедрости. Он отказался взять деньги.

— Два доллара, сар, — сказал он.

— Это почему? — спросил я. — Я прекрасно слышал твои выкрики у гостиницы: «Пятьдесят центов в любую часть города».

— Два доллара, сар, — упрямо повторил он. — Это очень далеко от гостиницы.

— Это в черте города, — доказывал я. — Не думай, что ты подцепил желторотого янки. Ты видишь эти горы, — продолжал я, указывая на восток (хотя я и сам за дождем ничего не видел), — ну, так знай, что я родился и вырос там. А ты, глупый старый негр, неужели не умешь распознавать людей?

Мрачное лицо короля Сеттивайо смягчилось.

— Так вы с Юга, сар? Это ваши башмаки сбили меня с толку: для джентльмена с Юга у них носы слишком острые

— Теперь, я полагаю, плата будет пятьдесят центов? — преклонно сказал я.


Прежнее выражение жадности и неприязни вернулось на его лицо, оставалось на нем десять секунд и исчезло.

— Сар, — сказал он, — пятьдесят центов правильная плата, только мне нужно два доллара, обязательно нужно два доллара. Не то чтобы я требовал их с вас, сар, раз уж я знаю, что вы сами с Юга. А только я так говорю, что мне обязательно надо два доллара... А седоков нынче мало.

Теперь его тяжелое лицо выражало спокойствие и уверенность. Ему повезло больше, чем он рассчитывал. Вместо того, чтобы подцепить желторотого новичка, не знающего таксы, он наткнулся на старожилу.

— Ах ты, бесстыжий старый плут, — сказал я, опуская руку в карман. — Следовало бы тебя отправить в полицию.

В первый раз я увидел у него улыбку. Он знал. Прекрасно знал. Знал с самого начала.



Я дал ему две бумажки по доллару. Протягивая их ему, я обратил внимание, что одна из них пережила немало передряг. Правый верхний угол был у нее оторван, и, кроме того, она была разорвана посередине и склеена. Кусочек тончайшей голубой бумаги, наклеенной по надрыву, делал ее годной для дальнейшего обращения.

Но довольно пока об этом африканском бандите; я оставил его совершенно удовлетворенным, приподнял веревочную петлю и открыл скрипучую калитку.

Как я уже говорил, передо мною был только остов дома. Кисть маляра уже лет двадцать не касалась его. Я не мог понять, почему сильный ветер не смел его до сих пор, как карточный домик, пока не взглянул опять на тесно обступившие его деревья — на деревья, которые видели битву при Нэшвиле, но все еще простирали свои ветви вокруг дома, защищая его от бурь, от холода и от врагов.

Азалия Эдэр — седая женщина лет пятидесяти, потомок кавалеров, тоненькая и хрупкая, как ее жилище, одетая в платье, дешевле и опрятней которого трудно себе представить, — приняла меня с царственной простотою.

Гостиная казалась величиною в квадратную милю, потому что в ней не было ничего, кроме книг на некрашенных белых сосновых полках, треснувшего мраморного стола, лоскутного коврика, волосяного дивана без волоса и двух или трех стульев. Да, была еще картина, нарисованная пастелью и изображавшая букет анютиных глазок. Я оглянулся, ища портрет Эндрю Джексона¹ и корзинку из сосновых шишек, но их не было.

Я побеседовал с Азалией Эдэр и кое-что расскажу вам об этом. Детище старого Юга, она была заботливо взращена среди окружавшего ее мирного уюта. Познания ее были не обширны, но глубоки и ярко оригинальны. Она воспитывалась дома, и ее знание света основывалось на умозаключениях и интуиции. Из таких людей и состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов. Пока она говорила со мной, я бессознательно потирал пальцы, виновато стараясь смахнуть с них несуществующую пыль от кожаных корешков Лэмба, Чосера, Хэзлита, Марка Аврелия, Монтеня и Гуда. Что за прелесть эта Азалия Эдэр! Какая ценная находка! В наши дни все знают так много — слишком много! — о действительной жизни.

¹ Президент США в 1829—1837 гг.



Мне было совершенно ясно, что Азалия Эдэр очень бедна. «У нее есть дом и есть во что одеться, но больше, вероятно, ничего», — подумалось мне. Таким образом, раздираемый между моими обязательствами по отношению к издателю и преданностью поэтам и эссеистам, сражавшимся против генерала Томаса в долине Кэмберленда, я слушал ее голос, звучащий, как клавикорды, и понял, что не в силах повести речь о договорах. В присутствии девяти муз и трех граций не так-то легко низвести уровень беседы до двух центов. «Придется приехать еще раз, — сказал я себе. — Может быть, я тогда настроюсь на коммерческий лад». Но все же я сообщил ей о цели моего приезда, и деловой разговор был назначен на три часа следующего дня.

— Ваш город, — сказал я, готовясь уходить (в это время всегда говорят банальные фразы), — по-видимому, очень тихий, спокойный, так сказать, семейный город, где редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее.


«Он поддерживает с Западом и Югом обширную торговлю скобяными товарами, и его мукомольные мельницы пропускают свыше 2000 баррелей в день».

Азалия Эдэр, видимо, размышляла о чем-то.

— Я никогда не думала о нем с этой точки зрения, — сказала она с какой-то свойственной ей напряженной искренностью. — Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах? Мне представляется, что при сотворении мира, если б кто-нибудь в первый же понедельник высунулся из окна, он услышал бы, как скатываются комья глины с Божьей лопаты, только что нагромоздившей эти первозданные горы. А к чему свелось самое громкое начинание мировой истории? Я говорю о Вавилонской башне. К двум-трем страницам на эсперанто в «Североамериканском обозрении».

— Конечно, — глупо ответил я, — человеческая природа везде одинакова, но в некоторых городах как-то больше красочности... э-э... больше драматизма и движения и... э-э... романтики, чем в других.

— Только на первый взгляд, — сказала Азалия Эдэр. — Я много раз путешествовала вокруг света на золотом воздушном корабле, крыльями которого были книги и мечты. Я видела (во время одной из моих воображаемых поездок),



как турецкий султан собственноручно удавил шнурком одну из своих жен за то, что она открыла лицо на людях. Я видела, как один человек в Нэшвиле разорвал билеты в театр, потому что жена его собиралась пойти туда, закрыв лицо... слоем пудры. В китайском квартале Сан-Франциско я видела, как девушку-рабыню Синг-И понемногу погружали в кипящее миндальное масло, заставляя ее принести клятву, что она больше никогда не увидится со своим возлюбленным-американцем. Она поклялась, когда кипящее масло поднялось на три дюйма выше колен. Я видела, как недавно на вечеринке в восточном Нэшвиле от Китти Морган отвернулись семь ее закадычных школьных подруг за то, что она вышла замуж за маляра. Кипящая олифа доходила ей до самого сердца, но посмотрели бы вы, с какой прелестной улыбкой она порхала от стола к столу. О да, это скучный город. Только несколько миль красных кирпичных домов, грязь, лавки и лесные склады.

Кто-то осторожно постучал с черного хода. Азалия Эдэр мягко извинилась и пошла узнать, кто это. Она вернулась через три минуты, помолодевшая на десять лет, глаза ее блестя, на щеках проступил легкий румянец.


— Вы должны выпить у меня чашку чаю со сладкими булочками, — сказала она.

Она позвонила в маленький металлический колокольчик. Явилась девочка-негритянка лет двенадцати, босая, не очень опрятная, и, засунув большой палец в рот, грозно выпучила на меня глаза.

Азалия Эдэр открыла небольшой потертый кошелек и достала оттуда бумажный доллар — доллар с оторванным правым верхним углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Не могло быть сомнения — это была одна из бумажек, которые я дал разбойнику-негру.

— Сходи на угол, Импи, к мистеру Бейкеру, — сказала она, передавая девочке доллар, — и возьми четверть фунта чая — того, который мы всегда берем, — и на десять центов сладких булочек. Иди скорей. У нас как раз вышел весь чай, — объяснила она мне.

Импи вышла через заднюю дверь. Не успел еще затихнуть топот ее босых ног по крыльцу, как дикий крик, — я был уверен, что кричала она, — огласил пустой дом. Затем глухой и хриплый голос рассерженного мужчины смешался с писком и невнятным лепетом девочки.



Азалия Эдэр встала, не выказывая ни тревоги, ни удивления, и исчезла. Еще минуты две я слышал хриплое мужское ворчание, какое-то ругательство и возню, затем она вернулась ко мне, по-прежнему спокойная.

— Это очень большой дом, — сказала она, — и я сдаю часть его жильцу. К сожалению, мне приходится отменить мое приглашение на чай. В магазине не оказалось чая того сорта, который я всегда беру. Мистер Бейкер обещал достать мне его завтра.

Я был убежден, что Импи не успела еще уйти из дома. Я справился, где тут поближе проходит трамвай, и простился. Когда я уже порядочно отошел от дома, я вспомнил, что не спросил Азалию Эдэр, как ее настоящая фамилия. Ну, да все равно, завтра узнаю.

В этот же день я ступил на стезю порока, на которую привел меня этот город без происшествий. Я прожил в нем только два дня, но за это время успел бессовестно налгать по телеграфу и сделаться сообщником убийства, правда, сообщником *post factum*, если существует такое юридическое понятие.

Когда я заворачивал за угол, ближайший к моей гостинице, африканский возница, обладатель многоцветного, единственного в своем роде пальто, перехватил меня, распахнул тюремную дверь своего передвижного саркофага, помахал метелкой из перьев и затянул свое обычное:

— Пожалуйте, сар, карета чистая, только что с похорон. Пятьдесят центов в любой...

Тут он узнал меня и широко ослабилсЯ.

— Простите, сар... Ведь вы — тот джентльмен, которого я возил нынче утром. Благодарю вас, сар.

— Завтра, в три часа, мне опять нужно на Джессамайн-стрит, — сказал я. — Если ты будешь здесь, я поеду с тобой. Так ты знаешь мисс Эдэр? — добавил я, вспомнив свой бу-мажный доллар.

— Я принадлежал ее отцу, судье Эдэру, сар, — ответил он.

— Похоже, что она сильно нуждается, — сказал я. — Не-велик у нее доход, а?

Опять передо мной мелькнуло свирепое лицо короля Сеттивайо и снова превратилось в лицо старого извозчика-вымогателя.

— Она не голодает, сар, — тихо сказал он, — у нее есть доходы... да, у нее есть доходы.



— Я заплачу тебе пятьдесят центов за поездку, — сказал я.
— Совершенно правильно, сэр, — смиренно ответил он. — Это только сегодня мне необходимо было иметь два доллара, сэр.

Я вошел в гостиницу и заставил солгать телеграфный провод. Я протелеграфировал издателю: «Эдэр настаивает восьми центах слово». Ответ пришел такого содержания: «Соглашайтесь немедленно тупица».

Перед самым обедом «майор» Уэнтуорт Кэсуэл атаковал меня так радостно, будто я был его старым другом, которого он давно не видел. Я еще не встречал человека, который вызвал бы во мне такую ненависть и от которого так трудно было бы отделаться. Он застиг меня у стойки, поэтому я никак не мог разразиться тирадой о вреде алкоголя. Я с удовольствием первым заплатил бы за выпитое, чтобы избавиться от него; но он был одним из тех презренных, кричащих, выставляющих себя напоказ пьяниц, которым нужен военный оркестр и фейерверк в виде сопровождения к каждому центру, истраченному ими на свою блажь.

С таким видом, словно дает миллион, он вытащил из кармана два бумажных доллара и бросил один из них на стойку. И я снова увидел бумажный доллар с оторванным правым углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Это опять был мой доллар. Другого такого быть не могло.

Я поднялся в свою комнату. Моросящий дождь и скука унылого, лишнего событий южного города навеяли на меня тоску и усталость. Помню, что перед тем, как лечь, я успокоился относительно этого таинственного доллара (в Сан-Франциско он послужил бы прекрасной завязкой для детективного рассказа), сказав себе: «Здесь, как видно, существует трест извозчиков, и в нем очень много акционеров. И как быстро выдают у них дивиденды! Хотел бы я знать, что было бы, если бы...» Но тут я заснул.

На следующий день король Сеттивайо был на своем месте, и мои кости снова протряслись в его катафалке до Джессамайн-стрит. Выходя, я велел ему ждать и доставить меня обратно.

Азалия Эдэр выглядела еще более чистенькой, бледной и хрупкой, чем накануне. Подписав договор (по восьми центов за слово), она совсем побелела и вдруг стала сползать со стула. Без особого труда я поднял ее, положил на допотоп-



ный диван, а затем выбежал на улицу и заорал кофейного цвета пирату, чтобы он привез доктора. С мудростью, которой я не подозревал в нем, он покинул своих одров и побегал пешком, очевидно понимая, что времени терять нечего. Через десять минут он вернулся с седовласым, серьезным, сведущим врачом. В нескольких словах (стоивших много меньше восьми центов каждое) я объяснил ему свое присутствие в этом пустом таинственном доме. Он величаво поклонился и повернулся к старому негру.

— Дядя Цезарь, — спокойно сказал он, — сбегай ко мне и скажи мисс Люси, чтоб она дала тебе полный кувшин свежего молока и полстакана портвейна. Живей. Только не на лошадях. Беги пешком — это дело спешное.

Видимо, доктор Мерримен тоже не доверял резвости коней моего сухопутного пирата. Когда дядя Цезарь вышел, шагая неуклюже, но быстро, доктор очень вежливо, но вместе с тем и очень внимательно оглядел меня и наконец, очевидно, решил, что говорить со мной можно.

— Это от недоедания, — сказал он. — Другими словами — это результат бедности, гордости и голодовки. У миссис Кэсуэл много преданных друзей, которые были бы рады помочь ей, но она не желает принимать помощь ни от кого, кроме как от этого старого негра, дяди Цезаря, который когда-то принадлежал ее семье.

— Миссис Кэсуэл? — с удивлением переспросил я. А потом я взглянул на договор и увидел, что она подписалась: «Азалия Эдэр-Кэсуэл».

— Я думал, что она мисс Эдэр, — сказал я.

— ...вышедшая замуж за пьяного, никуда не годного бездельника, сэр, — закончил доктор. — Говорят, он отбирает у нее даже те крохи, которыми поддерживает ее старый слуга.

Когда появилось молоко и вино, доктор быстро привел Азалию Эдэр в чувство. Она села и стала говорить о красоте осенних листьев (дело было осенью), о прелести их окраски. Мимоходом она коснулась своего обморока как следствия давнишней болезни сердца. Она лежала на диване, а Импи обмахивала ее веером. Доктор торопился в другое место, и я дошел с ним до подъезда. Я сказал ему, что имею намерение и возможность выдать Азалии Эдэр небольшой аванс в счет ее будущей работы в журнале, и это его, по-видимому, обрадовало.

— Между прочим, — сказал он, — вам, может быть, небезынтересно узнать, что вашим кучером был потомок королей. Дед старика Цезаря был королем в Конго. Вы могли заметить, что и у самого Цезаря царственная осанка.

Когда доктор уже уходил, я услышал голос дяди Цезаря:

— Так как же это... он оба доллара отнял у вас, мисс Зали?

— Да, Цезарь, — слышался ее слабый ответ.

Тут я вошел и закончил с нашим будущим сотрудником денежные расчеты. За свой страх я выдал ей авансом пятьдесят долларов, уверив ее, что это необходимая формальность для скрепления нашего договора. Затем дядя Цезарь отвез меня назад в гостиницу.

Здесь оканчивается та часть истории, которой я сам был свидетелем. Остальное будет только голым изложением фактов.

Около шести часов я вышел прогуляться. Дядя Цезарь был на своем углу. Он открыл дверцу кареты, помахал метелкой и затащил свою унылую формулу:

— Пожалуйста, сар, пятьдесят центов в любую часть города. Карета совершенно чистая, сар, только что с похорон...

Но тут он узнал меня. По-видимому, зрение его слабело. Пальцы его расцветились еще несколькими оттенками; веревка-шнурок еще больше растрепалась, и последняя оставшаяся пуговица — желтая роговая пуговица — исчезла. Жалким потомком королей был этот дядя Цезарь!

Часа два спустя я увидел возбужденную толпу, осаждавшую вход в аптеку. В пустыне, где никогда ничего не случается, это была манна небесная, и я протолкался в середину толпы. На импровизированном ложе из пустых ящиков и стульев покоились тленные останки майора Уэнтуорта Кэсуэла. Доктор попытался обнаружить и его нетленную душу, но пришел к выводу, что таковая отсутствует.

Бывший майор был найден мертвым на глухой улице и принесен в аптеку любопытными и скучающими согражданами. Все подробности указывали на то, что это бывшее человеческое существо выдержало отчаянный бой. Какой бы ни был он негодяй и бездельник, он все же оставался воином. Но он проиграл сражение. Кулаки его были сжаты так крепко, что не было возможности разогнуть пальцы. Знавшие его добросердечные граждане старались найти в своем лексиконе какое-нибудь доброе слово о нем. Один



добродушного вида человек после долгих размышлений сказал:

— Когда Кэсу было четырнадцать лет, он был одним из лучших в школе по правописанию.

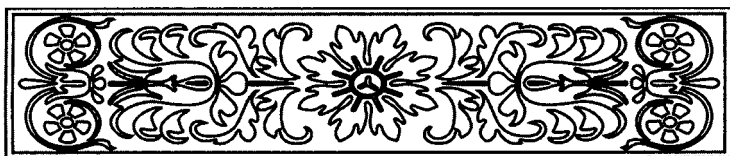
Пока я стоял тут, пальцы правой руки покойника, свесившиеся с края белого соснового ящика, разжались и выронили что-то около моей ноги. Я спокойно прикрыл это «что-то» подошвой, а через некоторое время поднял и положил в карман. Я понял, что в последней борьбе его рука бессознательно схватила этот предмет и зажала его в предсмертной судороге.

В тот вечер в гостинице главной темой разговора, за исключением политики и «сухого закона», была кончина майора Кэсуэла. Я слышал, как один человек сказал группе слушателей:

— По моему мнению, джентльмены, Кэсуэла убил один из этих хулиганов-негров, из-за денег Сегодня днем у него было пятьдесят долларов, он их многим показывал. А когда его нашли, денег при нем не оказалось.

Я выехал из города на следующее утро в девять часов, и когда поезд шел по мосту через Кэмберленд, я вынул из кармана желтую роговую пуговицу величиной с полдоллара, с еще висевшими на ней раздерганными концами бечевки, и выбросил ее из окна в тихую мутную воду.

Хотел бы я знать, что-то делается сейчас в Буффало?



ПСИХЕЯ И НЕБОСКРЕБ

Если вы философ, вы можете сделать вот что: подняться на крышу большого дома и, взирая с трехсотфутовой высоты на собратьев-людей, презирать их как ничтожных букашек. Они ползают, они толкутся и кружат, бесцельно, тупо, бестолково, точно какие-нибудь несуразные водяные клопы на пруду в летнюю пору. Не скажешь даже, что они спуют, как муравьи, ибо муравей, с присущим ему завидным здравомыслием, всегда знает, как ему быстрее попасть домой. Положение у муравья на земле невысокое, однако же как часто бывает, что он уж и домой пришел, и шлепанцы достал из-под кровати, а вы еще томитесь на высоте своего положения, застряв на станции надземки.

Итак, для философа-крышелаза человек — всего лишь презренная, ничтожная козявка. Биржевые маклеры и поэты, миллионеры, чистильщики сапог, красавицы, землекопы и политики превращаются в черные точки, которые на улице шириной в ваш палец увертываются от других черных точек чуть покрупней размером.

Сам город со столь возвышенной точки зрения, съезжась, предстает сумбурным скопищем перекошенных строений в немыслимо искаженной перспективе, могучий океан преобразается в лужу, сам земной шар — в мячик для гольфа, затерянный во вселенной. Все будничное и мелкое отступает прочь. Философ обращает свой взор к небесам, и, вдохновленный новым видением мира, воспаряет душой. Он ощущает себя потомком Вечности и преемником Времени. Он чувствует, что Пространство тоже должно достаться ему в законное и неотъемлемое наследство, и, воспламенясь, размышляет о том, как когда-нибудь существа, подобные ему, по таинственным воздушным тропам устремятся от планеты к планете. Крошечный мир у него под ногами, на котором, точно песчинка на Гималайской вершине, покоится стальная вышка небоскреба, — лишь бесконечно малая



крупница в круговороте неисчислимого множества других таких же. Честолюбивые надежды черненьких суетливых букашек там внизу, их достижения, их пустяковые победы и привязанности — что они в сравнении с безмятежной и грозной беспредельностью вселенной, окружающей со всех сторон их ничтожный город?

Что философа непременно посетят такие мысли, можно ручаться смело. Их специально отобрали из различных философских направлений, какие только есть на свете, и, снабдив в конце, как надлежит, вопросительным знаком, угвердили как неперменный образец глубокомыслия на большой высоте. И когда философ садится в лифт и едет вниз, ум его обогащен, душа полна покоя, взгляды на сущность мироздания широки, как пряжка на поясе Ориона.

Однако если вас зовут Дэзи и вам девятнадцать лет, если вы работаете в кондитерской на Восьмой авеню и получаете шесть долларов в неделю, при том что встаете в шесть тридцать утра и трудитесь до девяти вечера, а живете в холодной и тесной, пять фугов на восемь, мебелированной каморке и тратите на завтрак всего десять центов, если к тому же вы никогда не изучали философию — тогда с высоты небоскреба вы будете, возможно, смотреть на вещи иначе.

Двое вздыхали о непричастной к философии Дэзи, двое домогались ее руки. Первым был Джо, владелец самой маленькой лавочки в Нью-Йорке. Она была примерно с ящик, в каких хранят рабочий инструмент, и лепилась, наподобие ласточкина гнезда, к углу небоскреба в деловой части города. В ней продавались газеты, фрукты, конфеты, сборники песен, папиросы, а летом и лимонад. Когда же, трясая заиндевельными кудрями, приходила суровая зима и загоняла Джо с его фруктами в помещение, то места в лавке оставалось в обрез на хозяина, его товар, печурку величиной с графинчик для уксуса и на одного покупателя.

Джо не принадлежал к той нации, что производит у нас фурор своими фугами и фруктами. Он был толковый молодой американец, который понемногу откладывал деньги и хотел, чтобы Дэзи помогала ему их проживать. Он уже три раза делал ей предложение. И любовная песня его звучала так:

— Ты знаешь, Дэзи, как я хочу, чтобы мы поженились, я и деньжат поднакопил. Магазин у меня, правда, не такой уж большой...

— Ну да, серьезно? — отзывалась та, что была непричастна к философии. — А говорят, тебя сам Уонамейкер¹ уламывает сдать ему излишки помещения на будущий год.

Каждый день утром и вечером Дэзи проходила мимо угла, где притулилась лавчонка Джо. И приветствие ее обычно звучало так:

— Эй, в конуре, как дела? Что-то, смотрю, у тебя стало пуговато. Не иначе, продал пачку жевательной резинки.

— Да, места здесь немного, это точно, — с широкой усмешкой отвечал ей Джо, — но на тебя, Дэз, хватит. Мы с магазином ждем не дождемся тебя в хозяйки. Ты уж нас долго не томи, хорошо?

— Магазин! — Дэзи с презрением морщила вздернутый носик. — Не магазин, а консервная банка! Ждете, говоришь? Ну-ну. Только придется тебе, Джо, выкинуть фунтов сто сластей, а то мне не уместиться.

— Что ж, с удовольствием, ведь это выйдет так на так, — галантно говорил Джо.

Жизнь Дэзи и без того протекала в узких границах. На работе нужно было двигаться бочком, чтобы протиснуться между полками и прилавком. Дома было больше уюта, чем свободного места. Стены стояли так близко друг от друга, что при малейшем движении громыхали отставшие обои. Рассматривая в зеркале свою каштановую пышную прическу, Дэзи могла зажечь одной рукой газ, а другой в это же время закрыть дверь. На комодке стояла карточка Джо в золоченой рамке, и иногда при взгляде на нее... но туг мысль Дэзи неизменно обращалась к потешной лавочке, приткнутой, как ящик из-под мыла, к углу огромного здания, и вместо нежного вздоха слышался беззаботный смех.

Второй поклонник появился у Дэзи на несколько месяцев позже, чем Джо. Он снял комнату с пансионом в том же доме, где жила она. Звали его Дебстер, и он был философ. Достоинства этого совсем еще молодого человека бросались в глаза, как европейские наклейки на чемодане у жителя Пассейка, штат Нью-Джерси. Свои знания он почерпнул из энциклопедий и справочников, но что касается мудрости, она промчалась мимо, а он остался на обочине, отфыркиваясь и не успев заметить хотя бы номер ее автомобиля.

¹ В 1900-х гг — владелец самого большого в Нью-Йорке универсального магазина.




Он мог, и не пропускал случая, рассказать вам, из чего состоит вода и почему человеку полезно есть горох и телятину, какой в Библии самый короткий стих и сколько фунтов гвоздей уйдет на то, чтобы прибить 256 дранок с зазором в четыре дюйма, каково население города Канкаки, штат Иллинойс, в чем суть теории Спинозы, как зовут младшего лакея в доме мистера Г. Маккея Тумли, какова длина туннеля сквозь гору Хусак, когда лучше всего сажать курицу на яйца, какое жалованье получает почтовый курьер на железной дороге, участок Дрифтвуд — Ред-Банк-Фернес, штат Пенсильвания, и сколько насчитывается когтей в передней лапе кошки.

Столь нешуточное бремя познаний не отягощало Дебстера. Факты и цифры были для него словно бы веточки петрушки, приправа к легкой беседе, коей он потчевал вас, если усматривал, что это вам по вкусу. Кроме того, он пользовался ими как бруствером при фуражировке — за столом в пансионе. Обстреливая вас очередями цифр, связанных с тем, сколько весит один фунт пруткового железа сечением пять дюймов на два и три четверти и сколько в среднем выпадает ежегодно осадков в Форт-Снеллинге, штат Миннесота, он пронзал вилкой самый лакомый кусок курицы на блюде, пока вы только набирались духу спросить у него, отчего куры не клюют денег.

Оснащенный столь ослепительными доспехами, да и наружностью не обиженный, если вам нравится та брильянтиновая разновидность, какую в три часа дня встретишь на каждом шагу возле магазинов, он являл собою соперника, с которым Джо, содержателю микролавки, стоило бы, по-видимому, скрестить оружие. Однако Джо не носил при себе оружия. А если б и носил, то все равно скрестить его было бы нелегко.

Как-то в субботу, часа в четыре, Дэзи с мистером Дебстером остановились у палатки Джо. На Дебстере был цилиндр и потому... ну, словом, Дэзи была женщина и не могла допустить, чтобы этот цилиндр вновь очутился в картонке, пока его не увидит Джо. Формальным же предлогом их визита была пачка ананасной жевательной резинки, каковую Джо и подал в распахнутые настежь двери лавочки. При виде цилиндра он не дрогнул, не переменялся в лице.

— Мистер Дебстер пригласил меня подняться с ним сюда наверх для обозрения панорамы, — сказала Дэзи, когда



познакомила своих обожателей. — Я никогда еще не была на крыше небоскреба. Наверное, там жутко здорово и интересно.

— Хм! — сказал Джо.

— Ландшафт, который открывается нашему взору с крыши высокого здания, — сказал Дебстер, — не только грандиозен, но и поучителен. Мисс Дэзи может быть уверена, что ее ждет большое удовольствие.

— Там, между прочим, тоже ветрено, — сказал Джо. — Ты хорошо оделась, Дээ?

— Будьте покойны! Напялила сто одежек, — сказала Дэзи, со смущением и радостью отметив, как омрачилось его чело. — А ты тут, Джо, прямо как мумия в футляре. Уж не пополнились ли, чего доброго, твои запасы на фунт орехов или одно яблоко? По-моему, ты вконец затоварился.

Дэзи прыснула, наслаждаясь излюбленной шуткой, и Джо ничего не оставалось, как только улыбнуться тоже.

— В сравнении с масштабами этого дома, мистер, э... м-да, — заметил Дебстер, — ваше заведение, как мне представляется, несколько ограничено в размерах. Площадь бокового фасада здесь, если не ошибаюсь, приблизительно триста сорок футов на сто. Ваш магазин выглядит, соответственно, как если бы на территорию Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор — прибавив сюда же провинцию Онтарио и, скажем, такую страну, как Бельгия, — поместить половину Белуджистана.

— Нет, ей-богу? — простодушно сказал Джо. — Ну вы, приятель, по части цифр — прямо голова. А не скажете, сколько прессованного сена в квадратных фунтах съует осел, если на целую минуту и пять восьмых перестанет орать «и-а, и-а»?

Через несколько минут Дэзи и мистер Дебстер уже выходили из лифта на верхнем этаже небоскреба. Потом кругая лесенка — и крыша. Дебстер подвел Дэзи к парапету и показал ей, как копошатся внизу на улицах черненькие точки.

— Что это такое? — дрожа, спросила она. Ей никогда не приходилось подниматься на такую высоту.

Как же тут было Дебстеру не войти в роль философа на башне и не увлечь ее душу за собою навстречу беспредельному пространству!

— Двуногие, — торжественно сказал он. — Заметьте, во что они превращаются, если подняться над ними хотя бы на



триста сорок футов — существа насекомые, ползают туда-сюда, а что толку?

— Да ничего подобного! — вдруг воскликнула Дэзи. — Это же люди! А вон автомобиль. Ой, значит, мы так высоко поднялись?

— Подойдите сюда, прошу вас, — сказал Дебстер.

Он показал ей огромный город, раскинувший далеко внизу стройные шеренги игрушечных домов, униженные, несмотря на ранний час, первыми путеводными огоньками уличных фонарей. Потом он показал ей бухту, а за нею море, которое на юге и востоке таинственно сливалось с небом.

— Мне здесь не нравится, — объявила Дэзи, встревоженно подняв на него свои голубые глаза. — Поехали вниз, а?

Но философ отнюдь не собирался упускать такой случай. Пусть сначала она узрит, сколь возвышен полет его мысли, на какой он короткой ногой с бесконечностью, как обильно уснащена его память статистикой. И тогда ее уже не прельстит более возможность наведываться за жевательной резинкой в самую маленькую лавочку Нью-Йорка. И мистер Дебстер принялся разглагольствовать о мизерности и тщете людских забот, о том, что, вознесясь над землей даже на столь ничтожное расстояние, сознаешь, что человеку и делам его цена не больше, чем десяток медных, трижды пересчитанных грошей. И потому нам надлежит сделать предметом наших помыслов звездные миры и выкладки Эпиктета, и в том черпать для себя утешение.

— Лично меня это как-то не манит, — сказала Дэзи. — По-моему, если хотите знать, просто ужас, когда ты так высоко, а люди под тобой словно блохи. А вдруг это мы Джо там видели внизу. Надо же, как будто смотришь из соседнего штата. Да мне тут просто страшно!

Философ глуповато улыбнулся.

— Среди пространства, — говорил он, — сама земля — всего лишь зернышко пшеницы. Взгляните, пожалуйста, наверх.

Дэзи с опаской покосилась на небо. Короткий день угас, и уже высыпали первые звезды.

— Вон там, — говорил Дебстер, — вы видите Венеру, вечернюю звезду. Она отстоит от Солнца на шестьдесят шесть миллионов миль.

— Вот уж это враки! — сказала Дэзи, и от возмущения у нее на минуту прошел страх. — Что я, по-вашему, из Брукли-

на, что ли? Сьюзи Прайс из нашей кондитерской ездила в Сан-Франциско к брату, он ей присылал на билет. Так туда и то всего три тысячи миль.

Теперь философ улыбнулся снисходительно.

— Наша Земля, — сказал он, — находится на расстоянии девяноста одного миллиона миль от Солнца. А существуют восемнадцать звезд первой величины, которые от Солнца в двести одиннадцать тысяч раз дальше нас. Если одна из них погаснет, ее последний луч долетит до нас только через три года. Кроме того, есть шесть тысяч звезд шестой величины. Их свет доходит до Земли уже за тридцать шесть лет. В восемнадцатифутовый телескоп мы увидим сорок три миллиона звезд и в том числе — звезды тринадцатой величины, свет которых достигает Земли за две тысячи семьсот лет. Каждая такая звезда...

— Неправда! — сердито вскричала Дэзи. — Вы нарочно меня пугаете. Вы и так меня уже напугали, я хочу вниз!

Она топнула ногой.

— Арктур... — начал было философ примирительно, но тут, прервав его на полуслове, ему из глубины своей безмерности предъявила наглядный аргумент та самая Природа, которую он тщился описать, напрягая память, но позабыв про сердце. Ибо тому, кто толкует Природу сердцем, известно, что звезды укреплены на небесном своде с одной целью — лить ласковый свет на влюбленных, блаженно блуждающих под ними, и если в сентябрьскую ночь вы, рука об руку с милой, встанете на цыпочки, окажется, что до них не так уж трудно дотянуться. Чтобы их свет летел к нам целых три года? Чушь какая!

Откуда-то с запада вынырнул метеор, и на крыше небоскреба сделалось вдруг светло как днем. Метеор пронесся по небу, прочертив с запада на восток огненную параболу. Он шипел на лету, и Дэзи взвизгнула.

— Везите меня вниз, ходячая вы арифметика! — крикнула она отчаянно.

Добстер помог ей сойти с лесенки, они вошли в лифт. Глаза у Дэзи были безумные, и когда, мгновенно вызвав у пассажиров слабость в коленках, лифт-экспресс ухнул вниз, она передернулась.

За вращающейся дверью небоскреба философ ее потерял. Она исчезла, а он озадаченно топтался на месте, и ни факты, ни цифры не поспешили ему на выручку.



У Джо наступило затишье в торговле, и он, извиваясь змеей, пробрался между ящиками с товаром, зажег папиросу и приладил одну озябшую ногу к чахлой печурке.

Дверь лавочки распахнулась, и Дэзи, смеясь и плача, спотыкаясь, рассыпая по полу фрукты и конфеты, кинулась к нему на грудь.

— Ну вот, Джо, я побывала на небоскребе! Ой, до чего тут у тебя тепло, уютно, хорошо! Я согласна за тебя выйти, Джо, когда захочешь.



БАГДАДСКАЯ ПТИЦА

Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.

Ресторан Квигга находится на Четвертой авеню — на улице, которую город как будто позабыл в своем росте. Четвертая авеню, рожденная и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.

Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешевых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорожденному брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут ее в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы — здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвертая авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны ее обступают лавки, посвященные «антикам».

Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времен, нагрудники, кремневые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещенного углового бара выходит гражданин, возбужденный возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, оцетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных


реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?..

Четвертая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оглушительных барабанов Юнион-сквера. Нечего тут проливать слезы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвертая авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвертой — и больше уже никто ее не видел..

Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и сейчас, и если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, — посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», — идите к Квиггу.

Титул свой Квигг получил через мать. Одна из ее прабабок была маркграфиней саксонской. Его отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учел раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет стать ни владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днем он был Квигг-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, темного.

Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квигг выступил в свой ночной поход. Когда он на-



глухо застегивал свое пальто, он являл с своей коротко подстриженной, темной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживленным артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые — их было немного — являлись талонами на пансион в течение целой недели.


Богатством и могуществом маркиграф Кви́гг не обладал, но у него было сердце калифа: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем кви́ггovo бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхетгена.

Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Кви́гг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным ревом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.

Маркиграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдет себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.

— Идите сейчас же со мной, — сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.

— Испекся, — сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. — Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?..



Все еще глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привел его в маленький сквер и усадил на скамейке.

Осененный уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества.

— Я изображал Монте-Кристо, правда? — спросил молодой человек.

— Вы швыряли на мостовую мелочь, — сказал калиф, — чтобы толпа ползала за ней на коленях.

— Вот именно. Сначала пьешь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят... Прокляты они будь — цыплята, куры, перья, вертела, яйца и все, что к ним относится.

— Молодой человек, — сказал маркграф мягко, но с достоинством. — Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек — предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно ученому, как на насекомое, или, подобно филантропу, — как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, разворачиваются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишен

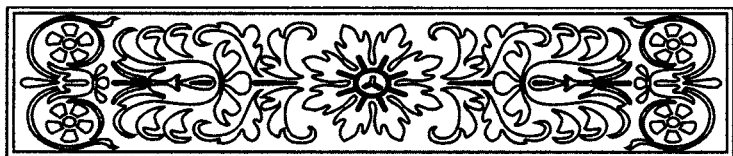


некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?

— А вы здорово говорите, — воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. — Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребенком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта? Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.

— Я хотел бы выслушать вашу историю, — сказал маркграф со своей важной, серьезной улыбкой.

— Я расскажу вам ее в девяти словах, — сказал молодой человек с глубоким вздохом. — Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только, что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.



С ПРАЗДНИКОМ!

Невозможно больше писать рождественские рассказы. Фантазия вся исчерпана, а газетная хроника фабрикуется ловкими молодыми журналистами, рано женившимися и обладающими симпатичным пессимистическим взглядом на жизнь. Мы, таким образом, ограничены в наших сезонных заготовках двумя чрезвычайно сомнительными источниками — фактами и философией. Начнем с... называйте это как вам угодно.

Дети — вредные маленькие животные, с которыми нам приходится ладить при самых разнообразных условиях. В особенности, когда их постигает какое-нибудь горе, мы совершенно теряем голову. Мы исчерпываем наш скудный запас утешений и затем прогоняем их, плачущих, спать. После этого мы копаемся в пыли миллионов лет и спрашиваем у Бога почему? Детей понимают только старые девы, горбуны и овчарки.

А теперь обратимся к обстоятельствам дела о лоскутной кукле, оборванце и двадцать пятом декабря.

Десятого числа этого месяца ребенок миллионера потерял свою лоскутную куклу. Во дворце миллионера на Гудзо-не было много слуг; они обыскали весь дом и парк, но потерянного сокровища не нашли. Девочке было пять лет; это был один из тех упрямых зверенышей, которые оскорбляют чувства богатых родителей, сосредоточив свою привязанность на какой-нибудь вульгарной дешевой игрушке.

Ребенок огорчился глубоко и искренно; это необычайно удивляло миллионера, для которого лоскутно-кукольный рынок был не более интересен, чем акции какой-нибудь третьестепенной газовой компании; удивлялась также и леди, мать ребенка, которая стояла всецело за этикет, то есть почти всецело, как мы увидим ниже.

Ребенок плакал безутешно; глазки его впали, колени дрожали, ножки тряслись, и весь он развинтился до послед-

ней степени. Миллионер улыбался и с доверием похлопывал по своему бумажнику. Отборнейшие игрушки со складов французских и немецких игрушечных фабрикантов были переброшены экстренно в особняк; но Рейчел была неутешна. Она плакала по своему погибшем тряпичном ребенке и стояла за запретительные пошлины на всякую иноземную ерунду. Затем были приглашены врачи с наилучшими возлекроватными манерами и хронометрами. Один за другим они бесплодно что-то бормотали про пептоновое марганцево-кислое железо, морской воздух и гипофосфат, пока их замечательные хронометры не напоминали им, что мистер Гонорар ждет ответа. В конце концов они, как простые смертные, советовали разыскать как можно скорее куклу и возвратить ее оплакивающей ее родительнице. Ребенок фыркал на всю эту терапевтику, сосал палец и вопил по своей Бетси. Тем временем не переставали поступать телеграммы от рождественского Деда, в которых дед извещал, что он скоро прибудет, и увещевал всех обнаружить истинный христианский дух, оставив на время игорные дома и политику, чтобы встретить его с подобающей честью. Дух Рождества носился в воздухе. Банки отклоняли учет, ломбарды удвоили штат служащих, на улице разносчики набивали вам шишки на лбу, сунув вам под нос красные игрушечные санки. В окнах магазинов были выставлены гирлянды из омелы; у кого имелись шубы, те надевали их. Одним словом, время было самое неподходящее для потери тряпичной куклы — радости своего сердца.

Если бы любознательный друг доктора Ватсона был приглашен для раскрытия этого таинственного исчезновения, он, может быть, обратил бы внимание на известную картину «Вампир» на стене миллионерского особняка. По индукции это быстро привело бы его к следующему заключению: «Тряпка, кость и клочок волос». Флип, шотландский терьер, ближайшее после куклы существо к сердцу девочки, стрелнул через комнату. Клок волос! Ага! X, — неизвестная величина, — означает тряпичную куклу. Но кость! Эврика! Когда собаки находят кость, они ее... Готово! Ничего не было бы легче, как освидетельствовать передние лапы Флипа. «Смотрите, Ватсон! Земля, сухая земля между пальцами! Ясное дело: собака...» Но там не было Шерлока, и это дело, таким образом, отпадает. Требуется интервенция топографии и архитектуры.



Дворец миллионера занимал обширное пространство. Перед фасадом была лужайка, подстриженная так коротко, что она напоминала щеки ирландца через два дня после бритья. По одной стороне ее, фасадом на другую улицу, были расположены службы и находились гаражи и конюшни. Шотландский терьер похитил куклу из детской, потащил ее на лужайку, вырыл яму в уголке и закопал ее там по способу недобросовестных гробовщиков. Тайна, значит, раскрыта и не надо писать чек мифическому чудодею и совать пятерку полицейскому сержанту. Спустимся теперь, усталый читатель, поближе к центру всей этой истории — к рождественской ее сердцевине.

Фези был пьян, — не буйно, не беспомощно и не болтливо пьян, как можем быть пьяны вы или я, но прилично, соответственно и безобидно, как и подобает джентльмену, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах.

Фези был рыцарем неудачи. Шоссе, стог сена, скамейка в парке, кухонная дверь, горечь благотворительной койки с приспособлением для душа, мелкие находки и унижительные щедроты большого города — таковы последовательные главы его истории.

Фези шел по направлению к реке по улице, прилегавшей к службам миллионерского особняка. Он увидел ногу Бетси, пропавшей лоскутной куклы, высунувшуюся из своей преждевременной могилы, в углу ограды, как ключ к тайне какого-то лилипутского убийства. Вытянув несчастную Бетси и сунув ее под мышку, он пошел своей дорогой, напевая песенку, содержание которой ни одна кукла, воспитанная для приличной жизни под кровлей, не должна была бы слышать. Хорошо, что у Бетси не было ушей, и хорошо, что у ней не было глаз, кроме слепых черных кружков; потому что физиономии Фези и шотландского терьера были схожи, как лица двух родных братьев, и ни одна лоскутная кукла не выдержала бы вторичного плена у таких страшных чудовищ.

Надо вам знать, что салун Грогана находится близ реки, в конце улицы, по которой шел Фези. У Грогана рождественское веселье было уже в полном разгаре.

Фези вошел туда с своей куклой. У него явился план — выступить в качестве мима на этих сатурналиях. Авось и ему перепадет несколько капель из чаши веселья.

Посадив Бетси на стойку, он обратился к ней с громкой и веселой речью, уснащая свою речь комплиментами и

нежностями, как кавалер, занимающий свою зазнобу. Пьяницы оценили шутку и гоготали. Бармен налил Фези стаканчик. Что же? Многие из нас извлекают тоже, что могут, из лоскутных кукол.

— А для барышни? — нахально воскликнул Фези и опустил за галстук повторное воздаяние искусству.

Он начал видеть в Бетси кое-какие возможности. Премьера прошла с несомненным успехом. Ему начало уже мерещиться турне по городским кабакам.

В группе у печки сидели «Голубь» Мак-Карти, Черный Рейли и «Одноухий» Майк, пользовавшиеся большой и очень скверной репутацией в хулиганском районе, черневшем на левом берегу реки. Истрепанный газетный лист ходил у них по рукам. Каждый из них тыкал своим заскорузлым пальцем в одно место. Это было объявление, озаглавленное: «Сто долларов вознаграждения». Чтобы заработать эту сумму, требовалось возвратить пропавшую, заблудившуюся или украденную из дома миллионера лоскутную куклу.

Очевидно, тоска продолжала еще неослабно грызть душу любвеобильного ребенка. Флип, терьер, тщетно кувыркался перед ним и тряс своей смешной лохматой мордой. Девочка оплакивала свою Бетси прямо в лицо расхаживающим, болтающим, говорящим «мама» и закрывающим глаза французским куклам. Объявление было последней попыткой.

Черный Рейли вышел из-за печки и подошел своей обычной односторонней параболической походкой к Фези.

Рождественский лицедей, окрыленный успехом, засунул было уже Бетси под мышку и собирался отправиться собирать плоды своих импровизаций в другой салун.

— Эй, стрелок, — обратился к нему Рейли. — Где ты откопал эту куклу?

— Эту куклу? — переспросил Фези, дотронувшись до Бетси, чтобы убедиться, что речь идет именно о ней. — Эта кукла была презентована мне белуджистанским императором. У меня имеется еще семьсот других в моем загородном особняке, в Ньюпорте...

— Брось балаганить, — сказал Рейли. — Ты или свистнул ее, или подобрал ее там, в особняке, на горке... впрочем, это неважно. Хочешь получить полдоллара за эту тряпку? Чего думаешь-то? У моего брата девчурка дома. Куплю ей на праздник, пускаясь забавляется. Ну?



Он предъявил монету.

Фези засмеялся ему в лицо хриплым наглым алкогольным смехом. Подите к антрепренеру Сары Бернар и предложите ему освободить ее от вечернего представления для участия в семейном художественном вечере школьного литературного кружка. Вы услышите тогда дубликат этого смеха.

Черный Рейли быстро оценил Фези одним взглядом своих черничных глаз, как профессиональный борец своего противника. У него зачесались руки от желания сыграть римлянина и исторгнуть лоскутную сабинянку из объятий импровизированного балагура. Но он сдержался. Фези был жирен, крепко сбит и большого роста. Три дюйма хорошо упитанного тела, защищенного от зимних ветров грязным бльем, служили интервалом между его жилетом и брюками. Бесчисленные мелкие круглые морщинки на руках и коленях гарантировали качество его мускулов. Его маленькие синие глазки смотрели кротко, но без смущения. Он был волосат, пьяноват, физически грозен. Так что Черный Рейли медлил.

— Что возьмешь за нее, говори? — спросил он.

— Не продажная, — сухо и твердо ответил Фези. Он был опьянен первой сладкой чашей артистического успеха. Посадить на стойку вылинявшую, запачканную в земле лоскутную куклу, изобразить с нею мимическую сцену и почувствовать, как сердце бьется от заслуженных аплодисментов, а глотку обжигает даровыми возлияниями — может ли презренный металл заменить столь святые ощущения? Согласитесь, что Фези обладал темпераментом.

Он вышел походкой ученого моржа на соискание дальнейших кабацких триумфов.

Хотя сумерки еще не стусились, огни начали уже выскакивать там и сям по городу, как маисовые зерна, лопающиеся в кастрюле. Канун Рождества, ожидаемый с нетерпением, выглядывал уже красными глазами из-под часовой стрелки. Миллионы готовились встретить его. Город решили превратить в сплошной карнавал. Вы сами уже слышали трубные звуки и обходили через несколько улиц кругом, чтобы не столкнуться с жрецами сатурналий.

Голубь Мак-Керти, Черный Рейли и Одноухий Майк устроили быстрое совещание на улице против грогановского салуна. Они были все трое узкогрудые, бледные юноши, не бойцы в открытую, но по своим боевым приемам они были

опаснее страшнейшего из турок. В правильном бою Фези съел бы всех троих без соли, но в свалке, в так называемой борьбе «кто во что горазд», он, разумеется, был обречен.

Они нагнали его как раз в тот момент, когда он и Бетси входили в казино Костигана. Остановив его, они сунули ему под нос газету.

— Ребята, — сказал он, — вы, я вижу, действительно дьявольски хорошие друзья. Дайте мне неделю на размышление.

Душа настоящего артиста всегда взмывает кверху в затруднительном положении.

Ребята осторожно указали ему на то, что объявления вообще бездушны и что синица в руках лучше журавля в небе.

— Сотняга чистоганом, — задумчиво произнес Фези. — Ребята, — продолжал он, — вы верные друзья. Я пойду и потребую вознаграждение. Театральные дела теперь действительно не того.

Ночь надвигалась более быстрым темпом. Тройка тащилась по его пятам и сопровождала его до начала подъема, на котором стоял особняк миллионера. Фези сердито обернулся к ним.

— Вы, свора беломордых вонючих щенков! — зарычал он. — Пошли вон!

Они отошли. Немного.


У Голубя Мак-Карти лежал в кармане кусок газовой трубы толщиной в дюйм и длиной в восемь дюймов. Один конец ее был плотно залит свинцом. Черный Рейли, как уважающий себя хулиган, имел при себе тяжелый металлический шар, прикрепленный к короткому ремню. Одноухий Майк всецело полагался на пару железных кулаков — наследственное достояние в его роде.

— Зачем нам самим трудиться, подниматься в гору, — сказал Черный Рейли, — когда мы можем послать другого? Пусть он вынесет нам деньги сюда.

— Хорошо бы бросить его в воду с камнем, привязанным к ногам, — предложил Голубь Мак-Карти.

— Вы, арапы, чушь городите, уши вянут, — грустно сказал Одноухий Майк. — Видно, прогресс еще не коснулся вас. Брызнуть ему в глаза газолину и положить посреди дороги. Плохо, что ли?

Фези вошел в парадный двор дома миллионера и зигзагами направился к мягко сиявшему входу в особняк. Три



гнома подошли к воротам и остановились — двое по обе стороны ворот и один против ворот на дороге. Каждый из них потихоньку ощупывал свое оружие.

Глуповато и мечтательно улыбаясь, Фези позвонил. Повинуясь атавистическому инстинкту, левая его рука потянулась было к пуговке на перчатке правой руки. Но он не носил перчаток, и левая рука смущенно опустилась.

Особенный наемник, чья специальная обязанность заключалась в открывании дверей перед шелками и кружевами, испугался при первом взгляде на Фези. Но следующий его взгляд увидел под мышкой у Фези паспорт, входную карточку, мандат на радушный прием: пропавшую лоскутную куклу хозяйской дочери.

Фези был впущен в просторную прихожую, тускло освещенную скрытыми лампами. Наймит ушел и вернулся с горничной и ребенком. Кукла была возвращена по принадлежности. Девочка прижала к сердцу свою пропавшую любимицу и вслед за тем с невоздержанным и откровенным детским эгоизмом стукнула ножкой и выразила ненависть и страх по адресу отвратительного субъекта, исторгнувшего ее из омута скорби и отчаяния. Фези распустил свою физиономию в идиотскую улыбку и тошнотворно засюсюкал тоном, который считается обольстительным для распускающегося детского интеллекта. Девочка заплакала и была уведена с Бетси, крепко прижатой к ее груди.

Тогда на сцену явился секретарь, бледный, важный, поллированный, в скользких башмаках, боготворящий помпу и церемонность. Он отсчитал в руку Фези десять бумажек по десять долларов, бросил взгляд на дверь, перебросил его потом на Джемса, ее хранителя, скользнул им по невзрачному акцептанту и разрешил своим башмакам отнести его назад, в его секретарские пределы.

Джемс направил свой собственный повелительный взгляд сначала на Фези, а потом на входную дверь. Когда деньги коснулись грязной ладони Фези, его первым импульсом было задать стрекача; но второй импульс удержал его от такого нарушения этикета. Деньги принадлежали ему, они были ему даны. Какой рай они открывали его мысленному взору! Он скатился к самому подножью житейской лестницы; он был голодный, бесприютный, одинокий, оборванный, озябший бродяга; а в руке его лежал ключ к грязному раю, по которому он тосковал. Сказочная кукла взмах-

нула волшебным жезлом, который она держала в своей набитой тряпками руке. Теперь, куда бы он ни направился, чудесные храмы с полированными медными опорами для ног и магическими красными жидкостями в блестящем хрустале будут открыты для него.

Он последовал за Джемсом к двери.

Но когда ливрейный наемник распахнул перед ним тяжелую дверь красного дерева, ведущую в вестибюль, он остановился.

За узорной железной решеткой, на темной улице, как бы случайно, прогуливались Черный Рейли и его два товарища, ощущая под платьем орудия, гарантировавшие переход вознаграждения за найденную лоскутную куклу к ним.

Фези остановился у дверей и собрался с мыслями. Как маленькие побеги омелы на мертвом дереве, какие-то зеленые живые образы и воспоминания зашевелились в его ходуном ходившей голове. Он был пьян, и настоящее начинало бледнеть перед ним. Эти зеленые венки и гирлянды с красными бусинками ягод, так смягчавшие суровость этого большого вестибюля, где он видел их раньше? Когда-то и он знал полированные полы и запах свежих цветов зимою, и кто-то пел песнь где-то в глубине дома, и ему казалось, что и эту песнь он когда-то слышал. Кто-то пел и играл на арфе. Конечно! Рождество!

И он ушел от настоящего, и из какого-то невозможного, исчезнувшего, невозвратимого прошлого вернулось к нему маленькое, чистое, белое, прозрачное, забытое видение — дух *noblesse oblige*.

Джемс открыл наружную дверь. Луч света упал на укатанную дорожку к воротам. Черный Рейли, Мак-Карти и Одноухий Майк как бы невзначай перебросили свой зловещий кордон поближе к калитке.

С жестом, более величественным, чем когда-либо употребил или мог употребить сам повелитель Джемса, Фези заставил этого наемника закрыть дверь. Некоторые обстоятельства обязывают джентльмена в Рождество.

— Ты не знаешь порядков, — сказал он взволнованному Джемсу. — Когда джентльмен приходит в дом в канун Рождества, он должен поздравить с праздником хозяйку дома. Понял?

Произошел спор. Джемс проиграл. Фези возвысил голос, и он прогремел неприятным эхом внутри дома. Я не сказал,



что он был джентльменом. Он был просто бродягой, которого навестило привидение.

Зазвенел серебряный колокольчик. Джемс побежал на звонок, оставив Фези в холле. Джемс где-то кому-то что-то объяснял.

Затем он пришел и провел Фези в библиотеку.

Через минуту вошла хозяйка дома. Она была красивее и святее, чем на любой из картин, которые Фези когда-либо видел. Она улыбнулась и сказала что-то про куклу. Фези не понял ее: он ничего не помнил про куклу.

Лакей внес два маленьких бокала с пенящимся вином на чеканном серебряном подносе. Леди взяла один бокал, другой был подан Фези.

Когда пальцы его сомкнулись вокруг стройной ножки бокала, его немощь покинула его на одно мгновение. Он выпрямился, и время, столь мало предупредительное к большинству из нас, обратилось вспять, чтобы поддержать Фези.

Забывшие рождественские видения, блее фальшивых бород самых дорогих дедушек-морозов кружились перед ним в парах гроганского виски. Что было общего между особняком миллионера и длинным залом в Вирджинии, где мужчины сгруппировались вокруг серебряной чаши с пуншем, провозглашая переходящий из рода в род тост старого дома? И какое отношение имеет стук копыт извозничьих лошадей по мерзлой мостовой к ржанью оседланных охотничьих лошадей, нетерпеливо перебирающих ногами под сенью веранды? И что было общего у Фези со всем этим?

Леди взглянула на Фези поверх своего бокала, и снисходительная улыбка на ее лице померкла, как ложная заря. Ее глаза приняли серьезное выражение. Под лохмотьями и бородой шотландского терьера она заметила что-то другое, непонятное ей. Но в общем это не имело для нее особого значения.

Фези поднял стакан и неопределенно улыбнулся.

— Пр-ростите, мэдем, — произнес он, — но я не мог покинуть дом, не поздравив хозяйку с праздником. Было бы против принципов джентльмена...

И он затаил старинное поздравление, которое было традиционным в доме в ту пору, когда мужчины носили на манжетах кружева и пудрили себе лица.

— Благоденствие...

Память изменила Фези. Леди подсказала:

— Да снизойдет на сей очаг...



— Гостя... — заикнулся Фези...

— И на нее, которая... — продолжала леди с одобряющей улыбкой.

— Э, да ну его! — грубо оборвал Фези. — Ни черта не помню!

— Ваше здоровье!

Фези расстрелял свои патроны. Они выпили. Леди опять улыбнулась — улыбкой своей касты. Джемс обнял Фези и проводил его до дверей. Звуки арфы все еще мягко проносились по дому.

Снаружи Черный Рейли дул себе в озябшие руки и жался к калитке.

— Хотела бы я знать, — задумчиво сказала леди... — Хотела бы я знать: воспоминания — проклятие или благодать для тех, кто так низко пал?

Фези и его провожатый приближались к двери.

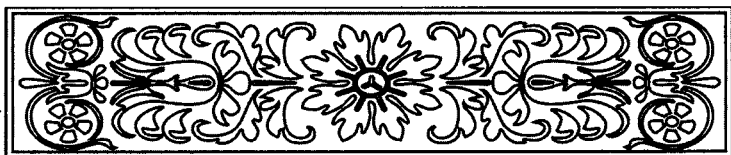
Леди позвала:

— Джемс!

Джемс рабски бросился обратно, оставив Фези в нерешительном ожидании. Мимолетная вспышка божественного пламени уже выдохлась в нем.

Снаружи Черный Рейли топал окоченевшими ногами и крепче сжимал свою газовую, налитую свинцом трубку.

— Проводите этого джентльмена вниз, — приказала леди, — и скажите Луи, чтобы он вывел «мерседес» и отвез этого джентльмена, куда он укажет.




НОВАЯ СКАЗКА ИЗ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»

Великий город Багдад-над-Подземкой переполнен калифами. В его дворцах, на его базарах, в чайханах и в переулках толпами скитаются аль-Рашиды во всех обличьях, ищущие развлечения и жертв для своей необузданной щедрости. Вряд ли найдется в Новом Багдаде хоть один смиренный нищий, которому они позволили бы без участия с их стороны наслаждаться своей дневной добычей, или хоть один горемычный банкрот, которого они не пожелали бы снабдить средствами для новых злоключений. Вряд ли найдется в Багдаде хоть один голодающий, которому не случилось потуже затягивать пояс в сооруженных на их пожертвования публичных библиотеках, или хоть один скромный служитель науки, которого они не вгоняли бы в краску, сваливая в праздники на его порог корзину с увенчанной сельдереем индейкой под восторженные клики газет, всегда готовых прославлять калифское великодушие.

И по кишашим Гарунами улицам с великой опаской прокрадываются Одноглазый Державин, Маленький Горбун и Шестой Брат Цирюльника, тщетно стараясь ускользнуть от пиратствующей орды попечительных султанов.

Можно без скуки провести не одну ночь, слушая изумительные повествования о тех, кому удалось уклониться от благодеяний, расточаемых армией повелителей правоверных. До утра можно сидеть на волшебном коврике и внимать рассказам о могучем Джинне Рок-Эф-Эль-Эре, который подослал сорок разбойников выкачать нефтяной фонтан Али-Бабы; о добром калифе Кар-Нег-Ги, который раздавал дворцы направо и налево; о Синдбаде Гореплавателе и его Семьи Путешествиях среди островов на деревянных пароходах для воскресных экскурсий; о Рыбаке и Бутылке; о пирах за табльдотом Владетеля дешевых мебелированных комнат Бармекида, где пирующие таинственным образом никогда не насыщались, и о том, как Аладдин до-



стиг богатства при помощи своего чудесного Газового Счетчика.

Но так как теперь имеется десять султанов на одну Шехерезаду, ей уже нет нужды бояться рокового шнурка. В результате искусство рассказа приходит в упадок. И чем усерднее калифы низшего ранга занимаются травлей беззаботных бедняков и смирившихся со своей участью несчастливцев, стремясь выгнать их из-под укрытия и обрушить на их головы свои причудливые щедроты и фантастические милосты, тем чаще приходят из арабских штабов известия, что пленник не пожелал «отвечать на вопросы согласно анкете».

Именно этим недостатком откровенности со стороны актеров, разыгрывающих печальную комедию нашего умученного филантропией мира, и объясняются некоторые несовершенства рассказанной ниже и с трудом, по зернышку и по колоску, собранной истории, которую мы предлагаем вам под названием —

ИСТОРИЯ КАЛИФА, ПЫТАВШЕГОСЯ ОБЛЕГЧИТЬ СВОЮ СОВЕСТЬ


Старый Джекоб Спраггинс подошел к дубовому буфету стоимостью в тысячу двести долларов, налил в стакан шотландского виски, добавил содовой воды и выпил.

Под влиянием этого напитка его, видимо, осенило вдохновение, ибо он хватил кулаком по дубовой панели и громогласно заявил, обращаясь к своей просторной и в настоящую минуту пустой столовой:

— Побей меня бог, все дело в этих десяти тысячах! Кабы свалить это с плеч, мне бы, может, и полегчало!

А теперь, заинтриговав вас с помощью этого простейшего приема нашего ремесла, мы затормозим действие и предложим вашему вниманию миниатюрную биографию, начавшуюся пятнадцать лет тому назад.

Когда старый Джекоб был молодым Джекобом, он работал отбойщиком в Пенсильванских угольных шахтах. Мы не знаем, что такое отбойщик, но, по нашим наблюдениям, главное его занятие состоит в том, чтобы стоять со скорбным взором и с обеденными судками в руках возле угольной кучи, пока репортеры фотографируют его для воскресного фельетона. Так или иначе, Джекоб был отбойщиком.



Но вместо того, чтобы умереть от изнурения в возрасте девяти лет и оставить своих престарелых родителей и великовозрастных братьев на попечение забастовочного комитета, он покрепче застегнул подтяжки, стал время от времени вкладывать доллар-другой в разные сторонние предприятия и к сорока пяти годам оказался обладателем капитала в двадцать миллионов долларов.

Вот и все. Признайтесь, что вы даже зевнуть не успели. А я выдал биографии, которые... Но не будем отвлекаться.

Наше знакомство с Джекобом Спраггинсом, эсквайром, начинается в тот момент, когда он достиг седьмой стадии своей карьеры. Прочие стадии суть следующие: первая — скромное происхождение; вторая — заслуженное повышение; третья — акционер; четвертая — капиталист; пятая — трестовский магнат; шестая — богатый злоумышленник; седьмая — калиф; восьмая — х. Восьмая стадия относится уже к области высшей математики.

В возрасте пятидесяти пяти лет Джекоб удалился от дел. Деньги продолжали притекать в его карманы — доходы от угольных шахт, железных рудников, нефтяных промыслов, домовладений, железных дорог, заводов, корпораций, но это уже была не просто нажива, не сырой, так сказать, продукт, а стерилизованная прибыль, отмытая, прокипяченная и дезинфицированная, поступавшая к нему из наманикюренных рук его личного секретаря в виде незапятнанных, сияющих белизной чеков. За три миллиона долларов Джекоб приобрел в собственность дворец на углу Набоб-авеню в Новом Багдаде и почувствовал, что его плечи облекает порфира покойного Г. А. Рашида. Без дальних церемоний он заправил ее себе под воротник, повязал спереди в виде галстука и занял свое законное место в сонме патентованных угнетателей нашего месопотамского пролетариата.

Когда человек настолько разбогател, что из мясной лавки ему присылают именно тот сорт мяса, какой был заказан, он начинает думать о спасении своей души. Не упускайте, однако, из виду описанных выше стадий, или градаций, богатства. Если вы спросите богача о размерах его состояния, капиталист подсчитает вам все с точностью до одного доллара. Трестовский магнат даст «приблизительную оценку». Богатый злоумышленник угостит вас сигарой и прибавит, что слухи, будто он купил «Н. И. Ч. Ж. Д.», ни на чем не основаны. Калиф только улыбнется и заведет разговор о Гаммер-

штейне¹ и опереточных певичках. Говорят, что однажды в харчевне «Где бы хорошо покушать» произошла за завтраком ужасающая сцена между трестовским магнатом и его женой из-за того, что жена оценила их состояние на три миллиона долларов выше, чем ее супруг. Дело кончилось разводом. Что ж! Бывает! Я сам был свидетелем подобной же перепалки между супругами, возникшей оттого, что муж обнаружил у себя в карманах на пятьдесят центов меньше, чем ожидал. Все мы люди, все человеки — граф Толстой, Р. Фицсиммонс, Питер Пэн и прочие.

Не огорчайтесь тем, что наш рассказ как будто превращается в морально-психологический этюд для интеллигентных читателей.

Будет вам и диалог, будет и действие, потерпите только еще минуточку.

Когда Джекоб впервые начал соотносить размеры между игольным ушком и верблюдами², разгуливающими в зоологическом саду, он решил вступить на путь организованной благотворительности. Он велел секретарю послать Всеобщей Благотворительной Ассоциации Земного Шара чек на один миллион долларов. Вы, возможно, с тоской заглядывали за решетку над подвальным окном какого-нибудь склада, если вам случалось уронить туда монетку достоинством в один цент. Но это к делу не относится. Ассоциация своевременно уведомила отправителя о получении его письма от 24-го числа сего месяца со вложением ценностей, согласно описи. А затем Джекоб Спраггинс прочитал в вечерней газете отделенное, правда, чертой от рубрики «Курьезы дня», но все же неприятно с ней соседствующее, лаконическое сообщение о том, что некто «Джаспер Спрагиус пожертвовал один миллион долларов в пользу ВБАЗШ». Говорят, что у верблюда есть отдельный желудок для каждого дня недели; а вот есть ли у него усы, я не знаю; но если есть, то даже кончик его уса не просунулся в игольное ушко в связи с данной попыткой данного богача проникнуть в ЦН. Этот старинный концерт слишком хорошо охраняется. «Дирекция оставляет за собой право отвести любую кандидатуру». Под-

¹ Гаммерштейн Оскар — антрепренер и владелец оперного театра в Нью-Йорке.

² Здесь и далее автор обыгрывает известное евангельское изречение «Легче верблуду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное».



писано: «Святой Петр, секретарь и по совместительству привратник».

Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему двести тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователю не усмотрел существенной разницы.

Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.

Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо, беседуя, прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха.

— Вот он идет, — говорил один из профессоров, — этот новейшей формации пират индустрии, вздумавший купить у нас порошков от бессонницы. Завтра он получает свой диплом.

— *In foro conscientiae*¹, — ответил другой. — Эх, шарангуть бы его как следует! Ведь кирпича просит!

Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах. Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов.


Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов.

— Нужно самому видеть тех, кому делаешь добро, — решил он. — Поговоришь с человеком, услышишь, как он тебя благодарит, — ну и станет легче на сердце. А жертвовать разным обществам и организациям — это все равно, что бросать монеты в испорченный автомат.

И Джекоб пошел туда, куда вел его нюх, — в самый грязный квартал, к обиталищам самых жалких бедняков.

— Как раз то, что мне нужно, — сказал он. — Зафрахтую два парохода, насажаю туда бедных детишек, погружу, ска-

¹ Перед судом совести (лат.).



жем, десять тысяч кукол и барабанов и тысячу морожениц и повезу малышей кататься по проливу. Пусть их ветерком обдует, авось сдует и немножко грязи с этих денег, будь они неладны, которых столько лезет ко мне в карман, что я даже не успеваю придумывать, куда их сбавить!..

Но, вероятно, Джекоб как-нибудь проболтался о своих благотворительных планах, ибо внезапно перед ним возник здоровенный верзила с бритой физиономией и ртом такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись: «Для писем». Верзила зацепил Джекоба согнутым пальцем за талию, затиснул его в угол между будкой цирюльника и урной для мусора, растворил свой почтovenящичный рот и выпустил вереницу слов — гладких и вежливых, словно затянутых в белые перчатки, но чувствовалось, что из-под мягкой лайки в любую минуту может выставиться костявый кулак.

— А вы, почтеннейший, знаете ли, где вы находитесь? Нет? Ну, я вам объясню. Этот квартал состоит в ведении Майка О'Грэди, и другим сюда нечего соваться. Здесь только Майк утирает слезы сироткам, и ежели надо устроить пикник или, там, раздачу воздушных шаров, так это делается на деньги Майка, а не на чьи-нибудь посторонние. Понятно? Не садитесь за чужой стол, а не то вам поднесут закуску, которая вам не понравится. Поналезло сюда всяких устроителей, да исправителей, да социологов, да миллионеров — места вам другого нету, во что приличный квартал превратили! Профессора ваши да студенты толпами шляются, у киосков с сельтерской свалки устраивают, от автобусов с экскурсантами податься некуда — местные жители на улицу выглануть боятся! Нет, уж вы предоставьте их лучше Майку. Они ему свои, он знает, как с ними обращаться. А вы безобразничайте в своей части города. Ну как, папаша, уразумели? Или еще хотите поспорить с Майком, кому тут разыгрывать Деда Мороза?

Ясно было, что этот участок благотворительной нивы уже застолбован. И калиф Спраггинс перестал тревожить народ на базарах Ист-Сайда. Силясь избавиться от излишков все растущего капитала, он удвоил свои пожертвования благотворительным обществам, подарил Союзу христианской молодежи в своем родном городке коллекцию бабочек стоимостью в десять тысяч долларов и послал голодающим в Китае столь солидный чек, что на него можно было бы




вставить всем тамошним богам глаза из изумрудов и зубы с пломбами из брильянтов. Но ни одно из этих добрых дел не принесло покоя сердцу калифа. Он попытался внести личную нотку в свои благодеяния, давая на чай коридорным и официантам по десять и двадцать долларов, и эти быстроногие Ганимеды потешались над ним за его спиной, хотя почтительно принимали от других вознаграждение, более соразмерное своим услугам. Он отыскал бедную, но талантливую и честолюбивую молодую актрису и купил ей первую роль в новой комедии. И на этот раз ему, без сомнения, удалось бы освободиться, по крайней мере, от пятидесяти тысяч обременявших его долларов, если бы он не забыл своевременно написать своей подопечной два-три компрометирующих письма. Но он этого не сделал, и судебный процесс, который затеяла против него молодая особа, провалился из-за недостатка улик. А капитал Спраггинса все рос да рос, и его фебрис игольноушкис верблюдикус — этот недуг совестливых богачей — по-прежнему не получал исцеления.

Вместе с калифом Спраггинсом в его особняке (стоимостью в три миллиона долларов) проживала его сестра Генриетта, которая некогда была стряпухой в харчевне для углекопов (обед из двух блюд за двадцать пять центов) в Коктауне, а теперь, если бы пришлось ей здороваться с Джоном Митчеллом¹, подала бы ему всего два пальца. А еще с ним проживала его дочь Селия, девица девятнадцати лет, только что вернувшаяся из пансиона, где высококвалифицированные педагоги обучали ее ресторанным языкам и наводили на нее прочий необходимый лоск.

Селия и есть героиня нашего рассказа. Опасаясь, что фантазия художника, иллюстрирующего эти страницы, может внести в ее облик несуществующие черты, спешим представить вам ее авторизованный портрет. Селия была очень приятная собой, несколько долговязая, голосистая и вместе с тем застенчивая девушка с каштановыми волосами, бледным цветом лица, сияющими глазами и постоянной улыбкой на губах. От Джекоба Спраггинса она унаследовала любовь к простым кушаньям, свободным платьям и обществу представителей низших классов. Молодость и не-

¹ Джон Митчелл в 1899—1908 г. был председателем Американского профсоюза горняков.



сокрушимое здоровье помогали ей легко переносить тяготы богатства. Рот у нее был большой и вечно набитый мятными леденцами, стучавшими о ее зубы, как град об оконное стекло, сладкий град, высыпанный автоматом в обмен на монетку в пять центов. Добавим к этому, что Селия отлично умела насвистывать матросские танцы. Запечатлейте, пожалуйста, в своей памяти этот образ, а художник пусть себе творит, что хочет, в меру своих способностей.

Однажды утром Селия выглянула в окно и подарила свое сердце юному возчику из зеленой лавки. Возчик не заметил сделанного ему подарка, ибо в этот момент занят был тем, что решал в положительную сторону вопрос о бессмертии души своей лошади, суля ей участь, уготованную на том свете нераскаянным грешникам. Как прикажете иначе разговаривать с эдакой скотиной, которая не хочет стоять смирно, пока ты достаешь из фургона ящик со свежеснесенными яйцами?

Вам, моя юная читательница, тоже понравился бы этот молодой возчик. Но вы не подарили бы ему своего сердца, потому что бережете его для учителя верховой езды, или для обувного фабриканта с больной печенью, или для того господина в сером твидовом костюме, с которым вы познакомились на пляже в Палм-Бич и о котором можно сказать, как о буфете из мореного дуба, — «скромно, но богато». Знаю я, знаю все ваши мысли! И поэтому я очень рад, что молодой возчик достанется Селии, а не вам.

Молодой человек из зеленой лавки был строен и широкоплеч и отличался такой же свободой и непринужденностью движений, как тот атлетический красавец, который на рекламном вкладыше в воскресный журнал примеряет новейшие не натирающие плеч подтяжки. Серая велосипедная кепка, сдвинутая на самый затылок, чудом держалась на его белокурых курчавых волосах, а с его загорелого лица не сходила улыбка, за исключением тех минут, когда он проповедовал ломовым лошадям доктрину вечного проклятия. С драгоценными примерами овощного царства он обращался так небрежно, как будто то была вялая морковь для дешевых столовок, а когда он брал в руки кнут, вам вспоминался мистер Таккет, демонстрирующий высший класс фехтовального искусства.

Поставщики провизии проникали в дом через задние ворота, со стороны кухни. Фургон зеленщика подъезжал



ровно в десять часов утра. Три дня подряд Селия наблюдала из окна за молодым возчиком, когда он сгружал свой товар, каждый раз находя новую прелесть в том, как он равнодушно и даже презрительно кидал наземь отборнейшие дары Помоны, Цереры и консервных заводов. Затем она поделилась своей тайной с Аннет.

Но Аннет Мак-Коркл, вторая горничная в доме Спраггинсов, заслуживает отдельного абзаца. Аннет в неимоверных количествах поглощала романы и мелодрамы, которые брала в бесплатной публичной библиотеке (основанной одним из самых крупных калифов, подвизавшихся в этой отрасли коммерции). Она была верной подружкой Селии и неизменной участницей всех ее проказ, о чем тетя Генриета, будьте покойны, ничего не знала.

— Ах вы, моя канареечка! — воскликнула Аннет. — Ах, как цинично! Ну прямо для театра! Вы, наследница миллионов, и влюбились в него с первого взгляда! Он, правда, очень милый и даже не похож на кучера. Но он совсем не такой Дон Желан, как обыкновенно бывают возчики из зеленных лавок. На меня он никогда не обращал внимания.

— А на меня обратит, — сказала Селия.

— Конечно, богатство... — начала Аннет, украдкой выпустив жало, издавна принятое на вооружение у прекрасного пола.

— Ну, ты не такая уж красавица, — прервала ее Селия, улыбаясь своей широкой, простодушной улыбкой. — Я тоже нет. Но хороша я или дурна, а влюбится он в меня, а не в мои доллары, это я тебе обещаю. Одолжи-ка мне один из твоих передников и наколку.

— Ах вы, моя кошечка! — воскликнула Аннет. — Понимаю! Ах, как прелестно! Совсем как в «Люрлине-Левше» или в «Злоключениях пуговичника». Держу пари, что он окажется графом.

Вдоль задней стены дома тянулся длинный, с одной стороны застекленный, коридор, или галерея, как более пышно именуют такие сооружения на Юге, и по этой галерее каждый день проходил молодой возчик, относя свой товар на кухню. Однажды ему по дороге попала девушка в переднике и крахмальной наколке. У девушки были блестящие глаза, бледные щеки и большой смеющийся рот. Но так как молодой зеленщик в эту минуту был нагружен одной корзиной с ранним латуком, а другой с томатами «Гигант»,

не считая трех пучков спаржи и шести банок с маслинами высшего качества, то он только мельком подумал, что вот, мол, наверно, одна из горничных.

Однако, когда он возвращался, девушка еще была тут, и, нагнав ее в конце коридора, молодой зеленщик услышал, что она насвистывает «Рыбачий танец», да так пронзительно и звонко, что все флейты-пикколо, доведись им ее услышать, сами собой развинтились бы от зависти и попрятались бы по своим футлярам.

Молодой зеленщик остановился и так далеко сдвинул на затылок свою кепку, что она повисла на задней запонке его воротничка.

— Вот это здорово, малютка! — воскликнул он.

— Меня зовут Селия, с вашего позволения,— отвечала свистунья, ослепляя его улыбкой шириной в три дюйма.

— Очень приятно. А меня Томас Мак-Леод. Где вы тут работаете?

— Я... я младшая горничная и убираю гостиные.

— А скажите, знакомы вам «Каскады»?

— Нет,— ответила Селия.— У нас совсем нет знакомых. Мы слишком быстро разбогатели. То есть, я хочу сказать, мистер Спраггинс разбогател.

— Ну, ничего, я вас познакомлю,— сказал Томас Мак-Леод.— Это шотландский танец, двоюродный брат матросскому.

Если, слушая Селию, все флейты-пикколо признали бы себя побежденными, то искусство Томаса Мак-Леода самую большую флейту в оркестре заставило бы почувствовать себя глиняной свистулькой. Когда он кончил, Селия готова была прыгнуть к нему в фургон и ехать с ним все дальше и дальше, до того последнего берега, где старый паромщик Харон держит свой бесплатный перевоз.

— Я буду здесь завтра в десять пятнадцать,— сказал Томас,— с корзиной шпината и пачкой соды для стирки.

— А я пока поупражняюсь в этих, как вы их там зовете,— ответила Селия.— Я могу свистать втору.

Ухаживание — дело сугубо личное и не подлежит опубликованию. Подробный анализ этого процесса можно найти только в рекламах пилюль против малокровия и в секретных инструкциях женского консультативного бюро Древнего Ордена Мышеловки. Но некоторые его стадии может осветить и художественная литература, не вторгаясь в область рентгеновских лучей и полиции нравов.



Настал день, когда Селия и Томас Мак-Леод задержались в конце галереи для серьезного разговора.

— Шестнадцать в неделю — это, конечно, не бог весть что,— сказал Томас, сдвигая свой картуз на самые лопатки.

Селия обратила печальный взор на застекленную стену и стала насвистывать похоронный марш. Именно эту сумму она вчера заплатила за дюжину носовых платков, совершая покупки с тетей Генриеттой.

— Но в том месяце я, может быть, получу прибавку,— продолжал Томас.— Завтра буду здесь в обычное время с мешком муки и ящиком хозяйственного мыла.

— Хорошо,— сказала Селия.— Замужняя сестра Аннет платит всего двадцать долларов в месяц за квартиру в Бронксе.

Селия в своих планах на будущее ни минуты не рассчитывала на спраггинсовские миллионы. Она хорошо знала аристократические замашки тети Генриетты и властную натуру своего коронованного долларями отца и понимала, что, если изберет Томаса, молодому возчику из зеленой лавки и его супруге будет предоставлена полная свобода свистать в кулак.

Прошло еще некоторое время — и благолепную тишину Набоб-авеню огласили переливы «Мечты дьявола», которую Томас искусно насвистывал сквозь зубы.

— Вчера дали прибавку,— сказал он.— Буду теперь получать восемнадцать долларов в неделю. Справлялся о цене квартир на Морнингсайд. Еще одна такая прибавка — и уже можно будет тебе снимать передник и наколку.

— Ах, Томми! — воскликнула Селия.— А может быть, и этого достаточно? Бетти обещала научить меня готовить дешевое печенье. Оно делается из крошек, собранных за неделю, и называется «Бедный Питер».

— Назови его лучше «Бедный Томас»,— предложил Томас Мак-Леод.

— И я умею подметать и вытирать пыль и... и чистить медные ручки; ну да, горничная ведь должна все это уметь. А по вечерам мы могли бы насвистывать дуэты.

— Хозяин сказал, что с Рождества повысит мне плату до двадцати долларов, если Брайан не придумает для республиканцев худшего названия, чем «любители откладывать в долгий ящик».

— Я умею варить варенье из айвы,— сказала Селия.— И я знаю, что, когда приходит монтер проверять газ, нужно сперва спросить, чтобы он показал свой служебный значок. И я умею поднимать петли на чулках и шторы на окнах.

— Вот здорово! Ты, Селли, просто молодчина. Да, я тоже думаю, что мы управимся на восемнадцать в неделю.

Когда он уже садился на козлы, Селия, рискуя выдать себя, подбежала к воротам.

— Томми, Томми,— нежно позвала она,— еще я могу сама шить тебе галстуки Я только сейчас вспомнила.

— И сейчас же забудь.— решительно потребовал Томас.

— И еще,— продолжала Селия,— мелконарезанные огурцы на ночь прогоняют тараканов.

— И сон тоже,— ответил мистер Мак-Леод.— Если меня сегодня пошлют в Вест-Сайд, я загляну там в один знакомый магазинчик — присмотрю кое-какую мебель.

Как раз в ту минуту, когда фургон Томаса Мак-Леода отъезжал от ворот, Джекоб Спраггинс, как уже было описано выше, ударил кулаком по буфету и произнес свою загадочную фразу о десяти тысячах долларов, чем подтверждается общее наблюдение, что некоторые истории, равно как жизнь и щенята, брошенные в колодец, имеют тенденцию двигаться по кругу. Мы вынуждены поэтому дать здесь краткое разъяснение, проливающее свет на слова Джекоба.

Фундамент своего будущего богатства он заложил, когда ему было двадцать лет. Один бедный углекоп (слыхали вы когда-нибудь о богатом углекопе?) скопил десяток-другой долларов и приобрел небольшой участок земли на каменистом склоне. Он намеревался выращивать там кукурузу, но не вырастил и единого початка. А молодой Спраггинс нюхом чуял, где можно пожить, и нюх подсказал ему, что под этим участком проходит угольная жила. Джекоб сторговал участок у владельца за сто двадцать пять долларов, а через месяц продал его за десять тысяч. К счастью для углекопа, у него еще оставалось немного денег, так что, услышав эту новость, он мог с помощью усиленного потребления спиртных напитков обеспечить себе удобную одежду с рукавами, завязывающимися на спине.

Вот почему спустя сорок лет Джекоба вдруг осенила идея, что если бы ему удалось возместить эти десять тысяч наследникам злополучного углекопа, то, возможно, мир и покой снизошли бы в его истерзанную душу.

А теперь нам надо побыстрее развернуть действие, ибо в нашем рассказе имеется уже четыре тысячи слов, но еще ни одной пролитой слезы или вскрытого сейфа, ни одного выстрела или разбитой о чужую голову бутылки.

Джекоб нанял десяток частных сыщиков и велел им разыскать всех, какие есть в живых, наследников старого углекопа по имени Хью Мак-Леод...

Поняли теперь? Разумеется, Томас Мак-Леод окажется его наследником. Другой автор утаил бы от вас фамилию углекопа, но почему надо приберегать раскрытие тайны до самой последней страницы? Гораздо гуманнее раскрыть ее на середине рассказа, тогда, кто не хочет, может и не дочитывать его до конца.

После того как сыщики гонялись по ложным следам на протяжении трех тысяч долларов, то есть, простите, миль, они окружили, наконец, Томаса Мак-Леода в зеленой лавке и вырвали у него признание, что Хью Мак-Леод был его родным дедушкой и что других наследников не имеется. Затем в одной из своих контор они устроили ему свидание со старым Джекобом.

Джекобу молодой человек очень понравился. Ему понравилось, как Томас, разговаривая, прямо смотрел в глаза собеседнику, ему понравилось и то, как он надел свою кепку на розовую вазу, стоявшую посередине стола.

В искупительном плане старого Джекоба было одно слабое место. Он не сообразил, что для того, чтобы искупление было полным, ему придется покаяться в былых грехах. Поэтому при свидании с Томасом он выдал себя за агента, действующего от лица того человека, который некогда купил участок, а теперь желал бы для успокоения своей совести вернуть нажитое при продаже наследникам обманутого углекопа.

— Гм! — сказал Томас. — Что-то получается похоже на годовую открытку с надписью: «Мы тут очень весело проводим время». Но я не знаю правил этой игры. Сразу выдают тебе десять тысяч долларов, или надо еще набрать сколько-то фишек?

Джекоб поспешил отсчитать ему двадцать кредитных билетов по пятьсот долларов. Ему казалось, что так будет эффективнее, чем если он напишет чек. Томас задумчиво спрятал деньги в карман.

— Ну что ж, — сказал он, — большое спасибо от дедушки этому господину, что вас послал.

Но Джекобу не хотелось сразу его отпускать. Он стал расспрашивать, где Томас работает, как он проводит свой досуг, какие у него планы на будущее. И чем больше он узнавал о Томасе, тем больше тот ему нравился. Такого простого и честного юноши он еще не встречал среди багдадской молодежи.

— Заходите как-нибудь ко мне, — сказал он. — Я могу дать вам полезный совет — в какие бумаги вложить ваши деньги или как их лучше пустить в оборот. Я сам очень богатый человек. У меня есть почти что взрослая дочь — я хотел бы вас с ней познакомить. Заметьте, что я далеко не всякому позволил бы ее посещать.

— Очень признателен, — сказал Томас. — Но я как-то не привык делать визиты. До сих пор мои визиты были всё больше с черного хода. А кроме того, я обручен с одной девушкой, и это, знаете, такая девушка, что лучше ее и на свете нет. Она работает горничной в одном доме, куда я доставляю товар. Ну, да уж теперь недолго будет там работать. Не забудьте передать вашему приятелю сердечный привет от бабушки. А теперь извините, меня фургон дожидается, надо еще кое-куда отвезти зелень. До свиданья, сэр!

В одиннадцать часов Томас сдал несколько пучков пастернака и латука на кухню в доме Спраггинсов. Томасу было всего двадцать два года, поэтому он не отказал себе в удовольствии, уходя, вытащить из кармана пачку банкнотов, каждый достоинством в пятьсот долларов, и помахать ими перед носом Аннет. Глаза у Аннет стали круглые, как луковицы, запеченные в сметане, и она поспешила на кухню, поделиться впечатлениями с кухаркой.

— Я говорила, что он граф! — воскликнула она, окончив свой рассказ. — На меня он никогда не обращал внимания.

— Граф? — переспросила кухарка. — Да ведь ты говоришь, он деньги показывал?

— Сотни тысяч! — подтвердила Аннет. — Горстями доставал из кармана! А на меня никогда даже и взглянуть не хотел!

— Это мне сегодня заплатили, — объяснял тем временем Томас Селии, стоя с ней в конце галереи. — Наследство после бабушки. Слушай, Селли, чего нам еще ждать? Я сегодня же возьму расчет в зеленой лавке. Отчего бы нам не пожениться на будущей неделе?

— Томми, — сказала Селия. — Я не горничная. Я тебя обманывала. Я — мисс Спраггинс, Селия Спраггинс. В газетах

недавно писали, что со временем я буду стоять сорок миллионов.

Томс поймал свою кепку где-то на затылке и в первый раз с тех пор, как мы его знаем, аккуратно надвинул ее на лоб.

— Так,— сказал он.— Это значит... Одним словом, как я понимаю, это значит, что мы не поженимся на будущей неделе. Но свистать вы все-таки здорово умеете.

— Нет,— сказала Селия,— мы не поженимся на будущей неделе. Папа ни за что не позволит мне выйти замуж за возчика из зеленой лавки. Но если ты хочешь, Томми, мы поженимся сегодня вечером.

В девять тридцать вечера Джекоб Спраггинс подкатил к дому в своем автомобиле. О марке автомобиля и других его качествах догадывайтесь сами; мы лишены возможности это уточнить, ибо предлагаем вам здесь чистое искусство, не запятнанное субсидиями от автомобильных компаний; вот если бы речь шла о трамвае, тогда мы могли бы со спокойной совестью описать его вольтаж, и число осей, и прочее тому подобное. Джекоб пожелал видеть дочь. Он купил ей в подарок рубиновое ожерелье и жаждал услышать из ее уст, какой он добрый, заботливый и милый папочка.

Произошла небольшая заминка, пока Селию искали по всему дому, а затем явилась Аннет, пылая чистым огнем правдолюбия и преданности, с некоторой примесью зависти и актерства.

— О сэр! — воскликнула она, мысленно примеряясь, не следует ли ей пасть на колени.— Мисс Селия только что убежала из дому через черный ход. Ее увез этот молодой человек, который хочет на ней жениться. Я не могла ее удержать. Они уехали в кебе.

— Какой еще молодой человек? — загремел Джекоб.

— Миллионер, сэр, переодетый граф! У него денег полны карманы, а красный перец и лук были только для отвода глаз. На меня он никогда не обращал внимания.

Джекоб ринулся к парадной двери и застал свой автомобиль еще у подъезда. Шофер замешкался, пытаясь на ветру закурить папиросу.

— Эй, Гастон, или Майк, или как вас там! Живо гоните вон за тот угол, а увидите кеб, остановите его!

За углом, на квартал впереди, маячил кеб. Гастон или Майк, скосив глаза на нераскуривающуюся папиросу, пус-

тился за ним следом, догнал и аккуратно притиснул к обочине.

— Ты в своем уме? — заорал кебмен.

— Папа! — взвизгнула Селия.

— Давешний агент! — удивился Томас.— Опять, что ли, дедушкиного приятеля угрызает совесть? Интересно, теперь за что?

— Ах, чтоб тебя! Потухла!..— сказал Гастон или Майк.— А спички все!

— Молодой человек,— строго спросил Джекоб,— а как же с этой горничной, с которой вы обручены?

Два года спустя старый Джекоб однажды утром вошел в кабинет своего личного секретаря.

— Объединенное общество миссионеров просит вас пожертвовать тридцать тысяч долларов на обращение корейцев в христианство,— сказал секретарь.

— Отказать,— ответил Джекоб.

— Пламвильский университет напоминает, что ежегодная субсидия в пятьдесят тысяч долларов, которую вы им даете, просрочена.

— Напишите, что я ее отменил.

— Вот письмо от Научного общества по исследованию моллюсков Лонг-Айленда с просьбой дать им десять тысяч долларов на спирт для препаратов.

— Бросьте его в корзину.

— Общество по организации здоровых развлечений для фабричных работниц просит десять тысяч долларов на устройство поля для гольфа.

— Пусть обратятся в похоронное бюро. Прекратить всякие пожертвования,— продолжал Джекоб.— Хватит с меня добрых дел. Теперь мне дорог каждый доллар. Напишите директорам всех компаний, которые я контролирую, и скажите, что я предлагаю им снизить заработную плату рабочим и служащим на десять процентов. Кстати, сейчас, проходя через холл, я заметил, что в углу валяется обмылок. Скажите уборщице, что нельзя так расшвыривать добро. Я не могу сорить деньгами. Да, вот что: монополия на уксус в наших руках?

— Всеамериканская компания пряностей и приправ в настоящую минуту контролирует рынок,— ответил секретарь.

— Повысить цену на уксус на два цента за галлон. Сообщите по всем отделениям.



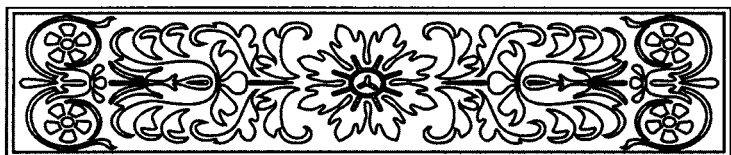
Внезапно красное, пухлое лицо Джекоба Спраггинса расплылось в улыбке. Он подошел к столу секретаря и показал ему крохотное розовое пятнышко на своем толстом указательном пальце.

— Укусил! — сказал он. — И как еще укусил-то, даром что и трех недель нет, как зубки прорезались! Джеки Мак-Леод, сынишка моей Селии. Этот мальчик к двадцати одному году будет стоить сто миллионов — уж я постараюсь их для него наскрести.

В дверях Джекоб приостановился и добавил:

— А цену на укус, пожалуй, лучше повесить не на два, а на три цента. Заготовьте письма, через час приду и подпишу.

Летописец подлинного калифа Гаруна аль-Рашида сообщает, что в конце своего царствования этот монарх потерял вкус к благотворительности и велел отрубить головы всем своим прежним любимцам и спутникам в ночных прогулках. Счастливы мы, что в наш просвещенный век смертные приговоры калифов принимают более мягкую форму счета из лавки.



СИЛА ПРИВЫЧКИ

Привычка — склонность или способность, приобретенная частым повторением.

Нападкам критики подвергались все источники вдохновения, кроме одного. К этому единственному источнику мы и обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы обращались к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе, а они обвиняли нас в увлечении Джесси Джеймсом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчет большой печени. Мы брали текст от Матфея или — гм! — из Второзакония, но проповедники были против того, чтобы мы вдохновлялись Священным Писанием. Так что, прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному, поучительному, непроверяемому источнику — полному толковому словарю.

Мисс Мэррием была кассиршей у Гинкла, Гинкл — это один из больших ресторанов в деловом квартале, или, как пишут в газетах, в «финансовом районе». Каждый день с десяти до двух ресторан бывает полон; туда сходятся проголодавшиеся клиенты — рассыльные, стенографистки, маклеры, акционеры, прожектеры, изобретатели, выправляющие патент, и просто люди при деньгах.

Должность кассирши у Гинкла далеко не синекура. Гинкл кормит завтраком — блинчиками, кофе с гренками и яичницей — много народа; а ленчем (хорошее слово, ничуть не хуже, чем «обед») — еще того больше. Можно сказать, что к завтраку у Гинкла собирается целая армия, а к ленчу — несметное войско.

Мисс Мэррием сидела на табурете за конторкой, огороженной с трех сторон крепкой, высокой решеткой из мед-

ной проволоки. Клиент просовывал в полукруглое окошечко чек и деньги, и сердце его трепетало. Ибо мисс Мэррием была прелестна и деловита. Она могла вычестить сорок пять центов из двух долларов и отклонить предложение руки и сердца, прежде чем вы... — Следующий!.. Упустили случай — не толкайтесь, пожалуйста! — Она умела, не теряя головы и не торопясь, делать все разом: получить с вас деньги, правильно отсчитать сдачу, покорить ваше сердце, указать на вазочку с зубочистками и оценить вас с точностью до одного цента гораздо вернее, чем кассовый аппарат новейшей марки, и на все это у нее уходило меньше времени, чем нужно на то, чтобы поперчить яйцо из перечницы, какие подаются у Гинкла.

Давно известна поэтическая строка про «страшный свет, что озаряет трон»¹. Клетку молоденькой кассирши тоже озаряет страшное дело какой свет. За вульгарность выражения отвечает автор цитаты, а не я.

Все посетители мужского пола, от мальчишек-рассыльных до биржевых зайцев, были влюблены в мисс Мэррием. Платя по счету, они ухаживали за ней, пуская в ход все уловки, известные в ремесле Купидона. Сквозь проволочную сетку сыпались улыбки, комплименты, нежные клятвы, приглашения на обед, вздохи, томные взгляды и веселые шуточки, которые бойко парировала бойкая мисс Мэррием.

Нет позиции выгоднее, чем позиция молоденькой кассирши. Она восседает на своем табурете, как королева коммерции и комплиментов, принцесса прејскуранта, графиня графинов и Диана долларов. Вы получаете от нее улыбку и десять центов сдачи канадской монетой и уходите не жалуясь. Вы пересчитываете каждое слово, которое она бросила вам мимоходом, как скряга пересчитывает свои сокровища, и, не считая, кладете в карман сдачу с пяти долларов. Быть может, из-за медной решетки мисс Мэррием кажется особенно неприступной и очаровательной, — как бы там ни было, она ангел в английской блузке, — непорочный, нарядный, наманикюренный, оболстительный, ясноглазый и проворный — Психея, Цирцея и Ате в одном лице, лишаящая вас и денежных знаков, и душевного покоя.

Рассчитываясь с кассиршей, молодые люди, преломляющие хлеб у Гинкла, никогда не упускали случая перекинуть-

¹ Из «Королевских идиллий» Теннисона.

ся с ней словечком и сказать комплимент. Многие из них шли дальше этого и выдавали ей векселя в виде театральных билетов и шоколада. Солидные люди прямо заговаривали о браке и флердоранже, но весь аромат этих цветов пропадал, как только они намекали на квартиру в Гарлеме. Один маклер, прогоревший на медных акциях, гораздо чаще делал предложение мисс Мэррием, чем обедал.

В часы наплыва посетителей речь мисс Мэррием, непрерывно получавшей деньги, звучала приблизительно так:

— Доброе утро, мистер Хескинс, — да, сэр, благодарю вас, я не крашусь, — вы себе слишком много позволяете... Здравствуй, Джонни, десять, пятнадцать, двадцать, теперь беги скорей, а то снимут буквы с шапки... Извините, пожалуйста, сосчитайте еще раз. — Не стоит благодарности... В оперетку? Нет, спасибо, — в среду я смотрела Картер в «Гедде Габлер», мы были с мистером Симпсеном. Простите, я думала, это четверть доллара... Двадцать пять и семьдесят пять будет доллар — никак не отвыкнете от свинины с капустой? Я вижу, Билли... Не забываетесь, пожалуйста, — сейчас получите все, что вам следует... Ах, какие глупости! Мистер Бассет, вы всегда шутите — нет? Ну что ж, может, я когда-нибудь и выйду за вас замуж — три, четыре да шестьдесят пять — это будет пять... Будьте любезны оставить ваши замечания при себе... Десять центов? Извините, на чеке у вас семьдесят — а может быть, это единица вместо семерки?.. Ах, вам нравится моя прическа, мистер Сондерс? Некоторым больше нравится шиньон, но, говорят, к тонким чертам больше идет «Клео де Мерод»... да десять пятьдесят... Проходите, приятель, не задерживайтесь, тут вам не балаган на Кони-Айленд... Что? Конечно, у Мэси, правда хорошо сидит? Вовсе не холодно, легкие ткани в этом сезоне самые модные, только их и носят. Что такое? Вы уже третий раз ее подсовываете, да будет вам, эта фальшивая монета — моя старая знакомая... Шестьдесят пять? Должно быть, получили прибавку, мистер Уилсон?.. Я вас видела на Шестой авеню во вторник вечером, мистер де Форест, — шикарная штучка? Ну еще бы! Кто такая?.. Почему не годится? Потому, что это не деньги. Что? Колумбийский доллар? Ну, у нас тут не Южная Америка... Да, я больше люблю шоколад смесь... В пятницу? Очень жаль, по пятницам я беру уроки джиу-джитсу — тогда в четверг... Спасибо, я это шестнадцатый раз сегодня слышу — должно быть, я таки недурна... Бросьте, пожалуйста, за кого вы меня принима-



ете? Неужели, мистер Вестбрук, вы в самом деле так думаете? Вот фантазия!.. Восемьдесят и двадцать будет доллар — благодарю вас, я не катаюсь на автомобилях с мужчинами — ах, ваша тетя — ну, это дело другое, может быть... Пожалуйста, без дерзостей — ваш чек был на пятнадцать центов — будьте любезны, отойдите в сторону, не мешайте... Здравствуйте, Бен, — придете в четверг? — один знакомый хотел принести коробку шоколада... сорок да шестьдесят будет доллар, да один — будет два...

Как-то в середине дня головокружительная богиня Фортуна, которую зовут еще Головокружение, сразила богатого и эксцентричного старика банкира в то время, как он проходил мимо ресторана Гинкла к трамвайной остановке. Богатый чудак-банкир, который ездит на трамвае,— это... Не задерживайтесь, пожалуйста, вы тут не один.

Самаритянин и фарисей, прохожий и полисмен, подоспевшие первыми, подняли банкира Мак-Рэмси и внесли его в ресторан Гинкла. Когда престарелый, но несокрушимый банкир открыл глаза, ему представилось прекрасное видение: склонившись над ним с нежной, сострадательной улыбкой, оно омывало бульоном его лоб и растирало ему руки чем-то замороженным из холодильника. Мистер Мак-Рэмси вздохнул, потеряв при этом пуговицу от жилета, с глубокой благодарностью посмотрел на свою прекрасную спасительницу и пришел в сознание.

Отсылаем к «Библиотеке романов» всех тех, кто предвкушает любовное приключение! У банкира Мак-Рэмси была почтенная старушка-жена, и к мисс Мэррием он питал чисто отеческие чувства. Он поговорил с ней около получаса не без пользы,— правда, другого рода пользы, чем та, которую он получал от деловых разговоров в своем кабинете. На следующий день он привез к ней миссис Мак-Рэмси. Старик были одиноки — их единственная замужняя дочь жила в Бруклине.

Короче говоря, прекрасная кассирша покорила сердца добродушных стариков. Они частенько заезжали к Гинклу и приглашали мисс Мэррием к себе, в старомодный, но роскошный особняк на одной из Семидесятых улиц. Неотразимая прелесть мисс Мэррием, ее милая искренность и сердечность взяли их приступом. Они сотни раз повторяли, что мисс Мэррием очень напоминает ушедшую от них дочь. Бруклинская матрона, урожденная Мак-Рэмси, фигу-

рой напоминала Будду, а лицом — идеал уличного фотографа. Мисс Мэррием была сочетанием улыбок, ямочек, розовых лепестков, атласа, жемчугов и плакатов, рекламирующих средства для ращения волос. Но довольно о родительском тщеславии.

Через месяц после того, как достойные супруги познакомились с мисс Мэррием, она стояла перед Гинклом, сообщая ему, что отказывается от места.

— Они хотят удочерить меня,— говорила она безутешному ресторатору.— Они, конечно, чудаки, но такие милые. А какой у них шикарный дом! Нет, мистер Гинкл, даже и говорить не стоит — у меня теперь другое меню: надену автомобильные очки и буду раскатывать на машине, а не то выйду замуж за герцога. А все-таки как-то жаль вылетать из старой клетки. Я столько времени просидела за кассой, что мне даже как-то чудно братья за что-нибудь другое. Ужасно буду скучать без толкотни и шуток у кассы, когда все стоят в очереди и платят за гречневые блинчики. Но не упускать же такой случай. А старики страшно добрые. Вы мне должны девять шестьдесят два с половиной за неделю. Так и быть, мистер Гинкл, скиньте полцента, коли жалко.

Сказано — сделано. Мисс Мэррием стала мисс Розой Мак-Рэмси. Она с достоинством совершила этот переход. Красота поверхностна, однако нервы лежат под кожей очень близко к поверхности. Нервы... но не потрудитесь ли вы перечесть еще раз цитату, с которой начинается рассказ?

Супруги Мак-Рэмси не жалели средств на воспитание приемной дочки. Их денежки загребали модистки, портнихи, учителя танцев и прочих предметов. Мисс... гм... Мак-Рэмси оказалась любящей, благодарной натурой и добросовестно старалась забыть Гинкла. Надо отдать честь гибкости американских девушек — ресторан Гинкла довольно скоро изгладился из ее памяти и из ее речи.

Не все помнят прибытие графа Хайтсберн в Америку, на одну из Семидесятых улиц. Это был среднего качества граф, без больших долгов, и его приезд не вызвал особого оживления. Но вы, конечно, помните благотворительный базар, устроенный «Дочерьми милосердия» в отеле «Уолдорф Астория». Вы сами были там и даже написали своей Фанни записку на бумаге со штампом отеля, чтобы показать ей... ах, вы не писали? Да, да, это было, конечно, как раз в тот вечер, когда у вас захворал ребенок.



На благотворительном базаре семейство Мак-Рэмси играло выдающуюся роль. Мисс Мэррием... гм... Мак-Рэмси блистала красотой. Граф Хайтсберн выказывал ей усиленное внимание с тех самых пор, как заехал в наши края поглядеть на Америку. Предполагалось, что в этот вечер их роман придет к благоприятной развязке. Граф, пожалуй, ничем не хуже герцога. Даже лучше. Ранг у него ниже, зато долгов меньше.

Нашу бывшую кассиршу посадили в киоск. Предполагалось, что она будет продавать аристократам и плутократам ничего не стоящие предметы по неслыханной цене. Прибыль с базара должна была пойти на рождественский обед для детей бедняков... Скажите, кстати, вы не задумывались над тем, откуда они берут остальные триста шестьдесят четыре обеда?

Мисс Мак-Рэмси, прелестная, взволнованная, очаровательная, сияющая, порхала за прилавком. Бугафорская медная сетка с маленьким полукруглым окошечком отгораживала ее от публики.

Появился граф, изящный, самоуверенный, элегантный, влюбленный — сильно влюбленный,— и подошел к окошечку.

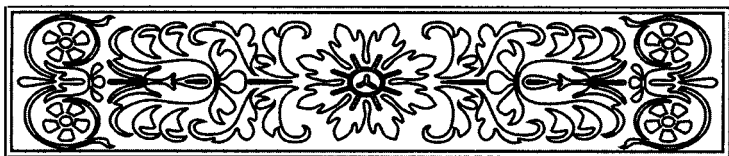
— Вы очаговательны, догогая, клянусь честью, очаговательны,— сказал он обольстительным голосом.

Мисс Мак-Рэмси стремительно обернулась.

— Бросьте эти ваши штучки,— быстро и хладнокровно отпарировала она.— За кого вы меня принимаете? Ваш чек, пожалуйста. О господи!

Распорядители, заметив, что у одного из киосков происходит что-то необычное, сбежались туда. Граф Хайтсберн стоял рядом с киоском, пощипывая светлые бакенбарды, вставшие дыбом от изумления.

— Мисс Мак-Рэмси упала в обморок,— объяснил кто-то.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путях проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распуссающегося Мэдисон-сквера.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет перевозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоминали что-то смутно знакомое тем, кто изучал ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентового обеда. Небо над головой было того бледно-аквамаринового оттенка, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако на городской взгляд редактора Уэстбрука пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометченных безумцев или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.



Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что он мог бы сбыть еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Издатели — хозяева журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя не торопясь между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, он повернул к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел, что его держит за рукав Доу — Шеклфорд Доу, грязный, обтрепанный, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они были приятелями. Доу в то время был человек обеспеченный, жил в приличной квартире, по соседству с Уэстбруками. Обе супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук были закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил невзначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть

на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возятся на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва» напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно излагая все причины, по которым он считал данное произведение не пригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, одним глотком. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет Мопассан,— сказала миссис Доу.— Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере, из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкокс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно есть хочется.

Так процветал Шеклфорд Доу, когда он столкнулся в Мэдисон-сквере с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шек, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подражало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку,— сказал Доу, дергая его за обшлаг.— Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шек? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок пескаря или как юная девица шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только...— начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас всего только десять минут в вашем распоряжении. Как это вы ухитрились обмануть бдительность моего клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая своей дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня,— сказал Доу.— Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, этакой искренно соболезнующей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что я могу писать хорошие рассказы, и я заставлю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплуюсь с вами, я отучу вас подписываться под сожалениями и научу выписывать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенно-сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шек, можете мне поверить. В нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею...

— Хватит с меня сожалений,— яростно оборвал Доу.— Мне от них ни тепло, ни холодно. Мне важно знать, чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ,— невозмутимо начал он,— построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но...

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль,— отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том...

— Все в том же самом,— подхватил Уэстбрук.— Вы работаете ваш сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что это у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы вы ни писали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. Фотографии, несмотря на немислимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы в ваших драматических сценах держались на соответственной литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу.— Вы все еще никак не можете расстаться со всеми этими дурацкими вывертами отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудную Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет Всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни,— сказал он,— женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии,— только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как! Бесси увел какой-то незнакомый мужчина? Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога, не мешайтесь, уйдите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла! Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!»



— Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героизику и мелодекламацию. Они просто не способны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком, разве что немножко бессвязней, потому что у них путаются мысли и слова.

— Шек, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случилось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаянья и скорби, которые в эту минуту сами собой срываются с ее губ?

— Нет, не случилось, — отвечал Доу. — А вам случилось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шек, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное потрясение вызывает у человека соответственное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обуславливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычание львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь Лиры выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания; это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их

выражать свои переживания подобающим образом, словами, соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена? — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво размахивая руками, но явно не находя слов для того, чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, открыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этакий шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не дает порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем, собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но...

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра это что, большая дыра? Надо же, везет как утопленнику! Дайте мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню...

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор: — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно постигнутый бедствием, не способен выражаться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования.

Они разговаривают, как всегда, только немножко бес-
связней.

Редактор поднялся со скамьи с снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы вы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что я думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что я прав?

— Мне очень жаль, Шек, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что я рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающей жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководился теорией, совершенно противоположной вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж нашего журнала с девяноста тысяч поднялся...

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, какая любящая жена Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка, и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шек, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу; поболтаем, посидим вечером, соорудим какой-нибудь ужин, как, помните, мы, бывало, устраивали в прежнее время.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку, — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа. Луиза всегда приходит минута в минуту. Сейчас...

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть... Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот, когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что, — воскликнул редактор, энергично тряся головой. — Это же немыслимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу, — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне, во всяком случае, не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она



женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девяностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуточку... я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который, безусловно, скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпеля, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствоиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг и через некоторое время очутились в районе Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любуясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушукующиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. *Sic transit gloria urbis*¹.

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходящих на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую и скудную обстановку.


— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока почищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по видимому, она оставила мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

«Дорогой Шеклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще буду ехать. Я поступила в хор Западной

¹ Так проходит слава городов (*лат.*).



оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пении и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все будет хорошо.

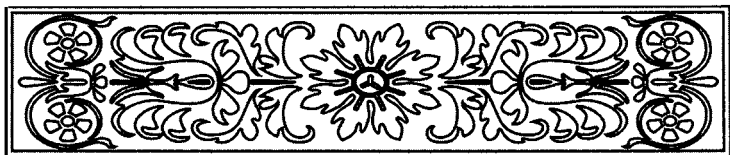
Прощай. Луиза».

Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

— Господи Боже, за что Ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех Твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормотал посиневшими губами:

— Послушайте, Шек, ведь это черт знает что за письмо! Ведь так можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шек?



ВО ВТОРОМ ЧАСУ У РУНИ

Лишь в нью-йоркском Ист-Сайде живы еще традиции Капулетти и Монтекки. И борьба там ведется не по правилам арифметики. Попробуйте показать кукиш стороннику враждебного дома — и вы обречены на кровопролитную войну. На Бродвее вы можете тащить своего недруга за нос хоть десять кварталов кряду, он будет только призывать стражников; но во владениях ист-сайдских Тибальгов и Меркуцио нельзя ни глазом моргнуть против этикета, ни локтем двинуть в баре, где постоянными клиентами числятся враги вашего дома и рода.

Вот почему, когда Эдди Мак-Манус, известный среди Капулетти как Хват Мак-Манус, забрел к Немчуре Майку промочить горло и наткнулся там на местных Монтекки, которые тешились пивом, он с ходу повел себя наикорректнейшим образом. Воспитание не позволило ему уйти из салуна, не утолив жажду; осмотрительность направила его стопы к стойке, где зеркало оповещало о всех перебросках противника, следить за которыми его равнодушный взгляд, казалось, считал ниже своего достоинства; опыт нашептывал, что сегодня перст раздора на славу поорудует среди пивных кружек Немчуры Майка. За Хватом, ни на шаг от него не отставая, следовал Шут Клири, его Меркуцио, неизменный спутник всех его походов. Так они стояли друг против друга — четверо представителей шайки Малберри-Хилз, двое — шайки Ремонтных доков; обе стороны держались с такой обходительностью, что Немчур Майк одним лишь глазом присматривал за клиентами, другим же то и дело поглядывал под стойку бара, куда он имел привычку спасаться, когда грозная вежливость соперничающих организаций материализовалась в пули и холодные клинки.

Но не о битвах Малберри-Хилз и Ремонтных доков поведем мы рассказ. А о заведении Руни, где на самой что ни на

есть прогнившей, мертвой ветке древа жизни распустилась невзрачная бледная орхидея.

На таком высоком уровне обходительности стороны не могли продержаться долго. Неизвестно, кто первый совершил погрешность против ритуала, только возмездие последовало незамедлительно. Бык Малони, представитель Малберри-Хилз, стремительным маневром, достойным самого Дьюи¹, развернул на штормовом мостике свою восьмидюймовую пушку. С кем мне сравнить Мак-Мануса? Лишь торпеде решусь я уподобить его. Поднырнув под орудийный огнем, он всего на каких-то три дюйма вонзил свой клинок в ребра лучшего крейсера Малберри-Хилз. Тем временем отменный стратег Шут Клири, перелетев через буфетную стойку, выключил свет, так что отныне лишь огонь орудийных залпов освещал сражение. Немчура Майк ползком покинул свое убежище и выскочил на улицу, призывая стражников, а отнюдь не Шекспира, который мог бы увековечить эту покрытую мраком потасовку.

Явился полисмен и увидел бледного, истекающего кровью Монтекки, а с ним — трех удрученных и скрытных сторонников его дома. Верные бандитской этике, они, все как один, показали, что не знают, чья рука сразила Малони. Ни одного Капулетти на поле брани не оказалось.

— Кончай свои допросы-мопросы,— сказал Бык Малони блюстителю закона.— Еще бы мне не знать, кто меня пырнул. Я с завязанными глазами всегда угляжу такого парня, который превратит меня в витрину скобяной лавки. Нет, и не подумаю сказать тебе, как его зовут. Сам с ним сквитаюсь. Ой-ай! Полегче, ребята! Мы с ним сами разберемся. Считай, что жалобу я не подавал.

В полночь Мак-Манус обогнул штабель теса в одном из ист-сайдских доков и задержался неподалеку от некоего пожарного крана. Через десять минут к условленному месту как бы невзначай подошел Шут Клири.

— Малони, может, и не отдаст концы,— сказал Шут,— и стукнуть он, ясное дело, не стукнет. А вот Немчура Майк уже стукнул. Заявил в полиции: ему, видишь ли, надоело, что в его салуне без продыху идет пальба. А нам это сейчас страсть как несподручно, потому что Тим Корригэн отбыл в Европу, прохлаждается там с коронованными особами. Он

¹ Джордж Дьюи — американский адмирал.



вернется на «Кайзере Вильгельме» только в следующую пятницу. До тех пор тебе придется сидеть тихо и не высовывать никуда носу. А вернется Тим, он твое дело уладит в два счета.

Все вышеизложенное должно вам объяснить, почему Хват Мак-Манус в один прекрасный вечер забрел к Руни и там в первый раз за всю свою рискованную биографию заглянул в ослепительное нездешним светом лицо Романтики.

Пока Тим Корригэн вращался в высшем свете и не мог пригрозить своим длинным белым перстом в кое-каких кабинетах, Хвату были заказаны все излюбленные притоны его шайки. Посему он засел в комнате некоего Капулетти, окнами во двор на самой верхотуре, и коротал время, читая розовые листки спортивного приложения и понося тихохонность «Кайзера Вильгельма».

Но к вечеру четверга Хвату опостылела жизнь затворника. Ни одна лань так не желала припасть к водоразборной колонке, как желал Хват Мак-Манус припасть к холодной пенящейся кружке, упереться ногой в прочную медную подножку и не спеша перебрасываться шутками и подначками через сверкающую стойку. Однако район, где его знала каждая собака, был закрыт для Мак-Мануса. Полиция искала его повсюду, потому что сезон был скуден новостями и, за неимением лучшего, газеты опять подняли крик, что полиция не может найти управу на гангстеров. Если его зацапают прежде, чем «Кайзер Вильгельм» вернется, никакой Корригэн ему не поможет: будет уже слишком поздно грозить длинным белым пальцем. Но Корригэн ожидался на следующий день, и Хват решил, что может смело позволить себе небольшой выход в сферу тех нехитрых удовольствий, без которых для него жизнь не в жизнь.

В половине первого Мак-Манус стоял на тускло освещенной улице и вглядывался в фамилию РУНИ, начертанную пылающими буквами на вывеске над окном второго этажа. Он слышал про этот притон, но не знал ни кто сюда ходит, ни где он помещается.

Руководствуясь неизменными приметам, общими для всех подобного рода заведений, он поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, расположенную прямо над кафе.

Там стояло штук двадцать—тридцать столиков, сейчас наполовину пустых. Официанты разносили напитки. В од-

ном конце комнаты человекообразная пианола, одурело поглядывая на посетителей, с остервенелым автоматизмом невпопад молотила по клавишам. Время от времени — к счастью, не слишком часто — кто-то из официантов, чередуя рев с визгом, исполнял песню — одну из песен, пестреющих «мистерами Джонсонами», «детками» и «черномазыми», словесными гарантиями исторической достоверности африканских мелодий, слагаемых юнцами в красных жилетах, возвращенными среди хлопковых плантаций и рисовых болот Западной Тридцать восьмой.

А теперь — это у вас займет всего минуту — отдайте вместе со мной дань восхищения Руни, полюбуйтесь, как он принимает гостей, как рассаживает их, как управляется с ними, как над ними подтрунивает. Руни нет и тридцати. У него нос Веллингтона, подбородок Данте, скулы ирокеза, улыбка Талейрана, быстрота и натиск Корбетта¹ и осанка одиннадцатилетней ист-сайдской Королевы Мая. У него есть помощник, известный всем как Фрэнк, компанейский, франтоватый крепыш, который снует между столами и присматривает, чтобы уныние забыло дорогу к Руни. Как вы думаете, чем объясняется популярность Руни? Днем там как нельзя более респектабельно: почтенные дамы в митенках, увешанные свертками, в сопровождении детей и беспородных собак, заглядывают к Руни выпить кружку пива и перекинуться словечком. Даже вечером, при газовом свете, развлечения у Руни довольно унылого свойства — выпивка, рэгтайм, ничего неожиданного, вот разве что официант ошарашит вас, подтерев натекшую лужицу пива под вашей липкой кружкой. И все же ответ на ваш вопрос существует. Вот он — переселение душ! Душа сэра Уолтера Рэли², удрав из-под его роскошного камзола, обрела родной дом под броским клетчатый жилетом Руни. Руни на два десятилетия опередил свое время. Руни снял эмбарго! Руни прикрыл своим плащом мокрый перекресток общественного мнения, и любая Елизавета, которая ступит на него, может утереть нос королеве. А теперь внимайте, ибо вам откроется тайна: у Руни дамам разрешено курить.

¹ Корбетт, Джеймс Джон — знаменитый американский боксер.

² Уолтер Рэли (1552—1618) — английский мореплаватель и государственный деятель, фаворит королевы Елизаветы. Ввез в Англию табак. Существует предание, что Рэли прикрыл своим плащом лужу, чтобы Елизавета могла пройти, не замочив ноги.



Мак-Манус опустился на свободный стул. Оплатил свое пиво, сбил котелок на кирпично-рыжий затылок, оплел ноги вокруг перекладин стула, и сокровенные глубины его легких исторгли вздох облегчения: ибо грязные соблазны эти были слаще меда устам его.

Это фальшивое веселье, этот лихорадочный блеск поддельного гостеприимства, неуместный безрадостный смех, сердечность, вызванная к жизни винными парами, жуткая гнетущая тишина, временами перемежающаяся бравурной музыкой, присутствие нарядных, беззастенчивых дам, этих вечных данниц Руни, благодетеля Руни, снявшего запрет на табак, привычные смешанные запахи подмокшей лимонной кожуры, выдохшегося пива и «Peau d'Espagne»¹ — Хвату Мак-Манусу, напостившемуся за неделю в той пустыне, которую являла собой комната некоего Капулетти, все это казалось манной небесной.

Девушка без провожатых вошла к Руни, быстрым, но неторопливым взглядом окинула комнату и села напротив Мак-Мануса. Лишь две секунды задержала она на нем взгляд — тот взгляд, которым женщина прошупывает каждого встреченного ею мужчину. За это время она решает, как ей поступить — визгом натравить на него полицейского или впоследствии выйти за него замуж.

Закончив недолгий осмотр, девушка положила на стол потертую красную сафьяновую сумочку с торчащим из нее обтрепанным уголком кружевного платка, полощущимся подобно парусу. Отправив ближайшего официанта за легким пивом, она вынула из сумочки коробку папирос и закурила с чуть-чуть преувеличенной небрежностью. Снова взглянула в глаза Хвату Мак-Манусу и улыбнулась.

Этот миг решил судьбу обоих.

Непостижимое желание мужчины, едва он окинет первым взглядом женщину, до конца жизни покупать для нее наряды и разжигать костры, отнюдь не редкость среди той скромной части человечества, которая не интересуется ни финансами, ни гербами, ни пьесами Шоу. Любовь с первого взгляда знакома и светскому обществу, но там таких случаев раз-два и обчелся; как правило, это внезапное помешательство встречается среди таких простодушных созданий, как голубь, сизокрылая галочка и клерк, живущий на десять дол-

¹ «Испанская кожа» (*фр.*) — сорт духов.

ларов в неделю. Поэты, подписчики литературных журналов и сваты, возьмите это соображение на заметку!

Обменявшись таинственными магнетическими токами, оба тут же ощутили в себе желание лгать, втирать очки, ослеплять и морочить, то есть самые низменные из тех побуждений, что порождает странное умопомрачение, именуемое любовью.

— Еще пива? — обратился Хват к девушке.

В его кругу такое предложение расценивалось как визитная карточка, сопровождаемая рекомендательными письмами и поручительствами.

— Спасибо, нет,— сказала девушка, наморщив лоб и старательно подыскивая приличествующие случаю слова.— Я зашла сюда на минутку.. промочить горло.— Видимо, она сочла, что папироса требует объяснения.— Моя тетя — русская знатная дама. И дома мы после обеда, случается, выкуриваем по папироске.

— Бросьте заливать! — сказал Хват, на которого светский тон действовал удручающе.— У вас пальцы едва не желтее моих.

— Послушайте! — сказала девушка, и голос ее от негодования перешел в шип.— Да за кого вы меня принимаете? Да что это вы себе позволяете? А?

Девушка была прехорошенькая, ее большие карие глаза дерзко блестили. Из-под лихо сдвинутого берета виднелись разделенные прямым пробором вьющиеся рыжеватые волосы, собранные низко на затылке. Подбородок и шея ее еще по-девичьи округлились, но щеки и пальцы уже начали худеть. Она взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. Ее нарядный коричневый жакет, забрызганный грязью, стоил явно недешево. Из-под черного платья была на два дюйма выпущена спускавшаяся до полу оборка лиловой шелковой нижней юбки.

— Извиняюсь,— сказал Хват, во все глаза глядя на девушку — Я ничего такого и не думал. Сдается мне, что в куренье особого вреда нет, Моды.

— Я не знаю другого такого места, где дамам разрешено курить,— сказала девушка, которую быстро умилоствовали его извинения.— Видно, в привычке этой хорошего мало, но дома тетя нам позволяет курить. И запомните, меня зовут вовсе не Моды, а Руби Деламир.

— Вот это да! — сказал восхищенно Хват. — А меня зовут Мак-Манус. Хват... э... Эдди Мак-Манус.

— Очень даже подходяще, — засмеялась Руби. — Так что не извиняйтесь.

Хват задумчиво посмотрел на большие настенные часы. Быстрые глаза девушки перехватили его взгляд.

— Я знаю, что уже поздно, — сказала она и потянулась за сумочкой. — Да вы небось сами знаете, как приспичивает, когда приспичит закурить. А что, разве к Руни ходить неприлично? Сколько я сюда ни заживала, все было чинно-благородно. То есть я и была-то здесь всего два раза. Я работаю в переплетной мастерской на Третьей авеню. Три раза в неделю нам приходится допоздна работать сверхурочно. В мастерской нам, ясное дело, курить не разрешают. Вот я и заскочила сюда курнуть по дороге домой. А что, правда, сюда ходить неприлично? Если такое ваше мнение, я больше сюда ни ногой.

— Сейчас, пожалуй, всюду поздногато ходить одной, — сказал Хват. — Об этой забегаловке мне мало что известно; но одно скажу: если тебя тут заснимут, вряд ли эту карточку захочешь послать в подарок своему учителю воскресной школы. Опрокиньте еще кружечку и как насчет того, чтобы я вас проводил домой?

— Но я с вами не знакома, — сказала девушка с похвальной щепетильностью. — И не в моих привычках водить компанию с джентльменами, которых я не знаю. Тетя б меня не одобрила.

— И зря, — сказал Хват Мак-Манус, подергав себя за ухо. — Уж что-что, а даму я проводить умею, можно сказать, по последнему слову науки и техники. Вы увидите, Руби, я парень что надо. Мой родитель главная опора всего уолл-стритовского заведения. Стоит ему высунуться из окна, как моргановская кляча от радости подбрасывает в воздух свой соломенный чепчик. Господи! Да и сейчас тренировку прохожу при Уолл-стрите. Провалиться мне на этом месте, если к следующему дню рождения старик не отвалит мне места на бирже. Только меня все это не больно интересует. Мне больше по душе гольф, яхты ну и, скажем, матч раундов этак на десять между боксерами полусреднего веса, в бойцовских перчатках, ясное дело.

— Так и быть, можете проводить меня до дверей, — сказала девушка неуверенно, но явно польщенно. — Хотя я ниче-

го хорошего не слышала ни о маклерах с Уолл-стрита, ни о гуляках, которые только и знают, что шлаться по кулачным боям. Вы что, ничего получше о себе рассказать не можете?

— Сдается мне, — сказал внушительно Хват, — что я не видывал в этом городишке девушки красивее вас.

— Да ладно! Все бы вам насмешничать! — Укор она смягчила глубоким, сияющим, украшенным улыбкой взглядом. — А пиво мы все-таки допьем, верно?

Официант исполнил песню. Табачный дым сгустился, поплыл, пополз вверх завитками, волнами, зыбкими слоями, кучевыми облаками, воздухопадами, туманными сгустками; казалось, у вас на глазах из ребер четырех предьдущих стихий рождается некая пятая. Гости смеялись и болтали оживленнее, воодушевленные напитками, в изобилии разносимыми официантами, и тем любезным приемом, который Руни оказал курящей части прекрасного пола.

Пробило час. Снизу донеслись звуки запираемых дверей. Фрэнк аккуратно задернул шторы на окнах, выходящих на улицу. Руни спустился вниз и встал на пороге, прикрыв рукой огонек папиросы. Отныне проникнуть к Руни мог лишь тот, кто предъявит вместо пропуска лицо, которое признает ястребиный взгляд самого Руни, — лицо своего парня.

Хват Мак-Манус и переплетчица самозабвенно беседовали, облокотясь о стол. Едва пригубленные кружки пива были сдвинуты на край, пена на них опала, оборотясь тонкой белой пленкой. После часу приевшиеся увеселения Руни обретали несвойственную им дотоле пикантность, и не потому, что с этого времени программа развлечений расширялась, а потому, что теперь в них ощущался вкус запретного плода. Выдохшийся стакан пива отдавал незаконностью, слабейший крушон наносил сокрушительный удар по закону и порядку, безобидная компания гуляк оборачивалась шайкой правонарушителей, бросающих вызов властям и правителям. Ибо в таком заведении, как у Руни, где не живут и не столуются, после часу владелец не вправе напоить ни одного мучимого жадной жителя четырехмиллионного города. Таков закон.

— Послушайте, — сказал Мак-Манус и налег внушительной грудью и локтями на стол. — А вы, правда, работаете в переплетной мастерской и живете дома, а сюда только мимоходом зашли... и... словом, вы меня не разыгрываете?

— Скажете тоже,— пылко завершила его девушка.— Да что вы себе думаете? С чего бы это мне вам заливать? Пойдите в мастерскую и спросите сами. Ей-ей, я вам все как есть рассказала.

— Все как есть, ей-же-ей?—сказал Хват.— Я ведь хочу, чтоб у нас все было по-честному, потому что...

— А почему?

— Сдаюсь,— сказал Хват.— Вы меня заарканили. Я давно ищу такую девушку, как вы. Хотите дружить со мной, а, Руби?

— А вы-то сами хотите, а, Эдди?

— Еще как! Только, понимаете, какая штука, я хочу, чтобы вы все мне... про себя по-честному рассказали. Когда парень дружит с девушкой... крепко дружит... ему, понимаете, какая штука, хочется, чтобы девушка была хорошая. Чтоб у них все было по-честному, и чтоб она не подвела его.

— Вот увидите, Эдди, я вас не подведу.

— Знаю, что не подведете. Я верю, что вы мне все по-честному рассказали. И уж не сердитесь, что я вас так спрашиваю. Таких девушек, как вы, не часто встретишь за полночь у Руни, да еще с папиросой в зубах.

Девушка покраснела и потупилась.

— До меня только сейчас дошло,— сказала она кротко.— А то ведь мне и в голову не приходило, что обо мне могут такое подумать. Но больше я сюда ни-ни. Теперь я после работы — прямиком домой. И если хотите, Эдди, я брошу курить... вот хоть сейчас.

Хват принял вид задумчивый, собственнический, строгий и в то же время сочувственный.

— Даме курить можно,— вынес он наконец свой вердикт,— только смотря где и когда. А почему можно? Да потому, что настоящей даме, без подделки, многое позволено.

— А я все-таки брошу. Ничего хорошего в куренье нет.— Девушка смахнула окурочек на пол.

— Смотри где и когда,— повторил Хват.— Как-нибудь вечером я зайду за вами, мы найдем скамеечку поукромнее в Стюйвезант-сквере и подышим там в свое удовольствие. Но к Руни за полночь — ни ногой, замечано?

— Эдди, а я вам, ей-ей, нравлюсь? — Девушка встревоженно вглядывалась в загубелое, но прямодушное лицо Хвата.

— Ей-же-ей.

— А когда вы придете ко мне?

— В субботу. Послезавтра вечером вам подходит?

— Очень даже. Я буду вас ждать. Приходите к семи. Когда вы меня сегодня проводите, я вам покажу, где я живу. Смотрите, запомните дорогу. А пока, мистер Мак-Манус, не вздумайте гулять с другими! Хотя говори не говори, разве вас удержишь.

— Ей-же-ей, — сказал Хват, — рядом с вами другие девушки все равно что пугала огородные. Правда. Нет, я такой парень, что, если мне что понравится, я того не упущу. Ей-же-ей.

Снизу донесся громкий стук: кто-то напористо дубасил в парадную дверь. Подобный грохот мог производить лишь паровой молот или нога полицейского. Руни лягушкой отпрыгнул в угол, выключил свет и кубарем скатился по лестнице.

Комната погрузилась в темноту, лишь кое-где мигали красные глазки сигар и папирос. Грохот ударов возвестил, что противник снова пошел на приступ. Среди гостей началась легкая паника, шорох, перешептывание. В оранжевых отсветах горящих папирос было видно, как спокойный, невозмутимый, хладнокровный Фрэнк переходит от столика к столику.

— Сидеть тихо! — командовал он. — Не говорить, не шуметь. Все обойдется. Попрошу не беспокоиться. Мы никого не дадим в обиду.

Руби шарил по столу, пока ее руку не накрыла твердая ладонь Хвата.

— Эдди, а вы боитесь? — шепнула она. — Боитесь, что придется сесть на казенный кошт?

— Пока еще от страха зубами не лязгаю, — сказал Хват. — Небось Руни запоздал кое-кого подмазать. Не робейте, детка, со мной не пропадете.

Надо сказать, что Мак-Манус только напускал на себя лихость. Полиция охотилась за обидчиком Быка Малони, Корригэн плыл по волнам океана, так что попади он сейчас в облаву, ему конец! И надо же такому случиться как раз, когда он встретил Руби! И зачем только он покинул жилище верного Капулетти — хорошо бы сидеть сейчас там на верхотуре и штудировать розовые листки!

Руни, судя по всему, отпер парадную дверь и вступил в переговоры с представителями закона в темном коридоре нижнего этажа. Фрэнк встал в дверях наверху, изображая собой беспроволочный телеграф. Вдруг он захлопнул дверь, бегом пересек комнату и зажег на другом ее конце тусклый газовый рожок.



— Все сюда! — позвал он. — Побыстрее и попрошу без шуму.

Перепуганные гости ринулись к нему. Сподвижник Руни отодвинул потайную панель в стене, выходящей на задний двор, к которой заранее приставляли лестницу, дабы в случае необходимости посетители могли улизнуть.

— А теперь все вниз и на улицу, живо! — скомандовал Фрэнк. — Дам попрошу пропустить вперед! Потихе, пожалуйста! Не толпитесь! Вам ничего не грозит.

Хват и Руби, одни из последних, ждали своей очереди у потайной панели. Вдруг Руби, оттолкнув Хвата в сторону, отчаянно вцепилась ему в руку.

— Пока мы отсюда не ушли, — шепнула она ему на ухо, — и пока ничего не стряслось, Эдди, скажите мне еще раз... вы меня л... я вам, ей-ей, нравлюсь?

— Ей-же-ей, — сказал Хват, свободной рукой привлекая девушку к себе. — Я в вас врезался по уши.

Когда они опомнились, оказалось, что ловушка захлопнулась, а вокруг кромешная тьма. Последний из посетителей давным-давно спустился вниз. Сейчас они, спотыкаясь и хихикая, волочили лестницу где-то посередине двора к низенькому дому, через крышу которого лежал их единственный путь к спасению.

— Раз так, можно за те же деньги и посидеть, — угрюмо сказал Хват. — Как знать, вдруг Руни еще отобьется.

Они сели за ближайший стол, их руки снова нашли друг друга.

Но тут в дверь ввалились какие-то мужчины и стали ощупью пробираться в темноте. Один из них — а это был сам Руни — нашел выключатель и зажег свет. Другой оказался полицейским старой закалки — крупным, грузным, гневливым и грубым — словом, таким полицейским, встреча с которым не сулит ничего доброго. Он подошел к нашей парочке и улыбнулся девушке, как старой знакомой.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Да вот заскочили покурить, — кротко ответил Хват.

— Пили?

— После часу не пили.

— Выматывайтесь отсюда, да поживее! — приказал полицейский. И тут же: — Сядь! — отменил он предыдущий приказ.

Сдернул с Хвата шляпу и уставился на его лицо.

— Тебя зовут Мак-Манус?
— Не угадали,— сказал Хват.— И вовсе Петерсен.
— Хват Мак-Манус или что-то вроде этого,— сказал полицейский.— Ты неделю назад пырнул одного парня в салуне Немчуры Майка.

— Да бросьте,— сказал Хват, уловив нотку сомнения в голосе полицейского.— Вы обознались, спутали меня с кем-то другим.

— Обознался? А ну, пошли со мной, пусть на тебя еще в участке поглядят. Описание подходит к тебе точь-в-точь.— Полицейский запустил руку за воротник Хвата.

— Вставай! — заорал он.

Хват глянул на Руби. Она побледнела, ее тонкие ноздри трепетали. Пока мужчины разговаривали, ее быстрый взгляд то и дело перебегал с одного на другого. Надо же такое невезенье, думал Хват, чтоб Корригэн прохладился на морях, а он в одночасье и свел знакомство с Руби, и потерял ее! В участке его как пить дать опознают. Вот невезенье так невезенье!

Но тут девушка вскочила и что было сил толкнула полицейского обеими руками. Тот выпустил воротник Хвата и попятился.

— Полегче на поворотах, Мэгуайр! — злобно завизжала она.— Убери свои грязные лапы от моего парня! Ты меня знаешь и знаешь, что я тебе плохого совета не дам. Не смей его трогать! Тебе не он нужен — за него я ручаюсь!

— Слушай, Фанни,— сказал полицейский, багровый от злости.— Ты потише, не то мне недолго и тебя замести. Тебе-то откуда известно, что мне другой нужен? И чего, кстати, ты с ним тут делаешь?

— Откуда мне известно? — сказала девушка, то вспыхивая, то бледнея.— Да я с ним, почитай, год, как путаюсь. Это ж мой сожитель. Кому и знать его, как не мне. Что, по-твоему, я с ним тут делаю? Мог бы догадаться.

Она наклонилась и, взметнув юбками, сунула руку под черно-лиловый ворох оборок. Щелкнула подвязка, и на стол перед Хватом шлепнулась мятая пачка денег. Купюры лениво, как бы нехотя, распрямлялись одна за другой.

— Прячь монету, Джимми, и пошли,— сказала девушка.— Сдаю вырубку, Мэгуайр,— объявила она полицейскому.— А ты получил свои всегдашние пять долларов на всегдашнем углу в десять.



— Врешь! — взревел полицейский, наливаясь кровью.— Теперь попадись мне только на моем участке, враз загремишь в кутузку.

— Кишка у тебя тонка,— сказала девушка.— И знаешь, почему? Когда я тебе давала на лапу и сегодня и на прошлой неделе, тому были свидетели. Так что лучше заткнись.

Хват бережно спрятал деньги в карман.

— Пошли, Фанни,— сказал он,— надо еще перекусить перед тем, как идти домой.

— Выметайтесь-ка отсюда оба, да поживее, не то я...— Угрозы завершились невнятным бормотанием.

На углу улицы они остановились. Хват молча отдал девушке деньги. Девушка не спеша опустила их в сумочку. На лицо ее вернулось то же выражение, с каким она входила сегодня к Руни,— она вновь взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением.

— Похоже, я могу попрощаться с тобой прямо здесь,— сказала она уныло.— Ты уж, конечно, не захочешь больше встречаться со мной. Ну как, давай пожмем руки, мистер Мак-Манус?

— Я б ни в жизнь не смекнул, если б ты не раскололась,— сказал Хват.— Зачем ты это сделала?

— Иначе б тебя как пить дать замели. Вот зачем. Это тебе не причина? — Из глаз девушки покатались слезы.— Ей-ей, Эдди, я хотела стать такой хорошей, что лучше не бывает. Мне опостылела моя жизнь, опостылели мужчины, мне хотелось умереть, и тут я встретила тебя. Мне показалось, что ты не такой, как все. А когда я увидела, что я тебе тоже понравилась, я подумала: вотру-ка я ему очки, прикинусь хорошей, а потом и впрямь стану хорошей. А когда ты сказал, что придешь ко мне домой, да после такого я б скорей умерла, чем пошла бы на плохое. Но что толку говорить? Так что, если хочешь проститься, давай простимся, мистер Мак-Манус.

Хват подергал себя за ухо.

— Это я порезал Малони,— сказал он.— И полиция искала не кого другого, а аккурат меня.

— Да ладно,— сказала девушка безучастно.— Это мне без разницы,

— И потом насчет Уолл-стрита тоже все вранье. Я ошиваюсь с одной шайкой в Ист-Сайде, и других занятий у меня не имеется.

— Да ладно,— повторила девушка.— Это мне тоже без разницы.

Хват приосанился, сбил котелок на лоб.

— Я б, пожалуй, мог устроиться к О'Брайену,— сказал он вслух, но как бы для себя.

— Прощай,— сказала девушка.

— Пошли,— сказал Хват.— Я знаю одно местечко тут поблизости.

Через два квартала они остановились у красного кирпичного особняка, выходящего в небольшой парк.

— Это что за дом? — спросила девушка, пятясь.— Чего тебе там понадобилось?

С одной стороны парадной двери в ярком свете фонаря блестела медная табличка. Хват решительно потащил девушку вверх по ступенькам.

— Читай! — сказал он.

Девушка прочла надпись на табличке и испустила нечто среднее между стоном и воплем.

— Нет, нет, Эдди! Боже мой, только не это! Я не хочу, я не пойду, нет, нет! Отпусти меня! Нет, ты этого не сделаешь! Ты не можешь... Тебе нельзя!.. Теперь, когда ты все знаешь! Нет, ни за что! Уйдем отсюда скорее! О господи, да идем же, Эдди, прошу тебя, идем!

У нее закружилась голова, она пошатнулась, но Хват успел ее поддержать. Он нашарил правой рукой кнопку звонка и с силой нажал на нее.

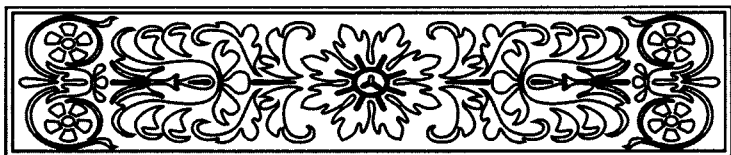
Другой полицейский — прямо диву даешься, какой у них нюх на беспорядки! — проходя мимо, увидел нашу парочку и взбежал по ступенькам.

— Эй! Ты что это себе позволяешь с девушкой? — сердито окликнул он Мак-Мануса.

— Да она через минуту придет в себя,— сказал Хват.— Ей-ей, у нас тут все честь по чести.

— «Преподобный Иеремия Джонс»,— прочел полицейский надпись на табличке: чутье сыщика направило его по верному следу.

— Так точно,— сказал Хват.— Он нас сейчас обвенчает, ей-же-ей.




ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Omne mundus in duas partes divisum est — на людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны. Теперь нет больше неоткрытых стран; но к тому времени, когда галоши выйдут из моды и налоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнет прокладывать параллельно его каналам радиотрамвай.

В словарях счастье, случай и приключение выдаются за синонимы. Но для знающих людей каждое из этих слов имеет различное значение. Счастье — это приз, которого нужно добиваться. Приключение — дорога, ведущая к нему. Случай — это то что подчас маячит из тени по краям дороги. У Счастья лицо лучезарное и манящее; у Приключения — покрасневшее и дышащее героизмом. Лицо Случая — прекрасный лик, прекрасный потому, что он смутное порождение мечты; мы видим его у себя в чашке чаю, когда мы сидим за завтраком и ворчим, поедая котлетки и поджаренный хлеб.

Искатель приключений — это тот, который все время поглядывает на заборы и пригородные рощи и луга, пока он идет по пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Пытаться доказать, что это действительно произошло, — величайший авантюризм. Но быть тем или другим — значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане, и наши имена имеются даже во «Всемирном Нью-Йорке». Так закурим трубки, побраним детей и кота, устроимся в плетеной качалке на самом прохладном месте у окна под мерцающим газовым рожком и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за Случаем.

— Слышали ли вы этот анекдот про одного приезжего с Запада? — спросил Биллинггер.



Дело происходило в маленькой, выложенной темным дубом комнатке налево, у самого входа в Похатан-клуб.

— Наверное, слышал, — сказал Джон Реджинальд Форстер, встал и вышел из комнаты.

Форстер взял из рук мальчика в гардеробной свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биллинггер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своем излюбленном настроении, и ему хотелось уйти отовсюду. Чтобы быть довольным собой, человеку необходимо услышать подтверждение своих мнений и видеть подходящее настроение у кого-нибудь другого.

Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за Случаем.

Он был по природе искателем приключений, но приличия, происхождение, традиции и суживающее горизонт влияния манхэттенского племени лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые, по всеобщему убеждению, скрашивают скуку жизни. Но ему все было мало. Причина этого крылась в том, что он знал, что он найдет в конце каждой улицы. Опыт и логика предсказывали ему с почти абсолютной точностью, чем должно окончиться всякое отступление от рутины. Он находил удручающую монотонность во всех вариациях, которые музыка сфер разыгрывала на мелодию жизни. Он еще не знал той истины, что хотя наш мир и круглый, однако произведена квадратура этого круга, и настоящий интерес кроется в том, «что находится за ближайшим углом».

Форстер вышел из Похатана и пошел бесцельно вперед, стараясь не утруждать свой ум или желания мыслью о тех улицах, по которым он шел. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно; но на это не было никакой надежды. В великой столице приключения и счастье готовы спуститься вам на ладонь, если вы только поманите их пальцем. Случай — восточная женщина. Это закутанная в чадру особа, разъезжающая в паланкине и охраняемая эскадрой драгоманов. Мы можем пересечь весь город, отправиться в центр, бродить по окраинам и все-таки не встретиться с ней.

Побродив около часу, Форстер очутился на углу широкого, гладко вымощенного проспекта и начал с сокрушением



глядеть на живописную старинную гостиницу, всю залитую каким-то мягким светом. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать, а обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараяв; блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканна и хорошо приготовлена, что он жалел о своем голоде, который ему предстояло утолить «абсолютно совершенной» кухней этого ресторана. Даже музыка, казалось, всегда играла там «*da capo*».

Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, даже подозрительном ресторане подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдет что-нибудь выходящее из ряда повседневной рутины: он найдет подлежащее без сказуемого, дорогу без конца, вопрос без ответа, причину без следствия, какой-нибудь Гольфстрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во фрак; на нем был темный утренний костюм, который не вызовет удивления даже там, где лакеи подают макароны в одних рубашках и жилетах.


И Джон Реджинальд Форстер начал искать у себя в кармане деньги: известно, что, чем дешевле обед, тем необходимее за него заплатить. Он тщательно обыскал все тринадцать — больших и малых — карманов своего костюма и не нашел ни гроша. Книжка его текущего счета указывала, что в его распоряжении имеется сумма в пять цифр, но...

Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и, несомненно, смотрел на него с веселым интересом. У него была наружность обыкновенного делового человека; он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая. Но по этому проспекту трамваи не ходили и потому его близость и явное любопытство показались Форстеру несколько нескромными. Но так как он упорно искал того, «что находится за углом», он не выказал раздражения, а только ответил на веселую усмешку незнакомца полусконфуженной улыбкой.

— Ни черта? — спросил нескромный господин, подходя ближе.

— Похоже на то, — сказал Форстер. — А ведь мне казалось, что у меня был доллар в...

— Знаю, знаю, — смеясь, ответил тот. — Но его не было. Я сам только что проделал эту же самую процедуру, когда



заворачивал за угол. Я нашел в боковом кармане пиджака, — не знаю, как они туда попали, — ровно два медяка. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за два медяка?

— Так вы не обедали? — спросил Форстер.

— Нет, но мне хотелось бы пообедать. Вот что, я хочу вам предложить одну вещь. По вашему виду мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно. Простите за это касающееся вашей личности замечание. Я думаю, что и мое платье выдержит цензуру метрдротеля. Давайте пойдете вон в ту гостиницу и пообедаем вместе. Выберем лучшие блюда из меню, точно мы миллионеры или, если вам больше нравится, как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. Когда мы кончим, мы разыграем в орла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия — Айвз. Мне кажется, что куда наши деньги не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе.

— Идет! — с радостью сказал Форстер.


Наконец-то ему предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит Случай! Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем приевшаяся тоска табльдота. Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвз кинул Форстеру через стол один из своих медяков.

— Подкиньте. Разыграем, кому заказывать, — сказал он.

Проиграл Форстер.

Айвз рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор.

— Я — один из тех, — сказал Айвз за устрицами, — которые всю жизнь ищут романа с «продолжением в следующем номере». Я не обыкновенный авантюрист, кидающийся за определенной добычей. Я также и не игрок, знающий, что он или проиграет, или выиграет определенную ставку. Мне хочется другого — наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть. Бросать вызов Судьбе в самых слепых ее проявлениях — вот что мне необходимо, как воздух. Наш мир вертится, всецело подчиняясь рутине и притяжению, и теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы



найдете в конце ее. Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать; я хочу играть втемную.

— Понимаю, — с восторгом сказал Форстер. — Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил мое собственное чувство словами. Вы именно это сделали. Я иду на риск — пусть будет что будет. А не потребовать ли нам бутылку мольберта?

— Согласен, — сказал Айвз. — Я рад, что вы уловили мою мысль. Это усилит враждебное отношение ресторана к проигравшему. Если вам не надоело, давайте продолжать нашу тему. Настоящих искателей приключений я встречал очень редко, я говорю — настоящих, которые, отправляясь в путь, не требуют от судьбы предварительной сметы и карты местности. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, отрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены. В наши дни, если вы обругаете полицейского, вам остается угадать лишь одно: в какой именно участок он вас отведет.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер, одобрительно кивая головой.

— Сегодня я вернулся в Нью-Йорк, — продолжал Айвз, — после трехлетнего путешествия по всей земле. И за границей дело обстоит не лучше, чем у нас дома. Весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения. А меня сильно интересует лишь одно: совершенно новая предпосылка. Я пробовал охотиться в Африке за крупной дичью. Я знаю, что может сделать автоматическая винтовка на известном расстоянии; а когда слон или носорог падает от пули, мне это доставляет приблизительно такое же удовольствие, как в детстве, когда меня оставляли в школе после уроков и заставляли решать задачи на доске.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер.

— Аэропланы, пожалуй, могут что-нибудь дать, — задумчиво продолжал Айвз. — Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но, кажется, все дело в правильном расчете ветра и балласта.

— А женщины? — с улыбкой подсказал Форстер.

— Три месяца назад, — сказал Айвз, — я таскался по базару в Константинополе. Я обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жем-

чуга у одного из ларьков. Она, разумеется, была под чадрой, но из-под нее виднелись необычайно красивые глаза. Ее сопровождал слуга, рослый, черный как смоль нубиец. Вскоре негр начал незаметно ко мне приближаться и сунул мне в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул ее. Там было написано карандашом, торопливым почерком: «Сегодня вечером в девять — Соловьиный сад — ворота с аркой». Не кажется ли это вам интересной новой предпосылкой, мистер Форстер?

— Продолжайте, — с увлечением сказал Форстер.


— Я навел справки и узнал, что Соловьиный сад принадлежит какому-то старому турку — великому визиру или что-то в этом роде. Нечего и говорить, что я направился к воротам с аркой и прибыл туда к девяти. В назначенное время тот же слуга-нубиец быстро открыл ворота; я вошел в сад и уселся на скамье близ благоухающего фонтана рядом с дамой в чадре. Проболтали мы довольно долго. Она оказалась журналисткой Мэртль Томпсон и изучала гаремы по поручению чикагской газеты. Она сказала, что там, на базаре, заметила чисто нью-йоркский покрой моего платья.

— Понимаю, — сказал Форстер, — понимаю.

— Я изъездил всю Канаду на лодке, — сказал Айвз, — переплывал через пороги и водопады, но опять-таки это меня не удовлетворяло, потому что я знал, что есть два возможных исхода: или я утону, или же выплыву на поверхность. Я играл в карты во все азартные игры, но математики испортили это развлечение: они вычислили процент вероятности выигрыша и проигрыша. Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома. Я пользовался всякой случайностью, которая только мне представлялась, но всегда наступал трафаретный конец — логическое заключение, вытекающее из предпосылок.

— Знаю, — повторил Форстер. — Я все это испытал. Но у меня мало было «случайно случившихся» случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы так отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределенное, но ни один из тысячи не приведет вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть. Желал бы я, чтобы и с подземными поездами и трамваями так же редко происходили недоразумения.

— Солнце уже взошло, — сказал Айвз, — и разогнало мрак тысячи и одной ночи. Нет больше калифов. Бутылка



рыбака превратилась в термос с гарантией, что любой дух может сохраниться в нем в течение двух суток горячим или холодным. Жизнь движется рутинной. Наука убила приключение. Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб или человек, первым начавший есть устриц. Верно лишь одно, что нет ничего неверного.

— Видите ли, — сказал Форстер, — я испытал лишь те переживания, которые доступны жителю столицы, а круг их весьма ограничен. Я не видал света, как вы, но, по-моему, мы смотрим на него с одинаковой точки зрения. Говорю вам, что я благодарен даже за это наше маленькое приключение, граничащее со случайностью. Быть может, будет хоть один момент, когда я затаю дыхание: когда представят счет за обед. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов более остро наслаждались жизнью, чем рыцари Круглого Стола, разъезжавшие со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар Судьбы. Ну, что вы загадали?

— Решка, — объявил Айвз.

— Верно, — сказал Форстер, поднимая руку. — Я проиграл. Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться. Предлагаю вам, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить. Я буду удерживать позицию и задержу счет некоторое время, чтобы вы успели взять пальто и шляпу и уйти. Благодарю вас за вечер, выходящий из ряда обыкновенных, мистер Айвз. Я желал бы, чтобы он повторился.

— Если память мне не изменяет, — сказал, смеясь, Айвз, — ближайший полицейский участок находится на Мандельстрит. Поверьте, что и мне наш обед доставил большое удовольствие.

Форстер нажал кнопку. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой, и положил счет, лицом вниз, рядом с чашкой проигравшего. Форстер взял счет и начал тщательно проверять итог. Айвз удобно откинулся на спинку стула.

— Простите, — сказал Форстер, — но вы, кажется, собирались позвонить Граймзу насчет театра в четверг? Вы разве забыли?

— Ну, — сказал Айвз, усаживаясь еще удобнее, — это я могу и потом сделать. Человек, принесите мне стакан воды.

— Хотите видеть травлю зверя, а? — спросил Форстер.

— Надеюсь, что вы ничего не имеете против, — сказал Айвз умоляющим голосом. — Я никогда в жизни не видал, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шармачка.

— Ну, что же, — спокойно сказал Форстер. — Вы имеете право вместо рюмки коньяку угоститься зрелищем христианина, умирающего на арене.

Официант принес воду и остался у стола с непринужденным видом неумолимого сборщика податей.

Секунд пятнадцать Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его.

— Дело в том, — сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, — я, очевидно, не «настоящий спортсмен», что равносильно «искателю приключений». Мне придется сделать вам признание: я уже больше года обедаю в этой гостинице раза два-три в неделю и всегда подписываю счета.

И затем он добавил с оттенком благодарности:

— Очень мило все-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя вы знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию заодно со мной.

— Видимо, и мне придется признаться, — сказал Айвз, широко улыбаясь. — Я владелец этой гостиницы. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда я ночую в городе.

Он подозвал лакея и сказал:

— Что, мистер Гильмор еще в конторе? Отлично. Передайте ему, что мистер Айвз здесь, и попросите его распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены.

— Еще одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью, — сказал Форстер. — Нет ли в следующем номере загадки без ответа? Но вернемся, если вы ничего не имеете против, к нашей прежней теме минуты на две. Мне не так уж часто приходится встречаться с человеком, которому было бы понятно, какой недостаток я нахожу в жизни. Через месяц будет моя свадьба.

— Воздерживаюсь от комментариев, — сказал Айвз.

— Правильно. Я кое-что добавлю к моему заявлению. Я всей душой люблю «ее», но я все-таки никак не могу решить, ехать ли мне с нею в церковь или же дернуть без нее

на Аляску? Это то же самое, о чем мы с вами только что рассуждали: брак — конец всяких приключений. Всем нам известна ежедневная рутина; после утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнущий цейлонским чаем; затем вы отправляетесь в контору, возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду; два раза в неделю театр... счета... по вечерам большей частью тоска и попытки поддержать разговор... иногда легкая ссора, может быть, даже как-нибудь и крупная, с разводом, или же успокоение в мирном довольстве среднего возраста, что, пожалуй, хуже всего.

— Понимаю, — с знающим видом кивнул Айвз.

— Меня заставляет колебаться, — продолжал Форстер, — именно эта убийственная уверенность во всем. После этого уже ничего не найдешь «за ближайшим углом».

— После церквы ничего, — сказал Айвз. — Знаю.

— Поймите, — сказал Форстер, — что у меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к «ней». Могу сказать, что я искренно, глубоко люблю ее. Но в крови, которая течет по моим жилам, есть что-то, громко протестующее против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я, наверное, говорю невероятные глупости, но сам я понимаю, что хочу сказать.


— Я вас понимаю, — сказал Айвз, медленно улыбаясь. — Ну-с, я теперь, кажется, пройду к себе в номер. Был бы очень рад, мистер Форстер, если бы вы согласились как-нибудь пообедать со мной здесь в один из ближайших дней.

— В четверг? — предложил Форстер.

— В семь, если вам удобно, — ответил Айвз.

— Идет, — согласился Форстер.

В половине девятого Айвз взял извозчика и подъехал к дому на одной из чопорных Семидесятых улиц в западной части города. По предъявлении карточки он был введен в приемную старинного дома, куда ни разу не осмеливался проникнуть дух Риска, Случайности и Приключения. На стенах висели картины — *nature morte*, Уистлер, грёзовская головка. Это был настоящий домашний очаг. На столе лежал альбом из сафьяна с украшениями из оксидированного серебра по углам. Часы на камине громко тикали и издавали предупреждение, когда стрелка показывала без пяти девять. Айвз с любопытством посмотрел на них и вспомнил, что у его бабушки тоже были часы с таким предупредителем.



И затем по лестнице сошла Мэри Марсден и вошла в комнату. Ей было двадцать четыре года; наружность ее я предоставляю вашему воображению. Но я должен сказать одно: молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза, все это очень красиво, а она обладала всем этим. Она протянула Айвзу руку с милым сердечным выражением, говорившим о давнишней дружбе.

— Вы не можете себе представить, — сказала она, — как мне приятно, когда вы заходите — хотя бы раз в три года.

Беседа длилась полчаса. Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдете его там. Когда все такое было сказано, Мэри сказала:

— Ну, что же, нашли вы за границей то, что искали?

— Что я искал? — сказал Айвз.

— Ну, да. Ведь у вас всегда были какие-то странности. Еще мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда вы не знали, какая там глубина — десять дюймов, или десять фугов. И потом, став взрослым, вы не изменились. Мы часто удивлялись вашим странностям.

— Я, вероятно, неисправим, — сказал Айвз. — Я противник учения о предопределении, тронного правила, закона притяжения и всяких тому подобных вещей. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, который печатается в журнале, но только в каждом номере печатают краткое содержание не предыдущих, а последующих глав.


Мэри весело расхохоталась.

— Боб Эмз как-то рассказал нам, — объявила она, — про один забавный ваш поступок. Это было на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городе, где вовсе не намеревались останавливаться, и все потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции.

— Помню, — сказал Айвз. — Вот эта самая «следующая станция» именно то, от чего я всю жизнь старался уйти.

— Знаю, — сказала Мэри. — И вы много глупостей надедали. Надеюсь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановке, когда и остановки-то никакой не было, и что с вами за ваше трехлетнее отсутствие не случилось всего, чего вы ожидали.

— До моего отъезда у меня было одно желание, — сказал Айвз.



Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза; она слегка улыбнулась нежной улыбкой.

— Да, было, — сказала она. — Вы хотели, чтобы я была вашей. И вы могли добиться своего, вы сами это знаете.

Айвз, не отвечая, медленно оглядел комнату. В ней не произошло никаких перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз, — три года тому назад. Он ясно припомнил, о чем он тогда думал. Обстановка этой комнаты, казалось, была так же вечна, как вечны горы. Здесь не могло произойти никаких перемен, кроме тех, которые производит разрушительное время. Этот оправленный в серебро альбом всегда будет лежать на определенном месте на столе, эти картины всегда будут висеть там же на стенах, эти стулья всегда окажутся на своих местах — и утром, и днем, и ночью, пока дом будет существовать. Медный каминный прибор — это памятник, воздвигнутый в честь порядка и неизменности. Кое-где лежали столетние реликвии, которые все еще были дороги и долго еще будут дороги кому-то по воспоминаниям. Тот, кто шел в этот дом, мог не сомневаться и не строить предположений. Он найдет там лишь то, что оставил, и оставит лишь то, что нашел. Случайность — эта женщина под покрывалом — никогда не поднимет руку, чтобы постучаться в двери этого дома.


Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты, уравновешенная, милая, постоянная. Она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены в ней, хотя бы она поседела и покрылась морщинами. Три года Айвз провел вдали от нее, и она все-таки ждала его, постоянная и неизменная, как самый дом. Он был убежден в том, что она когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так будет, и заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове.

— Я на днях выхожу замуж, — сказала Мэри.

...

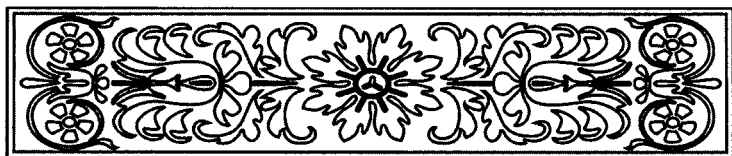
В следующий четверг Форстер второпях заехал днем в гостиницу к Айвзу.

— Послушайте, старина, нам придется отложить наш обед на год или больше; я еду за границу. Пароход отправляется в четыре. Наш разговор на днях произвел на меня боль-



шое впечатление и заставил меня решиться. Я хочу потолкаться по миру и отделаться от этого гнета, который давит и меня и вас, — от этого ужаса заранее знать, что должно произойти. Я сделал одну вещь, за которую меня слегка мучает совесть; но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал моей невесте и все ей объяснил, — откровенно сказал, почему я уезжаю, — сказал, что я не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как по-вашему, правильно ли я поступил?

— Не мне судить об этом, — сказал Айвз. — Валяйте, поезжайте охотиться на слонов, если вы думаете, что это внесет элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя. Но я хочу вам сказать лишь одно, Форстер: я нашел свой путь, я открыл самую азартную в мире игру — игру рискованную, которой нет конца, приключение, которое может окончиться седьмым небом или темнейшей пропастью ада. Человек, отдавшийся ей, должен быть начеку всю жизнь, пока не захлопнется над ним крышка гроба, ибо он никогда не будет «знать» — до последнего дня своего, — и даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Я нашел приключение. Не беспокойтесь о том, что вы покинули Мэри Марсден, Форстер. Я обвенчался с нею вчера в полдень.



ПОЕДИНОК


Боги-олимпийцы, подкрепляясь нектаром и выглядывая из-за гребня своей горы, видят разницу между городами. Казалось бы, все города должны представляться им только большими или меньшими муравейниками, без каких бы то ни было индивидуальных различий. Но это не так. Изучать привычки муравьев с такой высоты вряд ли очень интересно, особенно когда можно наслаждаться напитком, который, если верить мифологии, составляет единственную отраду обитателей Олимпа. Но им, очевидно, нравится сравнивать между собой города и деревни, и для них (как, может быть, и для многих смертных) не будет новостью, что в одном отношении Нью-Йорк стоит особняком среди всех городов мира. Это и будет темой маленького рассказа, посвященного мужчине, который сидит и курит, положив ноги в домашних туфлях на другой стул, и женщине, которая хватается за журнал, уловив минуту, когда кипящие на плите овощи или усыпленный наркотиками младенец не требуют ее внимания. С такими, как они, я люблю сидеть на земле, печальные рассказывая были о том, как умирают короли¹.

Нью-Йорк населяют четыре миллиона таинственных чужестранцев. Они попали сюда разными путями и по разным причинам: Гендрик Гудзон², школы живописи, овощные рынки, аист, ежегодный съезд портных, Пенсильванская железная дорога, жажда наживы, сцена, дешевый экскурсионный тариф, мозги, брачная газета, тяжелые ботинки, честолюбие, товарные поезда — все это принимало участие в создании населения Нью-Йорка.

Новсякий, кто впервые ступает на улицы Манхэттена, должен дать бой. Он должен дать бой немедленно и драться до

¹ Вошедшая в поговорку фраза из «Ричарда II» Шекспира.

² Гендрик Гудзон (1576—1611) — английский мореплаватель, открывший реку, впоследствии названную его именем, в устье которой был построен Нью-Йорк.



тех пор, пока либо он, либо его противник не одержит победы. Тут нет отдыха между раундами, потому что никаких раундов нет. Тут сразу пускаются в ход кулаки. Это бой на результат.

Ваш противник — город. Вы должны биться с ним с той минуты, как паром спустил вас на берег, и либо завоевать его, либо стать его рабом. И совершенно все равно, миллион ли у вас в кармане, или только сумма, достаточная для оплаты недельного счета в гостинице.

Бой должен решить, сделались ли вы ньюйоркцем или превратились в последнего из чужеземцев и провинциалов. Другого выбора нет. Остаться нейтральным нельзя. Нужно быть за или против, влюбленным или врагом, закадычным другом или отверженным. И город умеет бороться. Он старается сокрушить вас не только ударами. Он притягивает вас к своему сердцу с коварством сирены. Этот город — комбинация из Далилы, зеленого шартреза, Бетховена, хлоралгидрата и Джона Л.¹ в лучшую его пору.

В других городах вы можете странствовать или жить чужаком сколько вам угодно. Вы можете прожить в Чикаго до глубокой старости и числиться в списках его граждан и все-таки воспеть бобы, если вас вскормил Бостон, и никто вам ничего не скажет. Вы можете стать столпом общества в любом другом городе и издеваться над его зданиями, сравнивая их со старинным домом полковника Телфэра в Джексоне, штат Миссури, где вы родились, и никто вас не тронет. Но в Нью-Йорке вы должны быть или ньюйоркцем, или варваром, вторгшимся в эту современную Троику и прячущимся в деревянном коне своего надутого провинциализма. И все это унылое предисловие было нужно лишь для того, чтобы представить вам двух скромных молодых людей — Уильяма и Джека.

Они вместе приехали с Запада, где были друзьями. Они приехали, чтобы отыскать в этом большом городе свое счастье.

Папаша Никербокер² встретил их на пристани и двинул одного правой рукой в переносицу, а другого левой по скуле, дав им таким образом понять, что бой начался.

Уильяма влекла деловая карьера; Джека — искусство. Оба были молоды и честолюбивы. Они ответили ударом на удар

¹ Джон Л. Салливан, известный боксер.

² Папаша Никербокер — Нью-Йорк, по одной из наиболее известных фамилий первых жителей Нью-Йорка — голландцев.

и сжали кулаки. Кажется, они были из Небраски, а может быть, из Миссури или Миннесоты. Во всяком случае, они жаждали успеха, и борьбы, и денег, и они сцепились с городом, как два Локинвара, вооруженных кастетами и протекцией в городском управлении.

Через четыре года Уильям и Джек встретились за завтраком. Деловой человек ворвался в ресторан, как мартовский ветер, бросил свой цилиндр лакею, упал в пододвинутое ему кресло, схватил меню и заказал все, кроме сыра, прежде чем художник успел кивнуть головой. Глаза художника засветились насмешливой улыбкой.

— Билли,— сказал он,— ты погиб. Город поглотил тебя. Он перекроил тебя на свой образец и поставил на тебе свою печать. Ты так похож на десять тысяч человек, которых я встретил сегодня, что отличить тебя можно только по меткам, которые делают в прачечной на твоём белье.

— ...и камамбер,— закончил Уильям.— В чем дело? А-а, ты все еще громишь Нью-Йорк? Ничего, мне этот старый Шуми-Городок-над-Подземкой очень подходит. Он мне дает то, что мне нужно. Я сам раньше думал, что Запад — это весь мир. Я орал до хрипоты о наших необозримых просторах и издевался над мелкими коммивояжерами с Востока. Но тогда я еще не знал Нью-Йорка, Джек. Я за Нью-Йорк — от подземки до крыш небоскребов. Теперь Запад для меня — Шестая авеню. Ты слышал, кстати, этого малого — Крузо¹? Я бы его сослал, подлеца, на необитаемый остров, да жена заставила меня пойти. Нет, мне подавай Мэри Ирвин и Уилларда².

— Бедный Билли,— сказал художник, закуривая папироску. — Помнишь, как ты, по дороге сюда, говорил об этом великом волшебном городе и как мы собирались покорить его и даже мысли не допускали, чтобы он когда-нибудь взял верх над нами? Мы клялись, что навсегда останемся такими, какие мы есть, и не позволим городу одолеть нас. Город победил тебя, приятель. Ты превратился из мустанга в ломовую лошадь.

— Я не вижу, собственно, в чем дело,— сказал Уильям.— Да, я не ношу теперь в парадных случаях жизни куртку из альпака с голубыми штанами и полосатой жилеткой. Ты говоришь, что город перекроил меня на свой образец. Что ж, образец разве плох? По-моему, все другие так называемые

¹ Певец Карузо.

² Комедийные актеры.

большие города — жалкие полустанки по сравнению с Нью-Йорком. Чикаго, Сент-Джо и Париж (Франция) — просто остановки, помеченные звездочкой. Поезд на них останавливается в неделю раз, и то только если помахать ему флажком. Я полюбил этот городишко, эту Стоп-Машину-на-Гудзоне. Тут ничего никогда не стоит на месте. Я зарабатываю восемь тысяч долларов продажей автоматических насосов и живу, как принц. Вчера, например, меня познакомили с Джоном Гейтсом¹. Я катался на автомобиле с сестрой одного комиссионера по винной части. Я видел, как трамвай переехал двух человек, а вечером смотрел в театре Эдну Мэй. Толкуй о Западе. Я тут недавно ночью разбудил криком весь дом. Мне приснилось, что я иду по деревянному тротуару в Ошкоше. Что ты имеешь против этого города, Джек? Мне в нем только одна вещь не нравится — это паром.

Художник мечтательно смотрел на обои.

— Этот город — вампир, — сказал он. — Вампир, сосущий кровь страны. Если хочешь, это даже не вампир, а кровожадный идол, Молох, чудовище, которому красота, невинность и гений страны платят дань. Приезжая сюда, все мы принимаем вызов на поединок. Каждого новичка ждет схватка с этим Левиафаном. Ты погиб, Билли, а меня он не победит никогда. Я ненавижу его, как можно ненавидеть только грех, или заразу, или... работу иллюстратора в десятицентовых журналах. Я презираю самое его величие и могущество. Ни в каком другом городе я не видел таких бедных миллионеров, таких мелких великих людей, таких надменных нищих, таких пошлых красавиц, таких низких небоскребов, таких скучных развлечений. Тебя он поймал, старина, я же никогда не побегу за его колесницей. Он покрыт глянцем, как воротничок из китайской прачечной. Я мог бы примириться с городом, которым правит богатство, с городом, которым правит аристократия, но здесь у власти стоят самые темные, гнусные элементы. Эта грубость, претендующая на высокую культуру; эта низость, утверждающая свое могущество; эта узость, отрицающая все чужие ценности и добродетели! Дай мне чистый воздух и открытое сердце Запада: если бы я мог, я бы завтра же туда уехал.

— Тебе не нравится этот филе-миньон? — сказал Уильям. — Брось, что толку в том, что ты ругаешь город? Город от-

¹ Джон Гейтс — биржевой спекулянт, богач.

личный. От Гаррисбурга до салуна Томми О'Кифа в Сакраменто я нигде не мог бы продать ни одного автоматического насоса, а здесь я их продаю по двадцать штук в день. Ты видел Сару Бернар в «Андрю Make»¹?

— Город погубил тебя, Билли,— сказал Джек.

— Ладно,— сказал Уильям.— В будущем году я покупаю себе домик на озере Ронконкома.

В полночь Джек открыл в своей комнате окно и подсел к нему. От того, что он увидел, у него захватило дыхание, хотя он видел все это уже много раз.

Далеко внизу лежал город — фантастический пурпурный сон. Неравной высоты и формы дома были, как изломанные очертания скал, окаймляющих глубокие и капризные потоки. Одни напоминали горы, другие выстроились длинными, ровными рядами, как базальтовые стены пустынных каньонов. Таков был фон чудесного, жестокого, ошеломляющего, волшебного, рокового, великого города. Но в этот фон были врезаны мириады блестящих параллелограммов, и кругов, и квадратов, через которые струился свет разных цветов. И из этой пурпурной и фиолетовой глубины возникали, как душа города, звуки, и запахи, и трепеты, из которых слагается его жизнь. Поднималось дыхание необузданного веселья, любви, ненависти и всех страстей, какие ведомы человеку. Там, внизу, лежало все доброе и все злое, что можно собрать с четырех концов земли, чтобы просветить, обрadowать, увлечь, обогатить, отнять последнее, возвысить, бросить в грязь, насытить или убить. Так аромат и вкус города поднялся к Джеку и проник в его кровь.

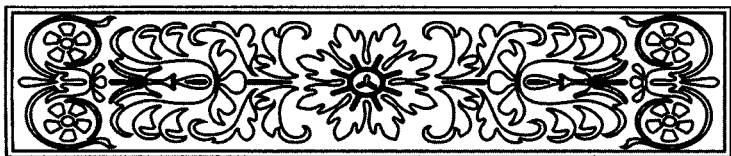
Раздался стук в дверь. Джеку принесли телеграмму. Она пришла с Запада, и текст ее гласил: «Возвращайся домой, я согласна. Долли».

Он заставил мальчика подождать десять минут, а потом написал ответ: «Сейчас приехать не могу». Потом он опять сел у окна, и город снова поднес к его устам чашу мандрагоры.

В общем, это даже не рассказ; но мне захотелось узнать, который из моих героев победил в борьбе с городом. А поэтому я пошел к одному очень ученому своему другу и изложил ему обстоятельства этого дела. Вот что он сказал: «Не надоедайте мне, пожалуйста. Мне надо идти покупать рождественские подарки».

Тем дело и кончилось; и вам уж придется решать самим.

¹ В роли Андромахи.



«КОМУ ЧТО НУЖНО»

Ночь опустилась на большой, красивый город, что зовется Багдад-над-Подземкой, и на крыльях ночи слетели на него колдовские чары, которые не составляют монополии одной только Аравии. Улицы, базары и обнесенные стенами дома этого западного аванпоста романтики населял — хотя и в другом обличье — не менее занятный люд, чем тот, что весьма занимал когда-то нашего старинного приятеля Г. А. Рашида. Одежды носили уже не те, какие видел покойный Г. А. на улицах Багдада, а ровно на одиннадцать столетий ближе к последнему крику моды, но люди-то под одеждой почти не изменились. Поглядите вокруг оком веры, и на каждом углу вам может встретиться и Маленький Горбун, и Синдбад-Мореход, и Мешковат Портной, и Прекрасный Персианин, и Одноглазые Дервиши, и Али-Баба с Сорока Разбойниками, не говоря уже о Цирюльнике и его Шести Братях,— словом, вся как есть старая арапская шайка.

Но вернемся к нашим бараньим котлетам.

Старый Том Кроули был калиф. Он владел сорока двумя миллионами долларов в самых солидных, привилегированных акциях. В наши дни, чтобы называться калифом, нужно иметь деньги. Калифствовать по старинке, как мистер Рашид, теперь небезопасно. Попробуйте-ка пристать к какому-нибудь обывателю на базаре, или в турецкой бане, или просто в переулке и начать дознаваться о состоянии его личных дел! И охнуть не успеете, как уже будете стоять перед полицейским судом.

Старому Тому осточертели театры, клубы, обеды, приятели, музыка, деньги и вообще все на свете. Так и создаются калифы: вы должны почувствовать отвращение ко всему, что можно купить за деньги, выйти на улицу и постараться пожелать чего-нибудь такого, что не продается и не покупается.

«Пойду-ка я прогуляюсь один по городу,— подумал старина Том. — Погляжу, не удастся ли откопать что-нибудь но-



венькое. Стоп! Я, кажется, читал, что в стародавние времена какой-то король, или великан Кардифф, или еще кто-то в этом роде имел привычку расхаживать по улицам, нацепив фальшивую бороду, и заговаривать на восточный манер с людьми, которым он не был представлен. Тоже неплохая идея. Знакомые-то все надоели до смерти, хандра от них заела. Старый Кардифф, помнится, норовил выбирать тех, кто попал в беду. Как нарвется на таких, сейчас даст им золота — цехины, что ли, — и заставит пожениться или сунет на тепленькое местечко в каком-нибудь департаменте. Вот бы и мне надо что-нибудь такое отмочить. Мои деньги ничуть не хуже, чем его, хотя журналы и допытываются из месяца в месяц, как да откуда я их добываю. Да, надо будет сегодня же вечером провести эту кардиффскую операцию. Посмотрим, что получится».

Одевшись попроще, старый Том Кроули покинул свой дворец на Мэдисон-авеню и взял курс на запад, а потом свернул к югу. В ту минуту, когда его нога ступила на тротуар, Судьба, которая держит в руках все нити и управляет из своей главной конторы жизнью очарованных городов, потянула за какой-то кончик, и в двадцати кварталах от старого Тома некий молодой человек глянул на стенные часы и надел пиджак.

Джеймс Тэрнер работал в одном из тех маленьких предприятий на Шестой авеню, где колокольчик поднимает отчаянный трезвон, когда вы отворяете дверь, и где чистят шляпы «в присутствии заказчика»... двое суток Джеймс целый день стоял у электрической машины, которая кружила головные уборы быстрее, чем лучшее шампанское кружит головы. Снисходя к проявленному вами неуместному любопытству в отношении наружности незнакомого вам человека, мы позволим себе описать его в общих чертах: вес — сто восемнадцать фунтов; цвет лица и волос — светлый; рост — пять футов шесть дюймов; возраст — около двадцати трех лет; одет в десятидолларовый костюм из зеленовато-голубой саржи; содержимое карманов — два ключа и шестьдесят три цента мелкой монетой.

Воздержитесь от поспешных выводов, если описание это смахивает на полицейский протокол, — Джеймс Тэрнер жив и не пропал без вести.

Allons!

Джеймс Тэрнер целый день работал стоя. У него были чрезвычайно чувствительные ноги — болезненно чувстви-

тельные ко всякому давлению на них извне. День-деньской они ныли и горели, причиняя ему великие страдания и неудобства. Но работа приносила Джеймсу двенадцать долларов в неделю, которые были ему необходимы, чтобы держаться на ногах, даже если ноги отказывались его держать.

У Джеймса Тэрнера было свое представление о счастье — совершенно так же, как у вас или у меня. По-вашему, нет ничего лучше, как носиться по свету на яхте или в автомобиле и швыряться дукатами в разные заморские диковинки. А я люблю посидеть в сумерках с трубочкой и поглядеть, как засыпают прерии и всякая нечисть отправляется помаленьку на покой.

Для Джеймса Тэрнера высшее блаженство заключалось в другом, и он был в этом совершенно самобытен. По окончании работы он шел домой — в меблированные комнаты с табльдотом. Поужинав скромным бифштексом, обугленным картофелем, печеным яблоком и цикорным кофе, он поднимался в свою угловую комнату на пятом этаже окнами во двор. Там, стащив с ног башмаки и носки, Джеймс Тэрнер растягивался на кровати, прижимал свои горящие ступни к ее холодным железным прутьям и уходил с головой в морские небылицы Кларка Рассела. В блаженном прикосновении прохладного металла к многострадальным ступням Джеймс Тэрнер находил свою ежевечернюю отраду. Любимые морские истории, фантастические приключения отважных мореходов никогда не приедались ему. Они были его единственной духовной страстью. Ни один миллионер никогда не чувствовал себя таким счастливым, как Джеймс Тэрнер, расположившийся отдохнуть.

Выйдя из мастерской, Джеймс Тэрнер не пошел на этот раз прямо домой, а уклонился в сторону на три квартала, чтобы порыться в старых книгах, которыми торгуют на тротуарах с лотков. Ему не раз удавалось раздобыть там за полцены какой-нибудь роман Кларка Рассела в бумажной обложке.

Когда он стоял, склонившись с ученым видом над пестрой грудой макулатуры, старый Том Кроули, калиф, как раз проходил мимо. Его зоркий взгляд, обогащенный двадцатилетним опытом производства стирального мыла (сохраните обертки!), сразу распознал в этом бедном, но взыскательном ученом достойный объект для своего калифского эксперимента. Спустившись по двум плоским каменным

ступеням тротуара, он не мешкая обратился к намеченной им жертве своих будущих благодеяний. Начал он, как водится, с приветствия — просто чтобы нащупать почву.

Джеймс Тэрнер, зажав в одной руке «Sartor Resartus»¹, а в другой «Безумный брак», холодно поглядел на незнакомца.

— Проваливай,— сказал он.— Я не покупаю пиджачных вешалок и земельных участков в городе Хэнкипу, штат Нью-Джерси. Беги, старичок, поиграй со своим плюшевым медведем.

— Молодой человек, — сказал калиф, пропустив мимо ушей дерзкий ответ чистильщика шляп.— Я замечаю в вас склонность к кабинетным занятиям. Ученость — превосходная штука. Мне самому не пришлось ее набраться — я родом с Запада, там у нас одни голые факты,— но в других я образованность ценю. И хоть не очень-то я разбираюсь в поэзии и разных там иносказаниях, на которые вы тут нацелились, но мне нравится, когда кто-то думает, что он в состоянии понять, что все это значит, Короче, я хочу сделать вам предложение, Я стою сейчас около сорока миллионов долларов и с каждым днем становлюсь богаче. Я сколотил эту кучу денег на Серебристом Мыле Тетушки Пэгги. Это мое собственное изобретение. Три года пробовал так и этак, а потом взял как раз хорошую пропорцию хлористого натрия, каустика и поташа, сварил и получил то, что надо. На этом мыле я набрал миллионов девять, а остальное добрал на видах на урожай. Вы, я вижу, тяготеете к литературе и наукам. Так вот слушайте, что я надумал. Я оплачу ваше обучение в каком-нибудь самом первоклассном колледже. Потом вы поедете шататься по Европе и картинным галереям, и это я тоже оплачу. После чего я дам вам в руки какое-нибудь доходное дело. Не обязательно варить мыло, если вам это не по душе. Ваш костюм и эти махры, заменяющие галстук, говорят о том, что вы порядком нуждаетесь и не в ваших возможностях отклонить такое предложение. Итак, когда мы начнем?

Чистильщик шляп посмотрел на старого Тома, и тот увидел взгляд Большого Города: холодное и обоснованное подозрение читалось в этом взгляде, вызов, самозащита, любопытство, приговор (еще не окончательный, но суровый),

¹ «Перекроенный портной» (*лат.*) — философско-публицистическое сочинение Томаса Карлейля.

цинизм, издевка и — как ни странно — детская тоска по теплomu участию, которую нужно скрывать, когда живешь среди «чужих банд». Ибо в Новом Багдаде, чтобы спасти свою шкуру, нужно остерегаться каждого, кто находится на соседней скамейке, рядом за стойкой, в комнате за стеной, в доме напротив, на ближайшем перекрестке или вон в том кебе — словом, всех, кто сидит, пьет, спит, живет, гуляет или проезжает мимо.

— Послушайте, приятель, — сказал Джеймс Тэрнер, — вы по какой части работаете, что-то я не пойму? Шнурки для ботинок? Мне не нужен этот товар. Ну-ка берите ноги в руки да катитесь отсюда, пока целы. Если вам надо сбыть партию автоматических ручек или очки в золотой оправе, которые вы подобрали на улице, или, может, пачку сертификатов — так не на того напали. Разве я, по-вашему, похож на человека, который сбежал из сумасшедшего дома по воображаемой пожарной лестнице? С чего это вас так разобрало?

— Сын мой, — произнес калиф на самых гарун-аль-рашидских нотах, — у меня, как я уже сказал, сорок миллионов долларов. Мне не интересно тащить их с собой в могилу. Мне хочется сделать какое-нибудь доброе дело. Я видел, как вы рылись в этих литературных писаниях, и решил вас поддержать. Я пожертвовал миссионерским обществам два миллиона долларов, а что я от этого имею? Расписку секретаря? Вы, молодой человек, как раз то, что мне надо. Я хочу заняться вами и поглядеть, что можно из вас сделать с помощью денег.

Кларк Рассел в тот вечер что-то не попался, и ноги Джеймса Тэрнера горели, как в огне, а от этого, прямо скажем, не подобреешь. Джеймс Тэрнер был простым чистильщиком шляп, но независимостью характера мог поспорить с любым калифом.

— Ну ты, старый пройдоха, — сказал он в сердцах, — топай отсюда! Я не знаю, чего ты добиваешься — разменять свою фальшивую кредитку в сорок миллионов? Так я не ношу с собой таких денег. А вот короткий левый в правую скулу у меня всегда при себе, и ты его заработаешь в два счета, если не разведешь пары.

— Ах ты, нахальный, паршивый уличный щенок! — сказал калиф.

Джеймс Тэрнер отвесил свой короткий левый. Старина Том ухватил его за шиворот и трижды лягнул в зад; чистиль-



шик шляп извернулся и вошел в клинч; два лотка опрокинулись, и книги разлетелись по мостовой. Появился фараон и поволок обоих в участок.

— Драка и бесчинство,— доложил он сержанту полиции.

— На поруки — залог триста долларов,— мгновенно изрек сержант в утвердительно-вопросительной форме.

— Шестьдесят три цента,— сердито фыркнул Джеймс Тэрнер.

Калиф порылся в карманах и наскреб доллара на четыре бумажек и мелочи.

— Я стою,— сказал он,— сорок миллионов долларов, но...

— Запри их обоих,— распорядился сержант.

В камере Джеймс Тэрнер прилег на койку и задумался.

«Может, у него и вправду столько денег, а может, и врет. Да все одно — есть ли они у него, нет ли,— чего он сует свой нос в чужие дела? Когда человек знает, что ему нужно, и умеет своего добиться, так чем, спрашивается, это хуже сорока миллионов?»

Тут Джеймса Тэрнера осенила счастливая мысль, и лицо его просветлело.

Он разулся, пододвинул койку поближе к двери, растянулся со всем комфортом и прижал ноющие ступни к холодным железным прутьям решетки. Что-то твердое впилось ему в лопатку, причиняя неудобство. Он сунул руку под одеяло и вытащил оттуда роман Кларка Рассела «Возлюбленная моряка» в бумажной обложке. Джеймс Тэрнер удовлетворенно вздохнул.

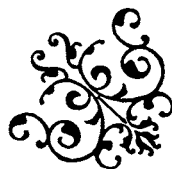
К решетке подошел сторож и сказал:

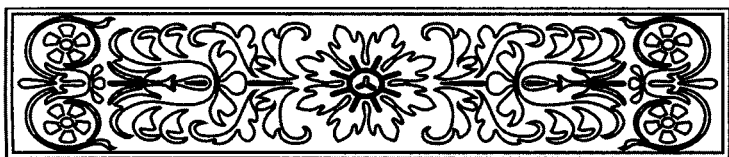
— Слышь, парнишка, а ведь старый-то осел, которого забрали вместе с тобой за потасовку, и впрямь, оказывается, миллионер. Он позвонил своим друзьям и сидит сейчас в канцелярии с целой пачкой кредиток толщиной в подушку спального вагона. Ждет тебя — хочет взять на поруки.

— Скажите ему, что меня нет дома,— ответил Джеймс Тэрнер.



КОЛОВРАЩЕНИЕ





ДВЕРЬ И МИР


У авторов, желающих привлечь внимание публики, имеется излюбленный прием: сначала читателя уверяют, что все в рассказе — истинная правда, а затем прибавляют, что истина неправдоподобнее всякой выдумки. Я не знаю, истинна ли история, которую мне хочется вам рассказать, хотя суперкарго-испанец с фруктового парохода «Эль Карреро» клялся мощами святой Гваделупы, что все факты были сообщены ему вице-консулом Соединенных Штатов в Ла-Пасе — человеком, которому вряд ли могла быть известна и половина их.

А теперь я не без удовольствия опровергну вышеприведенный афоризм, клятвенно заверив вас, что совсем недавно мне довелось прочесть в заведомо выдуманном рассказе следующую фразу: «Да будет так, — сказал полисмен». Истина еще не породила ничего, столь невероятного.

Когда Х. Фергюсон Хеджес, миллионер, предприниматель, биржевик и нью-йоркский бездельник, решил повеселиться и весть об этом разносилась «по линии», вышибалы подбирали дубинки потяжелее, официанты ставили на его любимые столики небьющийся фарфор, кебмены скоплялись перед ночными кафе, а предусмотрительные кассиры злачных мест, завсегдаем которых он был, спешили занести на его счет несколько бутылок в качестве предисловия и введения.

В городе, где буфетчик, отпускающий вам «бесплатную закуску», ездит на работу в собственном автомобиле, обладатель одного миллиона не числится среди финансовых воротил. Но Хеджес тратил свои деньги так щедро, с таким размахом и блеском, как будто он был клерком, проматывающим недельное жалованье. В конце концов, какое дело трактирщику до ваших капиталов? Его интересует ваш счет в баре, а не в банке.

В тот вечер, с которого начинается констатация фактов, Хеджес развлекался в теплой компании пяти-шести друзей и знакомых, собравшихся в его кильватере.



Самыми молодыми в этой компании были маклер Ральф Мэррием и его друг Уэйд.

Зафрахтовали два кеба дальнего плавания; на площади Колумба легли в дрейф и долго поносили великого мореплавателя, непатриотично упрекая его за то, что он открывал континенты, а не пивные. К полуночи ошвартовались где-то в труппобах, в задней комнате дешевого кафе.

Пьяный Хеджес вел себя надменно, грубо и придиричливо. Плотный и крепкий, седой, но еще полный сил, он готов был дебоширить хоть до утра. Пospорили — по пустякам, — обменялись пятипальными словами, словами, заменяющими перчатку перед поединком. Мэррием играл роль Готспура¹.

Хеджес вскочил, схватил стул, размахнулся и яростно швырнул его в голову Мэрриема. Мэррием увернулся, выхватил маленький револьвер и выстрелил Хеджесу в грудь. Главный кугила пошатнулся, упал и бесформенной кучей застыл на полу.

Уэйд, ежедневно ездивший на пригородных поездах в Нью-Йорк и обратно домой, умел действовать быстро. Он вытолкнул Мэрриема в боковую дверь, завел его за угол, протаскил бегом через квартал и нанял кеб. Они ехали минут пять, потом сошли на темном углу и расплатились. Напротив лихорадочным гостеприимством блестяли огни кабачка.

— Иди туда, в заднюю комнату, — сказал Уэйд, — и жди. Я схожу узнать, как дела. До моего возвращения можешь выпить, но не больше двух стаканов.

Без десяти час Уэйд вернулся.

— Крепись, старина, — сказал он. — Как раз, когда я подошел, подъехала карета скорой помощи. Доктор говорит — умер. Пожалуй, выпей еще стакан. Предоставь все дело мне. Тебе надо исчезнуть. По-моему, стул юридически не считается оружием, опасным для жизни. Придется наострить лыжи, другого выхода нет.

Мэррием раздраженно пожаловался на холод и заказал еще стакан.

— Ты замечал, как у него на руках жилы вздуваются? Не выношу... Не...

¹ Прозвище сэра Генриха Перси, забияки и задиры, в драме Шекспира «Генрих IV».

— Выпей еще, и пошли,— оказал Уэйд.— Я все устрою, можешь на меня положиться.


Уэйд сдержал слово: уже в одиннадцать часов следующего утра Мэррием с новым чемоданом, набитым новым бельем и щетками для волос, не привлекая ничьего внимания, прошел по одной из пристаней Восточной реки и поднялся на борт пятисоттонного фруктового пароходика, который только что доставил первый в сезоне груз апельсинов из порта Лимон и теперь возвращался обратно. В кармане у Мэрриема лежали его сбережения — две тысячи восьмьсот долларов крупными банкнотами, а в ушах звучало наставление Уэйда — оставить как можно больше воды между собой и Нью-Йорком. Больше ни на что времени не хватило.

Из порта Лимон Мэррием, направляясь вдоль побережья к югу сначала на шхуне, а затем на шлюпе, добрался до Колона. Оттуда он переправился через перешеек в Панаму, где устроился пассажиром на грузовое судно, шедшее курсом в Кальяо с остановками во всех портах, какие могли привлечь внимание шкипера.

Мэррием решил высадиться в Ла-Пасе, в Ла-Пасе Прекрасном, маленьком городке без порта, полузадушенном буйной зеленой лентой, окаймляющей подножие уходящей в облака горы. Там пароходик застопорил машины, и капитан в шлюпке отправился на берег пощупать пульс кокосового рынка. Захватив чемодан, Мэррием поехал с ним и остался в Ла-Пасе.

Кальб, вице-консул, гражданин Соединенных Штатов греко-армянского происхождения, родившийся в Гессен-Дармштадте и вскормленный в избирательных участках Цинциннати, считал всех американцев своими кровными братьями и личными банкирами. Он вцепился в Мэрриема, перезнакомил его со всеми обутыми обитателями Ла-Паса, занял десять долларов и вернулся в свой гамак.

На опушке банановой рощи расположилась деревянная гостиница с видом на море, приспособленная к вкусам тех немногих иностранцев, которые ушли из мира в этот перуанский городишко. Под выкрики Кальба «Познакомьтесь с...» Мэррием покорно обменялся рукопожатиями с доктором-немцем, торговцем-французом, двумя торговцами-итальянцами и тремя или четырьмя янки, которых здесь называли «каучуковыми» людьми, «золотыми», «кокосовыми» — только не людьми из плоти и крови.



После обеда Мэррием, устроившись в углу широкой веранды, курил и пил шотландское виски с Биббом, вермонтцем, поставившим гидравлическое оборудование на рудники. Залитое лунным светом море уходило в бесконечность, и Мэрриему казалось, что оно навсегда легло между ним и его прошлым. Впервые с того момента, как он, несчастный беглец, прокрался на пароход, он мог без мучительной боли подумать об отвратительной трагедии, в которой сыграл столь роковую роль. Расстояние послужило ему целительным бальзамом. А Бибб тем временем открыл шлюзы давно сдерживаемого красноречия. Возможность изложить свежему слушателю свои всем давно надоевшие взгляды и теории приводила его в восторг.

— Еще год,— заявил Бибб,— и я отправлюсь домой, в Штаты. Здесь, конечно, очень мило, и *dolce far niente*¹ в неограниченном количестве, но белому человеку в этом краю долго не прожить. Нашему брату нужно и в снегу иногда застрять, и на бейсбол посмотреть, и крахмальный воротничок надеть, и ругань полисмена послушать. Хотя и Ла-Пас — неплохое местечко для послеобеденного отдыха. Кроме того, тут есть миссис Конант. Чуть только кто-нибудь из нас всерьез захочет угощаться, он мчится к ней в гости и делает предложение. Получить отказ от миссис Конант приятнее, чем угонуть, а говорят, что человек, когда тонет, испытывает восхитительное ощущение.


— И много здесь таких, как она? — осведомился Мэррием.

— Ни одной,— блаженно вздохнул Бибб.— Это единственная белая женщина в Ла-Пасе. Масть остальных колеблется от серой в яблоках до клавиши си бемоль. Она здесь год. Приехала из... ну знаете эту женскую манеру. Просишь их сказать «бечевка», а в ответ слышишь «силки» или «прыгалки». Сегодня думаешь, что она из Ошкоша, или из Джек-сонвилля, штат Флорида, а завтра — что с мыса Код.

— Тайна? — рискнул Мэррием.

— Мм... возможно, хотя говорит она достаточно ясно. Но таковы женщины. По-моему, если сфинкс заговорит, то звучать это будет примерно так: «Боже мой, к обеду опять гости, а на стол подать нечего, кроме песка». Но вы забудете об этом, Мэррием, когда познакомитесь с ней. Вы ей тоже сделаете предложение.

¹ Приятное безделье (*ит.*).



И действительно, Мэррием познакомился с ней и сделал ей предложение. Он увидел женщину в черном, чьи волосы отливали бронзой, как крыло индейки, а загадочные помнящие глаза могли принадлежать... ну, хотя бы акушерке, наблюдавшей за сотворением Евы. Однако ее слова и манеры были ясны, как выразился Бибб. Она говорила — несколько неопределенно — о друзьях в Калифорнии, а также в южных округах Луизианы. Ей нравится здешний тропический климат и неторопливая жизнь; она подумывает о покупке апельсиновой рощи; короче говоря, она очарована Ла-Пасом.

Мэррием ухаживал за Сфинксом три месяца, хотя ему и в голову не приходило, что он ухаживает. Миссис Конант служила ему лекарством от угрызений совести, и он слишком поздно заметил, что без этого лекарства не может жить. Все это время Мэррием не получал из Нью-Йорка никаких известий. Уэйд не знал, что он в Ла-Пасе, а он не помнил точного адреса Уэйда и боялся писать. Он пришел к заключению, что пока ничего предпринимать не следует.


Однажды они с миссис Конант наняли лошадей и отправились на прогулку в горы. У ледяной речки, стремглав несущейся с гор, они остановились напиться, и тут Мэррием заговорил: как и предсказал Бибб, он сделал предложение.

Миссис Конант поглядела на него с пылкой нежностью, но затем ее лицо выразило такую муку, что Мэррием мгновенно отрезвел.

— Простите меня, Флоренс,— сказал он, выпуская ее руку,— но я должен взять назад часть того, что сказал. Само собой, я не могу просить вас выйти за меня замуж. Я убил человека в Нью-Йорке — моего друга; в беспамятстве застрелил его, как трус. Я был пьян, но это, безусловно, не оправдание. Я не мог больше молчать и никогда не откажусь от своих слов. Я скрываюсь здесь от правосудия — и, полагаю, на этом наше знакомство кончается.

Миссис Конант старательно обрывала листья с нависшей ветки лимонного дерева.

— Полагаю, что так,— произнесла она тихим, странно прерывистым голосом,— но это зависит от вас. Я буду так же честна, как и вы. Я отравила моего мужа. Я сама сделала себя вдовой. Нельзя любить отравительницу. Так что, полагаю, на этом наше знакомство кончается.



Она медленно подняла глаза. Мэррием был бледен и ту-по глядел на нее, как глухонемой, который не понимает, что происходит вокруг.

Вспыхнув, она быстро шагнула к нему.

— Не смотрите на меня так! — вскрикнула она, словно от невыносимой боли. — Прокляните меня, отвернитесь от меня, только не смотрите так! Он бил меня — меня! Если бы я могла показать вам рубцы — на плечах, на спине, а с тех пор прошло уже больше года, — следы его зверской ярости. Святая и та убила бы его. Да, я его отравила. Каждую ночь в ушах у меня звучит та грязная, гнусная ругань, которой он осыпал меня в последний день. А потом — побои, и мое терпение кончилось. В тот день я купила яд. Каждый вечер перед сном он пил в библиотеке горячий ромовый пунш. Только из моих прекрасных рук соглашался он принять стакан — потому что знал, что я не выношу запаха спиртного. В этот вечер, когда горничная принесла мне пунш, я отослала ее вниз с каким-то поручением. Перед тем как идти к мужу, я подошла к моей личной аптечке и влила в стакан чайную ложку настойки аконита. Этого, как я узнала, было бы достаточно, чтобы убить троих. Еще утром я забрала из банка свои шесть тысяч долларов. Я взяла эти деньги и саквояж и незаметно ушла из дому. Проходя мимо библиотеки, я услышала, как он с трудом поднялся и тяжело упал на диван. Ночным поездом я уехала в Новый Орлеан, а оттуда отплыла на Бермуды. В конце концов я бросила якорь в Ла-Пасе. Ну, что вы теперь скажете? Или вам нечего сказать?

Мэррием очнулся.

— Флоренс,— произнес он торжественно,— вы нужны мне. Мне все равно, что вы сделали. Если мир...

— Ральф,— прервала она рыдающим голосом,— будь моим миром!

Лед в глазах ее растаял, она вся чудесно преобразилась и качнулась к Мэрриему так неожиданно, что ему пришлось прыгнуть, чтобы подхватить ее.

Боже мой! Почему в подобных ситуациях всегда выражаются так высокопарно? Но что поделаешь! Всех нас подсознательно влечет свет рампы. Всколыхните душевные глубины вашей кухарки, и она разразится тирадой во вкусе Бульвер-Литтона.

Мэррием и миссис Конант были очень счастливы. Он объявил о своей помолвке в отеле «Orilla del Mar»¹. Восемь иностранцев и четверо туземных Асторов похлопали его по спине и прокричали неискренние поздравления. Педрито, бармен с манерами кастильского гранда, настолько оживился под градом заказов, что его подвижность заставила бы бостонского продавца фруктовых вод полиловеть от зависти.

Они оба были очень счастливы. Тени, омрачавшие их прошлое, при сложении не только не стали гуще, но, наоборот, согласно странной арифметике бога родственных душ, наполовину рассеялись. Они заперли дверь на засов, оставив мир снаружи. Каждый стал миром другого. Миссис Конант снова начала жить. «Помнящее» выражение исчезло из ее глаз. Мэррием старался проводить с ней как можно больше времени. На маленькой лужайке, под сенью пальм и тыквенных деревьев, они собирались построить волшебное бунгало. Они должны были пожениться через два месяца. Много часов они проводили вместе, склонившись над планами дома. Их объединенные капиталы, вложенные в экспорт фруктов или леса, обеспечат приличный доход. «Покойной ночи, мир мой», — каждый вечер говорила миссис Конант, когда Мэрриему пора было возвращаться в отель. Они были очень счастливы. Волей судеб их любовь приобрела тот оттенок грусти, который, по-видимому, необходим, чтобы сделать чувство поистине возвышенным. И казалось, что их общее великое несчастье — или грех — связало их нерушимо.

Однажды на горизонте замаячил пароход. Весь босоногий, полуголый Ла-Пас высыпал на берег: прибытие парохода заменяло здесь Кони-Айленд, цирк, день Свободы и светский прием.

Когда пароход приблизился, люди сведущие объявили, что это «Пахаро», идущий из Кальяо на север, в Панаму.

«Пахаро» затормозил в миле от берега. Вскоре по волнам запрыгала шлюпка. Мэррием лениво спустился к морю посмотреть на суету. На отмели матросы-карибы выскочили в воду и дружным рывком выволокли шлюпку на прибрежную гальку. Из шлюпки вылезли суперкарго, капитан и два пассажира и побрели к отелю, утопая в песке. Мэррием посмотрел на приезжих с тем легким любопытством, которое вызывало здесь всякое новое лицо. Походка одного из пас-

¹ Берег моря (*исп.*).

сажиров показалась ему знакомой. Он поглядел снова, и кровь клубничным мороженым застыла в его жилах. Толстый, наглый, добродушный, как и прежде, к нему приблизился Х. Фергюсон Хеджес, человек, которого он убил.

Когда Хеджес увидел Мэрриема, лицо его побагровело. Потом он завопил с прежней фамильярностью:

— Здорово, Мэррием! Рад тебя видеть. Вот уж не ожидал встретить тебя здесь. Куинби, это мой старый друг Мэррием из Нью-Йорка. Знакомьесь.

Мэррием протянул Хеджесу, а затем Куинби похолодевшую руку.

— Брр! — сказал Хеджес. — И ледяная же у тебя лапа! Да ты болен! Ты желт, как китаец. Малярийное местечко? А ну-ка доставь нас в бар, если они здесь водятся, и займемся профилактикой.

Мэррием, все еще в полуобморочном состоянии, повел их к отелю «Orilla del Mar».

— Мы с Куинби, — объяснил Хеджес, пыхтя по песку, — ищем на побережье, куда бы вложить деньги. Мы побывали в Консепсьоне, в Вальпараисо и Аиме. Капитан этой посудины говорит, что здесь можно заняться серебряными рудниками. Вот мы и слезли. Так где же твое кафе, Мэррием? А, в этой портативной будочке?

Доставив Куинби в бар, Хеджес отвел Мэрриема в сторону.


— Что с тобой? — сказал он с грубоватой сердечностью. — Ты что, дуешься из-за этой дурацкой ссоры?

— Я думал, — пробормотал Мэррием, — я слышал... мне сказали, что вы... что я...

— Ну, и я — нет, и ты — нет, — сказал Хеджес. — Этот молокосос из скорой помощи объявил Уэйдю, что мне крышка, потому что мне надоело дышать и я решил отдохнуть немножко. Пришлось поваляться месяц в частной больнице, и вот я здесь и на здоровье не жалуюсь. Мы с Уэйдом пытались тебя найти, но не могли. Ну-ка, Мэррием, давай лапу и забудь про это. Я сам виноват не меньше тебя, а пуля мне пошла только на пользу: из больницы я вышел крепким, как ломовая лошадь. Пошли, нам давно налили.

— Старина, — начал Мэррием растерянно, — как мне благодарить тебя? Я... Но...

— Брось, пожалуйста! — загремел Хеджес. — Куинби померет от жажды, пока мы тут разговариваем.



Было одиннадцать часов. Бибб сидел в тени на веранде, ожидая завтрака. Вскоре из бара вышел Мэррием. Его глаза странно блестели.

— Бибб, дружище, — сказал он, медленно обводя рукой горизонт. — Ты видишь эти горы, и море, и небо, и солнце — все мое, Бибси, все мое.

— Иди к себе, — сказал Бибб, — и прими восемь гран хинина. В здешнем климате человеку не годится воображать себя Рокфеллером или Джеймсом О'Нилом¹.

В отеле суперкарго развязывал пачку старых газет, которые «Пахаро» собрал в южных портах для раздачи на случайных стоянках. Вот так мореплаватели благодетельствуют пленников моря и гор, доставляя им новости и развлечения.

Дядюшка Панчо, хозяин гостиницы, оседлав свой нос громадными серебряными anteojos², раскладывал газеты на меньшие кучки. В комнату влетел muchacho, добровольный кандидат на роль рассыльного.

— Bien venido³, — сказал дядюшка Панчо. — Это — для сеньоры Конант; это — для эль доктор С-с-шлегель. Dios! Что за фамилия! Это — сеньору Дэвису, а эта — для дона Альберта. Эти две — в Casa de Huespedes, numero 6, en la calle de las Buenas Gracias⁴. И скажи всем, muchacho, что «Пахаро» отплывает в Панаму сегодня в три. Кто хочет писать письма, пусть поторопится, чтобы они успели пройти через correo⁵.

Миссис Конант получила предназначенную ей пачку в четыре часа. Доставка запоздала, ибо мальчик был соврещен с пути долга встречной игуаной, за которой он немедленно погнался. Но для миссис Конант эта задержка не играла никакой роли — она не собиралась писать письма.

Она лениво покачивалась в гамаке в патио, сонно мечтая о рае, который ей и Мэрриему удалось создать из обломков прошлого. И пусть горизонт, замкнувший это мерцающее море, замкнет и ее жизнь. Они закрыли дверь, оставив мир снаружи.


¹ Американский актер, особенно прославившийся в роли графа Монте-Кристо.

² Очки (*исп.*).

³ Добрый день (*исп.*).

⁴ В гостиницу, на улице Буэнос Грациас, номер шесть (*исп.*).

⁵ Почта (*исп.*).



Мэррием пообедаст в отеле и придет в семь часов. Она наденет белое платье, накинет кружевную мантилью абрикосового цвета, и они будут гулять у лагуны под кокосовыми пальмами. Она удовлетворенно улыбнулась и наугад вытащила газету из пачки, принесенной мальчиком.

Сперва слова одного из заголовков воскресной газеты не произвели на нее никакого впечатления, они только показались ей смутно знакомыми. Крупным шрифтом было напечатано: «Ллойд Б. Конант добился развода». Затем более мелко — подзаголовки: «Известный фабрикант красок из Сент-Луиса выигрывает процесс, ссылаясь на отсутствие жены в течение года». «Обстоятельства ее таинственного исчезновения». «С тех пор о ней ничего не известно».

Миссис Конант мгновенно вывернулась из гамака и быстро пробежала глазами заметку в полстолбца, которая заканчивалась следующим образом: «Как помнят читатели, миссис Конант исчезла однажды вечером, в марте прошлого года. Ходили слухи, что ее брак с Ллойдом Б. Конантом был очень несчастлив. Утверждали даже, что его жестокость по отношению к жене неоднократно приобретала формы оскорбления действием. После отъезда миссис К. в ее спальне в маленькой аптечке был обнаружен пузырек смертельного яда — настойки аконита. Это наводит на предположение, что она помышляла о самоубийстве. Считают, что, вместо того чтобы привести в исполнение это намерение, если таковое у нее было, она предпочла покинуть свой дом».

Миссис Конант уронила газету и медленно опустила на стул, судорожно сжав руки.

— Как же это было?.. боже мой!.. как же это было,— шептала она.— Я унесла пузырек... Я выбросила его из окна вагона... Я... В аптечке был другой пузырек... Они стояли рядом — аконит и валерьянка, которую я принимала от бессонницы... Если нашли пузырек с аконитом, значит... значит, он, безусловно, жив — я дала ему безобидную дозу валерьянки... Так я не убийца!.. Ральф, я... Господи, сделай, чтобы это не оказалось сном.

Она прошла в ту половину дома, которую снимала у старика перуанца и его жены, заперла дверь и в течение получаса лихорадочно металась по комнате. На столе стояла фотография Мэрриема. Она взяла ее, улыбнулась с невыразимой нежностью — и уронила на нее четыре слезы. А Мэррием находился от нее в каких-то ста шагах! Затем

миссис Конант десять минут стояла неподвижно, глядя в пространство. Она глядела в пространство через медленно открывавшуюся дверь. По эту сторону были материалы для постройки романтического замка: любовь; Аркадия колышущихся пальм; колыбельная песня прибоя; приют спокойствия, отдыха, мира; страна лотоса, страна мечтательной лени; жизнь без опасностей и страха, полная поэзии и сердечного покоя. Как по-вашему, Романтик, что увидела миссис Конант по ту сторону двери? Не знаете? Ах, не хотите сказать? Очень хорошо. Тогда слушайте.

Она увидела, как она входит в универсальный магазин и покупает пять мотков шелка и три ярда коленкора на передник кухарке. «Записать на ваш счет, мэм?» — спрашивает продавец. А выходя, она встречает знакомую даму, та сердечно здоровается с ней и восклицает: «Ах, где вы достали выкройку этих рукавов, дорогая миссис Конант?» На углу полисмен помогает ей перейти улицу и почтительно прикасается к шляпе. «Кто-нибудь заходил» — спрашивает она горничную, вернувшись домой. «Миссис Уолдрон, — отвечает горничная, — и обе мисс Дженкинсон». — «Прекрасно, — говорит она. — Принесите мне, пожалуйста, чашку чаю, Мэгги».

Миссис Конант подошла к двери и позвала Анджелу, старуху перуанку.

— Если Матео дома, пошли его ко мне.

Матео — метис, волочащий ноги от старости, но еще исполнительный и бодрый, явился на зов.

— Я хочу уехать отсюда сегодня или завтра. Не знаешь, нет ли сейчас поблизости парохода или какого-нибудь другого судна?

Матео задумался.

— В Пунта Регина, в тридцати милях южнее, сеньора, маленький пароход грузится хиной и красильным деревом. Он уходит в Сан-Франциско завтра на рассвете. Так говорит мой брат, он сегодня утром проходил на своем шлюпе мимо Пунта Регина.

— Ты должен отвезти меня на этом шлюпе к пароходу сегодня же. Согласен?

— Может быть... — Матео красноречиво повел плечом.

Миссис Конант достала из ящика несколько монет и протянула ему.

— Подведи шлюп в бухту за мысом, к югу от города, — приказала она, — собери матросов и будь готов отплыть в

шесть часов. Через полчаса приготовь в патио тележку с соломой. Ты отвезешь на шлюп мой сундук. Потом получишь еще. Ну, быстрее.

Матео удалился, впервые за много лет не волоча ноги.

— Анджела! — вскричала миссис Конант в лихорадочном возбуждении. — Помоги мне уложиться. Я уезжаю. Тащи сундук Сначала платья. Пошевеливайся же! Сперва эти черные. Быстрее.


С самого начала она ни минуты не колебалась. Ее решение было твердым и окончательным. Ее дверь открылась, и через эту дверь ворвался мир. Любовь ее к Мэрриему не уменьшилась, но стала теперь чем-то нереальным и безнадежным. Видения их будущего, которое недавно казалось столь блаженным, исчезли. Она пыталась убедить себя, что отрекается только ради Мэрриема. Теперь, когда с нее снят ее крест — по крайней мере, формально, — не слишком ли тяжело будет ему нести свой? Если она не покинет его, разница между ними будет медленно, но верно омрачать и подтачивать их счастье. Так она убеждала себя, а все это время в ее ушах едва заметно, но настойчиво, как гул отдаленных машин, звучали тихие голоса — еле слышные голоса мира, чей манящий зов, когда они сольются в хор, проникает сквозь самую толстую дверь.

Один раз за время сборов на нее пал легкий отсвет мечты о лотосе. Левой рукой она прижала к сердцу портрет Мэрриема, а правой швырнула в сундук туфли.

В шесть часов Матео вернулся и сообщил, что шлюп готов. Вдвоем с братом они поставили сундук на тележку, закутали соломой и отвезли к месту посадки, а оттуда в лодке переправили на шлюп. Затем Матео вернулся за дальнейшими распоряжениями.

Миссис Конант была готова. Она расплатилась с Анджелой и нетерпеливо ждала метиса. На ней был длинный широкий пыльник из черного шелка, который она обычно надевала, отправляясь на прогулку, если вечер был прохладен, и маленькая круглая шляпа с накинутой сверху кружевной мантильей абрикосового цвета.

Короткие сумерки быстро сменялись мраком. Матео вел ее по темным, заросшим травой улицам к мысу, за которым стоял на якоре шлюп. Повернув за угол, они заметили в трех кварталах справа туманное сияние керосиновых ламп в



отеле «Orilla del Mar». Миссис Конант остановилась, ее глаза наполнились слезами.

— Я должна, я должна увидеть его еще раз перед отъездом,— прошептала она, ломая руки.

Но она и теперь не колебалась в своем решении. Мгновенно она сочинила план, как поговорить с ним и все же уехать без его ведома. Она пройдет мимо отеля, попросит кого-нибудь вызвать Мэрриема, поболтает с ним о каких-нибудь пустяках, и, когда они расстанутся, он по-прежнему будет думать, что они встретятся в семь часов у нее.

Она отколола шляпу, дала ее Матео и приказала:

— Держи ее и жди здесь, пока я не вернусь.

Закутав голову мантильей, как она обычно делала, гуляя после захода солнца, миссис Конант направилась прямо в «Orilla del Mar».

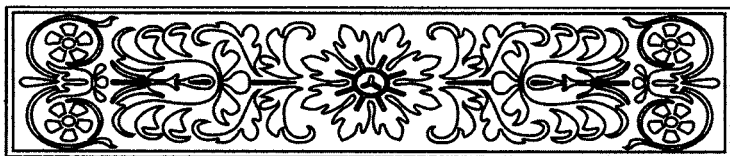
На веранде белела толстая фигура дядюшки Панчо. Она обрадовалась, увидев, что он один.

— Дядюшка Панчо,— сказала она с очаровательной улыбкой.— Не будете ли вы так добры попросить мистера Мэрриема спуститься сюда на минутку? Я хочу поговорить с ним.

Дядюшка Панчо поклонился с грацией циркового слона.

— Buenas tardes¹, сеньора Конант,— произнес он с учтивостью истого кабальеро и продолжал смущенно: — Но разве сеньора не знает, что сеньор Мэррием сегодня в три часа отплыл на «Пахаро» в Панаму?

¹ Добрый вечер (*исп.*)




ТЕОРИЯ И СОБАКА

Несколько дней назад мой старый друг из тропиков, Дж. Н. Бриджер, консул Соединенных Штатов на острове Ратоне, очутился у нас в городе. Мы справили юбилей на славу. Несколько дней мы бездельничали, вообще мухобойничали. Когда мы успокоились, мы как-то проходили во время отлива по улице, параллельной Бродвею и пародирующей его.

Красивая, светского вида дама прошла мимо нас, держа на сворке сопящее, злобное, переваливающееся существо в образе желтой собачонки. Собака, запугавшись между ногами Бриджера, впилась в его лодыжки рычущими, раздраженными, злобными укусами. Бриджер с радостной улыбкой вышиб из зверюги дух. Женщина окатила нас мелким душем хорошо пригнанных прилагательных (чтобы в нас не осталось никаких сомнений относительно места, занимаемого нами в ее мнении) — и мы прошли дальше. В десяти шагах дальше старуха, с растрепанными седыми волосами и чековой книжкой, хорошо запрятанной под разодранной шалью, попросила милостыню. Бриджер остановился и выпотрошил ей в руки четверть содержимого из своего праздничного жилета.

На следующем углу стояло четверть тонны одетого по последней моде человека, с напудренными рисом жирными, белыми щеками; он держал на цепочке дьявольское отродье — бульдога, передние лапы которого, расположенные одна от другой на расстоянии одной таксы, были незнакомы друг с дружкой. Перед человеком стояла маленькая женщина в прошлогодней шляпке и плакала. Это было, очевидно, все, что она могла сделать; он же ругал ее тихим, сладким, привычным тоном.

Бриджер снова улыбнулся, — исключительно про себя, — и на этот раз он вынул маленькую записную книжечку и сделал в ней заметку. Этого он не имел права делать без должных объяснений, и я так и заявил ему.



— Это новая теория, — сказал Бриджер, — которую я подцепил там, на Ратоне. Натолкнувшись на нее, я стал искать ей подтверждений. Мир еще не созрел для нее, но, так и быть, я расскажу вам. А вы после этого мысленно обегайте всех людей, которых вы знаете, и посмотрите, не окажется ли моя теория действенной.

Итак, я провел Бриджера в одно место, где имеются искусственные пальмы и вина, и он рассказал мне эту историю. Я передаю ее вам моими словами, но под его ответственность.

Однажды, в три часа пополудни, по острову Ратона промчался мальчик, крича: «Рајаго» на рейде!»

Этим он доказал остроту своего слуха и тонкое умение распознавать гудки.

Тот, кто первый на Ратоне слышал гудок и громогласно объявлял об этом согражданам, правильно определив при этом название приближающегося парохода, становился на Ратоне героем и оставался в этом звании до следующего парохода.

Вот почему среди босоногой молодежи Ратоны происходило на этой почве соперничество.

Многие пали жертвами рожков из раковин, в которые дули при входе в гавань с некоторых парусников. Они издавали звук, поразительно напоминавший отдаленные свистки пароходов. Но многие зато умудрялись назвать вам пароход, когда гудок его звучал в ваших тупых ушах не громче вздоха ветра в ветвях кокосовой пальмы.

В этот день почести выпали на долю того, кто объявил «Рајаго». Ратона наклонила уши, чтобы прислушаться, и вскоре тихое ворчанье парохода усилилось и приблизилось. Ратона увидела, наконец, над линией пальм у низкой «стрелки» две черных трубы фруктового парохода, медленно подползавшего ко входу в гавань.

Вы должны знать, что Ратона — остров, лежащий в двадцати милях к югу от одной из южноамериканских республик. Она является портом этой республики. Город сладко дремлет на берегу смеющегося моря, не сеет и не жнет и питается изобилием тропиков, где все «созревает, останавливается и падает готовое в могилу».

Восемьсот человек жителей живут дремотной жизнью в угопающем в зелени поселке, растянувшимся по подково-

образному изгибу ее игрушечной гавани. Это большей частью испанские и индейские метисы, с легкой темной примесью сан-домингских негров и светлой — чистокровных испанских чиновников; вы найдете здесь также осадок из трех или четырех пионерствующих белых рас. Никакие пароходы, кроме фруктовых, не заходят в Ратону. Последние подбирают здесь инспекторов с банановых плантаций, отправляющихся на материк, и оставляют воскресные газеты, лед, хинин, сало, арбузы и оспенную вакцину. На этом и заканчивается приблизительно все общение Ратоны с миром.


«Рајаго» замешкался у входа в гавань, тяжело разрезая волны, от которых по гладким внутренним водам гавани разбегались барашки. Две лодки из поселка — одна с фруктовыми инспекторами, а вторая вышедшая, чтобы получить с парохода что придется, — были уже на полпути к пароходу.

Инспектора были подняты на борт вместе с своей лодкой, и «Рајаго» направился дальше, к матерiku, за грузом фруктов.

Вторая лодка вернулась на Ратону, нагруженная контрибуцией с ледяного погреба «Рајаго», обычным свертком газет и одним пассажиром — Тейлором Планкеттом, шерифом Чэтемского графства, Кентукки.

Бриджер, консул Соединенных Штатов на Ратоне, был занят в официальной хижине под хлебным деревом, в двадцати ярдах от гавани, чисткой ружья. Консул занимал место несколько ближе к хвосту в процессии своей политической партии. Музыка шествовавшего впереди оркестра очень слабо доносилась до него на этом расстоянии. Сливки — хорошие должности — снимали другие. Доля Бриджера в добыче — место консула на Ратоне — была молоко, снятое молоко из департамента распределения общественного пирога. Но 900 долларов в год было богатство на Ратоне. Кроме того, Бриджер пристрастился к охоте на аллигаторов, водившихся в лагуне около консульства, и он не чувствовал себя обиженным.

Он оторвал глаза от внимательного осмотра ружейного замка и увидел перед собой широкоплечего человека, затмившего собою отверстие двери, грузного,! бесшумного, неповоротливого человека, загорелого почти до коричневых тонов Ван-Дейка. Человека лет сорока пяти, прилично одетого в костюм из грубого сукна, с жидкими светлыми во-



лосами, коротко подстриженной каштановой с проседью бородкой и бледно-голубыми глазами, выражавшими кротость и простодушие.

— Вы будете мистер Бриджер, консул? — сказал грузный человек. — Меня направили сюда. Не можете ли вы сказать мне, что это за такие вроде как тыквы, пучки растут на деревьях там, по краю воды? Чисто метелки из перьев.

— Возьмите этот стул, — сказал консул, смачивая маслом тряпку, которой он чистил ружье. — Не этот — другой. Этот, бамбуковый, не выдержит вас... Это кокосовые орехи, зеленые кокосы. Их кожура всегда имеет зеленоватый оттенок, пока они не созреют.

— Весьма вам обязан, — сказал человек, осторожно усаживаясь. — Мне не хотелось бы рассказывать потом дома, что это оливки, не уверившись в этом как следует. Мое имя Планкетт. Я шериф Чэтемского графства, Кентукки. У меня в кармане лежат бумаги на выдачу и на право ареста одного человека тут на острове. Они подписаны президентом этой страны и вполне оформлены. Имя этого человека Уэйд Вильямс; он здесь работает по кокосовой части. Он обвиняется в убийстве своей жены, совершенном два года назад. Где я могу найти его?

Консул прищурил один глаз и заглянул в дуло своего ружья.

— Здесь, на острове, нет никакого Вильямса, — заметил он.

— Я и не предполагал, что здесь есть Вильямс, — кротко ответил Планкетт. — Он живет, наверно, под каким-нибудь другим именем.

— Кроме меня, — сказал Бриджер, — на Ратоне есть только два американца: Боб Ривз и Генри Морган.

— Человек, который мне нужен, торгует кокосами, — настаивал Планкетт.

— Видите вы эту кокосовую аллею, которая тянется до самой стрелки? — сказал консул, махнув рукой по направлению к двери. — Это все собственность Боба Ривза. Генри Моргану принадлежит половина деревьев в глубине острова.

— Месяц назад, — сказал шериф, — Уэйд Вильямс написал конфиденциальное письмо одному человеку в Чэтемском графстве, в котором он сообщал, где он находится и как живет. Письмо это было потеряно адресатом и передано лицом, нашедшим его, властям. Меня послали за пре-



ступником, снабдив необходимыми бумагами. Я полагаю, что это, несомненно, один из ваших кокосовых торговцев.

— У вас, наверное, есть его фото? Это может быть либо Ривз, либо Морган. Но мне неприятно даже и думать об этом. Они оба прекрасные малые. Вы не встретите таких за целый день езды на автомобиле.


— Нет, — нерешительно ответил Планкетт, — мне не удалось достать никакой фотографии Вильямса, и сам я никогда не видал его. Я шериф только год. Но у меня есть довольно точное описание его примет. Рост около пяти футов одиннадцати дюймов, глаза и волосы темные, нос, скорее, римского образца; широк в плечах, крепкие белые зубы, все в наличности; любит посмеяться, разговорчив, любит выпить, но никогда не пьянеет; при разговоре смотрит прямо в глаза; возраст тридцать пять. К какому из ваших молодцов подходит это описание?

Консул широко улыбнулся.

— Я скажу вам, что сделать, — сказал он, положив ружье и надев поношенный черный пиджак из альпака. — Пойдемте, мистер Планкетт, и я вам покажу обоих парней. Если вы сумеете сказать, к кому из них больше подходит это описание, вы будете иметь надо мной преимущество.

Бриджер вышел с шерифом и повел его по крутому берегу, на котором раскинулись крошечные домики поселка. Сейчас же за домами неожиданно поднимались небольшие, густо поросшие лесом холмы. На один из них, по ступенькам, высеченным в твердой глине, консул повел Планкетта. На самой вершине холма, у обрыва лепился деревянный коттедж в две комнаты, крытый тростниковой крышей. Карибка снаружи стирала белье. Консул подвел шерифа к дверям комнаты, выходившей окнами на гавань. В ней находились два человека без пиджаков, собиравшиеся как раз усесться за стол, накрытый для обеда. Между ними было мало сходства в деталях, но общее описание, данное Планкеттом, могло бы одинаково подойти к обоим. По росту, цвету волос, форме носа, сложению и манерам каждый из них подходил к описанию. Это были два прекрасных образчика жизнерадостных, сметливых, душа нараспашку, американцев, подружившихся на чужой стороне.

— Алло, Бриджер! — воскликнули они в один голос, увидев консула. — Заходите! Пообедаем!



Тут они заметили за спиной консула Планкетта и тотчас же вышли навстречу пришедшим с гостеприимным любопытством.

— Джентльмены, — сказал консул, причем голос его принял необычную официальность, — это мистер Планкетт. Мистер Планкетт — мистер Ривз и мистер Морган!

Кокосовые короли радостно приветствовали нового знакомого. Ривз казался, пожалуй, на дюйм повыше Моргана, но смех у него был не такой громкий. Глаза у Моргана были темно-карие, а у Ривза черные. Ривз был хозяином и начал хлопотать насчет стульев и велел карибке поставить еще два прибора.

Выяснилось, что Морган живет в бамбуковой хижине подальше от берега, но что оба друга ежедневно обедают вместе.

Пока шли хозяйственные приготовления, Планкетт стоял спокойно, кротко рассматривая все кругом своими бледно-голубыми глазами. Бриджер как бы извинялся и чувствовал себя стесненно.

Наконец, два других прибора были поставлены, и гостям были указаны их места. Ривз и Морган стояли рядом, по ту сторону стола, против гостей. Ривз, весело кивнул, приглашая этим всех сесть. Тогда вдруг Планкетт поднял руку повелительным жестом. Глаза его были направлены прямо в промежуток между Ривзом и Морганом.

— Уэйд Вильямс, — сказал он спокойно, — вы арестованы по обвинению в убийстве.

Ривз и Морган обменялись быстрым, открытым взглядом, выражавшим недоумение, с долей из удивления. Затем они одновременно повернулись к говорившему с изумлением и искренним укором в глазах.

— Мы не можем сказать, чтобы мы вас поняли, мистер Планкетт, — сказал Морган веселым тоном. — Вы, кажется, сказали: «Вильямс»?

— Что это за шутка, Бриджи? — с улыбкой спросил Ривс, повернувшись к консулу.

Прежде чем Бриджер успел ответить, Планкетт заговорил снова.

— Я объясню, — сказал он спокойно. — Один из вас не нуждается в объяснении, но я делаю это для другого. Один из вас — Уэйд Вильямс из Чэтемского графства, Кентукки. Два года назад, пятого мая, вы убили вашу жену. Это произо-

шло после того, как вы беспрерывно в течение пяти лет дурно обращались с ней и оскорбляли ее. У меня в кармане все нужные документы, чтобы увезти вас с собой, и вы поедете. Мы поедем на фруктовом пароходе, который придет завтра, чтобы высадить на берег инспекторов. Я признаюсь, господа, что я не совсем уверен в том, кто именно из вас Вильямс. Но Уэйд Вильямс поедет завтра обратно в Чэтемское графство, Кентукки. Я хочу, чтобы вы это поняли.

Громкий взрыв веселого хохота прокатился над тихой гаванью. Это смеялись Морган и Ривз. Несколько рыбаков из флотилии шлюпок, стоявших на причале, в недоумении посмотрели наверх, где стоял дом этих чертей *americanos*.

— Дорогой мой мистер Планкетт, — воскликнул Морган, подавляя свое веселье, — обед стынет. Позвольте нам усесться за стол и поесть. Я горю нетерпением опустить ложку в этот суп из плавников акулы. Дело после.

— Садитесь, пожалуйста, джентльмены, — любезно прибавил Ривз. — Я уверен, что мистер Планкетт не будет иметь ничего против. Может быть, некоторый срок поможет ему получше опознать джентльмена, которого он хочет арестовать.

— Конечно, я ничего не имею против, — сказал Планкетт, тяжело опускаясь на стул. — Я и сам голоден. Я только не хотел воспользоваться вашим гостеприимством, не предупредив вас. Только и всего.

Ривз поставил на стол бутылки и стаканы.

— Тут коньяк, — сказал он, — анисовка, шотландское виски и хлебная водка. Прошу! Что кому по вкусу.

Бриджер выбрал водку, Ривз налил себе на три пальца шотландского виски, Морган то же самое. Шериф, несмотря на все протесты, наполнил свой стакан из бутылки с водой.


— За аппетит мистера Вильямса! — сказал Ривз, поднимая свой стакан.

Смех и виски, столкнувшись в горле у Моргана, вызвали у него приступ удушья. Все принялись за обед — очень хорошо приготовленный и вкусный.

— Вильямс! — неожиданно позвал Планкетт.

Все с удивлением оглянулись. Ривз заметил, что кроткие глаза шерифа остановились на нем. Он слегка покраснел.

— Послушайте, — сказал он с некоторым раздражением, — мое имя Ривз, и я не хочу, чтобы вы...



Но комизм положения выручил его, и он закончил смехом.

— Я полагаю, мистер Планкетт, — сказал Морган, тщательно заправляя салат, — что вам это, наверно, известно. Вы импортируете вместе с собой в Кентукки порядочное количество неприятностей, если привезете туда не того человека. Если, разумеется, вы вообще кого-нибудь привезете с собой.

— Благодарю вас за разъяснение, — сказал шериф. — Будьте уверены: я увезу кого-нибудь с собой. И это будет один из вас двоих, джентльмены. Я знаю, что я должен буду отвечать, если сделаю ошибку. Но я попробую не сделать ошибки и захватить именно того, кого следует.

— Я вам посоветую, как быть, — сказал Морган, наклонившись вперед с веселым блеском в глазах. — Возьмите меня. Я поеду без всякого сопротивления. Кокосы в этом году обернулись не особенно прибыльно, и я не прочь был бы подзаработать с вас за неправоное лишение свободы.

— Это будет несправедливо, — вмешался Ривз. — Я заработал только по шестнадцать долларов с тысячи на последней отправке. Возьмите меня, мистер Планкетт.

— Я возьму Уэйда Вильямса, — терпеливо сказал шериф.

— Это похоже на обед с привидением, — заметил Морган, притворно вздрогнув, — да еще с призраком убийцы. Не желает ли кто-нибудь передать зубочистку мрачной тени мистер Вильямса?

Планкетт сидел совершенно невозмутимо. Можно было подумать, что он обедал за своим собственным столом в Чэтемском графстве. Он был большим гастрономом, и странные тропические кушанья приятно щекотали его нёбо. Грузный, ординарный, почти ленивый в своих движениях, он, казалось, был лишен всякой хитрости и сметки ищeyки. Он даже перестал следить с какой бы то ни было зоркостью, или мало-мальской наблюдательностью за двумя мужчинами, одного из которых он намеревался с страшной самоуверенностью арестовать по тяжкому обвинению в убийстве жены. Перед ним действительно стояла задача, готовившая ему, в случае неверного решения, серьезное поражение. И тем не менее он сидел, всецело, по-видимому, поглощенный необычным ароматом котлеты из игуаны.

Консул чувствовал себя отвратительно. Ривз и Морган были его друзьями и товарищами, но шериф из Кентукки


имел определенное право на его служебное содействие и моральную поддержку. Итак, Бриджер сидел молчаливее всех, стараясь разобраться в создавшемся странном положении. Зная их сообразительность, он пришел к заключению, что оба они, и Ривз и Морган, молниеносно смекнули про себя, когда Планкетт открыл им свою миссию, что другой может быть действительно искомым Вильямсом. И они тут же решили, каждый про себя, честно защитить товарища от грозившей ему опасности. Такова была теория консула, и, если бы ему пришлось быть букмекером на этой скачке умов с призом — жизнь и свобода на финише, он поставил бы сто против одного на грузного шерифа из Чэтемского графства, Кентукки.

Когда обед закончился, пришла карибка и убрала тарелки и скатерть. Ривз высыпал на стол великолепные сигары, и Планкетт, вместе с остальными, закурил одну из них с очевидным одобрением.

— Я, может быть, туп, — сказал Морган, подмигнув Бриджеру, — но я хотел бы убедиться в этом. Я думаю, что все это шутка мистера Планкетта, задуманная, чтобы напугать двух младенцев в лесу. Вы мне растолкуйте, что это — всерьез с этим Вильямсом или это шутка?

— Вильямс, — с ударением поправил Планкетт. — Я никогда в жизни не занимался дурачеством и думаю, я не проделал бы две тысячи миль ради такой жалкой шутки, какой явилась бы действительно эта поездка, если бы я не арестовал здесь Уэйда Вильямса. Джентльмены, — продолжал шериф, беспристрастно переводя свои кроткие глаза с одного из хозяев на другого, — посудите сами, похоже ли это на шутку? Уэйд Вильямс слышит мои слова, но из вежливости я буду говорить о нем, как о третьем лице. В течение пяти лет он обращался со своей женой как с собакой. Нет, я беру эти слова назад. Ни с одной собакой в Кентукки не обращались еще так, как с ней. Он тратил деньги, которые она приносила ему, проматывая их на скачках, в карты, на лошадей и охоту. Он был славным малым в глазах своих друзей, но жестоким и холодным демоном дома. Он закончил эти пять лет жестокого обращения ударом сжатого кулака, — кулака жесткого, как камень, — когда она была уже больна и ослабела от страданий. Она умерла на следующий день, а он скрылся. Вот и все.

Этого достаточно. Я никогда не видел Вильямса, но знал его жену. Я не из тех людей, которые недоговаривают. Мы с



ней были друзьями, когда она встретила с Вильямсом. Она поехала гостить в Луисвилль и там познакомилась с ним. Да, он разбил мое счастье очень быстро. Я жил тогда у подножья Кэмберлендских гор и был избран шерифом Чэтемского графства через год после того, как Уэйд Вильямс убил свою жену. Долг службы привел меня сюда за ним, но я не отрицаю, что здесь замешано у меня и личное чувство. И он поедет теперь со мной в Чэтем. Мистер... э-э-э... Ривз, будьте добры, спичку!

— Ужасно неосторожно было со стороны Вильямса, — сказал Морган, уперев ноги в стену, — ударить кентуккскую леди. Говорят, я слышал, что они очень экономны?

— Скверный, скверный Вильямс, — сказал Ривз, подливая себе виски.

Оба они говорили непринужденно, но консул видел и чувствовал напряжение и осторожность в их словах и движениях.

«Славные ребята, — сказал он себе. — Оба молодцы. Каждый друг за дружкой, как за кирпичной стеной».

В это время в комнату, где они сидели, вошла собака, черно-бурая собака, длинноухая, ленивая, уверенная в ласковом приеме.

Планкетт повернул голову и посмотрел на животное, доверчиво остановившееся в нескольких шагах от его стула.

Вдруг шериф с громким ругательством вскочил с места и нанес своим увесистым сапогом злобный и сильный пинок собаке. Та, обиженная, изумленная, опустила уши, поджала хвост и издала пронзительный вой боли и удивления.

Ривз и консул остались на своих местах. Пораженные таким неожиданным проявлением нетерпимости со стороны этого покладистого человека из Чэтемского графства, они не произнесли ни слова.

Но Морган с внезапно побагровевшим лицом вскочил и занес над гостем угрожающую руку.

— Вы — скотина! — запальчиво крикнул он. — Зачем вы это сделали?

Планкетт пробормотал какое-то невнятное извинение и занял опять свое место. Морган решительным усилием подавил свое негодование и также вернулся к своему стулу.

Тогда Планкетт прыжком тигра обогнул угол стола и вмиг надел наручники на руки парализованного неожиданностью Моргана.



— Любитель собак и убийца женщин! — воскликнул он. —
Приготовьтесь встретить ваш час!

Когда Бриджер кончил свой рассказ, я спросил его:

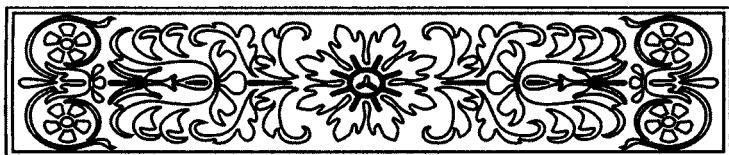
— И что же, он арестовал действительно кого следовало?

— Кого следовало, — ответил консул.

— А как он узнал его? — спросил я в некотором недоумении.

— Когда этот Планкетт на следующий день усадил Моргана в лодку, чтобы отвезти его на борт «Рајаго», он остановился попрощаться со мной, и я задал ему тот же самый вопрос.

— Мистер Бриджер, — ответил он, — я кентуккиец, и я видел на своем веку много и людей и животных. Но я никогда еще не встречал мужчины, который чрезмерно любил бы лошадей или собак и не был бы при этом жесток с женщинами.



ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ КАЗУС

Поверенный Гуч не интересовался абсолютно ничем, кроме своей мудреной и захватывающей профессии. Он давал волю воображению, лишь когда любовно сравнивал свою трехкомнатную контору с корабельным трюмом. Двери отворялись (и затворялись) из одной комнаты в другую, из другой — в третью, и каждая — в прихожую.

— Для вящей надежности,— замечал поверенный Гуч,— трюм корабля разгорожен водонепроницаемыми переборками. Пусть один отсек даст течь и наполнится водой: добрый корабль плывет себе как ни в чем не бывало. Между тем не будь этих разделительных переборок, он затонул бы от одной-единственной пробоины. Вот и я: беседуя, скажем, с одной стороной, а тем временем является другая. При посредстве Арчибальда — это мой многообещающий юношарассыльный — я разливаю опасный приток по отсекам и погружаю в них свой юридический лот. А понадобится — так можно иного клиента откачать в прихожую и сплавить по лестнице, которую так и назовем подветренным водостоком. И доброе деловое судно держится на плаву; если же вода, вместо того чтобы служить опорой, станет свободно растекаться по днищу, то мы можем и затонуть — ха-ха-ха!

Закон — не шутка, да и вообще жизнь шутками не балует. А такой незатейливый и неприхотливый юмор хоть как-то скрашивает тягостные тяжбы и тоскливые иски.

Практика поверенного Гуча большею частью сводилась к улаживанию супружеских неурядиц. Если супружество подрывало различия — он посредничал, утешал и примирял. Если супруги нарушали приличия — он исправлял, охранял и отстаивал. А уж если дело доходило до двулчия — он всегда ухитрялся смягчить своим подопечным приговор.

Отнюдь не всякий раз поверенный Гуч спешил во всеоружии воинской хитрости крушить обоюдоострым мечом

оковы Гименея. Бывало, что он воздвигал, а не разрушал, сочел, а не расторгал, возвращал неразумных и заблудших овец в загон, а не рассеивал стадо по долам и весям. Случалось, что под звуки его проникновенного красноречия рыдающие супруги заключали друг друга в объятия. Очень пригождались и детишки, особенно когда в нужный момент и по условному знаку слышалось жалостно и гнусаво: «Папотька, ты азве не поедес домой со мной и с мамотькой?» — и все становилось на свои места, в том числе распатанные семейные устои.

Беспристрастные критики признавали, что за восстановление супружеского мира поверенный Гуч получает столько же, сколько и в случае судебного процесса. Пристрастные намекали, что перепадает ему вдвое: ведь рано или поздно покаянные супруги все равно явятся разводиться.

Как-то в июне юридическое судно поверенного Гуча попало в штить. В июне мало кто разводится. Это месяц Купидона и Гименея.

И вот поверенный Гуч сидел без дела в среднем отсеке своей порожней приемной. Маленькая прихожая связывала — или отделяла его комнату от коридора. В прихожей помещался Арчибальд, который изымал у посетителей визитные карточки или исторгал устные самообозначения, надобные хозяину: он разберется, а клиент подождет.


Вдруг в наружную дверь гулко постучали.

Арчибальд отворил и отлетел в сторону, явно не понадобится посетителю, который без лишних церемоний прямо проследовал в кабинет поверенного Гуча и с дружелюбным нахальством плюхнулся перед этим джентльменом в удобное кресло.

— Вы — Финеас С. Гуч, поверенный в делах? — произнес посетитель тоном одновременно вопросительным, утвердительным и обвинительным.

Прежде чем связать себя ответом, поверенный окинул возможного клиента своим быстрым, трезвым и цепким взглядом.

Это был человек известной категории — размашистый, напористый и развязный, тщеславный, конечно — не без бахвальства — тертый и дошлый. Одет он был хорошо; чуть-чуть, пожалуй, перестарался. Ему нужен был юрист — видно, не слишком и нужен: глядел он весело, держался уверенно.



— Да, моя фамилия Гуч, — признал наконец поверенный. Под нажимом он согласился бы и с тем, что он — Финеас С., но сообщать о себе лишнее было не в его принципах.

— Ваша визитная карточка не была мне предъявлена, — продолжал он с укором в голосе, — и я не имею...

— Именно что не имеете, — невозмутимо отрезал посетитель. — Пока обойдетесь. Закурить желаете?

Он перекинул ногу через подлокотник и вытряхнул из кармана на стол горсть сигар с яркими бандерольками. Поверенный Гуч ценил этот сорт. Он снизошел и закурил.

— Устраиваете разводы, — сказал безмянный посетитель. Это был уже не вопрос и не утверждение. Он обвинял — или обличал; так можно заметить, например, собаке: «Ах ты, собака». Поверенный Гуч снес обвинение молча.

— Занимаетесь, словом, — продолжал посетитель, — всевозможными пропашими браками. Вы есть, скажем так, хирург: извлекаете стрелы Купидона, когда те угодили в кого не надо. Если где факел Гименея догорел до того, что и сигары не прикуришь, то вы тут как тут с фирменными электролампочками. Верно я говорю, мистер Гуч?

— В моей практике встречались дела такого рода, — состорожничал поверенный, — на которые вы как будто намекаете в своих образных выражениях. А вы желали бы со мной проконсультроваться, мистер... — и поверенный многозначительно запнулся.

— Э нет, — его собеседник лукаво помахал сигарой, — пока не надо. Ни к чему в делах такая спешка — не спешить бы в свое время, так и сейчас бы не канителились. Тут надо расторгнуть один никудышный брак. Но раньше, чем я вам назову имена, вы мне честно — ну, в общем как специалист — скажете, стоит ли браться все это расхлебывать. Мне надо, чтобы вы так это абстрактно — понимаете? — прикинули размеры катастрофы. Пусть я буду мистер Койкто и хочу вам кое-чего рассказать. А вы мне скажете, как чего. Улавливаете?

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — предположил поверенный Гуч.

— Вот-вот, то самое слово. Я все думаю, какой он — оптический, что ли. А он гипотетический. Сейчас я его изложу. Положим, есть одна такая женщина — глаз не оторвешь — и она сбежала из дому от мужа. Она по уши врезалась в другого, а тот приехал в город пошевелить тамошних насчет не-

движимости. Положим теперь, что мужа этой женщины зовут Томас Р. Биллингс — тем более так его и зовут. Насчет имен, как видите, я вам прямо намекаю. А нашего донжуана зовут Генри К. Джессап. Биллингсы жили в таком городишке Сьюзенвилле — отсюда не близко. Две недели назад Джессап из Сьюзенвилля уехал. А миссис Биллингс за ним — прямо на другой день. В общем она в этого Джессапа влопалась смертвую — ставлю доллар против вашего свода законов.

Клиент поверенного Гуча произнес это с таким смачным самодовольством, что даже выдавшего виды законника слезка передернуло. Из его нагловатого посетителя так и лезло дешевое тщеславие волокиты, благодушное себялюбие неотразимого сердцеда.

— А что ж,— продолжал посетитель,— раз миссис Биллингс дома никакого счастья не видела? С мужем у нее жизнь была, прямо сказать, не сахар. Одна сплошная несовместимость характеров. Что ей по душе, того Биллингсу и даром не надо. Жили — как кошка с собакой. Она женщина образованная, знает науку и культуру: люди собираются, она им вслух читает. А Биллингс только ушами хлопает. Ему, дураку, что прогресс, что обелиск, а что этика. Как дойдет до тому подобного, так Биллингс лопух лопухом. Нет, ей не такой нужен. Ну и как, вот скажите вы, юрист, неужели это будет не по всей справедливости, чтоб она бросила своего Биллингса, тем более раз нашелся мужчина в силах ее оценить?

— Несовместимость характеров,— сказал поверенный Гуч,— безусловно, служит источником многих и многих супружеских раздоров и разладов. В том случае, когда она совершенно явствует, развода, по всей видимости, не избежать. Да, но может ли упомянутая дама безбоязненно вверить вам... то есть, простите, этому Джессапу — свое будущее?

— Насчет Джессапа будьте покойны,— сказал клиент, обнадеживающе закивав.— Джессап — это вам не фрукт. Он поступит как честный человек. Да он из Сьюзенвилля уехал, только чтоб языки не болтали про миссис Биллингс. А она за ним, и теперь-то уж он, конечно, никуда не денется. Только она законным порядком разведется, Джессап сразу все делает честь по чести.

— Итак,— сказал поверенный Гуч,— развивая, так сказать, гипотезу, предположим, что в этом деле потребуются мои услуги, и какую же...



Клиент порывисто вскочил на ноги.

— К чертям собачьим все гипотезы! — нетерпеливо воскликнул он. — Пропади они все пропадом, давайте говорить напрямик. Кто я — вам теперь ясно. Надо, чтобы этой женщине дали развод. Берусь заплатить. Как миссис Биллингс будет свободна, я в тот же день выложу вам пятьсот долларов.

И в знак своей щедрости клиент поверенного Гуча хватил кулаком по столу.

— Поскольку дело обстоит так, как вы... — начал поверенный.

— К вам дама, сэр, — возгласил Арчибальд, всунувшись из прихожей. Ему велено было всегда тут же докладывать о любом клиенте, ибо промедление в делах к добру не ведет.

Поверенный Гуч взял клиента номер один под руку и мягко направил его в соседнюю комнату.

— Сделайте одолжение, подождите здесь несколько минут, сэр, — сказал он. — Я освобожусь, и мы скоро продолжим нашу беседу. Я, собственно, ожидаю одну весьма состоятельную пожилую даму по делу о завещании. Уверю вас, долго сидеть не придется.

Бойкий господин покладисто уселся в кресло и взял со столика журнал. Поверенный возвратился в среднюю комнату, тщательно притворив за собой дверь.

— Пригласи даму, Арчибальд, — сказал он рассыльному, который дождался его указаний.

В приемную вошла властная красавица с горделивой осанкой. Одевание ее — отнюдь не платье — было просторное и ниспадающее. В глазах ее вспыхивал гений и светилась душа. В руках она держала зеленый ридикюль вместимостью в полцентнера и зонтик, ниспадающий и просторный. Она опустилась на предложенный стул.

— Это вы — поверенный мистер Финеас С. Гуч? — спросила она строго и непримиримо.

— Это я, — ответил поверенный Гуч без малейших обиняков. Сженщинами он ими никогда не пользовался. Обиняки — женское оружие. А когда две стороны используют одну тактику, время теряется попусту.

— Вы поверенный, сэр, — начала дама, — и вам, должно быть, не чужды таинства человеческого сердца. Неужели вы полагаете, что пустые и мелкие условности, порождение искусственной жизни нашего общества, должны вставать препятствием на пути благородного и пылкого сердца, когда

оно обретает подлинное сродство среди никчемного и ничтожного людского отребья — так называемых мужчин?

— Сударыня,— сказал поверенный Гуч тем самым голосом, которым привычно смирял женскую клиентуру,— вы пришли к юристу. Я — поверенный в делах, а не философ; я также не редактор газетной рубрики «Ответы мученикам любви». Меня ждут другие клиенты. Будьте, если можно, так добры — разъясните, в чем дело.


— Могли бы и не метать мой бисер во все тяжкие,— заметила дама, сверкнув глазами и яростно крутнув зонтиком.— Я как раз по делу и пришла. Меня интересуют ваши соображения относительно бракоразводного процесса, как говорят пошляки,— на самом же деле просто об устранении фальши и бессмыслицы, которые, по близорукости человеческих законов, встали стеной между любящими...

— Прошу прощения, сударыня,— несколько нетерпеливо прервал ее поверенный Гуч,— но я опять-таки напомню вам, что вы на приеме у юриста. Тут бы скорее миссис Уилкокс...

— Миссис Уилкокс знает, что пишет,— сурово отрезала дама.— Равно как Толстой, миссис Гертруда Эзертон, Омар Хайям и мистер Эдвард Бок. Я их всех прочла. Я хотела обсудить с вами исконное право души в поединке с притеснительными ограничениями ханжеского и узколобого общества. Но я готова перейти к делу. Я предпочла бы пока не касаться личностей а только дать вам общее понятие — словом, описать все как бы в форме предположения, а не...

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — спросил поверенный Гуч.

— Именно это я и собиралась сказать,— сухо заметила дама.— Так вот предположим, что существует некая женщина, в избытке наделенная душой и сердцем и устремленная к жизненной полноте. Муж этой женщины ниже ее по интеллекту, по вкусам — вообще неизмеримо. Ах, да он попросту хам. Его не трогает литература. Он насмехается над возвышенными идеями великих мыслителей. На уме у него только недвижимость и тому подобные мерзости. Женщина с душой ему не подруга. Но вот эта обездоленная женщина однажды встречает свой идеал — человека с умом, сердцем и характером. Она полюбила его. Его также пронизал трепет новоизведенного сродства, но он полон благородства и достоинства — и замкнул уста. Он бежал от лица своей



возлюбленной. Она устремилась за ним, горделиво и презрительно попирая оковы, наложенные на нее невежественной социальной системой. Так вот — сколько ей будет стоить развод? Поэтесса Элиза Энн Тимминс, воспевшая Долину Платанов, развелась за триста сорок долларов. Могут ли я... то есть та леди, о которой идет речь — может ли она рассчитывать, что ей это обойдется столь же недорого?

— Сударыня,— сказал поверенный Гуч,— ваши последние две-три фразы потрясли меня своей трезвостью и ясностью. Нельзя ли нам оставить гипотезы, повести дело начистоту и назвать имена?

— Пусть так,— воскликнула дама, с изумительной готовностью перестраиваясь на практический лад.— Томас Р. Биллингс — вот имя этого презренного хама, который препятствует блаженству своей законной — но чуждой ему по духу — жены и Генри К. Джессапа, ее благородного суженого. А я,— заключила клиентка в тоне последнего откровения,— я — МИССИС БИЛЛИНГС!

— К вам джентльмен, сэра,— прокричал Арчибальд, чуть ли не кувырком влетев в дверь.

Поверенный Гуч поднялся со стула.

— Миссис Биллингс,— учтиво сказал он,— позвольте попросить вас удалиться на несколько минут в соседнюю комнату. Я ожидаю весьма состоятельного пожилого джентльмена по делу о завещании. В самом скором времени я освобожусь, и мы продолжим нашу беседу.

С привычной обходительностью поверенный Гуч проводил свою пылкую клиентку в последнюю незанятую комнату и вернулся оттуда, старательно прикрыв за собой дверь.

Арчибальд впустил очередного посетителя — сухощавого, нервного и с виду задержанного человечка средних лет, на лице которого застыло опасливое и озабоченное выражение. Свой маленький чемоданчик он поставил у ножки стула. Его добротная одежда не обличала в нем ни особого вкуса, ни опрятности; к тому же на ней осела дорожная пыль.

— Вы занимаетесь делами о разводах,— сказал он несколько возбужденным, но уверенным тоном.

— Припоминаю,— начал поверенный Гуч,— что в моей практике иной раз...

— Знаю, знаю,— прервал его клиент номер три.— Можете не говорить. Я о вас вполне наслышан. Я хочу поговорить

с вами об одном деле, не углубляясь в разъяснения своей в нем некоторой заинтересованности — то есть...

— Вам угодно, — сказал поверенный Гуч, — изложить гипотетический случай.

— Можно и так выразиться. Я простой делец. Буду по мере сил краток. Сначала об одной гипотетической женщине. Положим, брак у нее сложился неудачно. Она во многих отношениях выше своего мужа. У нее красивая внешность — все так считают. Она увлекается, по ее выражению, литературой — поэзией там, прозой и всякими таковыми штуками. Муж у нее простой человек, его дело — коммерция. В семейной жизни они счастливы не были, хотя он и прилагал все усилия. И вот недавно один человек, совсем им незнакомый, приехал в их тихий городок по делам о продаже недвижимости. Эта женщина увидела его — и ни с того ни с сего потеряла голову. Она так открыто выказывала ему свое внимание, что ему пришлось ради своей безопасности покинуть те места. Она оставила мужа и дом и последовала за ним. Она бросила свой дом, где была окружена всяческой заботой и уютом, и устремилась за тем человеком, к которому воспылала столь безотчетным чувством. Что может быть прискорбнее, — дрожащим голосом воззвал клиент, — чем распад семьи из-за вздорной женской прихоти?

Поверенный Гуч осторожно согласился, что прискорбнее ничего быть не может.

— А тот человек, который ей понадобился, — добавил посетитель, — он ей не сможет дать счастья. Она думает, что сможет, но это просто пустое и вздорное самообольщение. Да, они с мужем во многом не сходятся, но только он способен ограждать ее отзывчивую и недюжинную натуру. Она лишь на время перестала это понимать.

— А вам не кажется, что логическим выходом из данного положения был бы развод? — осведомился поверенный Гуч, на взгляд которого разговор отклонился от дела.

— Развод? — вскричал клиент с дрожью, почти со слезами в голосе. — Нет, нет — только не это! Я читал, мистер Гуч, как вы неоднократно, с терпением, добротой и пониманием примиряли рассорившихся супругов и возвращали их в лоно семьи. Оставим гипотетический случай: мне больше нет нужды скрывать, что я в этой печальной истории пострадал больше всех; вот имена замешанных — Томас

Р. Биллингс с супругой и Генри К. Джессап, тот, которым она безрассудно увлеклась.

Клиент номер три возложил руку на плечо мистера Гуча. В его измученном лице проступило глубокое чувство.

— Ради всего святого,— взмолился он,— помогите мне в этот трудный час. Разыщите миссис Биллингс и убедите ее прекратить эту злосчастную погоню за своей плачевной прихотью. Скажите ей, мистер Гуч, что супруг ждет ее с распростертыми объятиями у семейного очага — в общем, обещайте ей что угодно, лишь бы она вернулась. Я слышал, вам удаются такие дела. Миссис Биллингс должна быть где-нибудь неподалеку. Я уже так наездился — с ног падаю от усталости. В пути я дважды видел ее, но поговорить никак не удавалось. Может, вы сделаете это за меня, мистер Гуч, — и наградой вам будет моя нескончаемая благодарность?

— Действительно,— сказал поверенный Гуч, слегка поморщившись от последних слов, но тут же приняв выражение благопоспешствующее,— во многих случаях мне удавалось убедить стороны, искавшие расторжения семейных уз, пересмотреть свои скороспелые намерения и сохранить семью. Но позвольте вас заверить, что такая задача зачастую невероятно трудна. Если бы вы представляли, сколько здесь требуется уговоров, настояний и, смею сказать, красноречия,— вы бы поразились. В данном случае, правда, мои симпатии целиком на известной стороне. Я глубоко сочувствую вам, сэр, и с превеликой радостью был бы свидетелем воссоединения супругов. Но мое время,— заключил поверенный, как бы опомнившись и вытащив часы,— дорого.

— Я это прекрасно понимаю,— заверил клиент,— и если вы возьметесь за это дело и убедите миссис Биллингс вернуться домой и прервать погоню за тем, другим мужчиной,— как только это случится, я выплачу вам тысячу долларов. Я кое-что заработал на этом недавнем буме с недвижимостью в Сьюзенвилле, и за такой суммой не постою.

— Будьте добры, посидите здесь несколько минут,— сказал поверенный Гуч, поднявшись и снова справившись с часами.— В соседней комнате меня ожидает клиент, я о нем едва не забыл. Я совершенно незамедлительно вернусь к вам.

Ситуация была очень по душе поверенному Гучу с его любовью к хитростям и каверзам. Он упивался такими деликатными и многообещающими делами. Ему нравилось чувство-

вать себя властителем счастья и судеб троих людей, рассказанных по его кабинетам в полном неведении друг о друге. В уме у него всплыло старое сравнение с кораблем. Сейчас оно, впрочем, не подходило, ибо затопление всех трюмных отсеков настоящего корабля кончилось бы плохо; у него же все отсеки были полны, а между тем его груженный делами корабль безмятежно плыл к уютной гавани славного, тучного гонорара. Оставалось, разумеется, выяснить, как выгоднее распорядиться своим беспокойным грузом.

Сначала он крикнул рассыльному:

— Запри входную дверь, Арчибальд, и ничего больше не впускай.

Затем он неслышными и широкими шагами устремился в комнату, где ожидал клиент номер один, который терпеливо сидел и разглядывал фотографии в иллюстрированном журнале, держа сигару в зубах и водрузив ноги на столик.

— Ну как,— весело бросил он навстречу поверенному,— что надумали? Хватит вам пятисот долларов за избавление прекрасной дамы?

— Это в виде задатка? — мягко осведомился поверенный Гуч.

— Как? Не-ет; за все, на круг. А что, мало, что ли?

— Меня устроили бы,— сказал поверенный Гуч,— тысяча пятисот долларов. Пятисот сейчас, а остальное после развода.

Клиент номер один громко присвистнул. Он спустил ноги на пол.

— Нет, так у нас не пойдет,— сказал он, поднимаясь.— Пятисот долларов я отхватил, когда в Сьюзенвилле началась заваруха с недвижимостью. Я, конечно, на все пойду, чтобы освободить даму, но это мне не по карману.

— А что вы скажете насчет тысячи двухсот долларов? — вкрадчиво спросил поверенный.


— Пятисот — это мое последнее слово. Ладно, поищем юриста подешевле.

Клиент надел шляпу.

— Сюда, пожалуйста,— сказал поверенный Гуч, отворяя дверь в коридор.

Джентльмен выплеснулся из отсека и хлынул по лестнице, а поверенный Гуч в душе улыбнулся.

— Те же без мистера Джессапа,— процедил он, поправив



завиток над ухом и приняв портретный вид миротворца.— Вернемся к безутешному мужу.

Он возвратился в средний кабинет и повел дело напрямую.

— Я вас понял так,— сказал он клиенту номер три,— что вы готовы уплатить тысячу долларов, если и поскольку я изыщу средство побудить миссис Биллингс вернуться к семейному очагу и оставить слепое преследование того человека, к которому она прониклась столь неодолимым чувством. На этих условиях мне вручаются все полномочия. Так или не так?

— Именно так,— был поспешный ответ.— Деньги в любое время в течение двух часов.

Поверенный Гуч выпрямился во весь рост. Его тощая фигура раздалась, как на дрожжах. Его большие пальцы устроились в проймах жилета. Лицо его привычно выразило неподдельное душевное участие.

— В таком случае, сэр,— ласково сказал он,— я, вероятно, могу пообещать вам скорейшее облегчение ваших невзгод. Я в достаточной мере полагаюсь на свою способность к разъяснениям и уговорам, на естественное стремление человеческого сердца к добру и на воздействие незыблемой любви супруга. Миссис Биллингс, сэр, находится здесь, за этой дверью,— и длань поверенного простерлась к соседней комнате,— я сейчас же призову ее, и наши обоюдные увещевания не могут не возыметь...

Поверенный Гуч осекся, ибо клиента номер три словно стальной пружиной выбросило из кресла вместе с подхваченным чемоданчиком.


— Что за черт! — силло выкрикнул он.— Что вы хотите сказать? Я думал, что обогнал ее миль на сорок.

Он ринулся к открытому окну, глянул вниз и закинул ногу за подоконник.

— Остановитесь! — в изумлении воскликнул поверенный Гуч.— Что с вами? Одумайтесь, мистер Биллингс, пожалейте свою заблудшую, но невинную жену. Совместными усилиями мы непременно...

— Биллингс?! — дико завопил клиент.— Я тебе сейчас покажу Биллингса, старая ты балда!

Он с размаху запустил чемоданчик в голову поверенному и угодил ему в самую переносицу. Ошеломленный миротворец попятился шага на два; когда в глазах у него прояс-



нилось, клиента не было. Поверенный Гуч бросился к окну и увидел, как отступник спрыгнул со второго этажа на крышу сарая. Шляпа его откатилась, но он не стал ее поднимать, а соскочил с десятифуговой высоты в проулок, стрелой домчался до ближайшего здания и скрылся из виду.

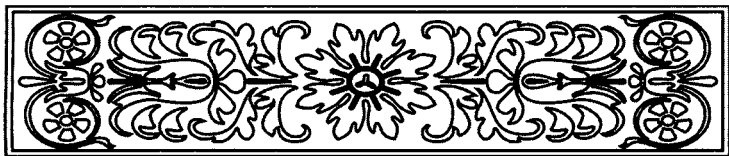
Поверенный Гуч провел по лбу дрожащей рукой. У него было такое обыкновение: так он прояснял мысли. А может быть, он заодно решил потерять то место, где его стукнуло очень твердым чемоданчиком крокодиловой кожи.

Распахнутый чемоданчик лежал на полу, вывалив свое содержимое. Поверенный Гуч стал машинально поднимать предмет за предметом. Сначала попался воротничок, и всевидящий глаз законника с удивлением обнаружил на нем инициалы Г. К. Дж. Он подобрал гребешок, головную щетку, свернутую карту и кусок мыла.

И наконец — пачку старых деловых писем, и все они были адресованы «Генри К. Джессапу, эсквайру».

Поверенный Гуч закрыл чемоданчик и поставил его на стол. Он с минуту поколебался, затем надел шляпу и вышел в переднюю к рассыльному.

— Арчибальд,— кротко сказал он, отворяя наружную дверь,— я ушел в суд. Ты через пять минут пойдешь скажи даме, которая там дожидается,— и тут поверенный Гуч выразился попросту,— что дело ее не выгорит.



ШИФР КЭЛЛОУЭЯ

Нью-йоркская газета «Энтерпрайз» направила Г. Б. Кэллоуэя в качестве собственного специального корреспондента на русско-японско-портсмутскую войну.

Два месяца Кэллоуэй проторчал в Иокогаме и в Токио, где проводил время в игре в кости с другими корреспондентами на чаевые для местных рикш, так как прокатиться на них было одним удовольствием; в общем он не отработывал ту зарплату, которую ему платила газета. Но ведь не по собственной же вине. Маленькие коричневые человечки, дергающие своими пальцами веревочки Судьбы, еще не были готовы заставить читателей «Энтерпрайза» совмещать свой завтрак из бекона с яйцами с битвами потомков богов.

Но вскоре колонна корреспондентов, которой предстояло выступить с Первой армией, затянула потуже свои боевые ремни и отправилась в Ялу с генералом Куроки. В ее составе был и Кэллоуэй.

Нет, перед вашими глазами не рассказ о сражении при реке Ялу. Об этом подробно было рассказано многими корреспондентами, храбро наблюдавшими за облачками разрывов шрапнели с расстояния в три мили. Однако ради справедливости заметим, что не из-за собственной трусости, нет, ближе им запретило приближаться японское командование.

Свой подвиг Кэллоуэй совершил до сражения. Он прислал в редакцию «Энтерпрайза», самое сенсационное сообщение с фронта, опередив всех своих коллег. В результате газета опубликовала эксклюзивный подробный отчет о проведенной атаке на позиции русского генерала Засулича в тот день, когда она, эта атака, и была предпринята. Ни одна другая газета не смогла напечатать ни строчки об этом сражении в течение двух дней с начала боев, кроме разве что одной лондонской, но притом, что все, что она опубликовала, оказалось абсолютной выдумкой и ни в коей мере



не соответствовало действительности. Кэллоуэю удалось отличиться, несмотря на то что генерал Куроки совершал свои маневры и осуществлял свои боевые планы с величайшей секретностью, и никакая информация из его боевого лагеря во внешний мир не просачивалась.

Всем корреспондентам было строго-настрого запрещено отправлять любые сообщения относительно его планов, а любое разрешенное для отсылки сообщение подвергалось жесточайшей цензуре.

Корреспондент лондонской газеты составил каблограмму с описанием планов Куроки, но так как в ней все было неверно с начала до конца, то цензор, ухмыльнувшись, пропустил ее.


И так вот какая существовала диспозиция — на одном берегу реки Ялу находился Куроки со своими сорока двумя тысячами пехотинцев, пятью тысячами кавалеристов и ста двадцатью четырьмя орудиями. На другом берегу встречи с ними ожидал генерал Засулич, располагавший двадцатью тремя тысячами солдат, которым предстояло оборонять довольно протяженный участок реки. Кэллоуэй раздобыл весьма важную информацию, которая, как он был уверен, заставит слететься весь штат «Энтерпрайза» на его каблограмму, как слетаются тысячи мух к стойке в Парк-роу, где торгуют сладким лимонадом. Кэллоуэй сделав все как надо, зажег свою трубку и присел на орудийный лафет, чтобы обо всем как следует поразмыслить. Здесь мы оставляем его, так как остальная часть нашего повествования будет посвящена Визи, тоже репортеру «Энтерпрайза», получавшему за свою работу шестнадцать долларов в неделю.

Каблограмму Кэллоуэя передали дежурному редактору в четыре часа пополудни. Тот трижды прочитал ее, после чего вытащил из ящика своего письменного стола небольшое зеркальце и внимательно стал изучать в нем свое отражение. Потом он подошел к столу своего заместителя Бойда и молча положил каблограмму перед ним.

— Это от Кэллоуэя, — сказал он. — Ну, что будем с этим делать?

Сообщение, отправленное с места боевых действий, имело следующее содержание:

«Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами начинается приглушенные слухи минируют темную тишину несчастный ричмонд существует великий запаль-



чивый скотина собирает спорящих страшных нищих и неоспоримых ангелов».

Бойд прочитал текст дважды.

— Либо это какой-то шифр, либо его хватил солнечный удар, — прокомментировал он.

— Вы когда-нибудь слышали в нашей редакции о каком-либо тайном шифре? — недоуменно спросил дежурный редактор, который работал на этом посту всего два года. Дежурные редакторы подолгу не работают.

— Нет, за исключением жаргона, на котором изъясняется одна дама, присылающая нам свои материалы, — ответил Бойд.

— Может, это акростих?

— Я тоже подумал о чем-то подобном, — сказал дежурный редактор, — Скорее всего, это какой-то код, это точно.

— Может, разделим слова на группы, — предложил Бойд. — Ну-ка помозгуем. — «Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами начинается» — нет, это не для меня. — «Приглушенные слухи минируют» — может, речь идет о подземном ходе. — «Темную тишину несчастный ричмонд», — неясно, для чего он так набросился на этот город. — «Существует великий запальчивый...» — нет, ни черта не выходит, Позовем-ка Скотта.

Редактор городского выпуска прибежал на их зов и тоже принял участие в разгадывании непонятной депеши. Этот редактор был гораздо более хватким работником и кое-что слышал об искусстве шифрования.

— Может, это шифровка, использующая алфавит наоборот, — предположил он. — «Р» здесь встречается гораздо чаще, скажем, чем «м». Если «р» на самом деле обозначает «е», то по частоте употребления можно транспонировать буквы и посмотреть, что у нас получится.

Скотт быстро минуты две что-то набрасывал на листке бумаги карандашом, потом продемонстрировал первое расшифрованное им слово — получилось «скейтзац».

— Замечательно! — воскликнул Бойд. — Скорее всего это шарада. А расшифрованное слово — имя какого-то русского генерала. Давай, жми дальше Скотт!

— Нет, ничего не получится, — сдался редактор городского выпуска. — Это, несомненно, какой-то особый код. Его нельзя прочитать не имея к нему ключа.

— Ну а я что говорю! — сказал дежурный редактор. — Ну-

ка поищите, может, найдете того, кто хоть что-то знает. Нужно это расшифровать. Вероятно, Кэллоуэй раскопал что-то очень важное, но цензор наложил свою лапу, иначе он не отправил бы свою каблограмму со всем этим вздором.

В редакции «Энтерпрайза» был запущен бредень, который должен был отловить таких сотрудников, которым было хоть что-то известно о шифровании либо в прошлом, либо в настоящем, в силу трезвости их ума естественной сообразительности, начитанности или стажа работы. Все они собрались в одной большой комнате вокруг возглавившего расшифровку дежурного редактора. Но никто из них даже краем уха не слышал ни о каком коде. Все они наперебой стали объяснять главному дознавателю, что в газетах никогда не пользуются ни шифрами, ни кодами. Ну разве что в Ассошиэйтед пресс, но это главным образом аббревиатуры и...

Дежурный редактор и сам об этом прекрасно знал, о чем тут же и заявил. Он спросил у каждого, сколько он работает в газете. И тут выяснилось, что никто из присутствующих не проработал и шести лет, а вот Кэллоуэй — целых двенадцать!

— Ну-ка позовите старика Хеффельбауэра, — предложил дежурный редактор. — Он работал здесь, когда Парк-роу был еще огородом, на котором росла картошка.

Хеффельбауэр сам по себе был социальным институтом. Он был полупривратником, полусторожем, полумастером на все руки, главным, куда пошлют, — в общем, являлся незаменимым универсальным лекалом для тридцати одного портного. Когда он пришел, его распирало от гордости за оказанное ему внимание.

— Хеффельбауэр, — обратился к нему дежурный редактор, — вы когда-нибудь слышали о шифре или коде в нашей газете?

— Да, — ответил Хеффельбауэр, — конечно, знаю, что за козл. Около двенадцати или даже пятнадцати лет назад в редакции на самом деле был свой козл. Репортеры в отделе городских новостей им очень даже занимались.

— А! — воскликнул дежурный редактор. — Кажется, мы на верном пути. Где же он хранится? Хеффельбауэр, что вам известно о нем?

— Иногда он находился в маленькой комнатке за библиотекой, — ответил он.

— Вы можете его найти? Вы знаете, где он?

— Майн готт! — воскликнул Хеффельбауэр. — Как вы думаете, сколько может жить несчастный козл? Репортеры любили наш козл, но однажды он боднул главного редактора и...

— Да он говорит о каком-то козле, — догадался наконец Бойд. — Ну-ка убирайтесь отсюда, Хеффельбауэр.

И вновь возрадовавшиеся было коллективный ум и коллективная находчивость «Энтерпрайза» были направлены на разгадывание ребуса Кэллоуэя, но, как и прежде, с тем же нулевым результатом.

И вот в комнату вошел Визи.

Визи был молодым репортером обладавшим выпуклой грудью шириной в двадцать два дюйма. Он носил воротничок четырнадцатого размера, его костюм из яркой шотландки не оставлял никаких сомнений в отношении его происхождения. Его манера носить шляпу привлекала массу любопытных, ходивших за ним по пятам только затем, чтобы посмотреть, как он ее будет снимать; все они были уверены, что она висит на кольшке, вбитом ему в голову. Он всегда ходил с большой узловатой палкой из твердой породы дерева с немецким серебряным набалдашником на кривой ручке. В довершение всего Визи был самым энергичным фотографом в газете. Скотт утверждал, что любой человек на свете, который мечтал о личном триумфе, должен был только ради этого оказаться перед объективом Визи. Визи сам готовил свои новостные репортажи, за исключением чересчур больших, которые отдавал для доработки редакторам. Если судить по его скетчам, то ничто на земле — ни ее обитатели, ни храмы, ни рощи, ни города, ни села никогда не могли озадачить Визи.

Визи, ворвавшись в тесную компанию разгадывателей шифра Кэллоуэя, как «козл» Хеффельбауэра, немедленно поинтересовался, чем это занимается столь представительное собрание. Кто-то стал ему объяснять, с налетом той снисходительности, которую сотрудники редакции проявляли к нему. Визи протянул руку и бесцеремонно взял каблограмму из рук дежурного редактора. Он, видимо, родился под счастливой звездой, ибо и в этот раз, как и много раз ранее, его дерзость осталась безнаказанной.

— Но это ведь шифр, — сказал Визи. — У кого-нибудь есть к нему ключ?

— У редакции нет никакого своего шифра, — произнес Бойд, пытаясь выхватить каблограмму назад. Но Визи ее не выпускал.

— В таком случае, старина Кэллоуэй ожидает, что мы сможем прочесть то, что он нам прислал. Он, вероятно, оказался в безвыходном положении, и, по-видимому все это придумал из-за цензуры. Но мне это по плечу. Черт подери! Мне хотелось бы, чтобы он и мне прислал что-то в этом роде. Ну, мы же не можем подвести его, верно? «Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами...» гм-гм.

Визи, устроившись на краешке стола, стал внимательно изучать каблограмму, что-то чуть слышно напевая.

— Ну-ка верните документ, — разозленно сказал дежурный редактор. — Нам нужно с ним работать.

— Кажется, я ухватил суть, — сказал Визи, — дайте мне минут десять.

Он подошел к своему рабочему столу, бросил шляпу в мусорную корзину, разлегся на нем своей широкой грудью, словно довольная ящерица, и его карандаш забегал по листку бумаги. Весь коллективный ум, вся коллективная мудрость «Энтерпрайза» дружно заулыбался, многозначительно кивая головами в сторону Визи. Потом обмен теориями по поводу шифровки продолжился.

Визи понадобилось ровно пятнадцать минут. Он встал и подал выпускающему редактору свой блокнот с записанным в нем ключом.

— Я сразу ухватил суть, стоило мне только бросить первый взгляд, — сказал Визи. — Ура старику Кэллоуэю! Он объегорил японцев и любую другую газету мира, которые печатают макулатуру вместо новостей. Ну-ка посмотрите вот на это!

И Визи стал читать присутствующим ключ к коду:

— Предрешенный — заключение

Установленный — установление

Погоня — действие

Ведьмы — полночь

Начинается — бесспорно

Приглушенные — донесения

Слухи — по слухам

Минировать — хозяин

Темный — лошадь

Тишина — большинство

Несчастный — пешеходы

Ричмонд — в поле

Великий — Белый путь

Запальчивый — условия

Скотина — сила

Собирает — несколько

Спорящих — спорящие

Страшных — времена

Нищие — описание

И — корреспондент

Неоспоримых — факт.

Ангел — невзначай

— Речь идет всего лишь о газетном английском, — объяснил Визи. — Я достаточно долго работал репортером в «Энтерпрайзе» и все давно выучил наизусть. Старина Кэллоуэй дает нам ключевое слово, и мы, совершенно естественно, используем его, как используем в газете. Ну, прочтите и увидите, как все славно становится на свои места. Ну, вот вам текст того сообщения, которое он нам передал. — Визи протянул редактору другой листок. — «Установленно, пришли к заключению действовать, несомненно, в полночь. В донесении сообщается, что крупные массы кавалерии и подавляющая по численности сила пехоты будут брошены на поле боя. Условия белые. Действия оспариваются только немногими. Проверьте сообщение в «Таймс», ее корреспондент невзначай перепутал факты».

— Как здорово! — возбужденно воскликнул Бойд. — Сегодня ночью Куроки форсирует Ялу и атакует неприятеля. Нет, мы ничего не сообщим газетам, которые занимаются выкладками Аддисона, сделками с недвижимостью и ставками в матчах по боулингу.

— Мистер Визи, — обратился к нему дежурный редактор в своей панибратской манере, словно он оказывает ему своим вниманием невероятное одолжение, — вы заставили нас серьезно задуматься над литературными стандартами, которые использует газета, в которой вы работаете. К тому же вы помогли нам с финансовой стороны, расшифровав для нас самую большую сенсацию года. Через день-другой я сообщу вам, как мы поступим с вами, — либо уволим, либо оставим в редакции, повысив зарплату. Пришлите-ка ко мне Эймса.

Эймс был «королем», маргариткой с белоснежными лепестками, яркой звездой в среде журналистов-переписчи-

ков. Он мог увидеть попытку убийства в коликах от съеденных незрелых яблок, циклон в легком летнем зефире, пропавших детишек в компании изнывающих от безделья уличных пацанов, восстание угнетенных народных масс в каждой брошенной с тротуара картофелине в проезжающий мимо автомобиль. Когда Эймс не занимался своим делом, то есть перелицеванием чужих статей, он обычно сидел на крыльце своего дома в Бруклине и играл в шахматы с десятилетним сыном.

Эймс с военным редактором вошли в комнату. На стене в ней висела карта, сплошь утыканная маленькими булавками с флажками, которые обозначали собой различные армии и дивизии. У всех присутствующих уже давно чесались руки, чтобы передвинуть эти булавки по изогнутой линии Ялу. Теперь наконец это можно было сделать благодаря пламенным словам Эймса, краткое сообщение Кэллоуэя превратилось в литературный шедевр на первой полосе, который завтра должен был заставить заговорить весь мир. В статье рассказывалось о тайных совещаниях японских офицеров, дословно приводились зажигательные речи генерала Куроки, был перечислен до последнего солдата, до последней лошади весь личный состав пехоты и кавалерии; подробно описано быстро возведенное замысловатое укрепление на мосту в Сиукаухене, через который устремлялись в атаку легионы микадо на позиции застигнутого врасплох генерала Засулича, войска которого были рассеяны вдоль всего берега реки. Ну а сражение! О чем тут говорить! Какое сражение может представить на бумаге Эймс, если только дать понюхать запах депеши с поля сражения! В той же статье, демонстрируя свои сверхъестественные знания, он злобно и ехидно высмеял самую глубокую и самую могущественную газету в Англии за ее ложный, вводящий в заблуждение отчет о предстоящем сражении Первой японской армии в их номере от того же числа.

Была допущена только одна-единственная ошибка, и то, по-видимому, по вине оператора, отсылавшего каблогранму. Кэллоуэй указал на нее после своего возвращения. Слово «великий» в его тексте должно было означать «залог», а дополнительные слова означали «сражение». Но когда Эймс наткнулся на слова «условия белые», то он понял их смысл как «снег». Его описание японской армии, которая прокладывала себе путь через снежную пургу, которая слепила



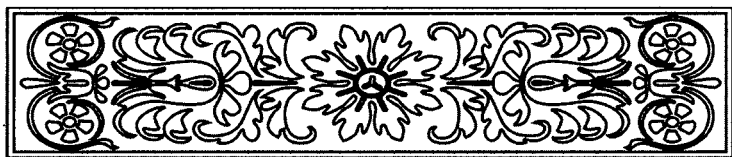
бойцов своими снежными хлопьями, на самом деле отличалось поразительной живостью. Художники представили очень убедительные иллюстрации, которые стали настоящей сенсацией, особенно те, на которых изображалось, как японские артиллеристы перетаскивали свои орудия по льду. Но так как атака была проведена первого мая, то «белые условия» вызвали некоторое замешательство у ряда читателей. Но для «Энтерпрайза» это уже не имело никакого значения.

Все было просто чудесно. И сам Кэллоуэй был чудо как хорош — ведь он смог убедить своей абракадаброй японского цензора, что его послание означает лишь жалобу на нехватку новостей и просьбу о высылке денег на карманные расходы. И Визи был просто прелесть. Но прекраснее всего были все эти слова, и как они завязывают тесные узы дружбы друг с дружкой и не расстаются до тех пор, пока не заполняют собой объявление о смерти.

На второй после описанного события день редактор городского выпуска остановился перед рабочим столом Визи, за которым репортер как раз сочинял рассказ о том, как какой-то бедолага сломал себе ногу, упав в яму с углем. Эймсу потом, правда, не удалось увидеть в этом попытку убийства.

— Старик говорит, что твое жалованье будет повышено до двадцати долларов в неделю, — сказал Скотт.

— Очень хорошо, — ответил Визи. — Каждый цент — все доход. Скажите, мистер Скотт, как будет, на ваш взгляд, лучше сказать: «Мы можем утверждать это, не опасаясь за успешные противоречия», или: «В целом можно довольно безопасно предположить»?



ВОПРОС ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Однажды зимой оперная труппа театра «Альказар» из Нового Орлеана, в надежде поправить свои обстоятельства, совершала турне по Мексиканскому, Центрально и Южноамериканскому побережью. Предприятие это оказалось весьма удачным. Впечатлительные испано-американцы, большие любители музыки, всюду осыпали артистов долларами и оглушали их криками «vivas!». Антрепренер раздобыл телом и умягчился духом. Только неподходящий климат помешал ему возложить на себя видимый знак своего благополучия — меховое пальто со шнурами, наружными петлями и обшитыми сутажем пуговицами. От полноты чувств он чуть было даже не повысил жалованье актерам, но вовремя опомнился и могучим усилием воли победил порыв к столь бесприбыльному выражению радости.

Самый большой успех гастролеры имели в Макуто, на побережье Венесуэлы. Представьте себе Кони-Айленд, переведенный на испанский язык, и вы поймете, что такое Макуто. Модный сезон продолжается от ноября до марта. Из Ла-Гуайры, Каракаса, Валенсии и других городов внутри страны стекаются сюда все, кто хочет повеселиться. К их услугам разнообразные развлечения — купанье в море, фиесты, бои быков, сплетни. И все эти люди одержимы страстью к музыке, которую оркестры, играющие — один на площади, другой на взморье — могут только разбередить, но не насытить. Понятно, что прибытие оперной труппы было встречено с восторгом.


Знаменитый Гусман Бланке, президент и диктатор Венесуэлы, вместе со своим двором проводил зимний сезон в Макуто. Этот могущественный правитель, по чьему личному распоряжению оперному театру в Каракасе выдавалась ежегодная субсидия в сорок тысяч песо, приказал освободить один из правительственных складов и временно переоборудовать его под театр. Быстро воздвигли сцену, для



зрителей сколотили деревянные скамьи, для президента и высших чинов армии и гражданской администрации построили несколько лож.

Труппа пробыла в Макуто две недели. На всех представлениях зал был набит битком. Даже на улице перед театром сотнями толпились обожатели музыки и дрались из-за места поближе к растворенной двери и открытым окнам. Зрительный зал являл собой необычайно пеструю картину. Тут были представлены все возможные оттенки человеческой кожи: вперемежку сидели светло-оливковые испанцы, желтые и коричневые метисы, черные как уголь негры с берегов Карибского моря и с Ямайки. Кое-где, небольшими кучками, вкраплены были индейцы с лицами, как у каменных идолов, закутанные в яркой расцветки шерстяные одеяла — индейцы из дальних округов — Саморы, Лос-Андес и Миранды, спустившиеся с гор к морю, чтобы в прибрежных городах обменять на товары намытый в ущельях золотой песок.

На этих выходцев из неприступных горных твердынь музыка оказывала потрясающее действие. Они слушали, оцепенев от восторга, резко выделяясь среди экспансивных жителей Макуто, которые для выражения своих чувств щедро пускали в ход и язык и руки. Только однажды сумрачный экстаз этих исконных насельников страны проявился вовне. Во время представления «Фауста» Гусман Бланке, очарованный арией Маргариты, роль которой, как значилось на афише, исполняла мадемуазель Нина Жиро, бросил на сцену кошелек с червонцами. Другие видные граждане по его примеру тоже стали кидать золотые монеты, сколько кому не жаль, и даже некоторые из прекрасных сеньор, присутствовавших в театре, решились, сняв с пальчика кольцо или отстегнув брошку, бросить их к ногам примадонны. Тогда-то в разных углах зала начали вставать суровые жители гор и швырять на сцену серые и коричневые мешочки, которые шлепались об пол с мягким, глухим отзвуком. Конечно, только радость от мысли, что ее искусство получило признание, заставила так ярко заблестать глаза мадемуазель Жиро, когда она у себя в уборной стала развязывать эти кожаные мешочки и обнаружила, что они содержат полноценный золотой песок. Если так, то что ж, радость ее была вполне законна, ибо голос мадемуазель Жиро, чистый, сильный и гибкий, безукоризненно передававший все от-



тенки чувств, волновавших впечатлительную душу артистки, без сомнения, заслуживал той оценки, которую ему дали слушатели.

Но не триумфы оперной труппы «Альказар» являются темой нашего рассказа: они лишь слегка соприкасаются с ней и сообщают ей колорит. Дело в том, что за эти дни в Макуто произошло трагическое событие, пригасившее на время общее веселье и оставшееся неразрешимой загадкой.


Однажды под вечер, за короткий час между закатом солнца и тем мгновением, когда примадонне полагалось явиться на подмостках в черно-алом наряде пылкой Кармен, мадемуазель Нина Жиро бесследно исчезла. Шесть тысяч пар глаз, устремленных на сцену, шесть тысяч нетерпеливо бившихся сердец остались неудовлетворенными. Поднялась суматоха. Посланцы помчались в маленький французский отель, где жила певица. Другие устремились на пляж, где она могла замешкаться, увлекшись купанием или задремав под тентом. Но все поиски были тщетны. Мадемуазель словно сквозь землю провалилась.

Прошло еще полчаса. Диктатор, не привычный к капризам примадонн, начал проявлять нетерпение. Он послал своего адъютанта передать антрепренеру, что, если занавес не будет сию же минуту поднят, всю труппу незамедлительно отправят в тюрьму, хотя мысль о необходимости прибегнуть к таким мерам наполняет скорбью сердце президента. В Макуто уметь заставить птичек петь.

Антрепренер временно отложил всякие надежды на мадемуазель Жиро. Одна из хористок, годами мечтавшая о таком счастливом случае, срочно преобразилась в Кармен, и представление началось.

Примадонна не отыскалась, однако, и на другой день. Тогда актеры обратились за помощью к властям. Президент немедленно отрядил на розыски полицию, армию и всех граждан. Но тайну исчезновения мадемуазель Жиро не удалось раскрыть. Труппа отбыла из Макуто выполнять свои контракты в других городах на побережье.

На обратном пути, во время стоянки парохода в Макуто, антрепренер съехал на берег и еще раз навел справки. Напрасно! Следов пропавшей так и не нашли. Что было делать? Вещи мадемуазель Жиро оставили в отеле на случай ее возможного возвращения, и труппа продолжала свой путь на родину.



На camino real¹, тянувшейся вдоль берега, стояли четыре вьючных и два верховых мула донья сеньора Джонни Армстронга, терпеливо ожидая, пока щелкнет бич их *argiero*², Луиса. Это должно было послужить сигналом для выступления в долгий путь по горам. Вьючные мулы были загружены разнообразным ассортиментом скобяных товаров и ножевых изделий. Эти товары дон Джонни продавал индейцам, получая взамен золотой песок, который те намывали в сбегających с Анд горных реках и хранили в гусиных перьях и в кожаных мешочках, пока не прибывал к ним Джонни, совершая свою очередную поездку. Коммерция эта была очень выгодной, и сеньор Армстронг рассчитывал в ближайшем будущем приобрести ту кофейную плантацию, к которой давно присматривался.

Армстронг стоял на узком тротуарчике и обменивался изысканными прощальными приветствиями на испанском языке со старым Перальго, богатым местным купцом, только что содравшим с него втридорога за полгросса кухонных ножей, и краткими английскими репликами с Руккером, маленьким немцем, исполнявшим в Макуто обязанности консула Соединенных Штатов.

— Да пребудет с вами, сеньор,— говорил Перальго,— благословение святых угодников во время долгого вашего пути. Уповайте на милость Божию.

— Пейте-ка лучше хинин,— пробурчал Руккер, не выпуская трубки изо рта.— По два грана на ночь. И не пропадайте надолго. Вы нам нужны. Этот Мелвил омерзительно играет в вист, а заменить его некем. Auf Wiedersehen³, и смотрите между мула ушами, когда по пропасти краю ехать будете.


Зазвенели бубенчики на сбруе переднего мула, и караван тронулся. Армстронг помахал рукой провожающим и занял свое место в хвосте процессии. Шажком поднялись они по узкой улочке мимо двухэтажного деревянного здания, пышно именуемого «Hotel Inglés»⁴, где Айвз, Доусон, Ричмонд и прочая братия предавались безделью на широкой веранде, перечитывая газеты недельной давности. Все они подошли к перилам и дружески напутствовали Джонни кто умными,

¹ Большая дорога, главная улица (*исп.*).

² Погонщик мулов (*исп.*).

³ До свидания (*нем.*).

⁴ Английский отель (*исп.*).



кто глупыми советами. Не спеша протрусили мулы по площади мимо бронзового памятника Гусману Бланке в ограде из ошестинившихся штыками трофейных винтовок, отнятых у повстанцев, и выбрались из города по кривым переулкам, где возле крытых соломою хижин, не стыдясь своей наготы, резвились юные граждане Макуго. Далее караван нырнул под влажную тень банановой рощи и снова вынырнул на яркий солнечный свет у искрящегося потока, где коричневые женщины в весьма скудной одежде стирали белье, безжалостно трепля его о камни. Затем путники, переправившись через речку вброд, двинулись в гору по крутой тропе и надолго распрощались даже с теми скромными элементами цивилизации, коими дано было наслаждаться жителям приморской полосы.

Не одну неделю провел Армстронг в горах, следуя, под водительством Луиса, по обычному своему маршруту. Наконец, после того как он набрал аррбу¹ драгоценного песка, что составляло пять тысяч долларов чистой прибыли, и выюки на спинах мулов значительно облегчились, караван повернул обратно. Там, где из глубокого ущелья выбегает река Гуарико, Луис остановил мулов.

— Сеньор,— сказал он,— меньше чем в одном дневном переходе отсюда есть деревушка Такусам, где мы еще ни разу не бывали. Там, я думаю, найдется много унций золота. Стоит попробовать.

Армстронг согласился, и они опять двинулись в гору. Узкая тропа, карабкаясь по кручам, шла через густой лес. Навдвигалась уже ночь, темная, мрачная, как вдруг Луис опять остановился. Перед путниками, преграждая тропу, разверзалась черная, бездонная пропасть.

Луис спешился.

— Тут должен быть мост,— сказал он и побежал куда-то вдоль обрыва.— Есть, нашел! — крикнул он из темноты и, вернувшись, снова сел в седло. Через несколько мгновений Армстронг услышал грохот, как будто где-то во мраке били в огромный барабан. Это гремяли копыта мулов по мосту из туго натянутых бычьих кож, привязанных к поперечным шестам и перекинутых через пропасть. В полумиле отсюда была уже Такусам. Кучка сложенных из камней и обмазанных глиной лачуг ютилась в темной лесной чаще.

¹ Испанская мера веса — 11,5 кг.



Когда всадники подъезжали к селению, до их ушей внезапно долетел звук, до странности неожиданный в угрюмой тишине этих диких мест. Великолепный женский голос, чистый и сильный, пел какую-то звучную, прекрасную арию. Слова были английские, и мелодия показалась Армстронгу знакомой, хотя он и не мог вспомнить ее названия.

Пение исходило из длинной и низкой глинобитной постройки на краю деревни. Армстронг соскочил с мула и, подкравшись к узкому оконцу в задней стене дома, осторожно заглянул внутрь. В трех футах от себя он увидел женщину необыкновенной, величественной красоты, закутанную в свободное одеяние из леопардовых шкур. Дальше тесными рядами сидели на корточках индейцы, заполняя все помещение, кроме небольшого пространства, где стояла женщина.

Она кончила петь и села у самого окна, как будто ловя струю свежего воздуха, только здесь проникавшего в душную лачугу. Едва она умолкла, как несколько слушателей вскочили и принялись бросать к ее ногам маленькие мешочки, глухо шлепавшиеся о земляной пол. Остальные разразились гортанным ропотом, что у этих сумрачных меломанов было, очевидно, равносильно аплодисментам.


Армстронг привык быстро ориентироваться в обстановке. Пользуясь поднявшимся шумом, он тихо, но внятно проговорил:

— Не оборачивайтесь. Слушайте. Я американец. Если вам нужна помощь, скажите, как вам ее оказать. Отвечайте как можно короче.

Женщина оказалась достойной его отваги. Только по внезапно вспыхнувшему на ее щеках румянцу можно было судить, что она слышала и поняла его слова. Затем она заговорила, почти не шевеля губами:

— Эти индейцы держат меня в плену. Видит бог, мне нужна помощь. Через два часа приходите к хижине в двадцати ярдах отсюда, ближе к горному склону. Там будет свет, на окне красная занавеска. У дверей всегда стоит караульный, его придется убрать. Ради всего святого, не покидайте меня.


Приключения, битвы и тайны как-то не идут к нашему рассказу. Тема, которую мы избрали, слишком деликатна для этих грубых и воинственных мотивов. И, однако, она стара как мир. Ее называли «влиянием среды», но разве такими бледными словами можно описать то неизъяснимое родство между человеком и природой, то загадочное брат-



ство между нами и морской волной, облаками, деревом и камнем, в силу которого наши чувства покоряются тому, что нас окружает? Почему мы настраиваемся торжественно и благоговейно на горных вершинах, предаемся лирическим раздумьям под тенью пышных рощ, впадаем в легкомысленное веселье и сами готовы пуститься в пляс, когда сверкающая волна разливается по отмели? Быть может, протоплазма... Но довольно! Этим вопросом занялись химики, и скоро они всю жизнь закуют в свою таблицу элементов.

Итак, чтобы не выходить из пределов научного изложения, сообщим только, что Армстронг пришел ночью к хижине, оглушил индейского стража и увез мадемуазель Жиро. Вместе с ней уехало из Такусамы несколько фунтов золотого песка, собранного артисткой за время своего вынужденного ангажемента. Индейцы Карабабо самые страстные любители музыки на всей территории между экватором и Французским оперным театром в Новом Орлеане. Кроме того, они твердо верят, что Эмерсон преподал нам разумный совет, когда сказал: «То, чего жаждет твоя душа, о человек, возьми и заплати положенную цену». Несколько из этих индейцев присутствовали на гастрольях оперного театра «Альказар» в Макуто и нашли вокальные данные мадемуазель Жиро вполне удовлетворительными. Они ее возжаждали, и они ее взяли — увезли однажды вечером, быстро и без всякого шума. У себя они окружили ее почетом и уважением, требуя только одного коротенького концерта в вечер. Она была очень рада тому, что мистер Армстронг освободил ее из плена. На этом кончаются все тайны и приключения. Вернемся теперь к вопросу о протоплазме.

Джон Армстронг и мадемуазель Жиро ехали по тропе среди горных вершин, овеванные их торжественным покоем. На лоне природы даже тот, кто совсем забыл о своем родстве с ней, с новой силой ощущает эту живую связь. Среди гигантских массивов, воздвигнутых древними геологическими переворотами, среди грандиозных просторов и безмерных далей все ничтожное выпадает из души человека, как выпадает из раствора осадок под действием химического реагента. Путники двигались медленно и важно, словно молящиеся во храме. Их сердца, как и горные пики, устремлялись к небу. Их души насыщались величием и миром.



Армстронгу женщина, ехавшая рядом с ним, казалась почти святыней. ореол мученичества, еще окружавший ее, придавал ей величавое достоинство и превращал ее женскую прелесть в иную, более возвышенную красоту. В эти первые часы совместного путешествия Армстронг испытывал к своей спутнице чувство, в котором земная любовь сочеталась с преклонением перед сошедшей с небес богиней.

Ни разу еще после освобождения не тронула ее уст улыбка. Она все еще носила мантию из леопардовых шкур, ибо в горах было прохладно. В этом одеянии она казалась принцессой, повелительницей этих диких и грозных высот. Дух ее был в согласии с духом горного края. Ее взор постоянно обращался к темным угесам, голубым ущельям, увенчанным снегами пикам и выражал такую же торжественную печаль, какую источали они. Временами она запевала *Te deum* или *Miserere*¹, которые как будто отражали самую душу гор и делали движение каравана подобным богослужбному шествию среди колонн собора. Освобожденная пленница редко роняла слово, как бы учась молчанию у окружающей природы. Армстронг смотрел на нее, как на ангела. Он счел бы святотатством ухаживать за ней, как за обыкновенной женщиной.


Спускаясь мало-помалу, на третий день они очутились в *tierra templada*² — на невысоких плато в предгорьях. Горы отступили, но еще высились вдаль, вздымая в небо свои грозные головы. Тут уже видны были следы человека. На расчищенных в лесу полянах белели домики посреди кофейных плантаций. На дороге попадались встречные всадники и вьючные мулы. На склонах паслись стада. В придорожной деревушке большеглазые *niños*³ приветствовали караван пронзительными криками.

Мадемуазель Жиро сняла свою мантию из леопардовых шкур. Это одеяние, так гармонизировавшее с духом высокогорья, здесь уже казалось несколько неуместным. И Армстронгу почудилось, что вместе с этой одеждой мадемуазель Жиро сбросила и частицу важности и достоинства, отличавших до сих пор ее поведение. Чем населеннее становилась местность, чем чаще встречались признаки цивилизации,

¹ «Тебе, Бога, хвалим» и «Помилуй нас, Боже» (*лат.*) — церковные песнопения, входящие в состав мессы.

² Страна умеренного климата (*исп.*).

³ Ребятишки (*исп.*).



говорившие о жизненных удобствах и уюте, тем ощутительнее делалась эта перемена в спутнице Армстронга. Он с радостью видел, что принцесса и священнослужительница превращается в простую женщину — обыкновенную, земную, однако не менее обаятельную. Слабый румянец заиграл на ее мраморных щеках. Под леопардовой мантией обнаружилось обычное платье, и мадемуазель Жиро принялась оправлять его с заботливостью, доказывавшей, что мужские взгляды ей не безразличны. Она пригладила свои разметавшиеся по плечам кудри. В ее глазах замерцал огонек интереса к миру и его делам, не смевший до сих пор разгореться в ледяном воздухе аскетических горных вершин.

Божество оттаивало — и сердце Армстронга забилося сильнее. Так бьется сердце у исследователя Арктики, когда он впервые видит зеленые поля и текучие воды. Очугившись на менее высоком уровне суши и жизни, путешественники поддались его таинственному, неуловимому влиянию. Их уже не обступали суровые скалы; воздух, которым они дышали, не был уже разреженным воздухом горных высот. Они ощущали на своем лице дыхание фруктовых садов, зреющих нив и теплого жилья — добрый запах дыма и влажной земли, — все, чем пытается утешить себя человек, отгораживаясь от мертвого праха, из которого он возник. В соседстве снежных вершин мадемуазель Жиро сама прониклась их замкнутостью и молчаливостью. А теперь — ужель это была та же самая женщина? Трепещущая, полная жизни и страсти, счастливая от сознания своей прелести, женственная до кончиков пальцев! Наблюдая эту метаморфозу, Армстронг чувствовал, что в душу его закрадывается смутное опасение. Ему хотелось остаться здесь, не пускать дальше эту женщину-хамелеона. Здесь была та высота и те условия, при которых проявлялось все лучшее в ее натуре. Он боялся спускаться ниже, на те уровни, где природа окончательно покорена человеком. Какие еще изменения терпит дух его возлюбленной в той искусственной зоне, куда они держат путь?

Наконец, с небольшого плато они увидели сверкающую полосу моря по краю зеленых низин. У мадемуазель Жиро вырвался легкий радостный вздох.

— Ах, посмотрите, мистер Армстронг! Море! Какая прелесть! Мне так надоели горы! — Она с отвращением перевернула плечиком. — И эти ужасные индейцы! Подумайте,



как я настрадалась! Правда, осуществилась моя мечта — быть звездой сцены, но вряд ли все-таки я возобновила бы этот ангажемент. Я так благодарна вам за то, что вы меня увезли. Скажите, мистер Армстронг, — только по совести! — я, наверно, бог знает на кого похожа? Я ведь целую вечность не гляделась в зеркало.

Армстронг дал ей тот ответ, который подсказывало ему изменившееся настроение. Он даже решился нежно пожать ее ручку, опиравшуюся на луку седла. Луис ехал в голове каравана и ничего не видел. Мадемуазель Жиро позволила руке Армстронга остаться там, куда он ее положил, и ответила ему улыбкой и взглядом, чуждым всякой застенчивости.

На закате солнца они совершили последнее нисхождение до уровня моря и ступили на дорогу, которая шла к Макуто под сенью пальм и лимонных деревьев, среди яркой зелени, киновари и охры *tierra caliente*¹. Они въехали в город и увидели цепочки беззаботных купальщиков, резвившихся среди пенных валов прибоя. Горы остались далеко-далеко позади.

Глаза мадемуазель Жиро искрились таким весельем, которое, конечно, было немыслимо для нее в те дни, когда ее блюли дуэньи в снеговых чепцах. Но теперь к ней зывали иные духи — нимфы апельсиновых рощ, наяды бурливого прибоя, бесенята, рожденные музыкой, благоуханием цветов, яркими красками земли и вкрадчивым шепотом человеческих голосов. Она вдруг звонко рассмеялась — видимо, ей пришла в голову забавная мысль.

— Ну и сенсация же будет! — воскликнула она, обращаясь к Армстронгу. — Жаль, что у меня сейчас нет ангажемента! А то какую рекламу можно бы состряпать! «Знаменитая певица в плену у диких индейцев, покоренных чарами ее соловьиного голоса!» Ну да ничего, я, во всяком случае, внакладе не осталась. Тысячи две долларов, пожалуй, будет в этих мешочках с золотым песком, что я набрала во время моего высокогорного турне? А? Как вы думаете?

Армстронг оставил ее у дверей маленького отеля «De Buen Descansar»², где она жила раньше. Через два часа он вернулся в отель и, подойдя к растворенной двери, заглянул в небольшой зал, служивший одновременно приемной и рестораном.

¹ Горячей земли (*исп.*).

² «Добрый отдых» (*исп.*).

На креслах и диванах расположились пять-шесть представителей светских и чиновных кругов Макуто. Сеньор Виллабланка, богач и концессионер, державший в руках местную каучуковую промышленность, сидел сразу на двух стульях, ибо на одном не умещались его жирные тела; масляная улыбка расплзалась по его коричневому, как шоколад, лицу. Горный инженер, француз Жильбер, умильно поглядывал сквозь сверкающие стекла пенсне. Представитель армии, полковник Мендес, в шитом золотом мундире, с самодовольной улыбкой деловито раскупоривал шампанское. Прочие сливки общества выламывались кто как умел и принимали эффектные позы. В воздухе было синё от дыма. Из опрокинутой бутылки на пол текло вино.

Посреди комнаты, словно королева на троне, восседала на столе мадемуазель Жиро. Свой дорожный костюм она уже успела сменить на шикарный туалет из белого муслина с вишневыми лентами. Краешек кружева, две-три оборки, розовый чулочек со стрелками, как бы невзначай выставившийся из-под юбки... На коленях мадемуазель Жиро держала гитару. Лицо ее сияло счастьем — то был свет восстания из мертвых, ликование воскресшей души, которая достигла, наконец, Элизинума, пройдя сквозь огонь и муки. Бойко аккомпанируя себе на гитаре, она пела:

*Вон на небо лезет красная луна,
Знать, она, голубушка, пьяным-пьяна,
Так давайте же стаканы наливать
И своих девчонок — эх! — послаще целовать!*

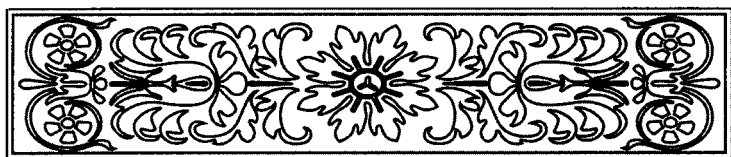
Тут певица заметила Армстронга.

— Эй! Эй! Джонни! — закричала она. — Где ты пропадаешь, я тебя уже целый час дожидаюсь. Скука без тебя смертная. Ну и компания у вас тут, как я погляжу! Пить и то не умеют. Иди, иди к нам, я велю этому черномазому с золотыми эполетами откупорить для тебя свежую бутылочку!

— Благодарю вас, — сказал Армстронг. — Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда.

Он вышел из отеля и зашагал по улице. Навстречу ему попался Руккер, возвращавшийся домой из своего консульства.

— Пойдем сыграем на бильярде, — сказал Армстронг. — Мне надо развлечься, авось перестанет тошнить от угощения, что подносят тут у вас, на уровне моря.



«ДЕВУШКА»

На нижнем стекле двери комнаты номер 962 золотыми буквами были выведены слова: «Роббинс и Гартли, маклеры». Клерк уже ушел. Было начало шестого, и уборщицы, с грузным топотом табуна премированных першеронов, вторглись в вонзающийся в облака двадцатипятиэтажный небоскреб, наполненный конторами. Дыхание докрасна раскаленного воздуха, надушенного лимонными корками, угольным дымом и ворванью, проникало сквозь полузакрытые окна.

Роббинс — пятьдесят лет, перезрелый красавец, завсегда с притворяющейся, будто он завидует развлечениям своего товарища и компаньона.

— Ну, вы, конечно, намерены сегодня вечером предпринять что-нибудь по части сырости? — сказал он. — Знаю я вас, прохлаждающихся за городом молодчиков! Умеете пожить! Кузнечики у вас там разные и опять же луна к вашим услугам, не говорю уже о коктейлях и всяких там делишках на крыльце.

Гартли — двадцать девять лет, серьезный, стройный, красивый малый, нервный — вздохнул и слегка нахмурился.

— Да, — сказал он, — у нас всегда прохладные вечера в Флергерсте, особенно зимой.

Какой-то человек с таинственным видом вошел в контору и подошел к Гартли.

— Я узнал, где она живет, — объявил он тяжелым полупшепотом, по которому люди-братья узнают сыщика за работой, как меченого.

Гартли движением бровей привел его в состояние сценического молчания и статуарности, но в это время Роббинс взял трость, переколот по своему вкусу булавку в галстук и, сделав светский поклон, отправился к своим столочным развлечениям.

— Вот адрес, — сказал сыщик, теперь естественным голосом. Он ведь был лишен слушателей, которых он мог бы поразить.

Гартли взял листок, вырванный из грязной записной книжки ищейки. На нем карандашом были нацарапаны слова: «Вивьен Арлингтон, № 341, Восточная улица, на печении миссис Мак-Комес».

— Переехала туда неделю назад, — сказал сыщик. — Если вам понадобится слежка, я могу сделать это, как никто другой в городе. Это будет стоить вам всего семь долларов в день и расходы. Могу ежедневно представлять печатный отчет, захватывающий...

— Нет, не стоит, — перебил его маклер. — Это не такого рода дело. Я просто хотел узнать адрес. Сколько вам следует с меня?


— Один рабочий день, — сказал ищейка, — десятка его покроет.

Гартли заплатил сыщику и отпустил его. Затем он вышел на улицу и вскочил в вагон, шедший на Бродвей. На первом большом перекрестке он пересел в вагон восточного направления и высадился на пришедшем в полный упадок проспекте, некогда укрывавшем в своих старинных зданиях красу и славу города.

Пройдя несколько кварталов, он подошел к дому, который он искал. Это был новый жилой небоскреб, на портале которого из дешевого камня было вырезано звучное наименование: «Валламброза». Пожарные лестницы спускались зигзагами по его фасаду, обремененные домашним хламом, сохнувшим бельем и орущими детьми, выселенными с мостовой летним зноем. То тут, то там выглядывало из этого смещения чахлое растение, как бы недоумевая, к какому царству оно, собственно, принадлежит — к растительному, животному или искусственному?

Гартли нажал кнопку: «Мак-Комес»¹. Дверной замок щелкнул спазматически — с гостеприимством, смешанным с нерешительностью, словно бы он сомневался, кого он выпускает — друга или кредитора. Гартли вошел и начал карабкаться по лестнице обычным приемом людей, разыскивающих своих знакомых в жилом небоскребе. Это прием

¹ В нью-йоркском жилом небоскребе каждая квартира имеет свой звонок на парадной с улицы.



мальчишки, взбирающегося на яблоню. Он лезет, пока не дотянется до яблока, которое он себе наметил.

На четвертом этаже он увидел Вивьен, стоявшую у открытой двери в свою квартиру. Она пригласила его внутрь кивком и сияющей искренней улыбкой. Она поставила для него стул около окна и грациозно устроилась сама на краю одного из тех предметов обстановки, которые маскируются и таинственно закрываются днем и превращаются в инквизиционные орудия пытки ночью.

Гартли, прежде чем заговорить, окинул девушку быстрым, критическим, пронизательным взглядом и поздравил самого себя с безукоризненным вкусом в выборе.


Вивьен было около двадцати одного года. Она принадлежала к чистейшему саксонскому типу. Каждая прядь ее красновато-золотистых, изящно подобранных волос сияла своим собственным блеском и имела особый нежный оттенок. В полной гармонии были ее чистый, как слоновая кость, цвет лица и глубокие, синие, как море, глаза, смотревшие на мир с мечтательностью морской сирены или феи не открытого еще горного ручья. Она была крепкого сложения, но в то же время обладала полной непринужденности грацией. Тем не менее, при всей северной чистоте и ясности ее линий и колорита, в ней, казалось, было и что-то от тропиков: какая-то томность в непринужденности ее позы, наслаждение и покой в простодушном ее довольстве собой, в самом акте дыхания — что-то, свидетельствовавшее о ней, как о совершенном творении природы, достойном поклонения наряду с редким цветком или какой-нибудь великолепной молочно-белой горлицей среди скромно окрашенных подруг.

На ней была белая блузка и черная юбка — предусмотрительный маскарад пастушки гусей, которая на самом деле герцогиня.

— Вивьен, — сказал Гартли, умоляюще глядя на нее, — вы не ответили на мое последнее письмо. Я разыскивал вас почти целую неделю, прежде чем мне удалось узнать, куда вы переехали. Почему вы держали меня в неизвестности? Ведь вы же знали, с каким нетерпением я хотел увидеть вас, услышать о вас?

Девушка задумчиво смотрела в окно.

— Мистер Гартли, — промолвила она нерешительно, — я, право, не знаю, что вам сказать. Я понимаю все преимущест-



ва вашего предложения и иногда думаю, что могла бы быть счастлива у вас. Но затем я снова начинаю колебаться. Я родилась горожанкой, и я боюсь, что не вынесу тихой жизни за городом.

— Дорогая моя, — пылко произнес Гартли, — я ведь сказал вам, что у вас будет все, чего пожелает ваше сердце, все, что будет в моих силах дать вам. Вы будете ездить в город — в театры, за покупками, к вашим друзьям, когда только захотите. Ведь вы верите мне, не так ли?

— О, я верю вам вполне, — сказала она с улыбкой и подняла на него свои ясные глаза. — Я знаю, что вы добрейший из людей и что девушка, которую вы выберете себе, будет счастливницей. Я все узнала о вас, когда была у Монтгомери.

— Ах! — воскликнул Гартли, и в глазах его затеплился свет воспоминаний. — Я хорошо помню этот вечер, когда я впервые увидел вас у Монтгомери. Миссис Монтгомери целый вечер пела вам хвалы. И она едва ли отдала вам должное. Я никогда не забуду этого ужина. Ну же, Вивьен, скажите «да»! Я не могу без вас. Вы никогда не пожалеете, что приняли мое предложение. Никто другой никогда не создаст вам такой уютной семейной обстановки.

Девушка вздохнула и посмотрела вниз на свои сложенные руки.

Вдруг ревнивое подозрение охватило Гартли.

— Скажите мне, Вивьен, — спросил он, посмотрев на нее пронизывающим оком. — Нет ли здесь кого-нибудь другого? Может быть, тут замешан еще кто-нибудь?..

Розовая краска медленно поползла по ее прелестным щекам и шее.

— Вам не следовало спрашивать этого, мистер Гартли, — сказала она в смущении. — Но я сознаюсь вам. Здесь, правда, замешан другой... но он не имеет никакого права — я ничего ему не обещала.

— Его фамилия? — сурово спросил Гартли.

— Таунсенд.

— Рафффорд Таунсенд! — воскликнул Гартли, свирепостиснув челюсти. — Как этот человек узнал вас? После всего, что я сделал для него!

— Его автомобиль как раз остановился внизу, — сказала Вивьен, высовываясь из окна. — Он приехал за ответом. О, я не знаю, что мне делать!..

В кухне зазвенел звонок.



— Останьтесь, — сказал Гартли. — Я сам встречу его в передней.

Таунсенд, похожий на испанского гранда, поднимался по лестнице в своем светлом пике и панаме, с своими завитыми черными усами, прыгая через три ступеньки. Увидев Гартли, он остановился в замешательстве.

— Ступайте обратно, — твердо сказал Гартли, направив свой указательный палец вниз.

— Алло! — сказал Таунсенд, притворяясь удивленным. — В чем дело? Что вы здесь делаете, старина?

— Ступайте обратно, — непоколебимо повторил Гартли. — Закон джунглей. Вы хотите, чтобы я растерзал вас в клочья? Добыча моя.

— Я приехал сюда, чтобы поговорить с водопроводчиком. У меня что-то водопровод в ванной комнате шалит, — мужественно возразил Таунсенд.

— Прекрасно, — сказал Гартли, — поздравляю вас: вы соврали, предательская ваша душа. Ну а теперь ступайте обратно.

Таунсенд спустился вниз и доверил внизу тяге, гуляющей по лестничной шахте, несколько крепких слов, чтобы она снесла их наверх. Гартли вернулся обратно к своему жертвеннику.

— Вивьен, — сказал он властно, — я должен иметь вас. Я слышать не хочу больше никаких отказов или отговорок.

— А когда вы хотите забрать меня?

— Сейчас. Как только вы будете готовы.

Она спокойно стала перед ним и посмотрела ему в глаза.

— Неужели вы хоть одну минуту думаете, — сказала она, — что я войду в ваш дом, пока Элоиза находится там?

Гартли покачнулся, как от неожиданного удара. Он скрестил руки и прошелся несколько раз по ковру.

— Она должна будет уйти, — объявил он мрачно. Капли пота выступили у него на лбу. — Почему, в самом деле, я должен позволять этой женщине портить мне жизнь? У меня не было ни одного спокойного дня, с тех пор как я знаю ее. Вы правы, Вивьен. Элоиза должна быть изгнана, прежде чем я возьму вас к себе домой. Она должна уйти. Я решил. Я ставлю ее.

— Когда вы сделаете это? — спросила девушка.

Гартли стиснул зубы и нахмурил брови так, что они соединились.



— Сегодня вечером, — сказал он решительно. — Я отправлю ее сегодня вечером.

— Тогда, — сказала Вивьен, — мой ответ будет: «да». Приходите за мной, когда хотите.

Она посмотрела ему в глаза нежно и искренно. Гартли едва мог поверить, что она согласилась серьезно. Она сдалась так быстро и так безусловно.

— Дайте мне, — сказал он с чувством, — ваше честное слово.

— Честное слово, — нежно повторила Вивьен.

В дверях Гартли остановился и посмотрел на нее долгим взглядом, но это был еще взгляд человека, не смеющего верить в прочность своего счастья.

— Значит, до завтра, — сказал он, с поднятым в знак напоминания указательным пальцем.

— До завтра, — повторила она с мягкой и искренней улыбкой.

Через час сорок минут Гартли вышел из поезда в Флергерсте. Через десять минут он подошел быстрым шагом к решетке красивого двухэтажного коттеджа, расположенного на просторной ухоженной лужайке. На пол-дороге к дому он был встречен женщиной с черными как смоль волосами в развевающемся белом летнем платье, которая едва не задушила его без всякой видимой причины.

Когда они вошли в холл, она сказала:

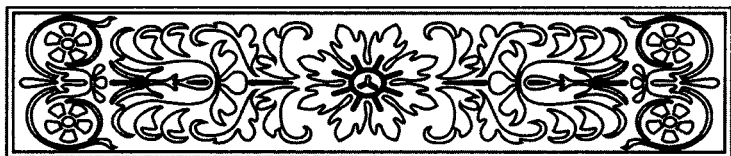
— Мама здесь. Автомобиль приедет за ней через полчаса. Она приехала обедать, а обеда нет.

— Я должен кое-что сообщить тебе, — сказал Гартли. — Я хотел было сначала осторожно подготовить тебя, но раз мама здесь, мы можем покончить с этим сейчас же.

Он остановился и прошептал ей что-то на ухо.

Его жена вскрикнула. Мать ее вбежала в холл. Брюнетка вскрикнула еще раз, радостным криком любимой и избалованной женщины.

— О мама! — восторженно воскликнула она — знаете что? Вивьен будет у нас кухаркой. Та самая, которая прожила целый год у Монтгомери. А теперь, Билли, дорогой, — закончила она, — ты должен сейчас же пройти на кухню и рассчитать Элоизу. Она опять была пьяна сегодня целый день.



КОСТЮМ И ШЛЯПА В СВЕТЕ СОЦИОЛОГИИ

Лето — сезон безответственности — уже на носу. Ну что ж, увенчаем чело ядовитым плющом (чудить так чудить!) и с социологией под ручку прогуляемся по цветущим лугам.

Вполне вероятно, что земля — плоскость. Различные умники без особого успеха пытались доказать, что она — шар. Взгляните на корабль, призывали они нас, и вы убедитесь, что рано или поздно округлость земного шара скроет от вас все, кроме верхушки мачты. Ну а мы тоже не льком шиты, мы взяли подзорную трубу, поглядели в нее и снова увидели палубу и корпус судна. Тогда умники сказали: «Вот еще, подумаешь! Все равно отклонение пересечения эклиптики с экватором доказывает шарообразность земли». Этого мы в нашу подзорную трубу узреть не могли и вынуждены были замолчать. И все же каждому дураку ясно, что, будь земля круглой, у китайцев косы торчали бы перпендикулярно вверх, а не висели бы вдоль спины, как, по свидетельству всех путешественников, они у них висят.

В хорошее летнее пекло в голову лезут прямо-таки непровержимые доказательства правильности плоскостной гипотезы: все в жизни, как нам известно, движется по замкнутому кругу. Больше всего это похоже на игру в бейсбол. Хлоп! Ударил по мячу и мчишься вперед. Выиграл перебежку (в жизни это называется «всех обскакал») — назад в «дом» и плюх на скамейку. Не добежал — выбываешь из игры. Значит, обратно в «дом» и плюх на скамейку.

Кругосветные мореплаватели могли бы и не плавать — прочертив круг по водной глади так называемого земного шара, они возвращаются туда, откуда отплыли. А великие мира сего, достигнув вершины своих достижений, возвращаются к изначальной младенческой простоте. Миллиардер садится за стол красного дерева, чтобы откусать молока с ломтем хлеба. Вы сделали карьеру? А ну-ка, снимите досщечку с надписью «финиш» и поглядите, что там на

обороте. Читайте: «старт». Где висела, там и висит, — просто ее перевернули, пока вы бегали по кругу.

Но шутки в сторону. Вернемся к серьезным проблемам — от них ведь никуда не денешься, если социология вздумает усесться за летний табльдот. Приглашаем вас туда, где будут разворачиваться события: грозные волны Атлантики разбиваются о скалистые и лесистые берега у подножия великого города Нью-Йорка.

Поселок Фишхэмтон на южном берегу Лонг-Айленда получил известность благодаря своим блинчикам с креветками и летней резиденции Ван Плюшвельтов.


А Ван Плюшвельты — это сто миллионов долларов, и не диво, если их имя не сходит с уст лавочников и фотографов.

Пятнадцатого июня Ван Плюшвельты заколотили досками парадный подъезд своего городского дома, бережно посадили любимую кошку на посыпанную песком дорожку в саду, строго-настрого наказали привратнику не позволять ей объедать плющ на стенах и под рев мотора и визг шин умчались на своих сорока лошадиных силах в Фишхэмтон, где им предстояло в одиночестве — не водиться же в самом деле с разными там пастушками! — прогуливаться под сенью деревьев. Если вы аккуратно подписываетесь на «Голос подхалима», то уж, конечно, не раз... Как, вы не подписываетесь? Ну тогда купите его в газетном киоске — сделайте вид, будто продавец ни о чем не догадывается. Только будьте спокойны, кто-кто, а уж он-то, конечно, догадывается! Он-то уж вас раскусил!

Итак, значит, вы уже не раз могли видеть в «Голосе подхалима» фотографии летней резиденции Ван Плюшвельтов, так что мне нет нужды описывать ее здесь. У нас речь пойдет о молодом Хейвуде Ван Плюшвельте, шестнадцати лет от роду, наследнике уже упоминавшихся выше ста миллионов, любимце бога финансов и праправнучке Петера Ван Плюшвельга, некогда владельца славного огородика с первосортной капустой, погибшей при вторжении в предместье грозного полчища небоскребов.

Как-то после полудня молодой Ван Плюшвельт вышел из гранитных ворот «Дольче Фар Ниенте», что по-нашему будет «Сладкое безделье», а на этом побережье переводится как «самое роскошное поместье».

Хейвуд зашагал в сторону поселка. Он, что ни говори, тоже принадлежал к племени людей, а будущие миллионы уже



тяжким бременем давили на его плечи. Он уже испытывал на себе зловещую власть богатства. Губернеры уже поработали над ним всласть. Даже путь его первой игрушечной лошадки был усыпан пушистыми опилками. Он, что называется, родился в сорочке, и я бы даже сказал — в крахмальной сорочке с бриллиантовыми запонками. А я вот снова вынужден привлечь ваше внимание к его одежде и прочим принадлежностям туалета, однако надеюсь, что в дальнейшем вы найдете этому оправдание.

Юный баловень фортуны был одет в изящный синий шевиотовый костюм, на голове у него была изящная белая соломенная шляпа, на ногах — изящные светло-коричневые летние ботинки, рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким, изящно завязанным галстуком, и в руке он держал изящную бамбуковую тросточку.

На дороге, ведущей от поселка (тут сроду не росло ни единого дерева, и обзор хорош), появился «Чумазый» Додсон — пятнадцати с половиной лет, самый отпетый мальчишка в Фишхэмтоне. На нем был рваный красный свитер, выдававшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и «расхожие» брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы. В руке у Чумазого была зажата бейсбольная бита, а вздувшийся карман штанов выдавал присутствие в нем бейсбольного мяча. Хейвуд остановился и поздоровался.

— Идете играть в бейсбол? — спросил он.

Чумазый обратил к нему свои голубые глаза и веснушки и бесцеремонно оглядел его с ног до головы.

— Я? — с убийственной кротостью переспросил он. — Ясное дело, нет. Слепой ты, что ли, не видишь — на мне водолазный костюм. Думаю взлететь на подводном воздушном шаре и ловить бабочек китобойным гарпуном.

— Прошу прощения, — с ледяной оскорбительной вежливостью, как и подобало представителю его касты, сказал Хейвуд. — Я по ошибке принял вас за джентльмена. Следовало бы мне знать, с кем имею дело.

— Откуда ж тебе знать, когда нет у нас с тобой никаких дел, — с сокрушительной логикой умозаключил Чумазый.

— По вашей внешности, — сказал Хейвуд. — Ни один джентльмен не позволит себе ходить грязным, оборванным да еще лгать.

Чумазый запыхтел — оглушительно, как паровоз, когда он спускает пары, — поплевал на ладонь, покрепче ухватил свою битую и вдарил ею разок по близстоящей ограде.

— Слышь ты, кутеночек, — сказал он, — я ж тебя знаю. Ты из той шикарной летней отдышалки для городских слюнтяев. Я видал, как ты выползал из ворот. Кому ты здесь думаешь задурить мозги своим богатством? Вырядился и давай нос задирать? Кисейная барышня! Ха-ха!

— Оборванец! — сказал Хейвуд.

Чумазый выломал из ограды слегу и водрузил себе на плечо.

— А ну, попробуй отыми! — произнес он с вызовом.

— Стану я об вас руки пачкать, — отвечал аристократ.

— Струсил! — лаконично констатировал Чумазый. — У вас, городских, известно, кишка тонка. Я тебя одной левой причешу.

— Не имею ни малейшего желания с вами связываться, — сказал Хейвуд. — Я вполне вежливо задал вам вопрос, а вы ответили мне как... как нецивилизованный варвар.

— Это кто такой? — спросил Чумазый.

— Это весьма неприятный, дурно воспитанный субъект, которого следует поставить на место. Иногда ему случается играть в бейсбол.

— А я могу объяснить тебе, что такое слюнтяй, — сказал Чумазый. — Это такая ручная обезьяна, которую мамаша обряжает в штанишки и пускает на лужок собирать ромашки.

— Если вы позволяете себе касаться в разговоре членов моей семьи, будьте любезны не задевать дам, — сказал Хейвуд, смутно припоминая какую-то статью кодекса фамильной чести.

— Ха! Ха! Скажет тоже — дам! — не унимался грубиян. — Знаем мы этих дам! Всем известно, чем эти городские богачки занимаются. Пьют коктейли, похабничают и устраивают вечеринки с гориллами. В газетах писали.

Тут Хейвуд понял: чему быть — того не миновать. Он снял пиджак, аккуратно свернул его и положил на траву за обочиной дороги. Поверх пиджака он положил шляпу и принялся развязывать свой темно-голубой шелковый галстук.

— Почему же вы не кликнете свою горничную мамзель? — насмешливо спросил Чумазый. — Что это вы собираетесь делать? Ложиться бай-бай?

— Я собираюсь оставить вам кое-что на память,— отвечал наш герой. Он больше не колебался, хотя понимал, что противник стоит на много ступенек ниже его на социальной лестнице. Но он тут же припомнил, что его отец однажды избил тростью извозчика, и газеты посвятили этому событию два столбца на первой полосе. А «Голос подхалима» напечатал специальную статью под заголовком «Классный классный урок класса — классу» и сопроводил ее фотографиями загородной резиденции Ван Плюшвелтов в Фишхэмтоне.

— Оставить мне? Эти обноски? — с подозрением спросил Чумазый.— Да на кой они мне... Э, да ты никак драться хочешь? Ой напугал! Да я такого маменькиного сыночка пальцем тронуть побоюсь. Еще в тюрьгу угодишь. Ой, жалко мне тебя, накрахмаленный!

Чумазый с интересом и недоумением смотрел, как его противник готовится к поединку. Его собственные доспехи всегда были в полном боевом порядке. Смачный плевок на ладонь его грозной правой был равносильен команде: «Шпаги наголо!»

Ненавистный патриций, аккуратно засучив рукава рубашки, шагнул вперед. Чумазый ждал, стоя в непринужденной позе, уверенно полагая, что дальше дело пойдет по всем правилам фишхэмтоновского дуэльного кодекса, а он предписывал, чтобы любому поединку предшествовал обмен плевками, оскорбительными прозвищами, насмешками, издевками и бранью, сила и красочность которых должны неуклонно возрастать. После неизменного «От такого слышу!» полагалось сбить кулаком оружие с плеча противника или ступить ногой за сакраментальную черту, прочерченную носком ботинка, с возгласом: «Посмей только!» За этим следовали легкие тумачи, которые тоже понемногу набирали силу, до тех пор пока кровь не закипала в жилах, после чего кулаки начинали уже молотить во всю мощь.

Но Хейвуду фишхэмтоновские правила ведения боя были неведомы.

С легкой горделивой улыбкой — ведь как-никак *noblesse oblige*¹ — он шагнул к Чумазому и произнес:

— Идете играть в бейсбол?

¹ Положение обязывает (*фр.*).

Чумазый сразу смекнул, что, вторично задавая этот вопрос, ему вроде как предлагают принести извинение, для чего он должен дать как можно более вразумительный и учтивый ответ.

— Ну, слушай еще раз,— сказал он.— Я иду на речку покататься на коньках. Ты что, не видишь — вон стоит мой автомобиль с китайскими фонариками на колесах, ждет меня.

Хейвуд кинулся на него и сбил с ног.

Чумазый воспринял это как незаслуженную обиду. Так грубо лишит его обязательной прелюдии взаимных поношений и перебранки было столь же несправедливо, как бросить закованного в латы рыцаря с копьем наперевес прямо на смертоносную пику противника, не дав ему сначала погарцевать по арене под звуку труб. Чумазый поднялся с земли и ударил на врага, разом пустив в ход кулаки, ноги и голову.


Схватка проходила в один раунд продолжительностью час десять минут, постепенно приобретая характер развернутых военных действий или кровной мести. Наставники Хейвуда преподали ему в свое время кое-какие приемы бокса и борьбы, но он быстро отбросил все эти премудрости, отдав предпочтение более примитивным способам ведения боя, унаследованным от пещерных Ван Плюшвелгов.

Так, оказавшись в один из моментов схватки верхом на орущем и брыкающемся Чумазом, он не замедлил использовать свое преимущество, начав полными пригоршнями запихивать землю и песок в глаза, рот и уши противника. Чумазый же, как только ему удалось половчее ухватить Хейвуда за ногу и подмять под себя, тотчас вцепился ему в волосы и давай колотить затылком о земную твердь. Не следует, конечно, думать, что сражение велось совсем без передышки. Были периоды, когда один из противников сидел на другом, придавив его к земле, и оба, пыхтя и сопя, как тюлени, старались выплюнуть побольше песка и наиболее неудобную крупную гальку, не переставая страшно тарашить друг на друга глаза, дабы сломить дух противника и его волю к победе.

Наконец, выражаясь языком ринга, соперники выдохлись. Оторвавшись друг от друга, они на мгновение скрылись из глаз в облаках пыли, которую каждый старался вытряхнуть из своей одежды и волос. Немного отдышавшись, Хейвуд подошел к Чумазому вплотную и спросил:

— Идешь играть в бейсбол?

Чумазый задумчиво поглядел на небо, потом на свою биту, валявшуюся на земле, и на оттопыренный мячом карман.



— Понятное дело, — небрежно обронил он. — «Желтые куртки» против «Лонгайлендцев». Я же капитан «Лонгайлендцев».

— Насчет «оборванца» — это я, конечно, зря, — сказал Хейвуд. — Но все-таки ты здорово грязен, признаться.

— Понятное дело, — снова согласился Чумазый. — Как выйду пошляться — ну и все. Я, знаешь, тоже думаю, что эти нью-йоркские газеты все врут насчет пьющих дамочек, которые обедают за одним столом с обезьянами. Такое же вранье, как все прочее, что они печатают, — будто есть такие люди, что едят с серебряных тарелочек и держат собачек по сто долларов за штуку.

— Ясно, вранье, — сказал Хейвуд. — А ты кем играешь в своей команде?

— Подающим. А сам-то ты играешь в бейсбол?


— Ни разу не пробовал, — сказал Хейвуд. — У меня совсем нет знакомых ребят — никого, кроме кузенов.

— Хочешь попробовать? У нас будут тренировочные игры перед состязанием. Приходи, ладно? Я поставлю тебя на левый угол, и ты живо научишься ловить.

— Вот было бы здорово! Мне всегда хотелось научиться играть в бейсбол, — сказал Хейвуд.

Все нью-йоркские горничные и все члены семей угольных магнатов Запада, тяготеющие к светским кругам, и по сей день помнят, какую сенсацию произвело газетное сообщение о том, что молодой мультимиллионер Хейвуд Ван Плюшвелг играет в бейсбол с деревенскими парнями Фишхэмтона. Наступает золотой век демократии, вопили газеты. Репортеры и фотографы наводнили остров. Портрет Хейвуда Ван Плюшвелга с мячом и битой в руках занимал половину газетной полосы. «Голос подхалима» выпустил специальный номер со статьями: «Бить битой или не бить?» и «Лучше мячом, чем мечом!», в которых вышеупомянутое событие рассматривалось с различных историко-социологических точек зрения. Номер был богато иллюстрирован фотографиями интерьеров загородной резиденции Ван Плюшвелгов. Педагоги, духовные лица и социологи единодушно заявили, что сообщение об этом событии прозвучало как трубный глас, возвещающий наступление всеобщего братства.

Как-то раз после полудня я отдыхал в тени деревьев за оковицей Фишхэмтона в почтенном обществе одного молодого лысого социолога с мировым именем. Замечу, кста-



ти, что все социологи более или менее лысы и все в возрасте тридцати двух лет. Проверьте и убедитесь.

Социолог ссылался на случай с молодым Ван Плюшвельтом, как на яркий пример «духовного роста» молодого поколения, и находил в нем оправдание своего собственного существования.

Прямо перед нашим взором расстиралось деревенское бейсбольное поле. Вскоре на него с шумом высыпала фишхэмтоновская спортивная команда и распределилась по своим местам на ромбе.

— Вон, смотрите! — сказал социолог, указывая на поле. — Вон молодой Ван Плюшвельт!

Я приподнялся на локте (еще готовый совосторгаться вместе с какой-нибудь наивной читательницей газет) и посмотрел в указанном направлении.

Молодой Ван Плюшвельт сидел на траве. На нем был рваный красный свитер, выдавшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и «расхожие» брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы.

— Вот он! — повторил социолог с таким почтительным восторгом, что разозлил меня до крайности.

А на скамейке с важным видом восседал новоиспеченный дружок молодого миллионера.

Он был одет в изящный синий шевиотовый костюм, на голове у него была изящная белая соломенная шляпа, на ногах — изящные светло-коричневые летние ботинки, рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким, изящно завязанным галстуком, и в руке он держал изящную бамбуковую тросточку.

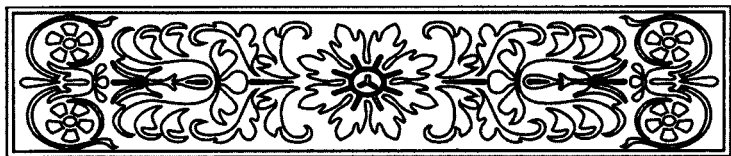
Я громко, невоспитанно расхохотался.

— Ну, теперь вам остается только открыть клинику для лечения пороков Порочного Круга, — сказал я социологу. — Может быть, я сошел с ума, но мне уже начинает казаться, что ничто больше не движется вперед, а только кружится и кружится и кружится, как карусель.

— Что вы, собственно, имеете в виду? — спросил этот сторонник прогресса.

— Как что! Да вы гляньте на Чумазого — видите, что этот пижон с ним сотворил?

— Вы как были болваном, так им и остались, — сказал мой приятель-социолог, встал и зашагал прочь.



ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, «нашло временное помрачение ума», — только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется «Вершины». Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолубие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ищесек, да двух-трех обличительных заметок в «Еженедельном бюджете фермера». Как будто получалось недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка две тысячи долла-

ров, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы проехали в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик! — говорит Билл. — Хочешь получить паке-тик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком.


Смотрю, Билл клеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозы равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голених. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, пленник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же лягаться этот мальчишка!

Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Змеиным Глазом и Соглядатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:



— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок! Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяна и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?.

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих,— говорю я ему,— а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, Змеиный Глаз?

— Пока не собираюсь,— говорю я.— Мы еще поживем тут в пещере.

— Ну ладно,— говорит он.— Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело.

Мы легли спать часов в одиннадцать. Расстелили на землю шерстяные и стеганные одеяла, посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбегит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было

бы ожидать от голосовых связок мужчины,— нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унижительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.


— Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю.— Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты,— говорит Билл.— Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю,— говорю я.— Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойст-



вием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами.

— Может быть,— сказал я самому себе,— еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! —И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку,— объяснил Билл,— и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недо-разумение.

— Я тебе покажу! — говорит мальчишка Биллу.— Еще не один человек не ударил Вождя Краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл.— Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся,— говорю я.— Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:



— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?

— Ты погоди,— говорю я.— Мало-помалу придешь в чувство.

— Царь Ирод,— говорит он.— Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует,— говорю я,— я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошугил,— сказал он, надувшись.— Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, Змеинный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю,— сказал я.— Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой.


Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Поплар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм,— говорит Билл,— я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого,— говорю я.— Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унижить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы имеем



дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикую кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

«Эбенезеру Дорсету, эсквайру.

Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ,— где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Совинный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку.

Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

Два злодея».

Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно,— говорю я.— Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик,— говорит Вождь Краснокожих,— и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь,— говорит разведчик.— Становись на четвереньки. А то как же я доскачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его,— сказал я,— пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Девяносто миль,— отвечает разведчик.— И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.

— Ради бога,— говорит Билл,— возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лягать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табуку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь



во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футах в восьми позади него.

— Сэм,— говорит Билл,— пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и сомнение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюймом меньше,— отвечает Билл.— Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках; два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел,— продолжает Билл,— ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл,— говорю я,— у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет,— говорит Билл,— ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться,— говорю я,— и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дор-



сет согласится на наше предложение. Так что Билл немало подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издали на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.


Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

«Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением
Эбенезер Дорсет».

— Великие пираты! — говорю я. — Да ведь этакой наглости...



Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм,— говорит он,— что такое двести пятьдесят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл,— говорю я,— это сокровище что-то и мне действует на нервы! Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили — наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

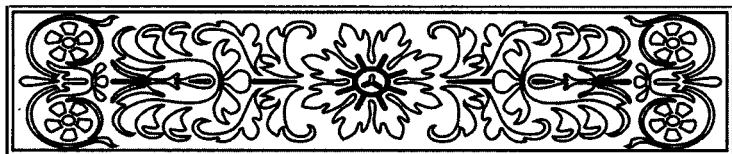
Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже паровой сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирает его от ноги, как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уже не те, что прежде,— говорит старик Дорсет,— но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно,— говорит Билл.— В десять минут я пересеку Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.



БРАЧНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ


Читатель, прошу вас, засмейтесь поэту в глаза, когда он примется воспевать вам месяц Май. Это — месяц, которым управляют духи зла и безумия. В этом месяце феи и кобольды появляются в зеленеющих лесах, а Пэк и его легкокрылая свита делают свое дело в городе и деревне.

В Мае природа грозит нам пальцем, чтобы напомнить, что мы не боги какие-нибудь, а всего лишь чрезмерно самоуверенные члены ее большой семьи. Она дает нам понять, что мы — братья осла и карася, обреченного сковородке, прямые потомки шимпанзе и всего лишь троюродные братья воркующих голубей, кричающих уток и служанок и поллисменов в парке.

В Мае амур стреляет с завязанными глазами; миллионеры женятся на стенографистках; мудрые профессора ухаживают за девицами в белых передниках, жующими резинку за стопкой с горячими закусками; школьные надзирательницы оставляют после уроков в классе скверных больших мальчиков; пылкие отроки с лестницами осторожно пробираются по зеленой лужайке туда, где, томясь за заросшим плющом окном, поджидает их Джульетта, вооруженная подзорной трубой; молодые парочки, вышедшие на прогулку, возвращаются домой повенчанными; старые хрычи надевают белые ботинки и фланируют возле Института для молодых девиц; даже мужья, охваченные нежностью и сентиментальностью, хлопают своих супругов по спине и ворчат: «Ну, как дела, старуха?»

Этот месяц Май — не божество, а Цирцея, наряжающаяся на бал, устраиваемый в честь первого выезда в свет Лета, и сбивает всех нас с панталыку.

Старый мистер Кульсон вздохнул и выпрямился в своем кресле. Он был обладателем злой подагры в одной ноге, дома близ Грэмерси-парка, полумиллиона долларов и дочери. Кроме того, у него была экономка, миссис Виддан.



Когда Май толкнул мистера Кульсона в бок, он стал старшим братом горлицы. Окно, у которого он сидел, было заставлено горшками с гиацинтами, геранью и анютиными глазками. Легкий ветерок гнал их аромат в комнату. Немедленно началось состязание между дыханием цветов и здоровым и энергичным запахом мази от подагры. Мазь, правда, легко одержала верх, но все же цветы успели ударить мистера Кульсона в нос. Губительная работа неумолимого, вероломного кудесника Мая была сделана.

Из парка до слизистых оболочек носа мистера Кульсона доносились и другие оригинальные, характерные, неповторимые весенние запахи, авторское право на которые приобретено исключительно Нью-Йорком: запах раскаленного асфальта, грязных подвалов, газаolina, пачули, апельсинной корки, испарений канализационных колодцев, египетских папирос, извести и пересохшей газетной краски. Воздух, врывающийся в комнату, был свеж и тепел. На улице весело чирикали ворообы.

Никогда не доверяйтесь Маю!

Мистер Кульсон закрутил кончики своих седых усов, проклял свою ногу и позвонил в звонок, стоявший у него на столе.

В комнату вошла миссис Виддан, благообразная, сорокалетняя, светловолосая, пронырливая и красная.

— Гиггинс вышел, сэр, — сказала она с вибрационно-массажной улыбкой, — он пошел отправить письмо. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, сэр?

— Мне пора принять мой аконит, — сказал старый мистер Кульсон. — Накапайте мне, пожалуйста. Вот бутылка. Три капли. На воде. Черт бы побрал этого Гиггинса! Никто во всем доме и внимания не обратит, если я умру в этом кресле от недостатка присмотра.

Миссис Виддан глубоко вздохнула.

— Не говорите так, сэр, — сказала она. — В вашем доме есть такие люди, которые стали бы горевать гораздо больше, чем кто-нибудь предполагает. Тринадцать капель вы сказали, сэр?

— Три, — сказал старый Кульсон.

Он принял лекарство и принял еще в свои руки — руку миссис Виддан. Она вспыхнула. (Да, да! Это каждый может сделать. Попробуйте: задержите дыхание и надавите на диафрагму.)

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон. — Весна в полном цвету.



— Совершенно верно, — произнесла миссис Виддан. — Воздух совсем теплый. И на каждом углу объявление: «Мартовское пиво». А парк весь желтый, розовый и голубой от цветов. И у меня так стреляет в ногах и во всем теле.

— Весной, — сказал мистер Кульсон, покручивая свои усы, — ай-ай... Да! Весной человеческое воображение легко обращается в сторону любви.

— Честное слово, сэр! — воскликнула миссис Виддан. — Это верно. Кажется, будто что-то носится в воздухе.

— Весною, — продолжал мистер Кульсон, — на улицах продают ароматные, покрытые живой росой ирисы.

— Они очень вкусны с чаем, эти ирисы, — вздохнула миссис Виддан.

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон, и лицо его передернулось от боли в ноге, — без вас этот дом был бы одиноко. Я ста... да... я пожилой человек, но у меня есть изрядный капитал. Если полмиллиона долларов в государственных облигациях и искреннее влечение сердца, которое, правда, уже не бьется первым пылом молодости, но все же полно неподдельного....

Громкий стук опрокинутого стула у дверей смежной комнаты прервал горячую речь почтенной и наивной жертвы Мая.

В комнату вступила мисс Ван-Микер Констанция Кульсон — костлявая, высокая, мрачная, холодная, высокомерная, благовоспитанная, тридцатипятилетняя. Она поднесла к глазам лорнет. Миссис Виддан поспешно нагнулась и стала поправлять повязки на больной ноге мистера Кульсона.

— Я думала, здесь Гиггинс, — сказала мисс Ван-Микер Констанция.


— Гиггинс вышел, — объяснил ей отец, — и миссис Виддан пришла на звонок. Теперь мне лучше, миссис Виддан. Благодарю вас. Нет, больше мне ничего не нужно.

Экономка ретировалась, пунцовая, под холодным, пытливым взглядом мисс Кульсон.

— Прекрасная, весенняя погода! Правда, дочка? — сказал старик, виляя мысленным хвостом.

— Совершенно верно, — мрачно ответила мисс Ван-Микер Констанция Кульсон. — Когда миссис Виддан уедет в отпуск?

— Кажется, она говорила, через неделю, — ответил мистер Кульсон.



Мисс Ван-Микер Констанция с минутой постояла у окна, выходящего в маленький сад, залитый ласкающим светом заходящего солнца. Холодным взглядом ботаника она созерцала цветы — наиболее могучее оружие коварного Мая. Своим неприступным девственным сердцем она стойко отразила атаку кроткой весны. Веселые солнечные стрелы испуганно отскакивали от нее, замороженные прикосновением холодной брони, сковывавшей ее невольную грудь. Аромат цветов не в силах был пробудить ни проблеска чувства в неизведанных глубинах ее спящего сердца. Чириканье воробьев раздражало ее. Она смеялась над Маем.

Но, несмотря на то что мисс Кульсон была сама непроницаема для весны, она была достаточно умна, чтобы знать ее силу. Она знала, что пожилые мужчины и толстые женщины скачут, как дрессированные блохи, в потешной свите Мая, веселого перемешника среди месяцев. Она слыхала о сумасбродных пожилых джентльменах, женившихся на своих экономках. Какое, право, это унижительное чувство — эта так называемая любовь.

На следующее утро, в восемь часов, когда пришел человек из ледяного склада с обычной порцией льда, кухарка сказала ему, что мисс Кульсон хочет поговорить с ним и ожидает его внизу.

— Можно, — сказал самодовольно поставщик льда. — Я ведь не кто-нибудь. Фирма Олькот и Депью.

Из снисхождения он опустил свои засученные рукава, положил свой крюк для льда на крышку ледника и пошел вниз. Когда мисс Ван-Микер Констанция Кульсон заговорила с ним, он снял шляпу.

— В этот подвал есть черный ход, — сказала мисс Кульсон. — До него можно добраться через калитку, ведущую на соседний участок, где производятся земляные работы для новой постройки. Я хочу, чтобы в течение двух часов вы привезли и свалили туда тысячу фунтов льда. Можете себе взять в помощь одного или двух человек. Я покажу вам, куда мы поместим лед. В течение четырех дней, начиная с сегодняшнего дня, доставляйте мне сюда ежедневно по тысяче фунтов. Ваша фирма может поставить стоимость этого льда в наш регулярный месячный счет. А это вам за труды.

Мисс Кульсон протянула ему бумажку в десять долларов.

Поставщик льда поклонился, держа свою шляпу обеими руками за спиной.

— Разрешите откланяться, леди. Я с большим удовольствием сделаю для вас все по вашему желанию.

Несчастный Май!

В полдень мистер Кульсон сбросил со стола два стакана, сломал пружину своего звонка и начал благим матом звать Гиггинса.

— Принесите топор, — приказал он ему, сардонически улыбаясь. — Или пошлите за четвертью галлона синильной кислоты, или позовите сюда полисмена, чтобы он застрелил меня на месте. Все лучше, чем замерзнуть, сидя в этом кресле.

— Да, как будто становится все холоднее, сэр, — сказал Гиггинс. — Раньше я не замечал этого. Я закрою окно, сэр.

— Закройте, — сказал мистер Кульсон. — И это люди называют весной! Это весна? Если так будет продолжаться дальше, я возвращусь во Флориду. Весь дом напоминает какой-то морг.

Немного спустя вошла мисс Кульсон и заботливо осведомилась о состоянии больной ноги отца.

— Станци, — спросил старик, — как сегодня на улице?

— Ясно, — ответила мисс Кульсон, — но прохладно.

— По-моему, просто опять наступила зима, — сказал мистер Кульсон.

— Вот когда уместно выражение поэта: «Зима, запугавшаяся в складках одежды весны», хотя эта метафора далеко не из приличных, — проговорила Констанция, рассеянно глядя в окно.

Немного спустя она вышла в боковую калитку и пошла в западном направлении, к Бродвею, за покупками.

А через несколько минут в комнату больного вошла миссис Виддан.

— Вы звонили, сэр? — спросила она, причем щеки ее покраснели ямочками. — Я попросила Гиггинса сходить в аптеку, и мне показалось, что я слышала звонок.

— Я не звонил, — сказал мистер Кульсон.

— Я боюсь, — сказала миссис Виддан, — что прервала вас вчера, когда вы хотели мне что-то сказать.

— Скажите, миссис Виддан, — грозно спросил старик Кульсон, — почему в доме у меня такой невероятный холод?

— Холод, сэр? — удивленно произнесла экономка. — Впрочем, совершенно верно. Теперь, когда вы сказали это, я и сама почувствовала, что здесь как будто холодно. А на дворе тепло и хорошо, как в июне. В такую погоду, сэр, сердце



готово выпрыгнуть из английской кофточки. Весь плющ на доме уже распустился. Кругом играют шарманки, и дети танцуют на тротуаре. Сейчас как раз время высказать все, что у меня на сердце. Вы вчера сказали, сэр..

— Женщина! — зарычал мистер Кульсон. — Вы с ума сошли! Я плачу вам за то, чтобы вы смотрели за порядком в этом доме. В своей собственной комнате я замерзаю на смерть, а вы являетесь и начинаете мне нести какую-то чушь про плющ и шарманки. Дайте мне сейчас же пальто! Пусть в нижнем этаже закроют все двери и окна. Старое, толстое существо, не знающее своих прямых обязанностей, посреди лютой зимы болтает о весне и цветах! Когда Гиггинс вернется, скажите ему, чтобы он принес мне горячего пуншу. А теперь убирайтесь.

Но кто в силах посрамить веселый Май?

Хотя он и большой плут, хотя он и смущает порой здравомыслящих людей, все же никакие хитрости мудрых дев и никакие холодильники не заставят его склонить свою голову в веселом хороводе месяцев.

Да, да. Наша история еще не кончена.

Ночь миновала, и утром Гиггинс усадил старого мистера Кульсона у окна. Вчерашнего холода в комнате как не бывало.

В окно врывалось небесное благоуханье и чудное весеннее тепло.

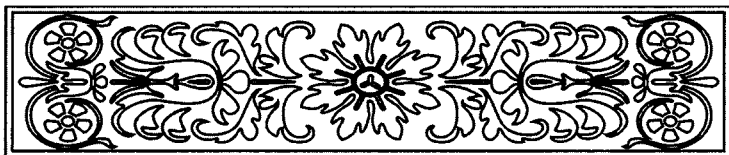
В комнату вбежала миссис Виддан и остановилась у кресла больного. Мистер Кульсон протянул свою костлявую руку и взял пухлую руку экономки.

— Миссис Виддан, — сказал он, — этот дом не будет настоящим домом без вас. У меня полмиллиона долларов. Если эта сумма и истинная привязанность сердца, которое, правда, принадлежит не пылкому юноше, но все же еще не знает холода, могут..

— Я знаю, откуда шел этот холод, — сказала миссис Виддан, склонившись над его креслом. — Это был лед, целые тонны льда! Он был в подвале и в кочегарке, повсюду. Я закрыла отдушины, через которые холод проникал в вашу комнату, мистер Кульсон, бедный вы мой. И теперь опять наступил Май.

— ..искреннего сердца, — несколько сбивчиво продолжал мистер Кульсон, — которое вновь возродила весна, но... но... что скажет моя дочь, миссис Виддан?

— Об этом не беспокойтесь, сэр, — весело сказала миссис Виддан. — Мисс Кульсон сбежала этой ночью с нашим поставщиком льда, сэр.



ФОРМАЛЬНАЯ ОШИБКА

Я всегда недолюбливал вендетты. По-моему, этот продукт нашей страны переоценивают еще более, чем грейпфрут, коктейль и свадебные путешествия. Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской территории, вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта и несоучастника.

Я гостил на ранчо Сэма Дорки и развлекался вовсю: падал с ненаманикюренных лошадей и грозил кулаком волкам, когда они были за две мили. Сэм, закаленный субъект лет двадцати пяти, пользовался репутацией человека, который спокойно возвращается домой в темноте, хотя нередко он проделывал это с большой неохотой.

Неподалеку, в Крик-Нейшн, проживало семейство Тэемов. Мне сообщили, что Дорки и Тэемы вендеттируют много лет. По несколько человек с каждой стороны уже ткнулось носом в траву, и ожидалось, что число Навуходносоров¹ этим не ограничится. Подростало молодое поколение, и трава росла вместе с ним. Но, насколько я понял, война велась честно и никто не залегал в кукурузном поле, целясь в скрещение подтяжек на спине врага,— отчасти, возможно, потому, что там не было кукурузных полей и никто не носил более одной подтяжки; также не полагалось причинять вреда детям и женщинам враждебного рода. В те дни, как, впрочем, и теперь, их женщинам не грозила опасность.

У Сэма Дорки была девушка (если бы я собирался продать этот рассказ в дамский журнал, я написал бы: «Мистер Дорки имел счастье быть помолвленным»). Ее звали Элла Бэйнс. Казалось, они питали друг к другу безграничную любовь и доверие; впрочем, это впечатление производят любые помолв-

¹ По библейской легенде, вавилонский царь «отлучен был от людей, ел траву, как вол».



ленные, даже такие, между которыми нет ни любви, ни доверия. Мисс Бэйнс была недурна, особенно ее красили густые каштановые волосы. Сэм представил ей меня, но это никак не отразилось на ее расположении к нему, из чего я заключил, что они поистине созданы друг для друга.

Мисс Бэйнс жила в Кингфишере, в двадцати милях от ранчо. Сэм жил в седле между ранчо и Кингфишером.

Однажды в Кингфишере появился бойкий молодой человек, невысокого роста, с правильными чертами лица и гладкой кожей. Он настойчиво наводил справки о городских делах и поименно о горожанах. Он говорил, что приехал из Маскоги, и, судя по его желтым ботинкам и вязаному галстуку, это было правдой. Я познакомился с ним, когда приехал за почтой. Он назвался Беверли Трэйверзом, что прозвучало как-то неубедительно.

На ранчо в то время была горячая пора, и Сэм не мог часто ездить в город. Мне, бесполезному гостю, ничего не смыслившему в хозяйстве, выпала обязанность доставлять на ранчо всякие мелочи, как-то: открытки, бочки с мукой, дрожжи, табак и — письма от Эллы.

И вот раз, будучи послан за полугроссом пачек курительной бумаги и двумя фургонными шинами, я увидел пролетку с желтыми колесами, а в ней вышепоименованного Беверли Трэйверза, нагло катающего Эллу Бэйнс по городу со всем шиком, какой допускала черная липкая грязь на улицах. Я знал, что сообщение об этом факте не прольется целительным бальзамом в душу Сэма, и по возвращении, отчитываясь в городских новостях, воздержался от упоминания о нем. Но на следующий день на ранчо прискакал долговязый экс-ковбой по имени Симмонс, старинный приятель Сэма, владелец фуражного склада в Кингфишере. Прежде чем заговорить, он свернул и выкурил немало папирос. Когда же он, наконец, раскрыл рот, слова его были таковы:

— Имей в виду, Сэм, что в Кингфишере последние две недели портил пейзаж один болван, обзывавший себя Выверни Трензель. Знаешь, кто он? Самый что ни на есть Бен Тэтем, сын старика Гофера Тэтема, которого твой дядя Ньют застрелил в феврале. Знаешь, что он сделал сегодня утром? Убил твоего брата Лестера — застрелил его во дворе суда.

Мне показалось, что Сэм не расслышал. Он отломил веточку с мескитового куста, задумчиво пожевал ее и сказал:



— Да? Убил Лестера?

— Его самого,— ответил Симмонс. — И мало того — он убежал с твоей девушкой, этой самой, так сказать, мисс Эллой Бэйнс. Я подумал, что тебе надо бы узнать об этом, вот и приехал сообщить.

— Весьма обязан, Джим,— сказал Сэм, вынимая изо рта изжеванную веточку.— Я рад, что ты приехал. Очень рад.

— Ну, я, пожалуй, поеду. У меня на складе остался только мальчишка, а этот дуралей сено с овсом пугает. Он выстрелил Лестеру в спину.

— Выстрелил в спину?

— Да, когда он привязывал лошадь.

— Весьма обязан, Джим.

— Я подумал, что ты, может быть, захочешь узнать об этом поскорее.

— Выпей кофе на дорогу, Джим?

— Да нет, пожалуй. Мне пора на склад.

— И ты говоришь...

— Да, Сэм. Все видели, как они уехали вместе, а к тележке был привязан большой узел, вроде как с одеждой. А в упряжке — пара, которую он привел из Маскоги. Их сразу не догнать.

— А по какой...

— Я как раз собирался сказать тебе. Поехали они по дороге на Гатри, а куда свернут, сам понимаешь, неизвестно.

— Ладно, Джим, весьма обязан.

— Не за что, Сэм.


Симмонс свернул папиросу и прищипорил лошадь. Отъехав ярдов на двадцать, он задержался и крикнул:

— Тебе не нужно... содействия, так сказать?

— Спасибо, обойдусь.

— Я так и думал. Ну, будь здоров.

Сэм вытащил карманный нож с костяной ручкой, открыл его и счистил с левого сапога присохшую грязь. Я было подумал, что он собирается поклясться на лезвии в вечной мести или продекламировать «Проклятие цыганки». Те немногие вендетты, которые мне довелось видеть или о которых я читал, начинались именно так. Эта как будто велась на новый манер. В театре публика наверняка освистала бы ее и потребовала бы взамен душераздирающую мелодраму Беласко.



— Интересно,— вдумчиво сказал Сэм,— остались ли на кухне холодные бобы!

Он позвал Уоша, повара-негра, и, узнав, что бобы остались, приказал разогреть их и сварить крепкого кофе. Потом мы пошли в комнату Сэма, где он спал и держал оружие, собак и седла любимых лошадей. Он вынул из книжного шкафа три или четыре кольта и начал осматривать их, рассеянно насвистывая «Жалобу ковбоя». Затем он приказал оседлать и привязать у дома двух лучших лошадей ранчо.

Я замечал, что по всей нашей стране вендетты в одном отношении неуклонно подчиняются строгому этикету. В присутствии заинтересованного лица о вендетте не говорят и даже не упоминают самого слова. Это так же предосудительно, как упоминание о бородавке на носу богатой тетушки. Позднее я обнаружил, что существует еще одно неписаное правило, но, насколько я понимаю, оно действует исключительно на Западе.

До ужина оставалось еще два часа, однако уже через двадцать минут мы с Сэмом глубоко погрузились в разогретенные бобы, горячий кофе и холодную говядину.

— Перед большим перегоном надо закусить получше,— сказал Сэм.— Ешь плотнее.

У меня возникло неожиданное подозрение.

— Почему ты велел оседлать двух лошадей? — спросил я.

— Один да один — два,— сказал Сэм.— Ты что, считать не умеешь?

От его математических выкладок у меня по спине пробежала холодная дрожь, но они послужили мне уроком. Ему и в голову не пришло, что мне может прийти в голову бросить его одного на багряной дороге мести и правосудия. Это была высшая математика. Я был обречен и положил себе еще бобов.

Час спустя мы ровным галопом неслись на восток. Наши кентуккийские лошади недаром набирались сил на мескитной траве Запада. Лошади Бена Тэтема были, возможно, быстрее, и он намного опередил нас, но если бы он услышал ритмический стук копыт наших скакунов, рожденных в самом сердце страны вендетт, он почувствовал бы, что возмездие приближается по следам его резвых коней.

Я знал, что Бен Тэтем делает ставку на бегство и не остановится до тех пор, пока не окажется в сравнительной безопасности среди своих друзей и приверженцев. Он, без со-

мнения, понимал, что его враг будет следовать за ним повсюду и до конца.

Пока мы ехали, Сэм говорил о погоде, о ценах на мясо и о пианолах. Казалось, у него никогда не было ни брата, ни возлюбленной, ни врага. Есть темы, для которых не найти слов даже в самом полном словаре. Я знал требования кодекса вендетт, но, не имея опыта, несколько перегнул палку и рассказал пару забавных анекдотов. Там, где следовало, Сэм смеялся — смеялся ртом. Увидев его рот, я пожалел, что у меня не хватило чувства юмора воздержаться от этих анекдотов.

Мы догнали их в Гатри. Измученные, голодные, пропыленные насквозь, мы ввалились в маленькую гостиницу и уселись за столик. В дальнем углу комнаты сидели беглецы. Они жадно ели и по временам боязливо оглядывались.

На девушке было коричневое шелковое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной — так, кажется, они называются — юбкой. Ее лицо наполовину закрывала густая коричневая вуаль, на голове была соломенная шляпа с широкими полями, украшенная перьями. Мужчина был одет в простой темный костюм, волосы его были коротко подстрижены. В толпе его внешность не привлекла бы внимания.

За одним столом сидели они — убийца и женщина, которую он похитил, за другим — мы: законный (согласно обычаю) мститель и сверхштатный свидетель, пишущий эти строки.

И тут в сердце сверхштатного проснулась жажда крови. На мгновение он присоединился к сражающимся — во всяком случае, на словах.

— Чего ты ждешь, Сэм? — прошептал я. — Стреляй!

Сэм тоскливо вздохнул.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — А он понимает. Он-то знает. В здешних местах, Мистер из Города, у порядочных людей есть правило: в присутствии женщины в мужчину не стреляют. Я ни разу не слышал, чтобы его нарушили. Так не делают. Его надо поймать, когда он в мужской компании или один. Вот оно как. Он это тоже знает. Мы все знаем. Так вот, значит, каков этот красавчик, мистер Бен Тэтем! Я его заарканю прежде, чем они отсюда уедут, и закрою ему счет.

После ужина парочка быстро исчезла. Хотя Сэм до рассвета бродил по лестницам, буфету и коридорам, беглецам каким-то таинственным образом удалось ускользнуть, и на следующее утро не было ни дамы под вуалью, в коричневом платье с плиссированной юбкой, ни худощавого невысоко-



го молодого человека с коротко подстриженными волосами, ни тележки с резвыми лошадьми.

История этой погони слишком монотонна, и я буду краток. Мы снова нагнали их еще в пути. Когда мы приблизились к тележке на пятьдесят ярдов, беглецы оглянулись и даже не хлестнули лошадей. Торопиться им больше было незачем. Бен Тэтем знал. Знал, что теперь спасти его может только кодекс. Без сомнения, будь Бен один, дело быстро закончилось бы обычным путем. Но присутствие его спутницы не позволило ни тому ни другому спустить курок. Судя по всему, Бен не был трусом.

Таким образом, как вы видите, женщина иногда мешает столкновению между мужчинами, а не вызывает его. Но не сознательно и не по доброй воле. Кодексов для нее не существует.

Через пять миль мы добрались до Чендлера, одного из грядущих городов Запада. Лошади и преследователей и преследуемых были голодны и измучены. Только одна гостиница грозила людям и манила скотину — мы все четверо встретились в столовой по зову громадного колокола, чей гудящий звон давно уже расколол небесный свод. Комната была меньше, чем в Гатри.

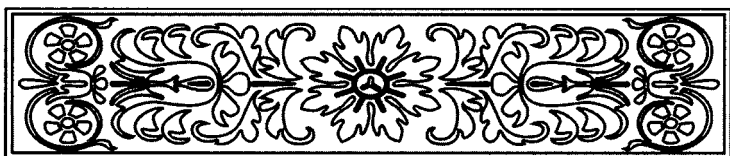
Когда мы принялись за яблочный пирог, — как переплетаются бурлеск и трагедия! — я заметил, что Сэм разглядывает пару в углу напротив. На девушке было то же коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами; вуаль по-прежнему закрывала ее лицо. Мужчина низко склонил над тарелкой коротко остриженную голову.

Я услышал, как Сэм пробормотал не то мне, не то самому себе:

— Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины. Но нигде, черт побери, не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины!

И, прежде чем я успел понять, к чему ведет это рассуждение, он выхватил кольт и всадил все шесть пуль в коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной юбкой.

За столом девушка в мужском костюме уронила на скрещенные руки голову, лишенную, как и самая ее жизнь, былой своей красоты и гордости. А сбжавшиеся люди поднимали с пола труп Бена Тэтема в женском платье, которое дало возможность Сэму формально соблюсти требования кодекса.



ТАК ЖИВУТ ЛЮДИ


Редкая молодая парочка в Великом Городе Блеффа¹ начинала свою супружескую жизнь с большими данными для счастья, чем мистер и миссис Клод Терпин. Во-первых, они не чувствовали особенной враждебности друг к другу; затем, они комфортабельно устроились в красивом доме с отдельными квартирами, снабженными всеми удобствами спального вагона; они жили так же широко, как супружеская чета этажом выше, у которой доход был вдвое больше, чем у них; свадьба их состоялась на пари, на пароме, и по первому знакомству, что вызвало ряд сенсационных газетных заметок, причем имена их стояли под портретами... румынской королевы и Сантос-Дюмона.

Доход Терпина равнялся двумстам долларам в месяц. В день получки, уплатив за квартиру, частично за мебель, рояль и газ и уплатив еще цветочнице, кондитеру, модистке, портному, виноторговцу и «Компании Кебов», Терпины оставляли себе еще двести долларов на мелкие расходы. Как это делается, — одна из тайн столичной жизни.

На домашнюю жизнь Терпинов было так же приятно смотреть, как и на красивую картину. Но она не производила такого впечатления, как, например, олеография «Не забуди бабушку» или «Бруклин при лунном свете». Всматриваясь в картину жизни Терпинов, вы всегда должны были мигать и слышать при этом жужжащий звук, точно от какой-то весьма нервной машины. Да, в картине семейной жизни Терпинов было мало покоя. Она была вроде «Багренья лосося на реке Колумбии» или же «Японской артиллерии в действии».

Все дни у них были совершенно одинаковы, как это всегда наблюдается в Нью-Йорке. Утром мистер Терпин пил бромо-сельтерскую воду, после чего забирал из-под часов и

¹ Так О. Генри нередко величает Нью-Йорк.



клат в карман мелкие деньги, надевал шляпу и, не завтракая, отправлялся в контору. В двенадцать часов дня миссис Терпин вылезала из постели, выходила из спальни и из себя, надевала кимоно на тело и важное выражение на лицо и ставила воду для кофе. Терпин завтракал в городе. Домой он возвращался к шести часам вечера, чтобы переодеться к обеду. Они всегда обедали вне дома, — переходили из харчевни в дешевую столовку, из грумриля в табльдот, из винного погребка в вокзальный ресторан, из кафе в казино, от «Мариин» к «Марте Вашингтон». Так вообще строится семейная жизнь в большом городе. Вместо винограда у горожан омега, а на смоковнице у них растут финики. Домашние боги их Меркурий и Джон Говард Пэн. Вместо свадебного марша им играют «О, приди с невестой-цыганкой». Они редко обедают два раза подряд в одном месте. Надоедает меню, а кроме того, хочется на время забыть о серебряной сахарнице, случайно взятой на память.

Итак, Терпины были счастливы. У них каждый день появлялось много горячих и очаровательных друзей, причем кое-кого из этих новых знакомых они помнили еще на следующий день. Согласно законам и правилам книги Блеффа, их семейная жизнь была идеальной.

Но вот наступил день, когда Терпину вдруг показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка, — если доход его составляет двести долларов в месяц, — и если в конце месяца, просмотрев счета текущих расходов, он находит, что лично он истратил сто пятьдесят долларов, то ему, естественно, захочется узнать: куда же девались остальные пятьдесят долларов? Он станет подозревать жену и, пожалуй, намекнет ей, что кое-что нуждается в разъяснении.

— Послушай, Вивьен, — сказал Терпин как-то днем, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки, — ты сделала в моем бюджете за этот месяц такую брешь, что в нее пролезет здоровенная собака. Ты платила в этом месяце по счету портнихе?

Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением темно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным

щипцам. Клод Терпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провалы дивана, внимательно следил за смеющимся, хорошеньким личиком жены.

— Клод, дорогой мой! — сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку и затем пробуя им безответные щипцы. — Ты страшно несправедлив ко мне. Мадам Туанет не видела от меня ни цента с тех самых пор, как ты заплатил своему портному по счету десять долларов.

Подозрения Терпина на этот раз улеглись. Но вскоре он получил анонимное письмо следующего содержания:

«Следите за женой. Она тайно транжирит ваши деньги. Я тоже был жертвой, как вы теперь. Адрес: «№ 345 Блэнк-стрит» может помочь вам. Имейте это в виду и т. д.

Осведомленный».

Терпин отнес письмо начальнику того полицейского участка, где он проживал.

— Мой участок чист, как зубы у собаки, — заявил начальник. — Крышка на нем закрыта так же плотно, как глаза девушки из Вилльямсбурга, когда на вечеринке ее целуют кавалеры. Впрочем, если вы находите что-нибудь подозрительное в этом адресе, я готов пойти туда с вами.

На следующий день, в три часа, Терпин и начальник тихо брели по лестнице дома № 345 по Блэнк-стрит. Двенадцать рослых полицейских, одетых в полную форму, чтобы не возбуждать никаких подозрений, ожидали внизу в вестибюле.

На самой верхней площадке была дверь, которая оказалась запертой, но начальник вынул из кармана ключ и отпер ее. Оба вошли.

Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось двадцать или двадцать пять элегантно одетых женщин. На стенах этой комнаты висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном. Приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на происходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но, как бы успокоившись при виде полицейского мундира, снова перевели все внимание на человека у телефона.

— Вот видите, — сказал начальник Терпину, — чего стоит анонимное письмо! Всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на

подобную литературу. Мистер Терпин, находится ваша жена среди присутствующих?

— Ее нет здесь, — отвечал Терпин.

— А если бы она и была здесь, — продолжал полицейский, — то разве же ее могла коснуться клевета? Эти леди образуют «Общество Броунинга». Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединен с Бостоном, откуда родственное им по духу общество зачастую передает свои толкования поэм Броунинга. Стыдитесь своих подозрений, мистер Терпин!

— Да бросьте вы защищать их! — воскликнул Терпин. — Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем мне понятное.

— Ничего, кроме Броунинга, — сказал начальник. — Да вот послушайте!

— Танатопсис на одну голову! — проревел человек у телефона.

— Это не из Броунинга, а из Лонгфелло! — сказал Терпин, иногда читавший книги.

— Давно сошел со сцены! — воскликнул полицейский. — Лонгфелло еще в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году побил рекорд в семь минут пятьдесят три секунды.

— А мне все-таки кажется, что в этом собрании есть что-то подозрительное, — настаивал Терпин.

— Не нахожу, — сказал начальник.

— Я понимаю, что все это действительно похоже на тотализатор, но это только ширма. Вивьен где-то много потратила денег. Мне кажется, что здесь происходит что-то скрытое.

Несколько картонных щитов с расписанием скачек, покрывая широкое пространство на стене, плотно прилегли друг к другу.

Движимый подозрением, Терпин сорвал и сбросил их на пол. Обнаружилась умело замаскированная дверь. Терпин приложил ухо к щели и стал внимательно прислушиваться. Он услышал негромкий гул многих голосов, затем тихий и осторожный смех и, наконец, резкий металлический звон, сопровождаемый царапаньем большого количества мелких, но деятельно работающих предметов.

— Боже мой! Вот чего я опасался! — прошептал Терпин. — Зовите сейчас же своих людей! — закричал он начальнику. — Она здесь, я это твердо знаю.

По звуку свистка люди в полицейской форме взбежали по лестнице наверх. Увидев такое количество женщин за тотализатором, они, удивленные и недоумевающие, остановились, не понимая, зачем их вызвали.

Но начальник указал им на запертую дверь и приказал немедленно взломать ее. В несколько минут дверь была разломана топорами, которые были при полицейских. И тотчас же в соседнюю комнату влетел Клод Терпин, за которым поспешил полицейский капитан.

Сцена, которую они увидели, долго оставалась в памяти Терпина. Около двадцати богато и модно одетых женщин, среди которых было много красивых и угонченно-изящных, сидели за маленькими мраморными столиками. Когда полиция взломала двери, женщины стали кричать и метаться во все стороны, точно пестро оперенные птицы, потревоженные в какой-нибудь тропической роще.

У некоторых началась истерика; одна или две упали в обморок; некоторые, бросившись перед полицейскими на колени, молили о пощаде, ссылаясь на свое семейное и общественное положение.

Человек, сидевший за конторкой, схватил толстый, как бедра хористки из «Парадиз-Руф-Гарден», сверток ассигнаций — и выскочил в окно. Около полудюжины служителей столпились в одном конце комнаты, едва дыша от страха.

На столе стояли неопровержимые доказательства вины посетительниц этой роковой комнаты — множество блюд со сливочным мороженым, окруженных грудями других таких же блюд, но уже пустых и выскобленных дочиста.

— Леди! — обратился полицейский к своим плачущим пленницам. — Успокойтесь, я не задержу ни одной из вас. Некоторых я узнаю: у них прекрасные дома и хорошее положение в обществе; мужья их адски работают, а дома их ждут дети. Я вас сейчас отпущу, но прежде, чем отпустить, я прочту вам маленькое наставление. В соседней комнате сейчас такие же женщины, как вы, играют на скачках и ставят свои последние деньги, но часто выигрывают и тем помогают своим мужьям. А вы, вместо того чтобы оказывать своим мужьям такую же поддержку, тратите их заработки. Ступайте домой! А это морозильное отделение при клубе имени Броунинга я закрываю, — раз и навсегда!

Жена Клода Терпина находилась среди посетительниц комнаты, в которую только что было произведено вторже-



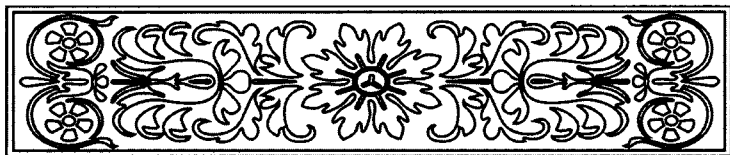
ние. В строгом молчании проводил он ее домой, где она расплакалась с таким раскаянием и так трогательно стала молить его о прощении, что он позабыл справедливый гнев свой, заключил раскаявшуюся золотокудрую Вивьен в свои объятия и простил ее.

— Дорогой мой, — прошептала она с едва сдерживаемым рыданьем, когда лунный свет вливался в открытое окно и окружил ореолом ее нежное, поднятое к небу личико. — Я знаю, что поступила нехорошо. Я никогда больше не буду есть сливочное мороженое. Я позабыла, что ты не миллионер. Я ходила туда каждый день. Но сегодня у меня было такое странное, грустное предчувствие, что я ела безо всякого удовольствия и была сама не своя. Я съела всего одиннадцать порций.

— Не будем больше говорить об этом, — ответил Клод, любовно лаская ее локоны.

— А ты уверен, что совсем простил меня? — спросила Вивьен, с мольбой глядя на него влажными небесно-синими глазами.

— Почти уверен, моя крошка! — ответил Клод, наклоняясь и слегка касаясь губами ее белоснежного лба. — Видишь ли, я буду с тобой вполне откровенен. Завтра — скачки с препятствиями для трехлеток, и я поставил на Вачиллу все мое месячное жалованье. Поэтому... поэтому... если ты так любишь мороженое, можешь его есть сколько угодно, — поняла?



КОЛОВРАЩЕНИЕ ЖИЗНИ


Мировой судья Бинаджа Уиддеп сидел на крыльчке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загроздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.

На дороге послышался скрип колес, закрубило облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней — Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте шести фугов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла.

Мировой судья сунул ноги в башмаки, из уважения к своему званию, и поднялся, чтобы пропустить супругов.

— Мы, вот,— сказала женщина, и голос ее прозвучал как гудение ветра в ветвях сосен,— хотим развестись.— Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела.

— Развестись,— повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком.— Мы, вот, не можем ужиться, хоть ты тресни! В горах-то у нас глушь — одиноко, стало быть, жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки — еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе.



— Да когда он бездельник и чумовой,— без особенного жара сказала женщина.— Валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целая напасть с его собаками — корми их!

— Да когда она швыряется крышками от кастрюль,— в тон ей забубнил Рэнси,— да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее, а уж ночь-то всю как есть глаз сомкнуть не дает, все пилит и пилит за всякую пустяковину.

— Да когда он на податных чиновников с кулаками кидается и на все горы ославился как самый что ни на есть никудышный пропойца,— тут нешто уснешь?

Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу.

— В законе и его уложении,— начал судья,— ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но, с точки зрения справедливости, конституции и Священного Писания, всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе.

Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку.

— Продал медвежью шкуру и трех лисиц,— сказал он. — Вот все наши денежки, больше нету.

— Установленная судом плата за развод,— сказал судья,— равняется пяти долларам.— С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскабалении:

«Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали

обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства Штата. От слова не отступать, и да поможет вам Бог. Бинаджа Уиддеп, мировой судья округа Пьедмонта. В округе Пьедмонте, штат Теннесси».

Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным.

— Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело — сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь? А я вот надумала отправиться к братцу Эду на Свиной хребет, так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да се. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион.

Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босы, а тропа на Свиной хребет — крута и кремниста.

— Эриэла Билбро,— спросил Бинаджа Уиддеп судейским голосом,— какой пансион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?

— Я полагаю,— отвечала женщина,— на башмаки и на все про все, стало быть, пять долларов. Это не бог весть какой пансион, но до брата Эда, может, и доберусь.

— Названная сумма,— сказал судья,— не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице пять долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу.

— А где их взять-то,— с тяжелым вздохом отвечал Рэнси.— Я вам выложил все, что у меня было.

— В противном случае,— изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков,— вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду.

— Кабы вы обождали денек,— с мольбой сказал Рэнси,— может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион.

— Слушание дела откладывается,— объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе.

Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.

— Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли? — сказал Рэнси.— Переночуем у него. — Он влез в двуколку, Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге.

Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина.

Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма, у сучьего тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя.

— Давай деньги,— сказала фигура,— да помалкивай. Я зол как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске...

— П-пять долларов — все, что у меня есть,— пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.

— Сверни ее,— последовал приказ,— и засунь в ствол ружья. Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцам нетрудно было свернуть ее трубочкой и (что потребовало больших усилий!) засунуть ее в ствол ружья.

— Ну ладно, ступай теперь,— сказал грабитель.

Судья не стал мешкать.

На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджа Уиддеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии

Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджа Уиддеп воздержался от замечаний. Мало ли чего — никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа.

— Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке... Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок — от собак подальше. Не забудь часы-то завести на ночь.

— А ты, значит, к братцу Эду? — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси.

— Да вот до ночи надо бы добраться, Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят, да куда ж больше пойдешь. А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть... Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси... да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то...

— Может, я, конечно, собака,— голосом мученика проговорил Рэнси,— не захочу, видишь ты, попрощаться... Оно, конечно, когда кому невтерпеж уйти, так тому, может, и не до прощанья...

Эриэла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджа Уиддеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту.

Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности — к финансовым гениям.

— Одинокое тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси? — сказала Эриэла.

Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж — светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу.

— А то нет, что ли,— сказал он.— Так ведь когда кто начнет с ума сходить да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь.

— Так когда ж кто другой сам хотел развода,— сказала Эриэла, адресуясь к табуретке.— Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался.



— Да когда б кто сказал, что не хочет.

— Да когда б кто сказал, что хочет. Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.

— Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.

— Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?

На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри.

— Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя,— сказал Рэнси.— Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэла.

— Сердце-то у меня там осталось, Рэнси в нашей хижине,— шепнула Эриэла.— Где ты — там и оно. И я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может, еще поспеем засветло.

Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджа Уиддеп окликнул их.

— Именем штата Теннесси,— сказал он,— запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отраднo и не скажу как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты Штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше не муж и не жена и, как таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния.

Эриэла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок?

— Однако,— продолжал судья,— суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, пять долларов.

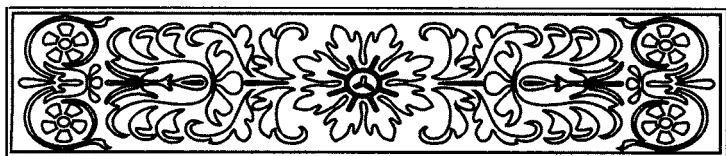
В последних словах судьи Эриэла уловила для себя проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и от-



туда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз.

Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они — все так же рука с рукой — покатали к себе в горы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку. Закурил свою бузинуновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.



ЖЕРТВА НЕВПОПАД

У редактора журнала «Домашний очаг» особая система отбора рукописей для печати. Свою теорию он не держит в секрете, напротив, охотно развивает ее перед вами, сидя за столом красного дерева, благосклонно улыбаясь и легонько постукивая себя по коленке очками в золотой оправе.

— Наш журнал не нуждается в штатных рецензентах, — говорит он. — Мы получаем отзывы о поступающих к нам рукописях непосредственно от наших читателей, принадлежащих к самым различным кругам.

Такова теория нашего редактора; а вот как он осуществляет ее на практике:

Получив очередную пачку рукописей, он рассовывает их по карманам и за день на ходу раздает. Служащие в редакции, дворник, швейцар, лифтер, мальчишки-рассыльные, официанты в кафе, где наш редактор закусывает среди дня, продавец в киоске, где он покупает вечернюю газету, бакалейщик и хозяин молочной, кондуктор надземки, которая в 5.30 утра везет его в город, и контролер на станции Шестьдесят такой-то улицы, кухарка и горничная у него дома, — вот рецензенты, на чей суд он отдает рукописи, присланные в журнал. А если к тому времени, когда он возвращается в лоно семьи, карманы его не совсем опустели, остатки вручаются жене, чтобы прочла, когда малыш уснет. Через несколько дней редактор, совершая обычный свой путь, собирает рукописи и знакомится с приговором своих разномастных рецензентов.

Этот способ отбора материала оказался весьма успешным, и число подписчиков, судя по притоку объявлений, растет с неслыханной быстротой.

Издательство «Домашний очаг» выпускает также и книги, и его марка стоит на нескольких произведениях, пользующихся большим успехом, причем все они, по словам редактора, были одобрены армией добровольных рецензен-

тов. Бывали, правда, случаи (если верить иным разговорчивым служащим), когда издательство, доверяясь мнению этих разношерстных рецензентов, упустило рукописи,— а потом они выходили в других издательствах и имели шумный успех.


Так, например (уверяют сплетники), роман «Взлет и падение Сайласа Лэтама» не был одобрен лифтером; рассыльные единодушно отвергли «Хозяина»; кондуктор трамвая пренебрежительно отозвался о «Карете епископа»; «Избавление» забраковал служащий отдела подписки, в доме которого на ближайшие два месяца поселилась его теща; дворник, возвращая «Причуды королевы», сказал: «Ну и учудил!»

И однако «Домашний очаг» остается верен своей теории и своей системе, и у него никогда не будет недостатка в добровольных рецензентах; ибо все они, от юной стенографистки в редакции до истопника в подвале (его неодобрительный отзыв лишил издательство «Домашний очаг» рукописи «Ада кромешного»), надеются рано или поздно занять пост главного редактора.

Порядки «Домашнего очага» были хорошо известны Аллену Слейтону, когда он писал свою повесть «Любовь превыше всего». Слейтон постоянно околачивался в редакциях всех журналов, сколько их было в Нью-Йорке, и досконально изучил их внутреннюю механику.

Он знал не только о том, что редактор «Домашнего очага» раздает рукописи на отзыв самым разным людям,— он знал также, что чувствительно-романтические истории попадают в руки стенографистки мисс Пафкин. У редактора был еще один своеобразный прием: он неизменно скрывал от рецензентов имена авторов, чтобы какое-нибудь громкое имя не помешало беспристрастно оценить рукопись.

Повесть «Любовь превыше всего» была любимым детищем Слейтона. Полгода он трудился над нею, вложил в нее лучшие силы ума и сердца. Вся она, от первого до последнего слова, была посвящена любви — чистой, возвышенной, романтической, пылкой, поистине поэма в прозе, которая превозносила божественный дар любви (цитирую по рукописи) превыше всех земных благ и почестей и отводила ей место среди прекраснейших наград, какие могут ниспослать человеку небеса. Авторское тщеславие Слейтона не знало границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы прославиться на избранном поприще. Кажется, он



дал бы отрубить себе правую руку или отдался бы во власть коллекционера аппендиксов, лишь бы сбылась его заветная мечта: увидеть хоть одно свое детище напечатанным на страницах «Домашнего очага».

Слейтон закончил повесть «Любовь превыше всего» и самолично отнес ее в «Домашний очаг». Редакция журнала помещалась, в числе многих других контор и учреждений, в большом доме, где высшая власть находилась в самом низу, в руках дворника.

Едва Слейтон переступил порог и направился к лифту, через вестибюль пролетела мясорубка, сбила с писателя шляпу и угодила в стеклянную дверь, так что брызнули осколки. Вслед за этим предметом кухонной утвари вылетел дворник — нескладный и неприглядный увалень, встрепанный, без подтяжек, перепуганный и запыхавшийся. Далее за метательным снарядом последовала неряшливая толстуха с развевающимися волосами. Дворник поскользнулся на кафельном полу и с воплем отчаяния рухнул. Женщина набросилась на него и вцепилась ему в волосы. Он истошно взвыл.

Отведя немного душу, разъяренная фурия выпрямилась и, торжествуя, точно Минерва, прошествовала куда-то в таинственные недра семейного гнездышка. Дворник, пыхтя от перенесенной встряски и унижения, поднялся на ноги.

— Вот вам и женатая жизнь, — с горькой усмешкой сказал он Слейтону. — А я когда-то ночей не спал, все про нее думал. Не взыщите, сэр, шляпе вашей досталось. Вы уж не рассказывайте тут никому, ладно? Неохота мне место терять.

Слейтон прошагал к лифту и поднялся в редакцию «Домашнего очага». Он отдал рукопись редактору, и тот обещал через неделю ответить, пригодна ли «Любовь превыше всего» к печати.

Спускаясь в лифте, Слейтон составил план военных действий. То было мгновенное озарение, и он не мог не возгордиться тем, что у него родилась такая гениальная мысль. В тот же вечер он приступил к исполнению своего грандиозного плана.

Мисс Пафкин, стенографистка журнала «Домашний очаг», жила в тех же меблированных комнатах, что и наш писатель. Это была сухопарая, замкнутая, вялая и сентиментальная стареющая дева; незадолго перед тем Слейтона с нею познакомили.

Вот в чем заключался дерзкий и самоотверженный замысел писателя: он знал, что редактор «Домашнего очага» всецело полагается на суждение мисс Пафкин о рукописях на темы чувствительно-романтические. Ее вкус в точности соответствовал вкусам великого множества самых заурядных женщин, которые жадно поглощают романы и рассказы такого сорта. Смысл и суть повести Слейтона составляла любовь с первого взгляда — упоительное, неодолимое, потрясающее чувство, которое заставляет мужчину или женщину узнать избранницу или избранника мгновенно, едва сердце отзовется сердцу. Что, если он сам попробует внушить мисс Пафкин эту божественную истину? Уж наверно она, проникшись новыми для нее восхитительными ощущениями, горячо порекомендует редактору напечатать повесть «Любовь превыше всего».

Так думал Слейтон. И в тот же вечер повел мисс Пафкин в театр. На другой вечер в полутемной гостиной меблированных комнат он пылко объяснился ей в любви. Он так и сыпал цитатами из своей повести, и под конец голова мисс Пафкин склонилась ему на плечо, у него же в голове носились видения писательских лавров.

Но Слейтон не ограничился объяснениями в любви. Это решающая минута в его жизни, сказал он себе; и, как истинный спортсмен, «всем пожертвовал ради победы». В четверг они с мисс Пафкин обвенчались.

Отважный Слейтон! Шатобриан кончил свои дни на чердаке, Байрон ухаживал за вдовой, Китс умер с голоду, Эдгар По слишком много пил, Де Квинси курил опиум. Эйд поселился в Чикаго, Джеймс гнул свою линию, Диккенс носил белые носки, а Мопассан смирительную рубашку, Том Уотсон стал популистом, пророк Иеремия плакал, — и всё это ради литературы, но ты превзошел их всех: дабы пробиться на Олимп, ты взял себе жену!

В пятницу утром миссис Слейтон собралась в редакцию: ей надо вернуть рукописи, которые редактор дал ей на отзыв, сказала она, и отказаться от места стенографистки.

— Есть там... э-э... среди рассказов, которые ты возвращаешь... что-нибудь такое, что тебе особенно понравилось? — с бьющимся сердцем спросил Слейтон.

— Да, одна повесть... она мне очень по душе, — отвечала жена. — Я уже сколько лет ничего подобного не читала, это так мило и правдиво, просто сама жизнь.



Среди дня Слейтон помчался в редакцию «Домашнего очага». Он чувствовал, что желанная награда уже у него в руках. Если его повесть напечатают в «Домашнем очаге», завтра его ждет слава.

У барбера в приемной его остановил рассыльный. Неудачливым авторам весьма редко доводится беседовать с самим главным редактором.

Втайне ликуя, Слейтон лелеял в душе сладостную надежду: сейчас его блестящий успех сокрушит этого мальчишку!

Он осведомился о своей повести. Рассыльный вошел в святилище и вынес оттуда большой пухлый конверт, словно набитый тысячью чеков.

— Хозяин велел сказать, что сожалеет, а только для нашего журнала ваша рукопись неподходящая.

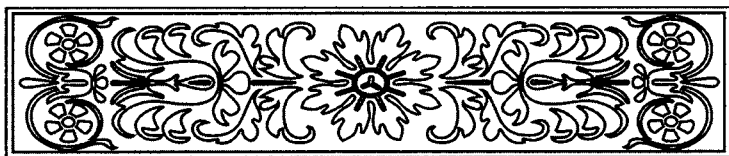
Слейтон был ошеломлен.

— Скажите, — заикаясь вымолвил он, — что, мисс Паф... то есть моя... мисс Пафкин... вернула сегодня повесть, которую ей давали читать?

— А как же, — отвечал всезнающий рассыльный. — Я сам слышал, старик сказал, мисс Пафкин говорит, повесть первый сорт. Называется «Богатый жених, или Торжество скромной труженицы»... Послушайте, — доверительно продолжал рассыльный, — вас звать Слейтон, верно? Похоже, я тут вам ненароком напугал. Хозяин мне давеча велел раздать рукописи, а я спутал, которые для мисс Пафкин, а которые для дворника. Но я так думаю, это не беда.

Тут Слейтон присмотрелся и на обложке своей рукописи, под заголовком «Любовь превыше всего», увидел нацарапанный куском угля приговор дворника:

«Ври больше!»




ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груды угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились напрямик к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизрядного кольца, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезен-



товый мешок, спрыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу


Машинист, угрюмо, но благоразумно повинувшись их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чапарраля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Прodelав такой длинный, извилистый путь, они были пока в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и поводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратнo заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник,— весело обратился он к Додсону,— а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих,— отве-



тил жизнерадостный Боб.— Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано,— по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал, будет больше,— сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего заморенного коня.

— Старик Боливар почти выдохся,—сказал он с расстановкой.— Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко,— простодушно ответил Боб,— да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный— он нас довезет куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки тебе в подметки не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк,— ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожеывая веточку. — Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое, — философски ответил Боб Тидбол.— Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.


Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб,— повторил он с чувством.

— И мне тоже,— согласился Боб,— хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло кольта сорок пятого калибра, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки,— ухмыляясь, сказал Боб.— Пора двигаться.



— Сиди, как сидишь! — сказал Акула. — Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не вынести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон, — спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобою честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошугил, Акула, убери кольч и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул! Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле. Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Деккер, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди, — моргая, сказал Додсон. — Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Трэси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

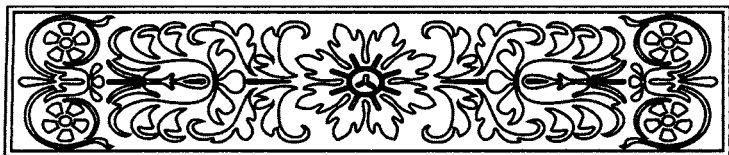
— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.



— Простите, сэр,— сказал Пибоди, волнуясь,— я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять,— сказал Додсон.— Боливару не вынести двоих.




ДЕЛКА

Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Гори был сам Гори, развалившийся в своем скрипучем старом кресле. Маленькая убогая контора, выстроенная из красного кирпича, выходила прямо на улицу, главную улицу города Бэтела.

Бэтел приютился у подножия Синего хребта. Над городом горы громоздились до самого неба. Далеко внизу мутная желтая Катоба поблескивала на дне унылой долины.

Был самый душный час июньского дня. Бэтел дремал в тени, не дающей прохлады. Торговля замерла. Было так тихо, что Гори, полулежа в кресле, отчетливо слышал стук фишек в зале суда, где «шайка судейских» играла в покер. От настежь открытой задней двери конторы утоптанная тропинка извивалась по травке к зданию суда. Прогулки по этой тропинке стоили Гори всего, что у него было за душой, — сначала наследства в несколько тысяч долларов, потом старинной родовой усадьбы и, наконец, последних остатков самоуважения и человеческого достоинства. Судейские обобрали его до нитки. Незадачливый игрок стал пьяницей и паразитом; он дожил до того дня, когда люди, ограбившие его, отказали ему в месте за карточным столом. Его «слово» больше не принималось. Ежедневная партия в покер составлялась без него; ему же предоставили жалкую роль зрителя. Шериф, секретарь округа, разбитной помощник шерифа, веселый прокурор и человек с бескровным лицом, явившийся «из долины», сидели вокруг стола, а остриженной овце давался молчаливый совет — постараться снова обрести шерстью.

Этот остракизм скоро наскучил Гори, и он отправился восвояси, нетвердо ступая по злосчастной тропинке и что-то бормоча себе под нос. Глотнув маисовой водки из полуштофа, стоявшего под столом, он бросился в кресло и в какой-то пьяной апатии стал глядеть на горы, тонувшие в лет-




нем тумане. Маленькое белое пятно вдали, на склоне Черного Джека, была Лорел, деревня, близ которой он родился и вырос. Здесь также родилась кровная вражда между Гори и Колтренами. Теперь не осталось в живых ни одного прямого потомка рода Гори, кроме этой ошипанной и опаленной птицы печали. В роде Колтренов тоже остался всего один представитель мужского пола: полковник Эбнер Колтрен, человек с весом и положением, член законодательного собрания штата, сверстник отца Гори. Вендетта была обычно в этой местности типа; она оставила за собой кровавый след ненависти, обид и убийств.

Но Янси Гори думал не о вендеттах. Его отуманенный мозг безнадежно бился над проблемой — как существовать дальше, не отказываясь от привычных пороков. Последнее время старые друзья его семьи заботились о том, чтобы у него было что есть и где спать, но покупать ему виски они не желали, а ему необходимо было виски. Его адвокатская практика заглохла; уже два года ему не поручали ни одного дела. Он погряз в долгах, стал нахлебником, и если не упал еще ниже, то только потому, что не подвернулся удобный случай. Сыграть бы еще один раз, говорил он себе, один только раз — и он наверняка отыграется; но ему нечего было продать, а кредит его давно истощился.

Он не мог не улыбнуться даже сейчас при воспоминании о человеке, которому он полгода назад продал старую усадьбу семьи Гори. «Оттуда», с гор, прибыли два необычайно странных существа — некто Пайк Гарви и его супруга. Словом «там», сопровождаемым жестом руки по направлению к лесистым вершинам, горцы привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и медвежьи берлоги. Странная пара, посетившая Янси Гори, прожила двадцать лет в самой глухой части этого безлюдного края, в одинокой хижине, высоко на склоне Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, которые нарушали бы тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало знали в поселках, но все, кто хоть когда-либо имел с ним дело, единогласно заявляли, что он «спятил».

Его единственной официальной деятельностью была охота на белок, но ему случалось, для разнообразия, заниматься и контрабандой. Однажды сборщики налогов вытащили его из его норы; он сопротивлялся молча и яростно,



как терьер, и угодил на два года в тюрьму. Когда его выпустили, он снова забился в свою нору, как рассерженный хохлик.

Капризная фортуна, обойдя многих трепетных искателей, вспорхнула на вершину Черного Джека, чтобы наградить своей улыбкой Пайка и его верную подругу.

Однажды компания совершенно нелепых изыскателей в коротких брюках и очках вторглась в горы по соседству с хижинкой Гарви. Пайк снял с крюка свое охотничье ружье и выстрелил издали в пришельцев — ведь они могли оказаться сборщиками налогов. К счастью, он промахнулся, и агенты фортуны приблизились и обнаружили свою полную непричастность к закону и правосудию. Впоследствии они предложили чете Гарви целую кучу зеленых хрустящих наличных долларов за его клочок расчищенной земли в тридцать акров и в оправдание такого сумасбродства привели какую-то невероятную ерунду относительно того, что под этим участком находится пласт слюды.

Когда Гарви с женой стали обладателями такого количества долларов, что они сбивались, пересчитывая их, все неудобства существования на Черном Джеке стали для них очевидны. Пайк начал поговаривать о новых башмаках, о ящике табаку, который хорошо бы поставить в угол, о новом курке для своего ружья; он повел Мартеллу в одно место на склоне горы и объяснил ей, как здесь можно было бы установить небольшую пушку, — она, несомненно, оказалась бы им по средствам, — чтобы простреливать и защищать единственную тропинку к хижине и раз навсегда отвадить сборщиков налогов и назойливых незнакомцев.

Но Адам упустил из виду свою Еву. Для него табак, пушка и новый курок были достаточно полным воплощением богатства, но в его темной хижине дремало честолюбие, парившее много выше его примитивных потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупница вечно женственного, не убитая двадцатилетним пребыванием на Черном Джеке. Она так привыкла слышать днем лишь звук коры, падающей с больных деревьев, а ночью завывание волков, что это как будто вытравило из нее все тщеславие. Она стала толстой, грустной, желтой и скучной. Но когда появились средства, в ней снова вспыхнуло желание воспользоваться привилегиями своего пола: сидеть за чайным столом, покупать ненужные вещи, припудрить уродливую правду жизни условно-

тями и церемониями. Поэтому она холодно отвергла систему укреплений, предложенную Пайком, и заявила, что они теперь спустятся в мир и будут вращаться в обществе.


На этом в конце концов они порешили, и план был приведен в исполнение. Деревушка Лорел явилась компромиссом между предпочтением, которое миссис Гарви оказывала большим городам, и тягой Пайка к первобытным пустыням. Лорел сулила кое-какой выбор светских развлечений, соответствующих честолюбивым стремлениям миссис Гарви, и не была лишена некоторых удобств для Пайка, — ее близость к горам обеспечивала ему возможность быстрого отступления, в случае если он не поладит с фешенебельным обществом.

Их переезд в Лорел совпал с лихорадочным желанием Янси Гори обратить в звонкую монету свою недвижимость, и они купили старую усадьбу Гори, отсчитав в дрожащие руки мота четыре тысячи долларов наличными.

Вот как случилось, что в то время, когда недостойный отпрыск рода Гори, опустившийся, изгнанный и отвергнутый обобравшими его друзьями, валялся в своей непристойной конторе, чужие жили в доме его предков.

Облако пыли медленно катилось по раскаленной улице и что-то двигалось внутри него. Легкий ветерок отнес пыль в сторону, и показался новый, ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая лошадь. Приблизившись к конторе адвоката, экипаж свернул с середины улицы и остановился у канавки, прямо против двери.

На передней скамейке восседал высокий, тощий мужчина в черном суконном костюме; его руки были втиснуты в желтые кожаные перчатки. На задней скамейке сидела женщина, торжествовавшая над июньской жарой. Ее полная фигура была закована в облегающее шелковое платье цвета «шанжан», то есть всех цветов радуги. Она сидела прямо, обмахиваясь разукрашенным веером и устремив неподвижный взгляд на конец улицы. Как ни согрето было сердце Мартеллы Гарви радостями новой жизни, Черный Джек наложил на ее внешность свою неизгладимую печать. Он придал ее чертам пустое, бессмысленное выражение, наделил ее резкостью своих утесов и замкнутостью своих молчаливых ущелий. Что бы ее ни окружало, она, казалось, всегда слышала звук коры, падающей с больших деревьев. Она всегда слышала страшное молчание Черного Джека, звенящее среди самой беззвучной ночи.



Гори апатично наблюдал, как пышный экипаж подъехал и остановился у его двери; но когда сухопарый возница замотал вожжи вокруг кнута, неуклюже слез и вошел в контору, он поднялся, шатаясь, ему навстречу: он узнал Пайка Гарви, нового, преображенного, только что причастившегося цивилизации.

Горец сел на стул, предложенный ему адвокатом. Те, кто подвергал сомнению здравый ум и твердую память Гарви, могли привести в доказательство его внешность. Лицо у него было слишком длинное, тускло-шафранного цвета и неподвижное, как у статуи. Бледно-голубые, немигающие круглые глаза без ресниц еще подчеркивали странность этого жуткого лица. Гори тщетно пытался найти объяснение его визиту.

— Все в порядке в Лореле, мистер Гарви? — спросил он.

— Все в порядке, сэр, и мы с миссис Гарви чрезвычайно довольны именем. Миссис Гарви нравится ваша усадьба, и соседи ей нравятся. Она говорила, что нуждается в обществе, а здесь его достаточно. Роджерсы, Хэпгуды, Прэтты и Тройсы — все сделали визиты миссис Гарви, и она почти у всех у них обедала. Ее в лучшие дома приглашают. Не могу сказать, мистер Гори, чтобы такие вещи были мне по душе... мне подавайте вот это, — огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала по направлению к горам. — Мое место там, среди диких пчел и медведей. Но я не для того приехал, чтоб болтать об этом. Мы с миссис Гарви хотим купить у вас одну вещь.

— Купить? — повторил Гарви. — У меня? — Он горько засмеялся. — Полагаю, что это ошибка. Да, конечно, ошибка. Я продал вам, как вы сами выразились, все до последнего гвоздя. Шляпки от гвоздя и той не найдется для продажи.

— У вас есть что продать, и нам это нужно. «Возьми деньги, — так сказала миссис Гарви, — и купи, честно и благородно».

Гори покачал головой.

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Вы не думайте, у нас куча денег, — продолжал горец, не уклоняясь от своей темы, — целая куча. Были мы бедны, как крысы, верно, а теперь могли бы приглашать каждый день гостей к обеду. Нас признало лучшее общество — это миссис Гарви так говорит. Но нам нужна еще одна вещь. Миссис Гарви говорит, что это следовало бы включить в купчую кре-

пость, когда мы покупали у вас имение. Но там этого нет. «Ну так возьми деньги, — говорит, — и купи, честно и благородно».

— Валяйте скорей, — сказал Гори; его расшатанные нервы не выдерживали ожидания.

Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонился вперед, глядя в глаза Гори немигающими глазами.

— Есть старая распря, — сказал он отчетливо и медленно, — между вами и Колтренами.


Гори угрожающе нахмурился: говорить о вендетте с заинтересованным лицом считается серьезным нарушением этикета родовой мести. Человек «оттуда» знал это так же хорошо, как и адвокат.

— Не в обиду вам будь сказано... — продолжал он, — я с деловой точки зрения. Миссис Гарви изучила все про эти самые распри. Почти у всех родовитых людей в горах есть кровники. Сеттли и Гофорты, Рэнкинсы и Бойды, Сайлеры и Гэллоуэи поддерживали родовую месть от двадцати до ста лет. Последний раз угробили человека, когда ваш дядя, судья Пэйсли Гори, объявил, что заседание суда откладывается, и застрелил Лена Колтрена с судейского кресла. Мы с миссис Гарви вышли из низов. Никто не затеет с нами распри, все равно как с древесными лягушками. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть распри. Мы-то не родовитые, но деньги есть, вот и обзаводимся чем можем. «Так возьми деньги, — сказала миссис Гарви, — и купи распрю мистера Гори, честно и благородно».

Охотник на белок вытянул одну ногу почти до середины комнаты, вытащил из кармана пачку банкнот и бросил ее на стол.

— Здесь двести долларов, мистер Гарви. Согласитесь, что за такую запущенную распрю цена хорошая. С вашей стороны только вы и остались, а убивать вы, наверно, не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим делом; а мы с миссис Гарви войдем в родовитое общество. Берите деньги.

Свернутые бумажки медленно развернулись, корчась и подпрыгивая на столе. В молчании, наступившем за последними словами Гарви, ясно слышался стук игральных фишек в здании суда. Гори знал, что шериф только что выиграл хороший куш, — через двор на волнах знойного воздуха донеслось сдержанное гиканье, которым он всегда приветствовал победу. Капли пота выступили у Гори на лбу. Он на-



гнулся, вытащил из-под стола полуштоф в плетенке и наполнил из него стаканчик.

— Выпейте, мистер Гарви! Вы, конечно, изволили пошутить... по поводу того, что сейчас сказали? Вводится новый вид торговых операций. Вендетты первого сорта — от двухсот пятидесяти до трехсот долларов. Вендетты, слегка подпорченные, — двести... кажется, вы сказали двести, мистер Гарви?

Гори деланно рассмеялся. Горец взял предложенный стакан и осушил его, не моргнув неподвижными глазами. Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным взглядом. Он налил и себе и начал пить, как истый пьяница, медленными глотками, вздрагивая от запаха и вкуса водки.

— Двести, — повторил Гарви, — вот деньги.

Внезапная ярость вспыхнула у Гори в мозгу. Он стукнул по столу кулаком. Одна из кредиток подскочила и коснулась его руки. Он вздрогнул, как будто что-то ужалило его.

— Вы серьезно пришли ко мне, — закричал он, — с таким нелепым, оскорбительным, сумасбродным предложением?

— Я хотел честно и благородно, — сказал охотник на белок; он протянул руку, словно для того, чтобы взять деньги обратно, и тогда Гори понял, что его вспышка гнева объяснялась не гордостью и обидой, но раздражением против самого себя, так как он чувствовал себя способным опуститься еще ниже, в яму, которая перед ним открылась. В мгновение он превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, расхваливающего свой товар.

— Не торопитесь, Гарви, — сказал Гори; он побагровел, и язык у него заплетался. — Я принимаю ваше пре... пре... предложение, хотя двести долларов — безобразно низкая цена. С... сделка есть сделка, если продавец и покупатель оба удовлетворены... Завернуть вам покупку, мистер Гарви?

Гарви встал и отряхнулся.

— Миссис Гарви будет довольна. Вы вышли из этого дела, и теперь оно будет считаться Колтрэн против Гарви. Пожалуйста расписочку, мистер Гори, — недаром вы адвокат, — чтобы закрепить сделку.

Гори схватил лист бумаги и перо. Деньги он крепко зажал во влажной руке. Все остальное вдруг стало пустячным и легким.

— Запродажную запись. Непременно. «Право на владение и проценты...» Только придется пропустить «защищае-

мое законами штата», — сказал Гори с громким смехом. — Вам придется самому защищать это право.

Горец взял необычайную расписку, сложил ее с величайшими предосторожностями и аккуратно спрятал в карман.

Гори стоял у окна.

— Подойдите сюда, — сказал он, поднимая палец. — Я покажу вам вашего только что купленного кровного врага. Вон он идет, по той стороне улицы.

Горец согнул свою длинную фигуру, чтобы посмотреть в окно туда, куда указывал адвокат. Полковник Эбнер Колтрен, прямой, осанистый джентльмен лет пятидесяти, в цилиндре и неизбежном двубортном сюртуке члена южного законодательного собрания, проходил по противоположному тротуару. Пока Гарви смотрел, Гори взглянул ему в лицо. Если существуют на свете желтые волки, то здесь находился один из них. Гарви зарычал, следя нечеловечьими глазами за проходящей фигурой, и оскалил длинные, янтарного цвета клыки.

— Это он... Да ведь это — человек, который упрятал меня когда-то в тюрьму.


— Он был прокурором, — сказал небрежно Гори, — и, между прочим, он первоклассный стрелок.

— Я могу прострелить белке глаз на расстоянии ста ярдов, — сказал Гарви. — Так это Колтрен? Я сделал лучшую покупку, чем ожидал. Я позабочусь об этой распре получше вашего, мистер Гори.

Он направился к дверям, но остановился на пороге в легком замешательстве.

— Еще что-нибудь угодно? — спросил Гори с сарказмом безнадежности. — Семейные традиции? Духи предков? Позорные тайны? Пожалуйста! Цены самые доступные...

— Есть еще одна вещь, — невозмутимо протянул охотник на белок, — миссис Гарви тоже говорила. Это не совсем по моей части, но она особенно хотела, чтобы я спросил вас и, если вы согласны, купил бы, честно и благородно. Есть там ваше семейное кладбище, как вам известно, мистер Гори, за вашей старой усадьбой, под кедрами. Там похоронены ваши предки, те, что убиты Колтренами. На памятниках их имена. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть семейные кладбища. Она говорит, что, если мы купим распрю, к ней надо добавить и кладбище. На памятниках везде «Гори», но это можно вытравить и заменить нашей...



— Вон! вон! — закричал Гори вспыхнув. Он протянул к горцу обе руки со скрюченными, дрожащими пальцами. — Убирайтесь, негодяй. Даже ки... китаец защищает мо... могилы своих предков. Вон!

Охотник на белок побрел к своему шарабану. Пока он влезал в него, Гори с лихорадочной быстротой подбирал деньги, выпавшие у него из рук. Не успел экипаж завернуть за угол, как овца, вновь обросшая шерстью, понеслась с неприличной поспешностью по тропинке к зданию суда.

В три часа ночи судейские приволокли его обратно в контору, остриженного и в бессознательном состоянии. Шериф, разбитной помощник шерифа, секретарь и веселый прокурор несли его, а бледнолицый субъект «из долины» замыкал шествие.

— На стол, — сказал один из них, и они положили его на стол среди груды его бесполезных книг и бумаг.

— У Янси прямо пристрастие к двойкам, когда он наклоняется, — задумчиво вздохнул шериф.

— Это уж чересчур, — сказал веселый прокурор. — Человеку, который напивается, нечего играть в покер. Интересно, сколько он просадил сегодня.

— Около двухсот. Удивляюсь, где он их взял. У него уже больше месяца не было ни цента.

— Может быть, клиента подцепил. Ну, ладно, пойдемте по домам, пока не рассвело. Он отойдет, когда проспится, только в голове будет гудеть, как в улье.

«Шайка» растаяла в угренних сумерках. Следующим взглядом, посмотревшим на несчастного Гори, было око утра. Оно заглянуло в незавешенное окно и сначала залило спящего потоком бледного золота, а потом окатило его горящее лицо обжигающим белым летним зноем. Гори, не просыпаясь, зашевелился среди хлама на столе и отвернулся от окна. При этом он задел тяжелый Свод законов, и книга с грохотом упала на пол. Гори открыл глаза и увидел, что над ним склонился человек в длинном черном спортуке. Слегка закинув голову, он обнаружил старый цилиндр, а под ним доброе, гладко выбритое лицо полковника Эбнера Колтрена.

Не уверенный в радушном приеме, полковник ждал, когда Гори его узнает. Вот уже двадцать лет, как представители мужской части этих двух семейств не встречались в мирной обстановке. Веки у Гори дрогнули, и он, напрягая помугившееся зрение, взглянул на гостя и безмятежно улыбнулся.

— А вы привели Стеллу и Люси поиграть со мной? — спросил он спокойно.

— Вы узнаете меня, Янси? — спросил Колтрен.

— Конечно. Вы подарили мне кнутик со свистком.

Так оно и было, — двадцать четыре года тому назад, когда отец Янси был его лучшим другом.

Глаза Гори забежали по комнате. Полковник понял.

— Лежите спокойно, я вам сейчас принесу, — сказал он.

Во дворе был колодец, и Гори, закрыв глаза, с восторгом прислушивался к звяканью его рычага и плеску воды. Колтрен принес кувшин холодной воды и подал его Гори. Гори вскочил — вид у него был жалкий, летний полотняный костюм запачкался и смялся, взлохмаченная голова тряслась. Он попытался помахать рукой полковнику.

— Извините... все это, пожалуйста, — сказал он. — Я, должно быть, вчера вечером выпил слишком много виски и улегся спать на столе.

Его брови сдвинулись в недоумении.


— Покутили с приятелями? — добродушно спросил полковник.

— Нет, я нигде не был. У меня уже два месяца как нет ни доллара. Просто выпил лишнего, как всегда.

Полковник Колтрен дотронулся до его плеча.

— Несколько минут назад, Янси, — начал он, — вы спросили меня, привел ли я к вам поиграть Люси и Стеллу. Вы тогда еще не совсем проснулись, и вам, верно, снилось, что вы опять маленький мальчик. Теперь вы проснулись, и я прошу вас выслушать меня. Я пришел от Стеллы и Люси к их старому товарищу и к сыну моего старого друга. Они знают, что я хочу привезти вас с собой, и они будут так же рады вам, как в старые времена. Я хочу, чтобы вы пожили у нас, пока не придете в себя — и еще дольше... сколько захотите. Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены соблазнами, и мы все решили опять пригласить вас к нам поиграть. Поедете, мой мальчик? Хотите забыть все семейные ссоры и поехать со мной?

— Ссоры? — сказал Гори, широко раскрыв глаза. — Между нами не было никаких ссор, насколько я знаю. Мы всегда были лучшими друзьями. Но, боже мой, полковник, как я могу явиться к вам в дом таким, каким я стал? Жалкий пьяница, несчастный, опозоренный, мот, игрок...



Он слез со стола, забрался в кресло и заплакал пьяными слезами, мешая их с искренними каплями раскаяния и стыда. Колтрэн говорил с ним настойчиво и серьезно: он напомнил простые удовольствия жизни в горах, которые Гори когда-то так любил, и подчеркивал искренность своего приглашения.

В конце концов он убедил Гори, сказав ему, что рассчитывает на его помощь для руководства переброской поваленного леса с высококого склона горы к сплаву. Он помнил, что Гори когда-то изобрел для этой цели особую систему скатов и желобов и по праву гордился ею. В одну минуту бедняга, в восторге от мысли, что он может быть кому-нибудь полезен, развернул на столе лист бумаги и стал набрасывать на нем быстрые, но безнадежно кривые линии чертежа.


Блудному сыну сразу опротивела жизнь среди свиней; сердце его снова обратилось к горам. Голова его еще плохо работала, мысли и воспоминания возвращались в мозг одно за другим, как почтовые голуби над бурным морем. Но Колтрэн был доволен достигнутым успехом.

Бэтел в этот день был поражен как никогда — весь город видел, как по улицам дружелюбно проехали рядом Колтрэн и Гори. Они ехали верхом: пыльные улицы и глазающие горожане остались позади; всадники спустились к мосту через ручей и стали подниматься в горы. Блудный сын почистился, умылся и причесался; вид у него стал более приличный, но он еще не твердо держался в седле и, казалось, был занят решением какой-то путаной задачи. Колтрэн не трогал его, надеясь, что душевное равновесие восстановится у него само собой от перемены обстановки.

Один раз Гори стал трясти озноб, и он чуть не лишился сознания. Ему пришлось спешиться и отдохнуть на краю дороги. Полковник, предугадав такую возможность, запасся на дорогу небольшой фляжкой виски, но, когда он предложил ее Гори, тот отказался чуть ли не грубо и заявил, что никогда больше не прикаснется к спиртному. Мало-помалу он оправился и спокойно проехал одну-две мили. Затем внезапно остановил свою лошадь и сказал:

— Я проиграл вчера вечером двести долларов в покер. Где же я взял эти деньги?

— Не беспокойтесь об этом, Янси. На горном воздухе все забудется. Прежде всего мы отправимся удить рыбу к Пинакл-Фоллс. Форели там прыгают, как лягушки. Мы возьмем



с собой Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. Вы помните, Янси, какими вкусными кажутся голодному рыболову сэндвичи с ветчиной у костра?

Очевидно, полковник не поверил этой истории о пропавших деньгах, и Гори снова впал в сосредоточенное молчание.


К концу дня они проехали десять миль из двенадцати, отделявших Бэтел от Лорели. Не доезжая полмили до Лорели находилась старая усадьба Гори; в двух милях за деревней жил Колтрэн. Дорога была теперь крутая и тяжелая, но зато многое вознаграждало путников. Заросшие лесом склоны избобиловали птицами и цветами. Живительный воздух бодрил лучше всяких лекарств. Просеки хмурились мшистой тенью, мерцали робкими ручейками, бегущими среди папоротника и лавров. По левую руку, в рамке придорожных деревьев, то и дело открывались просветы — восхитительные виды далекой равнины, утопавшей в опаловой дымке.

Колтрэн радовался, видя, что его спутник поддается очарованию гор и лесов. Теперь им оставалось объехать вокруг основания Скалы Художников, пересечь Элдербранч и подняться на холм, и Гори увидит ушедшее из его рук наследство предков. Каждый утес, мимо которого он проезжал, каждое дерево, каждый кусочек дороги были ему знакомы. Хотя он и забыл о лесах, они волновали его теперь, как мелодия старой колыбельной песни.

Они объехали скалу, спустились к Элдербранчу и остановились там, чтобы напоить лошадей и выкупать их в быстрой воде. Направо была железная ограда, которая образовала здесь угол и тянулась потом вдоль реки и дороги. Она окружала старый фруктовый сад усадьбы Гори; дом был еще закрыт гребнем крутого холма. За оградой высоко и густо росли бузина, сумах и лавровые деревья. Услышав шорох в ветвях, Гори и Колтрэн подняли глаза и увидели длинное, желтое волчье лицо, смотревшее на них поверх решетки светлыми, неподвижными глазами. Голова быстро исчезла; ветки кустов закачались, и неуклюжая фигура побежала, вилля между деревьями, через сад вверх, к дому.

— Это Гарви, — сказал Колтрэн, — человек, которому вы продали усадьбу. Он, несомненно, помешанный. Я несколько лет назад засадил его за незаконную торговлю спиртным, хотя и считал его невменяемым... Что с вами, Янси?

Гори вытирал себе лоб, и лицо его помертвело.



— Я тоже вам кажусь странным? — спросил он, пытаясь улыбнуться. — Я только что припомнил еще кое-что. — Алкоголь почти испарился у него из головы. — Теперь я вспомнил, где достал эти двести долларов.

— Бросьте думать об этом, — весело сказал полковник. — Мы потом вместе подсчитаем ваши капиталы.

Они отъехали от ручья, но когда добрались до подножия холма, Гори снова остановился.

— Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я, в сущности, очень тщеславный человек? — спросил он. — До глупости тщеславный во всем, что относится к моей внешности.

Полковник нарочно отвел глаза от грязного обвисшего полотняного костюма и потертой шляпы Гори.

— Мне кажется, — ответил он, недоумевая, но стараясь говорить ему в тон, — что я действительно помню одного молодого человека, лет двадцати, в самом модном костюме, с самыми приглаженными волосами и на самой шикарной верховой лошади в округе.

— Совершенно верно, — подхватил Гори, — и это сохранилось у меня до сих пор, хотя оно и незаметно. О, я тщеславен, как индюк, и горд, как Люцифер. Я хочу попросить вас снизить к этой моей слабости... не отказать мне в одном пустяке.

— Говорите без стеснения, Янси. Если хотите, мы объявим вас герцогом Лорели и бароном Синего хребта; и мы вырвем перо из хвоста у павлина Стеллы, чтобы украсить вашу шляпу.

— Я говорю серьезно. Через несколько минут мы пройдем мимо дома на холме, где я родился и где мои предки жили почти сто лет. Теперь в нем живут чужие и... посмотрите на меня. Я должен показаться им в лохмотьях, удрученный бедностью, бродяга, нищий. Полковник Колтрен, я стыжусь этого. Прошу вас, позвольте мне надеть ваш сюртук и шляпу и ехать в них, пока мы не минувем усадьбы. Я знаю, вы считаете это глупым тщеславием, но я хочу выглядеть прилично, когда буду проезжать мимо родового гнезда.

«Что бы это могло значить?» — сказал себе Колтрен, сопоставляя нормальный вид и спокойное поведение своего спутника с этой странной просьбой. Но он уже расстегивал сюртук, не желая показать, что видит во всем этом что-либо необычное.

Сюртук и шляпа пришлись Гори впору. Он застегнулся с довольным и гордым видом. Он был почти одного роста с Колтреном, высокий, статный, и держался прямо. Двадцать пять лет разницы было между ними, но по виду их можно было принять за братьев. Гори выглядел старше своих лет; на его отеком лице видны были ранние морщины; у полковника лицо было гладкое, свежее — признак умеренной жизни. Он надел непристойный полотняный пиджак Гори и его потертую широкополую шляпу.

— Ну вот, — сказал Гори и взялся за поводья. — Теперь все в порядке. Я попрошу вас, полковник, держаться шагов на десять позади меня, когда мы будем проезжать мимо дома, чтобы они могли хорошенько рассмотреть меня. Пусть видят, что я еще не вышел в тираж, далеко нет. Я уверен, что на этот раз я, во всяком случае, покажу им себя с хорошей стороны. Ну, едемте.

Он стал подниматься в гору быстрой рысью; полковник, потакая его просьбе, ехал сзади.

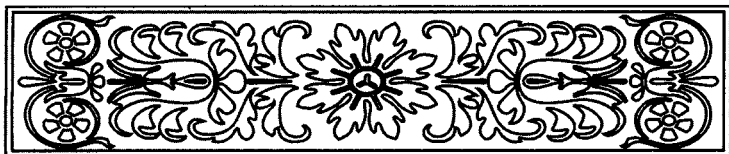
Гори сидел в седле выпрямившись, с высоко поднятой головой, но глаза его смотрели вправо, внимательно исследуя каждый куст и потаенный уголок на дворе старой усадьбы; он даже раз пробормотал про себя: «Неужели этот сумасшедший болван попытается... Или мне все это наполовину приснилось?»

Только поравнявшись с маленьким семейным кладбищем, он увидел, что искал: струйку белого дыма, вылетевшую из густой кедровой чащи в углу сада. Он так медленно повалился налево, что Колтрен успел подъехать и подхватить его одной рукой.

Охотник на белок не зря назвал себя метким стрелком. Он, как и предвидел Гори, всадил пулю туда, куда хотел, — в грудь длинного черного сюртука полковника Эбнера Колтрена. Гори навалился всей своей тяжестью на полковника, но не упал. Лошади шли в ногу, рядом, и рука полковника крепко поддерживала Гори. Белые домики Лорели светились сквозь деревья на расстоянии полумили. Гори с трудом протянул руку и шарил ею по воздуху, пока она не остановилась на пальцах Колтрена, державших поводья его лошади.

— Добрый друг, — сказал он, и это было все.

Так Янси Гори, проезжая мимо своего старого дома, показал себя с самой лучшей стороны, насколько это было в его силах при данных обстоятельствах.



ОПЕРЕТКА И КВАРТАЛЬНЫЙ

Шесть человек, ужинавших за столиком одного из ночных ресторанов на Верхнем Бродвее, слишком много шумели. Метрдотель три раза проходил мимо них, вежливо предостерегая их взглядом, но спор у них слишком сильно разгорелся, чтоб его мог потушить взгляд метрдотеля. Была полночь, и ресторан наполнился публикой из театров этого района. Некоторые из попавших сюда зрителей, вероятно, узнали в шестерке спорщиков актеров, принадлежавших к артистической коллегии оперетки. Четверо из шести состояли в труппе. С ними был автор оперетки «Веселая кокетка», которую квартет артистов исполнял с большим успехом. Шестой за столиком был непричастен к искусству, но по его вине погибло немало омаров.

Шестерка громко поддерживала шумный спор. То есть нет: один из компании все время молчал, исключая тех случаев, когда возбужденные соседи принуждали его отвечать. Это был исполнитель главной роли в «Веселой кокетке», молодой человек с лицом, слишком меланхоличным даже для его профессии.

Нападки четырех несдержанных языков были направлены на мисс Клэрис Керроль, блестящую звезду этого маленького сообщества. За исключением унылого артиста, все члены компании в один голос с ожесточением взваливали на нее вину за какое-то серьезное бедствие. Они повторяли ей пятьдесят раз подряд:

— Это ваша вина Клэрис! Вы одна провалили эту сцену. Вы только за последнее время стали ее так играть. Если это будет продолжаться, придется снять пьесу с репертуара.

Мисс Керроль могла справиться с четырьмя противниками. Галльские предки завещали ей живость, легко переходящую в бешенство. Ее большие глаза метали пламенный отпор обвинителям. Ее тонкие, выразительные руки постоянно угрожали столовому сервизу. Ее высокое, чистое со-

прано перешло бы в крик, если бы не обладало такой музыкальностью тембра. Она кидала врагам ответные обвинения сладкими звуками, но с чересчур большим резонансом для ресторана на Бродвее.

Они в конце концов истожили ее терпение женщины и артистки. Она сделала прыжок пантеры; ей удалось одним царственным взмахом руки разбить полдюжины тарелок и стаканов, после чего она вызывающе всгала перед своими критиками. Она поднялась с места и заспорила еще громче. Меланхолический артист вздохнул и принял еще более грустный и безучастный вид. Метрдотель подошел к ним с проповедью о мире. Его послали ко всем чертям с такой быстротой, будто дело происходило на мирной конференции в Гааге. Это рассердило метрдотеля. Он сделал знак рукой, и один из лакеев выскользнул за дверь. Спустя двадцать минут вся компания из шести человек очутилась в полицейском участке, перед лицом седоватого квартального с видом философа.

— Беспорядочное поведение в ресторане, — сказал полисмен, который привел эту компанию.


Автор «Веселой кокетки» выступил вперед. Он был в пенсне и во фраке, но его сапоги, должно быть, до знакомства с патентованным сапожным лаком были рыжими.

— Господин сержант, — сказал он горловым звуком, как артист Ирвинг, — позвольте мне выразить протест по поводу этого ареста. Компания артистов, играющих в моей маленькой пьесе, ужинала вместе со мной и моим приятелем. Нас глубоко затронул спор, кто из исполнителей виноват в том, что одна сцена скетча игралась последнее время так слабо, что это угрожает провалом всей пьесы. Возможно, что мы слишком много шумели и относились чересчур нетерпимо к замечаниям ресторанных служащих, но мы решали вопрос чрезвычайной важности. Вы видите, что мы трезвы и не принадлежим к тому сорту людей, которые любят устраивать скандалы. Я надеюсь, что вы не будете придирчивы и разрешите нам уйти.

— Кто представитель обвинения? — спросил сержант.

— Я, — послышался из задних рядов голос кого-то в белом переднике. — Ресторан послал меня. Эти люди подняли содом и били посуду.

— За посуду вам заплатили, — сказал драматург. — Ее разбили не нарочно. Мисс Керроль была возбуждена: ее упрекали в искажении одной сцены...



— Это неправда, сержант, — прозвучал звонкий голос мисс Клэрис Керроль, — я ее не искажала.

В длинном манто рыжего шелка и в шляпе с красными перьями, она кинулась к конторке.

— Это не моя вина! — кричала она возмущенно. — Как смеют они говорить такие вещи. Я играла заглавную роль с самого начала постановки пьесы, и, если вы хотите знать, кто создал ей успех, спросите публику, вот и все.

— Мисс Керроль отчасти права, — сказал автор. — В течение пяти месяцев пьеса была главным козырем лучших театров. Но за последние две недели она перестала нравиться. Там есть одна сцена, в которой мисс Керроль побивала рекорды. Теперь она не может вызвать ни одного хлопка. Она портит сцену, играя ее на совершенно новый лад.

— Это не моя вина, — повторила актриса.

— Но ведь вас только двое исполнителей этой сцены, — горячо настаивал автор. — Вы и Дельмарс!

— Значит, это его вина, — заявила мисс Керроль с молниеносным презрительным взглядом своих темных глаз.

Артист поймал этот взгляд и уставился, с еще большей меланхолией, на конторку сержанта.

Ночь была очень тусклая, без всяких происшествий в этом полицейском участке. Давно притупившееся любопытство сержанта слегка пробудилось.

— Я вас выслушал, — сказал он автору. А затем обратился к даме с худым лицом и аскетическим видом, которая играла в оперетке «тетку Редькин Хвост».

— Кто, по-вашему, портит сцену, из-за которой вы все волнуетесь? — спросил он.

— Я не фискалка, — сказала дама. — И все это знают. Поэтому, когда я говорю, что Клэрис каждый раз проваливает эту сцену, я осуждаю ее искусство, но не ее самое. Она когда-то была в ней великолепна. А теперь получается что-то ужасное. Если она будет продолжать в том же духе, пьесу снимут с репертуара.

Сержант посмотрел на артиста.

— Вы с этой дамой вместе разыгрываете сцену, насколько я понял? Я думаю, мне нечего вас спрашивать, кто ее искажает?

Артист постарался избежать прямых лучей двух неподвижных звезд — глаз мисс Керроль.



— Не знаю, — сказал он, разглядывая кончик своих лаковых сапог.

— Вы также актер? — спросил сержант карликообразного юношу с немолодым лицом.

— Послушайте, — сказал последний театральный свидетель, — вы, что же, не видели разве в моих руках бутафорского копья? Или вы, может быть, никогда не слышали, как я восклицаю: «Тише! Император идет!» Надеюсь, что я тоже актер, а не, с вашего позволения, кошка, случайно забежавшая на сцену.

— По вашему мнению, если оно у вас имеется, — сказал сержант, — кто виноват в том, что публика охладела к данной сцене, — дама или господин, участвующие в ней?

Пожилой юноша казался огорченным.

— Должен сказать, к сожалению, — ответил он, — что мисс Керроль будто потеряла власть над этой сценой. Она хорошо проводит всю остальную пьесу. Но, уверяю вас, сержант, она еще справится с ней. Она могла в этой сцене поспорить с кем угодно и опять сумеет справиться с ней.

Мисс Керроль подбежала к нему, пылающая и трепещущая.

— Благодарю вас, Джимми, за первое доброе слово, которое я слышу за много дней! — воскликнула она. После этого она повернула к конторке свое взволнованное лицо.

— Я докажу вам, сержант, виновата ли я. Я покажу им, сумею ли я сыграть эту сцену как прежде. Идите сюда, мистер Дельмарс, начнем. Вы разрешите нам, сержант?


— Сколько времени это займет? — спросил сержант нерешительно.

— Восемь минут, — сказал драматург. — Вся пьеса идет полчаса.

— Валяйте, — сказал сержант. — Большинство из вас, по видимому, против этой дамочки, но, может быть, она была и вправе разбить пару блюдец в этом ресторане. Посмотрим, как она сыграет, прежде чем разбирать дело.

Уборщица полицейского участка стояла тут же, прислушиваясь к странному спору. Она подошла ближе и встала около стула сержанта. Двое или трое резервных вошли, огромные и зевающие.

— Прежде чем начать сцену, — сказал драматург, — и считая, что вы не видели представления «Веселой кокетки», я дам вам краткие, но необходимые пояснения. Это музы-



кальный фарс, комедия-буфф. Как видно по заглавию, мисс Керроль играет роль веселой, задорной, шаловливой, бессердечной кокетки. Характер выдержан во всей комедийной части произведения. И я так наметил основные черты буффонады, чтоб и здесь сохранился и проявлялся тот же тип кокетки. Та сцена, в которой нам не нравится игра мисс Керроль, называется «Танец гориллы». Она в костюме, изображающем лесную нимфу; происходит большая сцена с пением и танцем с гориллой, которого играет мистер Дельмарс. Декорация — тропический лес.

Эту сцену приходилось повторять на бис от четырех до пяти раз. Гвоздем были мимика и танец — самое смешное, что видел Нью-Йорк за пять месяцев. Ария Дельмарса «Зову тебя в мой дом лесной», когда он и мисс Керроль играют в прятки среди тропических растений, была боевиком.

— А что теперь не ладится в этой сцене? — спросил сержант.

— Мисс Керроль портит ее как раз посередине, — раздраженно сказал драматург.

Широким жестом своих вечно подвижных рук артистка отстранила маленькую группу зрителей, оставив перед конторкой место для сцены своего отмщения или падения. Затем она скинула с себя длинное рыжее манто и бросила его на руку полисмена, который все еще, по обязанности, стоял между ними.

Мисс Керроль поехала ужинать, закутанная в манто, но сохранила костюм нимфы из тропического леса. Юбка из листьев доходила ей до колен; артистка напоминала колибри — зеленая, золотая, пурпуровая.

Затем она исполнила порхающий, фантастический танец, выделявая такие быстрые, легкие и замысловатые па, что остальные трое членов артистической компании зааплодировали ее искусству.

В надлежащий момент Дельмарс очутился рядом с ней, изображая неуклюжие, безобразные прыжки гориллы так забавно, что даже седоватый сержант разразился коротким смехом, напоминающим замыкание замка. Они исполнили вместе танец гориллы и заслужили дружные аплодисменты.

Тогда началась самая фантастическая часть сцены — ухаживание гориллы за нимфой. Это также был род танца, эксцентричного и шутовского, причем нимфа кокетливо и соблазнительно отступала, а горилла следовал за ней,

распевая: «Зову тебя в мой дом лесной». Слова были ерундовые, как полагалось по пьесе, но музыка была достойна лучшего текста. Дельмарс исполнил ее глубоким баритоном, пристыдившим своей красотой пустые слова. Во время исполнения первого куплета песни лесная нимфа проделывала комические эволюции, намеченные для этой сцены. Посреди второго куплета она остановилась со странным выражением лица; казалось, что она мечтательно вглядывается в глубину сценического леса. Горилла последним прыжком опустился к ее ногам и стоял на коленях, держа ее за руку, пока не окончил мелодию, которая была вправлена в нелепую комедию, как брильянт в кусок олова.

Когда Дельмарс кончил, мисс Керроль вздрогнула и закрыла обеими руками внезапный поток слез.

— Вот оно! — закричал драматург, яростно жестикулируя. — Видите теперь, сержант? Вот уже две недели, как она при каждом представлении портит таким образом сцену. Я просил ее принять во внимание, что она играет не Офелию и не Джульетту. Теперь вас не удивляет наше раздражение? Слезы из-за песни гориллы! Пьеса погибла!

Среди своего оцепенения, неизвестно чем вызванного, артистка внезапно вспыхнула и с отчаянием указала пальцем на Дельмарса.

— Это вы... вы... виноваты в этом! — дико закричала она. — Вы никогда не пели эту арию таким образом до последнего времени. Это ваша вина.

— Я не берусь решать, — сказал сержант.

Тогда седая матрона полицейского участка выступила из-за стула сержанта.

— Старухе, видно, придется вас всех образумить, — сказала она, подошла к мисс Керроль и взяла ее за руку.

— Этот человек томится душой из-за вас, дорогая. Неужели вы этого не поняли, как только он пропел первую ноту? Все его обезьяньи ужимки не скрыли бы этого от меня. Что, вы так же глухи, как и слепы? Вот отчего вы не могли провести свою роль, дитя мое. Вы его любите — или он должен остаться гориллой до конца своих дней?

Мисс Керроль обернулась и метнула на Дельмарса молниеносный взгляд. Он грустно подошел к ней.

— Вы слышали, мистер Дельмарс? — спросила она, прерывисто дыша.



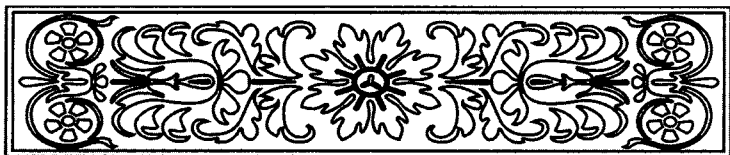
— Да, — сказал артист. — Это правда. Я думал, это ни к чему. Я старался дать вам понять песней.

— Очень глупо! — заявила матрона. — Почему вы ей не сказали?

— Нет! Нет! — воскликнула лесная нимфа. — Его способ был самый лучший. Я не знала, но... я именно этого и желала, Бобби.

Она подскочила, как зеленый кузнечик; артист открыл ей свои объятия и улыбнулся.

— Вон отсюда! — заревел сержант, обращаясь к ожидавшему лакею из ресторана. — Вам здесь делать нечего.



ФАЛЬШИВЫЙ ДОЛЛАР

Однажды утром, просматривая свою корреспонденцию, судья Соединенных Штатов в пограничном районе, лежащем вдоль берега Рио-Гранде, нашел письмо следующего содержания:

«Судья!

Когда вы приговорили меня на четыре года, вы много болтали. Кроме прочих дерзостей, вы назвали меня гремучей змеей. Может быть, я действительно гремучая змея. Через год после того, как вы меня засадили, умерла моя дочь от нищеты, а также и от позора. У вас, судья, тоже есть дочь, и я хочу дать вам понять, что значит потерять свою дочь. И теперь я намереваюсь ужалить прокурора, который тогда говорил против меня. Теперь я свободен, и мне кажется, я действительно превратился в настоящую гремучую змею. Во всяком случае, я чувствую себя таковой. Много говорить я не буду, но это письмо — мое шипенье. Берегитесь, когда я возьмусь за дело.

С совершенным почтением
Гремучая змея».

Судья Дервент небрежно отбросил письмо. Для него было не новостью получение подобных посланий от отъявленных преступников, которых ему приходилось судить. Он не ощутил ни малейшей тревоги.

Немного спустя он показал письмо молодому прокурору Литлфильду, так как его имя было тоже упомянуто в письме, а судья был весьма точен во всем, что касалось его лично, а также и его коллег.

Пробегая глазами ту часть письма, которая касалась его самого, Литлфильд удостоил «шипенье» гремучей змеи презрительной улыбкой; но он нахмурился, читая строки, каса-



У него есть возлюбленная. Она живет на берегу, в мексиканском поселке. Хороша, как рыжая телка на цветочной клумбе.

Литлфильд опустил фальшивый доллар в карман и вложил свои заметки по делу Ортиса в конверт. В этот момент в дверях показалось веселое, привлекательное личико, открытое и живое, как физиономия мальчика, и в комнату вошла Нанси Дервент.

— Боб, разве занятия в суде не прекратились сегодня в двенадцать часов до завтрашнего дня? — спросила она Литлфильда.

— Да, прекратились, — ответил прокурор, — и я очень рад этому, так как мне еще нужно просмотреть целый ряд уставов.

— Ну, конечно. Это совершенно похоже на вас. Право, я удивляюсь, как это вы и папа не превратились еще сами в какие-нибудь уставы или уложения. Я хочу просить вас поехать со мной после обеда поохотиться на куликов. Прерия так и кишит ими. Пожалуйста, не говорите «нет». Я хочу испробовать мою новую бескурковку двенадцатого калибра. Я уже послала сказать на конюшню, чтобы в экипаж запрягли Муху и Бэс. Они великолепно выносят стрельбу. Я была совершенно уверена, что вы поедете.

Они были обручены. Любовь была в самом разгаре. Кулики одержали верх над авторитетами в кожаных переплетках. Литлфильд принялся складывать свои бумаги.


В дверь постучали. Кильпатрик сказал:

— Войдите.

В комнату вошла красивая темноглазая девушка, с прелестным чуть-чуть подернутым лимонно-желтым оттенком лица. Черный шарф покрывал ее голову и дважды обвивал ее шею.

Она начала говорить по-испански, и из уст ее полился целый каскад меланхолической музыки. Литлфильд не понимал по-испански. Помощник шерифа понимал, и он стал частями переводить ее речь, по временам поднимая руку, чтобы остановить поток ее слов.

— Она пришла к вам, мистер Литлфильд. Имя ее — Джоя Тревиньяс. Она хочет поговорить с вами о ... словом, она имеет отношение к этому Рафаэлю Ортису. Она его... она его возлюбленная. Она уверяет, что он невиновен. Она говорит, что монету сделала она сама и дала ему, чтобы он



сбыл ее. Не верьте ей, мистер Литлфильд. Это обычная история с этими мексиканскими девушками; они пойдут на ложь, кражу, убийство ради парня, в которого втюрились. Никогда не верьте влюбленной женщине.

— Мистер Кильпатрик!

Гневное восклицание Нанси Дервент заставило помощника шерифа сбивчиво пояснить, что он неправильно выразил свою мысль. Затем он продолжал перевод:

— Она говорит, что она согласна занять его место в тюрьме, если вы выпустите его. Она говорит, что была больна лихорадкой и что доктор сказал, что она умрет, если не добудет лекарства. Поэтому она и послала фальшивый доллар в аптеку. Она, по-видимому, не на шутку влюблена в этого Рафаэля. Она говорит без конца о любви и таких вещах, которые вы не захотите слушать.

Для прокурора это была старая история.

— Скажите ей, что я ничего не могу сделать, — сказал он. — Дело слушается завтра, и пусть обвиняемый сам защитит себя перед судом.

Нанси Дервент была не так черства. Полным сочувствия взглядом она смотрела на Джою Тревиньяс и по временам переводила взор на своего жениха. Помощник шерифа перевел девушке слова прокурора. Она тихо произнесла одну или две фразы, опустила свой шарф на лицо и вышла.


— Что она сказала? — спросил Литлфильд.

— Ничего особенного, — ответил помощник шерифа. — Она сказала: если жизнь девушки... дайте-ка вспомню — если жизнь девушки, которую ты любишь, когда-нибудь будет в опасности, вспомни Рафаэля Ортиса.

Кильпатрик вышел из комнаты и направился по коридору к кабинету судьи.

— Не можете ли вы чем-нибудь помочь ей, Боб? — спросила Нанси. — Это такой пустяк — всего-навсего один фальшивый доллар, и вдруг из-за него разрушится счастье двух человек. Она была в смертельной опасности, и он спас ее. Разве закон не знает чувства жалости?

— В юриспруденции этому чувству места нет, Нэн, — возразил Литлфильд, — в особенности же оно неуместно у прокурора. Я обещаю вам, что я не буду строг — я буду мягок. Но все равно он будет признан виновным. Свидетели покажут под присягой, что он спустил фальшивый доллар, который в настоящий момент лежит у меня в кармане в ка-



честве вещественного доказательства. Среди присяжных нет мексиканцев, и они, безусловно, вынесут обвинительный вердикт не сходя с места.

Охота на куликов прошла на редкость удачно, и в увлечении спортом было забыто и дело Рафаэля Ортиса, и горе Джои Тревиньяс. Прокурор и Нанси Дервент отъехали на три мили от города; экипаж катился по ровной, поросшей травой дороге, а затем выехал в волнистую степь, окаймленную черной полосой густого леса, который тянется по берегу Пьедры. За Пьедрой лежит Лонг-Прери, излюбленное место куликов. Подъезжая к реке, они услышали справа от себя лошадиный топот и увидели всадника с черными волосами и смуглым лицом, направлявшегося к лесу по косящей линии, так что, казалось, раньше он ехал позади них.

— Я где-то видел этого молодчика, — сказал Литлфильд, обладавший хорошей зрительной памятью. — Но не могу вспомнить, где именно. Наверное, это какой-нибудь ранчоро, возвращающийся домой коротким путем.

В Лонг-Прери они провели около часу, стреляя по куликам из экипажа. Нанси Дервент, энергичная, смелая западная девушка, была весьма довольна своей новой бескурковой. Она на целых два выстрела обогнала своего партнера.

Тихой рысью они возвращались домой. На расстоянии ста ярдов от Пьедры из лесу прямо на них выехал всадник.


— Это, кажется, тот самый человек, которого мы встретили раньше, — заметила мисс Дервент.

Когда расстояние между ними уменьшилось, Литлфильд вдруг погнался лошадей, не спуская глаз с приближавшегося всадника. Тот вынул из фуляра, висевшего на его седле, винчестер и перекинул его через плечо.

— Теперь я узнал тебя, Сэм-Мексиканец, — пробормотал Литлфильд. — Это ты пригрозил мне в своем милосердии.

Сэм-Мексиканец быстро разрешил все сомнения. У него был прекрасный глазомер. Когда он приблизился на расстояние ружейного выстрела из винтовки, оставаясь недосягаемым для выстрела из дробовика, он взял на изготовку свой винчестер и открыл огонь по сидевшим в экипаже.

Первый выстрел расщепил заднюю часть сиденья, причем пуля попала в узкое двухдюймовое пространство между плечами Литлфильда и мисс Дервент. Следующая продырявила щит экипажа и штанину на левой ноге Литлфильда.



Прокурор столкнул Нанси с экипажа. Она была немного бледна, но не задала ни одного вопроса. Девушка обладала свойственным обитателям пограничных мест инстинктом, учащим их принимать самые критические обстоятельства без лишних разглагольствований. Они держали свои ружья в руках, и Литлфильд поспешно выбирал патроны из стоявшей перед ним на сиденье коробки и наполнял ими свои карманы.

— Встаньте позади лошадей, Нэн, — сказал он. — Этот молодчик разбойник, которого я когда-то засадил за решетку. По-видимому, он хочет поквитаться. Он знает, что на этом расстоянии наш выстрел не достигнет его.

— Хорошо, Боб, — спокойно сказала Нанси. — Я не боюсь, но вы тоже пойдите ближе сюда. Эй, Бэс, стой смирно!

Она погладила гриву лошади. Литфильд стоял со своим ружьем наготове, мечтая лишь о том, чтобы негодяй подъехал поближе.

Но сам Мексиканец разыгрывал свою вендетту наверняка. Это была птица, совсем непохожая на кулика. Его острый взгляд провел воображаемую линию вокруг площади, на которой ему не был опасен выстрел из дробовика. По этой линии он и пустил свою лошадь.

Когда Литлфильд и Нанси переходили с одной стороны своего живого бруствера на другую, Сэм воспользовался минутой, выстрелил, и пуля продырявила шляпу прокурора. Один раз он ошибся и переступил через поставленный себе предел. Из ружья Литлфильда блеснуло пламя, и Сэм-Мексиканец только мотнул головой навстречу безобидной дробини. Несколько дробинок попало в лошадь, и она отпрыгнула назад, на безопасную линию.

Разбойник опять выстрелил. Нанси Дервент слабо вскрикнула. Литлфильд обернулся и увидел кровь, стекавшую по ее щеке.

— Я не ранена, Боб. Щепка поцарапала меня. Я думаю, его пуля расщепила одну из колесных спиц.

— Боже, — простонал Литлфильд. — Если бы у меня была хоть картечь.

Сэм остановил свою лошадь и тщательно прицелился. Муха захрапела и упала на землю, пораженная пулей в голову. Бэс, сообразившая, что охота идет сейчас не на одних куликов, вырвалась из упряжи и бешено умчалась вдаль. Следующая пуля продырявила охотничий жакет Нанси Дервент.

— Ложись! Ложись, — зашептал Литлфильд. — Ближе к лошади, пригнитесь к земле! Вот так! — Он почти швырнул ее на траву сзади лежавшей на земле Мухи.

Странно, в этот момент в мозгу его прозвучали слова мексиканской девушки: «Если когда-нибудь жизнь любимой тобой девушки будет в опасности, вспомни про Рафаэля Ортиса».

Из груди Литлфильда вырвалось взволнованное восклицание:

— Стреляйте в него, Нэн, из-за спины лошади. Стреляйте как можно чаще. Вы не заденете его, но заставите уворачиваться от выстрелов, а я тем временем попытаюсь разработать маленький план действий.

Нанси кинула быстрый взгляд в сторону Литлфильда и увидела, что он вынул карманный нож и открывает его. Затем она отвернулась, чтобы приступить к исполнению его приказа, и открыла быстрый огонь по неприятелю.

Сэм-Мексиканец терпеливо ожидал, когда прекратится этот невинный обстрел. У него в распоряжении было много времени, и он не хотел рисковать: зачем ему нарваться на заряд дробы в лицо, когда при небольшой осторожности он может от этого легко уберечься. Он надвинул свой тяжелый стетсон на самое лицо и сидел так, пока выстрелы не замолкли. Тогда он подъехал немножко ближе, прицелился в то, что темнелось за спиной павшей лошади, и выстрелил. Но ни один из его врагов не пошевелился. Тогда он заставил лошадь сделать еще несколько шагов вперед. Он увидел, что прокурор встал на одно колено и решительно поднял свое ружье. Сэм опять надвинул на лицо шляпу и стал ожидать безобидного дождя из миниатюрных дробин.

Литлфильд выстрелил с громкой отдачей. Сэм-Мексиканец вздохнул, перегнулся в седле и медленно стал скользить с лошади — мертвая гремучая змея.

В десять часов утра на следующий день открылось заседание суда, и началось слушание дела Рафаэля Ортиса. Прокурор, с рукой на перевязи, встал и обратился к судье:

— С разрешения вашей чести я отказываюсь от обвинения. Даже в том случае, если обвиняемый виновен, в руках правительства нет достаточных данных для доказательства его виновности. Фальшивая монета, на которой было построено обвинение, не может быть предъявлена как веще-

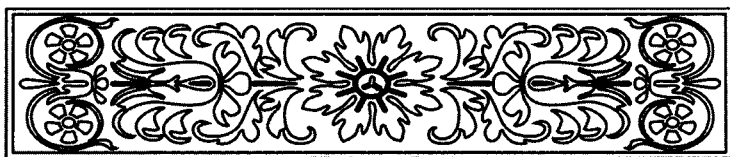


ственное доказательство. Поэтому я прошу прекратить это дело.

Во время обеденного перерыва Кильпатрик вошел в кабинет прокурора.

— Я только что ходил осматривать Сэма-Мексиканца, — сказал он. — Его тело выставлено напоказ. Старик был крепкий, что и говорить. Но никто не может разобрать, чем вы уложили его. Некоторые полагают, что чем-то вроде гвоздей. Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы ружье заряжали штукой, которая наносит такие огромные раны.

— Я выстрелил в него, — сказал прокурор, — «вещественным доказательством» по делу о фальшивой монете. Какое счастье для меня и еще для кое-кого, что этот доллар был так плохо сделан. Его очень легко было нарезать ножом на кусочки. Скажите, Киль, не можете ли вы спуститься в мексиканский поселок и разыскать ту девушку? Мисс Дервент хочет повидать ее.



СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

В восемь часов утра она лежала в киоске у Джузеппе, еще влажная от станка. Джузеппе, с хитростью, свойственной его племени, валандался на противоположном углу, предоставив своим клиентам брать газету самим. Очевидно, он следовал теории, которая утверждает, что горшок скорее всего закипает, когда на него не смотрят.

Газета, о которой идет речь, была по своим задачам воспитателем, путеводителем, увещателем, защитником, домашним советником и врачом для своих читателей.

Особенным ее преимуществом являлись три передовые статьи.


Одна обращалась с простыми, целомудренными, но просвещенными доводами к родителям, осуждая телесные наказания детей.

Вторая представляла угрожающее и многозначительное предостережение известному лидеру рабочей партии, который собирался подвигнуть своих товарищей на злокозненную забастовку.

Третья была красноречивым призывом к тому, чтобы полицейским чинам оказывались поддержка и содействие во всем, что усиливает их работоспособность, как защитников и слуг общества.

Кроме этих упражнений на поприще гражданских добродетелей, в газете был напечатан мудрый рецепт по сердечным делам. Он был составлен редактором отдела «Ответы на вопросы читателей» по поводу одного специфического случая. Молодой человек жаловался на жестокосердие дамы его сердца. Ему преподавалось, каким путем ее покорить.

В газете находился также, в отделе «Женская красота и как ее сохранить», подробный ответ молодой особе, спрашивавшей совета, как ей приобрести блестящие глаза, румяные щеки и красивое лицо.



Еще одним сообщением, требующим специальных познаний, было краткое письмо в отделе «Личное», гласящее:

«Дорогой Джек, простите меня. Вы были правы. Встретьте меня на углу Мэдисон-сквера и 42-й улицы в 8 ч 30 мин утра. Мы уезжаем в полдень.

Кающаяся».

В восемь часов молодой человек с мрачным лицом и с лихорадочно блестящими глазами положил монетку и взял, проходя мимо киоска Джузеппе, верхнюю из стопки газет. Он поздно встал после бессонной ночи. Существовала служба, куда следовало попасть ровно в девять; времени едва хватало на то, чтобы проглотить чашку кофе и побриться.

Он был уже у парикмахера и теперь торопился. Он засунул газету в карман, намереваясь пробежать ее позже, во время завтрака. На углу газета выпала у него из кармана и увлекла с собой пару новых перчаток. Он прошел еще три квартала, хватился перчаток и вернулся назад, взбешенный. Ровно в половине девятого он дошел до угла, где валялись перчатки и газета. Но, странным образом, он не обратил никакого внимания на то, чего искал. Он сжимал в своих руках так крепко, как только мог, две маленьких ручки, заглядывал в пару виноватых карих глаз, и радость бурлила в его сердце.

— Милый Джек, — сказала она, — я знала, что вы придете вовремя.

«Что она хочет этим сказать? — недоумевал он про себя. — Но теперь все отлично, отлично».

Сильный ветер рванул с запада, подобрал газету, валявшуюся на тротуаре, развернул ее, и она помчалась кружась по боковой улице. Вверх по этой улице ехал в кабриолете с высокими колесами, погоняя норовистого гнедого, молодой человек, просивший редактора интимного отдела дать ему рецепт, как победить ту, по которой он вздыхал.

Ветер в шаловливом порыве хлопнул летящей газетой по морде пугливого животного. Длинная гнедая полоса, смешанная с красным от распустившейся сбри, растянулась на целых четыре квартала. Тогда выступил на сцену пожарный рукав и сыграл свою роль в космогонии. Кабриолет превратился в спичечную соломку, как ему было предопределено, а правивший им молодой человек остался спокойно

лежать там, куда его выбросило, — на асфальте перед неким особняком из темного гранита.

Из особняка вышли люди и быстро взяли молодого человека в дом. И там нашлась девушка, положившая его голову к себе на колени, и она не боялась любопытных глаз и говорила, наклонившись к нему: «О! Я любила вас, только вас, все время, Бобби! Неужели вы этого не видели? Ах! Если вы умрете, я умру вместе с вами...»

Но при таком ветре мы должны поторопиться, чтобы уследить за нашей газетой.

Полисмен О'Брайен задержал ее как помеху уличному движению. Когда он расправлял ее растерзанные листы своими крупными медлительными пальцами и был на расстоянии нескольких шагов от заднего входа в кафе «Шерден Белльз», он задумчиво прочел одну из заглавных строк: «Газеты на забастовочный фронт! Газеты должны поддерживать полицию!»

Но... пстт!.. — раздался голос Данни, старшего буфетчика, через дверную щель:

— Майк, старина, иди выпей стаканчик.

Закрывшись, как ширмой, развернутыми дружественными полицией печатными страницами, полисмен О'Брайен быстро осушил чарочку доброго виски и вернулся, бодрый, освеженный, подкрепленный, к своим обязанностям. Разве редактор не вправе был бы гордиться, видя такие немедленные, и духовные и буквальные, результаты своей пропаганды?

Полисмен О'Брайен сложил газету и засунул ее под мышку маленькому мальчику, проходившему мимо. Мальчика звали Джонни, и он взял газету к себе домой. Его сестру звали Глэдис; это она писала редактору отдела «Женская красота» с просьбой указать ей порядочный талисман красоты. Это было несколько недель назад, и она уже перестала искать по утрам ответа. Глэдис была бледная девушка с грустными глазами и недовольным выражением лица. Она одевалась, чтобы выйти на улицу купить тесьмы. Она приколола булавками себе под юбку два листа, оторванные от газеты, принесенной Джонни. От этого ее юбка из бумажного японского шелка стала шуршать, как если бы она была сшита из самого настоящего французского!

Она встретила на улице девицу Браун из нижнего этажа и остановилась поболтать с ней. Девица Браун позеленела от досады. Только шелк ценой в пять долларов за ярд мог



производить шуршание, которое раздавалось, когда Глэдис двигалась. Девушка Браун, снедаемая завистью, сказала какую-то колкость и ушла, поджимая губы.

Глэдис направилась к проспекту. Глаза ее теперь сверкали, как капские бриллианты. Розовый румянец покрыл ее щеки; торжествующая, изящная, оживляющая улыбка преобразила ее лицо. Она была прекрасна. Ах, если б редактор отдела «Женская красота» мог ее увидеть! В его ответе на столбцах газеты говорилось, кажется, о том, что, чтобы сделать некрасивые черты привлекательными, надо развивать в себе добрые чувства по отношению к ближним.

Лидер рабочих, против которого было направлено веское и угрожающее предостережение передовой статьи, приходился отцом Джонни и Глэдис. Он подобрал остатки газеты, из которой Глэдис сделала столь удачное косметически-звуковое применение. Передовая статья не попалась ему на глаза; вместо нее он наткнулся, в отделе «На досуге», на один из тех замечательных головоломных ребусов, которые одинаково увлекают простака и мудреца.

Лидер рабочих оторвал полстраницы, обеспечил себя столом, карандашом и бумагой и углубился в головоломку.

Три часа спустя, напрасно прождав его в назначенном месте, другие, более консервативные главари высказались в пользу соглашения, и забастовка, с ее опасными последствиями, была устранена. Вечерний выпуск газеты трубил кричащими заголовками победу: газете удалось разоблачить намерения лидера рабочих и положить козням его предел.

Остатки этой энергичной газеты также честно послужили доказательству ее могущества.

Джонни, по возвращении из школы, забрался в укромный уголок и извлек на свет листы, спрятанные внутри его одежды; они были искусно распределены там, чтобы успешно защищать те области, которые обыкновенно подвергаются опасности во время школьных экзекуций. Джонни посещал частную школу, и у него вышли недоразумения с учителем. Как уже было сказано, в утреннем выпуске газеты была великолепная передовица, направленная против телесных наказаний, и она, несомненно, оказала свое действие.

После всего этого может ли кто-нибудь усомниться в могуществе печатного слова?



ГРОМИЛА И ТОММИ

В десять часов вечера горничная Фелисия ушла с черного хода вместе с полисменом покупать малиновое мороженое на углу. Она терпеть не могла полисмена и очень возражала против такого плана. Она говорила, и не без основания, что лучше бы ей позволили уснуть над романом Сент-Джорджа Ратбона в комнате третьего этажа, но с ней не согласились. Для чего-нибудь существует на свете малина и полицейские.


Громила попал в дом без особого труда: в рассказе на две тысячи слов требуется побольше действия и поменьше описаний. В столовой он приподнял щиток потайного фонаря и, достав коловорот и перку, начал сверлить замок шкафа, где лежало серебро.

Вдруг послышалось щелканье. Комнату залило электрическим светом. Темные бархатные портьеры раздвинулись, и в комнату вошел белокурый мальчик лет восьми в розовой пижаме, держа в руке бутылку с прованским маслом.

— Вы громила? — спросил он тоненьким детским голоском.

— Послушайте-ка его! — хрипло воскликнул гость. — Громила я или нет? А для чего же, по-твоему, я три дня отращивал щетину на подбородке, для чего надел кепку с наушниками? Давай живей масло, я смажу сверло, чтоб не разбудить твою мамашу, у которой заболела голова и она легла, оставив тебя на попечение Фелисии, не оправдавшей такого доверия.

— Ах ты, боже мой, — со вздохом сказал Томми. — Не думал я, что вы так отстали от времени. Это масло пойдет для салата, когда я принесу вам поесть из кладовой. А мама с папой уехали в оперу слушать де-Решке. Я тут ни при чем. Это только доказывает, сколько времени рассказ провалился в редакции. Будь автор поумней, он бы в гранках исправил фамилию на Карузо.



— Замолчи,— прошипел громила.— Попробуй только поднять тревогу, и я сверну тебе шею, как кролику.

— Как цыпленку,— поправил Томми.— Это вы ошиблись. Кроликам шею не свертывают.

— Неужели ты меня не боишься? — спросил громила.

— Сами знаете, что не боюсь,— ответил Томми.— Неужели вы думаете, что я не отличу правду от вымысла? Если б это было не в рассказе, я бы завопил, как дикий индеец, а вы скатились бы по лестнице и на тротуаре вас бы зацапала полиция.

— Вижу, ты свое дело знаешь,— сказал громила.— Валяй дальше.

Томми уселся в кресло и поджал под себя ноги.

— Почему вы грабите чужих людей, господин громила? Разве у вас нет знакомых?

— Вижу, к чему ты клонишь,— злобно нахмурившись, сказал громила.— Старая штука. Твоя младенческая невинность и беззаботность должны вернуть меня к честной жизни. Каждый раз, как залезешь в дом, где имеется младенец, получается одна и та же история.

— Может быть, вы посмотрите жадными глазами на тарелку с холодной говядиной, которую буфетчик забыл на столе? — сказал Томми.— А то времени у нас мало.

Громила согласился.

— Бедненький,— сказал Томми.— Вы, должно быть, проголодались. Пойдите, пожалуйста, в нерешительной позе, а я вам принесу чего-нибудь поесть.

Мальчик принес из кладовой жареную курицу, банку с вареньем и бутылку вина. Громила недовольно взялся за нож с вилкой.

— И часу не прошло, как я ел омаров и пил пиво на Бродвее,— проворчал он.— Хоть бы эти писаки позволили человеку принять таблетку пепсина перед едой.

— Мой папа тоже пишет книжки,— заметил Томми.

Громила поспешно вскочил с места.

— А ты говорил, будто он уехал в оперу,— прошипел он хриплым голосом, подозрительно глядя на мальчика.

— Я забыл оказать,— объяснил Томми.— Билеты он получил бесплатно.

Громила снова уселся на место и стал обглаживать куриную косточку.

— Зачем вы грабите квартиры? — задумчиво спросил мальчик.

— Затем,— ответил громила, вдруг залившись слезами. — Помилуй, Господи, моего темноволосого мальчика Бесси, который остался дома.

— Ах нет,— сказал Томми, сморщив нос.— Это вы не так говорите. Прежде чем пустить слезу, вы должны рассказать, отчего вам не повезло.

— Да, да, я и забыл,— сказал громила.— Ну вот, раньше я жил в Мильвоки...

— Берите серебро,— сказал Томми, слезая с кресла.

— погоди,— сказал громила. — Но я уехал оттуда. Другой работы я найти не мог. Некоторое время я поддерживал жену и ребенка, сбывая ассигнации Южного правительства, но увы! пришлось бросить и это, потому что они не имели хождения. Я махнул на все рукой и с горя сделался громилой.

— А вы когда-нибудь попадались в руки полиции? — спросил Томми.

— Я сказал «громилой», а не нищим,— ответил грабитель.

— Как же мы кончим рассказ, когда вы доедите курицу и у вас, как полагается, начнется приступ раскаяния?

— Предположим,— задумчиво начал громила,— что Тони Пастор закроется сегодня раньше обыкновенного и твой отец приедет с «Парсифаля» в половине одиннадцатого. Я окончательно раскаялся, потому что ты напомнил мне моего сыночка Бесси...


— Послушайте,— сказал Томми,— а вы не ошиблись?

— Нет, клянусь пастелями Б. Кори Килверта,— сказал громила.— Всегда у меня дома остается Бесси и бесхитростно болтает с бледнолицей женой громилы. Так вот я и говорю, твой отец откроет парадную дверь как раз в ту минуту, когда я буду уходить, нагруженный увещаниями и бутербродами, которые ты завернул для меня в бумажку. Узнав во мне старого товарища по Гарвардскому университету, он отшатывается...

— Не в изумлении, надеюсь? — прервал его Томми, глядя на него круглыми глазами.

— Он отшатывается назад,— продолжал громила и вдруг, поднявшись на ноги, начал выкрикивать: — Ра, ра, ра! Ура, ура, ура!

— Ну-ну,— сказал удивленно Томми.— Первый раз слышу от громилы на работе университетский клич хотя бы и в рассказе.



— Не все тебе знать,— засмеялся громила.— Это я подпустил сценичности. Если такую штуку сыграть в театре, только этот намек на университетскую жизнь и может обеспечить ей успех.

Томми взглядом выразил свое восхищение.

— Вы в этом здорово разбираетесь,— сказал он.

— И вот еще в чем ты проврался,— заметил громила.— Тебе давно надо бы пойти и принести золотой, который мама подарила тебе в день рождения, чтобы я передал его Бесси.

— Но она не для того дарила мне золотой, чтоб вы передали его Бесси,— надувшись, отвечал Томми.

— Ну, ну! — строго сказала громила.— Нехорошо пользоваться тем, что в рассказе попала неясная по смыслу фраза. Ты понимаешь, что я хотел сказать. Что я там получу от этой литературной стряпни? Я теряю всю выручку да еще каждый раз обязан каяться; а достаются мне разные пустячки и сувениры от вас, ребят. Как же, в одном рассказе я получил в награду всего-навсего поцелуй маленькой девочки, которая застала меня врасплох, когда я вскрывал сейф. Да еще вся она была липкая от патоки. Вот возьму эту скатерть, накину тебе на голову, да и залезу в шкаф с серебром.

— Ничего подобного,— сказал Томми, обхватив колени руками.— Потому что после этого ни один журнал не примет рассказа. Вы же знаете, что вам следует соблюдать единство.

— И тебе тоже,— угрюмо возразил громила.— Вместо того чтобы сидеть здесь, болтать глупости и отнимать хлеб у бедного человека, тебе бы следовало залезть под кровать и вопить благим матом.

— Ваша правда, дружище,— согласился Томми.— Удивляюсь, к чему нас заставляют это делать. По-моему, Совет по охране детства должен был бы вмешаться. Для ребенка моих лет и неестественно и неприятно соваться под ноги взрослому гроmile, когда он занят делом, и предлагать ему красные санки и коньки, лишь бы он не разбудил больную маму. А посмотрите, что они заставляют вытворять громилу! Кажется, редактор должен бы знать... э, да что толку!

Громила вытер руки о скатерть и, зевнув, поднялся с места.

— Ну, давай кончать,— сказал он.— Благослови тебя Боже, мой мальчик, ты нынче не дал человеку совершить

преступление. Бесси станет молиться за тебя, когда я по- паду домой и распоряджусь на этот счет. Больше я не ограб- лю ни одной квартиры — по крайней, мере до тех пор, по- ка не выйдут июньские журналы. Тогда придет черед твоей сестренки — она застанет меня, когда я буду извлекать из чайника четырехпроцентные облигации США, и попыта- ется подкупить меня коралловыми бусами и слюнявым по- целуем.

— Напрасно вы жалуетесь, не вам одному плохо, — вздох- нул Томми, сползая с кресла. — Подумайте, ведь я никогда не высыпаюсь. Нам обоим достается, старик. Я бы хотел, чтоб вам удалось вылезти из рассказа и в самом деле ограбить ко- го-нибудь. Может быть, вам повезет, если мы попадем в ин- сценировку.

— Вряд ли, — мрачно сказал громила. — Я, должно быть, всегда буду сидеть на мели, если юные дарования вроде те- бя будут пробуждать во мне стремление к добру, а журналы — платить по выходе из печати.

— Очень жаль, — сочувственно сказал Томми. — Только я тоже ничем помочь не могу. Это уж такое правило семей- ной беллетристики, что громиле никогда не везет. Ему ме- шает или младенец вроде меня, или юная героиня, или в са- мую последнюю минуту его сообщник, Рыжий Майк, при- поминает, что служил в этом доме кучером. Во всяком рассказе вам достается самая плохая роль.

— Ну, мне, пожалуй, пора смываться, — сказал громила, подхватывая фонарь и коловорот.

— Вы должны взять с собой остаток курицы и вино для Бесси и его мамы, — спокойно заметил Томми.

— Да провались ты, ничего им не надо! — с досадой вос- кликнул громила. — У меня дома пять ящиков Шато-де Бейх- свель разлива тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. А ваш кларет пахнет пробкой. А на курицу они и глядеть не станут, если ее не протушить в шампанском. Когда я выхо- жу из рассказа, мне так стесняться не приходится. Кое-что зарабатываю иной раз.

— Да, но вы все-таки возьмите, — настаивал Томми, на- грузая громилу свертками.

— Спасибо, молодой хозяин, — послушно произнес гро- мила. — Саул — гроза вторых этажей — никогда тебя не за- будет. А теперь выпусти меня поживей, малец. Наши две ты- сячи слов подходят к концу.



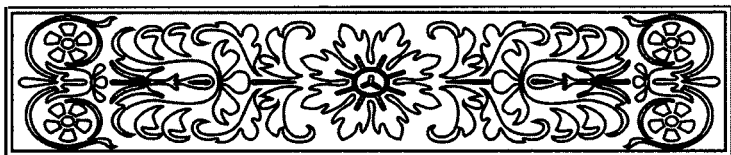
Томми проводил его через холл к парадной двери. Вдруг громила остановился и тихонько окликнул мальчика:

— А это не фараон там перед домом стоит и любезничает с девушкой?

— Да,— ответил Томми,— ну и что же из этого?

— Боюсь, как бы он меня не забрал,— сказал громила.— Не забывай, что это беллетристика.

— Батюшки мои! — воскликнул Томми, поворачиваясь.— Идемте, я выпущу вас черным ходом.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Лет двадцать развивался корень зла.


К концу этого срока он был уже вполне на высоте положения.

Если бы вы жили где-нибудь в окружности ранчо Сэндаун, хотя бы на расстоянии пятидесяти миль от него, вы не могли бы не слышать о нем. Корень зла этот обладал густыми, черными как смоль волосами, необыкновенно искренними темно-кариими глазами, а смех его разносился по прерии, точно журчанье где-то скрытого ручейка. Имя ему было Розита Мак-Меллэн, и это была дочь старого Мак-Меллэна, с овечьего ранчо Сэндаун.

Однажды в Сэндаун прибыли верхом на двух золотисторыжих конях — или, выражаясь точнее, на облезлых гнедых, — два претендента на руку Розиты. Один из них был Мэдисон Лэн, а другой «Малыш из Фрио». Но в это время его еще не звали «Малышом из Фрио»: он еще не успел тогда заслужить честь особой клички. Имя его было попросту Джонни Мак-Рой.

Не подумайте, пожалуйста, что эти двое являлись единственными обожателями прекрасной Розиты. Кони дюжины других грызли удила, стоя у длинной коновязи ранчо Сэндаун. Много глаз в окрестных саваннах выпучивались по-бараньи при виде Розиты, но не всегда эти глаза принадлежали баранам Дана Мак-Меллэна. Но Мэдисон Лэн и Джонни Мак-Рой далеко обогнали остальных участников этого гандикапа, а потому мы и заносим их имена в летопись.

Мэдисон Лэн, молодой скотовод из округа Нуэсес, остался победителем. Он и Розита были обвенчаны в день Рождества. Вооруженные, веселые, шумливые, ковбои и овчары, великодушно отложив в сторону свою наследственную ненависть, соединились вместе, чтобы общими силами отпраздновать торжество.



На ранчо Сэндаун стон стоял от залпов — шуток и из револьверов, от блеска — уздечек и сверкающих глаз, от поздравлений и приветствий.

Но, когда свадебное торжество достигло крайнего предела веселья, вдруг появился Джонни Мак-Рой, мрачный, терзаемый ревностью, похожий на одержимого.

— Я вам сейчас поднесу рождественский подарок, — завопил он громовым голосом и встал у дверей, держа в руках револьвер сорок пятого калибра. Уже в те времена он имел репутацию необычайно меткого стрелка.

Первая его пуля срезала мочку правого уха у Мэдисона Лэна. Дуло револьвера отклонилось на один дюйм. Следующий выстрел поразил бы новобрачную, если бы у овчара Карсона винтики в голове не оказались бы хорошо смазанными и не работали бы так быстро. Садясь за стол, гости, соблюдая хороший тон, повесили свои револьверы, вместе с поясами, на гвозди, вбитые в стену. Но Карсон с необычайной быстротой швырнул в Мак-Роя свою тарелку, полную жареной дичи и картошки, и испортил ему прицел. Вторая пуля сбила только белые лепестки с цветка — «испанского кинжала», торчавшего фуга на два над головой у Розиты.

Гости отпихнули стулья и бросились к оружию. Стрелять в жениха и невесту во время свадьбы показалось им поступком крайне бестактным. Через шесть секунд около двадцати пуль должны были просвистеть по направлению к Мак-Рою.


— В следующий раз я буду лучше стрелять, — прокричал Джонни, — и этот следующий раз настанет.

И он быстро скрылся.

Карсон, овчар, движимый после успешного опыта с брошенной тарелкой жаждой новых подвигов, первый добежал до дверей. Из темноты пуля Мак-Роя уложила его.

Тогда ковбои бросились за ним, взывая к мщению; вообще, убийство овчара не всегда вызывало возмущение с их стороны, но в данном случае оно определенно шло вразрез с правилами приличия. Карсон не был виноват ни в чем; он не принимал никакого участия в обряде бракосочетания; и никто даже не слышал, чтобы он декламировал гостям рождественские гимны.

Но вылазка не удалась. Мак-Рой был уже в седле и несся вскачь, в спасительный чапарраль, осыпая своих преследователей громкими проклятиями и угрозами.




В эту-то ночь и родился «Малыш из Фрио». Он стал «вредным элементом» этих краев. Отвергнутой мисс Мак-Меллэн, он сделался опасным. Когда полицейские явились арестовать его за убийство Карсона, он убил двоих из них и затем стал вести жизнь отщепенца. Он научился удивительно хорошо стрелять обеими руками. Иногда он появлялся в городках и поселках, затевал ссоры по малейшему поводу, укладывал своего противника и смеялся над блюстителями закона. Он был так хладнокровен, так беспощаден, так проворен, так бесчеловечно кровожаден, что к поимке его делались лишь слабые попытки. Когда он был, наконец, застрелен маленьким, одноруким мексиканцем, который сам еле жив был от страха, на душе Малыша из Фрио было уже восемнадцать убийств. Около половины жертв он уложил в честном поединке, где исход зависел от быстроты выстрела. Другую половину он умертвил просто из жестокости, ради одного удовольствия.

Много существует на границе рассказов о его дерзкой храбрости и отваге. Но он не был из породы тех головорезов, у которых все-таки бывают минуты великодушия и даже кротости. Уверяют, что он никогда не знал чувства милосердия к лицам, вызвавшим его гнев. Однако в этот и в каждый день Рождества как-то хочется отдать, по возможности, каждому должное за всякую искру добра, которая могла бы в нем оказаться. Если Малыш из Фрио совершил когда-нибудь доброе дело, если в сердце его шевельнулось когда-нибудь великодушное чувство, это случилось именно в этот день. Вот каким образом это произошло...

Человеку, потерпевшему неудачу в любви, никогда не следует вдыхать аромат цветов ратамы. Они опасно возбуждают память.

Однажды в декабре в округе Фрио одно дерево ратамы стояло в полном цвету: зима была теплая, точно весна. Мимо этого дерева ехал Малыш из Фрио со своим клеветом и товарищем по убийствам Фрэнком-Мексиканцем. Малыш остановил своего мустанга, но остался в седле, задумчивый и нахмуренный, зловеще прищурился. Слабый, сладкий аромат затронул какие-то фибры в нем, проникнув сквозь сковывавшую его броню из льда и железа.

— Не понимаю, о чем это я думаю, Мекс, — сказал он своим обычным мягким и певучим голосом. — Как это я мог забыть про один рождественский подарок? Завтра ночью я



поеду и застрелю Мэдисона Лэна в его собственном доме. Он отбил у меня мою девушку. Розита вышла бы за меня, не встань он между нами. Сам не понимаю, как я это откладывал до сих пор.

— А, ерунда, Малыш! — сказал Мексиканец. — Не говори вздора. Ты знаешь, что завтра нельзя будет и на милую подъехать к дому Мэда Лэна. Я видел третьего дня старика Аллена, и он сказал мне, что у Мэда на Рождестве будут гости. Помнишь, как ты испортил торжество в день свадьбы Мэда, и какие ты посылал угрозы? Неужели ты думаешь, что Мэд Лэн не держит теперь ухо остро в предположении, что некто мистер Малыш может незванно появиться среди гостей? Тошно слушать, Малыш, такие речи.

— Я поеду, — спокойно повторил Малыш, — на праздник к Мэдисону Лэну и убью его. Мне давно надо было сделать это. Знаешь, Мекс, ровно две недели назад я видел во сне, что я женат на Розите, а не он; и мы жили вместе в доме, и я видел, как она мне улыбается... и — проклятье, Мекс! — она досталась ему! но зато он будет моим, — да, сударь, она стала его в канун Рождества, и в этот же день он будет моим.

— Есть ведь и другие способы самоубийства, — посоветовал Мексиканец. — Почему бы тебе просто не отдаться в руки шерифу?

— Он будет моим, — сказал Малыш.

Канун Рождества наступил; воздух был мягок, точно в апреле. Быть может, был отдаленный намек на мороз, но он только пощипывал, как сельтерская вода, и в воздухе носился легкий запах поздних полевых цветов и мескитной травы.

Вечером все пять или шесть комнат ранчо ярко осветились. В одной из комнат горела елка: у Лэнов был трехлетний сынишка и ожидалось человек двенадцать или более гостей с ближайших ранчо.

Когда стемнело, Мэдисон Лэн отозвал в сторону Джима Бэлчэра и еще троих ковбоев, служивших у него на ранчо.

— Слушайте, ребята, — сказал Лэн, — держите ухо остро. Ходите вокруг дома и наблюдайте зорко за дорогой. Все вы знаете Малыша из Фрио, как его теперь зовут; если вы его увидите, откройте по нему огонь без всяких предисловий. Я не очень-то боюсь, что он явится сюда, но Розите страшно. Она боится этого каждое Рождество, с тех пор как мы женаты.

Вскоре приехали гости, в таратайках и верхами, и начали располагаться в комнатах. Вечер проходил весело. Гости с удовольствием ели отличный ужин, приготовленный Розитой, и похваливали хозяйку, а затем разбрелись группами по комнатам и по широкой галерее, куря и болтая.

Елка, разумеется, привела в восторг малышей; в особенности они обрадовались, когда появился рождественский дед, с великолепной белой бородой, одетый в белый мех, и начал раздавать игрушки.

— Это мой папа, — объявил шестилетний Билли Сэмпсон, — я видел, как он одевался.

Беркли, овчар, старый приятель Лэна, остановил Розиту, когда она шла мимо него по галерее, где он сидел и курил.

— Ну, что же, миссис Лэн, — сказал он, — вы, надеюсь, перестали теперь каждое Рождество бояться этого парня, Мак-Роя, не правда ли? Мы как раз толковали об этом с Мэдисоном.

— Почти, — улыбаясь, ответила Розита, — но я все-таки иногда нервничаю. Никогда не забуду я этого ужаса, когда он чуть не убил нас.

— Это самый безжалостный негодяй в мире, — сказал Беркли. — Всем жителям округа следовало бы подняться и устроить на него облаву, как на волка.

— Он совершил ужасные преступления, — сказала Розита, — но... я... не знаю. Я думаю, что в каждом человеке где-то в глубине души таится крупница добра. Он не всегда был злодеем — я это знаю.

Розита вышла в коридор между комнатами. Рождественский дед, в бороде и мехах, как раз проходил мимо.

— Я слышал в окно, что вы говорили, миссис Лэн, — сказал он. — В тот момент я только что опустил руку в карман, чтобы вынуть рождественский подарок вашему мужу. Но вместо этого я оставил вам подарок. Он там, в комнате направо.

— Спасибо, милый дедушка, — весело сказала Розита.

Она вошла в комнату, а рождественский дед вышел на свежий воздух.

В комнате направо она нашла одного Мэдисона.

— Где же мой подарок? Дед сказал, что оставил его здесь для меня, — сказала Розита.

— Я не видел ничего похожего на подарок, — смеясь, сказал ей муж, — разве только, что он меня назвал подарком?

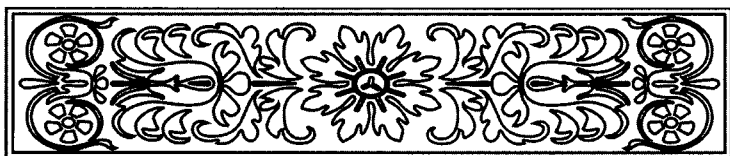


На следующий день Габриэль Родд, старший на ранчо Хо, вошел в почтовую контору в Лома-Альта.

— Ну, вот, Малыш из Фрио получил наконец свою порцию свинца, — сказал он почтмейстеру.

— Да неужели? Каким образом?

— Отличился один из мексиканцев-овчаров старого Санхеса. Подумайте только: Малыш из Фрио убит овчаром! Пастух увидел около полуночи, что он едет мимо лагеря, и так перепугался, что схватил свой винчестер и выпустил заряд. Но всего забавнее то, что Малыш оказался наряженным в полное одеяние рождественского деда, с ног до головы. Подумайте только, Малыш из Фрио вздумал разыгрывать Санта-Клауса.



ОСОБЕННЫЙ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ КОЛОРИТ

Как-то в разговоре с Ривингтоном я упомянул, что мне нужны характерные для Нью-Йорка сцены или эпизоды, ну, что-то типичное, без расставленных точек над «i».

— В вашем писательском бизнесе,— ответил Ривингтон,— это очень нужно, и вы обратились по адресу. Я знаю о Нью-Йорке практически все, ну а то, что не знаю, едва уместится в сонете из шести строк или в старомодной женской шляпке. Я вам покажу такой местный колорит, что вы не поймете, что это — яркая обложка журнала или палата для пациентов с рожистым воспалением. Ну, когда начнем?

Ривингтон — молодой повеса, коренной ньюйоркец по рождению, по своим предпочтениям, по своей верности городу.

Я сказал ему, что буду рад взять его в свои провожатые и ангелом-хранителем, чтобы с его помощью сделать необходимые записи о великих, мрачных, особо характерных чертах Манхэттена. А когда начать — это его дело, когда ему будет удобно.

— Что ж, тогда начнем сегодня же вечером,— сказал Ривингтон, видимо, тоже заинтересовавшись моим предложением, как и любой добропорядочный парень.— Давайте вместе пообедаем часов в семь, после я поведу вас и покажу такое разнообразие метрополии, что вам придется вооружиться кинетоскопом, чтобы успеть все разглядеть.

Мы с Ривингтоном приятно пообедали в его клубе, на Пятьдесят первой улице, затем отправились на поиски вечного ускользящих колоритных впечатлений.

Когда мы выходили из клуба, то увидели двух мужчин. Они стояли на тротуаре и вели о чем-то серьезную беседу.

— И с помощью какого рационального процесса,— говорил один из них,— вы пришли к выводу, что разделение общества на класс производителей и на класс неимущих обречено на провал по сравнению с системой конкурен-



ции, которая имеет тенденцию к монополизации и неблагоприятно сказывается на промышленном развитии?

— Да спорхните вы со своей жердочки! — сказал второй, в очках.— Все ваши выкладки похожи на карточный домик. Ваши болтуны, которые увязывают свои хромающие на обе ноги теории с конкретными силлогизмами и логическими заключениями, несут несусветную чепуху. Вам не обмануть меня своим старым софизмом с поседевшими от времени усиками. Вы цитируете Маркса, Хиндлана и Каутского, а кто они? Тьфу! А Толстой? Да у него давно чердак с крысами поехал! Сколько можно вбивать вам в голову, что идея кооперативного благоденствия и отмена конкурентоспособной системы только усиливает мою болевую чувствительность. По вам плачет дурдом!

Я, остановившись в нескольких ярдах от спорящих, вытащил свою маленькую записную книжку.

— Бросьте, пошли дальше, — довольно нервно сказал Ривингтон, — для чего вам слушать весь этот вздор?

— Ну, что вы, — зашептал ему я, — это как раз то, что мне нужно. Ведь эти типы, разговаривающие на чудовищном сленге, — самая выдающаяся характеристика вашего города. Это, наверное, сленг с улицы Бауэри? Мне хотелось бы побольше его услышать.

— Если я правильно вас понял, — продолжал тот, который начал первым, — вы не верите в возможность реорганизовать общество на основе общих для всех интересов?

— Машите хвостом на своей территории! — парировал человек в очках.— Из моего горна, оповещающего о туманах, не вылетала такая музыка. Я только говорил и говорю сейчас, что она непрактична. Ребята под полицейским надзором не полезут в драку, а пьяницу с жестяной канистрой в заднем кармане не затащишь на урок по Закону Божьему. Можете держать пари на ваши дырявые носочки, что ситуация повсюду поганая — от района Бэттери до вашего завтрака на столе! Сейчас стране нужен мерзавец, личности типа старика Кобдена или мудрый малый типа старика Бена Франклина, которые выйдут на первый план и дадут по мозгам ниггерам бейсбольной битой. Врубаетесь в то, что я вам говорю? Нет?

Ривингтон нетерпеливо теребил меня за руку.

— Да пошли отсюда, прошу вас. Пойдемте куда-нибудь в другое место. Для чего вам все это?

— Что вы, мне как раз это и нужно. Крутой разговор, то, что нужно! В языке низших слоев общества есть нечто такое живописное, что на самом деле просто уникально. Так, по вашему мнению, это сленг с улицы Бауэри?

— Ну ладно,— смирился Ривингтон.— Не буду больше скрывать. Один из спорщиков — профессор колледжа. Он проторчал пару дней в клубе. У него в последнее время появилась своя причуда — говорить на диком сленге. Он думает, что сленг только украшает речь. А второй — один из известных нью-йоркских экономистов. Ну, теперь пошли? Для чего он вам, это сленг, все равно вы не станете им пользоваться.

— Не стану, конечно,— согласился я с ним.— Но разве это не типично для Нью-Йорка? Что скажете?

— Совсем нет,— сказал Ривингтон, вздохнув с облегчением.— Я рад, что вы учуяли разницу. Но если вы хотите услышать настоящий крутой сленг с улицы Бауэри, то я отведу вас туда, насладитесь, мало не покажется!

— Мне бы очень хотелось,— сказал я,— если это на самом деле то, что мне нужно. Как вы думаете, а небезопасно ли идти на встречу с такими характерными типами безоружными?


— Да нет,— уверил меня Ривингтон,— только не в это время. По правде говоря, я давненько не был на Бауэри-стрит, но все равно знаю ее не хуже Бродвея. Найдем там нескольких колоритных местных типов, и вы с ними поговорите. Не пожалеете. Они говорят на особом диалекте, его вы нигде больше не услышите, это точно.

Мы с Ривингтоном сели на трамвай на Сорок второй улице и поехали на юг третьим маршрутом по Третьей авеню.

На Хьюстон-стрит мы вышли и пошли пешком.

— Вот мы и на знаменитой Бауэри,— сказал Ривингтон,— той самой Бауэри-стрит, которая прославлена в песнях и прозе.

Мы проходили квартал за кварталом, мимо магазинов со всем необходимым для мужчин, мимо выставленных в витринах рубашек с манжетами и продетыми в них запонками, с прицепленными к ним ценниками. В других витринах мы видели только мужские галстуки и никаких рубашек. Люди разгуливали по тротуарам вверх и вниз по улице.



— В каком-то роде, — сказал я, — это мне напоминает Кокмоино, штат Индиана, когда наступает сезон сбора персиков.

Мое замечание почему-то рассердило Ривингтона.

— Войдите в один из этих салунов или «шоу» с водевилем, имея пачку денег потолще, и за несколько мгновений увидите, как Баэури-стрит поддержит свою звонкую репутацию.

— Вы ставите какие-то просто невыполнимые условия, — холодно ответил я.

Время от времени Ривингтон останавливался и сообщал мне, что мы находимся в самом сердце Бауэри. На углу стоял знакомый Ривингтону полицейский.

— Хэлло, Донахью! — сказал мой гид. — Ну, как дела? Мы с приятелем пришли сюда к вам, чтобы увидеть местный колорит. Моему другу не терпится увидеть ваших живописных типов. Не покажешь ли чего-нибудь попроще в этом плане? Ну что-то, имеющее свой особый колорит?

Полисмен Донахью развернул к нам свое грузное тело, его красная физиономия излучала доброжелательность. Он махнул своей дубинкой в сторону улицы.

— О чем разговор! — хрипло сказал он. — Вот идет один малый, который родился здесь, на Бауэри-стрит. Он-то знает ее всю назубок, каждый ее дюйм. Но за ней, далее Бликер-стрит, он уже ни черта не знает.

Нам навстречу, припрыгивая, шел молодой человек лет двадцати восьми—двадцати девяти, с гладким лицом, засунув руки в карманы пальто. Полицейский Донахью остановил его грациозным взмахом своей дубинки.


— Добрый вечер, Керри, — поприветствовал его коп. — Вот тут парочка чуваков, мои друзья, хотят кое-что узнать о Бауэри, потрепать с кем-нибудь языком. Не проводишь ли их пару ярдов?

— Чего ж не проводить, Донахью, — любезно согласился молодой человек.

Донахью пошел дальше по своему участку.

— Ну и рожа! — прошептал мне Ривингтон, подталкивая локтем. — Вы только посмотрите на его челюсть!

— Послушай, приятель, — сказал Ривингтон, сдвигая на затылок свою шляпу, — ты понял, что нам от тебя нужно? Мы с приятелем хотим прогуляться по этой старушке-улице. Коп сказал нам, что ты все знаешь здесь, на Бауэри, так?



Я не мог без восхищения наблюдать за тем, как ловко Ривингтон умел приспособливаться к новому окружению.

— Донахью вам сказал правду, — откровенно признался молодой человек. — Я на самом деле вырос здесь, на Бауэри-стрит. Кем я только не был в своей жизни: разносчиком газет, водителем грузовика, боксером, членом организованной преступной банды громил, барменом и спортсменом в самом разнообразном значении этого слова. Такой мой большой опыт, несомненно, говорит, по крайней мере, о моем шапочном знакомстве с некоторыми областями бауэрской жизни. Буду рад предложить все свои знания, весь свой опыт к услугам друзей моего друга Донахью.

Ривингтон, судя по всему, был чем-то недоволен.

— Послушайте, — несколько робко начал он, — не водите ли вы нас за нос? Нам такой жаргон ни к чему. Мы ожидали другого. Вы даже ни разу не произнесли «Здорово! Чтоб мне провалиться!». Вы на самом деле с Бауэри-стрит?

— Боюсь, — улыбнулся бауэрский парень, — что когда-то вы заглянули в винный погребок литераторов и там вам всучили фальшивую монету относительно Бауэри. То «арго», которое вы, несомненно, имеете в виду, стало изобретением некоторых ваших литературных первооткрывателей, которые обследовали необозримые глубины Третьей авеню и стали вкладывать в уста ее обитателей какие-то странные, нечленораздельные звуки. Доверчивые читатели в своих надежно укрытых домах далеко на Севере и на Западе были обмануты этим новым «диалектом», читали все это и верили. Это были пионеры, типа Марко Поло и Мунго Парка, но их тщеславные души были неспособны провести демаркационную линию между истинным открытием и собственным изобретением, от литературного праха этих исследователей разит о отбросами подземки. Совершенно верно, что после опубликования этого мифического языка, приписываемого обитателям Бауэри-стрит, некоторые из любимых фраз и удачных метафор были в довольно ограниченном масштабе восприняты, их использовали на местном уровне, потому что у нас такой народ — он быстро ассимилирует все, что может дать коммерческое преимущество. Туристам, посещающим наш по новой открытый край и мечтающим на практике увидеть и услышать то, о чем они читали в своих литературных справочниках, давали всю нужную информацию — спрос рождает предложение. Рынок, никуда не денешься!



Но, может, я уйду в сторону от поставленного вопроса? Чем я могу быть вам, джентльмены, полезен? Можете мне поверить на слово, гостеприимство нашей улицы распространяется на всех без исключения. У нас здесь, думаю, немало значных местечек для развлечений, но вряд ли они соблазнят вас.

Я почувствовал, как Ривингтон всем телом прижался ко мне, видимо опасаясь упасть от удивления.

— Послушайте, — сказал он весьма неуверенно, — не зайти ли нам куда, не пропустить ли по стаканчику?

— Благодарю вас, но я не пью. Я считаю, что алкоголь, даже в самых незначительных количествах, не позволяет видеть все в истинном свете. А мне это совсем ни к чему, ведь я изучаю Бауэри. Я прожил на ней почти тридцать лет и только теперь начинаю ощущать биение ее истинного пульса. Она похожа на могучую реку, в которую втекают чуждые ей по природе ручейки. Каждый из них несет в своем течении странные семена, странный ил, водоросли и только весьма редко — дающий надежду цветочек.


Чтобы сконструировать такую реку, нужен человек, умеющий возводить плотины против избытка воды, который являлся бы натуралистом, геологом, гуманитарием, хорошим пловцом, умеющий к тому же хорошо нырять. Я люблю свою Бауэри-стрит. Она была моей колыбелью и моим вдохновением. Я опубликовал одну книгу. Критики оказались ко мне весьма добры. Я вложил в свое сочинение всю свою душу. Теперь пишу вторую, в которую намерен, кроме души, вложить сердце и весь свой мозг. Можете, джентльмены, смело считать меня своим гидом. Куда вы хотите, чтобы я вас повел, какие места вам показать?

Я посмотрел на Ривингтона только одним глазом, опасаясь глядеть сразу двумя. •

— Нет, спасибо, — сказал Ривингтон. — Мы искали... мы, то есть... мой друг... все перепутал, ничего подобного мы не предполагали... не было прецедента... но тем не менее весьма вам обязаны...

— Ну, если вы хотите, — продолжал наш друг, — встретиться с некоторыми молодыми ребятами с Бауэри, то я с удовольствием отведу вас в штаб-квартиру нашего филологического общества Ист-Сайд-Каппа-Дельта.

— Нам ужасно жаль, — сказал Ривингтон, — мой друг просто изводит меня, когда начинает требовать — подавай ему

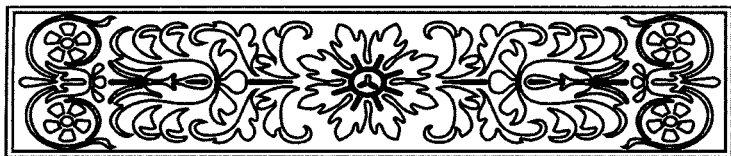


местный колорит, и баста! Просто ужас! Так что мы с удовольствием зашли бы в филологическое общество «Каппа Дельта»... но только в другой раз!

Мы попрощались и сели на трамвай, чтобы вернуться домой. На Верхнем Бродвее мы с Ривингтоном немного поспорились и попрощались на углу.

— Но в любом случае,— сказал он, взяв себя в руки и немного успокоившись,— такое могло случиться только в нашем маленьком, старом Нью-Йорке.

Это было типично для Ривингтона, если говорить скромно.



РЕЗОЛЮЦИЯ

Если вам случится побывать в Главном Земельном Управлении, зайдите в комнату чертежника и попросите его показать вам карту графства Саладо. Медлительный немец — возможно, сам Кемпфер! — принесет вам ее. Эта карта будет четырех футов в квадрате, на толстой кальке. Надписи и чертеж выполнены художественно, ясно и четко. Заголовок написан великолепным неразборчивым немецким текстом и украшен классически-тевтонским орнаментом — вероятно, Церерой или Помоной, прислоненной к заглавным буквам и держащей рог изобилия, откуда сыплются виноград и венские колбаски. Вам следует сказать ему, что вы желали бы видеть не эту карту и что вы просите принести вам предыдущую, официальную. Он ответит вам «Ach so!» — и принесет карту вполовину меньше первой — тусклую, старую, рваную и вылинявшую.

Посмотрев внимательно ее северо-западный угол, вы сейчас же найдете стертые контуры реки Чиквито и, может быть (если у вас хорошее зрение!), различите безмолвного свидетеля этого рассказа.

Начальник Земельного Управления был человек старого стиля; его старинная вежливость была слишком церемонна даже для его современников. Он одевался в тонкое черное сукно, и в длинных фалдах его сюртука был намек на римскую тогу. Воротнички у него были не пристегнутые; галстук представлял собою узкую, траурную ленточку, которая завязывалась таким же узлом, как и шнурки его башмаков. Его седые волосы были сзади немного длинноваты, но лежали гладко и аккуратно. Лицо его, гладко выбритое, походило на лицо государственного деятеля былых времен. Большинство людей находило это лицо суровым, но когда с него сходило официальное выражение, некоторым случалось видеть его совершенно иным. Особенно милым и нежным оно казалось тем, кто был при нем во время последней болезни его единственного ребенка.

Управляющий давно овдовел, и жизнь его, вне официальных обязанностей, до такой степени была посвящена малютке Джорджии, что об этом говорили, как о чем-то замечательном и трогательном. Он был человек сдержанный, корректный почти до суровости, но девочка все это переделала и так забралась в самое его сердце, что едва ли чувствовала отсутствие матери, любви которой была лишена. Между ними установились удивительные, чисто товарищеские отношения, так как вдумчивая и серьезная не по годам девочка во многом была похожа на отца.

Однажды, когда она лежала в постели и щеки ее горели от лихорадочного жара, она вдруг сказала:

— Папа, мне хотелось бы сделать что-нибудь доброе для массы, массы детей!

— А что бы ты хотела сделать, дорогая? — спросил управляющий? — Устроить пикник?

— О, я не об этом говорю. Я думала о бедных детях, у которых нет дома, которых не любят и не балуют, как меня. Я тебе сейчас скажу, папочка, что я хочу!

— Что, моя детка?


— Если я не поправлюсь, я оставляю им тебя. Не совсем отдам тебя, а только на время, потому что ты ведь должен прийти к маме и ко мне, когда тоже умрешь. Но, если у тебя будет время, не поможешь ли ты им как-нибудь, если я очень попрошу тебя об этом?

— Что ты, дорогая, ненаглядная детка, что ты? — сказал управляющий, держа ее горячую ручонку у своей щеки. — Ты скоро поправишься, и тогда посмотрим, что бы нам вместе сделать для них.

Но управляющему не суждено было работать совместно с любимым ребенком. В ту же ночь маленькое, хрупкое тельце внезапно устало бороться, и Джорджия сошла с большой сцены, едва начав при свете ramпы играть свою роль. Но, очевидно, где-то был режиссер, знающий свое дело. Она успела подать реплику тому, кто должен был говорить после нее.

Через неделю после ее похорон управляющий снова появился в конторе, немного еще более церемонный, немного еще более бледный и серьезный, чем всегда, но в том же черном сюртуке, еще свободнее висевшем на его высокой фигуре.

Его стол был завален бумагами, набравшимися за четыре ужасных недели его отсутствия. Старший клерк сделал все,



что мог, но были вопросы чисто юридического характера, требовавшие вмешательства знатока и касающиеся продажи и аренды школьных земель, разбивки их на луговые, посевные, орошаемые и лесные участки; точно так же надо было решить вопрос об отводе земли для поселенцев.


Управляющий безмолвно и упорно принялся за работу, отгоняя свое горе как можно глубже и стараясь сосредоточить свои мысли на сложных и важных работах своей конторы. На второй день после возвращения он позвал привратника, указал ему на стоявший около него обитый кожей стул и приказал вынести его в чулан для ненужных вещей, который находился на чердаке здания. На этом стуле обычно сидела Джорджия, когда приходила после полудня в контору за отцом.

Проходило время, и управляющий, казалось, становился все более молчаливым, одиноким и сдержанным. В нем стала проявляться новая черта: он не переносил присутствия детей. Когда ребенок одного из клерков, болтая, входил в большую канцелярию, прилегающую к его небольшому кабинету, управляющий часто тихонько подкрадывался к двери и запирал ее. Он постоянно переходил улицу, чтобы не встречать школьников, когда те счастливой толпой вприпрыжку бежали по тротуару; и при этом его строгие губы вытягивались в прямую линию.

Прошло около трех месяцев после того, как дожди смыли последние лепестки увядших цветов с холмика над малюткой Джорджией, когда «земельные акулы» Хэмлин и Эверай подали заявление о предоставлении им вакантной и самой «жирной» (как они считали) земли.

Не следует думать, что все так называемые земельные акулы действительно заслуживали, это название. Многие из них были люди почтенные и весьма деловые, а некоторые могли беспрепятственно войти в самые высшие учреждения штата и сказать: «Джентльмены, мы хотели бы получить то-то и то-то, и дело обстоит вот так». Но действительный поселенец ненавидел земельную акулу немногим менее, чем трехлетнюю засуху и червя.


Акула обычно осаждала Земельную Контору, где хранились все земельные документы, и упорно охотилась за «вакансиями», то есть за участками бесхозной казенной земли, обычно не указанными на официальных картах, но фактически существующими «на местах». Закон предоставлял



право всякому, получившему от штата разрешение, делать на основании последнего заявку на любую землю, не имеющую законного владельца. Большинство этих бумаг было теперь в руках земельных акул. Таким образом, они за несколько сот долларов приобретали земли, стоившие столько же тысяч. Естественно, что поиски вакансий были очень энергичны. Но часто — очень часто! — земля, приобретенная таким способом и считавшаяся по закону «бесхозной», на самом деле была занята счастливыми и довольными поселенцами, которые годами трудились над созданием собственного очага и вдруг узнавали, что их документы не имеют никакой цены, и получали категорическое приказание выселиться. Благодаря этому возникла горькая и понятная ненависть трудящихся поселенцев к хитрым и только в редких случаях жалостливым спекулянтам, которые выгоняли бедняков, лишали их крова и хлеба и не давали им возможности пользоваться плодами трудов своих. История штата была полна этого антагонизма. Земельная акула редко показывалась на участке, откуда ей предстояло выбросить несчастные жертвы чудовищно запутанной земельной системы, а всю неприятную работу поручали своим агентам. В каждом домике был свинец, из которого готовились пули для врага, многие из собратьев которого удобрили луга своей кровью. Причина всего этого лежала в далеком прошлом.

Когда штат был еще молод, он ощущал потребность в привлечении новых поселенцев и вознаграждал пионеров, уже находившихся в его пределах. Каждый год он выдавал многочисленные бумаги на право владения землей за деньги, а затем в качестве премий, дарственных записей ветеранам войны, а также железным дорогам, оросительным компаниям, колонистам и земледельческим артелям. От получавших требовалось одно: чтобы участок был правильно зарегистрирован у земельного инспектора; после этого земля переходила в вечное владение отдельного человека или учреждения или же их наследников или уполномоченных.


В те времена — и в этом лежит весь корень беспорядков! — государственные земли были безграничны, и старые землемеры отмеряли хорошей мерой, всегда с излишком, с царской и даже западноамериканской щедростью. Часто веселый землемер обходился совсем без астролябии и цепи.



Верхом на лошади, отмерявшей каждым шагом около «вары», имея в кармане лишь компас для проверки направления, он рысью объезжал участок, отсчитывая удары лошадиных копыт, отмечая углы и делая заметки с довольным видом человека, хорошо исполняющего свою обязанность. Иногда — и кто осудит за это землемера? — насытившаяся и застоявшаяся лошадь ступала несколько выше и шире обычного, и в этом случае владелец документа мог получить на тысячу и две больше акров, чем было обозначено в бумаге. Но надо было видеть бесконечные лиги земли, которыми располагали штаты! Во всяком случае, никто и никогда не имел основания жаловаться на шаг лошади. Почти в каждом старом участке штата был излишек земли.

В позднейшие годы, когда штат стал более населенным и стоимость земли повысилась, эта небрежная работа землемеров создала неисчислимые хлопоты, бесконечные тяжбы и породила период необузданного земельного захвата и значительного кровопролития. Земельные акулы жадно набрасывались на эти излишки старых участков, глядя на них как на бесхозное государственное имущество. Там, где границы старых участков были не ясны и углы не могли быть точно восстановлены, Земельная Контора признавала новые заявки действительными и выдавала документы на владение ими. Это вызвало невообразимую пуганицу. Старые участки, взятые по собственному выбору, были уже почти все заселены ничего не подозревавшими мирными поселенцами, и, когда их документы на владение признавались недействительными, пред ними вставал выбор: или выкупить свою землю за двойную цену, или немедленно покинуть ее — с семьями и личным имуществом. Желающих получить землю появились целые сотни. Вся местность была поднята на ноги, и в целях нахождения «вакансии» площадь измерялась по точной стрелке компаса. Великолепные участки стоимостью в сотни тысяч долларов были отняты у их невинных покупателей и владельцев. Начался грандиозный исход выгнанных поселенцев, которые в старых, дырявых повозках направлялись без цели, без крова, без надежды неведомо куда и, оглушенные горем, проклинали все и вся. Детки со слезами на глазах просили хлеба и не всегда получали его.

Вследствие всех этих обстоятельств Хэмлин и Эверай подали заявление на кусок земли около мили шириной и




трех миль длиной, заключающий в себе около двух тысяч акров и составляющий излишек законного девятимильного участка Элиаса Денни, находящегося на реке Чиквито, в одном из среднезападных графств. Они утверждали, что этот кусок в две тысячи акров — свободная земля и неправильно считается частью владений Денни. Свое утверждение и претензию на землю они основывали на доказанных фактах: что основной угол участка Денни точно установлен; что полевые заметки указывают, будто к западу он тянется на 5 760 вар и затем идет к Чиквито-Ривер; оттуда направляется к югу, по извилам реки, и так далее, но что на самом деле Чиквит-Ривер находится на целую милю дальше на запад от пункта, намеченного вначале. В итоге имеется две тысячи акров свободной земли между законным участком Денни и рекой Чиквито.

Однажды в знойный июльский день управляющий потребовал бумаги, относящиеся к этой новой заявке. Бумаги были принесены и сложены кучей вышиною в фут на его письменном столе. Тут были полевые заметки, заявления, чертежи, доверенности, объяснительные записки, всякого рода документы, — словом, все то, что хитрость и деньги могли призвать на помощь Хэмлину и Эвераяу.

Фирма торопила управляющего выдать ей бумаги на владение. У нее имелась секретная информация касательно новой железной дороги, которая, по всем данным, должна была пройти где-то поблизости.

В Главном Земельном Управлении было совсем тихо, когда управляющий с головой ушел в эту массу документов. На крыше старого здания, похожего на замок, слышно было воркованье и ухаживание голубей. Клерки дремали, даже не притворяясь, что иногда без пользы зарабатывают свое жалованье. Каждый мягкий звук глухо и громко отражался от голого, выложенного камнем пола, от оштукатуренных стен и потолка с железными стропилами. Неощутимая известковая пыль, никогда не оседавшая, белела в длинном солнечном луче, пробивавшемся сквозь рваную маркизу.

По-видимому, Хэмлин и Эверай хорошо все рассчитали. Обмер участка Денни был сделан небрежно даже для того прославившегося своей небрежностью периода. Его основной угол совпадал с таким же углом хорошо вымеренного старого испанского имения, но остальные пункты были установлены вопиюще небрежно. В полевых заметках не со-



держалось указания ни на один оставшийся предмет — ни на дерево, ни на какой-либо другой естественный объект, за исключением реки Чиквито, обозначенной на целую милю ниже. Согласно прецедентам, Управление было бы вправе установить законные границы участка, а все остальное считать свободной, «вакантной» землей.

Фактический поселенец осаждал контору частыми и отчаянными протестами. Обладая нюхом пойнтера и глазами сокола, когда дело касалось земельных акул, он уже заметил подозрительных клевретов, бегавших вдоль его границ. Наведя справки, он узнал, что хищник готовится атаковать его дом, и тогда он оставил плуг в борозде и взял в руку перо.

Один из этих протестов управляющий прочел два раза. Он был написан женщиной, вдовой, внучкой самого Элиаса Денни. Женщина эта рассказывала, как ее дед, много лет назад, распродал большую часть участка по ничтожной цене — продал землю, которая в настоящее время могла бы равняться княжеству по протяжению и ценности.

Мать ее тоже продала кое-что, а сама она унаследовала эту западную часть, вдоль реки Чиквито. Много и ей пришлось продать, чтобы иметь возможность есть и пить. Теперь ей принадлежало только около трехсот акров и дом, в котором она сейчас живет. Письмо заканчивалось довольно патетически:

«У меня восемь человек детей, и старшему пятнадцать лет. Я работаю весь день и половину ночи, обрабатывая, сколько могу, земли, чтобы доставить одежду и книги. Я сама обучаю своих детей. Все мои соседи — бедняки, и у всех — большие семьи. Засуха уничтожает посевы через каждые два или три года, и тогда у нас наступают тяжелые времена, когда трудно иметь самое насущное. На этой земле, которую акулы пытаются отнять у нас, живут десять семейств, и все они купили землю у меня. Я продала им дешево, и еще не вся земля оплачена, но некоторые соседи уплатили полностью, и если бы у них отняли эту землю, я бы умерла от горя. Мой дед был честным человеком и помогал основанию этого штата; он учил своих детей быть честными, — а как бы я могла возместить тем, кто купил у меня землю? Господин управляющий, если вы позволите этим земельным акулам сорвать кров над моими детьми и отнять то немногое, на что они могут жить, то всякий, назвавший после этого наше

государство великим, и правительство его справедливым, скажет ложь».

Управляющий со вздохом отложил письмо в сторону. Много, много подобных писем получал он. Он никогда не обижался на них и никогда не считал, что они обращены лично к нему. Он был слуга государства и должен был соблюдать его законы. И все-таки эти размышления не всегда заслоняли какое-то чувство ответственности, висевшее над ним. Из всех должностных лиц в штате, он был высшим в своем ведомстве, не исключая и губернатора. Правда, он должен был соблюдать общие земельные законы, но у него была широкая возможность применения специальных примечаний. В своей деятельности он руководствовался не столько законом, сколько практикой управления и прецедентами. В сложных и новых вопросах, вызванных развитием штата, решения управляющего редко вызывали апелляцию. Даже суды поддерживали его, когда справедливость была очевидна.

Управляющий подошел к двери и заговорил с клерком в соседней комнате, — заговорил, как всегда, как будто обращаясь к принцу крови.

— Мистер Уэльдон, не будете ли вы добры попросить мистера Эша, государственного оценщика школьных земель, зайти в мой кабинет, как только ему будет удобно.

Эш, сидевший за большим столом, где он редактировал свой доклад, сейчас же пришел.


— Мистер Эш, — сказал управляющий — вы во время нашего последнего объезда, кажется, работали на реке Чиквито, в графстве Саладо? Не помните ли чего-нибудь относительно участка в три лиги Элиаса Денни?

— Да, сэр, я помню, — ответил грубоватый землемер. — Я проезжал через него по дороге в Н., который лежит к северу от него. Дорога идет вдоль Чиквито-Ривер, по долине. Участок Денни на протяжении трех миль тянется вдоль Чиквито.

— Поступило заявление, — продолжал управляющий, — что он на миллю не доходит до реки.

Оценщик пожал плечами. По рождению и по инстинкту он принадлежал к действительным поселенцам и был естественным врагом земельных акул.

— Всегда считалось, что он простирается до самой реки, — сухо ответил он.



— Но я не это хотел обсуждать с вами, — сказал управляющий. — Какого рода местность в этой долине, составляющей часть (скажем пока так!) участка Денни?

Душа действительного поселенца отразилась на лице Эша.

— Очаровательная! — сказал он с энтузиазмом. — Долина ровная, как пол, с чуть-чуть волнистой поверхностью, точно море, и жирная, как сливки. Кустарника ровно столько, сколько нужно для защиты скота зимой. Черная, мергельная почва в шесть фугов глубины, а под ней глина, которая задерживает воду. В долине около дюжины хорошеньких домиков, с ветряными мельницами и садами. Жители, мне кажется, довольно бедные — слишком далеко от рынка! — но живут счастливо! Никогда в жизни я не видал столько молодняка.

— Разводят скот? — спросил управляющий.

— Ха-ха! Я говорю о двуногом молодняке, — засмеялся землемер, — о двуногом, босом, с волосами как пакля.

— Дети! ах, дети! — задумчиво протянул управляющий, как будто бы ему открылась новая точка зрения. — Они разводят детей!

— Это глухая местность, господин управляющий, — заметил оценщик. — Можно ли осуждать их?


— Я предполагаю, — продолжал управляющий медленно, как будто выводил заключение из новой, изумительной теории, — что не у всех у них волосы как пакля. — Я думаю, что можно с некоторой достоверностью полагать, что есть некоторые с русыми или даже черными волосами?

— Разумеется, есть и русые и черные, — сказал Эш, — и даже рыжие.

— Без сомнения, — произнес управляющий. — Теперь позвольте поблагодарить вас за любезное сообщение, мистер Эш. Я не стану больше отвлекать вас от вашей работы.

Позже, после полудня, пришли Хэмлин и Эверай — высокие, красивые, веселые молодцы, одетые в белые парусиновые костюмы и низкие полуботинки. Они пропитали всю контору духом благополучия и довольства. Обходя клерков, они оставили за собой след уменьшительных имен и толстых коричневых сигар.

Они были аристократы среди земельных акул, так как вели крупные дела. Полные непоколебимой уверенности в себе, они не считали никакую корпорацию, никакой синди-



кат, никакую железнодорожную компанию и даже прокурора слишком важными для себя. Замечательный дым их редких, толстых, коричневых сигар разносился в самых недоступных комнатах всех государственных учреждений штата, на заседаниях всевозможных комиссий, во всех директорских кабинетах и на аристократических частных собраниях. Всегда любезные, никогда и никуда не торопящиеся, они, казалось, располагали неограниченным свободным временем; никто не понимал, когда, собственно говоря, они занимаются теми многочисленными рискованными предприятиями, которые, как известно, были раскинуты повсюду.

Через некоторое время они с независимым видом вошли в кабинет управляющего и лениво развалились в его больших кожаных креслах. Они проворчали добродушную жалобу на погоду, а Хэмлин рассказал управляющему одну занимательную историю, которую утром слышал от статс-секретаря.


Но управляющий знал, зачем они пришли. Он почти обещал им сообщить в этот день свое решение относительно их заявки.

Старший клерк принес управляющему целую грудку отнoшений на подпись. Пока он чертил на каждом свою длинную подпись «Халлис Семмерфилд, Управл. Главн. Земельной Конторой», старший клерк стоял рядом, быстро отодвигая бумаги и прикладывая к ним пресспапье.

— Я вижу, — сказал старший клерк, что вы рассматриваете бумаги, касающиеся графства Саладо. Кемпфер чертит новую карту Саладо и, кажется, сейчас работает над этой частью графства.

— Я хочу посмотреть на эту карту, — сказал управляющий и через несколько минут направился в комнату чертежника.

Когда он вошел туда, пятеро или шестеро чертежников столпились около стола конторки Кемпфера, разговаривая между собой на немецком языке и разглядывая что-то на этом столе. При виде управляющего они рассыпались по своим местам. Кемпфер, сухонький немец, небольшого роста, с длинными, подвижными буклями и водянистыми глазами, начал заикаясь бормотать что-то вроде извинения; управляющий подумал, что он извиняется за собрание своих сослуживцев у его стола.



— Ничего, ничего, — сказал управляющий, — я хотел только посмотреть карту, которую вы чертите. — И, обойдя старого немца, он сел на его высокий табурет. Кемпфер продолжал коверкать английский язык, стараясь дать долж-ные объяснения.

— Господин управляющий, уверяю вас, что я не сделал это преднамеренно... что это случилось... вышло само собой. Посмотрите! Вот данные из путевых заметок... обратите внимание на описание: юг — 10 градусов, запад — 1050 вар.; юг — 10 градусов, восток — 300 вар.; юг — 100; юг — 9, запад — 200; юг — 40 градусов, запад — 400 и т. д. Господин управляющий, я бы никогда...


Управляющий безмолвно поднял свою белую руку. Кемпфер уронил трубку и убежал.

Подпирая голову ладонями обеих рук и опираясь локтями на конторку, управляющий уставился на карту, которая была на ней разложена и прикреплена, — уставился на нарисованный на ней милый и живой профиль маленькой Джорджии, на ее нежное, задумчивое, детское личико, вычерченное с поразительным сходством.

Когда наконец ум его стал доискиваться объяснения, он увидел, что все должно было произойти именно так, как сказал Кемпфер, — без предвзятого намерения. Старый чертежник работал над участком Элиаса Денни, а портрет Джорджии, как это ни было удивительно, образовался единственно из извивов реки Чиквито. И действительно, черновая Кемпфера, на которой была сделана его предварительная работа, указывала на тщательное нанесение пограничных знаков и на бесконечные уколы циркуля. Потом по легкому карандашному следу Кемпфер тушью и сочным, твердым пером нанес профиль реки Чиквито, и вместе с этим профилем таинственно расцвел тонкий трогательный образ ребенка.

Управляющий сидел около получаса, опустив голову на руки и глядя вниз, — и никто не смел подойти к нему. Затем он поднялся и вышел. В канцелярии он задержался ровно на столько, чтобы попросить принести ему дело об участке Денни.

Он застал Хэмлина и Эверая все еще сидевшими в креслах и, по-видимому, забывшими о деле. Они лениво разговаривали о летней опере, как всегда стараясь показать сверхъестественное равнодушие, когда дело касалось крупных



дел, в исходе которых они не были уверены. Весьма возможно, что они даже гордились своей выдержкой. А на этом деле они надеялись выиграть более, чем кто-либо мог представить себе. Они получили частную информацию, что не долгие, как через год, новая железная дорога перережет эту самую долину реки Чиквито и бешено подымет цену на все земельные участки будущей линии. Если бы это сбылось, то они заработали бы тридцать тысяч долларов, никак не меньше. Поэтому, легкомысленно болтая и ожидая, что управляющий первый заговорит на эту тему, они бросали по сторонам быстрые, боковые взгляды, явно обнаруживавшие все их желание получить наконец документ на владение этой прекрасной землей на Чиквито.

Клерк принес требуемые бумаги. Управляющий сел и сделал на них надпись красными чернилами. Затем он встал и простоял некоторое время, глядя прямо в окно. Земельное Управление помещалось на вершине отлогого холма. Взгляд управляющего направился поверх крыш многочисленных домов, окруженных темной зеленью и перемежающихся в шахматном порядке с полосами ослепительно белых улиц. На горизонте, куда он устремил свой пристальный взор, поднималась едва заметная, покрытая лесом возвышенность, испещренная неясными, белыми, блестящими пятнами. Это было кладбище, где лежало много забытых, но и несколько таких людей, которые не напрасно прожили свою жизнь. Здесь лежал кто-то, кто занимал очень мало места, но чье детское сердце было достаточно велико для того, чтобы при последних ударах пожелать добра людям. Губы управляющего слегка зашевелились, когда он прошептал про себя: «Это было ее последней волей и завещанием, а я так долго не приводил его в исполнение».

Большие коричневые сигары Хэмлина и Эверая давно потухли, но молодые люди все еще кусали их зубами и ждали, поражаясь отсутствующему выражению в глазах управляющего.

Но вот он заговорил, — заговорил внезапно и быстро:

— Джентльмены, я только что сделал на обороте надпись о выдаче патента на участок Элиаса Денни. Наше Управление не считает законной вашу претензию на часть этой земли. — Он на минуту замолчал, а затем, протянув руку, как в прежние милые годы люди делали это во время дебатов, он объяснил им дух своего решения, которое впо-



следствии приперло земельных акул к стене и вернуло мир и радостный покой десяткам тысяч человек.

— И, кроме того, — продолжал он, и лицо его озарилось ясным, мягким светом, — вам, может быть, будет интересно узнать, что начиная с сегодняшнего дня Управление будет руководствоваться следующим: крепости на землю, отмежеванную на основании сертификатов, пожалованных штатом людям, отвоевавшим эту землю у пустыни, получившим ее вполне законно, оставившим ее так же законно своим детям и наследникам или же законно продавшим ее честным землеробам, — такие крепости будут отныне считаться Управлением вполне действительными и правильными. Действительными и правильными они будут считаться даже в том случае, если в свое время такая земля была отмерена со значительным излишком. Управление будет настаивать лишь на одном: чтобы были какие-нибудь естественные вехи, которые видимы человеческому глазу и по которым проходят границы того или иного участка. Позвольте уверить вас, что отныне дети этого штата могут ночью спать совершенно спокойно и что никакие слухи о нарушении их прав на землю не будут тревожить их. Ибо, — закончил управляющий свои слова, — их есть царствие небесное.

Как только он замолчал, снизу из комнаты, где производилась выдача патентов, донесся смех. Человек, отнесший вниз «дело» Денни, показывал его остальным клеркам.

— Посмотрите, — с восхищением говорил он, — старик позабыл свое имя. Он написал: «Выдать патент первоначальному владельцу» и подписал: «Джорджия Семмерфильд, Управл.».

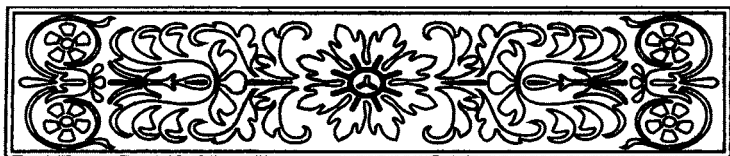
Речь управляющего легко подействовала на непроницаемых Хэмлина и Эверая. Они улыбнулись, грациозно поднялись, поговорили о бейсболе и стали горячо доказывать, что едва уловимый ветерок поднялся с востока. После этого они закурили новые толстые коричневые сигары и вежливо удалились. Но впоследствии, через высшую инстанцию, они, точно тигры, сделали еще один наскок на свою добычу. Но высшая инстанция, по сообщению газет, «холодно отжарила их» (поразительное действие, напоминающее опыты с жидким воздухом) и утвердила резолюцию управляющего.

А эта резолюция стала прецедентом; действительный поселенец вставил ее в рамку и по ней учил своих детей грамоте; и по ночам с тех пор все стали спать здоровым сном —



от сосен до кустов шалфея и от чапарраля до большой темной реки на севере.

Но я думаю (а управляющий, наверно, убежден в этом!), что независимо от того, старый ли, весь пропитанный табаком Кемпфер послужил орудием судьбы, или же извивы реки Чиквито случайно, сами по себе, образовали этот прелестный, нежный профиль, — «что-то доброе для массы, массы детей» было наконец сделано, и постановление, приведшее к этому, по всей справедливости могло быть названо «Резолюцией Джорджии».




ПЕРСПЕКТИВА

Горе человеку и художнику, у которых постоянно меняется перспектива. Первому жизнь представится в виде запутанного лабиринта разнообразных дорог; против второго восстанет весь пейзаж, который он рисует, и он сам в нем запугается. Возьмем хотя бы случай Лорисона. Временами ему казалось, что он самый слабохарактерный дурак во всем мире; иногда же он считал, что стремится к возвышенным идеалам, к восприятию которых еще не подготовлен мир. В одном настроении он проклинал себя за глупость; но когда его охватывало другое, он держал себя со спокойной величавостью, и тогда он бывал почти велик; но в том и другом случае он грешил против перспективы.

Много поколений тому назад фамилия его произносилась «Ларсен». У него был свойственный его народу чуткий меланхолический темперамент, спасительно уравновешенный трудолюбием и бережливостью.

С своей точки зрения, в которой отсутствовала перспектива, он казался себе изгнанником из общества, осужденным на вечное скитание в тени, за гранью того, что называется «миром порядочных людей», гражданином «des trois quarts du monde», этой жалкой планеты, находящейся на пол-пути между высшим светом и полусветом, жители которой завидуют и тем и другим своим соседям и испытывают на себе презрение как первых, так и вторых. Это был лишь его личный взгляд, и на основании его он сам себя осудил на изгнание и жил в этом совершенно своеобразном южном городе, отстоявшем на тысячу миль от его родных мест. Он прожил в нем уже более года, знакомясь лишь с немногими, витая в каком-то субъективном мире теней, куда подчас досадно врываются приводившие его в недоумение мелочи реальной жизни. Здесь он влюбился в девушку, с которой познакомился в дешевом ресторане; и с этого начинается рассказ о нем.




Улица Шартр в Новом Орлеане — улица призраков. Она находится в той части города, куда французы, бывшие тогда в полном расцвете сил, перенесли свою любовь к пышности и славе, где так же гордо расхаживал высокомерный дон, мечтая о золоте, королевских милостях и о перчатке своей дамы. В каждой плите виднеются углубления, вытопанные ногами людей, с княжеской беспечностью отправлявшихся на любовные или бранные подвиги. Нет дома, который не был бы погружен в величественное уныние; нет ворот, которые не говорили бы о великих надеждах и медленном падении.

Теперь улица Шартр ночью представляет собой лишь мрачное ущелье; бредущий по нему ощупью пешеход может, подняв голову, увидеть на фоне неба причудливый ажур мавританских балконов. Старинные дома французских господ все еще стоят, не тронутые столетием; но дух, живший в них, исчез.

Но в одном уголке, где помещается кафе «Карабин д'Ор», все еще смутно чувствуется биение пульса прежней славной жизни. Когда-то здесь собирались люди, чтобы составлять заговоры против королей и давать предупреждения президентам. Это делается там и до сих пор, но люди уже не те. Эти, теперешние, готовы разбежаться при виде медной пуговицы на мундире полицейского; те, прежние, пошли бы навстречу целой армии. Над дверью висит вывеска, на которой изображен огромный зверь неведомой породы. Какое-то незаметное человеческое существо прицеливается в чудовище из весьма заметного ружья, некогда раскрашенного блестящей золотой краской. Надпись над картиной так стерлась, что стала совершенно неразборчивой; что ружье имеет какое-то отношение к названию кафе, это предоставляется каждому принимать на веру; намеченная жертва, устав бесконечно находиться под прицелом охотника, расплылась в бесформенное пятно.

Заведение это известно под именем «Кафе Антонио»; об этом свидетельствует название, написанное белыми буквами по красному транспаранту и золотыми на стеклах окон.

Имя «Антонио» звучит многообещающе; оно возбуждает вполне понятную надежду на разные экзотические кушанья, приправленные прованским маслом, перцем и вином; быть может, даже с нежным, как шепот ангела, привкусом чеснока. Но вторая половина имени «О'Райли». Антонио



О'Райли! «Карабин д'Ор» — один из низко павших призраков улицы Шартр. Кафе, где обедали Бьенвиль и Конти, где некогда преломлял хлеб принц крови, превратилось теперь в «семейный ресторан».

Посетители его — все, почти без исключения, народ рабочих, как мужчины, так и женщины. Иногда вы можете встретить там хористок из дешевых театров и мужчин разных профессий, подверженных внезапным превратностям судьбы; но у Антонио — сколько обещаний звучит в этом имени, и как убого выполняется! — развязность и веселость допускаются лишь в размере, приличествующем «семейному» ресторану. Если бы вы закурили там папиросу, хозяин тотчас же тронул бы вас за плечо и напомнил бы вам, что следует соблюдать приличия. «Антонио» снаружи заманивает и притягивает вас своими горящими, как жар, буквами, а «О'Райли» внутри обучает вас уменью держать себя.

В этом-то ресторане Лорисон впервые увидел девушку. Какой-то фронт с нахальными глазами вошел вслед за ней и уже собирался занять второе место за столиком, у которого она остановилась, но Лорисон быстрым движением успел занять стул раньше. Так началось это знакомство, и вот уже два месяца, как они сидели каждый вечер за одним столом, не назначая друг другу свиданий, но встречаясь точно неожиданно, благодаря целому ряду счастливых случайностей. После обеда они шли гулять в один из небольших городских парков или же толкались среди живописной панорамы рынков — этих подмостков, всегда оживленных шумом и разнообразными зрелищами. Но в восемь часов прогулка их неизменно заканчивалась на одном и том же углу, где она милым, но твердым тоном прощалась с ним, а затем покидала его.

— Я живу недалеко отсюда, — всегда говорила она, — и вы должны оставить меня, я дойду одна.

Но вскоре Лорисон почувствовал, что ему хочется провозжать ее до конца; иначе, казалось ему, из его жизни исчезнет вся радость, и он навсегда очугится один на пустынном перекрестке. Но как только он открывал в себе это чувство, тайна его изгнания из среды порядочных людей накладывала на него свою тяжелую руку и напоминала ему о том, что этого быть не должно.

В мужчинах эгоизм так силен, что они не могут не быть также и эгоистами; если они любят, предмет их любви дол-

жен об этом узнать. Другой может всю жизнь скрывать свою тайну из чувства чести или по необходимости; но, умирая, он пролепечет ее своими устами, даже если нескромность его внесет раздор в целую округу. Впрочем, известно, что большинство мужчин не ждут так долго, чтобы открыться в своей страсти. Что касается Лорисона, его особая этика определенно запрещала ему высказывать свои чувства, но он не мог не ходить кругом да около запретной темы и не ухаживать хотя бы намеками.


В тот вечер, после обычного обеда в «Карабин д'Ор», он пошел со своей спутницей по темной старинной улице, ведшей к реке.

Улица Шартр кончается у старинной площади Плас д'Арм. Напротив нее стоит древнее здание Кабильдо, откуда градом сыпались наказания, расточаемые испанским правосудием; тень от кафедрального собора — другого призрака — падает на нее. В середине ее находится маленький, окруженный железной решеткой парк с цветами и безупречными аллеями, усыпанными гравием, где по вечерам граждане города дышат воздухом. На высоком пьедестале сидит полководец верхом на своем вздымающемся на дыбы коне, устремив свой каменный взор на реку по направлению к Инглиш Тэрн; но британцы больше не появляются оттуда, чтобы бомбардировать его тюки с хлопком.

Лорисон и его знакомая часто сидели в этом сквере, но на этот раз он повел девушку через ворота с каменными ступеньками — дальше, к реке. Пока они шли, он с улыбкой думал о том, как мало он знает о ней; ему известно только, что ее зовут Нора Гринуэ и что она живет со своим братом. Они говорили обо всем, но не о себе. Быть может, ее сдержанность была вызвана сдержанностью с его стороны.

Наконец, они достигли берега и уселись на огромном лежащем там бревне. Воздух был весь пропитан пылью бойкого торгового места. Большая река, желтая, скользила мимо. На другой стороне лежал Алжир — темная масса на дрожащем фоне электрического света, в котором сверкали звезды.

Девушка была молодая и пикантного типа; в ней чувствовалась какая-то ясная меланхолия без грусти; она обладала свежестью и немного бледной красотой, которая не могла не нравиться. Когда она начинала говорить, голос ее как-то суживал рамки всех вопросов. Это был голос, придававший многозначительность и интерес самым мелким вещам. Она



сидела свободно, уложив складки юбки легким, чисто женским движением, невозмутимая и довольная, точно грязная пристань была цветущим садом. Лорисон тыкал палкой в гниющие доски.

Он начал с того, что он влюблен в кого-то, кому он не смеет об этом сказать.

— А почему же нет? — спросила она, сразу соглашаясь на его выдумку о каком-то воображаемом третьем лице.

— Мое положение среди людей таково, — сказал он, — что я не могу просить женщину разделить его со мной. Я изгнанник из общества честных людей. Меня неправильно обвиняют в преступлении, которого я не совершил, но я, мне кажется, виновен в другом.

И затем он перешел к рассказу о том, как он отрекся от общества. Повесть эта, если отнять ее морально-философскую подкладку, заслуживает упоминания лишь мимоходом. Это повесть не новая — о постепенном падении игрока. Одну ночь он все проигрывал и затем рискнул частью денег своего хозяина, которые случайно оказались при нем. Он продолжал проигрывать, вплоть до последней ставки, а затем стал выигрывать и отошел от стола с весьма внушительной суммой. В ту же ночь сейф его хозяина был взломан. Произвели обыск и нашли в комнате у Лорисона его выигрыш, сумма которого подозрительно близко подходила к похищенной сумме. Его задержали, судили и оправдали вследствие того, что присяжные не могли прийти к единогласному решению. Репутация его запятнана. Он оправдан по недостатку улик.

— Меня тяготит, — сказал он девушке, — не ложное обвинение, но сознание, что с того момента, как я поставил на карту первый доллар из денег фирмы, я стал преступником — независимо от того, выиграл я или проиграл. Теперь вы понимаете, почему я не могу признаться ей в своей любви.

— Грустно подумать, — сказала Нора после небольшой паузы, — что есть на земле такие исключительно хорошие люди.

— Хорошие? — спросил Лорисон.

— Я думала об этой необыкновенной женщине, которую вы, по вашим словам, любите. Жалкое она существо.

— Я не понимаю...

— Почти такое же жалкое, — продолжала она, — как вы сами.



— Вы не понимаете, — сказал Лорисон, снимая шляпу и откидывая назад свои тонкие белокурые волосы. — Представьте, что она отвечает мне взаимностью и согласна выйти за меня замуж. Вообразите, если можете, чем это кончится. Не пройдет дня, чтобы что-нибудь не напомнило ей о принесенной жертве. В ее улыбке я видел бы снисхождение, в самой любви ее — жалость, и это сводило бы меня с ума. Нет, этот призрак всегда стоял бы между нами. Сходиться могут только равные. Я ни за что не мог бы унижить ее до себя.

Отблеск дугового фонаря слабо озарял лицо Лорисона. Но оно светилось еще изнутри. Девушка увидела его полный экстаза и самоотвержения взгляд; это было лицо или рыцаря без страха и упрека, или же глупца.

— Ваш недоступный ангел, — сказала она, — нечто вроде звезды. Она так высоко, что до него не доберешься.

— Мне не добраться, это правда.

Она вдруг повернулась к нему лицом.

— Добрый друг, не предпочли бы вы, чтобы ваша звезда упала?

Лорисон сделал широкий жест.


— Вы ставите меня лицом к лицу с голым фактом, — объявил он. — Вы не хотите считаться с моими доводами. Но я вам отвечу в том же духе. Если бы я мог добраться до этой моей звезды и снять ее с неба, я все-таки не сделал бы этого; но если бы она упала сама, я поднял бы ее и благодарил бы небо за это счастье.

Несколько минут они молчали. Нора вздрогнула и глубже засунула руки в карманы кофточка. Лорисон, почувствовав угрызения совести, что-то воскликнул.

— Мне не холодно, — сказала она. — Я просто задумалась. Мне следовало бы сказать вам одну вещь. Странную вы себе выбрали поверенную для ваших тайн. Но не можете же вы ожидать, чтобы случайная знакомая, подобранная в каком-то подозрительном ресторане, оказалась ангелом.

— Нора! — воскликнул Лорисон.

— Дайте мне кончить. Вы мне рассказали про себя. Мы с вами стали добрыми друзьями. Я должна рассказать вам теперь то, что я хотела от вас скрыть. Я... хуже вас... я была на сцене... пела в хоре... и не очень-то хорошо себя вела... я украла бриллианты примадонны... меня арестовали, я вернула



большую часть, и меня отпустили... Каждую ночь я пила... много пила... я была очень скверная, но...

Лорисон мгновенно опустился на колени рядом с ней.

— Дорогая Нора! — с безумным восторгом сказал он. — Вас, вас я люблю. Вы так и не угадали этого, не правда ли? Ведь я про вас все время говорил. Теперь я могу говорить. Дайте мне помочь вам забыть прошлое. Мы оба страдали; уйдем от мира и будем жить друг для друга. Нора... Слышите ли вы? Я говорю вам, что люблю вас.

— Несмотря на...

— Скорее — поэтому. Мы вышли из всех испытаний благородными и хорошими. У вас сердце ангела. Отдайте мне его.

— А недавно еще вы так боялись за будущее, что не хотели даже говорить?

— Только за вас, не за себя. Можете ли вы полюбить меня?

Она кинулась к нему на грудь, безумно рыдая.

— Больше жизни... больше самой истины... больше всего!

— А мое собственное прошлое? — сказал Лорисон, и в голосе его звучала заботливость о ней. — Можете ли вы простить и?..

— Я уже ответила вам на это, — шепнула она, — когда сказала вам, что люблю вас. — Она отодвинулась и задумчиво посмотрела на него.

— Если бы я вам не сказала про себя, вы бы... вы бы не?..

— Да, — перебил он ее, — я никогда не сознался бы вам, что люблю вас. Я никогда не спросил бы вас: Нора, согласны ли вы быть моей женой?

Она опять зарыдала.

— О, поверьте мне! Я теперь стала лучше, я уже больше не такая скверная. Я буду самой верной женой в мире. Не думайте... что я все еще дрянная. Если вы это подумаете, я умру... я умру.

Он стал утешать ее, и она вдруг повеселела и пылко, стремительно объявила:

— Согласны ли вы сегодня же жениться на мне? Можете ли вы таким образом доказать, что говорите правду? У меня есть причины желать, чтобы это было именно сегодня. Вы согласны?

Эта необычайная откровенность могла вызываться лишь двумя причинами: или это была наглая навязчивость, или же полнейшая невинность. Но в перспективе влюбленного умещалось лишь второе предположение.



— Чем скорее, тем я буду счастливее.

— Что же нужно сделать? — спросила она. — Какие бумаги нужно достать? Пойдем. Вы должны знать.

Ее энергия побуждала мечтателя действовать.

— Сначала надо посмотреть во «Всемирном Орлеане!» — весело воскликнул он. — Надо найти, где живет этот человек, который выдает разрешения на счастье. Поедем вместе! Все должно прийти нам на помощь — извозчики, трамвай, полиция, телефоны и духовенство.

— Нас обвенчает патер Роган, — с жаром сказала девушка. — Я поведу вас к нему.

Час спустя оба стояли перед открытыми дверями громадного, мрачного кирпичного здания на узкой и пустынной улице. Нора крепко сжимала в руке разрешение на заключение брака.

— Подождите здесь минутку, — сказала она, — пока я отыщу патера Рогана.


Она скрылась в темном коридоре, а влюбленный остался на улице в ожидании. Но терпение его испытывалось не слишком долго. Взглянув с любопытством в темный коридор, казавшийся преддверием к Эребу, он вскоре успокоился, увидев в глубине его луч света, прорезавший мрак. Вслед за этим она позвала его, и он кинулся, как мотылек на свет лампы. Нора стояла в дверях и, поманив его пальцем, ввела в комнату, откуда исходил свет. В этой комнате не было почти ничего, кроме книг, заполнявших все это пространство. Лишь кое-где были свободные места, отвоеванные у них. У стола стоял пожилой лысый человек, со спокойным, далеким взглядом; он держал в руках книгу, заложив пальцем страницу. Одежда его была темного цвета и свидетельствовала о его принадлежности к духовенству. По глазам его было видно, что он никогда не ошибается в перспективе.

— Патер Роган, — сказала Нора, — вот он.

— Что же, — сказал патер Роган, — вы оба согласны обвенчаться?

Они не стали отрицать. Он обвенчал их. Обряд был совершен быстро. Всякий, кто присутствовал бы при нем, понимая всю важность его, задрожал бы при мысли о несоответствии этой простоты с многозначительностью бесконечной цепи последствий.

После этого священник кратко, словно по затверженному, объяснил им некоторые гражданские и юридические



формальности, которыми должен быть впоследствии завершен обряд. Лорисон протянул священнику гонорар, но тот от него отказался, и не успела дверь закрыться за удаляющейся четой, как книга патера Рогана уже открылась опять на заложенной пальцем странице.

В темном проходе Нора быстро обернулась и обняла своего спутника.

— И ты никогда, никогда не будешь раскаиваться?

Он успокоил ее.

Когда они вышли на улицу и дошли до первого фонаря, Нора спросила, который час, — совершенно так же, как она это делала каждый вечер. Лорисон взглянул на часы. Была половина девятого.

Лорисон думал, что она только по привычке повела его к перекрестку, где они всегда расставались. Но когда они дошли до него, она остановилась в нерешительности и затем выпустила его руку. На углу находился аптекарский магазин; яркий, мягкий свет из его окон озарял их.

— Прошу тебя, расстанемся сегодня здесь, как всегда, — кротко попросила Нора. — Я должна... я предпочла бы, чтобы ты... Ты ничего не имеешь против? Завтра, в шесть, я встречу с тобой у Антонио. Я хочу еще раз посидеть там с тобой. А затем — я пойду, куда ты мне скажешь. — Она улыбнулась ему очаровательной, ясной улыбкой и быстро пошла прочь.

Несомненно, нужна была вся сила ее очарования, чтобы заставить его помириться с таким необычным поведением. И у более сильного, чем Лорисон, человека голова пошла бы кругом. Он сунул руки в карманы, растерянно подошел к окну аптекарского магазина и начал добросовестно изучать названия всех патентованных средств, выставленных в нем. Немного придя в себя, он пошел бесцельно бродить по улицам. Пройдя два или три квартала, он очутился на другой, более бойкой улице, по которой он часто ходил во время своих одиноких скитаний. Здесь находился целый ряд магазинов, представлявших огромный выбор самых разнообразных предметов: произведения искусства, все продукты человеческого мастерства и фантазии, все, что дает природа и труд, — все это привозилось сюда из разных стран.

Здесь он некоторое время бродил, останавливаясь у наиболее выдающихся витрин, где помещались, залитые потоками яркого света, самые любопытные из товаров каждого




магазина. Прохожих было немного, и Лорисон был рад этому. Он был теперь не от мира сего. Долгое время он соприкасался с людьми, как зубчатое колесо, только под прямым углом, в разных плоскостях. Он вращался по совершенно иной орбите. Его несчастье подействовало на него, как действует на одну механическую игрушку — так называемый музыкальный волчок — удар по кончику его оси: если хлопнуть по нему, пока он вертится, он почти не замедляет движения, но тотчас же издает совершенно иную ноту, в другом тоне.

Гуляя по тихому проспекту, Лорисон чувствовал в себе поразительное, неестественное спокойствие при необычайной ясности мысли. Задумавшись над недавними событиями, он старался убедить себя, что бесконечно счастлив, получив в жены ту, которую так страстно жаждал; но вместе с тем он сам смутно удивлялся, что не испытывает более сильного возбуждения. Ее странное поведение, когда она покинула его в самый вечер свадьбы без уважительной причины, возбуждало в нем лишь неясное, задумчивое любопытство. Потом он начал вспоминать, равнодушно и невозмутимо, все обстоятельства ее богатой приключениями, жизни. Прежняя точка зрения его — вся, так сказать, перспективы — как-то странно сдвинулась в сторону.

Он остановился где-то на углу, у окна магазина. Вдруг до слуха его достиг какой-то все возраставший шум и движение. Он прижался к окну, чтобы дать дорогу причине всей этой суматохи — целой процессии людей, которая повернула за угол и направлялась к нему. Он заметил что-то ярко-голубое, что-то медное, блеснувшее рядом с центральной фигурой, одетой в сверкающий белизной и серебром костюм, и следовавшую позади свиту из темных, оборванных, раскачивавшихся теней.

Два рослых полисмена шли по бокам женщины, одетой точно для сцены, в короткую белую атласную юбку, доходившую ей до колен, в розовые чулки и нечто вроде лифа без рукавов, с ярко горевшей, похожей на панцирь, чешуей. На ее курчавой, белокурой голове был залихватски надет набекрень, блестящий шлем из жести. Сразу было видно, что это костюм театральный. Один из полицейских нес на руке длинный плащ, который, несомненно, был захвачен с целью прикрыть довольно откровенно выставленные напоказ прелести лучезарной пленницы; однако это намере-



ние по каким-то причинам не было приведено в исполнение, к шумной радости всего хвоста процессии.

Внезапным сильным движением женщина заставила все шествие остановиться у окна, около которого стоял Лорисон. Он увидел, что она молода; на первый, обманчивый, взгляд она казалась хорошенькой, но эта красота была поддельная и пропадала при более внимательном разглядывании. Во взгляде ее были наглость и бесшабашность, а на лицо ее, еще не утратившее юношеской округлости, бессонные ночи, эти фельдъегери надвигающейся старости, уже наложили свою печать.

Молодая женщина остановила свой смелый взгляд на Лорисоне и начала взывать к нему тоном невинно пострадавшей героини, попавшей в затруднительное положение:

— Послушайте-ка. Вы, видно, человек добрый: пойдемте, дайте поручительство за меня, хорошо? Я ничего такого не сделала, за что бы меня сажать. Все это только недоразумение. Посмотрите, как они со мной обращаются. Вы не пожалеете, если поможете мне выпутаться. Подумайте, что бы вы сказали, если бы потащили так по улице вашу сестру или девушку, которую вы любите! Послушайте, пойдемте, сделайте доброе дело.

Вероятно, на лице Лорисона мелькнуло, несмотря на хотя и трогательную, но малоубедительную просьбу, нечто вроде сочувствия, ибо один из полицейских, отойдя от женщины, приблизился к нему.

— Это правильно, сэр, — сказал он хрипло, понижая голос до конфиденциального тона, — ее правильно арестовали. Мы арестовали ее в театре «Грин Лайт», после первого акта, — был приказ по телеграфу от начальника чикагской полиции. До участка всего квартала два. Платье-то у нее не того, но она отказалась переодеться, или, вернее, — полицейский улыбнулся, — одеться. Я решил объяснить вам, в чем дело, чтобы вы не подумали, что тут что-то неладно.

— В чем она обвиняется? — спросил Лорисон.

— Крупная кража. Брильянты. Муж ее — ювелир в Чикаго. Она обчистила у него целую витрину камней и сбежала с опереточной группой.

Полицейский, заметивший, что весь интерес группы зрителей сосредоточился теперь на нем и на Лорисоне, — все думали, что разговор их может повести к новым осложнениям, — закончил кратким комментарием философского характера.



— Таким господам, как вы, сэр, — любезно продолжал он, — трудно это заметить, но мне по роду службы часто приходится наблюдать, какие осложнения может создать эта комбинация — я говорю о сцене, брильянтах и легкомысленных женщинах, которых не удовлетворяет честная жизнь в семье. Право, сэр, в нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бабьем.


И полицейский, с улыбкой пожелав Лорисону спокойной ночи, вернулся к арестованной женщине; та в течение всего разговора внимательно наблюдала за выражением лица Лорисона, без сомнения, стараясь уловить на нем признак желания прийти ей на помощь. Теперь, увидев, что она обманулась, и почувствовав, что ей придется продолжать позорное шествие, она бросила всякую надежду на него и резко на него напала:

— Вишь, обманщик поганый, бледная рожа! Хотел помочь мне и дал фараону уговорить себя. Нечего сказать, хорош гусь! Будет у тебя когда-нибудь своя девушка, здорово ей будет житься. Вывернет она тебя наизнанку, как старую перчатку, так что ты правого от левого не отличишь. Уж она тебя обработает! Ха-ха-ха!

Она закончила тираду насмешливым, резким хохотом, от которого Лорисона резнуло, точно ножом. Полицейский потащил ее вперед; восхищенная свита зевак двинулась в арьергарде, а пленная амазонка, примирившись со своей судьбой, включила в круг своих проклятий всех своих провожатых, стараясь не обойти никого из тех, кто только мог слышать ее.

Но тут с Лорисоном произошла странная перемена: перспектива вокруг него радикально изменилась. Быть может, этот переворот давно назревал в нем, и то ненормальное душевное состояние, в котором он так долго находился, уже собиралось дать реакцию в обратную сторону; во всяком случае, нет сомнения, что события последних минут дали направление этому душевному перевороту, а может быть, даже и послужили толчком к нему.

Первоначальное решающее влияние оказала сушая мелочь — тот факт, что к нему подошел полицейский, и тон, которым он говорил. Этот человек своим обращением вновь поставил изгнанника на принадлежащее ему в обществе место. В мгновение ока Лорисон превратился из несколько двусмысленного бродяги, разгуливавшего по окра-



инам мира порядочности, в честного джентльмена, с которым даже блюстителю закона было лестно обменяться приветствиями.

Это сознание впервые рассеяло наваждение, и в Лорисоне заговорило желание вернуться в среду себе подобных и наслаждаться наградой добродетельных. К чему, спрашивал он себя, было все это его чрезмерное самоосуждение, это самоотречение, эта чрезмерная нравственная щепетильность, заставившая его отказаться от всего, что принадлежало ему в жизни по праву, да и по заслугам? Юридически он был чист; единственное преступление его было совершено, скорее, в мыслях, чем на деле, и ни один человек не знал о нем. Ради каких нравственных благ, ради удовлетворения какого чувства скитался он теперь, прячась, как еж от собственной тени, по этой стране богемы, где даже и живописности-то не было?

Но чувствительнее всего был удар, нанесенный ему пленной амазонкой; он доводил его до бешенства. Ведь не прошло трех часов с тех пор, как он связал себя узами брака с двойником этой необычайной воительницы — с женщиной, во всяком случае, шедшей когда-то по одной дороге с ней и, по ее собственному признанию, павшей так же низко. Каким желательным и естественным казался ему тогда этот брак — и каким чудовищным казался он теперь. Как ясно звенели у него в ушах слова воровки брильянтов номер второй: «Будет у тебя своя девушка, здорово ей будет житься!» Что это могло означать, как не то, что женщина инстинктивно признавала в нем человека, которого легко околпачить? А вслед за этим прозвучало мудрое изречение полицейского, еще увеличившее его пытку: «В нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бабьем». О да, он до сих пор был глупцом; он глядел на все с неправильной точки зрения.

Но хуже всего, среди этой бури, разразившейся у него в душе, были терзания ревности, от которых у него точно поворачивался нож в сердце. Теперь, во всяком случае, он узнал эту муку, самую страшную из всех: всевозрастающую любовь, отданную недостойной женщине. Какова бы она ни была, он все-таки любил ее; он носил свой приговор в собственном сердце. Вдруг его точно кольнула мысль о том, сколько, в сущности, комизма в его приключении, и он рассмехался злобным хохотом и быстрее зашагал по звонким



плитам тротуара. Его охватило неудержимое желание действовать, бороться с судьбой. Он остановился, топнул ногой и вдруг с торжеством хлопнул одной ладонью о другую. Его жена была... где же? Но у него в руках все же было нечто вещественное — конец нити; он видел узкий просвет между скалами, через который ему, быть может, удастся провести уже потерпевший крушение корабль брачной жизни до безопасной пристани: ведь он мог обратиться к священнику.

Лорисон, как все люди с развитым воображением и неустойчивым характером, способен был, когда что-нибудь сильно возбуждало его, на бурную стремительность. Полный ярого, упрямого возмущения, он вернулся на улицу, пересекающую ту, по которой он шел. Быстро направился он по этой улице к перекрестку, где он расстался — судорога почти исказила его лицо при этой мысли — ...с своей женой. Оттуда он продолжал следовать обратно по прежнему пути, ориентируясь в незнакомой ему местности посредством обострившейся вдруг памяти, чтобы отыскать дорогу, по которой они шли после этой нелепой свадьбы. Он не раз ошибался, но, точно нюхом, опять находил путь и с бешенством мчался дальше.


Наконец, когда он достиг темного, зловещего здания, где его безумие было увенчано, и нашел темный проход, он ринулся вдоль него, но нигде не заметил ни света, ни шума. Тогда он возвысил голос и начал громко звать, забыв обо всем, кроме жажды найти виновника своих мучений — старика с устремленным вдаль взором, не ведавшим беды, которую он на него наслал. Открылась дверь, и в полосе света показался патер Роган с книгой в руках, в которой он заложил пальцем страницу.

— Ага! — крикнул Лорисон. — Вы тот, кого я ищу. Несколько часов назад я получил из ваших рук жену. Я не стал бы беспокоить вас, но я не обратил тогда внимания на все подробности обряда. Не будете ли вы так добры разъяснить мне, поправимо ли еще дело или нет?

— Войдите в комнату, — сказал священник, — здесь есть еще жильцы, и они, быть может, предпочитают сон даже интересному зрелищу.

Лорисон вошел в комнату и сел на указанный ему стул. Во взгляде священника он прочел вежливый вопрос.

— Еще раз прошу извинить меня, — сказал молодой человек, — за то, что я надоедаю вам со своей семейной неуря-



дицей, но так как моя жена не потрудилась дать мне свой адрес, я не могу прибегнуть к законному выходу и устроить супружескую сцену.

— Я человек очень простой, — добродушно сказал патер Роган, — но я, право, не знаю, как мне спросить вас... в чем, собственно, дело?

— Простите меня, что я не прямо разъясню вам все, — сказал Лорисон. — Я сам хочу спросить у вас одну вещь. Сегодня в этой комнате вы обвенчали меня. Затем вы говорили о каких-то добавочных обрядах или формальностях, которые не то можно, не то нужно еще совершить. Я тогда мало обратил внимания на ваши слова... но безвозвратно ли я связал себя этим браком или нет?

— Ваш брак так же законен и нерасторжим, — сказал священник, — как если бы он был совершен в соборе, в присутствии тысячи человек. Те добавочные формальности, о которых я упоминал, не являются необходимыми для придания законности обряду; я советовал соблюсти их лишь для того, чтобы вы могли оградить себя в будущем — чтобы иметь доказательства в случае спора о духовном завещании, наследстве и тому подобном.

Лорисон разразился резким хохотом.

— Покорнейше благодарю вас, — сказал он. — Итак, сомнений нет, я — счастливый новобрачный. Мне, очевидно, остается только пойти и встать на моем свадебном перекрестке. А когда моей жене надоест таскаться по улицам, она придет ко мне.

Патер Роган спокойно взглянул на него.

— Сын мой, — сказал он, — когда ко мне приходят мужчина и женщина с просьбой обвенчать их, я их всегда венчаю. Я делаю это ради других людей, с которыми они могли бы обвенчаться, если бы им не удалось повенчаться друг с другом. Вы видите, я не любопытствую и не расспрашиваю вас, но ваш случай мне кажется не лишенным интереса. Очень немногие из браков, которые мне удалось наблюдать, так быстро влекли за собой столь сильно выраженное раскаяние. Я рискну предложить вам один вопрос: не казалось ли вам, когда вы пришли венчаться, что вы любите женщину, на которой вы женились?

— Люблю ли я ее? — диким голосом крикнул Лорисон. — Да я никогда не любил ее больше, чем сейчас, хотя она и призналась мне, что она обманывала, что она была преступ-



ницей и воровкой. Никогда я не любил ее сильнее, чем сейчас, когда она, быть может, смеется над дураком, которого она околпачила и которого покинула без единого слова объяснения, чтобы вернуться к неизвестно какому из ее прежних позорных занятий.

Патер Роган ничего не ответил. Наступило молчание, во время которого он сидел неподвижно, мельком взглядывая на Лорисона своими умными глазами.

— Если бы вы согласились выслушать... — начал Лорисон. Священник поднял руку вверх.

— Я на это надеялся, — сказал он. — Я думал, что вы решитесь довериться мне. Подождите только одну секунду.

Он принес длинную глиняную трубку и закурил ее.

— Говорите, сын мой, — сказал он.

Лорисон излил перед отцом Роганом все накопившееся у него на душе за целый год. Он рассказал все, выдавая себя и не умалчивая ни о каких обстоятельствах из своего прошлого; он упомянул и о событиях этого вечера, и о своих предположениях, тревогах и опасениях.

— Самое существенное в этом, по-моему, вот что, — сказал священник, когда он кончил, — вполне ли вы уверены в том, что любите эту женщину, на которой вы женились?


— Да разве я могу это отрицать? — воскликнул Лорисон, стремительно вскочив с места. — Но посмотрите на меня! Кто я — человек из плоти или рыба? Для меня, уверяю вас, вот что самое существенное.

— Я понимаю вас, — сказал священник, также вставая и кладя на стол трубку. — Состояние, в котором вы находились, могло бы сломить и более старого человека, чем вы. Я постараюсь избавить вас от него и не позже, как сегодня же вечером. Вы сами увидите, на что вы себя обрекли и каким образом вы, быть может, сумеете выпутаться. Нет доказательства лучше очевидности.

Патер Роган надел мягкую черную шляпу. Застегнув свой стюртук на все пуговицы, он взялся за ручку двери.

— Мы пойдем пешком, — сказал он.

Оба вышли на улицу. Они шли по нищенской местности, где с обеих сторон высились покосившиеся и нежилые на вид дома. Вскоре они свернули в менее мрачную боковую улицу, где дома были меньше, и хотя они говорили лишь о самом первобытном комфорте, однако они не носили от-



печатка скученности и нищеты, как на главных и более густо населенных улицах.

У дверей отдельно стоявшего двухэтажного домика патер Роган остановился; он поднялся по ступенькам крыльца с уверенностью частого посетителя. Он ввел Лорисона в узкий коридор, еле освещенный висючей лампой, покрытой паутиной. Почти тотчас же открылась дверь справа, и грязная ирландка просунула голову.

— Добрый вечер, миссис Гихан, — сказал священник. — Не можете ли вы мне сказать, что Нора, ушла опять на всю ночь?

— Ах, это вы, ваше преподобие? Конечно, я могу вам все сказать. Голубушка ушла, как всегда, только немножко попозже. И она мне говорит: «Тетка Гихан», — говорит она, — это последняя ночь, что я ухожу, слава всем святым, — самая последняя ночь». И какое на этот раз у нее было платье, ваше преподобие, — чистая мечта. Все из белого атласа и шелка, и лент, и с кружевом у ворота и на рукавах... Просто грех, ваше преподобие, тратить столько золота на такие вещи.

Священник услышал, как у Лорисона захватило дыхание, и его резко очерченные губы сложились в еле заметную улыбку.

— В таком случае, миссис Гихан, — сказал он, — я поднимусь наверх и немного поговорю с малышом; этот господин пойдет со мной.

— Он не спит, — сказала женщина. — Я только что ушла от него — целый час просидела и все рассказывала ему всякие чудесные истории про милую нашу Ирландию. А уж как жадно он меня слушает, ваше преподобие, — прямо страх.

— Еще бы! — сказал патер Роган. — Покачайте его в люльку, так и то не так скоро уснет, как от ваших сказок.

Женщина шумно запротестовала против этой шутки, а оба гостя под звук ее болтовни начали взбираться по крутой лестнице. Почти на самом верху ее священник толкнул дверь одной из комнат.

— Ты уже вернулась, сестричка? — певуче прозвучал нежный детский голосок.

— Нет, голубчик, это старый патер Денни зашел тебя навестить; посмотри, какого важного господина я к тебе привел, — он к тебе с визитом явился. А ты нас принимаешь в кровати. Это, по-твоему, вежливостью называется?



— Ах, так это вы, отец Денни? Как я рад! Зажгите лампу, пожалуйста, она вон там на столе, рядом с дверью.

Священник зажег лампу, и Лорисон увидел маленького мальчика с шапкой спутанных волос, с худеньким нежным личиком; он сидел на кровати в углу комнаты. Быстрым взглядом Лорисон оглядел комнату и обстановку ее. В ней заметен был известный комфорт, а в стараниях ее украсить, несомненно, проглядывал разборчивый вкус женщины. Сквозь открытую дверь виднелась смежная, совсем темная, комната.

Мальчик схватил патера Рогана за обе руки.

— Я так рад, что вы здесь, — сказал он, — но почему вы пришли ночью? Сестра, что ли, вас прислала?

— Проваливай ты. Да ты что думаешь, что меня, в мои годы, так-таки можно посылать туда да сюда? Я пришел по собственному почину.

Лорисон тоже приблизился к кровати ребенка; он любил детей, и вид этого малыша, который спал один в этой темной комнате, тронул его сердце.


— А ты не боишься тут один, детка? — спросил он, наклоняясь к нему.

— Иногда, — ответил мальчик, робко улыбаясь, — когда крысы уж очень разойдутся. Но каждый почти вечер, когда моя сестра уходит, тетка Гихан сидит со мной часок и рассказывает мне смешные сказки. Я не так часто боюсь, сэр.

— Этот храбрый молодой человек, — сказал патер Роган, — мой ученик. Каждый день от половины седьмого до половины девятого — когда за ним заходит сестра — он сидит у меня в кабинете, и мы с ним узнаем, о чем говорится в книгах. Он уже знает умножение, деление и дроби и все пристает ко мне, чтобы нам приняться за ирландские хроники.

Лорисон никак не мог — даже если бы от этого зависела вся его жизнь — предложить ребенку хотя бы один из тех важнейших вопросов, которые кружились у него в голове и до сих пор оставались без ответа. Малыш был очень похож на Нору: у него были такие же блестящие волосы и правдивые глаза

— Ах, патер Денни! — вдруг воскликнул мальчик — А я ведь забыл вам сказать. Моя сестричка больше не будет уходить по ночам. Она мне это сказала сегодня, когда поцеловала меня на прощанье, как всегда, перед уходом. А потом она сказала, что так счастлива, а сама заплакала. Правда, как это странно? Но я очень рад, а вы?



— Я тоже, мальчик. Ну а теперь, проказник, спи — и протистись с нами, нам нужно идти.

— А что сделать раньше, патер Денни?

— Ишь ты! Опять ведь поймал меня. Ну, ладно, дайте мне срок, а уж как только я познакомлю этого разбойника с аналами Тагеруха-гагиографа, так прямо заморю его гэльским языком, чтобы научить его почтительности.

Свет потух, и тонкий голосок из темной комнаты мужественно пожелал им спокойной ночи. Они ощупью спустились вниз по лестнице и быстро вышли, спасаясь от болтовни тетки Гихан.

Опять священник повел Лорисона по темным улицам, но на этот раз он взял другое направление. Он шел спокойно, молча, и Лорисон, стараясь следовать его примеру, заговаривал лишь изредка. Спокойным же он быть не мог. Сердце его так колотилось в груди, что он задыхался. Ему чудилось, что это зловещее путешествие вслепую по следам любимой им женщины должно закончиться открытием какой-нибудь унижительной тайны.

Они вышли на более бойкую улицу, где днем, очевидно, шла оживленная торговля. Опять священник остановился, — на этот раз перед высоким зданием; тяжелые двери и окна нижнего этажа были закрыты ставнями и заперты на засов. Верхние окна были темны, кроме окон третьего этажа, ярко освещенных. До слуха Лорисона донеслось приятное отдаленное ритмическое жужжание, точно наверху играла музыка. Оба спутника стояли около угла здания. По ближайшему фасаду вилась вверх железная лестница. За верхней площадкой ее виднелся в стене светлый четырехугольник. Патер Роган остановился и погрузился в размышления.

— Я все-таки скажу одно, — задумчиво проговорил он, — я считаю вас более хорошим человеком, чем вы сами считаете себя, вы лучше, чем мне казалось несколько часов назад. Но не воображайте, — с улыбкой добавил он, — что это большая похвала. Я обещал вам возможное избавление от мучительного затруднения. Мне придется внести поправку в мое обещание. Я могу только раскрыть вам тайну, которая увеличивала мучительность этого затруднения. Избавиться же от него — зависит от вас самих. Пойдем.

Он повел своего спутника вверх по лестнице. Когда они дошли до половины ее, Лорисон схватил священника за рукав.



— Помните! — задыхаясь, проговорил он. — Я люблю эту женщину.

— Вы хотели знать.

— Я! Идем дальше.

Священник ступил на верхнюю площадку. Лорисон, стоя позади него, увидел, что освещенный четырехугольник не что иное, как верхняя стеклянная часть двери, ведущей в залитую огнями комнату. По мере приближения к ней, ритмическая музыка усиливалась; даже лестница дрожала от вибраций.

Лорисон затаил дыхание, когда поставил ногу на последнюю ступеньку; священник отошел в сторону и знаком показал ему, чтобы он посмотрел сквозь стеклянную дверь.


Глаза его, привыкшие к темноте, сначала были ослеплены ярким светом, но затем он начал различать фигуры и лица множества людей, бродивших посреди целой выставки роскошных платьев, тонких кружев, разноцветных украшений, лент, шелка и прозрачных тканей. И вдруг он понял, отчего происходило это громкое жужжание, и увидел усталое, бледное, счастливое лицо своей жены; она склонилась, как и множество других женщин, над швейной машиной и работала, работала без усталости. Так вот в чем заключалось то безумие, которому она предавалась? Вот где была разгадка тайны!

Разгадка тайны, но не избавление от мук, хотя его тут же охватило раскаяние. Его пристыженная подозрительность еще раз взмахнула крыльями, раньше чем исчезнуть и уступить место другим, более возвышенным чувствам. Ибо точно для того, чтобы умерить радость, от которой он весь дрожал, блеск атласа и сверкающие украшения напомнили ему усыпанную блестками фигуру амазонки-воительницы, внесшей тревогу в его душу; вспомнился ему и рассказ о театре и об украденных брильянтах. Любовь пересилила у Лорисона нравственную щепетильность. Он даже шагнул и протянул руку к ручке двери. Но патер Роган еще более быстрым движением остановил его и оттащил прочь.

— Вы странно злоупотребляете моим доверием, — строгим тоном сказал священник. — Что вы хотите сделать?

— Я иду к моей жене, — сказал Лорисон. — Пустите меня.

— Послушайте, — сказал священник, с силой удерживая его за руку. — Я сейчас сообщу вам, хотя вы еще недостойны это узнать. Не думаю, чтобы вы вообще когда-либо заслужи-



ли это, но об этом говорить не стоит. Здесь, в этой комнате, вы видите ту женщину, на которой вы женились; она зарабатывает на насущный хлеб себе и на всевозможные удобства для своего брата, которого она обожает. Это здание — главная костюмерная мастерская в городе. Вот уже несколько месяцев, как благодаря множеству заказов на костюмы для наступающих празднеств карнавала работа здесь идет и день и ночь. Я сам устроил сюда Нору. Она шьет здесь каждую ночь от девяти часов до утра, а кроме того, уносит с собой на дом более сложные костюмы, требующие более тонкой работы. Каким-то образом случилось, что каждый из вас оставался в странном неведении относительно образа жизни другого. Убедились ли вы теперь, что ваша жена не таскается по улицам?

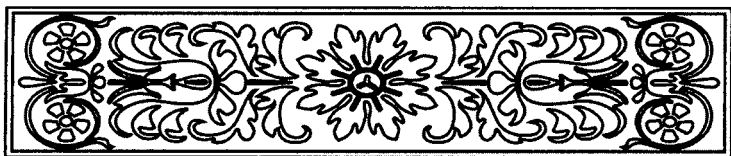
— Пустите меня к ней! — воскликнул Лорисон, опять борясь со священником. — Дайте мне вымолить у нее прощение.

— Сын мой, — сказал священник — разве вы считаете, что ничем мне не обязаны? Успокойтесь. Как часто драгоценнейшие дары небес попадают в руки, которые сами не умеют их удержать. Слушайте дальше. Вы забываете, что раскаявшийся грешник не должен унижать до себя чистое и добродетельное существо, а, наоборот, сам должен стремиться возвыситься до него и тем искупить свой грех. Вы пришли к ней с хитросплетениями и софизмами о том, что двое людей могут найти успокоение в сознании своей взаимной преступности; а она, боясь утратить то, чего так жаждало ее сердце, решила, что оно стоит той дорогой цены, которую она заплатила, — ее вызванной отчаянием чистой, возвышенной лжи. Я знаю ее со дня рождения: она чиста и непорочна и словом и делом, как святая. Она родилась там, на этой жалкой улице, где она и сейчас живет; там она прожила всю жизнь, каждый день великодушно принося жертвы ради других. Эх вы, бездельник! — продолжал патер Роган, с добродушным гневом грозя пальцем Лорисону. — Стоите ли вы того, чтобы она такие глупости из-за вас делала и брала бы грех на свою непорочную душу из-за вас.

— Сэр, — сказал Лорисон, весь дрожа, — называйте меня как хотите. Вы, конечно, не можете не сомневаться во мне, но вы увидите, что я сумею доказать вам мою благодарность, а ей — мою преданность. Но позвольте мне сейчас сказать ей хоть одно слово, дайте мне хоть на мгновение опуститься перед ней на колени и...



— Тише, тише! — сказал священник. — Как вы думаете, в состоянии ли такой старый, как я, человек, вечно погруженный в свои книги, присутствовать при стольких сценах из любовной драмы? А кроме того, поймите же, за кого нас могут принять, если увидят, как мы тут стоим и подглядываем ночью тайны изготовления дамских платьев? Приходите завтра на свидание с вашей женой, как она вам приказала, и впредь всегда слушайтесь ее, и тогда, быть может, мне как-нибудь простится мое участие в делах сегодняшней ночи. Ну а теперь марш вниз! Уже поздно, пора мне, старику, и на покой.



МАДАМ БО-ПИП НА РАНЧО

У крошки Бо-Пип голосок охрип —
Разбежались ее овечки.
Не надо их звать: все вернутся опять,
Хвосты завернув в колечки.

Сказки Матушки-Гусыни

— Тетя Эллен, — весело сказала Октавия, метко швырнув черными лайковыми перчатками в важного персидского кота на подоконнике. — Я — нищая.

— Ты так любишь преувеличивать, дорогая Октавия, — мягко заметила тетя Эллен, опуская газету. — Если у тебя сейчас нет мелочи на конфеты, поищи мой кошелек в ящике письменного стола.

Октавия Бопри сняла шляпу и, обняв руками колени, уселась на низенькой скамеечке рядом с креслом своей тетки. Но и в этом неудобном положении ее тонкая, гибкая фигура, облаченная в модный траурный костюм, не потеряла своей грациозности. Октавия тщетно пыталась придать требуемую обстоятельствами серьезность своему юному, оживленному лицу и сверкающим, жизнерадостным глазам.

— Тетя, милая, дело не в конфетах. Это самая настоящая, ничем не прикрытая скучная нищета: меня ждут платья в рассрочку, чищенные бензином перчатки и, может быть, обеды в час дня. Я только что от моего поверенного, тетя, и: «Подайте, сударыня, бедной обездоленной! Цветы, мадам? Бутоньерку, сударь? Карандаши, сэр, три штуки пять центов — помогите бедной вдове!» Хорошо у меня получается, тетечка? Или я напрасно брала уроки декламации и мое ораторское искусство не поможет мне снискать хлеб насущный?

— Постарайся хоть минуту быть серьезной, дорогая, — сказала тетя Эллен, роняя газету на пол, — и объясни мне, что это значит. Состояние полковника Бопри...

— Состояние полковника Бопри, — прервала Октавия, сопровождая свои слова надлежащим драматическим жестом, — солидно, как воздушный замок. Недвижимость полковника Бопри — ветер, акции полковника Бопри — вода, прибыли полковника Бопри — выбыли. Данной речи не хватает юридических терминов, которые мне только что пришлось выслушивать в течение часа, но в переводе они означают именно это.

— Октавия! — Было заметно, что тетя Эллен обеспокоена. — Я не могу поверить. Он производил впечатление миллионера. И ведь его представили сами де Пейстеры!

Октавия рассмеялась, затем обрела надлежащую серьезность.

— De mortuis nil ¹, тетя, даже и конца поговорки. Милейший полковник — какой подделкой он оказался! Свои обязательства я выполнила честно — вот я вся здесь. Статьи: глаза, пальцы, ногти, молодость, старинный род, завидные светские связи, — что и требовалось по контракту. Никаких дугих акций. — Октавия подняла с полу газету. — Но я не собираюсь «хныкать» — так, кажется, называются жалобы на судьбу, когда игра проиграна? — Она спокойно переворачивала страницы газеты. — «Курс акций» — не нужно. «Светские новости» — с этим кончено. Вот моя страница: «Спрос и предложение труда». Посмотрим «предложение». Разве Ван-Дрессеры могут «просить»? Горничные, кухарки, продащицы, стенографистки...

— Дорогая, — голос тети Эллен дрогнул, — не говори так, прошу тебя. Даже если твои дела в столь плачевном состоянии, остаются мои три тысячи...

Октавия вскочила и запечатлела звонкий поцелуй на нежной восковой щеке чопорной старой девы.

— Тетя, душечка, ваших трех тысяч хватает только на ваш любимый китайский чай и на стерилизованные сливки для кота. Я знаю, что вы будете рады помочь мне, но я предпочту пасть с горних высот, подобно Вельзевулу, а не бродить, как Пери, у черного хода, пытаюсь услышать музыку. Я буду работать. Другого выхода нет. Я... Ах, я совсем забыла. Кое-что уцелело в катастрофе. Корраль, нет, ранчо в... ах да, в Техасе. Актив, как выразился милейший Бэннистер. Как он

¹ «О мертвых ничего...» — начало латинской поговорки «О мертвых ничего, кроме хорошего».



был доволен, что может хоть про что-то сказать «свободно от обязательств». Где-то в этих глупых бумагах, которые он заставил меня взять с собой, есть описание ранчо. Я сейчас поищу.

Октавия нашла свою сумку и извлекла из нее длинный конверт с отпечатанными на машинке документами.

— Ранчо в Техасе, — вздохнула тетя Эллен, — по-моему, больше похоже на пассив, чем на актив. Ведь там водятся сколопендры, ковбои и фанданго¹.

— «Ранчо Де Лас Сомбрас, — читала Октавия ядовито-лиловые строчки, — расположено в ста десяти милях к юго-востоку от Сан-Антонио и в тридцати восьми милях от Нопалы, ближайшей железнодорожной станции. Ранчо включает семь тысяч шестьсот восемьдесят акров орошаемых земель, право собственности на которые утверждено патентом штата, и двадцать две квадратных мили, или четырнадцать тысяч восемьдесят акров, частично арендованных на условии ежегодного возобновления аренды, частично купленных на основании акта о двадцатилетней рассрочке. На ранчо восемь тысяч породистых овец-мериносов, необходимое количество лошадей, повозок и прочего оборудования; дом из кирпича, шесть комнат, удобно меблированных согласно с требованиями климата. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки.


Тепершний управляющий производит впечатление человека умелого и надежного. В его руках дело, которое сильно пострадало от небрежности и дурного управления, начинает приносить доход.

Эта собственность приобретена полковником Бопри у одного из западных оросительных синдикатов. Право на владение представляется несомненным. При правильном управлении и учитывая естественное возрастание стоимости участка, ранчо Де Лас Сомбрас может стать для своего владельца надежным источником приличного дохода».

Когда Октавия кончила, тетя Эллен издала нечто, настолько напоминавшее презрительное фырканье, насколько это допускается хорошим тоном.

— В этом описании, — заявила она с непреклонной подозрительностью столичной жительницы, — не упоминается ни о сколопендрах, ни об индейцах. И ведь ты никогда не

¹ Испанский танец.



любила баранины, Октавия. Не понимаю, какую пользу ты собираешься извлечь из этой... э... пустыни.

Но Октавия не слышала. Ее глаза смотрели в беспредельную даль, губы полураскрылись, лицо осветилось священным безумием исследователя, беспокойным стремлением искателя приключений. Вдруг она ликующе захлопала в ладоши.

— Проблема разрешается сама собой, тетечка, — вскричала она. — Я поеду на это ранчо. Я буду там жить. Я научусь любить баранину и попробую отыскать положительные стороны в характере сколопендр — на почтительном расстоянии, разумеется. Это как раз то, что мне нужно. Новая жизнь на смену старой, которая кончается сегодня. Это выход, тетя, а не тупик. Подумайте только — скачка по просторам прерий, ветер, треплющий волосы; возвращение к земле, снова сказки растущей травы и диких цветов без названия! Это будет дивно. Как, по-вашему, стать ли мне пастушкой Ватто в соломенной шляпе, с посохом, чтобы отгонять гадких волков от овец, или типичной стриженной девушкой с ранчо на Западе — помните иллюстрации в воскресных газетах? Пожалуй, я предпочту второе, и мое изображение тоже появится в газете — я верхом на лошади, а с седла свисают пумы, сраженные моей рукой. И будет подпись: «С Пятой авеню в прерии Техаса», — а рядом напечатают фотографии старого особняка Ван-Дрессеров и церкви, где я венчалась. В редакциях нет моего портрета, но его закажут художнику. Я буду дикая, косматая и буду продавать свою шерсть.

— Октавия! — Все возражения, для которых тетя Эллен не находила слов, слились в этом возгласе.

— Ни слова, тетя. Я еду. Я увижу ночное небо, опрокинутое над землей, как крышка огромной масленки. Я опять подружусь со звездами — ведь я не болтала с ними с тех пор, как была совсем крошкой. Я хочу уехать. Мне все надоело. Я рада, что у меня нет денег. Я готова благословить полковника Бопри за это ранчо и простить все его мыльные пузыри. Пусть жизнь там будет трудной и одинокой. Я... Так мне и надо! Мое сердце было закрыто для всего, кроме жалкого тщеславия. Я... Ах, я хочу уехать отсюда и забыть — забыть!

Октавия неожиданно соскользнула на пол, спрятала разгоревшееся лицо в коленях тетки и зарыдала. Тетя Эллен склонилась над ней и погладила каштановые волосы.



— Я не знала, — сказала она мягко. — Этого я не знала. Кто это был, дорогая?


Когда миссис Октавия Бопри, урожденная Ван-Дрессер, сошла с поезда в Нопале, она на мгновение утратила ту светскую уверенность, которая отличала каждое ее движение. Город возник совсем недавно и, казалось, был сооружен наспех из неотесанных бревен и хлопающего брезента. И хотя в поведении личностей, слонявшихся по станции, не было ничего вызывающего, чувствовалось, что каждый из граждан города всегда равно готов к нападению и к отпору.

Октавия стояла на платформе у входа на телеграф и пыталась угадать в этой прогуливающейся вразвалку толпе управляющего ранчо Де Лас Сомбрас, которому мистер Бэннистер поручил встретить ее на станции. Пожалуй, вот этот серьезный пожилой человек в синей фланелевой рубашке с белым галстуком. Но нет, он прошел мимо, и когда их взгляды встретились, поспешил отвести глаза, как делают южане при встрече с незнакомой дамой. Управляющий должен был бы сразу найти ее, подумала она, сердясь, что ей приходится ждать. Не так уж много в Нопале молодых женщин, одетых в самые модные серые дорожные костюмы.

И вот, пока Октавия выискивала в толпе возможных управляющих, она, вздрогнув от удивления, осознала, что по платформе к поезду спешит Тэдди Уэстлейк, или, по крайней мере, его загорелый призрак, в шевиотовом костюме, высоких сапогах и в шляпе с кожаной лентой — Теодор Уэстлейк Младший, почти чемпион любительского поло, легкомысленный мотылек и небокоптител, но возмужавший, уверенный в себе Тэдди, более определенный и законченный, чем тот, которого она помнила со времени их последней встречи год тому назад.

Он заметил Октавию почти в тот же момент, круто повернул и с былой непосредственностью направился прямо к ней. Нечто вроде священного трепета охватило Октавию, когда она рассмотрела вблизи его странную метаморфозу. Густой красно-коричневый загар особенно подчеркивал желтые, как солома, усики и серые, как сталь, глаза. Он казался повзрослевшим и почему-то далеким. Но когда он заговорил, это был прежний мальчишка Тэдди. Они были друзьями детства,

— Тэви?! — Его недоумение отказывалось укладываться в связную речь. — Как — что — когда — откуда?



— Поездом, — ответила Октавия, — необходимость — десять минут назад — из дому. Ты испортил себе цвет лица, Тэдди. Ну: как — что — когда — откуда?

— Я работаю неподалеку, — сказал Тэдди, искоса оглядывая платформу, как человек, пытающийся соединить вежливость и долг. — Не заметила ли ты в поезде старую даму с седыми буклями и пуделем, занявшую два места своими свертками и скандалившую с проводником?

— Кажется, нет, — ответила Октавия размышляя. — А ты случайно не заметил высокого человека с седыми усами, одетого в синюю рубаху и кольты, у которого в волосах торчал клоч овечьей шерсти?

— Да сколько угодно, — сказал Тэдди, подавляя симптомы безумия. — А тебе знаком подобный индивид?

— Нет, описание продиктовано воображением. А почему тебя интересует седовласая дама? Твоя знакомая?

— Никогда ее не видел. Портрет создан фантазией. Это владелица ранчо, где я зарабатываю себе на хлеб с маслом, — ранчо Де Лас Сомбрас. Я приехал встретить ее по телеграмме поверенного.

Октавия прислонилась к стенке телеграфа. Возможно ли это? И неужели он не знает?

— Ты управляющий этого ранчо? — спросила она растерянно.


— Да, — гордо ответил Тэдди.

— Я миссис Бопри, — сказала Октавия тихо, — только мои волосы никак не завиваются и я была вежлива с проводником.

На мгновение Тэдди стал опять взрослым, чужим и бесконечно далеким.

— Надеюсь, вы извините меня, — сказал он неловко. — Видите ли, я год прожил в прерии. Я не слыхал. Будьте добры, дайте мне ваши квитанции, и я погружу багаж в фургон. Его отвезет Хосе, а мы поедем вперед на двуколке.

Сидя рядом с Тэдди в легкой двуколке, запряженной белоснежной парой диких испанских лошадей, Октавия забыла о прошлом и будущем, замороженная настоящим. Горюнок остался позади, и они неслись по ровной дороге на юг. Потом дорога исчезла, двуколка помчалась по бескрайнему ковру кудрявой мескитовой травы. Стука колес не было слышно. Неутомимые лошади шли ровным галопом. Ветер, напоенный ароматом тысяч акров синих и желтых



степных цветов, упоительно свистел в ушах. Возникло пьянящее чувство полета и безграничной свободы. Октавия молчала, охваченная чисто физическим ощущением блаженства. Тэдди, казалось, решал какую-то проблему.

— Я буду называть вас мадама, — сообщил он результат своих размышлений. — Так вас будут называть мексиканцы — на ранчо работают почти одни мексиканцы. Мне кажется, так будет правильно.

— Превосходно, мистер Уэстлейк, — чопорно сказала Октавия.

— Нет, послушайте, — сказал Тэдди в некотором замешательстве, — это уж слишком, вы не находите?

— Не приставайте ко мне с вашим противным этикетом. Я только-только начала жить. Не напоминайте мне ни о чем искусственном. Почему этот воздух нельзя разливать по бутылкам! Уже ради него одного стоило приехать. Ой, посмотрите, олень!

— Заяц, — сказал Тэдди, не повернув головы.

— Разрешите... Можно, я буду править? — спросила раскрасневшаяся Октавия, глядя на него умоляющими, как у ребенка, глазами.

— Содним условием. Разрешите... Можно, я буду курить?

— Когда угодно! — воскликнула Октавия, торжественно беря вожжи. — А куда мне править?

— Курс — юго-юго-восток, на всех парусах. Видите эту черную точку на горизонте, пониже тех облаков с Мексиканского залива? Это — дубовая роща и ориентир. Курс — посередине между рощей и холмиком слева. Сейчас я продекламирую вам правила управления лошадьми в прериях Техаса: не распускать вожжи и почаще ругаться.

— Я слишком счастлива, чтобы ругаться, Тэд. Зачем только люди покупают яхты и ездят в салон-вагонах, когда двуколка, пара одров и вот такое весеннее утро могут удовлетворить все земные желания?

— Я попрошу вас, — запротестовал Тэдди, тщетно чиркая спичкой о крыло двуколки, — не называть одрами этих обитателей воздуха. Они способны отмахать сто миль за день.

Наконец, ему удалось прикурить сигару от огонька, спрятанного в ладонях.

— Простор! — убежденно заявила Октавия. — Вот откуда это чувство. Теперь я знаю, чего мне не хватало, — простора, пространства, места!



— Для курения, — прозаически заметил Тэдди. — Я люблю курить в двуколке. Ветер вдувает и выдувает дым из легких, и экономится энергия на затяжку.

Они так естественно перешли на старый товарищеский тон, что только постепенно начинали осознавать всю странность своего нового положения.

— Мадама, — спросил удивленно Тэдди, — почему вам пришлось в голову покинуть общество и явиться сюда? Или среди высших классов теперь модно проводить сезон на овечьем ранчо вместо Ньюпорта?

— Я разорилась, Тэдди, — беззаботно объяснила Октавия, интересовавшаяся в этот момент только тем, как без ущерба проскочить между грозными штыками «испанского меча» и зарослями чапарраля. — У меня, кроме этого ранчо, не осталось ничего, даже другого дома.

— Послушайте, — оказал Тэдди обеспокоенно, но недоверчиво, — вы шутите?


— Когда мой муж, — сказала Октавия, смущенно комкая последнее слово, — скончался три месяца назад, я считала, что обладаю достаточным количеством земных благ. Его поверенный вдребезги разнес эту теорию в шестидесятиминутной лекции, проиллюстрированной соответствующими документами. А вы ничего не слышали об очередной прихоти золотой молодежи Манхэттена — бросать поло и окна клубов, чтобы стать управляющими на овечьих ранчо в Техасе?

— Что касается меня, это объяснить нетрудно, — не задумываясь ответил Тэдди. — Мне пришлось взяться за работу. В Нью-Йорке для меня работы не было. Поэтому я покружился возле старика Сэндфорда — он был членом синдиката, которому принадлежало ранчо до того, как полковник Бопри его купил, — и получил тут место. Сначала я не был управляющим. Я целые дни мотался в седле, изучая дело в подробностях, пока во всем не разобрался. Я понял причины убытков и сообразил, как можно их избежать. И тогда Сэндфорд вручил мне бразды правления. Я получаю сто долларов в месяц и могу сказать — не даром.

— Бедный Тэдди! — улыбнулась Октавия.

— О нет, мне нравится. Я откладываю половину моего жалованья и крепок, как втулка от бочки. Это лучше поло.

— А хватит тут на хлеб, чай и варенье другому изгою цивилизации?



— Весенняя стрижка, — сказал управляющий, — как раз покрыла прошлогодний дефицит. Прежде бессмысленные расходы и небрежность были здесь правилом. Осенняя стрижка даст небольшой положительный баланс. В следующем году будет варенье.

Когда в четыре часа дня лошади обогнули пологий холм, поросший кустарником, и обрушились двойным белоснежным вихрем на ранчо Де Лас Сомбрас, Октавия вскрикнула от восторга. Величественная дубовая роща бросала густую прохладную тень, которой ранчо было обвязано своим именем Де Лас Сомбрас — ранчо Теней. Под деревьями стоял одноэтажный дом из красного кирпича. Высокий сводчатый проход, живописно украшенный цветущими кактусами и висячими терракотовыми вазами, делил его пополам. Дом окружала низкая широкая веранда, увитая зеленью, а вокруг тянулись садовый газон и живая изгородь. Позади дома поблескивал на солнце длинный узкий пруд. Дальше виднелись хижины мексиканских батраков, загоны для овец, склады шерсти, станки для стрижки. Справа простирались невысокие холмы с темными пятнами зарослей чапарраля, слева — безграничная зеленая прерия сливалась с голубыми небесами.

— Какая прелесть, Тэдди, — прошептала Октавия. — Я... Я приехала домой.

— Не так уж плохо для овечьего ранчо, — согласился Тэдди с извинительной гордостью. — Я здесь кое-что подштопал в свободное время.

Откуда-то из травы выскочил мексиканский юноша и занялся лошадьми. Хозяйка и управляющий вошли в дом.

— Это миссис Макинтайр, — сказал Тэдди, когда навстречу им на веранду вышла добродушная, аккуратная старушка. — Миссис Мак, это наша хозяйка. С дороги ей, наверное, не повредит тарелка бобов и кусок бекона.

Подобные наветы на продовольственные ресурсы ранчо вызвали у миссис Макинтайр, экономки и такой же неотъемлемой принадлежности усадьбы, как пруд или дубы, вполне понятное негодование, которое она как раз собиралась излить, когда Октавия заговорила.

— О миссис Макинтайр, не извиняйтесь за Тэдди. Да, я зову его Тэдди. Так его зовут все, кто знает, что его нельзя принимать всерьез. Мы с ним играли в бирюльки и вырезали бумажные кораблики еще в незапамятные времена. Никто не обращает внимания на его слова.

— Да, — сказал Тэдди, — никто не обращает внимания на его слова при условии, что он их больше повторять не будет.


Октавия бросила на него быстрый лукавый взгляд из-под опущенных ресниц, взгляд, который Тэдди когда-то называл ударом в челюсть. Но загорелое обветренное лицо хранило простодушное выражение, и нельзя было предположить, что Тэдди на что-то намекает. Несомненно, думала Октавия, он забыл.

— Мистер Уэстлейк любит пошутить, — заметила миссис Макинтайр, сопровождая Октавию в комнаты. — Но, — прибавила она лояльно, — здешние обитатели всегда принимают к сведению его слова, когда он говорит серьезно. Не могу представить, во что превратилось бы это место без него.

Для хозяйки ранчо были приготовлены две комнаты в восточном крыле дома. Когда она вошла, ее охватило уныние — такими пустыми и голыми они показались ей, — но она быстро сообразила, что климат здесь субтропический, и оценила продуманность меблировки. Большие окна были распахнуты, и белые занавески бились в морском бризе, лившемся через широкие жалюзи. Прохладные циновки устилали пол, глубокие плетеные кресла манили отдохнуть, стены были оклеены веселыми светло-зелеными обоями. Целую стену гостиной закрывали книги на некрашеных сосновых полках. Октавия сразу кинулась к ним. Перед ней была хорошо подобранная библиотека. Ей бросились в глаза заголовки романов и путешествий, совсем недавно вышедших из печати.

Сообразив, что подобная роскошь как-то не вяжется с глушью, где царят баранина, сколопендры и лишения, она с интуитивной женской подозрительностью начала просматривать титульные листы книг. На каждом томе широким росчерком было написано имя Теодора Уэстлейка Младшего.

Октавия, утомленная дорогой, в этот вечер легла спать рано. Она блаженно отдыхала в белой прохладной постели, но сон долго не приходил. Она прислушивалась к незнакомым звукам, мешавшим ей своей новизной: к отрывистому тьявканью койотов, к неумолчной симфонии ветра, к далекому кваканью лягушек у пруда, к жалобе концертино в мексиканском поселке. Ее сердце теснили противоречивые



чувства — благодарность и протест, успокоенность и смятение, одиночество и ощущение дружеской заботы, счастье и старая щемящая боль.

И она, как всякая другая женщина на ее месте, искала и нашла облегчение в беспричинном потоке сладких слез, а последние слова, которые она пробормотала засыпая, были: «Он забыл».

Управляющий ранчо Де Лас Сомбрас не был дилетантом. Он был «работягой». Дом еще спал, а он уже отправлялся в утренний объезд стад и лагерей. Это было, собственно говоря, обязанностью главного объездчика, старика мексиканца с внешностью и манерами владетельного князя, но Тэдди, судя по всему, предпочитал полагаться на собственные глаза. Если не было спешной работы, он обычно возвращался к восьми часам и завтракал с Октавией и миссис Макинтайр за маленьким столом, накрытым на центральной веранде. Он приносил с собой веселье, живительную свежесть и запах прерий.

Через несколько дней после приезда он заставил Октавию достать амазонку и укоротить ее, насколько это требовалось из-за колючих зарослей.

С некоторой опаской Октавия надела амазонку и кожаные гетры, также предписанные Тэдди, и на горячей лошадке отправилась с ним обозревать свои владения. Он показал ей все: стада овец и баранов, пасущихся ягнят, чаны для замачивания шерсти, станки для стрижки, отборных меринсов на особом пастбище, водоемы, приготовленные к летней засухе, — и отчитывался в своем управлении с неугасающим мальчишеским энтузиазмом.

Куда девался прежний Тэдди, которого она так хорошо знала? Эту черту мальчишества она всегда любила в нем. Но теперь, кроме этой черты, как будто ничего и не осталось. Куда исчезли его сентиментальность, его прежнее изменчивое настроение то бурной влюбленности, то изысканной рыцарской преданности, то душераздирающего отчаяния, его нелепая нежность и надменное безразличие, вечно сменявшие друг друга? Он был тонкой, почти артистической натурой. Она знала, что этому великосветскому спортсмену-щеголю свойственны более высокие стремления. Он писал стихи, он немного занимался живописью, он разбирался в искусстве, и когда-то он делился с ней всеми мыслями и надеждами. Но теперь — ей пришлось это признать — Тэдди забаррикадиро-


вал от нее свой внутренний мир, и она видела только управляющего ранчо Де Лас Сомбрас и веселого товарища, который простил и забыл. Почему-то ей вспомнилось описание ранчо, составленное мистером Бэннистером: «Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки».

«Тэдди тоже огорожен», — сказала себе Октавия.

Ей было нетрудно догадаться, почему он воздвиг свои укрепления. Все началось на балу у Хэммерсмитов. Незадолго до этого она решила принять полковника Бопри и его миллионы — цену совсем не высокую при ее наружности и связях в самых недоступных сферах. Тэдди сделал ей предложение со всей свойственной ему стремительностью и пылкостью, а она поглядела ему прямо в глаза и сказала неумолимо и холодно: «Прошу никогда больше не говорить мне подобной чепухи». — «Хорошо», — сказал Тэдди с новым, чужим выражением — и теперь Тэдди был обнесен крепкой изгородью из колючей проволоки.

Во время первой поездки по ранчо на Тэдди снизошло вдохновение, и он окрестил Октавию «Мадам Бо-Пип» по имени девочки из «Сказок Матушки-Гусыни». Прозвище, подсказанное сходством имен и занятий, показалось ему необычайно удачным, и он называл ее так постоянно. Мексиканцы на ранчо подхватили это имя, прибавив лишний слог, так как не могли произнести конечного «п», и вполне серьезно величали Октавию «ла мадама Бо-Пиппи». Постепенно это прозвище привилось в округе, и название «ранчо Бо-Пип» употреблялось не реже, чем «ранчо Де Лас Сомбрас».

Наступил долгий период жары между маем и сентябрем, когда на ранчо работы мало. Октавия проводила дни, вкушая лотос. Книжки, гамак, переписка с немногими близкими подругами, новый интерес к старой коробке акварельных красок и мольберту помогали коротать душные дневные часы. А сумерки всегда приносили радость. Лучше всего была захватывающая скачка с Тэдди в лунном свете по овейным ветром просторам, когда их общество составляли только парящий лунь или испуганная сова. Часто из поселка приходили мексиканцы с гитарами и пели заунывные, надрывающие душу песни. Иногда — долгая уютная болтовня на прохладной веранде, бесконечное состязание в остроумии между Тэдди и миссис Макинтайр, чье шотландское лукавство нередко одерживало верх над веселой шутливостью Тэдди.



Вечера сменяли друг друга, складываясь в недели и месяцы, — тихие, томные, ароматные вечера, которые привели бы Стрефона к Хлое¹ через любые колючие изгороди, вечера, когда, возможно, сам Амур бродил, крутя лассо, по этим зачарованным пастбищам, но ограда Тэдди оставалась крепкой.

Как-то июньским вечером мадам Бо-Пип и ее управляющий сидели на восточной веранде. Тэдди долго строил научные прогнозы относительно продажи осеннего настрига по двадцать четыре цента и, истощив все возможные предположения, окутался анестезирующим дымом гаванской сигары. Только такой непросвещенный наблюдатель, как женщина, мог столько времени не замечать, что, по крайней мере, треть жалования Тэдди улетучивается с дымом этих импортных регалий.

— Тэдди, — неожиданно и довольно резко сказала Октавия, — что вам дает работа на ранчо?

— Сто в месяц, — без запинки ответил Тэдди, — и полное содержание.

— Я думаю, мне следует вас уволить.

— Не выйдет, — ухмыльнулся Тэдди.

— Почему это? — запальчиво осведомилась Октавия.

— Контракт. По условиям продажи вы не имеете права расторгать ранее заключенные контракты. Мой истекает в двенадцать часов ночи тридцать первого декабря. В ночь на первое января вы можете встать и уволить меня. А если вы попытаетесь сделать это раньше, у меня будут все законные основания для предъявления иска.

Октавия, видимо, взвешивала последствия такого шага.

— Но, — весело продолжал Тэдди, — я сам подумываю об отставке.

Качалка его собеседницы замерла. Октавия ясно почувствовала, что кругом повсюду сколопендры, и индейцы, и громадная, безжизненная, унылая пустыня. А за ними — изгородь из колючей проволоки. Кроме ван-дрессеровской гордости, существовало и ван-дрессеровское сердце. Она должна узнать, забыл он или нет.

— Конечно, Тэдди, — заметила она, разыгрывая вежливый интерес, — здесь очень одиноко, и вас влечет прежняя жизнь — поло, омары, театры, балы.

¹ Герои пастушеской поэмы Филиппа Сиднея «Аркадия».



— Никогда не любил балов, — добродетельно возразил Тэдди.

— Вы стареете, Тэдди. Ваша память слабеет. Никто не видел, чтобы вы пропустили хоть один бал, разве что вы танцевали в это время на другом. И вы пренебрегали правилами хорошего тона, слишком часто приглашая одну и ту же даму. Как звали эту Форбс — ту, пучеглазую? Мэйбл?

— Нет. Адель. Мэйбл — это та, у которой острые локти. И Адель совсем не пучеглазая — это ее душа рвется наружу. Мы беседовали о сонетах и Верлене. Я тогда как раз пытался пристроить желобок к Кастальскому ключу.

— Вы танцевали с ней, — упорствовала Октавия, — пять раз у Хэммерсмитов.

— Где у Хэммерсмитов? — рассеянно спросил Тэдди.

— На балу, — ядовито сказала Октавия. — О чем мы говорили?

— Насколько я помню, о глазах, — ответил Тэдди после некоторого размышления. — И о локтях.

— У этих Хэммерсмитов, — продолжила Октавия милую светскую болтовню, подавив отчаянное желание выдрать клоч выгоревших золотистых волос из головы, уютно покоившейся на спинке шезлонга, — у этих Хэммерсмитов было слишком много денег. Рудники, кажется? Во всяком случае, что-то, приносившее сколько-то с тонны. В их доме было невозможно получить стакан простой воды — вам непременно предлагали шампанское. На этом балу всего было сверх меры.

— Да, — сказал Тэдди.

— А сколько народу! — продолжала Октавия, сознавая, что впадает в восторженную скороговорку школьницы, описывающей свое первое появление в свете. — На балконах было жарче, чем в комнатах. Я... что-то... потеряла на этом балу.

Тон последней фразы был рассчитан на то, чтобы обезвредить целые мили колючей проволоки.

— Я тоже, — признался Тэдди, понизив голос.

— Перчатку, — сказала Октавия, отступая, как только враг приблизился к ее траншеям.

— Касту, — сказал Тэдди, отводя свой авангард без малейших потерь. — Я весь вечер общался с одним из хэммерсмитовских рудокопов. Парень не вынимал рук из карманов и, как архангел, вещал о циановых заводах, штреках, горизонтах и желобах.



— Серую перчатку, почти совсем новую, — горестно вздохнула Октавия.

— Стоящий парень этот Макардл, — продолжал Тэдди одобрительным тоном. — Человек, который ненавидит анчоусы и лифты, который грызет горы, как сухарики, и строит воздушные туннели, который никогда в жизни не болтал чепухи. Вы подписали заявление о возобновлении аренды, мадама? К тридцать первому оно должно быть в земельном управлении.

Тэдди лениво повернул голову. Кресло Октавии было пусто.

Некая сколопендра, проползая путем, начертанным судьбой, разрешила ситуацию. Случилось это рано утром, когда Октавия и миссис Макинтайр подрезали жимолость на западной веранде. Тэдди, получив известие, что ночная гроза разогнала стадо овец, исчез еще до рассвета.


Сколопендра, ведомая роком, появилась на полу веранды и затем, когда визг женщин подсказал ей дальнейшие действия, со всех своих желтых ног бросилась в открытую дверь крайней комнаты — комнаты Тэдди. За нею, вооружившись домашней утварью, отобранной по принципу длины, и теряя драгоценное время в попытках занять арьергардную позицию, последовали Октавия и миссис Макинтайр, боязливо подбирая юбки.

В комнате сколопендры не было видно, и ее грядущие убийцы принялись за тщательные, хотя и осторожные поиски своей жертвы.

Но и в разгаре опасного и захватывающего приключения Октавия, очутившись в святилище Тэдди, испытывала трепетное любопытство. В этой комнате сидел он наедине со своими мыслями, которыми он теперь ни с кем не делился, и мечтами, которые он теперь никому не поверял.

Это была комната спартанца или солдата. Один угол занимала широкая брезентовая койка, другой — небольшой книжный шкаф, третий — грозная стойка с винчестерами и дробовиками. У стены стоял огромный письменный стол, заваленный корреспонденцией, справочниками и документами.

Сколопендра проявила гениальные способности, ухитрившись спрятаться в этой полупустой комнате. Миссис Макинтайр тыкала ручкой метлы под книжный шкаф. Октавия подошла к постели. Тэдди второпях оставил комнату в



полном беспорядке. Горничная-мексиканка не успела ее убрать. Большая подушка еще хранила отпечаток его головы. Октавию осенила мысль, что отвратительное создание могло забраться на постель и спрятаться там, чтобы укусить Тэдди, ибо сколопендры жестоко мстят управляющим, где только могут.

Октавия осторожно перевернула подушку и чуть было не позвала на помощь — там лежало что-то длинное, тонкое, темное. Но она вовремя удержалась и схватила перчатку — серую перчатку, безнадежно измятую — надо полагать, за те бесчисленные ночи, которые она пролежала под подушкой человека, забывшего бал у Хэммерсмитов. Тэдди, должно быть, так торопился утром, что на этот раз забыл скрыть ее в дневном тайнике. Даже управляющие, люди, как известно, хитрые и изворотливые, иногда попадают.

Октавия спрятала серую перчатку за корсаж утреннего летнего платья. Это была ее перчатка. Люди, которые окружают себя крепкой изгородью и помнят бал у Хэммерсмитов только по разговору с рудокопом о штреках, не имеют права владеть подобными предметами.

Но все-таки какой рай эти прерии! Как они цветут и благоухают, когда находится то, что давно считалось потерянным! Как упоителен бьющий в окна свежий утренний ветерок, напоенный дыханием желтых цветов ратамы! И разве нельзя постоять минутку с сияющими, устремленными вдаль глазами, мечтая о том, что ошибку можно исправить?

Почему миссис Макинтайр так нелепо тычет повсюду метлой?


— Нашла, — сказала миссис Макинтайр, хлопая дверью. — Вот она.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросила Октавия с вежливым равнодушием.

— Гадина! — яростно воскликнула миссис Макинтайр. — Разве вы о ней забыли?

Вдвоем они уничтожили сколопендру. Такова была ее награда за то, что с ее помощью вновь отыскалось все потерянное на балу у Хэммерсмитов.

Очевидно, Тэдди не забыл о перчатке и, вернувшись на закате, предпринял тщательные, хотя и тайные поиски. Но нашел он ее только поздно вечером, на залитой лунным светом восточной веранде. Перчатка была на руке, которую он считал навеки для себя потерянной, и поэтому он ре-



шился повторить некую чепуху, повторять которую ему когда-то строго запретили. Ограда Тэдди рухнула.

На этот раз тщеславие не стояло на пути, и любовный дуэт прозвучал так естественно и успешно, как и должно быть между пылким пастухом и нежной пастушкой.

Прерии превратились в сад, ранчо Де Лас Сомбрас стало ранчо Света.

Через несколько дней Октавия получила от мистера Бэннистера ответ на письмо, в котором она просила его выяснить некоторые вопросы, связанные с ранчо. Вот часть этого письма:

«Я не совсем понял ваше упоминание об овечьем ранчо. Через два месяца после вашего отъезда было установлено, что означенное ранчо не являлось собственностью полковника Бопри, поскольку документально было доказано, что перед смертью оно было им продано. Об этом мы сообщили вашему управляющему мистеру Уэстлейку, который незамедлительно перекупил таковое. Не представляю себе, каким образом этот факт мог остаться неизвестным вам. Прошу вас незамедлительно обратиться к вышеупомянутому джентльмену, который, по крайней мере, подтвердит мое сообщение».

Когда Октавия разыскала Тэдди, она была настроена очень воинственно.

— Что вам дает работа на ранчо? — повторила она свой прежний вопрос.

— Сто... — начал было Тэдди, но увидел по ее лицу, что ей все известно. В ее руке было письмо мистера Бэннистера, и он понял, что игра кончена.

— Это мое ранчо, — признался он, как уличенный школьник. — Чего стоит управляющий, который со временем не вытеснит своего хозяина?

— Почему ты здесь работаешь? — упорствовала Октавия, тщетно пытаясь подобрать ключ к загадке Тэдди.

— Говоря начистоту, Тэви, — сказал Тэдди с невозмутимой откровенностью, — не ради жалованья. Его только-только хватало на табак и на крем от загара. На юг меня послали доктора. Правое легкое что-то захандрило из-за переутомления от гимнастики и поло. Мне требовался климат, озон, отдых и тому подобное.



Мгновенно Октавия очутилась в непосредственной близости от пораженного органа. Письмо мистера Бэннистера соскользнуло на пол.

— Теперь... теперь оно здорово, Тэдди?

— Как мескитный пенёк. Я обманул тебя в одном. Я заплатил пятьдесят тысяч за твое ранчо, как только узнал, что твое право владения не действительно. Примерно такая сумма накопилась на моем счету в банке, пока я тут пас овец, и практически ранчо досталось мне даром. Тем временем там еще выросли проценты, Тэви. Я подумываю о свадебном путешествии на яхте с белыми лентами по мачтам в Средиземном море, потом к Гебридам, а оттуда в Норвегию и до Зюдерзее.

— А я думала, — шепнула Октавия, — о свадебном галопе с моим управляющим среди овечьих стад и о свадебном завтраке с миссис Макинтайр на веранде и, может быть, с веточкой флердоранжа в красной вазе над столом.

Тэдди рассмеялся и запел:

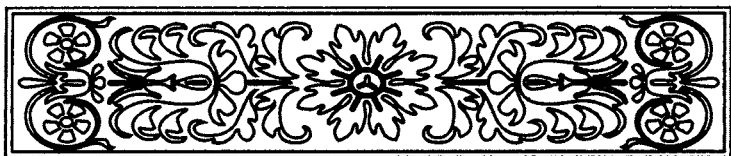
*Укрошки Бо-Пип голосок охрип —
Разбежались ее овечки.
Не надо их звать: все вернутся опять...*

Октавия притянула его к себе и что-то шепнула. Но говорила она совсем о других колечках.



ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ





ПОСЛЕДНИЙ ТРУБАДУР

Сэм Гэллоуэй с неумолимым видом седлал своего коня. После трехмесячного пребывания он уезжал с ранчо Алтито. Нельзя требовать, чтобы гость дольше этого срока мог выносить сухари с желтыми пятнами, сделанные на поташе, и пшеничный кофе. Ник Наполеон, толстый негр-повар, никогда не умел печь хорошие сухари. Еще в то время, когда Ник служил поваром на ранчо Виллоу, Сэм вынужден был бежать оттуда уже через шесть недель его стряпни.

Лицо Сэма выражало грусть, усиленную сожалением и слегка смягченную снисходительностью великого человека, который не может быть понят.

Итак, он крепко и с неумолимым видом подтянул и застегнул свою подпругу, свернул кольцом веревку, повесил ее на луку седла, подвязал сзади свою куртку и одеяла и повесил хлыст на кисть правой руки.

Весь дом Мерридю (хозяева ранчо Алтито) — мужчины, женщины, дети, а также слуги, служащие, гости, собаки и все случайные посетители дома собрались на галерее ранчо проводить гостя, и лица их были меланхоличны и печальны. Так бывало всегда. Если приезд Сэма Гэллоуэя на какое-нибудь ранчо, лагерь или же хижину между реками Фрио и Браво возбуждал радость, то отъезд его неминуемо вызывал печаль и страдания.

И вот, при полном молчании, которое нарушалось только собакой, усердно с помощью задней ноги ловившей назойливую блоху, Сэм нежно и заботливо привязал поперек седла, поверх своей верхней одежды, гитару. Эта гитара была в зеленом парусиновом мешке. Если вы поймете значение этого, то и поймете заодно, что представляет собой Сэм.

Сэм Гэллоуэй был последним трубадуром. Вы, разумеется, слышали про трубадуров. В Энциклопедии определенно указывается, что особого размаха трубадуры достигли меж-

ду одиннадцатым и тринадцатым столетиями. Чем они, собственно, размахивали — неясно, но, во всяком случае, вы можете быть уверены, что не мечом! Возможно, что смычком, или вилкой с макаронами, или дамским шарфом. Но так или иначе, Сэм Гэллоуэй был одним из трубадуров.

Сэм с видом мученика сел на своего коня. Но выражение его лица казалось смеющимся по сравнению с выражением морды пони. Ведь всякая лошадь прекрасно знает своего господина, и весьма возможно, что кобылы на пастбище или же у стойл весьма часто насмеялись над конем Сэма за то, что на нем ездит какой-то гитарист, а не разудалый и задорный ковбой. Ни единый человек на свете не является героем для своей верховой лошади! Тем более трубадур! Ведь даже подъемнику универсального магазина не вменяется в вину, если он опрокинет трубадура!

О, я знаю, что я — трубадур, и вы — тоже! Ах, те сказочки, которые вы заучивали, карточные фокусы, которые вы запоминали, маленькая пьеска для рояля — как она называется? — ти-тум, ти-тум-ти-тум! — маленькие упражнения в ловкости, которые вы показывали, когда отправлялись навещать вашу богатую тетку Джен... Вам надо знать, что *omne parsonae in tres partes divisae smut*, а именно: бароны, трубадуры и труженики. Бароны не имеют склонности читать подобные пустяки. А у тружеников нет времени читать их. Итак, я знаю, что вы должны быть трубадуром и что вы понимаете Сэма Гэллоуэя. Поем ли мы или же играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции или же рисуем — мы всегда и только трубадуры... Так пусть же каждый из нас похуже исполнит то, на что он способен.

Конь с лицом Данте Алигьери, направляемый нажимом ноги Сэма, понес этого бродячего менестреля на шестнадцать миль к юго-востоку.

Природа в этот день была в Сэмом благодушном настроении. Бесконечное количество нежных, душистых цветочков наполняло ароматом тихо колеблющуюся прерию. Восточный ветерок умерял весеннюю жару. Белые, точно шерстяные облака, налетавшие с Мексиканского залива, преграждали путь прямым лучам апрельского солнца.

Сэм ехал и пел песни. Он заткнул за повод несколько веточек чапаррала для того, чтобы защитить коня от оводов. Таким образом, увенчанное длиннолицее четвероногое еще более стало похоже на Данте, и, судя по выражению



его лица, можно было думать, что оно мечтает о своей Беатриче.


Насколько позволяла топография местности, Сэм ехал напрямик к овечьему ранчо старика Эллисона. Как раз теперь у него явилось желание посетить овечье ранчо. В Алти-то было слишком много народа, слишком много шума, споров, соперничества и беспорядка.

До сих пор он еще ни разу не оказывал чести старику и не гостил у него, но он знал, что ему будут рады. Трубадуру всюду свободный вход! Труженики в замке опускают для него подъемный мост, а барон сажает его по левую руку от себя в пиршественном зале. Дамы улыбаются ему и аплодируют его песням и рассказам, в то время как труженики подносят ему кабаньи головы и кувшины с вином. И если случайно, сидя в своем кресле резного дуба, барон зевнет раза два, то ничего дурного нельзя в этом усмотреть.

Старый Эллисон очень радушно встретил трубадура. Он часто слышал похвалы Сэму от владельцев других ранчо, удостоившихся его посещения, но никогда не надеялся на такую честь по отношению к своему скромному баронату. Я говорю «баронату», потому что старый Эллисон был последним бароном. Бульвер Литтон жил слишком рано, иначе он не дал бы этого титула Варвику¹. Как известно, функции барона заключаются в том, чтобы давать работу труженикам и приют и убежище трубадурам.

Эллисон был морщинистый старик с небольшой изжелта-белой бородой и лицом, изборожденным следами безвозвратно ушедших улыбок. Его ранчо представляло собой домик в две маленькие комнаты, который, словно ящик, стоял среди самой скучной части овечьей страны. Жили там: повар из индейцев племени киова, четыре собаки, любимая овечка и полуручной койот, всегда сидевший на цепи. Эллисону принадлежали три тысячи овец, которых он пас на двух участках арендованной земли и на многих тысячах акров земли и не арендованной и не купленной. Раз в три-четыре года к его калитке подъезжал верхом кто-либо из говорящих на его языке, и они обменивались несколькими самыми простыми и обыкновенными мыслями.

¹ Литтон — известный английский писатель. Его роман «Последний барон» появился на русском языке в 1846 г. (Примеч. пер.)



Эти дни отмечались в голове Эллисона красными буквами. Какими же пышными, рельефными, ярко раскрашенными, заглавными буквами должен быть отмечен день, когда трубадур — каковой, согласно заверениям Энциклопедии, должен был процветать и действовать между одиннадцатым и тринадцатым веками! — бросил повод у ворот его баронского замка!


Как только Эллисон увидел Сэма, тотчас же возвратились его улыбки и заполнили все морщины на его лице. Волоча ноги и прихрамывая, он поспешил навстречу гостю.

— Здорово, мистер Эллисон! — крикнул ему весело Сэм. — Вот задумал заглянуть сюда и повидаться с вами. По дороге я заметил, что у вас прошли славные дожди. Ну, значит, будет хороший подножный корм для весенних ягнят.

— Хорошо, хорошо, хорошо! — сказал в ответ старик Эллисон. — Я страшно рад видеть вас у себя! Я никогда не думал, что вы потревожитесь для того, чтобы посетить такое старое ранчо, лежащее в стороне от большой дороги. Добро пожаловать, слезайте с коня. У меня на кухне лежит мешок свежего овса, — прикажете принести его для вашей лошадки?

— Овес для моей лошадки! — насмешливо воскликнул Сэм. — Да она и на траве разжирела, как свинья. На ней слишком мало ездят для того, чтобы миндальничать с ней. Я сейчас же пушу ее на конский выпас, стреножив ее, если только вы ничего против не имеете.

Я уверен, что никогда в промежутке между одиннадцатым и тринадцатым веками не было такого гармоничного единения между бароном, трубадуром и трудящимся, как в этот вечер на овечьем ранчо старика Эллисона! Печенье индейца было легкое и вкусное, а кофе — крепкий. Неисковеренное гостеприимство и радость сияли на обветренном лице хозяина. Трубадур же уверял самого себя, что наконец-то он попал в действительно приятные места. Прекрасно приготовленный, обильный обед, хозяин, малейшая попытка занять которого приводила его в восхищение, далеко превосходящее затраченное усилие, а также на редкость спокойная атмосфера, к которой все время стремилась чувствительная душа Сэма, — все вместо соединилось для того, чтобы дать ему полное удовлетворение и чудесное довольство, которые так редко посещали его во время объездов многочисленных ранчо.



После восхитительного ужина Сэм развязал зеленый парусиновый футляр и вынул оттуда гитару. О, — запомните! — он сделал это вовсе не потому, что думал платить за прием. Ни Сэм Гэллоуэй, ни какой-либо другой подлинный трубадур не являются потомками покойного Томми Тюккере. О Томми Тюккере вы, конечно, помните по детским песенкам. Томми Тюккере обычно пел за ужин. Никакой настоящий трубадур этого никогда не сделает. Он поужинает, но затем, если и станет играть, так только из любви к искусству.

В репертуар Сэма Голлоуэя входило около пятидесяти веселых рассказов и от тридцати до сорока песенок. Однако он не ограничивался этим. Он мог в продолжение двадцати сигарет говорить на любую затронутую вами тему. При этом он никогда не садился, если мог лежать, и никогда не стоял, если мог сидеть. Мне очень хотелось бы еще задержаться на нем, так как я пишу портрет и стараюсь сделать его настолько хорошо, насколько позволяет мне мой тупой карандаш.

Мне хотелось бы еще, чтобы вы могли видеть его. Он был небольшого роста, крепкий и ленивый настолько, что это превосходило всякое представление. Он носил ультрамариново-синюю шерстяную рубашу, стянутую спереди светло-серым шнурком, вроде сапожного, но подлиннее, затем неразрушимые брюки из коричневой парусины, неизбежные сапоги на высоких каблуках с мексиканскими шпорами и мексиканское соломенное сомбреро.

В этот вечер Сэм и Эллисон вытащили из дома стулья и поставили их под деревьями. Они закурили сигареты, и трубадур весело тронул гитару. Среди его песен было очень много очаровательных, меланхолических и минорных канцон, которые он заимствовал у мексиканских вакеро и овечьих пастухов. Но одна из них в особенности радовала и успокаивала душу одинокого барона. То была любимая песня овечьих пастухов, начинавшаяся словами: «Huile, huile, palomita!», что в переводе означает: Лети, лети, голубок!.. В этот вечер Сэм много раз пропел ее старику Эллисону.

Трубадур остался гостить на ранчо Эллисона. Тут были: мир, и покой, и настоящая оценка его таланта. Ничего подобного он не находил в лагерях и шумных стоянках королей скота. Никакая другая аудитория в мире не могла бы увенчать творчество поэта, музыканта или же актера большим поклонением и одобрением, чем старик Эллисон — труд Сэма. Посещение королем какого-либо смиренного

дровосека или крестьянина не было бы встречено более легкой благодарностью и трогательной радостью.

Большую часть дня Сэм проводил в тени деревьев на прохладной, крытой парусиной койке. Тут он свертывал свои сигареты из коричневой бумаги, читал ту скучную литературу, что имелась на ранчо, и расширял свой репертуар импровизациями, которые с таким великим мастерством передавал на своей гитаре.

Точно раб, прислуживающий важному господину, индеец приносил гостю еду по его приказанию и холодную воду из красного кувшина, висевшего под навесом из прутьев. Зефиры из прерии нежно оведали его. Пересмешники утром и вечером пытались, но едва ли успевали сравняться с нежными мелодиями его прелестной лиры. Казалось, ароматная тишина обволакивала весь мир.

В то время как старый Эллисон толкался среди своих овец на пони, делавшем милю в час, а индеец нежился на жгучем солнцепеке подле кухни, Сэм лежал на койке и думал о том, как прекрасен мир, в котором он живет, и как мир этот благожелателен к тем, чье назначение — доставлять развлечение и удовольствие. Здесь у него были кров и пища, какие он всегда желал иметь, абсолютная свобода от всяких забот, всякого усилия или борьбы, бесконечное гостеприимство и хозяин, восторг которого при исполнении какой-нибудь песни или рассказа в шестнадцатый раз был так же велик, как если бы это было исполнено впервые. Был ли когда-нибудь в прежние времена трубадур, который в своих странствиях набрел бы на такой королевский замок? Пока он так лежал, думая о посланных ему благах, маленькие коричневые ягнята боязливо резвились во дворе, выводки перепелок с белыми узелками на спине пробегали вереницей на двадцать ярдов дальше, птица *raïsano*, охотясь за тарантулами, подпрыгивала на заборе и приветствовала его быстрыми размахами хвоста. На лошадином пастбище в семьдесят акров конь с лицом Данте жирел и чуть ли не стал улыбаться. Трубадур достиг конца своих странствий.

Старик Эллисон был своим собственным управляющим. Это значит, что он снабжал свои овечьи лагеря дровами, водой и пищей собственными силами, вместо того чтоб нанимать управляющего. Так часто делается на мелких ранчо.

Как-то раз утром он отправился в лагерь *Incarnation* Фелипе де-ла-Круз и Монте-Пиедрас (где было одно из его



стад) с обычной недельной порцией мексиканских бобов, кофе, муки и сахара. В двух милях от тропы на старый форт Юнич он встретился, лицом к лицу со страшным человеком по имени «Король Джемс», ехавшим на горячей, красивой лошади кентуккской породы.

Настоящее имя Короля Джемса было Джемс Кинг¹, но его перевернули, так как находили, что это больше к нему идет, а также потому, что это, по-видимому, нравилось его величеству. Король Джемс был крупнейшим скотоводом между Аламс-плацем в Сан-Антонио и салуном Билла Хоппера в Браунсвилле. Он также был самым громогласным и вредным буйном, хвастуном и скверным человеком в Юго-Восточном Техасе. Он всегда исполнял то, чем похвалялся, и, чем больше он шумел, тем был опаснее. В книгах особенно опасным всегда является спокойный человек с мягкими манерами, голубыми глазами и тихим голосом, но в реальной жизни и в этой повести дело обстояло иначе. Предложите мне на выбор — напасть на громадного грубияна с громким голосом или на безобидного, голубоглазого незнакомца, мирно сидящего в углу, — и вы всегда увидите, что я направлюсь в угол.

Король Джемс, как я собирался сказать ранее, был свирепым, весом в двести фунтов, загорелым, белокурым человеком, румяным, как октябрьская земляника, и с двумя горизонтальными щелками вместо глаз под щетинистыми рыжими бровями. В этот день на нем была надета фланелевая рубашка каштанового цвета; иного цвета были некоторые большие части, потемневшие от пота, вызванного летним солнцем. На нем, очевидно, была и другая одежда и снаряжение, как, например: коричневые парусиновые брюки, засунутые в огромные сапоги, красные платки и револьверы, а также ружье, лежавшее поперек седла, и кожаный пояс со множеством сверкавших на нем патронов, — но ваша мысль не замечала этих подробностей: взор приковывали только две горизонтальные щелки, которые служили ему глазами.

Таков был человек, которого старик Эллисон встретил на тропе, и, если вы зачтете барону, что ему было шестьдесят пять лет, что весил он девяносто восемь фунтов и слышал рассказы о Короле Джемсе, а также и то, что барон имел

¹ Кинг по-английски «король».

склонность к *vita simplex*¹ и не взял с собой ружья, а если бы и взял, то не употребил бы его в дело, — вы не осудите его, если я скажу, что улыбки, которыми трубадур заполнил его морщины, снова все ушли, и снова показались прежние, самые обыкновенные морщины. Однако он не был из тех баронов, что бегут от опасности. Он осадил своего «миля в час» — пони (не трудное дело!) и поклонился грозному монарху.

Король Джемс высказался с королевской прямоотой.

— Вы — тот старый колпак, что пасет овец в этой местности, не так ли? — спросил он. — Какое вы имеете на это право? Владаете ли вы какой-нибудь землей или же арендуете что-нибудь?

— Я арендую два участка у штата, — мягко возразил старик Эллисон.

— Ничего вы не арендуете! — закричал Король Джемс. — Срок вашей аренды истек вчера. У меня был свой человек в земельном отделе, который в ту же минуту взял ее. В вашем распоряжении нет ни фута травы в Техасе. Вам, овцеводам, нужно уходить отсюда. Ваше время прошло. Эта страна — страна крупного скота, и в ней нет места таким соням. Земля, где пасутся ваши овцы, моя. Я огорожу ее проволокой, сорок на шестьдесят миль, и, когда изгородь будет готова, всякая овца, находящаяся внутри ее, будет убита. Я даю вам неделю на то, чтобы вывести ваших овец отсюда. Если они к этому времени не уйдут, то я pošлю шесть человек с винчестерами, которые приготовят из них баранину. А если в то же время я застану здесь и вас, то вот что вы получите от меня.

Король Джемс погладил ремень, на котором висело его ружье.

Старик продолжал путь к лагерю Incarnation. Он часто вздыхал, и морщины на его лице стали глубже. Слухи о том, что старые порядки будут изменены, доходили до него и раньше. Близился конец «свободным пастбищам». Собирались над его головой и другие тучи. Стада его, вместо того чтобы увеличиваться, уменьшались в числе. Цена на шерсть падала с каждой стрижкой. Даже Бродшоу, лавочник во Фрио-Сити, у которого он покупал припасы для ранчо, приставал к нему, требуя уплаты по счету за последние шесть месяцев и грозил лишить его кредита. Таким образом, не-

¹ Простая жизнь (*лат.*)

счастье, внезапно обрушившееся со стороны Короля Джемса, было для него последним ударом.

Когда старик на закате возвратился на свое ранчо, он застал Сэма Гэллоуэя лежащим на койке и перебирающим струны на гитаре.

— Здорово, дядя Бен, — весело крикнул трубадур. — Вы сегодня рано вкатились. Я пробовал новую вариацию к испанскому фанданго. Я только что нашел ее. Вот послушайте, как она звучит!

— Хорошо, чудесно, — говорил Эллисон, сидя на кухонной ступеньке и потирая свои седые, как у скотчтерьера, бакенбарды. — Я считаю, что вы побили всех музыкантов на востоке и западе, повсюду, Сэм, где только проложены дороги.

— Не знаю, — отвечал Сэм в раздумье, — но я, конечно, достиг кой-чего в вариациях. Я вижу, что могу не хуже других обработать любую вещь в пяти бемолях... Но вы как будто утомлены, дядя Бен, или чувствуете себя неважно сегодня вечером?

— Я немного устал, Сэм, больше ничего. Если вы еще можете играть, сыграйте мне мексиканскую вещь, начинающуюся словами: «Huile, huile, palomita!»¹ Мне кажется, что эта песня всегда успокаивает и подбодряет меня после далекой поездки или же когда что-нибудь меня тревожит.

— Почему же нет? Seguramente, señor!² Я буду играть ее для вас, когда только вы захотите. Да, пока я не забыл, дядя Бен, вам следует выговорить Бродшоу за последние присланные нам окорока: они слишком пахнут!

Человек шестидесяти пяти лет, живущий на овечьем ранчо, тревожимый сплетением всяких несчастий, не может постоянно и успешно притворяться. Кроме того, глаза трубадура быстро видят признаки несчастья в окружающих, потому что это нарушает его собственный покой. На следующий день Сэм снова стал расспрашивать старика относительно его грустного вида и рассеянности. Тогда Эллисон рассказал ему об угрозах и приказах Короля Джемса и о том, что бледная меланхолия и красное разорение наметили, повидимому, его своей жертвой. Трубадур внимательно выслушал эту новость. Он уже много до того слышал о Короле Джемсе.

¹ Хулиа, Хулиа, моя голубка (*исп.*)

² Конечно сеньор (*исп.*)

На третий из семи льготных дней, предоставленных ему самодержцем этой местности, старик Эллисон ехал на телеге в Фрио-Сити для закупки необходимых запасов для ранчо. Бродшоу был тверд, но не неумолим. Он разделил счет Эллисона на две части и предоставил ему больший срок для уплаты. Среди купленных предметов был свежий прекрасный окорок, взятый для того, чтобы доставить удовольствие трубадуру.

В пяти милях от Фрио-Сити, по дороге домой, старик встретил Короля Джемса, ехавшего в город. У его величества всегда был свирепый и угрюмый вид, но сегодня щелки его глаз казались открытыми шире обыкновенного.

— Добрый день, — сказал угрюмо Король Джемс. — Мне нужно было видеть вас. Вчера я слышал, как ковбой из Сэнди говорил, что вы из графства Джексон, Миссисипи. Мне нужно знать, правда ли это.

— Я там родился и воспитывался до двадцати одного года, — ответил старик Эллисон.


— Этот человек говорил еще, что вы как будто в родстве с Ривзами из графства Джексон. Правду он говорил?

— Каролина Ривз была моей сводной сестрой.

— Это была моя тетка, — сказал Король Джемс. — Я убежал из дому, когда мне было шестнадцать лет. Теперь потолкуем снова о некоторых вещах, про которые мы рассуждали несколько дней тому назад. Меня называют дурным человеком, и в этом люди только наполовину правы. На моем пастбище достаточно места для вашей горсточки овец и их приплода на долгое время. Тетка Каролина вырезала из сладкого теста овечек и пекла их для меня. Оставьте своих овец на месте и пользуйтесь пастбищем, сколько вам надо. Как ваши финансы?

Старик с достоинством, сдержанно, но откровенно рассказал о своих несчастьях.

— Она тайком клала лишний кусок в мою школьную корзину, — я говорю о тетке Каролине, — сказал Король Джемс. — Я еду сегодня во Фрио-Сити и буду завтра возвращаться мимо вашего ранчо. Я возьму из банка две тысячи долларов и привезу вам, а Бродшоу я скажу, чтобы он отпускал вам в кредит все, что вам нужно. Вы, наверно, слышали дома поговорку, что Кинги и Ривзы жмутся друг к другу теснее, чем каштаны к своей оболочке. Я все еще Кинг, когда встречаюсь с Ривзом. И так ожидайте меня около заката и не беспокойтесь ни



о чем. Я не удивлюсь, если сухая погода погубит молодую траву.

Старик Эллисон радостно поехал на свое ранчо. Еще раз улыбки заполнили все его морщины. Совершенно неожиданно, волшебным действием родства и того добра, которое кроется где-то во всех сердцах, с него были сняты все заботы.

Вернувшись на ранчо, он узнал, что Сэма нет дома. Его гитара висела на лосином ремне на ветви дикой вишни и стонала, когда ветерок с залива пробежал по ее одиноким струнам.

Индеец пытался объяснить.

— Сэм, он поймал коня, — говорил он, — и сказал, что поедет во Фрио-Сити. Зачем — никто не знает. Сказал, что вернется сегодня вечером. Может быть, и так. Это все!

Как только высypали первые звезды, трубадур вернулся в свою гавань. Он отвел коня на пастбище и вошел в дом; шпоры его воинственно гремели.

Старик Эллисон сидел у кухонного очага, перед ним стояла кружка с вечерним кофе. Вид у него был довольный и радостный.

— Здорово, Сэм, — сказал он, — я страшно рад, что вы вернулись. Я не знаю, как я мог жить на этом ранчо, пока вы не приехали и не развеселили меня. Я готов побиться об заклад, что вы болтались с какой-нибудь девицей из Фрио, а потому задержались так поздно.

Тут старик Эллисон снова бросил взгляд на Сэма и увидел, что менестрель превратился в человека действия.

И пока Сэм вынимает из-за пояса шестизарядный револьвер, который Эллисон оставил дома, уезжая в город, мы можем сделать остановку и заметить, что когда трубадур где бы и когда бы то ни было откладывает в сторону свою гитару и берет меч, то непременно случается несчастье. Приходится бояться не удара специалиста, как Атос, не холодного умения Арамиса и не железных мышц Портоса, но гасконской ярости, дикой и не академической атаки трубадура — шпаги д'Артаньяна.

— Я сделал это, — сказал Сэм. — Я поехал во Фрио-Сити, чтобы это сделать. Я не мог позволить, чтобы он надел на вас ярмо, дядя Бен. Я встретил его в салуне Семмерса. Я знал, что мне делать. Я сказал ему несколько слов, которых никто другой не слышал. Он первый схватился за револьвер —



с полдюжины молодцов видели это, — но я успел скорее прицелиться. Я всыпал ему три дозы прямо в грудь, блюдечко могло бы покрыть их. Он больше не будет надоедать вам.

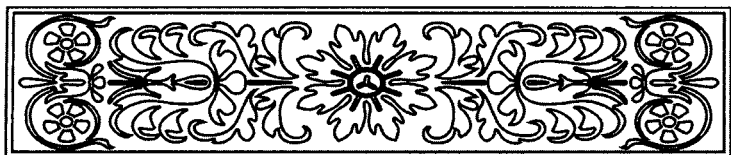
— Это вы... о Короле Джемсе говорите? — спросил старик Эллисон, прихлебывая кофе.

— Конечно, о нем. Меня повели к судье, но тут были все свидетели того, что он первый схватился за оружие. Разумеется, с меня потребовали залог в триста долларов в том, что я явлюсь в суд, но тут же нашлись четверо или пятеро человек, готовых поручиться за меня. Он больше не будет надоедать вам, дядя Бен! Вы бы посмотрели, как близко один от другого были следы пуль. Мне кажется, что игра на гитаре (так много, как я играю) должна развивать палец, нажимающий на курок. Как вы думаете, дядя Бен?

Затем в замке наступило недолгое молчание, прерываемое только шипением дичи, которую жарил индеец.

— Сэм, — сказал старик, дрожащей рукой поглаживая бакенбарды, — вам не трудно взять гитару и сыграть мне «Huile, huile, palomita!», раз или два. Это всегда как-то успокаивает меня, когда я устал или когда мне не по себе.

Больше сказать нечего, кроме разве того, что заглавие рассказа неверно. Его бы следовало назвать: «Последний барон». Трубадуры никогда не переведутся, и иногда кажется, что в звоне их гитар потонут звуки заглушенных ударов заступов и молотов всех труженников на свете.



ИЩЕЙКИ

В недрах Большого Города человек подчас исчезает внезапно и бесследно, как пламя задутой свечи. И вот уже кличут на помощь сыскную рать — матерых ищеек, следопытов городских лабиринтов, кабинетных сыщиков, этих приверженцев теории и мастеров индукции. Чаще всего человека так больше и не увидят. Бывает, что он объявится где-нибудь в Шебойгане или в пустынных дебрях близ Терри-Хот под экстравагантной фамилией типа «Смит» и в полном забвении всего, что было до определенного времени, включая счет, присланный от бакалейщика. Бывает, что, когда уже спущены водоемы и прочесаны рестораны на случай, если исчезнувший сидит и ждет, когда ему подадут хорошо прожаренную вырезку, вдруг обнаружится, что он просто переехал в соседний дом.

Итак, был человек — и нет его, как будто с классной доски стерли нарисованную мелом фигурку; поистине захватывающий сюжет для всякого драматурга.


Не лишен интереса в этой связи случай, который произошел с Мэри Снайдер.

Приехал с Запада в город Нью-Йорк средних лет мужчина по фамилии Микс, — приехал разыскать сестру, миссис Мэри Снайдер, вдову пятидесяти двух лет, которая год назад поселилась в многоквартирном доме одного из густонаселенных районов города.

В доме ему сказали, что Мэри Снайдер уже больше месяца, как съехала с квартиры. Нового ее адреса никто не знал.

Выйдя на улицу, мистер Микс обратился к постовому на углу и объяснил, в каком он затруднении.

— Мне во что бы то ни стало нужно найти ее, — сказал он. — Сестра очень бедствует, а я недавно нажил приличные деньги на акциях свинцового рудника и хочу, чтобы она поделила со мною богатство. Помещать объявление в газету нет смысла, она неграмотная.



Полицейский расправил усы и принял до того глубоко-мысленный и всемогущий вид, что Миксу почудилось, будто на его небесно-голубой галстук уже капаят слезы радости из глаз его сестры Мэри.

— Вы вот что, — сказал полицейский. — Ступайте на Канал-стрит, да наймитесь ломовым извозчиком на самую большую подводку. В том квартале что ни день обязательно собьют на мостовой старушку. Возможно, ваша тоже попадет под колеса. А не хотите, тогда надо идти в полицейское управление, пускай поставят на это дело сыскного агента.

В полицейском управлении к Миксу отнесли как нельзя более сочувственно. Был объявлен всеобщий розыск, и по всем полицейским участкам разослали карточки Мэри Снайдер, переснятые с фотографии, которая имела у брата. Начальник сыска полиции на Малбери-стрит поручил вести дело агенту Маллинзу.

Агент отвел Микса в сторонку.

— Случай нехитрый, распутаем в два счета, — сказал он. — Сбрейте баки, положите в карманы побольше хороших сигар, и сегодня в три мы встречаемся в кафе гостиницы «Уолдорф».

Микс все исполнил в точности. Маллинз ждал его в кафе. За бутылкой вина сыщик расспрашивал его о пропавшей.

— Ну, так, — сказал Маллинз. — Нью-Йорк — город большой, но дело у нас ведется по строгой системе. Найти вашу сестру можно двумя способами. Испробуем сначала первый. Ей, говорите, пятьдесят два года?

— И три месяца, — сказал Микс.


Сыщик повел приезжего в отдел объявлений одной из крупнейших газет. Там он написал и дал Миксу прочесть следующее:

«Срочно требуются: сто хорошеньких девушек для кордебалета новой музыкальной комедии. Обращаться по адресу: Бродвей, дом такой-то, с утра до вечера».

Микс возмущился.

— Моя сестра — бедная немолодая работающая женщина, — сказал он. — Не понимаю, как ее можно разыскать с помощью такого объявления.

— Н-да, — сказал сыщик. — Не знаете вы Нью-Йорка, вот в чем штука. Ну, ладно, не по душе вам этот метод, можем применить другой. Уж это будет дело верное. Только он вам дороже обойдется.



— Насчет расходов не беспокойтесь, — сказал Микс. — Валяйте, применяйте.

Агент повел его обратно, в «Уолдорф».

— Снимите номер на две спальни с гостиной, — распорядился он. — И пошли.

Микс повиновался. На четвертом этаже их проводили в роскошно обставленный номер-люкс. Микс озадаченно огляделся. Сыщик опустился в бархатное кресло и вытащил из кармана портсигар.

— Забыл вас предупредить, старина, — сказал он. — Надо было договориться, что плата помесечно. Тогда с вас не содрали бы столько.

— То есть как помесечно! — воскликнул Микс. — Да вы что?

— Да просто тут понадобится время. Я же сказал, что этот метод обойдется дороже. Сейчас засядем и будем ждать до весны. Весной выходит новая адресная книга. Очень может быть, что в ней окажется и адрес вашей сестры.

Микс поспешил распроститься с агентом. На другой день кто-то посоветовал ему обратиться к знаменитому Шемроку Джолнсу, частному нью-йоркскому детективу, который берет баснословно много за услуги, но зато творит чудеса в смысле раскрытия преступлений. Битых два часа дождался Микс в приемной великого сыщика, пока его наконец не пригласили войти. Джолнс, облаченный в пурпурный халат, сидел с журналом в руках за шахматным столиком, инкрустированным слоновой костью, и титаническим напряжением мысли старался разгадать мистическую тайну повести «Они». Нет нужды описывать здесь его одухотворенные аскетические черты, пронзительный взгляд и расценки на каждое сказанное слово — они слишком хорошо известны.

Микс изложил ему задачу.

— Если поиски увенчаются успехом, мой гонорар — пятьсот долларов, — сказал Шемрок Джолнс.

Микс поклонился в знак согласия.

— Хорошо, мистер Микс, — сказал Шемрок Джолнс в заключение. — Я берусь за ваше дело. Мне всегда было интересно, куда в этом городе пропадают люди. Помню, был год назад один случай, который мне удалось привести к благополучной развязке. Из небольшой квартиры нежданно-негаданно исчезли жильцы, некий Кларк со своим семейством. Два месяца я вел наблюдение за домом, где помещалась



квартира, надеясь напасть на ключ к разгадке тайны. Вдруг я обратил внимание, что один молочник и посыльный из бакалейной лавки, доставляя свой товар на верхний этаж, идут задом наперед. Это наблюдение навело меня на мысль, и, развивая ее по методу индукции, я сразу установил, где находится исчезнувшее семейство. Кларки переехали в квартиру напротив, на той же площадке, и сменили фамилию на Кралк.

Вместе с клиентом Шемрок Джолнс поехал по прежнему адресу Мэри Снайдер и потребовал, чтобы ему показали комнату, в которой она жила. Туда никто так и не въехал с тех пор.

Комнатенка оказалась тесная, обшарпанная, убого обставленная. Микс удрученно присел на колченогий стул, а великий детектив, ища следов пропавшей, принялся осматривать стены, пол, потолок и расхлябанную старую мебель.

Не прошло и получаса, как в руках у Джолнса оказался набор ничего, казалось бы, не значащих предметов — дешевенькая черная шляпная булавка, обрывок театральной программы и уголок, оторванный от бумажной карточкой, на котором стояло слово «левая», а под ним значилось: «Б» и «12».

Шемрок Джолнс облокотился о каминную полку и, подперев рукой подбородок, простоял минут десять с печатью глубокого раздумья на одухотворенном челе. На десятой минуте он встрепенулся и воскликнул:


— Вставайте, мистер Микс, загадка решена. Я могу хоть сию минуту показать вам дом, в котором живет ваша сестра. И не бойтесь, что она в стесненных обстоятельствах, она вполне обеспечена — по крайней мере, в настоящее время.

Микс не знал, чего в его душе больше, радости или изумления.

— Но как это вам удалось узнать? — спросил он с нескрываемым восхищением.

За Джолнсом водилась, пожалуй, одна-единственная слабость: он гордился своими необыкновенными профессиональными достижениями в области индукции и не пропускал случая поразить и заворожить слушателей описанием своих методов.

— Путем исключения, — сказал Джолнс, раскладывая свои находки на маленьком столике. — Я поочередно отметал те части города, куда могла бы переехать миссис Снайдер. Видите шляпную булавку? Она говорит нам, что Брук-



лин отпадает. Ни одна женщина не сядет в трамвай у Бруклинского моста, не вооружась шляпной булавкой, без которой ей никогда не протиснуться на свободное место. А теперь я докажу вам, что она не могла переехать и в Гарлем. За вот этой дверью вбиты в стену два крючка. На один миссис Снайдер вешала шляпку, на другой — шаль. Присмотритесь, и вы увидите, что от края шали на стенной штукатурке постепенно образовалась грязная полоса. След имеет четкие очертания, а это значит, что шаль была без бахромы. Но судите сами, где это видано, чтобы пожилая женщина с шалью на плечах садилась в гарлемский поезд, а шаль была без бахромы? Как ей тогда зацепиться за вагонную дверцу и застрять, и не давать войти другим пассажирам? Стало быть, Гарлем тоже отпадает.

Таким образом, я прихожу к заключению, что миссис Снайдер переехала куда-то неподалеку. На этом клочке бумаги, оторванном от карточки, мы видим слово «левая», букву «Б» и цифру «12». Ну а мне известно, что в доме двенадцать по авеню «Б» находится первоклассный пансион, который вашей сестре — предположительно — никак не по средствам. Но тут мне попадается вот этот обрывок театральной программы, весьма, заметьте, своеобразно смятый. О чем же он свидетельствует? Для вас, мистер Микс, скорее всего, ни о чем, однако для человека, приученного и привыкшего обращать внимание на малейший пустяк, он свидетельствует о многом.

Вы говорили, что ваша сестра работает уборщицей. Метет полы в кабинетах и коридорах различных учреждений. Давайте предположим, что она устроилась на такую работу в театр. Где, мистер Микс, чаще всего теряют ценные украшения? Разумеется, в театре. Взгляните же теперь на этот обрывок программы. Видите, изнутри отпечаталось что-то круглое? В эту бумажку, мистер Микс, было завернуто кольцо — и, возможно, очень дорогое. Миссис Снайдер приходит в театр и за уборкой находит кольцо. Она второпях отрывает клочок от программы, тщательно заворачивает кольцо и прячет его за пазуху. Назавтра она сбывает находку и, располагая теперь какими-то средствами, решает подыскать себе квартиру получше. Когда я дохожу до этого звена в цепи своих рассуждений, дом двенадцать по авеню «Б» уже не представляется мне чем-то невероятным. Там-то мы и найдем вашу сестрицу, мистер Микс.



И Шемрок Джолнс завершил свой убедительный монолог улыбкой художника, создавшего очередной шедевр. Микс от восхищения лишился речи. Вдвоем они направились на авеню «Б» к дому под номером двенадцать. То был старомодный особняк, в каких живут богатые, солидные люди; такие же дома стояли по сторонам.

Они позвонили и в ответ на свой вопрос услышали, что никакой миссис Снайдер тут не знают и вообще за последние полгода в этом доме не появлялось новых жильцов.

Когда они вновь очутились на тротуаре, Микс вынул предметы, найденные в комнате его сестры, и повертел их в руках.

— Я, конечно, не сыщик, — заметил он, поднося к носу обрывок театральной программы, — но мне лично кажется, что в эту бумажку было завернуто не кольцо, а мятный леденец — знаете, такой кругленький. А та, на которой адрес, похоже, оторвана от билета в кинематограф — левая сторона, ряд «Б», место двенадцать.

Шемрок Джолнс поглядел на него отсутствующим взглядом.

— По-моему, вам самое лучшее обратиться к Джагинсу, — сказал он.

— А кто такой Джагинс? — спросил Микс.

— Это основатель новой, современной школы сыскного дела, — сказал Джолнс. — Их методы отличаются от наших, но, говорят, Джагинсу удавалось справляться с совершенно головоломными задачами. Я вас отведу к нему.

Джагинса, затмившего великих, они застали в конторе. Это был щуплый белобрысый человечек, всецело захваченный чтением одного из добротных бытовых романов Натаниеля Готорна.

Великие представители двух различных школ сыска обменялись церемонным рукопожатием, и Джолнс представил Джагинсу своего клиента.

— Изложите обстоятельства дела, — сказал Джагинс, вновь погружаясь в чтение.

Когда Микс кончил, величайший из великих закрыл книгу и сказал:

— Насколько я понял, вашей сестре пятьдесят два года, справа под носом большая бородавка, неимущая вдова, может полы, чтобы заработать на пропитание, лицом и фигурой чрезвычайно невзрачна.



— Точнее не опишешь, — подтвердил Микс.

Джагинс встал и надел шляпу.

— Через пятнадцать минут я вернусь и принесу вам ее новый адрес, — сказал он.

Шемрок Джолнс побледнел, но все же выдавил из себя усмешку.

Когда указанное время истекло, Джагинс вернулся, держа в руке листок бумаги.

— Свою сестру Мэри Снайдер, — спокойно объявил он и заглянул в листок, — вы найдете в доме номер сто шестьдесят два по Чилтон-стрит. Третий этаж, последняя комната по коридору. Это всего за четыре квартала отсюда, — прибавил он, обращаясь к Миксу. — Может быть, сходите удостовериться, верны ли мои сведения, а после придете обратно? Мистер Джолнс, я полагаю, дождется вас.

Микс поспешно удалился. Через двадцать минут он появился в дверях с сияющим лицом.

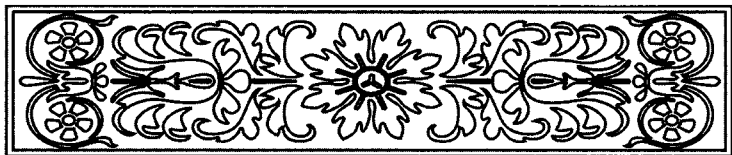
— Она там! — вскричал он. — Жива и здорова! Скажите, сколько я вам должен?

— Два доллара, — сказал Джагинс.

Когда Микс расплатился и ушел, Шемрок Джолнс, теребя в руках шляпу, стал перед Джагинсом.

— Боюсь, что это нескромно с моей стороны... — сбивчиво забормотал он. — Но если бы вы были столь любезны... не согласились бы вы...

— Да отчего же, — благодушно сказал Джагинс. — С удовольствием расскажу, как это делается. Помните вы приметы миссис Снайдер? Тогда скажите, мыслимое ли дело, чтобы подобная особа не заказала в рассрочку увеличенную пастельную копию своей фотографии? Самая большая мастерская в Америке по этой части помещается как раз за углом. Я туда зашел и списал ее адрес из книги заказов. Вот и все.



ЧАРОДЕЙНЫЕ ХЛЕБЦЫ

Мисс Марта Мичем содержала маленькую булочную на углу (ту самую, знаете? где три ступеньки вниз и когда открываешь дверь, дребезжит колокольчик).

Мисс Марте стукнуло сорок, на ее счету в банке лежало две тысячи долларов, у нее было два вставных зуба и чувствительное сердце. Немало женщин повыходило замуж, имея на то гораздо меньше шансов, чем мисс Марта.

Раза два-три на неделе в ее булочной появлялся покупатель, которым она мало-помалу заинтересовалась. Это был человек средних лет, в очках и с темной бородкой, аккуратно подстриженной клинышком.


Он говорил по-английски с сильным немецким акцентом. Костюм на нем — старенький, неотутюженный, местами подштопанный — сидел мешковато. И тем не менее вид у него был опрятный, а главное — манеры хорошие.

Этот покупатель всегда брал два черствых хлебца. Свежие хлебцы стоили пять центов штука. Черствые — два на пять центов. И ни разу он не спросил ничего другого.

Однажды мисс Марта заметила у него на пальцах следы красной и коричневой краски. Тогда она решила, что он художник и очень нуждается. Наверно, живет где-нибудь на чердаке, питается черствым хлебом и мечтает о разных вкусных вещах, которых так много в булочной у мисс Марты.

Принимаясь теперь за свой завтрак — телячья отбивная, сдобочки, джем и чай, — мисс Марта частенько выпускала вздох и сокрушалась, что этот художник, такой деликатный, воспитанный, вместо того чтобы делить с ней ее вкусную трапезу, гложет сухие корки у себя на чердаке, где гуляет сквозняк. Сердце у мисс Марты было, как вы уже знаете, чувствительное.

Решив проверить свою догадку о профессии этого человека, она вынесла из задней комнаты в булочную картину,



купленную когда-то на аукционе, и поставила ее на полку позади прилавка.

На картине изображалась сценка из венецианской жизни: на самом видном — вернее, на самом водном месте высилось великолепное мраморное палаццо (если верить подписи). Остальное пространство было занято гондолами (дама, сидевшая в одной из них, вела пальчиком по воде), облаками, небом и обилием светотени. Ни один художник не сможет пройти мимо такой картины, не обратив на нее внимания.

Через два дня покупатель зашел в булочную.

— Два шерстных хлебца, пожалуйста.

И когда мисс Марта стала заворачивать хлебцы в бумагу, он сказал:

— Какой у фас красивый картина, мадам.

— Да? — Мисс Марта пришла в восторг от собственной хитрости. — Я так люблю искусство и... (не рано ли говорить: «и художников»?) — Найдя подходящую замену, мисс Марта заключила: — ...и живопись. Вам нравится эта картина?

— Тфорец нарисован неправильно, — ответил покупатель. — Неферный перспектив. До свидания, мадам.

Он взял свои хлебцы, поклонился и быстро вышел. Да, тут и сомневаться нечего, он художник. Мисс Марта унесла картину обратно в заднюю комнату.

Какой мягкий, добрый свет излучали его глаза из-за очков! Какой у него высокий лоб! Спервого взгляда разобраться в перспективе — и жить на черством хлебе! Но гениям нередко приходится бороться за существование, прежде чем мир признает их.

А как выиграло бы искусство и перспектива, если бы такого гения поддержать двумя тысячами долларов на банковском счету, булочной и чувствительным сердцем... Но вы начинаете грезить наяву, мисс Марта!

Теперь, заходя в булочную, покупатель задерживался у прилавка минуточку-другую, чтобы поболтать с хозяйкой. Ее приветливость, видимо, радовала его.

Он продолжал покупать черствый хлеб. Ничего, кроме черствого хлеба, ни пирожных, ни пирожков, ни ее восхитительного песочного печенья.

Мисс Марте казалось, что он похудел за последнее время, стал какой-то грустный. Ей так хотелось добавить чего-

нибудь вкусного к его скудным покупкам, но всякий раз мужество покидало ее. Она не осмеливалась нанести ему обиду. Ведь эти художники такие гордые. Мисс Марта стала появляться за прилавком в шелковой блузке — белой, синим горошком. В комнате позади булочной она состряпала некую таинственную смесь из айвовых семечек и буры. Многие употребляют это средство для придания белизны коже.

В один прекрасный день покупатель зашел в булочную, положил на прилавок, как обычно, монету в пять центов и спросил свои всегдашние черствые хлебцы. Мисс Марта только протянула руку к полке, как вдруг на улице раздался рев сирены, грохот колес, и мимо булочной пронеслась пожарная машина.

Покупатель бросился к двери, как сделал бы каждый на его месте. Мисс Марта, осененная блестящей мыслью, воспользовалась этим.

На нижней полке под прилавком лежал фунт сливочного масла, которое молочник принес ей минут десять назад. Мисс Марта надрезала ножом черствые хлебцы, вложила в каждый по солидному куску масла и крепко прижала верхние половинки к нижним.

Когда покупатель вернулся от двери, она уже завертывала хлебцы в бумагу.

После коротенькой, но особенно приятной беседы он ушел, и мисс Марта молча улыбнулась, хотя сердце у нее билось беспокойно.


Может быть, она слишком много себе позволила? А что, если он обидится? Нет, вряд ли! Съедобные вещи не цветы — у них нет своего языка. Сливочное масло вовсе не обозначает нескромности со стороны женщины. В тот день мисс Марта много думала обо всем этом. Она представляла себе, как он обнаружит ее невинную хитрость.

Вот он откладывает в сторону свои кисти и палитру. На мольберте у него стоит картина с безукоризненной перспективой.

Он собирается позавтракать сухим хлебом с водицей. Разрезает хлебцы и... ах!

Мисс Марта залилась румянцем. Подумает ли он о руке, которая положила в хлебцы масло? Захочет ли...

Звонок на двери злобно тренькнул. Кто-то входил в булочную, громко стуча ногами. Мисс Марта выбежала из задней комнаты. У прилавка стояли двое мужчин. Какой-то мо-



лодой человек с трубкой — его она видела впервые; второй был ее художник.

Весь красный, в сдвинутой на затылок шляпе, взлохмаченный, он сжал кулаки и яростно затряс ими перед лицом мисс Марты. Перед лицом мисс Марты!

— Dummkopf! — что есть силы закричал он по-немецки. Потом — Tausendonfer! — или что-то в этом роде.

Молодой человек потянул его к выходу.

— Я не хочу уходить, — свирепо огрызнулся тот, — пока я не скажешь ей все до конца.

Под его кулаками прилавок мисс Марты превратился в турецкий барабан.

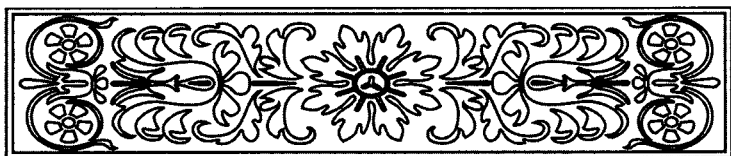
— Вы мне испортили! — кричал он, сверкая на нее сквозь очки своими голубыми глазами. — Я все, все скажу! *Вы нахальный старый коиска!*

Мисс Марта в изнеможении прислонилась спиной к хлебным полкам и положила руку на свою шелковую блузку — белую, синим горошком. Молодой человек схватил художника за шиворот.

— Пойдемте! Высказались — и довольно. — Он вытащил своего разъяренного приятеля на улицу и вернулся к мисс Марте.

— Вам все-таки не мешает знать, сударыня, — сказал он, — из-за чего разыгрался весь скандал. Это Блюмбергер. Он чертежник. Мы с ним работаем вместе в одной строительной конторе. Блюмбергер три месяца, не разгибая спины, трудился над проектом здания нового муниципалитета. Готовил его к конкурсу. Вчера вечером он кончил обводить чертеж тушью. Вам, верно, известно, что чертежи сначала делают в карандаше, а потом все карандашные линии стирают черствым хлебом. Хлеб лучше резинки. Блюмбергер покупал хлеб у вас. А сегодня... Знаете, сударыня, ваше масло... оно, знаете ли... Словом, чертеж Блюмбергера годится теперь разве только на бутерброды.

Мисс Марта ушла в комнату позади булочной. Там она сняла свою шелковую блузку — белую, синим горошком, и надела прежнюю — бумажную, коричневого цвета. Потом взяла притиранье из айвовых семечек с бурой и вылила его в мусорный ящик за окном.



ГОРДОСТЬ ГОРODOB

Киплинг сказал: «Города преисполнены гордости и соперничают друг с другом».

Так оно и есть.

Нью-Йорк опустел. Двести тысяч человек из его населения уехали на лето. Три миллиона восемьсот тысяч остались, чтоб охранять квартиры и платить по счетам отсутствующих.

Нью-йоркский гражданин сидел за столиком в саду на крыше и впитывал в себя утешение через соломинку. Его па-нама лежала на стуле. Июльская публика разбрелась по залу так же широко, как разбегаются аугфильдеры, когда на поле выступает чемпион. На эстраде время от времени пели или танцевали.


С залива дул прохладный ветерок; вокруг и наверху (только не на сцене) сияли звезды. Иногда мелькал лакей, но быстро исчезал, как испуганная серна. Предусмотрительные посетители, заказавшие себе ужин с утра по телефону, теперь вкушали заказанное. Нью-йоркский гражданин сознавал, что в окружающем его комфорте есть недостатки, но сквозь его очки все же светилось удовольствие. Его семья уехала из города. Напитки были теплые, но его семья не вернется раньше сентября.

Вдруг в сад ввалился человек из Топаз-Сити, Невада.

Мрачное настроение одинокого зрителя охватило его. Лишенный радости по причине своего одиночества, он бродил по увеселительным заведениям с лицом вдовца. Когда он стал задыхаться от сквозняка метрополитена, им овладела жажда человеческого общества.

Он отправился прямо к столику ньюйоркца.

Ньюйоркец, обескураженный и развращенный беспорядочной атмосферой сада на крыше, решил на полное от-речение от своих жизненных традиций. Он решил пошатнуть одним быстрым, дьявольски-смелым, порывистым, сногшибательным поступком все условности, которые бы-



ли до тех пор вплетены в его существование. Выполняя этот крайний и поспешный замысел, он слегка кивнул головой незнакомцу, когда тот приблизился к столу.

Через минуту человек из Топаз-Сити оказался в списке ближайших друзей ньюйоркца. Он занял один стул за столом, придвинул еще два для своих ног, швырнул свою широкополую шляпу на четвертый и поведал своему новообретенному товарищу историю своей жизни.

Ньюйоркец слегка оттаял, как согреваются в домах с центральным отоплением квартиры, когда наступает май. Лакей, показавшийся в неосторожную минуту на их горизонте на расстоянии оклика, был захвачен ими и отправлен с поручением на кухню.

— Вы давно здесь в городе? — осведомился ньюйоркец, и заготовил подходящий «на-чай» на случай, если лакей вернется с чересчур крупной сдачей.

— Я? — сказал человек из Топаз-Сити. — Четыре дня. А вы бывали когда-нибудь в Топаз-Сити?

— Я? — сказал ньюйоркец. — Я никогда не забирался на Запад дальше Восьмой авеню. У меня был брат, он умер на Девятой, но я встретил процессию на Восьмой. На гробу лежал пучок фиалок, и гробовщик поставил его в счет, чтоб не вышло ошибки. Да, не могу сказать, чтоб я уж очень был знаком с Западом.

— Топаз-Сити, — сказал человек, занимавший четыре стула, — один из лучших городов в мире.

— Я полагаю, вы осматривали нашу столицу, — сказал ньюйоркец. — Четырех дней, конечно, мало, чтобы ознакомиться даже с главнейшими нашими достопримечательностями. Но можно составить себе некоторое общее впечатление. Приезжих обыкновенно больше всего поражает наше архитектурное превосходство. Вы, конечно, видели наш самый большой небоскреб Утюг? Он считается...

— Видел, — сказал человек из Топаз-Сити, — но вам следует побывать в наших краях. У нас, знаете ли, гористая местность, и все дамы носят короткие юбки, чтобы лазить по горам, и...

— Извините меня, — сказал ньюйоркец, — но не в этом суть. Нью-Йорк должен показаться приезжему с Запада необычайным откровением. Ну а наши отели...

— Послушайте, — сказал человек из Топаз-Сити, — я, кстати, вспомнил: у нас в прошлом году убили в двадцати

милях от Топаз-Сити шестнадцать грабителей дилижансов.

— Я говорил об отелях, — сказал ньюйоркец. — Мы обогнали Европу в этом отношении. И, поскольку это касается нашего высшего класса, мы далеко...

— О! Как сказать! — перебил человек из Топаз-Сити. — У нас в тюрьме было двадцать человек бродяг, когда я уехал из дому. Я полагаю, что Нью-Йорк не так...

— Извините, вы, по-видимому, неверно поняли мою мысль. Вы, конечно, осмотрели Уолл-стрит и Биржу, где...

— О! да! — сказал человек из Топаз-Сити, зажигая зловонную пенсильванскую сигару. — Я хотел вам сказать, что у нас самый замечательный городской мэр к западу от Скалистых гор, Бил Рейнер поймал в толпе пять карманных воров, когда Томсон Красный Нос праздновал закладку своего нового бара. В Топаз-Сити не разрешается...

— Выпьем еще рейнвейна с сельгерской? — предложил ньюйоркец. — Я никогда не был на Западе, как я уже вам докладывал, но там не может быть города, равного Нью-Йорку. Что касается до претензий Чикаго, то я...

— Один человек, — сказал топазец, — всего только один человек был убит и ограблен в Топаз-Сити за последние три...


— О! Я знаю, что такое Чикаго, — перебил ньюйоркец. — А вы были на нашей Пятой авеню, где стоят роскошные особняки ваших миллионеров?

— Видел их всех. Вам следовало бы познакомиться с Ребом Стигголом, податным инспектором в Топазе. Когда старик Тильбери, собственник единственного двухэтажного дома в городе, попытался показать свой доход, вместо шести тысяч долларов, в четыреста пятьдесят, Реб нацепил свой револьвер сорок пятого калибра и пошел посмотреть...

— Да, да, но, говоря о нашем великом городе, одно из его огромнейших преимуществ это — наш великолепный департамент полиции. Ни один полицейский корпус в мире не может сравниться с ним по...

— Этот лакей ходит, как сонная муха, — заметил человек из Топаз-Сити, мучаясь жаждой. — У нас в городе также есть богачи, стоящие, некоторые, четыреста тысяч долларов. Например, старый Билл Визерс, или полковник Меткалф, или...

— Вы видели Бродвей ночью? — любезно спросил ньюйоркец. — На свете мало улиц, которые могут с ним срав-



ниться. Когда горит электричество и тротуары оживляются двумя быстрыми потоками элегантно одетых мужчин и красивых женщин в самых дорогих нарядах, и все это кружится взад и вперед в тесном лабиринте дорогих...

— Я знал только один подобный случай в Топаз-Сити, — сказал человек с Запада. — У Джима Беллей вытащили из кармана часы с цепочкой и двести тридцать пять долларов наличными, когда...

— Это другое дело, — сказал ньюйоркец. — Пока вы ходите в нашем городе, вы должны пользоваться каждым представляющимся вам случаем, чтобы пользоваться на его чужда. Наша городская система передвижения...

— Если бы вы были в Топазе, — перебил человек оттуда, — я показал бы вам целое кладбище людей, убитых вследствие несчастных случаев. Что касается массового калечения людей... Позвольте, когда Берри Роджерс стрелял направо и налево из своего старого двуствольного ружья, заряженного дробью...

— Послушайте, человек! — позвал ньюйоркец. — Еще два бокала таких же. Всеми признано, что наш город является центром искусства, литературы и науки. Возьмите, например, наших застольных ораторов. Где во всей стране вы встретите такое остроумие и красноречие, какие излучают Денью, Форд и...

— Если вы читаете газеты, — прервал его западник, — вы, наверное, читали о дочери Пита Вебстера? Вебстеры живут двумя кварталами выше суда. Мисс Тилли Вебстер проспала, не просыпаясь, сорок дней и ночей. Доктора говорили, что...

— Передайте спички, пожалуйста, — сказал ньюйоркец. — Вы заметили, с какой быстротой в Нью-Йорке возводятся новые здания? Усовершенствования и изобретения в области техники...

— Я заметил, — сказал невадец, — что по статистике Топаз-Сити только один плотник был раздавлен упавшими лесами в прошлом году, да и то во время урагана.

— Критикуют наши небоскребы, — продолжал ньюйоркец, — и возможно, что мы еще не достигли совершенства в художественной стороне архитектуры. Но я могу смело утверждать, что мы опередили всех в области живописи и декоративного искусства. В некоторых наших домах можно встретить шедевры живописи и скульптуры. Тот, кто имеет вход в наши лучшие галереи, найдет...



— Бросьте! — воскликнул человек из Топаз-Сити. — В прошлом месяце в нашем городе была игра; так до девяноста тысяч долларов перешли из рук в руки на пару валетов.

— Там-рам-та-ра-ра-ра, — зазвучал оркестр. Занавес лениво опустился. Публика неторопливо спустилась на лифте и по лестницам.

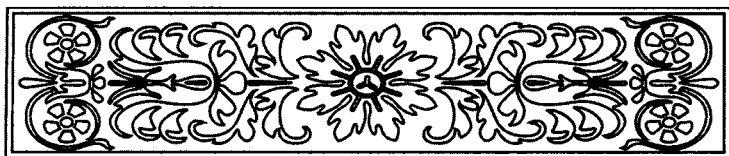
Внизу, на тротуаре, ньюйоркец и человек из Топаз-Сити обменялись рукопожатиями с серьезностью пьяных людей. Воздушная дорога хрипло трещала, трамвай гудели и звенели, извозчики ругались, газетчики орали, колеса скрипели, раздирая уши.

Ньюйоркцу пришла в голову счастливая мысль: теперь уж он надеялся утвердить превосходство своего города.

— Вы должны согласиться, — сказал он, — что в отношении шума Нью-Йорк далеко опередил любой из других...

— Идите вы в болото, — сказал человек из Топаз-Сити. — В тысяча девятисотом году к нам приезжал духовой оркестр; как раз в это время у нас шли выборы, и вот вы буквально не могли...

Грохот фургона заглушил дальнейшие его слова.



НАЛЕТ НА ПОЕЗД

Примечание. Рассказ этот я услышал от человека, за которым несколько лет кряду охотилась полиция юго-запада и который сам занимался деятельностью, столь чистосердечно им описываемой. Его описание *modus operandi*¹ представляется мне заслуживающим внимания, а советы могут оказаться полезными для пассажира, которому случится стать жертвой железнодорожного налета. В то же время его рассказ о тех радостях, которые сулит грабительское дело, вряд ли кого соблазнит овладеть этой профессией. Привожу его рассказ почти дословно.


О. Г.

Если вы спросите, — трудно ли ограбить поезд, большинство опрошенных ответит: да. Неправда, нет ничего проще. Я доставил немало беспокойств железным дорогам и бессонных ночей пульмановской компании, мне же моя профессия налетчика никаких неприятностей не приносила, если не считать того, что бессовестные людишки, когда я спускал награбленное, обдирали меня как липку. Риск в нашем деле невелик, ну а неприятности нас не оставляли.

Известен случай, когда поезд чуть не ограбили в одиночку, раз-другой поезда грабили на пару, расторопным ребятам удавалось справиться втроем, но вернее всего грабить поезд впятером. Выбор места и времени для налета зависит от разных обстоятельств.

Самый первый раз я участвовал в ограблении в 1890 году. Если рассказать вам, как я дошел до жизни такой, вы, может быть, поймете, что толкает большинство грабителей на этот путь. Из шести правонарушителей на Западе пять — ковбои, потерявшие работу и сбившиеся с панталыку. Шестой — хулиган с Востока, который рядится бандитом и откалывает такие гнусные номера, что марает

¹ Образа действий (*лат.*).




имя всех остальных. В судьбе первых пятерых виноваты колонисты и проволочные изгороди, в судьбе шестого — дурное сердце.

Мы с Джимом работали на 101 ранчо в Колорадо. Колонисты там утесняли ковбоев по-всякому. Забрали себе землю и поставили полицейских, на которых не угодишь. Раз мы с Джимом завернули по дороге в Ла-Хунту — поработали на загоне скота и возвращались на юг. Ну, позабавились малость, но чинно-благородно, никого не трогали, и вдруг — нате вам — фермерская администрация хочет нас замести. Джим пристрелил помощника шерифа, а я вроде как встал на его сторону в споре.

Поскакали по их главной улице взад-вперед, постреляли, но остались целы-невредимы. А потом рванули на наше ранчо. Летать наши лошади не могли, но в скорости не уступали птицам.

А так примерно через недельку заявляется туда шайка этих ла-хунтовских рвачей, требует, чтобы мы с ними ехали назад. Мы, ясное дело, ни в какую. Нам что — мы ведь в доме укрылись, только не успели мы им свой отказ изложить до конца, как они наш саманный домишко весь изрешетили пулями. А чуть стемнело, мы их обстреляли и дернули задами в горы. Они тоже в долгу не остались, популяли нам вдогонку. Нам с Джимом пришлось разъехаться — ничего тут не поделаешь, встретиться мы уговорились в Оклахоме.

В Оклахоме мы никуда не пристроились, и как край подошел, решились повернуть это дело с железными дорогами. Мы с Джимом вошли в компанию с Томом и Айком Мур — двумя братьями, у которых было столько пороху, что им прямо-таки не терпелось переплавить его в звонкую монету. Я смело называю их имена, потому что оба они уже на том свете. Тома застрелили, когда он грабил банк в Арканзасе, Айк подорвался на более опасном дельце: его убили на танцульке в Крик-Нейшн. Мы выбрали одно местечко на линии Санта-Фе, там через глубокое ущелье идет мост, а кругом густой лес. Все пассажирские поезда брали воду из цистерны неподалеку от моста. Место самое что ни на есть глухое, ближе чем за пять миль домов нет. Накануне мы дали роздых лошадям и обговорили, как лучше обстряпать налет. Планы у нас были нехитрые: ведь никто из нас грабежами раньше не занимался.



По расписанию экспресс подходил к цистерне в 11.15 вечера. Ровно в одиннадцать мы с Томом залегли по одну сторону полотна, Джим с Айком по другую. Когда поезд стал приближаться и я увидел, как свет головного прожектора разрезает тьму, услышал, как паровоз со свистом выпускает пар, у меня затряслись поджилки. Я готов был год отработать на ранчо бесплатно, лишь бы выйти сейчас из игры. Самые рискованные ребята потом говорили, что им тоже было не по себе, когда они в первый раз шли на дело.

Едва поезд замедлил ход, я вскочил на одну подножку, Джим на другую. Стоило машинисту и кочегару увидеть наши пушки, как они, не ожидая приказаний, подняли руки вверх и попросили не стрелять, обещая слушаться нас во всем.

— Прыгай! — приказал я, и они попрыгали на землю.

Мы погнали их вдоль состава. Пока мы занимались обслугой, Том и Айк — каждый со своей стороны — открыли пальбу, пальбу они сопровождали диким гиканьем на манер апачей, чтобы отбить у пассажиров охоту высовываться. Один олух выставил в окно свою игрушку двадцать второго калибра и пульнул в белый свет. Я звезданул по стеклу прямо над его головой. После этого у пассажиров начисто пропало желание сопротивляться. К этому времени я перестал бояться. И если и волновался, то не без приятности, вроде как бывает на танцах или, скажем, на вечеринке. Света в вагонах видно не было, и едва Том с Айком перестали бесноваться, стало тихо, как на кладбище. Помнится, я слышал, как в кустах у дороги чирикала птичка, будто плакалась, что ей не дают спать.

Я велел кочегару достать фонарь, пошел к почтовому вагону и крикнул почтальону, чтоб он открыл дверь, не то я его продырявлю. Он встал на пороге, руки поднял вверх. «Прыгай за борт, братец», — сказал я, и он плюхнулся в грязь, как шматок свинца. В вагоне стояли два сейфа — один побольше, другой поменьше. Между прочим, первым делом я вытащил почтальонский арсенал — двуствольный дробовик, заряженный картечью, и пистолет тридцать восьмого калибра. Вынул из дробовика патроны, пистолет сунул в карман и крикнул почтальону, чтоб шел в вагон. Ткнул пушку ему в нос, и он заработал как миленький. С большим сейфом он не справился, но маленький одолел. Там оказалось всего-навсего девятьсот долларов. Убогая

пожива после всех наших трудов, и мы решили прочесать пассажиров. Обслугу завели в курительный вагон, машиниста отправили зажечь свет в вагонах. В дверях каждого вагона, начиная с первого, поставили по человеку, а пассажирам велели поднять руки вверх и выйти в проход.

Если хотите знать, какие трусы составляют большинство человечества, ограбьте пассажирский поезд. Я так говорю не потому, что пассажиры не сопротивляются (я вам потом объясню, почему они не могут сопротивляться), просто жалко смотреть, как они пугаются. И здоровяки-коммивояжеры, и фермеры, и отставные вояки, и франты в воротничках до ушей, и игроки, от чьей похвальбы только что дрожали стекла в вагоне, все они празднуют труса.

По позднему времени большинство пассажиров ехало спальным, потому в остальных вагонах нам не удалось поживиться. Проводник пульмановского вагона загородил собой проход, но Джим в это время уже подходил к другой двери. Проводник любезно сообщил, что никак не может пропустить меня в вагон, ибо спальный вагон не принадлежит железной дороге, не говоря о том, что пассажиров и так уже потревожили крики и стрельба. В жизни не встречал человека, который бы с большим достоинством нес свои служебные обязанности и так верил бы в чудодейственную силу имени великого Пульмана. Я ткнул мистера Проводника в живот моим шестизарядным, да так, что пуговица с его жилета намертво закупорила дуло, только выстрелом мне удалось от нее избавиться. Проводник мигом заткнулся и кубарем скатился по ступенькам.


Я распахнул дверь и вошел в вагон. Ко мне, пыхтя и отдуваясь, подковылял толстый старик. Одну руку он успел продеть в рукав пиджака и теперь пытался натянуть жилет поверх него. Понятия не имею, за кого он принял меня.

— Молодой человек, — сказал он. — Не теряйте головы, сохраняйте хладнокровие.

— Не могу, — сказал я. — Я весь дрожу.

Тут я заверещал и разрядил свой кольт в потолочный фонарь.

Старик хотел юркнуть на нижнюю полку, но не тут-то было: оттуда вылетел визг, и чья-то голая нога так врезала старику в живот, что он шмякнулся на пол. К этому времени Джим уже вскочил в вагон с другой стороны, так что я велел пассажирам вытряхиваться с полок и строиться в



проходе. Пассажиры полезли вниз, зрелище было, я вам доложу, ну чисто цирк о трех аренах. Они дрожали, как кролики в сугробе. В среднем на каждого приходилось по четверти костюма и ботинку. Один тип сидел на полу в проходе, судя по его лицу, можно было подумать, что он трудится над головоломной задачей. Он озабоченно натягивал дамский ботинок второго номера на свою ножичку девятого.

Дамы одеваться не стали. Им, голубушкам, так не терпелось посмотреть на взаправдашнего, живого железнодорожного бандита, что они, не тратя времени попусту, обмотались простынями и одеялами и, пища и трепыхаясь, поспали с полком. Слабый пол, он всегда и любопытнее и храбрее.

Когда мы, наконец, построили пассажиров в ряд и угмонили, я обыскал их одного за другим. Ничего путного, точнее сказать, ценного, у них не нашлось. Но на одного типа просто стоило посмотреть. Это был спесивый разъевшийся лодырь из тех, что торчат с умным видом в президиуме. Прежде чем выйти на люди, он успел нацепить сюртук и цилиндр. Ниже его прикрывали только пижамные штаны и мозоли. Я рассчитывал изъять у этого принца Альберта не меньше пачки акций золотых приисков и охалки государственных облигаций, а нашел всего-навсего детскую губную гармошку. Не возьму в толк, для какой надобности он ее возил. Меня даже злость разобрала, так я обмишурился. Я смазал его гармошкой по губам.

— Не можешь платить — играй, — говорю.

— И играть не могу, — говорит он.

— Тогда учись по-быстрому, — сказал я и дал ему нюхнуть мою пушку.

Он схватил гармошку, стал багровый, как свекла, и давай дуть. Наигрывал он премиленький мотивчик, помню, я его еще мальчонкой слышал:

*Что за девчоночка я была,
Мама красоткой меня звала...*

И так он играл без передыху до самого нашего ухода. Когда ему не хватало воздуха или он сбивался — а это случалось частенько, — я наставлял на него пушку и спрашивал, что же такое стряслось с этой девчоночкой, уж не взду-

мал ли он ее покинуть, и он мигом начинал наяривать с новой силой.

Смешнее этого типа, наяривающего — босиком и в цилиндре — на губной гармошке, в жизни я ничего не видал. Одна рыжая красотка, глядя на него, чуть не надорвала живот со смеху. Ее, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Потом Джим держал пассажиров на мушке, а я обшаривал полки. Я рылся в постелях и бросал в наволочку все, что попадалось под руку — чего только там не было! То и дело я натыкался на пугачи, которыми впору только зубы пломбировать, и кидал их в окно. Покончив с обыском, я вытряхнул наволочку посреди прохода. Оказалось, что я набрал порядком часов, браслетов, колец и сумочек вперемешку с челюстями, фляжками, пудреницами, шоколадными конфетами и шиньонами всевозможной длины и расцветки. Нашлось там и с десяток дамских чулок, которые я выудил из-под матрасов, они были туго набиты дамскими украшениями, часами и пачками банкнот. Я вызвался вернуть «скальпы», как я их называл, сказал, что мы не индейцы, но все дамочки изобразили удивление: мол, они в первый раз такое видят. Одна из пассажирок — и очень недурная собой, — замотанная в полосатое одеяло, увидев, как я поднял с полу увесистый чулок, закричала:

— Это мой чулок, сэр. Скажите, ведь не в ваших привычках грабить женщин?


Так как это был наш первый налет, мы не успели подрабатывать моральный кодекс, и я растерялся. Но, как бы там ни было, я ответил: «Во всяком случае, эта привычка еще не сделалась второй натурой. Если тут ваши личные вещи, я вам их верну».

— Именно что личные, — пылко заверила дамочка и потянулась за чулком.

— Прошу прощения, но я все-таки хочу поглядеть, что там такое, — сказал я и взялся за носок. На пол полетели золотые мужские часы не меньше двухсот долларов ценой, мужской бумажник, потом мы в нем нашли шестьсот долларов и револьвер тридцать второго калибра, из дамских вещей там был только серебряный браслет центов за пятьдесят.

Я сказал:

— Вот эта вещичка и впрямь ваша, — и протянул ей браслет. — А теперь, — продолжал я, — как вы можете ждать, чтобы мы с вами поступали по-хорошему, когда вы



нас так обманываете? Я вам просто удивляюсь.

Красотка покраснела так, будто ее и впрямь поймали с поличным. Другая пассажирка крикнула: «Какая низость!» До сих пор не знаю, к кому она адресовалась — к той дамочке или ко мне.

Управившись с делами, мы наказали пассажирам ложиться спать, с порога вежливоенько пожелали им спокойной ночи и смылись. На рассвете — за сорок миль от моста — мы поделили добычу. Каждому досталось по 1752 доллара 85 центов чистогоаном. Побрякушки мы поделили на глазок. И разъехались кто куда, каждый сам себе хозяин.


Так прошел мой первый налет, и дался он мне не труднее остальных. Правда, потом я твердо держался почтового вагона, пассажиров я больше никогда не касался. На мой вкус, нет ничего неприятнее в нашем деле. За восемь лет через мои руки прошло немало денег. Самая крупная пожива мне досталась ровно через семь лет после первого налета. Мы разнюхали, каким поездом повезут жалованье солдатам в один из гарнизонов. И налетели на поезд прямо среди бела дня. Наша пятерка залегла в песчаных холмах неподалеку от полустанка. Для охраны на поезде ехало десять солдат, но с таким же успехом их могли распускать по домам. Мы не дали им даже высунуться из вагона, полюбоваться нашей работой. Так что деньги нам достались шутя и все, заметьте, золотом. Шуму в ту пору ограбление наделало большого. Деньги были казенные, так что правительство взъелось и ну задавать ехидные вопросы: для какой, мол, надобности поезд сопровождал конвой. Военные говорили: никто, мол, не ожидал, что грабители налетят на поезд днем, среди голых песчаных холмов — больше они в свое оправдание ничего не могли сказать. Не знаю, как приняло их оправдания правительство, но я-то знаю, что они говорили дело. Потому что главное в налете — внезапность. Газеты печатали всякие небьлицы о размерах понесенного казной ущерба и в конце концов сошлись на том, что ущерб составлял 9—10 тысяч. Правительство помалкивало. Но вам я назову верную цифру, она еще ни разу в печати не появлялась — мы тогда хапнули 48 тысяч. Если вам не лень, покопайтесь, выясните, как дядя Сэм провел этот небольшой дебет-кредит через свой личный бюджет, и вы убедитесь, что сумма мной названа верная, до одного цента.

К тому времени мы уже успели поднакопить опыт и знали, что к чему. Мы отмахали миль двадцать на запад, оставляя за собой такой след, что и бродвейскому полисмену бросился бы в глаза, и вернулись тем же путем назад, только на этот раз уже замечая следы. А через день, когда отряды доброхотов прочесывали местность во всех направлениях, мы с Джимом ужинали на втором этаже у одного нашего друга, в том самом городе, откуда за нами выслали погоню. Наш друг показал нам, как в доме через дорогу печатная машина тискает объявления, в которых обещается вознаграждение за нашу поимку.

Меня спрашивали, что мы делаем с награбленными деньгами. Так вот, как спустишь деньги, никогда не помянешь, куда они ушли. Деньги плывут между пальцами, как песок. Человеку, который объявлен вне закона, нужно много друзей. Почтенный гражданин может обойтись, и частенько обходится, двумя-тремя приятелями, но человеку, за которым охотится полиция, без «дружков» нельзя. Когда отряды разъяренных доброхотов и нацелившиеся на вознаграждение полицейские гонятся за ним по пятам, ему не выжить, если он не подготовит себе заранее несколько домов, где можно передохнуть, поесть, покормить коня и поспать несколько часов кряду спокойно. Вот почему, ограбив поезд, бандит обязательно одаряет своих друзей и одаряет не скупясь. Бывало, смываясь после недолгого отдыха в одной из этих мирных обителей, я кидал горсть золота и банкнот игравшим на полу ребятам, не зная даже, сколько там было — сто долларов или тысяча.

Когда бывалому грабителю случается крупно поживиться, он чаще всего отправляется спускать деньги в большие города. Новички же, как бы успешно они ни провели налет, попадают на том, что швыряют деньги неподалеку от тех мест, где они их хапнули.

В 94-м году мне довелось участвовать в одной работенке, на которой мы огребли 20 000 долларов. От погони мы ушли нашим испытанным манером — сдвоили след и на время затаились неподалеку от тех мест, где поезд нарвался на нас. И вот как-то утром читаю я в газете статейку под большой шапкой, в статейке пишут, что шериф с восемью помощниками, а также тридцать вооруженных доброхотов окружили грабителей в мескитовых зарослях на берегу реки Симаррон и через час-другой станет ясно, будут



они захвачены живыми или мертвыми. Я читал эту статью за завтраком в одном из самых роскошных особняков в Вашингтоне, и прислуживал мне холуй в штанах до колен. Напротив меня сидел Джим, он беседовал со своим единопутробным дядей, моряком в отставке, чье имя то и дело встречается на страницах великосветской хроники. После налета мы махнули в столицу, закупили себе всяких шикарных одежек и отдыхали от трудов несправедливых среди воротил и тузов. Видно, мы погибли в тех мескитовых зарослях, потому что мы не сдались — в этом я готов присягнуть.

А теперь я хочу вам сначала объяснить, почему так легко ограбить поезд, а потом, почему я никому не посоветую этим заниматься.

Во-первых, все преимущества на стороне бандитов. Ясное дело, если они не новички, а парни бывалые и рисковые. Бандиты нападают ночью, исподтишка, а противник их весь на виду, ему некуда укрыться в тесном вагоне, если же какой-нибудь смельчак и решится высунуть голову в окно или в дверь, он становится мишенью для бандита, у которого рука не дрогнет убить человека.

Но больше всего налет, по-моему, облегчает внезапность нападения, помноженная на воображение пассажиров. Если вам доводилось видеть коня, который наелся дурману, вы поймете, о чем я веду речь. У такого коня прямо-таки немыслимое воображение. Его никак не уломаешь перейти ручеек шириной в два фута. Ему чудится, что этот ручеек чуть не шире Миссисипи. Так же обстоит дело и с пассажиром. Ему мерещится, что за окнами беснуется добрая сотня бандитов, а на самом деле их там всего двое-трое. Дуло кольта 45-го калибра кажется ему не меньше жерла туннеля. Обычно с пассажиром особых хлопот не бывает, хотя он и способен на мелкие подлости; засунет, к примеру, пачку денег в башмак и забывает ее выложить, пока не пощекочешь ему ребра стволом шестизарядного; но вообще-то пассажир — тварь безвредная.

Что же касается поездной бригады, то и стадо овец могло бы доставить больше неприятностей. И не потому, что они такие уж трусы, просто они люди здравые. Они знают, что бандиты шутить не любят. То же можно сказать и о полицейских. Мне доводилось видеть, как тайные агенты, шерифы и железнодорожные сыщики расставались со свои-


ми капиталами кротче кроткого. Я видел, как один из самых храбрых шерифов, которых мне случалось встречать, когда я стал собирать с пассажиров дань, заткнул свою пушку под сиденье и выложил денежки не хуже остальных. И не потому, что он испугался, просто он понимал, что сила на нашей стороне. Кроме того, большинство полицейских люди семейные и не хотят рисковать жизнью; человек же, который пошел на грабеж, смерти не боится. Он знает, что рано или поздно его пристрелят, и так оно чаще всего и случается. И вот вам мой совет: если на ваш поезд нападут, празднуйте труса вместе с остальными, а храбрость свою придержите для более подходящих случаев. Во-вторых, полицейские не торопятся помериться силами с бандитами, потому что им это невыгодно. Каждый раз, когда полицейские прихлопнут в перестрелке кого-нибудь из бандитов, они терпят прямой убыток. Если же бандит удерет, они получают ордер на арест, отмахивают в погоне за беглецами не одну сотню миль, расшвыривают тысячные суммы, выдают расписки направо и налево, а правительство раскошеляется. Так что они гонятся не столько за бандитами, сколько за выгодой.

Перво-наперво в нашем деле надо захватить противника врасплох, лучше этого пока еще ничего не придумано; мысль свою я подкреплю всего одним примером.

Весь 92-й год дэлтонская шайка не давала житья полицейским в районе Чeroки-Нейшн. Везло им невероятно, и они стали до того отчаянные и бесшабашные, что завели моду объявлять заранее о своих планах. Один раз они распустили слух, что в ночь на такое-то число они ограбят экспресс компании Миссисипи — Канзас — Техас на станции Прайор-Крик.

В ту ночь железная дорога собрала в Маскоги пятнадцать помощников шерифа и посадила на поезд. Мало того, на вокзале в Прайор-Крик в засаде сидело еще пятьдесят вооруженных молодцов.

Однако, когда экспресс прибыл в Прайор-Крик, ни один из дэлтонцев и носу не показал. Эдер, следующая по ходу поезда станция, была от Прайор-Крик за шесть миль. Вдруг на стоянке в Эдере, когда полицейские коротали время, живописуя, как бы они расчехвостили дэлтонцев, попадись те им в руки, они услышали такую пальбу, будто целая армия пошла в наступление. В вагон с



криком: «Грабители» влетели проводник и тормозной кондуктор.

Одни смельчаки повыскакивали из поезда и пустились наутек. Другие попрытали винчестеры под сиденья. Двое завязали перестрелку и были убиты.

Дэлтонцы за десять минут наголову разбили конвой и захватили поезд. А еще за двадцать минут обчистили почтовый вагон, хапнули двадцать семь тысяч долларов и дали деру.

Я так думаю, что в Прайор-Крик, где полицейские ждали налета, они задали бы жару дэлтонцам, но в Эдере они были захвачены врасплох и «одурманены», как и рассчитывали дэлтонцы, а те свое дело знали.

Сдается мне, что в заключение стоит подвести итоги моего восьмилетнего бандитского опыта. Грабить поезда нет расчета. Оставляя в стороне вопросы права и морали — не мне о них судить, — я должен сказать, что жизни бандита не позавидуешь. Деньги вскоре теряют для него цену. Он начинает смотреть на железные дороги, как на своих банкиров, а на шестизарядный кольт, как на открытый счет. Он швыряется деньгами направо и налево. Чуть не вся его жизнь проходит «в бегах», он днем и ночью в седле, когда же ему наконец удастся дорваться до сладкой жизни, у него нет сил ею наслаждаться, так тяжело ему достается в перерывах. Он знает, что рано или поздно он потеряет жизнь или свободу и что отсрочить этот час могут только меткость его стрельбы, быстроноготь его коня и преданность его «дружка».

И все же нельзя сказать, что бандит живет в страхе перед полицейскими. Полицейские нападают на бандитов, только если тех втрое меньше, исключений из этого правила я не знаю.

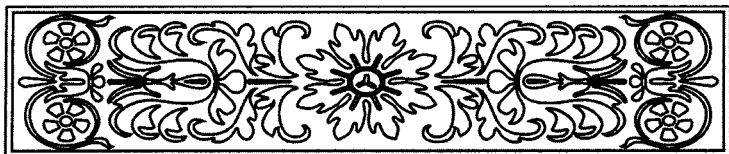
Но бандита вечно точит одна мысль — и она ожесточает его пуще всего — мысль о том, из кого шерифы вербуют себе помощников. Он знает, что в большинстве своем эти стражи закона были в прошлом такими же бандитами, коннокрадами, угонщиками скота, разбойниками с большой дороги и налетчиками, как он сам, и что и свою должность и неприкосновенность они купили ценой выдачи своих сообщников, ценой предательства, купили тем, что обрекли своих товарищей на каторгу и смерть. И он знает, что однажды — если только его не убьют раньше — эти Иуды



возьмутся за дело, заманят его в ловушку и он, который так лихо умел застичь противника врасплох, опростоволосится и сам будет застигнут врасплох.

Вот почему бандит выбирает себе сообщников куда разборчивее, чем осмотрительная девушка жениха. Вот почему по ночам он приподнимается и прислушивается к далекому цокоту копыт. Вот почему ему долго не дают покоя случайная шутка, непривычный жест испытанного товарища или невнятное бормотанье ближайшего друга, спящего бок о бок с ним.

И вот почему специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии — политика или биржевые спекуляции.



УЛИСС И СОБАЧНИК


Известно ли вам, что существует час собачников? Когда четкие контуры Большого Города начинают расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает час, отведенный одному из самых печальных зрелищ городской жизни.

С вершин и утесов каменных громад Нью-Йорка сползают целые полчища обитателей городских пещер, бывших некогда людьми. Все они еще сохранили способность передвигаться на двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи, но вы сразу заметите, что в своем поступательном движении они плетутся в хвосте у животных. Каждое из этих существ шагает следом за собакой, будучи соединено с ней искусственной связью.

Перед нами жертвы Цирцеи. Не по своей охоте стали они няньками при Жужу и Бижу и мальчиками на побегушках у Аделек и Фиделек. Современная Цирцея не уподобила их целиком животным — она милостиво оставила между теми и другими известное расстояние, равное длине поводка. В иных случаях просто отдается приказ, в других — пускается в ход ласка или подкуп, но так или иначе каждый из собачников, послушный своей собственной Цирцее, ежевечерне выводит на прогулку бесценное домашнее сокровище.

Лица собачников и вся их повадка свидетельствуют о том, что они околдованы прочно и утратили надежду на спасение. Даже избавитель Улисс в лице человека с собачьим фургоном не явится к ним, чтобы разрушить чары.

У некоторых из собачников каменные лица. Этим уже не тронут ни любопытство, ни насмешки, ни сострадание их двуногих собратьев. Годы супружеского рабства и принудительного моциона в обществе собак сделали их нечувствительными ко всему. Они освобождают от пут ноги зазевавшегося прохожего и фонарные столбы с бесстрашием китайских мандаринов, потягивающих за веревочки запущенный в небо воздушный змей.




Другие, лишь недавно низведенные до положения собачьих поводырей, подчиняются своей участи с угрюмым ожесточением. Они дергают за поводок с тем чувством злорадства, какое бывает написано на лице девицы, когда она в воскресный денек вытаскивает из воды пойманную на крючок рыбешку. На случайные взгляды прохожих они отвешают свирепыми взглядами, словно только ищут предлога, чтобы послать их к свиньям собачьим. Это полупокоренные, не до конца оцирцеенные собачники, и, если подопечный пес одного из них начинает обнюхивать вам лодыжку, вы поступите благодарзумно, не дав ему пинка.

Есть еще категория собачников, представители которой не принимают своего положения так близко к сердцу. Это преимущественно потасканные молодые люди в модных каскетках и с сигаретой, небрежно свисающей из угла рта. Между ними и вверенными их попечению животными не чувствуется прочной, гармоничной связи. На ошейнике у их собак обычно красуется шелковый бант, а сами молодые люди с таким усердием несут свою службу, что невольно возникает подозрение — не ждут ли они каких-то особых наград за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

Собаки, эскортируемые всеми вышеупомянутыми способами, принадлежат к различным породам, но все они, в сущности, одно и то же: жирные, избалованные, капризные твари, с оскаленными мордами, омерзительно гнусным характером и наглым поведением. Они упрямо и тупо тянут за поводок и застревают у каждого порога, у каждого забора и фонарного столба, не спеша обследуя их с помощью своих органов обоняния. Они присаживаются отдохнуть, когда им только заблагорассудится. Они сопят и отдуваются, как победитель конкурса «Кто съест больше бифштексов». Они проваливаются во все незакрытые погребя и угольные ямы. Словом, устраивают своим поводырям веселую жизнь.

А эти несчастные слуги собачьего царства — эти дворецкие дворняжек, лакеи левреток, бонны болонок, гувернантки грифонов, поводыри пуделей, телохранители терьеров и таскатели такс, замороженные высокогорными Цирцеями, покорно плетутся за своими питомцами. Собачонки не питают к ним ни почтения, ни страха. Эти человеческие существа, которые тащатся за ними на поводке, могут быть хозяевами дома, но над ними они отнюдь не хозяева. С мягкого



дивана — прямо к выходной двери, из уютного уголка — на пожарную лестницу гонит свирепое собачье рычание эти двуногие существа, обреченные следовать за четвероногими во время их прогулок.

Как-то в сумерки собачники, по обыкновению, вышли на улицу, подчинившись просьбе, подкупу или щелканью бича своих Цирцей. Один из них был человек могучего телосложения, чья внушительная внешность не вязалась с этим малосolidным занятием. Уныние было написано на его лице, во всех движениях сквозила подавленность. Он был влеком за поводок отвратительно жирной, развращенной до мозга костей, зловерной белой собачонкой, ни в грош не ставившей своего поводыря.

На ближайшем углу собачник свернул в переулок, надеясь избавиться от свидетелей своего позора. Раскормленная тварь ковыляла впереди, сопя от пресыщенности жизнью и непомерных физических усилий.

Внезапно собака остановилась. Высоченный загорелый мужчина в длиннополом пиджаке и широкополой шляпе стоял на тротуаре, подобно колоссу, загораживая проход.

— Чтоб мне сдохнуть! — сказал мужчина.

— Джим Берри! — ахнул собачник, пустив в ход несколько восклицательных знаков.

— Сэм Тэлфер! — возопил длиннополо-широкопый. — Ах ты, старый бесхвостый битюг! Дай копыто!

Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном Запа-да рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы.

— Ах ты, чертова перечница! — продолжал широкопый, сияя улыбкой в паутине коричневых морщин. — Пять лет ведь, как не видались. Я здесь уже целую неделю, да разве в этом городе найдешь кого! Ну как она, супружеская-то жизнь?

Что-то рыхлое, тяжелое, мягкое, как подошедшее на дрожжах тесто, шлепнулось Джиму на ступню и с рычаньем и чавканьем принялось жевать его штанину.

— Будь так добр, — сказал Джим, — объясни мне, зачем ты накинул свое лассо на это страдающее водобоязнь животное, похожее на бочку? Неужто ты держишь в своем загоне эту скотину? Как это у вас называется, кстати, собакой или еще как-нибудь?

— Я хочу выпить, — сказал собачник, в котором упоминание о водобоязни разбередило дурные наклонности. — Пойдем.

Кафе было рядом. В большом городе оно всегда где-нибудь по соседству.

Приятели сели за столик, а шарообразное, заплывшее жиром чудовище с визгливым лаем начало скрести когтями пол, стремясь добраться до хозяйской кошки.

— Виски, — сказал Джим официанту.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А тебя здесь здорово раскормили, — сказал Джим. — И, кажется, основательно объездили. Не сказал бы я, что здешний воздух пошел тебе впрок. Когда я уезжал, все ребята наказывали разыскать тебя. Сэнди Кинг отправился на Клондайк. Уотсон Бэрли женился на старшей дочке старика Питерса. Я недурно заработал на скоте и купил изрядный кусок пустоши на Литл-Паудер. Осенью думаю обнести оградой. А Билл Роулин засел у себя на ферме. Ты помнишь Билла? Ну да, еще бы! Он же волочился за Марселлой... Прощу прощенья, я хотел сказать за той дамой, которая преподавала в школе на Прэри-Вью и выскочила за тебя замуж. Да, ты натянул нос Биллу. Как же поживает миссис Тэлфер?

— Ш-ш-ш! — зашикал собачник, знаком подзывая официанта. — Что ты выпьешь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Марселла в добром здоровье, — промолвил он, отхлебнув виски. — Не желает жить нигде, кроме Нью-Йорка, она ведь отсюда родом. Снимаем квартиру. Каждый вечер в шесть часов я вывожу этого пса гулять. Это любимчик Марселлы. Признаться тебе, Джим, никогда, с сотворения мира, не было на земле двух существ, которые бы так ненавидели друг друга, как я и это животное. Его зовут Пушок. Пока мы гуляем, Марселла переодевается к обеду. Мы едим за табльдотом. Тебе никогда не приходилось есть за табльдотом, Джим?

— Ни разу в жизни. Я видел объявления, но думал, что это какая-нибудь игра, вроде рулетки. А как за ним едят — стоя или сидя? Это удобнее, чем за столом?

— Сколько ты здесь пробудешь? Мы могли бы...

— Нет, дружище. В семь двадцать пять отправляюсь домой. Рад бы побыть еще, да не могу.



— Я провожу тебя до парома, — сказал собачник.

Собака впала в тяжелую дремоту, предварительно прикрутив ногу Джима к ножке его стула. Джим хотел встать, покачнулся, и слегка натянувшийся поводок обеспокоил собаку. Раздраженный визг потревоженного пса был слышен на весь квартал.

— Если это твоя собака, — сказал Джим, когда они вышли на улицу, — кто мешает тебе привязать ее к какому-нибудь дереву, использовав это ярмо, надетое ей на шею в нарушение закона о неприкосновенности личности, уйти и забыть, где ты ее покинул?

— У меня никогда не хватит на это духу, — сказал собачник, явно испуганный таким смелым предложением. — Он спит на кровати. Я сплю на кушетке. Стоит мне взглянуть на него, как он бежит жаловаться Марселле. Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

— Что с тобой, Сэм Тэлфер? Ты сам на себя не похож. Я, конечно, не знаю этой вашей городской квартирной жизни... Но вот в Прэри-Вью я собственными глазами видел, как ты одним медным краном от бочки с патокой обратил в бегство обоих тиллотсоновских ребят. И разве не ты накидывал лассо на самого свирепого быка в Литл-Паудер и вязал его тридцать девять с половиной секунд по часам?

— А ведь и правда, а? — воскликнул Сэм Тэлфер, и что-то вспыхнуло на мгновение в его взгляде. — Да, это все было, пока меня еще не присобачили к этой собаке.

— А что миссис Тэлфер?.. — начал было Джим.

— Молчи, — сказал собачник. — Вот еще кафе. Зайдем?


Они стали у стойки. Собака брякнулась на пол у их ног и задремала.

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А я ведь думал о тебе, когда покупал эту пустошь, — сказал Джим. — Жалел, что нет тебя, чтобы помочь мне упоравиться со скотом.

— Во вторник, — сказал собачник, — он вцепился мне в лодыжку за то, что я попросил сливок к кофе. Сливки всегда достаются ему.



— А тебе бы сейчас понравилось у нас в Прэри-Вью, — сказал Джим. — Ребята съезжаются к нам с самых отдаленных ранчо, за полсотни миль. А мой выгон начинается в шестнадцати милях от города. Одну сторону обнести оградой, так и то пойдет миль сорок проволоки, не меньше.

— В спальню стараешься попасть через кухню, — продолжал собачник, — а в ванную комнату крадешься через гостиную, а оттуда норовишь проскользнуть назад в спальню через столовую, чтобы можно было отступить и спастись через кухню. И даже во сне он все время лает и рычит, а курить меня прогоняют в сквер, потому что у него астма.

— А разве миссис Тэлфер... — начал Джим.

— Ах, да замолчи ты! — сказал собачник. — Ну, что теперь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Что ж, мне, пожалуй, пора пробираться на пристань, — заметил Джим.

— Ну, ты, кривоногая, вислозадая, толстопузая черепаха! Шевелись, что ли, пока тебя не перетопили на мыло! — зарорал вдруг собачник с какой-то новой ноткой в голосе, и рука его по-новому ухватила поводок. Собака заковывляла за ним следом, злобно рыча в ответ на неслыханные речи своего телохранителя.

В конце Двадцать третьей улицы собачник толкнул ногой вращающуюся дверь.

— Ну, разгонную! — сказал он. — Ты что выпьешь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Не знаю, где мне найти человека, которому я мог бы доверить мой скот на Литл-Паудер, — сказал владелец ранчо. — Тут нужен свой парень. Славный кусочек прерий, и роща там у меня, Сэм. Вот если бы ты...

— Кстати, насчет водобоязни, — сказал собачник. — Эта бешеная зверюга вырвала мне вчера кусок мяса из ноги за то, что я согнал муху с руки Марселлы. «Необходимо сделать прижигание», — сказала Марселла, и я был целиком с ней согласен. Вызвали по телефону врача. А когда он пришел, Марселла и говорит: «Помоги мне поддержать бедную крошку, чтобы доктор продезинфицировал ему ротик. Надеюсь, он не успел наглотаться микробов, пока кусал тебя за ногу!» Ну, что ты скажешь?



— А что миссис Тэлфер... — начал Джим.

— Ах, брось ты это, — сказал собачник. — Выпьем?

— Виски, — сказал Джим.

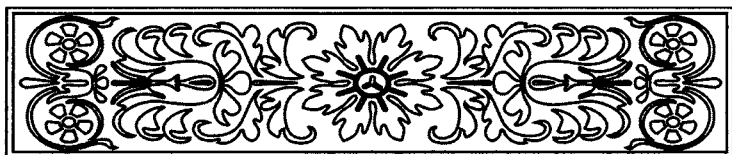
— Давайте два, — сказал собачник.

Они направились на пристань. Скотовод шагнул к билетной кассе.

Внезапно душераздирающий собачий визг сотряс воздух. За первым увесистым пинком быстро последовал второй и третий, и кривоногий студень, отдаленно напоминающий собаку, сломя голову припустился без провожатого по улице, всем своим видом выражая крайнее возмущение.

— Билет до Денвера, — сказал Джим.

— Давайте два! — закричал собачник и полез в карман за деньгами.



ЧЕМПИОН ПОГОДЫ

Если бы заговорить о Киова Резервейшен¹ со средним нью-йоркским жителем, он, вероятно, не знал бы, имее ли вы в виду новую политическую плутню в Албании или же лейтмотив из «Парсифаля». Но там, в Киова Резервейшен, имеются сведения о существовании Нью-Йорка.

Наша компания выехала на охоту в Резервейшен. Бед Кингсбюри, наш проводник, философ и друг, как-то ночью, в лагере, жарил на рашпере кусок мяса антилопы. Один из нас, молодой человек с рыжеватыми волосами и в безукоризненном охотничьем костюме, подошел к огню, чтобы закурить папиросу, и небрежно бросил Беду:

— Хорошая ночь!

— Да, — сказал Бед, — хорошая, насколько может быть хорошей всякая ночь, не имеющая рекомендательного штампея Бродвея.


Молодой человек действительно был из Нью-Йорка, но всех нас удивило, как Бед это угадал. Поэтому, когда мясо было готово, мы попросили его открыть нам свою систему рассуждений. А так как Бед был нечто вроде территориальной говорильной машины, то он произнес следующую речь:

— Как я узнал, что он из Нью-Йорка? Ну, я сейчас же понял это, как только он бросил мне те два слова. Я сам был в Нью-Йорке несколько лет назад и отметил некоторые знаки на ушах и следы копыт на ранчо Манхэттен.

— Нашли Нью-Йорк несколько отличным от Панхендля, не так ли, Бед? — спросил один из охотников.

— Не могу сказать, — ответил Бед, — во всяком случае, он поразил меня не более чего-либо другого. На главной тропе в этом городе, называемой Бродвей, много путников, но

¹ Reservation (резервация)— земля, отведенная для индейцев в США. (Примеч. пер.)



почти все они из того же сорта двуногих, какие бродят вокруг Чейенна и Амарильо. Сперва меня как бы ошарашила толпа, но вскоре я сказал себе: «Слушай, Бед, они такие же обыкновенные люди, как ты, и Джеронимо, и Гравер Кливленд, и ватсоновские парни, так что нечего тебе волноваться и смущаться под твоей попоной». Ко мне вернулись мир и спокойствие, как будто я снова был на земле племени кивова, на пляске призраков или на празднике жатвы.

Я целый год копил деньги, чтобы закрутиться в Нью-Йорке. Я знал человека по имени Семмерс, который живет там, но не мог найти его, так что мне пришлось в одиночестве вкушать опьяняющие развлечения разжиревшей метрополии.

Некоторое время я был так захвачен суетой и так возбужден электрическим светом и шумом фонографов и воздушных железных дорог, что забыл об одной из насущных нужд моей западной системы природных потребностей. Я никогда не отказывал себе в удовольствии вокального общения с друзьями и чужими. Когда за границами территорий для индейцев я встречаю человека, которого никогда раньше не видел, то уже через девять минут я знаю его доход, его религию, размер воротничка и характер жены, а также, сколько он платит за одежду, за пищу и за жевательный табак. У меня дар — не быть скупым на разговоры.

Но этот Нью-Йорк создан на идее воздержания от речи. К концу трех недель никто не сказал мне ни единого слова, за исключением лакея в съестном учреждении, где я питался. А так как его синтаксические выпаливания были не чем иным, как плагиаризмом карты кушаний, то он никак не мог удовлетворить мои желания, заключавшиеся в том, чтоб кого-нибудь зацепить. Если я стоял рядом с кем-нибудь у бара, он отворачивался и кидал на меня взгляд Бальдвин-Циглера, точно подозревая, что я спрятал в себе Северный полюс. Я начал жалеть, что не поехал на каникулы в Абилеп или Вако, потому что там, в этих городах, мэр с удовольствием выпьет вместе с вами, а первый встречный скажет вам свое среднее имя и попросит участвовать в лотерее на музыкальный ящик.

Однажды, когда я особенно жаждал общения с кем-нибудь более разговорчивым, чем фонарный столб, какой-то человек в кафе говорит мне:

— Прекрасный день!

Он был чем-то вроде распорядителя в этом кафе и, как я полагаю, видел меня там много раз. Лицо у него было рыбе и глаза как у Иуды, но я встал и обнял его одной рукой.

— Простите, — говорю я, — разумеется, сегодня прекрасный день! Вы — первый джентльмен в Нью-Йорке, понявший, что сложные формы речи, обращенной к Уильяму Кингсбюри, не потрачены даром. Но не находите ли вы, — продолжаю я, — что утром было немного свежо, и не чувствуете ли вы, что сегодня будет дождь? Но около полудня была действительно восхитительная погода. Все ли благополучно у вас дома? Хорошо ли идут дела в кафе?


Так вот представьте себе, сэр, что этот тип отворачивается от меня и уходит, не сказав ни слова!

И это после всех моих усилий быть приятным! Я не знал, как и чем это объяснить. В тот же вечер я получил записку от Семмерса, уезжавшего из города; в этой записке он сообщил мне адрес своей стоянки. Я отправляюсь к нему и веду хороший, старого времени разговор с его домашними. Я рассказываю Семмерсу про поступок этого койота в кафе и прошу его разъяснить мне, что это значит.

— О! — ответил Семмерс. — Он вовсе не намеревался начать с вами разговор. Это нью-йоркская манера. Он видел, что вы были частым посетителем его кафе, и сказал вам два-три слова, чтобы показать, что он дорожит вашими посещениями. Вам не следовало продолжать. Дальше этого мы не идем с незнакомыми людьми. Можно, конечно, рискнуть бросить слово или два о погоде, но мы не делаем из этого базиса для дальнейшего разговора и знакомства.

— Билли, — говорю я, — погода и ее разветвления для меня серьезный сюжет! Метеорология — одно из моих слабых мест. Ни один человек не может затронуть при мне вопрос о температуре, или о влажности, или о веселом солнечном сиянии — и вдруг вильнуть хвостом и не довести разговора до конца, то есть до падения барометра. Я снова пойду к этому человеку и дам ему урок искусства непрерывного разговора... Вы говорите, что нью-йоркский этикет разрешает ему два слова и не разрешает ответа? Ну, так он превратится у меня в бюро погоды и докончит то, что он начал со мной, попутно делая родственные замечания и о других предметах.

Семмерс отговаривал меня, но я рассердился и поехал по уличной железной дороге обратно в кафе.



Тот молодец еще был там и расхаживал по комнате вроде заднего корраля, где стояли столы и стулья. Несколько человек сидели вокруг стола, пили и насмехались друг над другом.

Я позвал этого человека в сторону, загнал его в угол и расстегнулся достаточно для того, чтобы ему был виден мой револьвер тридцать восьмого калибра, который я носил под жилетом.

— Извините, — сказал я. — Не так давно я был здесь, и вы воспользовались случаем сказать мне, что сегодня хорошая погода. Когда я попытался подтвердить ваше заявление, вы повернулись ко мне спиной и ушли. А теперь, — говорю я, — продолжайте свою дискуссию о погоде. Слышите, вы, по-месь шпицбергенской морской кукушки с устрицей в наморднике? Вы, лягушачье сердце, страшась слов...

Молодец смотрит на меня и старается улыбнуться, но, видя, что я не смеюсь, становится серьезным.

— Что ж, — говорит он, не спуская взора с рукоятки моего револьвера, — день был почти прекрасный, хотя слишком теплый...

— Дайте подробности, вы, соня с мукой во рту! — говорю я. — Дайте мне спецификацию, ярче обведите контуры! Если вы начнете говорить со мной отрывисто, то сами дадите сигнал к буре.

— Вчера было похоже на дождь, но сегодня утром погода разыгралась. Я слышал, что фермерам в северной части штата очень нужен дождь.

— Вот это верный тон! — сказал я. — Стряхните с своих копыт ньюйоркскую пыль и станьте настоящим приятным кентавром. Вы сломали лед, и мы с каждой минутой все ближе знакомимся. Мне кажется, я спрашивал вас о вашей семье?

— Все здоровы, благодарю вас, — сказал он. — У нас... у нас новый рояль.

— Вы входите в роль, — говорю я, — ваша холодная замкнутость, наконец, проходит. Последнее замечание о рояле делает нас почти братьями. Как зовут вашего младшего? — спрашиваю я.

— Томас, — отвечает он. — Он сейчас только поправляется после кори.

— Мне кажется, что я всегда знал вас, — говорю я. — Но еще один вопрос: хорошо ли идут дела в кафе?



— Порядочно, — говорит он. — Я немного откладываю.

— Очень рад, — говорю я. — Теперь возвращайтесь к своему делу и цивилизуйтесь. Оставьте погоду в покое, если не хотите говорить о ней по каким-то личным причинам. Это — сюжет, естественно относящийся к общественности и к заключению новых знакомств... И я не потерплю, чтобы его подносили мелкими дозами в таком городе, как этот.

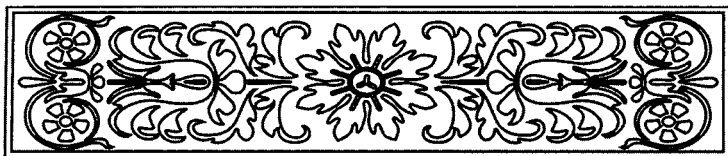
На следующий день я свернул свои одеяла и пустился в обратный путь из Нью-Йорка.

Некоторое время после окончания рассказа Беда мы еще оставались у огня, затем все стали устраиваться на ночь.

Разворачивая свое одеяло, я услышал, как молодой человек с рыжеватыми волосами сказал что-то Беду, и в его голосе звучал страх:

— Как я уже говорил, мистер Кингсбюри, в этой ночи есть что-то действительно восхитительное. Приятный ветерок, яркие звезды и прозрачный воздух соединились, чтобы сделать ночь удивительно привлекательной.

— Да, — подтвердил Бед, — это прекрасная ночь!



РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона, в свою очередь, свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кафе на крышах — тщета и суета, и, ощутив в себе тягу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил папиросу. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося, — длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удастся обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрал на-

ручки из кармана полицейского Хэннесси и нахально избежал ареста.


Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Днем он либо завтракает в смокинге, либо расхаживает, переодевшись обойщиком, вечером же приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в уважаемом Оушен-Гроув, и, когда его препровождают в тюремную камеру, он первым делом требует себе пилочку для ногтей и «Полицейскую газету». У него есть жена в каждом штате и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матримониальной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили исцеление от одного флакона патентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адской Кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залететь слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый улов. Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех устал, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем одиночества. Там и следовало «пощупать» на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадется немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем... словом, ничего сногшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытать счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был повернут. На кровати спал че-



ловек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фишки, несколько сломанных сигар и розовый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят свистящим шепотом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью борода клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.


— Острый?


— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве устоялся на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже указала гримаса.

— Перестаньте корчить рожи! — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалете.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.

- 
- И давно у вас? — поинтересовался обыватель.
- Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие — пищи пропало.
- А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.
- Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.
- Некоторые принимают «Пилюли Чизельма», — заметил обыватель.
- Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил «Экстракт Финкельхе-ма», делал припарки из «Галаадского бальзама» и применял «Потгавский болеутоляющий пульверизатор», вроде как немного полегчало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.
- Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?
- Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не станете же вы... А «Бликерстафовский кровоочиститель» вы не пробовали?
- Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?
- Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колени.
- Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.
- И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?
- По утрам. А уж перед дождем — просто мочи нет.
- Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопьется в плечо, что его начинают дергать, как зуб.
- Да, ничем не уймешь. Адовы муки, — сказал вор.
- Вы правы, — вздохнул обыватель.
- Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.



— Послушайте, приятель, — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали оподельдок?

— Чушь! — сказал обыватель сердито. — С таким же успехом можно втирать коровье масло.

— Правильно, — согласился вор. — Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина... вы на меня не сердчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и пойдём выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадюка!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи, — сказал обыватель. — Боюсь, что Томас уже лег, и...

— Ничего, вылезайте из своего логова, — сказал вор. — Я помогу вам нацепить что-нибудь.

Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно... — начал он.

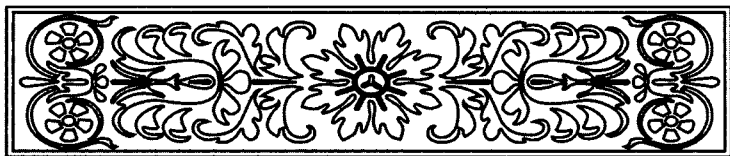
— Вот ваша рубашка, — сказал вор. — Нырять в нее. Между прочим, один человек говорил мне, что «Растирание Омберри» так починило его в две недели, что он стал сам вязывать себе галстук.

На пороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег, — сказал он. — Выложил их с вечера на туалетный столик.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошли, — сказал он грубовато. — Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали «Чудодейственный орех» и мазь из сосновых иголок?



В БОРЬБЕ С МОРФИЕМ

Я никогда не мог хорошенько понять, как Том Хопкинс допустил такую ошибку. Он целый семестр, прежде чем nasledовал состояние своей тетки, работал в медицинской школе и считался сильным в терапии.

Мы в тот вечер вместе были в гостях, а затем Том зашел ко мне, чтобы выкурить трубку и поболтать, прежде чем вернуться в собственную роскошную квартиру. Я на минуточку вышел в другую комнату и вдруг услышал, что Том кричит мне:

— Вилли, я приму четыре грана хинина, если ты ничего не имеешь против. Я совсем посинел и весь дрожу. Думаю, что простудился.

— Хорошо, — крикнул я в ответ, — банка на второй полке; прими в ложке эвкалиптового элексира. Он снимает горечь.


Когда я возвратился, мы сели у огня и продолжали разговор. Приблизительно через восемь минут Том откинулся на спинку в легком обмороке. Я сейчас же подошел к шкафу с лекарствами и заглянул в него

— Ах ты, разиня, разиня, — проворчал я. — Вот как действуют деньги на мозг человека!

В шкафу стояла банка с морфием в том же положении, в каком Том оставил ее.

Я вытащил молодого доктора, жившего этажом выше, и послал его за старым доктором Гельсом, жившим на расстоянии двух кварталов. У Тома Хопкинса было слишком много денег для того, чтобы его лечили молодые начинающие врачи.

Когда пришел Гельс, мы проделали над Томом самый дорогой курс лечения, какой только позволяют ресурсы медицинской профессии. После сильнодействующих средств мы дали ему цитрат кофеина в частых приемах и крепкий кофе, а также водили его взад и вперед по комнате между



двумя из нас. Старый Гельс щипал его, хлопал по лицу и усиленно старался заработать крупный чек, который уже видел в отдалении.

Молодой доктор с верхнего этажа дал Тому самый сердечный, пробуждающий пинок, а затем извинился предо мной.

— Не мог удержаться, — сказал он. — Никогда в жизни мне не приходилось давать пинок миллионеру и, может быть, никогда больше не придется.

— Теперь, — сказал доктор Гельс через несколько часов, — он поправится. Но не давайте ему засыпать еще час. Вам придется разговаривать с ним и встряхивать время от времени. Когда пульс и дыхание станут нормальными, дайте ему поспать. Я оставляю его на ваше попечение.

Я остался один с Томом, которого мы положили предварительно на кушетку. Он лежал совсем тихо, и глаза его были наполовину закрыты. Я начал свое дело, которое заключалось в том, чтобы поддерживать его в состоянии бодрствования.

— Ну, старина, — сказал я, — ты чуть было на тот свет не съездил, но мы тебя вызволили. Когда ты слушал лекции, Том, не говорил ли случайно кто-либо из профессоров, что «m-o-r-p-h-i-a» никогда не пишется «quinina», особенно в четырехгранных дозах? Но я не буду громоздить на тебя обвинений, пока ты не станешь на ноги... Тебе следовало бы быть дрогистом, Том: у тебя замечательные способности к распознаванию рецептов.

Том взглянул на меня со слабой и глупой улыбкой.

— Билли, — пробормотал он, — я чувствую себя точно колибри, летающая вокруг кучи самых дорогих роз. Не приставай ко мне. Буду теперь спать.

Через две секунды он уснул. Я потряс его за плечо.

— Ну, Том, — строго сказала, — такнельзя. Великий доктор сказал, что ты не должен спать еще, по крайней мере, час. Открой глаза! Ты еще не совсем вне опасности. Проснись!

Том Хопкинс весит сто девяносто восемь фунтов. Он бросил на меня еще одну сонную усмешку и погрузился в еще более глубокий сон. Мне хотелось бы заставить его двигаться, но с таким же успехом я мог бы заставить вальсировать со мной по комнате обелиск. Дыхание Тома перешло в храп, а это, в связи с отравлением морфием, грозит опасностью.

Я стал соображать. Не в силах поднять его тело, я должен постараться возбудить его мозг.

«Рассерди его!» — вот мысль, пришедшая мне в голову.

«Хорошо, — подумал я, — но как?»

Не было ни одной прорехи в кольчуге Тома. Славный малый! Он был само добродушие. Притом благородный, джентльмен, изящный, верный и чистый, как солнечный свет. Он приехал откуда-то с Юга, где у людей еще имеются идеалы и кодекс нравственности. Нью-Йорк очаровал его, но не испортил. У него сохранилось старомодное рыцарское почитание женщины, которое...

«Эврика! Есть идея!»

В минуту или же две я обработал все в своем мозгу. Я мысленно смеялся при мысли, что устрою такую штуку Тому Хопкинсу.

Затем я схватил его за плечо и тряс до тех пор, пока он не захлопал ушами. Я принял гневный и презрительный вид и остановил палец на расстоянии двух дюймов от его носа.


— Слушай меня, Хопкинс, — сказал я резко и отчетливо: — мы были с тобой добрыми друзьями, но объявляю тебе, что в будущем моя дверь закрыта для человека, который поступил так подло, как ты...

Том как будто едва-едва заинтересовался.

— В чем дело, Билли? — спокойно спросил он. — Ты не в своей тарелке?

— Был бы, если бы я был на твоём месте, — продолжал я. — Но, слава богу, я не ты; на твоём месте я, кажется, боялся бы закрыть на минуту глаза. Что ты скажешь о девушке, которая ждет тебя там, среди одиноких южных сосен? О девушке, которую ты забыл с тех пор, как получил наследство? О, я знаю, о чем говорю. Пока ты был бедным медицинским студентом, она была достаточно хороша для тебя. Но теперь, когда ты — миллионер, дело другое! Хотел бы я знать, что она думает о поведении того особого класса людей, который ее научит почитать? Что она думает о поведении южного джентльмена? Мне жаль, Хопкинс, что я принужден говорить об этом, но ты хорошо скрывал это и так прекрасно сыграл свою роль, что я считал тебя выше подобных уловок, недостойных мужчины!

Бедный Том! Я едва мог удержаться от смеха, глядя, как он борется с действием наркоза. Видно было, что он сердит, и я не осуждал его за это. У Тома был южный темперамент.



Его глаза теперь были открыты, и в них промелькнули один-два проблеска огня. Но снадобье все еще заволакивало его мозг и связывало язык.

— Пр-провались ты, — заикаясь, произнес он, — я тебя поколочу.

Он пытался подняться с дивана. Несмотря на объем, он был теперь очень слаб. Я уложил его обратно одной рукой. Он лежал, сверкая глазами, точно лев в западне.

— Это удержит тебя некоторое время, старый негодяй, — сказал я самому себе. Я встал и разжег трубку, так как хотел покурить, а после того заходил взад и вперед по комнате, поздравляя себя с блестящей идеей.


Вдруг послышался храп. Я оглянулся. Том снова уснул. Я подошел и толкнул его под челюсть. Он посмотрел на меня с довольным и доброжелательным видом идиота. Я пожевал трубку и снова резко заговорил:

— Я требую, чтобы ты поднялся и убрался от меня как можно скорее, — сказал я оскорбительным тоном. — Я уже сказал, что думаю о тебе. Если у тебя осталась какая-либо честь или честность, ты дважды подумаешь, прежде чем явиться в общество джентльменов. Она — бедная девушка, не так ли? — с насмешкой сказал я. — Слишком простая и не подходящая для нас с тех пор, как мы разбогатели? Стыдно было бы гулять с ней по Пятой авеню, не правда ли? Хопкинс, ты в сорок семь раз хуже всякого хама. Кому нужны твои деньги? Не мне! Готов поручиться, что и той девушке они тоже не нужны. Может быть, ты был бы больше мужчиной, если бы не имел их. Теперь ты сделался подлецом и... — я подумал, что это очень драматично, — может быть, разбил преданное сердце. (Том Хопкинс, разбивающий верное сердце!) Дай мне освободиться от тебя возможно скорее!

Я повернулся спиной к Тому и подмигнул самому себе в зеркало. Услышав, что он шевелится, я быстро обернулся: я не хотел, чтобы сто девяносто восемь фунтов упали на меня с тыла. Но Том только немного повернулся и закрыл лицо рукой. Он произнес несколько слов немного яснее, чем прежде.

— Я бы не говорил таким образом с тобой, Билли, если бы даже слышал, что люди лгут о тебе. Но как только я смогу встать, я сломаю тебе шею. Не забудь этого.

Мне стало немного стыдно. Но ведь я хотел спасти Тома! Утром, когда я все разъясню ему, мы вместе посмеемся над этим.



Минут через двадцать Том уснул здоровым, спокойным сном. Я пощупал пульс, прислушался к дыханию и разрешил ему спать. Все было нормально, и Том был спасен. Я ушел в другую комнату и упал в постель.

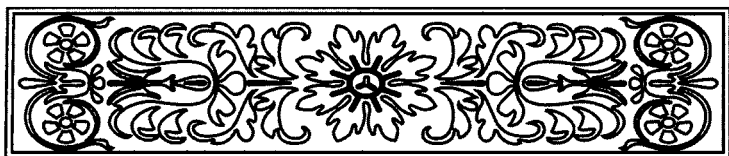
Когда я проснулся на следующее утро, Том уже встал и оделся. Он был совсем здоров, если не считать расстроенных нервов и языка, похожего на щепку белого дуба.

— Каким я был идиотом! — сказал он в раздумье. — Я помню, что когда я брал лекарство, то думал, как странно выглядит банка с хинином. Очень много было хлопот, чтобы спасти меня?

Я ответил отрицательно. Его память, по-видимому, была плоха по отношению ко всему происшедшему. Я заключил, что он не помнит о моих усилиях не давать ему спать, и решил ничего пока не говорить ему. «Когда-нибудь позже, — думал я, — когда ему будет лучше, мы вместе посмеемся над этим».

Собравшись уходить, Том остановился в открытой двери и пожал мне руку.

— Благодарю, старина, — сказал он, — за твои хлопоты обо мне и за то, что ты сказал. Я иду сейчас телеграфировать той бедной девушке.



ПРИЗРАК ВОЗМОЖНОСТИ

— Да, с носилками за плечами! — Трагически повторила миссис Кинсолвинг.

Миссис Бэлами Бэлмор сочувственно подняла брови. Этим она выразила соболезнование и щедрое количество вежливого удивления.

— Представьте, — снова начала миссис Кинсолвинг, — она всюду говорит, что видела привидение в комнате, которую занимала, — в нашей лучшей комнате для гостей, — видела призрак старого мужчины в рабочем комбинезоне, с трубкой и носилками. Самая невероятность этого свидетельствует о ее злом намерении. Никогда ни один Кинсолвинг не ходил с носилками для кирпичей. Всем известно, что отец мистера Кинсолвинга нажил свое богатство на крупных строительных подрядах, но он никогда, ни одного дня не работал на стройке сам. Этот дом строился по его плану, но, боже мой, носилки! Почему она была так жестока и коварна!

— Это действительно очень неприятно, — согласилась миссис Бэлмор, с одобрением обводя своими прекрасными глазами просторную комнату, отделанную в двух тонах: сиреневом и старого золота. — И она видела его в этой комнате? О нет, я не боюсь привидений. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я рада, что вы поместили меня здесь. Я считаю, что фамильные привидения очень заняты. Но в рассказе миссис Фишер-Симпкинс отсутствует логика. От нее можно было бы ожидать чего-нибудь более удачного. Ведь на таких носилках носят кирпичи, не правда ли? Ну для чего привидение понесет кирпичи в виллу, построенную из мрамора и камня? Мне очень жаль, но я готова подумать, что на миссис Фишер-Симпкинс начинает сказываться возраст.

— Этот дом, — продолжала миссис Кинсолвинг, — построен на месте старого, в котором семья жила во времена Войны за независимость. Вполне возможно, что в нем и во-


дится привидение. Был ведь капитан Кинсолвинг, который сражался в армии генерала Грина, хотя нам так и не удалось достать документы, подтверждающие это. Если уж в семье должно быть привидение, то пусть оно лучше будет капитаном, а не каменщиком.

— Привидение предка-освободителя — это было бы не плохо, — согласилась миссис Бэлмор, — но вы знаете, как привидения бывают капризны и бесцеремонны. Может быть, они, как любовь, создаются воображением. Главное преимущество тех, кто видит привидения, это что их рассказы невозможно опровергнуть. Злонамеренный глаз может легко принять ранец воина за носилки для кирпичей. Дорогая миссис Кинсолвинг, не думайте больше об этом. Я уверена, что это был ранец.

— Но она ведь рассказывала это всем, — безудержно горевала миссис Кинсолвинг. — Она настаивала на деталях, и потом эта трубка, а как быть с рабочим комбинезоном?

— Не надевать его совсем, — сказала миссис Бэлмор, изящно подавляя зевок. — Слишком грубо и неуклюже. Это вы, Фелис? Пожалуйста, приготовьте мне ванну. Вы здесь, в Клифтоне, обедаете в семь, миссис Кинсолвинг? Как мило с вашей стороны, что вы забежали поболтать со мной до обеда. Я люблю эти маленькие интимности в обращении с гостями. Они придают визиту семейный характер. Вы меня простите, — мне нужно одеваться. Я так ленива, я всегда откладываю это до последней минуты.

Миссис Фишер-Симпкинс была первым большим куском, который Кинсолвингам удалось урвать от общественного пирога. Долгое время пирог этот лежал высоко на полке и только дразнил глаз. Но деньги и настойчивость помогли дотянуться до него. Миссис Фишер-Симпкинс была линзой избранного круга высшего общества. Блеск ее ума и поступков отражал все самое модное и смелое в этом светском стереоскопе. Прежде ее слава и первенство были настолько прочными, что не нуждались в применении таких искусственных мер, как раздача во время котильона живых лягушек. Но теперь такие средства стали необходимы для поддержки ее трона. Кроме того, непрошенная старость заметно портила блеск ее проделок. Сенсационные газеты сократили посвящаемые ей заметки с целой страницы до двух столбцов. Ум ее приобрел едкость; манеры стали резкими и бесцеремонными, словно она чувствовала необхо-



димось утвердить свое царственное превосходство презрением условностей, связывающих других, менее солидных владык.

Под давлением силы, которой располагали Кинсолвинги, она снизошла до того, что на один вечер и ночь почтила своим присутствием их дом. За это она отомстила хозяйке, — она повсюду с мрачным наслаждением и сарказмом рассказывала свою выдумку о привидении с носилками. Для миссис Кинсолвинг, осчастливленной тем, что ей удалось так далеко проникнуть в желанный круг, такой результат был месточайшим разочарованием. Одни жалели ее, другие смеялись над ней — и то и другое было одинаково плохо.

Но через некоторое время миссис Кинсолвинг воспряла духом, завоевав другой и более ценный приз.


Миссис Бэлами Бэлмор согласилась посетить Клифтон и собиралась провести там три дня. Миссис Бэлмор была одной из сравнительно юных матрон, которой красота, происхождение и богатство обеспечили в святая святых прочное место, не нуждавшееся в какой-либо особой поддержке. Поэтому она великодушно согласилась исполнить заветное желание миссис Кинсолвинг; в то же время она знала, какое большое удовольствие доставит этим Теренсу. Может быть, ей даже удастся разгадать его.

Теренс был сыном миссис Кинсолвинг. Ему было двадцать девять лет, он был хорош собой и обладал двумя-тремя привлекательными и загадочными черточками.

Во-первых, он был очень привязан к своей матери, и это одно уже было так странно, что заслуживало внимания. Затем он возмутительно мало говорил и казался или очень застенчивым, или очень сложным человеком. Миссис Бэлмор заинтересовалась им, потому что не могла решить, какое из двух предположений верно. Она решила изучить его поближе, пока это не перестало ее занимать. Если он окажется только застенчивым, она оставит его, так как застенчивость скучна. Если он окажется сложным, она тоже оставит его, так как сложность опасна.

Вечером, на третий день визита миссис Бэлмор, Теренс застал ее в уголке гостиной ни более и ни менее как рассматривающей альбом.

— Как мило с вашей стороны было приехать сюда и выручить нас из беды, — сказал он. — Вы, вероятно, слышали, как миссис Фишер-Симпкинс пыталась потопить корабль,



прежде чем покинуть его. Она пробила ему днище носилками. Моя мать так этим расстроена, что я опасюсь за ее здоровье. Не постараетесь ли вы, пока вы здесь, миссис Бэлмор, увидеть для нас привидение — роскошное привидение — с графским гербом и с чековой книжкой?

— Миссис Фишер-Симпкинс — злая старая леди, Теренс, — сказала миссис Бэлмор. — Может быть, вы накормили ее слишком плотным ужином. Неужели ваша мать действительно всерьез огорчена этим?

— По-моему, да, — ответил Теренс. — Можно подумать, что все кирпичи с носилок свалились ей на голову. Она хорошая мама, и мне больно видеть ее огорчение. Надо надеяться, что привидение состоит членом союза каменщиков и объявит забастовку. Иначе в нашей семье никогда больше не будет покоя.


— Я сплю в комнате привидения, — задумчиво проговорила миссис Бэлмор. — Но она такая удобная, что я не помняла бы ее, даже если бы мне было страшно, а мне совсем не страшно. Я думаю, мне не следует сочинять контррассказ о симпатичном аристократическом призраке, не правда ли? Я бы с удовольствием, но мне кажется, что противоядие будет слишком явным и только подчеркнет эффект первой версии.

— Да, — сказал Теренс, задумчиво проводя двумя пальцами по своим вьющимся каштановым волосам. — Это не годится. А что, если увидеть опять то же привидение, но без рабочего комбинезона и чтобы кирпичи были золотые? Это вознесет призрак из области унижительного труда в финансовые сферы. Не думаете ли вы, что это будет достаточно респектабельно?

— У вас был предок, который сражался с англичанами, не так ли? Ваша мать упоминала как-то об этом.

— Да, кажется. Один из тех чудаков, которые носили мундиры реглан и брюки для гольфа. Мне-то нет никакого дела до всех этих исторических предков, но мама увлечена помпой, геральдикой и пиротехникой, а я хочу, чтобы она была счастлива.

— Вы хороший мальчик, Теренс, что заботитесь о своей маме, — сказала миссис Бэлмор, подбирая свои шелка поближе к себе. — Садитесь здесь рядом со мной и давайте смотреть альбом, как это делали двадцать лет тому назад. Ну-ка расскажите мне о каждом из них. Кто этот высокий,



внушительный джентльмен, опирающийся на горизонт, положив одну руку на коринфскую колонну?

— Вот этот, с большими ногами? — спросил Теренс, изогнувшись. — Это двоюродный дедушка О'Брэнниген. Он содержал пивную на Бауэри.

— Я просила вас сесть, Теренс. Если вы не будете забавлять меня или слушаться, утром я доложу, что видела привидение в фартуке, таскающее кружки с пивом. Вот так-то лучше. Застенчивость в вашем возрасте, Теренс, — это черта, в которой должно быть стыдно признаваться.

За завтраком, в последнее утро своего визита, миссис Бэлмор удивила и очаровала всех присутствующих, решительно заявив, что видела привидение.

— Оно было с нос... нос... — От замешательства и волнения миссис Кинсолвинг не могла выговорить это слово.

— Нет, нет, отнюдь.

От сидевших за столом градом посыпались вопросы: «Вы испугались?», «Что оно делало?», «Как оно выглядело?», «Как оно было одето?», «Сказало оно что-нибудь?», «Вы не вскрикнули?».

— Я постараюсь ответить сразу всем, — мужественно сказала миссис Бэлмор, — хотя я ужасно голодна. Меня что-то разбудило — не знаю, шум или прикосновение, — и я увидела призрак. Я никогда не оставляю света на ночь, так что в комнате было темно, но я ясно видела его. Я не спала. Это был высокий мужчина, весь в каком-то белом тумане. Он был в костюме старых колониальных времен: напудренные волосы, мешковатые полы сюртука, кружевные манжеты и шпага. Он казался воздушным и как будто светился в темноте и двигался бесшумно. Да, я сначала немного испугалась, или, вернее, удивилась. Это было первое привидение, которое мне довелось увидеть. Нет, оно ничего не сказало, я не вскрикнула. Я поднялась на локте, и тогда оно стало медленно отдаляться и, достигнув двери, исчезло.

Миссис Кинсолвинг была на седьмом небе от радости.

— По описанию это капитан Кинсолвинг, генерал армии Грина, один из наших предков, — сказала она, и голос ее дрожал от гордости и облегчения. — Мне следует извиниться за нашего призрачного родственника, миссис Бэлмор. Я боюсь, что он доставил вам большое беспокойство.

Теренс довольной улыбкой поздравил свою мать. Наконец-то победа была на стороне миссис Кинсолвинг, и он был рад ее счастью.

— Хоть мне и очень стыдно, — сказала миссис Бэлмор, принимаясь за завтрак, — но я должна сознаться, что не была очень обеспокоена. Мне, вероятно, следовало бы вскрикнуть и упасть в обморок и заставить вас всех забегать по дому в самых живописных костюмах. Но, когда первая тревога миновала, я уже не могла вызвать у себя чувство страха. Привидение, сыграв свою роль, спокойно и мирно сошло со сцены, и я опять уснула.

Почти все слушатели приняли рассказ миссис Бэлмор как выдумку, великодушно созданную в противовес злomu видению миссис Фишер-Симпкинс. Но кое-кто заметил, что ее рассказ носил печать подлинного убеждения. Каждое слово дышало правдой и искренностью. Даже человек, не верящий в привидения, при некоторой наблюдательности вынужден был бы признать, что она действительно видела странного посетителя, хотя бы в очень ярком сне.

Вскоре горничная миссис Бэлмор принялась укладывать вещи. Через два часа автомобиль должен был доставить миссис Бэлмор на станцию. Когда Теренс прогуливался по восточной веранде, миссис Бэлмор подошла к нему. В глазах ее сверкал лукавый огонек.

— Я не хотела рассказывать все другим, — сказала она, — но вам я расскажу. Я думаю, что в какой-то мере вы должны нести ответственность за это. Догадываетесь, каким образом привидение разбудило меня ночью.

— Загремело цепями, — предположил Теренс после некоторого раздумья, — или застонало? Они обычно делают либо то, либо другое.

— Не знаете ли вы, — со странной непоследовательностью продолжала миссис Бэлмор, — похожа я на кого-нибудь из родственниц вашего беспокойного предка, капитана Кинсолвинга?

— Не думаю, — в крайнем удивлении ответил Теренс. — Никогда не слышал, чтобы хоть одна из них была признанной красавицей.

— Тогда почему, — спросила миссис Бэлмор, серьезно глядя в глаза молодому человеку, — почему привидению вздумалось поцеловать меня?

— Боже! — воскликнул Теренс, широко открыв от изумления глаза. — Что вы говорите, миссис Бэлмор! Неужели он действительно поцеловал вас?

— Я сказала — оно, — поправила его миссис Бэлмор.

— Но почему вы говорите, что я должен нести за это ответственность?

— Потому что у этого привидения, кроме вас, нет родственников мужского пола.

— Понимаю. «До третьего и четвертого колена». Но, серьезно, неужели он... неужели оно... откуда вы?..

— Знаете? Как вообще знают? Я спала, и это прикосновение как раз и было тем, что разбудило меня, я почти уверена.

— Почти?

— Ну, я проснулась, когда... о, неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? Когда вас неожиданно разбудят, вы не уверены, то ли вам снилось, то ли... и все же вы знаете, что... боже мой, Теренс, неужели я должна анализировать самые примитивные ощущения, чтобы удовлетворить вашу чрезвычайно практическую любознательность?

— Но в отношении поцелуев привидений, — смиренно сказал Теренс, — я нуждаюсь в самых элементарных сведениях. Я никогда не целовался с привидениями. Это... это?..

— Раз уж вы хотите поучиться, — сказала миссис Бэлмор, намеренно, но слегка шутливо подчеркивая каждое слово, — это дает ощущение чего-то среднего между физическим и духовным.

— Конечно, — сказал Теренс, вдруг становясь серьезным, — это был сон или какая-то галлюцинация. Теперь никто не верит в духов. Если вы рассказали эту историю по доброте сердечной, я не могу выразить, как я вам благодарен, миссис Бэлмор. Вы доставили этим маме величайшее счастье. Этот предок-освободитель — гениальная выдумка!

Миссис Бэлмор вздохнула.

— Меня постигла обычная судьба тех, кто видит привидения, — смиренно сказала она. — Честь моей встречи с духом приписывают салату из омаров или фантазии. Что ж, у меня, по крайней мере, осталась одна память от этого крушения: поцелуй с того света. Скажите, Теренс, капитан Кинсолвинг был очень храбрым человеком?

— Кажется, он был разбит под Йорктауном, — ответил Теренс, вспоминая. — Говорят, он удрал со своей ротой после первого же боя.

— Я так и думала, что он был робок, — рассеянно заметила миссис Бэлмор. — Он мог бы получить еще один.

— Еще один бой? — тупо спросил Теренс.

— Что же другое могла я иметь в виду? Теперь мне пора идти собираться. Через час автомобиль будет здесь. Я очень хорошо провела время в Клифтоне. Прекрасное утро, не правда ли, Теренс?

По дороге на станцию миссис Бэлмор вынула из сумочки шелковый носовой платок и посмотрела на него, загадочно улыбаясь. Потом завязала его несколькими крепкими узлами и бросила в удобный момент за край обрыва, вдоль которого шла дорога.

У себя в комнате Теренс давал распоряжения своему лакею Бруксу.

— Сложите это тряпье, — сказал он, — и отошлите его по адресу, указанному на этой карточке.

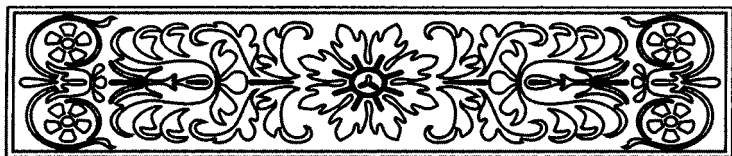
Карточка была от нью-йоркского костюмера. «Тряпьем» был костюм джентльмена далеких дней тысяча семьсот семьдесят шестого года, весь из белого атласа и с серебряными пряжками, белые шелковые чулки, белые лайковые туфли и в довершение пудренный парик и шпага.

— И потом, Брукс, — с некоторым беспокойством добавил Теренс, — поищите шелковый носовой платок с моей меткой. Я, должно быть, обронил его где-то.

Месяц спустя миссис Бэлмор и еще одна или две дамы высшего общества составляли список лиц, приглашенных на прогулку в Кэтскилские горы.

Миссис Бэлмор в последний раз просмотрела список. Имя Теренса Кинсолвинга попало ей на глаза. Миссис Бэлмор провела по нему тонкую линию своим цензорским карандашом.

— Слишком застенчив, — нежно прошептала она в объяснение.



ДЖИММИ ХЕЙЗ И МЬЮРИЭЛ

I

Ужин кончился, и в лагере наступила тишина, сопровождающая обычно свертывание папирос из кожуры кукурузных початков. Маленький пруд светился на темной земле, как клочок упавшего неба. Тявкали койоты. Глухие удары копыт выдавали присутствие стреноженных коней, продвигавшихся к свежей траве скачками, как деревянные лошадки-качалки. Полуэскадрон техасского пограничного батальона расположился вокруг костра.

Знакомый звук — шорох и трение чапarrала о деревянные стремяна — послышался из густых зарослей повыше лагеря. Пограничники насторожились. Они услышали, как громкий, веселый голос успокоительно говорил:

— Подбодрись, Мьюриэл, старушка! Вот мы и приехали. А долгая получилась поездка, верно? Эх ты, допотопное существо! Да ну, будет тебе целоваться, право! И не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень тверд на ноги. Он еще, чего доброго, сбросит нас с тобой, если мы будем зевать.

После двух минут ожидания на лагерную площадку вылетела усталая серая в яблоках лошадь. Долговязый парень лет двадцати раскачивался в седле. Никакой Мьюриэл, к которой он обращался, не было видно.

— Эй, друзья, — весело закричал всадник, — вот тут письмо лейтенанту Мэннингу!

Он спешился, расседлал коня, опустил на землю свернутое в кольцо лассо и снял с луки седла пугы. Пока лейтенант Мэннинг, командир полуэскадрона, читал письмо, он заботливо соскреба засохшую на путах грязь, показав тем самым, что бережет передние ноги своего коня.

— Ребята, — сказал лейтенант и помахал пограничникам рукой, — это мистер Джимми Хейз. Он зачислен в нашу часть. Капитан Мак-Лин прислал его к нам из Эль-Пасо. Хейз, когда стреножите коня, ребята вас накормят.

Пограничники приняли новичка радушно. Тем не менее они подвергли его внимательному осмотру и воздержались до поры до времени от окончательного приговора. Пограничники выбирают нового товарища в десять раз осмотрительнее, чем девушка возлюбленного. От выдержки, преданности, хладнокровия и меткой стрельбы вашего соседа в бою часто зависит ваша жизнь.

После плотного ужина Хейз присоединился к курящим у костра. Его внешность не рассеяла всех сомнений у его братьев по оружию. Они видели всего лишь длинного, сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и загорелым простодушным лицом, на котором играла добрая, лукавая улыбка.

— Друзья, — сказал новый пограничник, — я сейчас представлю вас одной моей знакомой леди. Я никогда не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы согласитесь, что она все-таки ничего себе. Поди-ка сюда, Мьюриэл!

Он расстегнул свою синюю фланелевую рубашу. Из-за пазухи у него выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была кокетливо повязана вокруг ее колючей шеи. Она сползла на колено к хозяину и уселась там неподвижно.


— Вот у этой самой Мьюриэл, — сказал Хейз с ораторским жестом, — имеется куча достоинств. Она никогда не спорит, она всегда сидит дома, и она довольствуется одним красным платьем и в будни и в воскресенье.

— Вы только посмотрите на эту погань! — сказал, смеясь, один из пограничников. — Видал я рогатых лягушек, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянь в товарищи. Она что, знает вас?

— Возьмите ее и увидите, — сказал Хейз.

Небольшая короткохвостая ящерица, известная под названием рогатой лягушки, совершенно безвредна. Она уродлива, как те доисторические чудовища, уменьшенным потомком которых она является, но кротка, как голубь.

Пограничник взял Мьюриэл с колен Хейза и вернулся на свое сиденье из свернутых одеял. Пленница вертелась, царапалась и энергично вырывалась из его руки. Подержав лягушку с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро она заработала своими уморительными лапками и остановилась у ноги Хейза.



— Здорово, разрази меня гром! — сказал другой пограничник. — Никогда не думал, что у этих насекомых столько соображения.

II

Джимми Хейз стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неиссякаемым мягким юмором, который очень ценится в походной жизни. Он был неразлучен со своей рогатой лягушкой. За пазухой во время езды, на плече или на колене в лагере, под одеялом ночью — маленький уродец никогда не покидал его.

Джимми был шутником того типа, который преобладает в сельских местностях Запада и Юга. Не умея ни изобрести что-нибудь новое по части развлечений, ни сострить экспромтом, он набрел как-то раз на забавную мысль и крепко ухватился за нее. Ему показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль — почему же не развивать ее до бесконечности?

Отношения, связывавшие Джимми с его лягушкой, трудно поддаются определению. Способна ли рогатая лягушка на прочную привязанность, это вопрос, для разрешения которого мы не располагаем данными. Легче угадать чувства Джимми. Мьюриэл была перлом его остроумия и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для нее мух и защищал ее от холодного ветра. Заботы его были наполовину эгоистичны, и все же, когда пришло время, она отплатила ему сторицей. Немало других Мьюриэл так же щедро вознаграждали других Джимми за их поверхностное увлечение.

Джимми не сразу добился полного признания со стороны своих товарищей. Они любили его за простоту и чудачества, но над ним все еще висел тяжелый меч отсроченного приговора. Жизнь пограничников состоит не только в том, чтобы дурачиться в лагере. Приходится еще выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, драться со всякими головорезами, выбивать из чапарраля шайки бандитов, насаждать закон и порядок с помощью шестизарядного револьвера. Джимми, по собственному его признанию, был преимущественно ковбоем и не имел опыта в пограничной войне. Поэтому пограничники в его отсутствие усиленно гадали, как он будет вести себя под огнем. Ибо, да будет всем

известно, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат.


Два месяца на границе было спокойно. Солдаты бездельничали в лагере. А затем, к великой радости изнывавших от скуки защитников границы, Себастьяно Салдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешел со своей шайкой Рио-Гранде и стал производить опустошения на тexasском берегу. Теперь были основания предполагать, что скоро Джимми Хейзу представится случай показать, чего он стоит. Отряд гонялся за бандитами неустанно, но у Салдара и его людей кони были, как у Лохинвара¹, и настигнуть их было нелегко.

Однажды вечером, перед закатом, пограничники после долгого перехода остановились на отдых. Усталые лошади стояли тут же, нерасседланные. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг из чащи зарослей на них выскочил Себастьяно Салдар со своей шайкой, стреляя из шестизарядных револьверов и оглашая воздух отчаянными воплями. Это было полной неожиданностью. Пограничники, раздраженно ругаясь, схватились за винчестеры; но атака оказалась лишь показательным выступлением чисто мексиканского типа. После этой шумной демонстрации налетчики с оглушительным криком ускакали прочь вдоль реки. Пограничники вскочили на коней и пустились в погоню; но уже мили через две их лошади выдохлись, и лейтенант Мэннинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь.

Тут обнаружилось, что Джимми Хейз исчез. Кто-то вспомнил, что, когда началась тревога, он побежал к своей лошади, но после этого никто его не видел. Наступило утро, а Джимми все не было. Думая, что он лежит где-нибудь убитый или раненый, пограничники обыскали все окрестности, но безуспешно. Тогда они пошли по следам банды Салдара, но она как в воду канула. Мэннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания снова ушел за реку. И действительно, ни о каких дальнейших набеггах сведений не поступало.

Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги состав-

¹ Храбрый рыцарь, герой баллады Вальтера Скотта, увезший свою возлюбленную, которую хотели выдать замуж за другого.



ляющих его солдат. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в позорное бегство. Бак Дэвис хорошо помнил, что мексиканцы не дали ни одного выстрела, после того как Джимми побежал к своей лошади. Таким образом, он не мог быть убит. Нет, он бежал от своего первого боя и не захотел вернуться, зная, что презрение товарищей труднее вынести, чем вид направленных на тебя винтовок.

И в отряде Мэннинга из пограничного батальона Мак-Лина было невесело. Это было первое пятно на их знамени. Ни разу еще за всю историю пограничной службы ни один солдат не показал себя трусом. Все они любили Джимми Хейза, и это еще больше портило дело.

Проходили дни, недели и месяцы, а облачко неизжитого позора все еще висело над лагерем.


III

Год спустя, оставив позади много стоянок и изъездив с оружием в руках много сотен миль, лейтенант Мэннинг почти с тем же составом людей был послан на борьбу с контрабандистами на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, пересекая густо заросшую мескитом равнину, они выехали на луг, изрезанный овражками. Тут глазам их представилась немая картина давнишней трагедии.

В одном из овражков лежали скелеты трех мексиканцев. Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяно Салдаром. Его громадное дорогое сомбреро с золотыми украшениями — шляпа, известная по всему Рио-Гранде, — лежало тут же, пробитое тремя пулями. На краю овражка покоились заржавевшие винчестеры мексиканцев — все они были направлены дулами в одну сторону.

Пограничники проехали в ту сторону пятьдесят ярдов. Там, в небольшой впадине, все еще целясь из винтовки в тех троих, лежал еще один скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Ни по каким признакам нельзя было опознать одинокого защитника. Его одежда, насколько можно было в ней разобраться после работы дождей и солнца, могла быть одеждой любого ранчмена или ковбоя.

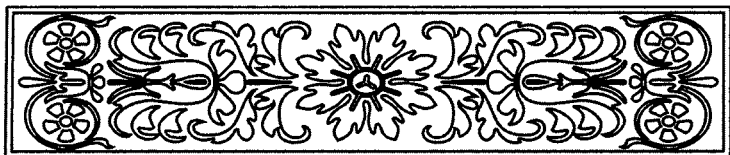
— Какой-нибудь ковбой, — сказал Мэннинг. — Они настигли его одного. Молодец парень! Задал он им горячих,



прежде чем они укокошили его! Так вот почему мы больше ничего не слышали о доне Себастьяно!

И вдруг из-под истрепанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка с полинявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плече своего давно успокоившегося хозяина. Безмолвно рассказала она повесть о неопытном юноше и быстроногом сером в яблоках коне — как они в погоне за мексиканскими налетчиками обогнали всех своих товарищей и как мальчик погиб, поддерживая честь своего отряда.

Пограничники теснее столпились у трупа, и, словно по данному знаку, дикий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и торжествующей песнью. Станный реквием над прахом павшего товарища, скажете вы, но, если бы Джимми Хейз мог его услышать, он бы все понял.



ДВЕРЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПОКОЯ


Я сидел уже битый час в редакторском кабинете монтополисского еженедельника «Трубный глас». Я был его редактором.

Шафрановые лучи заходящего солнца, процеженные сквозь кукурузные стебли на огороде дядюшки Уиддэпа, увенчали янтарным нимбом мою баночку с клеем. Я сидел за редакционным столом на потерявшем способность вертеться вертящемся стуле и сочинял передовую статью на страх олигархиям. В кабинете было только одно окно, по углам хозяйничал сумрак. Беспощадным пером я отсекал олигархической гидре одну голову за другой, между тем благодушно вслушиваясь в звон бубенчиков мирно бредшего к дому стада и гадая, что мне подаст сегодня на ужин миссис Фланаган.

В эту минуту с тихой темнеющей улицы вошел неслышной стопой и уместился на краю моего стола старик, древний, как мир. Безбородое лицо его было шишковатым, как грецкий орех. Ничего равного расцветке его одежды я в жизни не видывал. По сравнению с ней плащ Иосифа показался бы до унылости серым. Но то не было достижением красильщика. Многоцветность была лишь итогом пятен, заплаток, ржавых потеков и долгой работы солнца. Башмаки его были покрыты таким слоем пыли, точно они отшагали не менее тысячи миль. Добавлю, что гость был таинствен, мал ростом и дряхл, словно прожил много веков. Вспоминаю еще, что от него исходил слабый запах, наподобие мирры, алоэ или, может быть, кожи: так пахнет в музеях.

Я взял карандаш и бумагу, ибо дело есть дело. Визит местного старожила — немалая честь для редакций и подлежит освещению на страницах газеты.

— Счастлив видеть вас, сэр, — сказал я ему. — Охотно предложил бы вам стул, но... вы видите сами. Признаться, я здесь, в Монтополисе, всего три недели и мало с кем успел познакомиться.



Тут я оглядел с подозрением пыль на его башмаках и заключил стереотипным репортерским вопросом: «Полагаю, что вы здешний житель?»

Мой гость покопался в недрах своей одежды, извлек грязную визитную карточку и вручил ее мне. На карточке было начертано неверной рукой: «Майкоб Адер».

— Счастлив, что вы навестили меня, мистер Адер, — сказал я ему, — как местный старейшина вы должны испытывать гордость, взирая на нынешний рост и процветание города. Могу гарантировать вам, что Монтополис будет иметь инициативную живую газету...

— Вам знакомо имя на карточке? — спросил, прерывая меня, мой гость.

— Не припомню, — сказал я.

Опять он стал шарить в древнем своем одеянии. И на сей раз вынул листок, обрывок книжной страницы или, быть может, газеты, потемневший и хрупкий от времени. Заголовок «Турецкий шпион» был набран старинными литерами. Текст под ним был таков:

«В нынешнем 1643 году в Париж пришел человек, утверждающий, что он живет на земле уже тысячу шестьсот лет. Он сказал нам, что был сапожником в Иерусалиме, когда распинали Христа; что его зовут Майкоб Адер; что когда Иисус, Мессия христиан, осужденный на смерть Понтием Пилатом, римским наместником, нес свой крест к месту казни, он остановился передохнуть на минуту у дверей Майкоба Адера. Сапожник ударил Христа кулаком и сказал: «Иди, чего ждешь?» Мессия ответил ему: «Я пойду, но ты будешь ждать, пока я не вернусь», приговорив его тем жить до Второго пришествия. С тех пор он живет на земле, а каждые сто лет впадает как бы в бесчувствие, опомнившись от которого снова становится молод, каким был в год распятия Христа; ему не исполнилось тогда и тридцати лет.

Такова судьба Агасфера согласно Майкобу Адеру, который сказал нам...»

На этом текст обрывался.

Я, видимо, стал бормотать что-то вслух насчет Агасфера, и старик молвил громко и с горечью:

— Вздор и пустые выдумки, как, впрочем, и девять десятых того, что у вас слывет за историю. Я не был иудеем, сы-

нок. И то, что я проживал в эту пору в Иерусалиме, не значит, что я иудей. Если взяться так рассуждать, все, что соешь из бутылки, будет детское молочко. Вы прочли мое имя на карточке. А в руках у вас лист газеты «Турецкий шпион», где все про меня напечатано. Я зашел к ним в редакцию двенадцатого июня тысяча шестьсот сорок третьего года вот так, как зашел сейчас к вам.

Я отодвинул бумагу и уронил карандаш. Не лезет ни в какие ворота. Пустить в «Местную хронику»? Но какая же это хроника? И все-таки в моем, тренированном на газетных трафаретах, мозгу стали складываться сами собой отдельные фразы. «Дядюшка Майкоб держится молодцом, никто не дал бы ему больше тысячи лет». Или так: «Уважаемый гость припомнил не без горделивости, что сам Джордж Вашингтон...» — да нет же, какой Вашингтон... — «сам Птолемей Великий качал его на коленях в родительском доме...» «Дядюшка Майкоб сказал, что нынешняя сырая весна — чистый пустяк по сравнению с Потопом, который в его младенчестве сгубил урожай у подножия горы Арарат». Нет!.. Не лезет ни в какие ворота!

Я стал думать, какую бы тему избрать для беседы с гостем — поближе к его интересам. Потолковать ли мне с ним о рекордах в пешем хождении или вспомнить о плиоцене. Но тут старик зарыдал горько и жалобно.


— Не надо унывать, мистер Адер, — сказал я, преодолевая неловкость. — За последние годы все мы стали терпимее и к Иуде Искарриоту, и к полковнику Барру¹, и к этому скрипачу на пожаре, синьору Нерону. Мы живем в либеральное время. Не падайте духом.

Не зная того, я задел его за живое. Старик смахнул слезы и стал агрессивен.

— Пора всыпать этим лгунам, — заявил он. — Ваши историки — старые бабы, чешущие язык на поминках. Не было благороднее человека, носившего тогу, чем император Нерон. Я был в Риме во время пожара. Лично знал императора, и все меня знали. В ту пору умели ценить человека, живущего вечно.

Раз уж начали разговор, расскажу про Нерона. Я пришел в Рим по Аппиевой дороге в ночь на шестнадцатое июля

¹ Эрон Барр — американский вице-президент в 1800 — 1804 гг., обвинявшийся в заговоре с целью отторгнуть западные территории США.



шестьдесят четвертого года. Прошагал всю Сибирь, пересек Афганистан. Одну ногу отморозил в снегах, а другую обжег в горячих песках пустыни. И настроение, признаться, было паршивое. Ходишь дозором от Северного полюса до Патагонии, а все почему-то считают тебя иудеем. Так, значит, бреду я мимо Большого цирка, тьма, хоть глаз выколи, вдруг кто-то меня окликает: «Да это же Майкоб!»

У самой стены, среди бочек и ящиков из-под галантереи сидит император Нерон; ноги поджал под тогу, в зубах большая сигара.

— Что, Майкоб, покурим? — говорит император.

— С этим все, — отвечаю, — ни сигары, ни трубки в рот не беру. Что толку курить, — говорю, — все равно никотином меня не прикончишь.

— Славно сказано, Майкоб Адер, милый мой Агасфер, — говорит император. — Здесь ты в точку попал. Риск придает нашим радостям добавочный вкус. Это — как с запретным плодом.


— И не следует вам здесь курить одному в темноте, — говорю я, — хотя бы центуриона какого в штатском с собой прихватили.

— А слышал ты когда-нибудь, Майкоб, о предопределении? — говорит император.

— О предопределении не слышал, — говорю я ему, — зато слышал о пешеходении. Я с ним на короткой ноге.

— Предопределение, — говорит мне мой друг император Нерон, — это то, чему учит сейчас наша новая секта, христиане. Из-за этой доктрины я и сиюздесь, дымлю среди ящиков.

Тут я тоже присел, разулся, чтобы оттереть отмороженный палец, и Нерон мне про все рассказал. С той поры, что я не был здесь, он успел развестись с супругой и взял себе в экономки, без всяких рекомендаций, известную в городе дамочку миссис Поппею. Эта Поппея развесила по дворцу занавески с оборками и объявила себя ненавистницей табачного дыма. И вот, говорит император, теперь, чтобы мне покурить, я должен болтаться по темным углам среди бочек и ящиков. Мы еще посидели с Нероном, я ему кое-что рассказал о своих путешествиях. Так вот, говорю вам, не верьте, будто Нерон поджег Рим. Не спорю, пожар начался в эту самую ночь, но, скорее всего, от окурка сигары, забытого им возле ящика. И опять же наглая ложь, будто он пиликал на



скрипке, когда бушевало пламя. Все шесть дней, не жалея себя, он провел на пожаре. Это я говорю вам, сэр, и можете мне поверить.

Тут я ощутил некое новое веяние, исходившее от мистера Адера. На сей раз пахло не миррой и не иссопом, а просто дешевым виски и еще, что похуже, ароматом дешевой комедии. Есть такая дурная манера у наших рассказчиков — взять освященные древностью и легендой события и разыграть их в виде вульгарного фарса. Хорошо, я согласен принять старика как самозванца, хвастающего, что он доживает вторую тысячу лет и бубнящего свою роль с железной последовательностью обитателя сумасшедшего дома. Но в качестве шутника, подсахаривающего грубую выдумку претензиями на юмор, мой гость был мне ни к чему.

Словно прочтя мои мысли, он перешел на другое.

— Прошу, не взыщите, сэр, — замямлил он жалобно, — у меня в голове как-то пугается. Я ведь древний старик. И память слабеет.

Действительно, он был стар, и я решил не ловить его на ошибках по истории Рима. Порасспрошу-ка его о прочих реликвиях прошлого; мало ли он повидал в своих странствиях по свету.

На стене над моим столом висела гравюра с рафаэлевскими ангелочками. Толстым слоем насевшая пыль причудливо затуманила их очертания.

— Называете их херувимами, — захихикал старик. — Делаете рисуете с крылышками. А другого, такого же, рисуете с луком и стрелами, называете Купидоном. Я-то знаю, откуда они взялись. Козел был их пра-прадедушкой. Вы редактор газеты, сэр, и, конечно, вы знаете, где стоял храм Соломона.

Где стоял храм Соломона? В Персии, что ли? Нет, я не мог ответить.

— Об этом нигде не найдете, ни в исторических книгах, ни в Библии. Но я-то храм видел, и первые херувимы были высечены на стенах и колоннах Соломонова храма. А два самых толстых стояли у входа, поддерживали балдахин над ковчегом. Но крылышки их на самом деле были рогами. И морды были козлиные. Всего в храме было десять тысяч таких козлов. И все херувимы были козлами во дни царя Соломона. А потом какой-то художник принял рожки за крылышки.

И я лично знал Тамерлана, хромого Тимура, сэр. Встречался с ним в Кегуге и еще раз в Царанже. Росточком он

был невелик, не более вас, и волосики у него были желтые, как янтарный чубук. Хоронили его в Самарканде, я был на поминках, видел его в гробу. Отлично сложенный мужчина, не менее шести футов ростом, и бородища вся черная.

И еще видел я, как императора Веспасиана забросали в Африке репой. Да, бродил я по белу свету и не знал ни минуты покоя. Так было повелено. Я был при разрушении Иерусалима, видел гибель Помпеи, коронацию Карла Великого; стоял у костра, когда Жанну д'Арк линчевали. И куда ни пойду, за мной следуют бури, черная смерть, мятежи и пожары. Так было повелено. Слыхали про Агасфера? Это все про меня, но я никакой не иудей. Историки лгут, я уже говорил вам. Не найдется ли у вас, случаем, сэр, где-нибудь капельки виски? Мне еще ведь шагать и шагать.

— Виски нет, — сказал я, — и если позволите, мне пора ужинать.


Я со скрипом отодвинул свой стул. Этот сухопутный рассказчик вцепился в меня покрепче, чем Старый моряк. От его черно-пегого одеяния снова пахло плесенью. Он опрокинул чернильницу и опять стал плести свое.

— Я готов стерпеть все, — заявил он, — но не страстную пятницу. Вы, конечно, знаете, сэр, что случилось с Понтием Пилатом. Когда он покончил с собой, тело бросили в озеро, в Альпах. И вот, с той поры ежегодно, в страстную пятницу, сам Сатана лезет в озеро, тащит оттуда Пилата, и все озеро в это время кипит и пузырится, что твой бак для белья. Сатана водружает Пилата на трон, высоко в горах, и тут я вступаю в дело. В вас пробудилась бы жалость ко мне, сэр, быть может, вы помолились бы за бедного Агасфера, если бы только знали, что я вынужден делать.

Я приношу таз с водой, становлюсь на колени, и Пилат умывает руки. Только представьте себе, Понтий Пилат, мертвый две тысячи лет, весь покрытый илом и слизью, охваченный тлением, глазницы пустые, рыбы жрут его внутренности, а он восседает на троне в страстную пятницу, сэр, и я держу таз, чтобы он умывал в нем руки. Так было повелено.

Интервью уже явно не лезло в колонку «Местная хроника». Возможно, оно пригодилось бы психиатру или обществу по борьбе с алкоголизмом, но с меня было достаточно. Поднявшись, я снова сказал, что мне пора уходить.

Ухвативши меня за сюртук, он повалился ничком на стол и разразился рыданиями. О чем бы он ни рыдал, поду-



малось мне, — горе его непритворно.

— Полноте, мистер Адер, — сказал я, пытаясь утешить его, — что вас так мучает?

Он ответил невнятно, давясь раздиравшими душу слезами:

— Бедный Иисус... я не дал ему... отдохнуть у порога.

Сколь ни абсурден был этот бред, его горесть взывала к почтению. Не придумав, что бы сказать, я еще раз напомнил ему, что пора уходить из редакции.

Он послушался, и я помог ему слезть со стола, где к тому времени все было вконец перевернуто. Буря отчаяния унесла с собой жалобы моего гостя, слезы омыли рану. Быть может, он позабыл, что рассказывал, по крайней мере, ту часть, о Голгофе.

— И все это я наделал, — забормотал он опять, когда я вел его к выходу, — я, иерусалимский сапожник.

На улице было светлее, чем в комнате, и я увидел, что лицо старика изборождено и иссушено скорбью, которой хватило бы на много человеческих жизней.

И тут с высоты потемневшего небесного свода послышался настойчивый клик больших перелетных птиц. Мой Агасфер поднял руку и склонил набок голову.

— Семь Трубачей, — молвил он, словно рекомендуя мне старых знакомцев.

— Дикие гуси, — сказал я, — а сколько числом не знаю.

— Всюду летят вслед за мной, — пояснил он. — Так было повелено. Души семи иудеев, помогавших при казни. Иногда это гуси, бывает, что ржанки, но всюду летят вслед за мной.

Я стоял и раздумывал, как бы мне с ним распрощаться. Огляделся кругом, потоптался, еще раз огляделся... и волосы у меня встали дыбом. Старик вдруг исчез.

Мне стало полегче, когда я увидел, что он не исчез, а просто уходит прочь в сгустившемся сумраке. Полного спокойствия, впрочем, я не обрел. Старик шагал споро, безмолвно, не так, как положено людям его преклонного возраста.

Ложась спать в этот вечер, я, по дурости, снял с книжной полки несколько пыльных томов и стал их листать. В «Гермиппусе», в «Салатиеле» и в «Хронике» Пеписа я ничего не нашел.

Но потом в «Гражданине мира» и еще в одной двухвековой давности книге я набрел на кое-что важное.

Действительно, в 1643 году Майкоб Адер явился в Париж и рассказал о себе в газете «Турецкий шпион». Он выдавал себя за Агасфера...

Тут меня сморил сон, день в редакции был утомительным.

«Трубный глас» выдвигал судью Гувера кандидатом в Конгресс. У меня было дело к судье, я зашел к нему рано утром, и мы вместе прошлись по улочке, где до того мне не доводилось бывать.

— Скажите, — спросил я посмеиваясь, — вы знаете Майкоба Адера?

— Конечно, — сказал судья. — Кстати, надо забрать башмаки. Вот его мастерская.

Судья Гувер зашел в неприглядную тесную лавочку. На вывеске я прочитал: «Майк О'Бадер. Сапоги и ботинки». В вышине надо мной пролетели, громко трубя, дикие гуси. Нахмурившись, я поскреб за ухом и тоже вошел в мастерскую.

Восседая на табурете с сапожным ножом в руке, Агасфер мой кроил подметку. Он был мокр от росы, перепачкан в траве, жалкий, неприбранный. А в лице у него, как и ранее, была тайная грусть, неизбывная мука, неутолимое горе, казалось, начертанные письменаи веков.

Судья Гувер спросил, не готовы ли его башмаки. Подняв от работы голову, старый сапожник представил свои объяснения. Эти последние дни он хворал. Завтра башмаки будут непременно готовы. Он скользнул по мне взглядом, но, видимо, меня не признал. Мы вышли из мастерской и двинулись дальше по улице.


— У старика был запой, — пояснил судья Гувер. — Раз в месяц он запивает. Но мастер — отличный.

— А что с ним такое? — спросил я.

— Виски, — кратко ответил судья. — Вот что такое.

Я промолчал, но счел объяснение судьи недостаточным. И при первом же случае стал расспрашивать Селлерса, забывшего, как обычно, ко мне почитать свежие новости.

— Когда я приехал в Монтополис, лет пятнадцать тому назад, Майк О'Бадер уже здесь сапожничал. В чем с ним дело? Пьянство, я думаю. Раз в месяц он сходит с рельсов и пьет примерно неделю. И тогда он рассказывает, что был когда-то разносчиком в Иудее. У нас всем эта чушь давно уже надоела. Но когда старик трезв, он совсем не дурак; в



задней комнате при мастерской у него куча книг, и книго-
чей он изрядный. Вся беда его в пьянстве, я думаю.

Но я так не думал. Мой Агасфер оставался пока неразга-
данным. Несправедливо приписывать любопытство одним
только женщинам. И когда в редакции появился старей-
ший из монтополисцев (на тысячу восемьсот лет моложе
Майкоба Адера), томимый желанием, чтобы его имя появи-
лось в печати, я тотчас же устремил поток его красноречия
в желательное мне русло.

Дядюшка Абнер был ходячей историей Монтополиса.

— О'Бадер, — прошамкал он, — прибыл сюда в шестьде-
сят девятом. Стал первым у нас сапожником. Народ говорит
про него, что он спятил, но он безобидный старик. Пьянст-
во, я так понимаю, повредило ему рассудок. Все беды от
пьянства, я долго живу на свете и всегда так считал.

Нет, снова не то. Мой сапожник был пьяницей, верно, но
он сделался пьяницей по какой-то важной причине. Отку-
да эта причуда, что он Агасфер? И эта тяжкая скорбь в ми-
нуты его безумия? Нет, пьянство само по себе ничего не
могло объяснить.

— А не было ли у Майка О'Бадера какого-нибудь несчастья?

— Несчастья? Дайте припомнить. Да, лет тридцать тому
назад что-то такое случилось. У нас, сэр, в те времена были
очень строгие нравы.

У Майка О'Бадера выросла дочь, красotka. Но пожалуй
что слишком бойка для нашего города. Убежала в городок
по соседству, пристала там к цирку. Годика так через два за-
явилась назад, разодетая, в кольцах и серьгах, повидаться с
отцом. Он ее не пустил на глаза, но она задержалась в Мон-
тополисе. Мужчины, я так понимаю, были не против, но же-
ны, те взбеленились — гоните девчонку, и все. Она была
храбрая девушка и прямо сказала им: отстаньте, мол, от ме-
ня, буду жить, как мне хочется.

И вот как-то ночью они решили расправиться с ней.
Пришли с камнями и палками, выволокли из дому и погна-
ли по улице. Она прибежала к отцовским дверям и молила
о помощи. Майк отпер дверь, ударил дочь кулаком, сбил с
ног, и дверь снова захлопнулась.

Толпа повлекла ее дальше, осыпая побоями, и выгнала
вон из города. А утром ее нашли мертвой в пруду на мель-
нице Хантера. Точно помню, как это было. А прошло целых
тридцать лет.

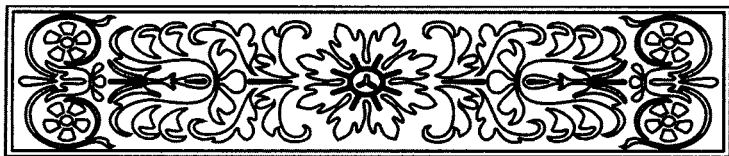


Откинувшись поудобнее на своем невертящемся редакторском стуле, я тихо кивал головой, как китайский болванчик, и глядел на баночку с клеем.

— Когда Майк запивает, — сказал дядюшка Абнер, впадая в болтливость, — то считает себя Агасфером.

— Он и есть Агасфер, — кивнул я задумчиво.

И дядюшка Абнер почтительно захихикал над этой шуткой редактора, потому что надеялся, что в колонке «Местная хроника» я упомяну его имя.



КОВАРСТВО ХАРГРЕЙВЗА

Когда майор Пендлтон Толбот — из Мобилия, сударь, — переехал со своей дочерью мисс Лидией Толбот в Вашингтон, он поселился в пансионе, остановив свой выбор на старомодном здании, расположенном в глубине просторного двора на одной из самых тихих в городе улиц. Дом был кирпичный, с портиком, который покоился на высоких белых колоннах. Величавые акации и вязы осеняли тенистый двор, а в пору цветения на траву дождем сыпала свои темно-розовые и белые цветы катальпа. Здесь все по духу своему и виду напоминало Юг, и как раз этим пленило взоры Толботов.

В этом уютном, уединенном доме они сняли две комнаты и рабочий кабинет для майора Толбота, который в то время дописывал заключительные главы своей книги «Армия и суд в Алабаме. Воспоминания, курьезы».

Майор Толбот был плоть от плоти старого-старого Юга. День сегодняшний не имел в его глазах ни достоинств, ни особого интереса. Душою он обитал в том времени, до Гражданской войны, когда у Толботов были тучные хлопковые поля на тысячи акров и рабы, чтобы их возделывать, когда их родовое гнездо славилось княжеским гостеприимством и туда съезжался цвет южной аристократии. Из тех времен он вынес все — и исстари взлелеянную гордость, и взыскательность в вопросах чести, и церемонную вежливость, какой теперь не встретишь, и, можно было подумать, свой гардероб.

Такого платья никто не шил, наверное, уже лет пятьдесят. Майор был высок ростом, однако всякий раз, когда он склонял колена в неподражаемом и старомодном телодвижении, которое именовал поклоном, он подметал пол фалдами сюртука. Этим предметом туалета он повергал в изумление даже Вашингтон, где уж давно перестали шарахаться при виде сюртуков и широкополых шляп, какие носят кон-


грессмены с Юга. За высокую, как у платья-принцесс, талию и фалды взлет кто-то из пансионных остроумцев окрестил это одеяние «принц С.».

Но, несмотря на причудливость костюма, на необозримую ширь плюсовой манишки и узкий, как шнурок, галстук, постоянно съезжающий набор, в тонном пансионе миссис Вардман майора любили, хотя и посмеивались над ним. Молодые министерские чиновники не прочь были, забавы ради, «завести» его, как они выражались, то есть заставить разговариваться о самых милых его сердцу предметах — традициях и истории его драгоценного Юга. Свои тирады он пересыпал извлечениями из «Воспоминаний и курьезов». Правда, тут требовалась большая осторожность, чтобы майор не заподозрил подвоха, ибо в свои шестьдесят восемь лет он умел так смерить обидчика серыми пронзительными глазами, что и самому дерзкому становилось не по себе.

Мисс Лидия была старая дева, низенькая и пухленькая, с гладко зачесанными назад, туго скрученными в пучок волосами, отчего казалось, что ей не тридцать пять лет, а больше. Она тоже была старомодна, однако, в отличие от майора, не источала флюиды великолепия, уграченного Югом. Она умела трезво оценивать события и знала счет деньгам; она, а не отец, ведала семейным бюджетом и вела переговоры с посетителями, когда пора было платить по счетам. Что же касается майора, в его представлении такие вещи, как счета от хозяйки пансиона и из прачечной, были докучливой и презренной мелочью. Их присылали так настойчиво и часто. Отчего, хотелось бы ему знать, их нельзя просто складывать куда-нибудь, а расплатиться за все разом в подходящее время — скажем, когда издадут «Курьезы» и он получит гонорар? На что мисс Лидия, не отрываясь от рукоделия, спокойно говорила:

— Пока не выйдут деньги, будем расплачиваться в срок, а уж потом пусть не взыщут.

Мало кто из постояльцев миссис Вардман оставался днем дома: все либо служили в ведомствах, либо имели свое дело, но был один, который с утра до вечера почти не отлучался со двора. То был молодой человек по имени Генри Гопкинс Харгрейвз — в пансионе всякий величал его полным именем, — он играл в одном из наиболее любимых в городе театров-варьете. Варьете за последние годы утвердилось в столь благоприличном качестве, а мистер Хар-



грейвз был такой воспитанный, скромный молодой человек, что у миссис Вардман не нашлось никаких возражений против того, чтобы включить его в число своих жильцов.

В театре Харгрейвз подвизался на амплуа комика, имитатора простонародных говоров, изображая в бесчисленных сценках немецких, ирландских и шведских иммигрантов, а также негров. Но мистер Харгрейвз был честолюбив и не однажды говорил о своем заветном желании добиться успеха на поприще «высокой» комедии.

Этот молодой человек, судя по всему, чувствовал искреннее расположение к майору Толботу. Когда бы ни начал майор предаваться воспоминаниям о Юге или в который раз пересказывать самые свои забористые курьезы, Харгрейвз уже был тут как тут, готовый ловить каждое слово.

Первое время майор склонен был пресекать попытки «комедианта», как он называл про себя Харгрейвза, завязать с ним дружбу, но очень скоро приятное обхождение и несомненная способность молодого человека по достоинству оценить рассказчика покорили старого южанина.

Скоро их уже можно было счесть за давних приятелей. Майор специально освободил послеобеденные часы, чтоб каждый день читать своему другу вслух рукопись книги. И не было случая, чтобы в ответ на очередной курьез Харгрейвз не рассмеялся как раз в нужном месте. Майор — как он в один прекрасный день объявил мисс Лидии — не мог не отметить, что его молодому знакомому свойственны необычайная тонкость восприятия и похвальное уважение к старому режиму. А уж когда завязывалась беседа об этих давно минувших временах — большой был любитель поговорить майор Толбот, но еще больше любил его слушать мистер Харгрейвз.

Как нередко случается, когда старые люди рассказывают о былом, майор обожал останавливаться на подробностях. Живописуя дни прежних плантаторов, отмеченные чуть ли не царским великолепием, он умолкал на полуслове и не шел дальше, пока не вспоминал, как звали негра-конюха, который держал под уздцы его лошадь, и какого именно числа произошло то или иное незначительное событие, и сколько именно тюков хлопка собрали в таком-то году — но никогда Харгрейвз не выказывал нетерпения и никогда не ослабевал его интерес. Напротив, он готов был без устали спрашивать о разных сторонах тогдашнего житейства и неизменно получал исчерпывающий ответ.


Травля лисиц, вечерние привалы после охоты на опоссума, праздники с пением и танцами у негритянских хижин, пиры в зале господского дома, когда приглашения рассылались на пятьдесят миль в округе; временами — распри с владельцами соседних плантаций, дуэль майора с Ратбоуном Калбертсоном из-за Китти Чалмерз, которая после вышла замуж за некоего Туэйта из Южной Каролины; гонки на собственных яхтах в Мобильской бухте, с баснословными ставками; самобытные поверья старых рабов, их беспечные повадки и неподкупная преданность — все это способно было часами подряд поглощать внимание майора и Харгрейвза.

Бывало, что поздно вечером, когда, окончив выступление в театре, молодой человек поднимался к себе, из дверей кабинета показывался майор и с лукавой улыбкой манил его пальцем. Харгрейвз входил и видел, что на маленьком столике уже дожидаются графинчик коньяку, сахарница, фрукты и пышный пучок зеленой свежей мяты.

— Пришло мне на ум, мистер Харгрейвз,— с неизменной своей церемонной учтивостью начинал майор,— что вы, должно быть, изрядно утомлены после трудов в своем... м-м... в заведении, где вы изволите служить, а потому не откажетесь отдать должное нашему южному напитку, к которому столь уместно было бы отнести слова поэта — «святой балзам Природы изнуренной».

Наблюдать, как он изготавливает напиток, было для Харгрейвза наслаждением. Майор священнодействовал с вдохновением подлинного артиста, неукоснительно соблюдая всегда один и тот же порядок. Какими бережными движениями он разминал мяту, с какой непостижимой точностью определял соотношение частей, как заботливо и осторожно венчал темно-зеленые пряди мяты алой шапкой рдеющих фруктов! И с какою радушной любезностью потчевал гостя, когда, отобрав лучшие овсяные соломинки, погружал их в льдистую глуть!

На четвертый месяц после приезда в Вашингтон мисс Лидия в одно прекрасное утро обнаружила, что деньги у них на исходе. «Воспоминания и курьезы» были дописаны до конца, но почему-то издатели не спешили выхватить у автора из рук собранные им жемчужины алабамской премудрости и острословия. Деньги за домик, который уцелел еще у них в Мобиле и сдавался внаем, запаздывали на два



месяца. А через три дня предстояло платить за пансион. Мисс Лидия призвала отца на семейный совет.

— Нет денег? — сказал он, взглянув на нее с удивлением. — Вот досада, когда поминутно отвлекают по таким пустякам. Я, право...

Майор пошарил по карманам. Там нашлась всего одна бумажка — два доллара, — которую он сунул обратно в карман жилета.

— Этим тотчас же необходимо заняться, Лидия, — сказал он. — Будь добра, достань мне мой зонтик, я немедленно иду в город. Только на днях генерал Фулгам, который избран в Конгресс от нашего округа, твердо обещал, что пустит в ход свои связи и добьется, чтобы мою книгу опубликовали без промедлений. Я не откладывая зайду к нему в гостиницу и узнаю, о чем ему удалось договориться.

С грустной усмешкой мисс Лидия смотрела, как он застегивает свой «принц С.», как уходит, остановившись прежде в дверях, дабы отвесить ей, по всегдашнему своему обыкновению, низкий поклон.

Вернулся он к вечеру, когда уже стемнело. Выяснилось, что конгрессмен Фулгам действительно виделся с издателем, которому отдана была на прочтение рукопись. Этот субъект сказал, что можно бы, пожалуй, подумать о ее издании, но лишь в том случае, если автор согласен ужать курьезы и прочее почти вдвое, изгнав из них дух классовый и местной нетерпимости, которой его сочинение пронизано от первой до последней страницы.

Майор буквально клокотал от ярости, однако, верный правилам хорошего тона, в присутствии мисс Лидии вновь овладел собой.

— И все-таки нам нужно раздобыть денег, — сказала, хмурясь, мисс Лидия. — Дай мне те два доллара, я нынче же телеграфирую дяде Ральфу, и он пришлет нам что-нибудь.

Майор вытащил из верхнего кармана жилетки маленький конверт и бросил на стол.

— Вероятно, мой поступок неосмотрителен, — мягко сказал он, — но мне подумалось, что это все равно не деньги, и я купил нам на сегодня билеты в театр. Новая пьеса о войне, Лидия. Я решил, что тебе приятно будет пойти на премьеру этого спектакля в Вашингтоне. Говорят, в нем весьма удачно выведен Юг. Признаюсь, я и сам не прочь посмотреть.

Мисс Лидия в немом отчаянии развела руками.

Однако, раз уже все равно билеты куплены, не пропадать же им. И вечером, когда театр огласили бравурные звуки увертюры, даже мисс Лидия позволила себе на время отрешиться от своих тревог. Майор, в белоснежной манишке, за которой почти не виден был его диковинный сюртук, с седой, волосок к волоску, шевелюрой, имел вид самый бравый и представительный. Начиналось первое действие пьесы «Цветок магнолии» — поднялся занавес, и зрители увидели на сцене уголок типичной южной плантации. Майор Толбот заметно оживился.

— Ой, посмотри! — воскликнула мисс Лидия, подтолкнув отца локтем, и протянула ему программку.


Майор надел очки и прочел ту строчку в перечне исполнителей, на которую указывал ее палец.

«Полк. Уэбстер Кэлхун... Г. Гопкинс Харгрейвз».

— Это же наш мистер Харгрейвз,— сказала мисс Лидия.— Должно быть, сегодня его дебют в этой, как он ее называет, «высокой» комедии. Я так за него рада.

Только во втором действии появился на сцене полк. Уэбстер Кэлхун. При его выходе майор Толбот громко фыркнул, впился в актера свирепым взглядом да так и окаменел на месте. Мисс Лидия придушенно пискнула и смяла в руке программку. Ибо полковник Кэлхун был загримирован в точности под майора Толбота. Длинные и редкие седые волосы, вьющиеся на концах, горбатый породистый нос, широкая плоеная манишка, узенький галстук, повязанный где-то под ухом,— все было похоже как две капли воды. И в довершение сходства сюртук на нем был прямо как двойник неповторимого, казалось бы, сюртука майора. Мешковатое, с высоким воротником и талией под мышками, с широчайшими фалдами на добрый фут длиннее спереди, чем сзади, облачение это могло быть сшито лишь по одному образцу, и никакому другому. С этой минуты майор и мисс Лидия сидели точно замороженные, глядя, как же-Толбот «втаптывает» своего надменного прототипа в «злокозненную грязь продажных подмоштков», как выразился потом майор.

Мистер Харгрейвз сумел использовать благоприятные обстоятельства на славу. Он уловил и в совершенстве перебрал тончайшие особенности майора, его выговор, интонации, словечки, его чопорную изысканность — и всюду для вящей выразительности чуточку сгустил краски. Когда он



склонился в знаменитом поклоне, который майор в простоте душевной почитал наигалантнейшим из всех приветствий, зал неожиданно наградил его взрывом дружных рукоплесканий.

Мисс Лидия сидела, боясь шелохнуться, не смея поднять глаза на отца. То и дело она подносила к щеке ладонь, как бы затем, чтобы скрыть от него улыбку, которую при всем своем недовольстве никак не могла сдержать.


Наивысшей точки в своем искусстве дерзкий подражатель достиг, когда началось третье действие — в той сцене, где полковник Кэлхун принимает у себя в кабинете гостей с соседних плантаций.

Стоя посреди сцены у стола, в тесном кругу друзей, он произносит за обрядом приготовления мятного напитка тот незабываемый, несколько несвязный и очень характерный монолог, который принес «Цветку магнолии» такую славу.

Недвижный, но бледный от возмущения, майор Толбот сидел и слушал, как повторяют лучшие его истории, излагают и развивают его излюбленные суждения и взгляды, как выставляют на посмешище его заветную мечту — «Воспоминания и курьезы», нарочито ее искажив и огрубив. Не обошлось и без коронного его номера — рассказа о дуэли с Ратбоуном Калбертсоном, исполненного с таким пылом, вкусом и самолюбованием, что куда там было майору!

Монолог завершился своеобразным, восхитительно остроумным коротеньким наставлением в искусстве готовить мятный напиток, которое сопровождалось наглядной демонстрацией. Здесь тонкая, но не лишенная показного блеска наука майора Толбота воспроизведена была в мельчайших подробностях, с той минуты, когда он изящными движениями разминал благоуханную зелень — «чуть больше усилия, джентльмены, хотя бы на одну тысячную долю, и вместо аромата мы извлечем лишь горечь из этой самим небом ниспосланной нам травки», — и до той, когда придиричливо отбирал самые лучшие овсяные соломинки.

Действие кончилось, и зрители разразились восторженным ревом. Собирательный образ был представлен так точно, убедительно, достоверно, что заслонил собой главных героев пьесы. Вызовы не смолкали, и когда Харгрейвз вышел на авансцену кланяться, его пылающее мальчишеское лицо сияло, так очевиден был успех.



Только тут, наконец, мисс Лидия решилась повернуть голову и взглянуть на отца. Узкие ноздри его раздувались, словно жабры у рыбы. Он оперся дрожащими руками на ручки кресла, собираясь встать.

— Мы уходим, Лидия,— сказал он прерывающимся голосом.— Здесь совершается гнусное надругательство.

Но он не успел подняться — дочь потянула его обратно.

— Мы остаемся,— объявила она.— Или ты желаешь подтвердить достоинства сюртука-копии, представив на всеобщее обозрение сюртук-оригинал?

И они досидели до конца.

Очевидно, празднуя свой успех, Харгрейвз засиделся допоздна — во всяком случае, наутро он не вышел к завтраку, а потом и к обеду.

Часа в три дня он постучался в кабинет к майору Толботу. Майор открыл, и Харгрейвз с ворохом газет вошел, переполненный торжеством, не замечая, что майор держится как-то необычно.

— Ну, я вчера их ублажил, майор,— возбужденно начал он.— Дождался своей подачи и, похоже, выиграл очко. Только послушайте, что пишет «Пост». «Задуманный и созданный им портрет старозаветного полковника-южанина с его смехотворной напыщенностью, нелепой манерой одеваться, самобытными присловьями и оборотами речи, с его трагической молью семейной гордостью и в то же время истинно добрым сердцем, высокими понятиями о чести и подкупающим простодушием — бесспорно, лучшее воплощение характерной роли на сегодняшней сцене. Уже один сюртук на плечах полковника Кэлхуна не назовешь иначе, как плодом подлинного вдохновения. Мистер Харгрейвз совершенно пленил зрителей». Недурно звучит для начала, а, майор?

— Я имел честь, сударь,— холодность в голосе майора не предвещала ничего хорошего,— быть вчера вечером свидетелем вашего более чем оригинального выступления.

Харгрейвз на мгновение смешался.

— Вы тоже были? Я не предполагал, что вы бываете на... то есть, что вы любите театр... Послушайте, майор Толбот,— вскричал он горячо,— не обижайтесь, пожалуйста! Готов признаться, я много почерпнул от вас, и это необыкновенно помогло мне сыграть роль. Но поймите, это собирательный образ — не конкретное лицо. Судите хотя бы по тому,



как его приняла публика. Ведь половина завсегдатаев нашего театра — южане. И они это поняли.

— Мистер Харгрейвз, — сказал майор, который выслушал его стоя, — вы нанесли мне непростительное оскорбление. Вы подвергли меня осмеянию, низко обманули мое доверие, употребили во зло мое гостеприимство. Если бы я верил, сударь, что вы хотя бы отдаленно представляете себе, что входит в понятие «джентльмен» и чем это звание подтверждается, я даже в свои годы стрелялся бы с вами. Я прошу вас, сударь, покинуть эту комнату.

На лице актера изобразилась некоторая озадаченность — казалось, до него не вполне дошел смысл сказанных майором слов.

— Мне правда очень жаль, что вы обиделись, — виновато сказал он. — У нас тут принято несколько иначе смотреть на вещи. Я знаю, что многие готовы были бы скупить ползала, если бы их согласились изобразить на сцене так, чтобы публика сразу узнала, кто это.


— Они рождены не в Алабаме, сударь, — надменно сказал майор.

— Возможно. У меня, майор, очень неплохая память, позвольте, я приведу несколько строчек из вашей книги. На одном банкете, в Миллиджвилле, если не ошибаюсь, вы в ответ на чей-то тост произнесли — а теперь намерены и опубликовать — следующее: «Северянин — это человек, начисто лишенный чувствительности и сердечного тепла, кроме, разве что, случаев, когда из них можно извлечь для себя материальную выгоду. Он преспокойно снесет любое поругание своей чести или чести своих близких, если оно не повлечет за собою денежного ущерба. Он щедрой рукой жертвует на добрые дела, однако ему надобно, чтобы о том раззвонили во все колокола и начертали на каменных скрижалях». Это, по-вашему, менее пристрастный портрет, чем тот, что был выведен вчера в образе полковника Кэлхуна?

— Для подобной аттестации есть основания, — насупясь, сказал майор. — А некоторые преуве... некоторая свобода в выборе выражений при публичном выступлении дозволительна.

— И в том числе — при выступлении на театральных подмостках, — живо подхватил Харгрейвз.

— Не в этом дело, — неумолимо настаивал майор. — Здесь мы имеем пасквиль на вполне определенное лицо. Я положительно не склонен забывать об этом, сударь.



— Ну отчего вы не хотите меня понять, майор Толбот? — с обезоруживающей улыбкой сказал Харгрейвз. — Знайте, что у меня и в мыслях не было оскорбить вас. Просто, когда речь идет о моей профессии, что только не встретится в жизни — все мое. Я беру что хочу — что могу, — а потом возвращаю в зрительный зал. Впрочем, извольте, будь по-вашему. Я не с этим к вам шел. Мы с вами не один месяц были добрыми друзьями, и потому я решился, хотя рискую вновь навлечь на себя вашу немилость. Я знаю — неважно откуда, в пансионе такое не утаишь, — что вы стеснены в средствах, и хочу, чтобы вы разрешили мне помочь вам в трудную минуту. Я ведь и сам сколько раз попадал в трудное положение. Ну а тут весь сезон приличное жалованье, удалось скопить кое-что. Могу от чистого сердца предложить вам сотни две — даже больше, — пока вы не получите...

— Довольно! — повелительно вскричал майор, вскинув руку. — Видно, все-таки правда сказана в моей книжке. В ваших глазах деньги — панацея, способная врачевать даже погрязшую честь. Ни при каких обстоятельствах я не согласился бы одолжиться у случайного знакомого, что же до вашего, сударь, оскорбительного предложения уладить с помощью денег обстоятельства, о которых тут говорилось, я скорей умер бы с голоду, чем допустил самую мысль о подобной возможности. Позвольте же повторить вам мою просьбу в части того, чтобы вы немедленно покинули эту комнату.

На сей раз Харгрейвз удалился без единого слова. В тот же день он оставил и пансион, переехав, как объяснила за ужином миссис Вардман, поближе к театру в центре города, где неделю должен был идти «Цветок магнолии».

Положение у майора Толбота и мисс Лидии было отчаянное. В Вашингтоне майору, при его щепетильности, попросить денег взаймы было не у кого. Мисс Лидия написала письмо дяде Ральфу, однако представлялось сомнительным, чтобы тот при крайнем расстройстве собственных дел мог оказать им существенную помощь. Майор вынужден был обратиться с извинениями к миссис Вардман, довольно сбивчиво объясняя задержку с платой за пансион «необязательностью арендаторов» и «недоставлением в срок почтовых переводов».

Избавление явилось внезапно, откуда его никто не ждал.

Однажды под вечер к майору Толботу поднялась привратница и доложила, что его желает видеть какой-то ста-



рый негр. Майор попросил проводить посетителя в кабинет. Вскоре, вертя в руках шляпу, кланяясь и косолапо шаркая ногой, в дверях появился темнокожий старик в мешковато сшитом, но очень приличном черном костюме. Большие грубые башмаки его сияли металлическим глянцем, наводя на мысль о пасте для чистки плит. Курчавые волосы почти сплошь выбелила седина. Возраст негра, когда у него полжизни позади, определить трудно. Этот, вполне возможно, встречал не меньше весен, чем майор Толбот.

— Не признали, видать, масса Пендлтон,— сказал он с порога.

При этом сызмальства привычном обращении майор встал и шагнул ему навстречу. Перед ним, несомненно, стоял один из бывших рабов с родовой плантации, но всех их так давно раскидало по свету, что ни голоса, ни лица уж было не узнать.

— Да, честно говоря, не припоминаю,— сказал он ласково.— Но, может быть, ты сам мне напомнишь?

— Разве замятовали, масса Пендлтон, как сразу после войны тетушка Синди проводила сына, Моузом звали?

— Постой-постой,— сказал майор, потирая пальцами лоб. Он любил сам вспоминать все, что было связано с дорогой ему стариной.— Моуз, сын тетушки Синди,— задумчиво говорил он.— Ты состоял при лошадях, объезжал молодняк. Да, вспоминаю. После капитуляции взял фамилию... погоди, не подсказывай... фамилию Митчелл и уехал на Запад, в Небраску.

— Во-во-во,— лицо старика расплылось в радостной улыбке.— Все так, все верно. В Небраску. Моуз Митчелл, он самый,— я, то есть. Теперь уж, правда, кличут дядя Моуз. Старый хозяин, папаша ваш, дали мне мулов, как я уезжал с плантации, двухлеток — на первое, значит, обзаведение. Помните мулов-то, масса Пендлтон?

— Нет, мулов что-то не помню,— сказал майор.— Я ведь женился в первый год войны, ты знаешь, и жил на старой усадьбе Фоллинсби. Но что же ты стоишь, дядя Моуз, садись, сделай милость. Я рад тебя видеть. Надеюсь, у тебя все благополучно.

Дядя Моуз сел на стул и бережно положил шляпу рядом на пол.

— Грех жаловаться, хозяин, особенно если взять последнее время. Я когда приехал в Небраску — народ спервонача-

лу валом валил поглазеть на моих мулов. У них в Небраске таких отродясь не видывали. Взял я их и продал за триста долларов. За три сотни, хозяин, — вот оно дело какое. Сам открыл кузню, разжился малость и купил себе землицы. Семь человек ребятишек вырастили мы со старухой, всех поставили на ноги, только двух схоронили. А тому четвертый год — проложили к нам железную дорогу, и в аккурат на том месте, где мой участок, стали строить город, так что теперь, масса Пендлтон, у дяди Моуза в наличном капитале, а также движимом и недвижимом имуществе — ни много ни мало одиннадцать тысяч долларов.

— Приятно это слышать, — сердечно сказал майор. — Весьма приятно.

— Ну, а ваша-то маленькая, масса Пендлтон, которую вы окрестили мисс Лидди — вот такусенькая была — небось стала совсем большая, и не узнать.

Майор подошел к двери и позвал:

— Лидия, милая, ты не зайдешь на минутку?

Из своей комнаты, совсем большая и изрядно к тому же озабоченная, пришла мисс Лидия.

— Скажи на милость! Так и есть! Страсть до чего выросла, я так и знал. Что ж ты, деточка, — никак забыла дядю Моуза?


— Это Моуз, Лидия, сын тетушки Синди, — объяснил майор. — Он уехал из Солнечной поляны на Запад, когда тебе было два года.

— Хм, — сказала мисс Лидия. — Как же мне было вас запомнить, дядя Моуз, с таких малых лет. Тем более что я, как вы говорите, «страсть до чего выросла», и произошло это уже ох как давно. Но неважно, что я вас не помню, — я все равно вам рада.

И точно, она была рада. Радовался и майор. Что-то живое, осязаемое явилось к ним и связало их вновь с далеким и счастливым прошлым. Они посидели втроем, толкуя о былых временах, майор и дядя Моуз перебирали в памяти дела и дни прежних плантаций, поправляя друг друга, подсказывая друг другу..

Майор спросил, как занесло старика в такую даль от дома.

— Здесь, в городе, большой съезд баптистов, — объяснил тот. — И дядю Моуза выбрали делегатом. Я хоть и не проповедовал никогда, но как я есть бессменный церковный ста-



роста и будучи в состоянии оплатить дорожные расходы, то меня и послали.

— Но как вы узнали, что мы в Вашингтоне? — спросила мисс Лидия.

— В той гостинице, где я квартирую, работает один негр, он родом из Мобилия. Вот он и сказал, что будто бы видел один раз утречком, как из этого дома выходит масса Пендлтон. А зачем я пришел,— продолжал дядя Моуз, запуская руку в карман,— земляков навестить, это одно дело, а другое — отдать должок массе Пендлтону.

— Должок? — в недоумении переспросил майор.

— Как же — три сотни долларов.— Он протянул майору пачку денег.— Я когда уезжал, мне старый хозяин и говорит: «Бери, говорит, ты, Моуз, этих мулов, а будет у тебя такая возможность, отдашь за них». Да, так и сказал — слово в слово. Ведь он и сам обеднял после войны. А раз старый хозяин давно помер, стало быть, долг причитается массе Пендлтону. Триста долларов. Теперь-то у дяди Моуза она есть, такая возможность. Как сторговала у меня землю железная дорога, я первым делом отложил, что надо отдать. Вы сочтите деньги, масса Пендлтон. Здесь ровно столько, за сколько я продал мулов. Вот оно как, хозяин.


На глазах у майора Толбота выступили слезы. Одной рукой он стиснул ладонь дяди Моуза, другую положил ему на плечо.

— Милый, верный старый слуга,— сказал он нетвердым голосом.— Не скрою от тебя, что неделю назад масса Пендлтон истратил последний доллар, какой у него оставался за душой. Мы принимаем эти деньги, дядя Моуз, отчасти в уплату долга, отчасти же как символ постоянства и преданности, какими славен был старый порядок. Лидия, душа моя, возьми деньги. Ты сумеешь распорядиться ими лучше меня.

— Бери, детка, бери,— сказал дядя Моуз.— Ваши это деньги, Толботовы.

Когда дядя Моуз ушел, мисс Лидия на радостях всплакнула, майор же отвернулся к стене и задымил своей глиняной трубкой, как хороший вулкан.

В ближайшие дни покой и благоденствие вновь воцарились в семействе Толботов. С лица мисс Лидии исчезло озбоченное выражение. У майора появился новый сюртук, в котором он выглядел живым, хоть и вполне музейным оли-



цветворением своего золотого века. Мало того, нашелся издатель, который, ознакомившись с «Воспоминаниями и курьезами», заключил, что, если рукопись чуть-чуть подправить и сгладить излишне острые углы, получится презанимательная книжица, которую раскупят нарасхват. Короче говоря, дела пошли на лад, а главное — появилась надежда, которая порой нам слаще всех уже обретенных благ.

Однажды, когда с того счастливого дня прошло около недели, горничная принесла мисс Лидии в комнату письмо. Судя по штемпелю, оно было из Нью-Йорка. Мисс Лидия, которая не знала в этом городе ни души, слегка всполошилась от неожиданности и, сев к столу, тотчас вскрыла ножницами конверт. Вот что она прочла:

«Дорогая мисс Толбот!

Я подумал, что Вам приятно будет узнать, как мне повезло. Я получил и принял предложение играть в составе постоянной нью-йоркской труппы полковника Кэлхуна в «Цветке магнолии». Жалованье — двести долларов в неделю.

Хотел сообщить Вам кое-что еще, о чем майору Толботу, я полагаю, разумней будет не рассказывать. Я непременно должен был чем-то возместить ему ту неоценимую помощь, которую он оказал мне в работе над ролью, — а заодно и то огорчение, которое она ему причинила. Он не дал мне сделать это прямо, ну, я и воспользовался окольным путем. Я-то мог с легкостью обойтись без этих трехсот долларов.

С искренним уважением,
Г. Готтинс Харгрейвз

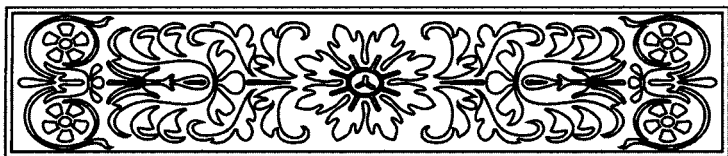
P. S. Как удалась мне, по-Вашему, роль дяди Моуза?»

Майор Толбот, проходя по коридору, увидел, что у мисс Лидии открыта дверь, и остановился.

— Лидия, милая, почта нам есть сегодня? — спросил он.

Мисс Лидия незаметно опустила письмо в карман своей широкой юбки.

— Пришел «Мобильский вестник», — поспешно сказала она. — Я положила на стол у тебя в кабинете.



ПОЗВОЛЬТЕ ПРОВЕРИТЬ ВАШ ПУЛЬС

И тогда я пошел к доктору.

— Как давно принимали вы спиртное внутрь? — спросил доктор.

Слегка от него отворотившись, я ответил:

— О, в общем-то довольно давно.

Это был молодой доктор — лет двадцати, а может, сорока. На нем были фиолетовые носки, и он походил на Наполеона. Он безумно понравился мне с первого взгляда.

— Сейчас я продемонстрирую вам, — сказал он, — действие алкоголя на ваше кровообращение.

По-видимому, он сказал «кровообращение», но мне почему-то послышалось «круговращение».


Он закатал мой левый рукав выше локтя, достал бутылку виски и дал мне хлебнуть. Его сходство с Наполеоном еще усилилось. Он нравился мне все больше и больше.

Он наложил мне тугую повязку на руку выше локтя, придал пальцами мой пульс и стал сжимать и разжимать резиновый баллон, соединенный трубочкой с аппаратом на подставке, похожим на термометр. Ртуть в аппарате начала подпрыгивать и падать, нигде, на мой взгляд, не задерживаясь. Но доктор сказал, что она показала двести тридцать семь, или сто шестьдесят пять, или что-то в этом роде.

— Теперь, — сказал он, — вы видите, как воздействует алкоголь на ваше кровяное давление.

— Надо же! — сказал я. — Но вы уверены, что такой проверки достаточно? Может, я хлебну еще разок, и мы проверим другую руку? — Ну да, разве от него дождешься!

Тут он схватил меня за руку. Я подумал, что обречен, и он хочет со мной попрощаться. Но оказалось, что ему нужно было только всадить иголку в кончик моего пальца и сравнить выдавленную оттуда красную каплю с целым набором пятидесятицентовых покерных фишек, прикрепленных к какой-то картонке.



— Я проверяю ваш гемоглобин,— пояснил он.— У вас плохой цвет крови.

— Да, я знаю, ему бы следовало быть голубым, но ведь это страна полукровок. Мои предки были английскими аристократами, но некоторые из них слишком тесно общались с местным населением, так что, сами понимаете...

— Я имел в виду,— сказал доктор,— что ваша кровь недостаточно густого красного цвета.

— Ну,— сказал я,— это уж дело случая, а не случки.

После этого доктор принялся зверски колотить меня в разных местах в области грудной клетки. Во время этой процедуры он казался мне попеременно то Наполеоном, то лордом Нельсоном. Затем он нахмурился и перечислил несколько недугов, коим бывает подвержена человеческая плоть. Почти все они оканчивались на «итис». Я струхнул и тут же уплатил ему пятнадцать долларов в виде аванса.

— Все ли они, или только часть их, или какой-то один из них... неизлечимы? — спросил я. Мне казалось, что некоторая моя причастность к существу вопроса оправдывает мое нездоровое любопытство.

— Все, как один,— жизнерадостно отвечал доктор. — Но их развитие можно приостановить. При строгом соблюдении правил и упорном лечении вы можете прожить лет до восьмидесяти пяти, а то и до девяноста.


Я тут же подумал: а до какой цифры дорастет к тому времени счет доктора?

— Восьмидесяти пяти будет, пожалуй, достаточно,— поспешно сказал я и уплатил ему еще десять долларов.

— Прежде всего,— заметно оживившись, сказал он,— надо подыскать вам хороший санаторий, где вы получите полный отдых и приведете нервы в порядок. Я сам поеду с вами и выберу наиболее подходящий.

И он привез меня в сумасшедший дом в Кэтскилских горах. Дом стоял на голой скале и изредка посещался редкими посетителями. Кругом были только валуны да галька, кое-где лежал снег и торчали сосны.

Молодой дежурный врач был очень мил. Он дал мне горячительного, не надевая повязки на руку. Время было обеденное, и нас пригласили в столовую. Там за маленькими столиками сидело человек двадцать. Молодой дежурный врач подошел к нам и сказал:



— По сложившемуся обычаю, наши гости считают себя не пациентами, а просто слегка переутомившимися дамами и господами, приехавшими немного отдохнуть. Если даже кто-нибудь из них и страдает каким-либо легким недомоганием, упоминать об этом у нас не принято.

Мой доктор громко крикнул официантке, чтобы мне подали фосфогликогеновый салат из липовой коры, собачьи галеты из костяной муки, бромистые оладьи с сельтерской и чай из нукс вомики. По столовой пронесся шум, подобный порыву ветра в верхушках сосен. Шум произвели гости, единодушно громким шепотом возвестившие:

— Неврастения!

Однако я очень явственно слышал, как один пациент с красным носом четко произнес:

— Хронический алкоголизм!

Ну, мы с ним еще потолкуем. Дежурный врач тут же куда-то смылся.

Примерно час спустя он повел нас в мастерские — шагах в пятидесяти от дома. Там он препоручил нас заботам своего помощника, иначе говоря, секунданта, — человека с большими ногами и в голубом свитере. Он был такого роста, что я не мог сказать с уверенностью, есть ли у него лицо, но при виде его рук упаковочная компания «Тяжелые грузы», безусловно, пришла бы в восторг.

— Здесь, — сказал дежурный врач, — наши гости, занимаясь физическим трудом, забывают про свои бывшие душевные тревобления. Напрягаясь, они расслабляются — вот в чем суть.

Там были ткацкие станки, токарные станки, кузнечные горны, гончарные круги, прядки, фотоаппараты и потовыжималки — словом, по-видимому, решительно все, что может потребоваться платежеспособным сумасшедшим, приехавшим отдохнуть в первоклассном санатории.

— Видите там в углу даму, которая лепит пирожки из глины? Это знаменитая Лула Лулингтон, автор романа «Почему любимая любит», — шепотом сообщил мне дежурный врач. — Сейчас она переключилась на пирожки — просто чтобы дать отдых мозгу после завершения своего труда.

Листал я когда-то эту книгу.

— Почему же вместо пирожков она не испечет для отдыха еще один роман? — спросил я.

Как видите, я был еще не так безнадежен, как им казалось.

— А вон тот господин, который льет воду в воронку, — продолжал дежурный врач, — это уолл-стритовский маклер, перевозбужденный от переутомления.

Я на всякий случай застегнулся на все пуговицы.

Затем он показал мне архитекторов, которые строили игрушечный Ноев ковчег, священников, занятых чтением «Происхождения видов» Дарвина, адвокатов, пиливших дрова, переутомившихся светских дам, толковавших об Ибсене с секундантом в голубом свитере, миллионера-невропата, устроившегося поспать на полу, и известного художника, таскавшего за собой по комнате маленький красный фургончик.

— С виду вы хоть куда, — сказал мне дежурный врач. — Мне думается, лучший вид умственного отдыха для вас — сбрасывать небольшие валуны с этой кручи, а затем притаскивать их обратно.

Я успел покрыть около ста ярдов, прежде чем мой доктор догнал меня.

— В чем дело? — спросил он.


— Дело в том, — сказал я, — что у меня не оказалось под рукой аэроплана. Поэтому я буду бодро-весело топтать по этой тропинке вон к той железнодорожной станции и прыгну на первую попавшуюся платформу с углем, которая доставит меня обратно в город.

— Ну что ж, — сказал доктор, — возможно, вы правы. Пожалуй, это не совсем подходящее для вас место. Все, что вам нужно, это — покой, абсолютный покой и моцион.

В тот же вечер я зашел в городе в отель и сказал администратору:

— Все, что мне нужно, это абсолютный покой и моцион. Можете вы дать мне номер с большой складной кроватью и отрядить несколько коридорных, чтобы они, работая попеременно, складывали и раскладывали кровать, пока я буду на ней покоиться?

Администратор опустил глаза на ноготь своего большого пальца, а затем скосил их на высокого мужчину в белой шляпе, сидевшего в вестибюле. Высокий мужчина подошел ко мне и вежливо осведомился, заметил ли я живую изгородь у заднего крыльца отеля. Я признался, что не заметил,



и он показал мне ее, после чего оглядел меня с головы до пят.

— Я думал, выхватили лишнего,— сказал он не без сочувствия,— но, похоже, что вы в порядке. Вам бы надо сходить к доктору, милейший.

Неделю спустя доктор снова проверил мое кровяное давление, но без предварительного приема возбуждающего. Мне показалось, что он уже меньше смахивает на Наполеона. И мне совсем не понравились его желтые носки.

— Все, что вам нужно,— решил он,— это морской воздух и приятное общество.

— Можно ли считать русалок...— начал было я, но его тон сразу стал холодно-профессионален.

— Я сам отвезу вас в приморский отель «Бонэр» на Лонг-Айленде и приведу в хорошую форму. Это тихий, комфортабельный курорт, и вы там быстро поправитесь.

Отель «Бонэр» оказался фешенебельным заведением на девятьсот номеров, расположенным на островке в стороне от основного острова. Всех, кто не имел привычки переодеваться к обеду, запикивали в угловую столовую и держали на черепашьем мясе и шампанском. Залив был излюбленным местечком богатых яхтсменов. В день нашего приезда там бросил якорь «Корсар». Я видел мистера Моргана — он стоял на палубе, жевал бутерброд с сыром и с вождением взирал на наш отель. Тем не менее это был совсем не дорогой отель, ведь все равно ни у кого не хватило бы средств оплачивать его счета. Все просто бросали свои пожитки и, уведя ночью лодку, давали стрекача, не уплатив по счету.


Прожив там сутки, я взял со стола портье пачку телеграфных бланков с монограммой отеля и разослал телеграммы всем своим друзьям с просьбой перевести мне денег на побег. Потом мы с доктором сыграли партию в крокет на площадке для гольфа и улеглись поспать на газоне.

Когда мы возвратились в город, доктора внезапно осенила какая-то мысль.

— Между прочим,— спросил он,— как вы себя чувствуете?

— Чувствую, что получил облегчение на изрядную сумму,— отвечал я.

Теперь о враче-консультанте. Тут дело обстоит несколько иначе. Врач-консультант не знает наперед, будут ему



платить или нет, и эта неуверенность обеспечивает вам либо самое внимательное, либо самое невнимательное обследование. Мой доктор повел меня к врачу-консультанту. Тот дал маху в своих расчетах и уделил мне максимум внимания. Он понравился мне безумно. Он подверг меня различным испытаниям на координацию.

— Болит у вас затылок? — спросил он меня.

Я сказал: нет, не болит.

— Закройте глаза,— приказал он,— плотно сдвиньте ступни и прыгните назад как можно дальше.

Так как я, сколько себя помню, всегда отлично прыгал назад с закрытыми глазами, я тотчас выполнил приказ и ударился головой о стоявшую настежь всего в трех футах от меня дверь ванной комнаты. Доктор был очень огорчен. Ему как-то было невдомек, что дверь открыта. Он захлопнул ее.

— А теперь прикоснитесь правым указательным пальцем к вашему носу,— приказал доктор.

— А где он? — спросил я.

— У вас на лице,— сказал он.

— Я имел в виду правый указательный, — пояснил я.

— Ох, простите,— сказал доктор. Он приотворил дверь ванной, и я извлек оттуда свой палец.

Безукоризненно выполнив феноменальный фокус соприкосновения пальца с носом, я сказал:

— Я не хочу вводить вас в заблуждение относительно симптомов, доктор. Мне кажется, у меня и в самом деле побаливает затылок.

Но доктор не придавал значения этому симптому, зато тщательно выслушал мое сердце с помощью устройства, похожего на трубку для тугоухих. Я почувствовал себя органчиком, который может наигрывать популярные мелодии, если в отверстие бросить монетку.

— А теперь,— сказал доктор,— поскачите минут пять, как лошадка, по комнате.

Я добросовестно, как мог, изобразил дисквалифицированного першерона, покидающего Мэдисон-сквер-Гарден. После этого, снова забыв бросить в отверстие монетку, доктор еще раз выслушал мое сердце.

— В нашей семье никто не болел сапом, доктор,— сказал я.

Врач-консультант воздел свой указательный палец в трех дюймах от моего носа.



— Смотрите на мой палец,— скомандовал он.

— Вы никогда не пробовали патентованный волосыводитель Пирса...— начал было я, но он не прервал своего исследования.

— Теперь посмотрите в окно на бухту. На мой палец. На бухту. На мой палец. На мой палец. На бухту. На бухту. На мой палец. На бухту.— Так продолжалось минуты три.

Он сказал, что это — проверка деятельности мозга. Мне она показалась совсем несложной. Я ни разу не принял его пальца за бухту. А употреби он такие выражения, как: «Устремите, как бы непреднамеренно, ваш взгляд вперед или, вернее, несколько вбок, в направлении горизонта — туда, где с ним соседствует, соприкасаясь, если можно так выразиться, снизу, наполненная жидкостью впадина... и теперь перенесите — или, вернее, в какой-то мере переключите — ваше внимание и зафиксируйте его на моем воздетом вверх персте», — держу пари, что при таком варианте даже сам Генри Джеймс смог бы успешно пройти это испытание.

Осведомившись, не было ли в моем роду троюродного дедушки с искривлением позвоночника или двоюродного брата с опухолью лодыжек, оба эскулапа укрылись в ванной комнате, и, присев на край ванны, стали держать совет. Я съел яблоко и посмотрел на свой палец, а потом на бухту.

Эскулапы вернулись, лица их были серьезны. Скажу больше: они были унылы, как надгробные изваяния. Они составили для меня список диетических блюд и потребовали, чтобы я ограничил ими свой рацион. В него входили все известные мне пищевые продукты, за исключением угрей, которых я никогда не считал продуктом питания, даже если они появлялись на моем собственном носу.

— Вы ни под каким видом не должны отступать от этой диеты,— сказали мне эскулапы.

— Я не отступлю от нее ни на шаг, попадись она мне только,— отвечал я.


— Столь же существенно важны для вас,— продолжали они,— свежий воздух и моцион. И вот вам рецепт. Это лекарство принесет вам значительное облегчение.

После этого они взяли свои шляпы, а я взял ноги в руки.

Я пошел к аптекарю и показал ему рецепт.

— Одна унция этого лекарства будет стоить два доллара восемьдесят семь центов,— сказал аптекарь.

— Не найдется ли у вас веревочки? — спросил я.



Я проткнул дырку в рецепте, продел в нее веревочку, надел рецепт себе на шею и засунул под рубашку. У каждого из нас есть свои маленькие суеверия, а вот я так верю в амулеты.

Никакой такой ужасной болезни у меня, разумеется, не было, но тем не менее я был очень болен. Я не мог работать, спать, есть и подавать мяч. Однако оказалось, что единственный способ, каким я могу вызвать к себе сочувствие,— это ходить небритым четыре дня. Да и тогда кто-нибудь приходил нужным сказать мне:

— Ну, дружище, какой же ты здоровяк стал, что твой пень еловый. Не иначе, как ездил проветриться в какие-нибудь девственные пуши?


И тут я вдруг вспомнил, что мне необходим свежий воздух и моцион. Тогда я отправился на Юг, к Джону. Джон — это человек, сделавшийся вроде как бы моим родственником по приговору пастора, стоявшего с маленькой книжечкой в руках среди большого многолюдия и белых хризантем. У Джона загородный дом в семи милях от Пайнвилля на большой высоте и над уровнем моря в горах Голубой Кряж, в штате столь почтенном, что нет нужды впутывать его в эту семейную пуганицу. Джон — это слюда, которая чище и полезнее золота. Джон встретил меня в Пайнвилле, и мы на трамвае поехали к нему домой. Он живет в просторном коттедже, расположенном на отлете на склоне холма, окруженного сотней гор. Мы вышли из трамвая на его собственной маленькой платформе, где нас встречала семья Джона и Амариллис. Все тепло меня приветствовали. Амариллис поглядела на меня как-то встревоженно.

Когда мы направлялись к дому, перед нами по лужайке проскакал кролик. Я бросил на землю чемодан и стремглав помчался вдогонку. Пробежав ярдов двадцать и видя, что мне за ним не поспеть, я упал на траву и залился слезами.

— Ну вот, я уже не могу даже кролика поймать,— всхлипывал я.— Бессмысленно жить дальше. Лучше мне умереть.

— Что случилось, брат? Что с ним такое? — обеспокоенно спрашивала Джона Амариллис.

— Нервы малость пошаливают,— с обычной для него невозмутимостью отвечал Джон.— Да это не страшно... Подымайся ты, кроличья смерть, пошли в дом, не то пирог остывает.



Уже спускались сумерки, и горы величественно обступали нас, стараясь не ударить в грязь лицом перед своими литературными портретами кисти мисс Мэрфри¹.

После обеда я сразу заявил, что могу, мне кажется, проспать сейчас целый год, а то и два, и даже все календарные праздники. Тогда меня провели в комнату, большую и прохладную, как цветник, с кроватью, широкой, как лужайка. Потом все остальные обитатели дома тоже отошли ко сну, и на земле воцарилась тишина.

Уже многие годы не слышал я такой тишины. Тишина была немая. Приподнявшись на локте, я прислушивался к ней. Уснешь тут! Мне казалось, что улови мой слух хотя бы, как мерцает звезда или растет трава, я мог бы уговорить себя заснуть. Один раз мне почудилось, что я слышу звук, похожий на хлопанье паруса под легким ветерком, когда лодка меняет галс, но я решил, что это мой галстук сполз на ковер. Все же я продолжал прислушиваться.

Вдруг какая-то запоздалая пичужка опустилась на мой подоконник и дремотным, как ей, вероятно, казалось, голоском произвела звук, который обычно изображается так: «Чирик!»

Я подскочил на кровати.

— Эй! Что у тебя там случилось? — донесся до меня сверху из комнаты над моей голос Джона.


— Ничего, ничего, — откликнулся я. — Просто я случайно ударился головой о потолок.

Утром я вышел на крыльцо и поглядел на горы. Я насчитал их сорок семь. Меня пробрала дрожь, я вернулся в просторный холл, отыскал в книжном шкафу «Практическое руководство по медицине в семье» Пэнкоста и принялся за чтение. Вошел Джон, отобрал книгу и потащил меня вон из дому. У Джона была ферма в триста акров с обычным набором всяких там амбаров, мулов, батраков и борон с тремя выломанными передними зубами. Я видел все это когда-то в детстве, и у меня защемило сердце.

Тут Джон заговорил о люцерне, и я сразу воспрянул духом.

— Как же, как же, знаю, — сказал я, — по-моему, она выступала в кордебалете этого, как его...

¹ Мэри Мэрфри (1850—1922) — американская писательница, выступавшая под псевдонимом «Чарльз Э. Крэддок», известная описаниями горных пейзажей своего родного штата Теннесси.



— Понимаешь, она такая хрупкая, нежная, пока еще совсем зеленая,— не слушая меня, продолжал Джон,— но держится только один сезон, а потом нужно чередовать, менять...

— Понимаю,— сказал я,— а потом, хоть трава не расти.

— Вот, вот,— сказал Джон.— Я вижу, ты все-таки смыслишь кое-что в земледелии.

— Я смыслю кое-что в землевладельцах,— сказал я, — и думаю, что их всех когда-нибудь заложат под пар.

Когда мы возвращались домой, какое-то прелестное и загадочное создание вышло впереди нас на дорогу. Я невольно остановился и как зачарованный уставился на него. Джон терпеливо ждал, покуривая папиросу. Джон человек современный, хотя и землевладелец. Минут через десять он спросил:

— Ты что ж, намерен стоять тут целый день, пяля глаза на эту курочку? Завтрак небось уже готов.

— Курочку? — переспросил я.


— Ну, или Белую Орпингтон, если тебе угодно уточнять.

— Белую Орпингтон? — повторил я с возрастающим интересом. Птица грациозно и с достоинством уходила от нас, и я пошел за ней, как мальчик за Гаммельнским Крысоловом. Джон терпел это еще минут пять, а затем взял меня под руку и повел завтракать.

Прожив там с неделю, я почувствовал тревогу.

Я крепко спал, ел с аппетитом и ловил себя на том, что начинаю радоваться жизни. Это никак не годилось для человека в моем отчаянном положении. Поэтому я однажды улизнул из дому, добрался до трамвайной станции, сел в вагон и поехал в Пайнвилл, где направился к одному из лучших врачей города. К тому времени я уже совершенно точно знал, что следует делать, когда нуждаешься в медицинской помощи. Я повесил шляпу на спинку стула и произнес скороговоркой:

— Доктор, у меня цирроз сердца, тромбоз артерий, неврастения, неврит, колит и выздоравливаемость. Я должен придерживаться самой строгой диеты и принимать теплую ванну вечером и холодную утром. Я должен стараться быть веселым и направлять свои мысли на приятные предметы. Из медикаментов мне следует пользоваться серными пилюлями три раза в день, предпочтительно после еды, и тонизирующим в форме настойки хвоща, хруща и карда-



мона. С каждой чайной ложкой этой микстуры я должен принимать тинктуру нукс вомика, начиная с одной капли в день и прибавляя ежедневно еще по капле, пока не будет достигнута максимальная доза. Капать я должен специальной пипеткой, которую можно приобрести за гроши в любой аптеке. Желаю здравствовать.

Я взял свою шляпу и ушел. Затворяя за собой дверь, я вспомнил, что упустил из виду еще кое-что. Я снова отворил дверь. Доктор все так же сидел за столом, но, увидав меня, нервно вздрогнул.

— Да, чуть не забыл,— сказал я.— Конечно, я буду соблюдать полный покой и совершать моцион.

После этой консультации мне стало значительно лучше. Заново укрепившееся в моем мозгу сознание, что я безнадежно болен, принесло мне большое внутреннее удовлетворение, и мое прежнее угнетенное состояние духа почти полностью восстановилось. Ничего не может быть тревожнее для неврастеника, как почувствовать, что ты здоров и бодр.

Джон вел за мной неусыпное наблюдение. После того как я проявил такой повышенный интерес к его Белой Орпингтонской курочке, он всячески старался отвлечь от нее мои мысли и никогда не забывал запирать курятник на ночь. Мало-помалу живительный горный воздух, здоровая пища и ежедневные прогулки настолько облегчили мой недуг, что я совсем расстроился и места себе не находил. Тут я прослышал, что неподалеку от нас в горах живет какой-то сельский врач. Я пошел к нему и рассказал историю своей болезни. Это был седобородый мужчина в домотканой одежде. У него были ясные голубые глаза, окруженные сетью морщинок.

Чтобы не терять даром времени, я поставил себе диагноз, дотронулся указательным пальцем правой руки до своего носа, стукнул себя пониже колена, брыкнул ногой, постучал по груди, высунул язык и осведомился о цене кладбищенских участков в Пайнвилле.

Доктор закурил трубку и пристально рассматривал меня минуты три.

— Плохи твои дела, брат,— сказал он, прерывая молчание.— Есть, конечно, надежда, что ты выкарабкаешься, но, признаться, довольно слабая.

— А каким же это способом? — жадно спросил я.— Ведь я уже пробовал и мышьяк, и золото, и серу, и моцион, и нукс


вомика, и лечебные ванны, и покой, и возбуждение, и кодеин, и ароматический нашатырный спирт. Разве есть в фармакопее еще что-нибудь неиспользованное?

— Где-то в этих горах,— сказал доктор,— растет одно прекрасное цветущее растение. Только оно и может исцелить тебя — ты найдешь свое спасение в нем. Это лекарство, древнее, как сама земля, но за последнее время оно стало встречаться все реже и реже, и найти его трудно. Мы с тобой отправимся на розыски. Годы дают себя знать, и я теперь уже редко кого лечу, но за твой случай возьмусь. Каждый день после обеда ты будешь приходить сюда и помогать мне искать это целебное растение, пока мы его не найдем. Городские доктора, возможно, приобрели кучу всяких новых познаний, но они мало разбираются в том, что хранит для нас мать-природа в своей сокровищнице.

И вот мы с доктором начали изо дня в день искать исцеляющее все недуги растение в горах и в ущельях Голубого Кряжа. Мы взбирались на отвесные склоны, такие скользкие от опавшей осенней листвы, что приходилось хвататься за каждый кустик, за каждую веточку, чтобы не рухнуть в пропасть. Мы пробирались через ущелья и теснины, утопая по грудь в папоротниках и лавровых зарослях; мы миля за милю шли по берегам горных потоков; мы, словно индейцы, кружили в лесу, продираясь сквозь хвойную чащу; мы исследовали каждый горный склон, каждый берег ручья, каждую обочину дороги, каждый пригорок в поисках чудотворного растения.

Однако слова доктора оправдались: растение это действительно стало, по-видимому, очень редким, и найти его было трудно. Но мы продолжали наши поиски. День за днем мы спускались в долины, взбирались на вершины гор и пересекали горные плато в погоне за волшебным цветком. Уроженец гор, доктор, казалось, не знал усталости. Я же нередко возвращался домой в состоянии полного изнеможения, тут же валился на постель и спал до утра. Так продолжалось целый месяц.

Как-то раз вечером, после того как я возвратился из стимульного похода со старым доктором, мы с Амариллис вышли немного прогуляться под деревьями вдоль дороги. Спускались сумерки, и горы закутывали свои царственные плечи в пурпурную мантию ночи, а мы стояли, любуясь ими.



— Я так рада, что ты совсем поправился,— сказала Амариллис.— Ты меня просто испугал — такой у тебя был вид, когда ты приехал. Я думала, что ты и вправду болен.

— Вот те на! — едва не завопил я.— Ты что, не знаешь, что у меня один шанс из тысячи остаться в живых?

Амариллис поглядела на меня с удивлением.

— Как же так? — сказала она. — Ведь ты силен, как мул, на тебе пахать можно, ты спишь по десять — двенадцать часов в сутки, и у тебя такой аппетит, что ты скоропустишь нас по миру. Чего же тебе еще надо?

— Говорю тебе,— сказал я,— если мы вовремя не найдем чудодейственное средство... я хочу сказать, целебное растение, которое ищем, ничто уже меня не спасет. Так сказал доктор.

— Какой доктор?

— Доктор Татум, который живет на горе Черного Дуба. Ты не знаешь его?

— Я знаю его с пеленок. Так вот куда ты исчезаешь каждый день? Значит, это он уводит тебя в эти далекие походы в горы? Вот кто вернул тебе здоровье и силы! Хвала старику доктору!

А тут как раз на дороге показалась разбитая таратайка, и в ней сам доктор. Таратайка неспешно катила мимо нашего дома. Я помахал доктору рукой и крикнул, что завтра в обычное время буду, как всегда, в его распоряжении. Доктор остановил лошадку и подозвал к себе Амариллис. Они минут пять потолковали о чем-то, и доктор поехал дальше.

Когда мы вернулись домой, Амариллис достала том энциклопедии и разыскала там какое-то слово.

— Доктор говорит,— сказала она мне,— что ты уже не нуждаешься больше в его врачевании, но он будет рад видеть тебя в любой день как друга. И еще он велел отыскать в энциклопедии мое имя и сказать тебе, что оно значит. Оказывается, это название цветущего растения, а также имя простой девушки — героини Феокрита и Вергилия. Как ты думаешь, что хотел сказать этим доктор?

— Я знаю, что он хотел сказать,— отвечал я.— Теперь я знаю.

Несколько слов к моему ближнему, который может запутаться в сетях вездесущей и неугомной Госпожи Неврастении.

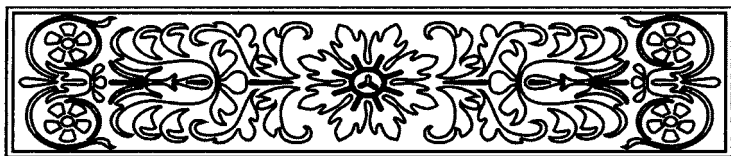


Предписания были правильными. Доктора, живущие за каменными стенами городов, пускай в потемках, наугад, но нащупали все же безошибочный путь к исцелению.

А за хорошим моционом я отсылаю всех к доброму доктору Татуму, живущему на горе Черного Дуба. Как дойдете до методистской молельни в сосновой роще, так сворачивайте с дороги направо.

Итак, полный покой и моцион!

А какой же покой может быть более полным, чем, сидя в тенечке рядом с Амариллис, всеми шестью чувствами впитывать беззвучную феокритовскую идиллию златоверхих голубовато-синих гор, торжественной вереницей уплывающих в опочивальню ночи?



ОКТАБРЬ И ИЮНЬ

Капитан мрачно посмотрел на свою шпагу, висевшую на стене. В стоящем рядом шкафу висел его запачканный мундир, потемневший и потертый от погоды и долгой службы. Казалось, что так много, много времени прошло с той поры военных тревог...


Ветеран тяжелых времен, пережитых родиной, он теперь силой женских ласковых глаз и улыбающихся губ был обречен на постыдную сдачу. Сидя в своей тихой комнате, он держал в руке письмо, которое только что получил от нее, — письмо, вызвавшее на лице его мрачное выражение. Он перечел фатальные строки, разрушившие его надежды:

«Отклоняя честь, которую вы оказали мне, предложив быть вашей женой, я чувствую, что должна высказаться откровенно. Причины — большая разница в наших годах. Вы мне очень, очень нравитесь, но я уверена, что брак наш не был бы счастливым. Мне тяжело касаться этого, но я надеюсь, что вы оцените прямоту, с которой я вам называю настоящую причину моего отказа».

Капитан вздохнул и подпер голову рукой. Правда, между ними — большая разница в годах. Но он был крепок и вынослив. У него были положение и богатство. Неужели же его любовь, его нежные заботы, те преимущества, которые он может дать ей, не заставят ее забыть о разнице лет? Кроме того, он был почти уверен что она любит его...

Капитан был человеком быстрых действий. В бою он отличался решимостью и энергией. Он отправится к ней и будет лично защищать свое дело! Возраст — разве он может стать между ним и любимой женщиной?

Через два часа он стоял в легком походном снаряжении, готовый к величайшему бою. Он сел в поезд, идущий в старый южный город Теннесси, где она жила.



Теодора Диминг сидела на ступенях красивого дома с портиком и наслаждалась летними сумерками, когда капитан вошел в калитку и направился к ней по усыпанной песком дорожке. Она встретила его улыбкой, в которой не было смущения. Когда капитан стоял ступенькой ниже ее, разница в возрасте не была так заметна. Он был высокого роста, стройный, загорелый, с ясными глазами. Она находилась в расцвете женственности.

— Я не ожидала вас, — сказала Теодора, — но раз вы тут, то можете присесть на ступеньку. Разве вы не получили моего письма?

— Получил, — ответил капитан, — потому-то и приехал! Послушайте, Тео, обдумайте, пожалуйста еще раз ваш ответ.

Теодора ласково улыбнулась ему. Он выглядел хорошо для своего возраста. Она искренно любила его силу, здоровый вид, мужество. Может быть, если бы...

— Нет, нет, — сказала она, решительно покачав головой, — об этом не может быть и речи. Вы мне ужасно нравитесь, но жениться нам не следует. Мой возраст и ваш... но не заставляйте меня повторять все снова. Я уже писала вам об этом.

Капитан немного покраснел сквозь бронзу своего лица. Он некоторое время молчал, грустно смотря в вечерние сумерки. Право, Судьба и Время сыграли с ним скверную штуку. Всего несколько лет стояли между ним и счастьем...

Рука Теодоры сползла и лежала теперь уже в его крепкой, загорелой рукой. Она, наконец, испытывала чувство, близкое к любви.

— Не принимайте этого так близко к сердцу, — мягко сказала она. — Все делается к лучшему. Я все это рассудила очень благоразумно. Когда-нибудь вы будете рады, что не женились на мне. Все это было бы хорошо и мило на некоторое время, но, — подумайте только! — какие у нас с вами будут разные вкусы через несколько скоро пролетевших лет! Одному захочется по вечерам сидеть у камина и читать, а может быть, и возиться с невралгией или ревматизмом, тогда как другого страстно будут манить театры, балы и позднее ужины. Нет, дорогой друг! Если наши отношения нельзя определенно назвать январем и маем, то, во всяком случае, это — октябрь и самое начало июня.

— Я бы всегда поступал так, как вы того желали бы, Тео! Если бы вы только хотели...



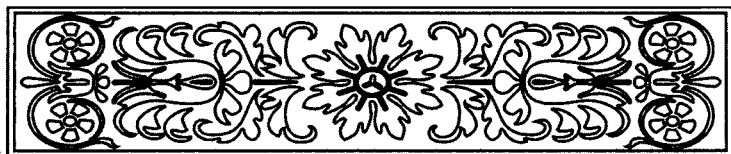
— Нет, вы бы этого не делали. Теперь вам кажется, что вы так поступали бы, но этого не было бы в действительности. Пожалуйста, не просите меня больше.

Капитан проиграл битву. Но он был галантный боец: когда он поднялся, чтобы проститься окончательно, рот его был сурово сжат и плечи выпрямлены.

В ту же ночь он уехал обратно на Север. И на следующий вечер снова находился в своей комнате, где на стене висела его шпага. Он одевался к обеду и завязывал свой белый галстук очень аккуратным бантом. И в то же время задумчиво разговаривал сам с собой:

— Честное слово, мне кажется, что Тео в конце концов права. Нельзя отрицать, что она очаровательна, но ей должно быть лет двадцать восемь, по самому пристрастному счету.

Видите ли, — капитану было всего девятнадцать лет, и шпага его никогда не вынималась из ножен, кроме как на ученье в Чатануга. Ближе к Испано-Американской войне он никогда не подходил.




ЦЕРКОВЬ С НАЛИВНЫМ КОЛЕСОМ

В списках летних модных курортов Лэклендс не значится. Он расположен на низком отроге Кэмберлендского хребта гор, на небольшом притоке реки Клинг-Ривер. Собственно, Лэклендс — приличная деревня, состоящая из двух дюжин домов, расположенных около заброшенной узкоколейной линии железной дороги. Как-то сам собой возникает вопрос: железная ли дорога, затерявшись в сосновых лесах, от страха и одиночества ринулась в Лэклендс, или же сам Лэклендс растерялся и подошел к железной дороге, дожидаясь, чтобы вагоны доставили его домой.

Вы удивляетесь также, почему деревня названа Лэклендс, то есть Озерная Земля. Озер здесь нет, а земля настолько плоха, что и упоминать о ней не стоит.

В полумиле от деревни стоит Орлиный Дом, большое поместительное здание, содержимое Джозией Ранкин для удобства посетителей, желающих пользоваться горным воздухом за недорогую плату. Орлиный Дом — в очаровательном беспорядке. Он полон старинных, а не новых, усовершенствований и находится в такой же комфортабельной небрежности и расстройстве, как ваш собственный дом. Но вы найдете там чистые комнаты, хороший и обильный стол, — сами вы и хвойные леса должны завершить остальное. Природа заготовила минеральный источник, виноградники и крокет, — даже ворота его из дерева. Искусству вы обязаны только музыкой (скрипка и гитара) дважды в неделю на танцулке в дощатом павильоне.

Посетителями Орлиного Дома являются люди, ищущие отдыха в силу необходимости так же, как и для удовольствия. Это — народ занятой, который может быть уподоблен часам, нуждающимся в двухнедельной заводке, чтобы обеспечить годовое движение их колес. Вы найдете здесь студентов из нижележащих городов, иногда художника или геолога, поглощенного изучением древних наслоений хол-



мов. Несколько тихих семейств проводят здесь лето, а иногда живут здесь одна или две представительницы корпорации, известной в Лэклендсе под названием «учительши». В четверти мили от Орлиного Дома находится здание, которое было бы описано, как «весьма интересное» в путеводителе, если бы Орлиный Дом издавал его. Это была старая, старая мельница, переставшая быть мельницей. По словам Джозии Ранкин, это была единственная в Штатах церковь с наливным колесом и единственная во всем мире мельница с церковными скамьями и органом. Обитатели Орлиного Дома посещали старую мельничную церковь каждое воскресенье и слушали, как священник сравнивал очищенного от грехов христианина с просеянной мукой, смолотой до полезности между жерновами опыта и страдания.

Каждый год в Орлиный Дом приезжал некий Абрам Стронг и жил там некоторое время в качестве почетного и любимого посетителя. В Лэклендсе его звали «отец Абрам», потому что волосы у него были такие белые, лицо такое мужественное, доброе и цветущее, смех такой веселый, а сюртук и широкополая шляпа так похожи на одежду священника. Даже вновь приезжие через три-четыре дня знакомства звали его этим фамильярным именем.

Отец Абрам приезжал в Лэклендс издалека. Он жил в большом, шумном городе на Северо-Западе, где у него были мельницы — не маленькие мельницы с церковными скамьями и органом, но громадные, безобразные, похожие на горы, — мельницы, вокруг которых целый день двигались вагоны товарных поездов, как муравьи вокруг муравейника.

А теперь вам надо рассказать об отце Абраме и о мельнице, ставшей церковью, так как их история сливается воедино.

В то время, когда церковь была мельницей, мельником был мистер Стронг. Во всем округе не было более веселого, пыльного, работающего мельника. Он жил в маленьком коттедже, через дорогу от мельницы. Рука у него была тяжелая, но такса за помол легкая, и горные жители везли к нему зерно за много миль скалистой дороги.

Радостью жизни мельника была его дочурка Аглая. Это, пожалуй, слишком громкое имя для переваливающегося карапуза с льняными волосенками, но горцы любят звучные и пышные имена. Мать вычитала его из какой-то книги — и дело было сделано. В младенчестве Аглая сама отвергла это

имя, для обычного употребления, и упорно называла себя Денс. Мельник и его жена часто старались выпытать у Аглаи об источнике этого загадочного имени, но безрезультатно. Наконец, они построили свою теорию. В маленьком садике за коттеджем находилась клумба с рододендронами, которыми ребенок особенно восхищался и интересовался. Может быть, в слове «Денс» она находила нечто родственное грозному имени своих любимых цветов.


Когда Аглае было четыре года, она и отец ее регулярно после обеда устраивали в мельнице маленькое представление, которое никогда не пропускалось, если только позволяла погода. Когда ужин был готов, мать щеткой приглаживала Аглае волосы, надевала ей чистый передник и посылала напротив на мельницу, за отцом. Увидев чрез мельничную дверь ее приближение, мельник, весь белый от муки, шел ей навстречу, махал рукой и пел старую мельничную песню, известную в этих краях, — что-то вроде следующего:

*Вот жернов скрипит,
Мука вниз летит,
А мельник, весь белый, смеется,
Поет он с утра:
Труд — только игра,
Когда мысль его к милой несется...*

Тогда Аглая, смеясь, подбегала к нему и кричала: «Папа, возьми Денс домой», а мельник сажал ее на плечо и маршировал домой ужинать, напевая «песню мельника». Каждый вечер происходило то же самое.

Однажды, через неделю после того, как ей исполнилось четыре года, Аглая исчезла. Ее видели в последний раз рвущей полевые цветы у края дороги, против коттеджа. Немного позже, когда мать вышла посмотреть, чтобы она не уходила слишком далеко, ее уже не было.

Разумеется, были приложены все старания, чтобы найти ее. Собрались соседи и обыскали леса и горы на мили кругом. Они осмотрели шлюзный желоб и ручей на большое расстояние ниже плотины. Нигде не нашли ни малейшего следа девочки. Ночь или две перед тем, неподалеку, в роще остановились лагерем какие-то бродяги. Явилось предположение, что они могли украсть ребенка, но, когда их нагнали и обыскали их кибитку, девочки не нашли.




Мельник оставался на мельнице еще около двух лет, затем он потерял надежду найти ребенка и перебрался с женой на Запад. Через несколько лет он стал владельцем современной мельницы в одном из значительных мельничных центров этого района. Миссис Стронг не могла оправиться от удара, нанесенного ей потерей Аглаи, и через два года после их отъезда мельник остался один нести свое горе.

Разбогатец, Абрам Стронг приехал повидать Лэклендс и старую мельницу. Место было связано с грустными воспоминаниями, но он был сильный человек и всегда казался веселым и добрым. Тогда-то у него и явилась мысль превратить мельницу в церковь. Деревня Лэклендс была бедна и не могла построить церковь, а еще более бедные горцы не могли ничем помочь. Ни церкви, ни молитвенного дома не было ближе чем на расстоянии двадцати миль.

Мельник постарался как можно меньше изменить вид мельницы. Большое наливное колесо осталось на месте. Молодежь, приходившая в церковь, вырезала свои инициалы в его мягком, медленно разрушавшемся дереве. Плотина была частью разрушена, и чистый горный поток, не встречая препятствий, бежал по своему илистому ложу. Внутри мельницы перемены были значительны. Столбы, жернова, ремни и блоки были, конечно, сняты. Было устроено два ряда скамеек и невысокая платформа и кафедра на одном конце. Наверху с трех сторон была галерея, на которой были устроены сиденья; к ней вела внутренняя лестница. Был на галерее и орган, настоящий трубочный орган, — гордость прихожан старой мельничной церкви. Мисс Феба Семмерс была органистом. Лэклендские мальчуганы с гордостью, по очереди, накачивали его за воскресными службами.

Священником был преподобный отец Банбридж; он приезжал из Скуррел-Гэп на своей старой, белой лошади и не пропускал ни одной службы. За все платил Абрам Стронг. Священнику он платил пятьсот долларов в год, а мисс Фебе — двести. Так, в память Аглаи, старая мельница была превращена в благословенное место для округа, где девочка некогда жила. Казалось, что короткая жизнь ребенка принесла больше добра, чем семидесятилетняя жизнь многих других. Но Абрам Стронг поставил ей еще и другой памятник.

С его мельницы на Северо-Западе приходила мука «Аглая», выделанная из самой твердой лучшей пшеницы. В этой местности скоро узнали, что у «Аглаи» есть две цены:



одна — рыночная, высшая цена, а другая — бесценная, даром.

Как только случалось несчастье, вследствие которого люди терпели нужду — пожар, наводнение, ураган, стачка или голод, — немедленно прибывал крупный транспорт «Аглаи» по «даровой цене». Ее раздавали осторожно и справедливо, но раздавали даром, и голодные не платили за нее ни одного пенни. Вошло в поговорку, что когда случался страшный пожар, то прежде всего приезжал на место происшествия кабриолет брандмайора, за ним вагон с мукой «Аглая», а затем уже пожарная команда.


Это был второй памятник, воздвигнутый Абрамом Стронгом Аглас. Может быть, поэту он покажется слишком утилитарным, но некоторые найдут красивой и милой эту идею, что чистая, белая, девственная мука, исполняющая миссию любви и милосердия, может быть уподоблена духу потерянного ребенка, чью память она увековечивала.

Наступил год, принесший тяжелые испытания для Кэмберленда. Урожай злаков повсюду был плох, а местного урожая совсем не было. Горные потоки нанесли большие убытки землевладельцам. Даже зверя в лесах было так мало, что охотники приносили домой едва достаточно дичи для того, чтобы сохранить жизнь родных. Особенно это чувствовалось около Лэклендса.

Как только Абрам Стронг услышал об этом, тотчас же полетели его посылки, и маленькие вагоны узкоколейки начали выгружать муку «Аглая». По приказанию мельника муку надлежало складывать в галерее старой мельничной церкви, и всякий, посещающий церковь, мог взять домой мешок муки.

Через две недели после этого Абрам Стронг явился на ежегодное пребывание в Орлиный Дом и снова стал «отцом Абрамом».

В этот сезон посетителей было меньше, чем обычно. Среди них находилась Роза Честер. Мисс Честер явилась в Лэклендс из Атланты, где она служила в универсальном магазине. Это были ее первые каникулы вне родного города. Жена управляющего складом как-то провела лето в Орлином Доме и уговорила Розу поехать туда на время ее трехнедельного отпуска. Жена управляющего дала Розе письмо к миссис Ранкин, которая охотно взяла ее на свое попечение.



Мисс Честер была девушка лет двадцати, не крепкого сложения. Жизнь без воздуха сделала ее бледной и хрупкой. Но после недели, прожитой в Лэклендсе, к ней вернулись веселость и оживление, поразительно изменившие ее. Стояло начало сентября, когда Кэмберленд особенно красив. Листва на горах блестела всеми осенними красками, точно в воздухе было разлито шампанское; ночи стояли упоительно прохладные, располагающие удобно улечься под теплыми одеялами Орлиного Дома.

Отец Абрам и мисс Честер очень подружились. Старый мельник узнал от миссис Ранкин ее историю и сразу заинтересовался стройной, одинокой девушкой, собственными силами пробивавшей себе дорогу.


Для мисс Честер горная местность была новостью. Она много лет прожила в теплом, плоском городе Атланта. Величие и разнообразие Кэмберлендского пейзажа восхищали ее. Она решила использовать каждую минуту своего пребывания здесь. Маленький запас ее сбережений был так строго рассчитан в соответствии с расходами, что она знала с точностью до одного пенни, какой небольшой остаток будет у нее ко времени возвращения на службу.

Для мисс Честер было счастьем получить отца Абрама в качестве друга и товарища. Он знал каждую дорогу, вершину и горный склон близ Лэклендса. Благодаря ему она узнала величавую прелесть тенистых, сводчатых сосновых лесов, важность голых утесов, живительные угра и мечтательные, золотые послеполуденные часы, полные таинственной грусти. Здоровье ее улучшилось, настроение стало веселым. Смех ее, хотя и по-женски, звучал так же искренно и звонко, как знаменитый смех отца Абрама... Оба они были природными оптимистами и умели показывать свету ясное и веселое лицо.

Однажды мисс Честер узнала от одного из жильцов историю пропавшего ребенка отца Абрама. Она сейчас же побежала и нашла мельника сидящим на своей любимой садовой скамье, близ железистого источника. Он был удивлен, когда маленький друг положил на его ладонь свою руку и посмотрел на него со слезами на глазах.

— О, отец Абрам, — сказала она, — мне так жаль. Я до сих пор ничего не знала о вашей дочке. Вы еще найдете ее, надеюсь, что найдете.

Мельник посмотрел на нее с энергичной, веселой улыбкой.



— Благодарю вас, мисс Роза, — сказал он обычным приветливым тоном, — но я больше не надеюсь найти Аглаю. Несколько лет я думал, что она украдена бродягами и находится в живых, но теперь я потерял эту надежду. Думаю, что она утонула.

— Я могу представить себе, — сказала мисс Честер, — как тяжело было перенести эти сомнения, а между тем вы так веселы и всегда готовы облегчить другим их бремя. Добрый отец Абрам!

— Добрая мисс Роза, — передразнил ее мельник, улыбаясь, — кто больше вас думает о других?

Мисс Честер овладело какое-то причудливое настроение.

— Отец Абрам, — воскликнула она, — разве не было бы чудесно, если бы я оказалась вашей дочерью? Разве это не было бы романтично? Было бы вам приятно, если бы я оказалась вашей дочерью?

— Конечно, было бы, — сердечно сказал мельник. — Если бы Аглая была жива, я не мог бы пожелать лучшего, как чтобы она стала такой же маленькой женщиной, как вы. Может быть, вы и Аглая, — продолжал он, впадая в ее шутливый тон. — Не можете ли вы вспомнить, когда мы жили на мельнице?


Мисс Честер сразу впала в серьезное раздумье. Ее большие глаза были устремлены на что-то вдали.

Отца Абрама забавляло ее быстрое возвращение к серьезности. Так она сидела долго, прежде чем заговорила.

— Нет! — сказала она наконец глубоко вздохнув. — Я не могу вспомнить ничего, связанного с мельницей. Мне кажется, что я никогда не видела мукомольной мельницы, пока не увидела вашу потешную маленькую церковь. Ведь, если бы я была вашей дочерью, я бы вспомнила это, не правда ли? Мне так жаль, отец Абрам.

— И мне также, — сказал отец Абрам, приноравливаясь к ней, — но если вы не можете вспомнить, что вы моя девочка, то, конечно, должны помнить, что вы чья-то другая дочка. Вы, разумеется, помните своих родителей.

— О да, я очень хорошо помню, особенно отца. Он совсем не был похож на вас, отец Абрам. Я ведь только пошутила. Пойдемте, вы достаточно отдыхали. Вы обещали показать мне сегодня прудок, где видно, как играет форель. Я никогда не видала форели.



Как-то поздно вечером отец Абрам один пошел на старую мельницу. Он часто ходил туда посидеть и подумать о старом времени, когда жил в коттедже через дорогу. Время притупило остроту его горя, так что воспоминание об этих временах не было болезненным. Когда Абрам Стронг в меланхоличные сентябрьские вечера сидел на том месте, где каждый день бегала Денс, с развевающимися белокурыми кудрями, на его лице не было улыбки, которую обыкновенно видели лэклэндские жители.

Мельник медленно шел по вьющейся крутой дороге. Деревья толпились так близко к ее краям, что он шел в их тени, неся шляпу в руках. Белки весело бегали по старой изгороди, по его правую руку. Перепела на пшеничном жнивье звали своих птенцов. Низко стоявшее солнце посылало поток бледного золота вдоль оврага, открывавшегося на запад. Началось сентябрь! Всего несколько дней до годовщины исчезновения Аглаи!

Старое наливное колесо, полупокрытое горным ивняком, украсилось пятнами теплого солнечного света, просвечивающего сквозь деревья. Коттедж через дорогу все еще стоял, но, наверно, развалится будущей зимой от порывов ветра. Он был весь заплетен вьюнками и плетями дикой тыквы. Дверь его висела на одной петле.

Отец Абрам толкнул дверь мельницы и тихо вошел. Затем остановился в удивлении. Он услышал, что внутри кто-то безутешно плачет. Оглянувшись, он увидел мисс Честер. Она сидела на темной скамье, склонив голову над открытым письмом, которое держала в руках.

Отец Абрам подошел к ней и опустил одну из своих сильных рук на ее плечо. Она подняла глаза, прошептала его имя и пыталась говорить.

— Не надо, мисс Роза, — ласково сказал он, — не пытайтесь еще говорить. Когда грустно на душе, нет ничего лучше, как хорошенько, тихонько выплакаться.

Казалось, что старый мельник, сам испытывавший столько горя, был волшебником, умевшим отгонять это горе от других. Рыдания стали стихать. Она вытщила свой маленький платочек и вытерла слезинки, упавшие из ее глаз на большую руку отца Абрама, потом подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. Мисс Честер умела улыбаться сквозь слезы так же, как отец Абрам мог улыбаться сквозь собственное горе. В этом отношении они были очень похожи друг на друга.

Мельник не задавал ей вопросов, но мало-помалу мисс Честер сама начала рассказывать.

Это была старая история, которая молодым кажется такой значительной и важной, а у старых вызывает улыбку воспоминаний. Как и можно было ожидать, причиной была любовь. В Атланте жил молодой человек, наделенный добротой и всеми приятными качествами. Он открыл, что и мисс Честер обладала этими качествами более всех других обитательниц Атланты или всякой иной местности от Гренландии до Патагонии. Она показала отцу Абраму письмо, над которым плакала. То было мужественное, нежное письмо, в немного повышенном и поучительном тоне и в стиле любовных посланий, написанных молодыми людьми, полными ласковости и иных добродетелей. Он просил руки мисс Честер и желал сейчас же повенчаться. После ее отъезда на три недели, писал он, жизнь для него стала невыносима. Он просил немедленно ответить. Если ответ окажется благоприятным, он обещал немедленно, не обращая внимания на узкоколейку, прилететь в Лэклендс.

— В чем же беда? — спросил мельник, прочитав письмо.

— Я не могу выйти за него, — сказала она.

— Вы хотели бы выйти за него? Хотели бы стать его женой? — спросил отец Абрам.

— О, я люблю его, — ответила она, — но... — Голова ее опустилась, и она снова зарыдала.

— Полно, мисс Роза, вы можете довериться мне. Я вас не допрашиваю, но думаю, что вы можете положиться на меня.

— Я вам доверяю вполне, — сказала девушка, — и открою вам, почему я должна отказать Ральфу. Я — никто! У меня нет даже имени. Имя, которым я называюсь, — ложное. Ральф — благородный человек. Я люблю его всем сердцем, но никогда не смогу стать его женой.

— Что вы говорите! — воскликнул отец Абрам. — Вы говорили, что помните своих родителей. Почему же теперь вы говорите, что у вас нет даже имени? Я не понимаю.

— Я помню их, — сказала мисс Честер, — я слишком хорошо помню их. Мои первые воспоминания относятся к нашей жизни где-то далеко на Юге. Мы много раз переезжали из города в город и из штата в штат. Я собирала хлопок, работала на фабриках и часто не имела достаточно пищи и одежды. Мать иногда бывала добра ко мне. Отец же всегда

был жесток и бил меня. Мне кажется, оба они были ленивые и недобрые люди.

Когда мы жили в небольшом городе, недалеко от Атланты, они как-то ночью сильно поссорились. Когда они бранились и упрекали друг друга, я из их слов узнала — о, отец Абрам! — я узнала, что не имею права быть... вы не понимаете? Не имею права даже на имя. Я — никто!

В ту же ночь я убежала. Добралась до Атланты и там нашла работу. Я назвалась Розой Честер и с тех пор сама зарабатываю себе средства на жизнь. Теперь вы знаете, почему я не могу выйти замуж за Ральфа и никогда не смогу объяснить ему причины.

Лучше всякой симпатии, полезнее сожалений оказалось пренебрежительное отношение отца Абрама к ее горю.

— Дорогая моя, дорогая девочка, и это все? — сказал он. — Стыдно! Я думал, что есть какое-нибудь серьезное препятствие. Если этот прекрасный молодой человек — настоящий мужчина, ему нет никакого дела до вашего родословного дерева. Поверьте моему слову, дорогая мисс Роза, что ему важны только вы сами. Расскажите ему все откровенно, так же, как вы рассказали мне, и я ручаюсь, что он посмеется над вашей историей и станет вас вдвое больше уважать.

— Я никогда не скажу ему, — ответила мисс Честер печально, — я никогда не стану женой ни его, ни другого, я не имею права.

Тут они оба увидели длинную тень, которая, качаясь, двигалась по освещенной солнцем дороге. Рядом с ней колебалась более короткая тень, и две странные фигуры приблизились к церкви. Длинной тенью оказалась мисс Феба Семмерс — органистка, которая шла в церковь упражняться, более короткая тень принадлежала двенадцатилетнему мальчугану, Томми Тигу. Сегодня была его очередь накачивать орган, и его босые ножонки с гордостью подымали пыль на дороге.

Мисс Феба, в ситцевом платье с цветочками сирени, с аккуратными локончиками над обоими ушами, низко поклонилась отцу Абраму и церемонно тряхнула локончиками по направлению мисс Честер. Затем она со своим помощником вскарабкалась по крутой лесенке наверх, к органу.

Внизу, в сгущавшемся сумраке, сидели мисс Честер с отцом Абрамом. Оба молчали; казалось, каждый был занят своими воспоминаниями. Мисс Честер сидела, подперев го-



лову рукой и устремив глаза вдаль. Отец Абрам стоял у следующей скамьи и в раздумье глядел через дверь на дорогу и на разрушающийся коттедж.

И вдруг вся картина преобразилась и перенесла его почти на двадцать лет назад. Пока Томми накачивал воздух, мисс Феба нажала низкую басовую ноту на органе и задержала ее, желая знать количество содержащегося в инструменте воздуха. Церковь для отца Абрама перестала существовать. Глубокая, гулкая вибрация, потрясавшая маленькое деревянное строение, была не звук органа, а гул мельничных колес. Он был уверен, что то вертится старое наливное колесо, и что сам он снова мельник, — веселый мельник на старой горной мельнице. Вот наступил вечер, сейчас через дорогу, переваливаясь, прибежит Агляя с развевающимися волосенками и позовет его ужинать. Глаза отца Абрама были устремлены на сломанную дверь коттеджа. А затем случилось другое чудо. На галерее, наверху, длинными рядами были сложены мешки с мукой. Может быть, в одном из них побывала мышь, но как бы то ни было от сотрясения, вызванного низкой нотой органа, сквозь щели пола галереи струей потекла мука и засыпала отца Абрама белой пылью от головы до ног. Тут старый мельник вышел в боковой придел, замахал рукой и запел песню старого мельника:


*Вот жернов скрипит,
Мука вниз летит,
А мельник, весь белый, смеется...*

И вот когда случилась остальная часть чуда. Мисс Честер сидела на скамье, подавшись вперед, бледная, как мука, уставившись широко раскрытыми глазами на отца Абрама. Когда он начал петь, она протянула к нему руки, губы ее зашевелились, и она позвала его, как во сне:

— Папа, носи Денс домой.

Мисс Феба отпустила басовую ноту органа, но ее дело было сделано. Нота, которую она взяла, пробила двери замкнувшейся памяти, и отец Абрам схватил в объятия свою потерянную Агляю.

Когда вы будете в Лэклендсе, вам дополнят эту историю. Вам расскажут, как впоследствии были найдены следы и как история дочери мельника стала известной начиная с того момента, когда кочующие цыгане, привлеченные ее дет-



ской прелестью, в сентябрьский день украли Аглаю. Но подождите, пока вы не усядетесь комфортно под затененным портиком Орлиного Дома. Там вы можете слушать эту историю, сколько пожелаете. Нам же лучше закончить рассказ, пока еще мягко дрожит басовая нота мисс Фебы.

И все-таки, по-моему, самое лучшее случилось, когда отец Абрам и дочь его в сумерках возвращались вместе в Орлиный Дом, — возвращались слишком счастливые, чтобы разговаривать.

— Отец, — сказала она немного застенчиво и неуверенно, — много у вас денег?

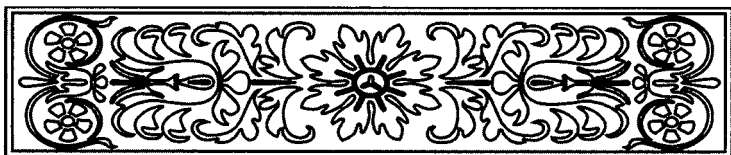
— Много ли? — сказал мельник. — Это зависит от того, сколько тебе нужно. Денег достаточно, если только ты не захочешь купить луну или еще что-нибудь в этом роде.

— Будет очень дорого стоить, — спросила она, всегда тщательно рассчитывающая каждый цент, — послать телеграмму в Атланту?

— А, — сказал отец Абрам с легким вздохом, — понимаю. Ты хочешь вызвать сюда Ральфа.

Аглая посмотрела на него с нежной улыбкой.

— Я хочу просить его подождать, — сказала она. — Я только что нашла отца и некоторое время хочу остаться с ним вдвоем. Я хочу сообщить Ральфу, что ему придется подождать...



НЬЮ-ЙОРК ПРИ СВЕТЕ КОСТРА

Находясь на индейской территории, мы узнали много интересного про Нью-Йорк.

Мы были на охоте и однажды ночью расположились лагерем на берегу небольшого ручья. Бед Кингсбюри был опытным охотником и нашим проводником: он-то и давал нам объяснение относительно Манхэттена и странных людей, живущих там. Бед как-то провел в столице месяц и в другие разы одну или две недели и любил рассказывать о том, что он там видел.

В пятидесяти ярдах от нашего лагеря была раскинута палатка кочевых индейцев, расположившихся на ночь. Старая-престарая индианка пыталась сложить костер под железным котлом, подвешенным к трем палкам.

Бедпошелпомочь ей и вскоре разжег костер. Когда он возвратился, мы стали шутить над его галантным поведением.

— О, — сказал Бед, — не стоит об этом говорить, у меня уж такая манера. Когда я вижу леди, которая варит что-то в котле, и это ей не удастся, я сейчас же иду на помощь. Я однажды сделал то же самое в аристократическом доме в Нью-Йорке в громадной этакой высокопоставленной харчевне на Пятой авеню. Индейская леди напомнила мне об этом. Да, я стараюсь быть вежливым и помогать дамам.

Наш лагерь потребовал подробностей.

— Я управлял ранчо Треугольника Б. в Панхандле, — сказал Бед, — оно в то время принадлежало старику Стерлингу из Нью-Йорка. Он хотел продать его и написал мне, чтобы я ехал в Нью-Йорк дать объяснения о ранчо синдикату, который собирался купить его. И вот я посылаю в Форт-Уорт, заказываю себе готовую пару за сорок долларов и пускаюсь по следу в большую деревню.

Когда я приехал, старик Стерлинг и его свита из кожи лезли вон, чтобы доставить мне удовольствие. Дела и развлечения у нас так перемешались, что половину времени

нельзя было понять, что у нас идет: пир или торговля? Мы подымались по зубчатке, курили сигары, посещали театры, натирали панели...

— Натирали? — спросил один из слушателей.

— Конечно, — ответил Бед, — разве вы сами не делали этого? Бродишь кругом и стараешься смотреть на вышки небоскребов. Ну, мы продали ранчо, и старик Стерлинг зовет меня к себе в дом пообедать вечером, накануне отъезда. Это не был званый обед, — только старик, да я, да его жена и дочь. Но все они были очень изящно одеты, без всяких там... полевых лилий. По сравнению с ними мастер, изготавливавший мою форт-уортскую одежду, казался торговцем лошадиными попонами и веревками для скота.

Стол был убран по-парадному, весь покрыт цветами, и у каждой тарелки лежал целый набор инструментов. Вы бы подумали, что вам надо ограбить ресторан, прежде чем получить свою еду. Но я уже был в Нью-Йорке целую неделю и привык к изящным манерам. Я ждал и смотрел, как другие обращались с железными орудиями, а после с тем же оружием нападали на цыпленка. Не так уж трудно ладить с этими чудаками: надо только узнать их повадки. Дело у меня шло хорошо. Мне было прохладно и приятно, и скоро я уже болтал совершенно свободно о ранчо и о Западе и рассказывал, как индейцы едят кашу из кузнечиков и змей. Вам никогда не приходилось видеть, чтобы люди были так заинтересованы.

Но настоящей радостью на этом пире была мисс Стерлинг. Это была маленькая плутовка, не больше двух комочков табака, но весь вид ее как будто говорил, что она — главное лицо, и вы этому верили. Впрочем, она совсем не важничала и улыбалась мне так же, как если бы я был миллионером. Когда я рассказывал про собачий праздник у индейцев, она слушала, точно это были вести из дома.

После того как мы поели устриц и какой-то водянистый суп и еще блюдо, никогда не входившее в мой репертуар, методистский проповедник вносит приспособление вроде походного очага, все из серебра, на высоких ножках и с лампой внизу.

Мисс Стерлинг зажигает эту машинку и начинает что-то стряпать прямо на столе, где мы ужинали. Меня удивило, отчего старик Стерлинг, имея столько денег, не мог нанять кухарку. Вскоре она стала раздавать какое-то кушанье, отзы-



вавшее сыром, причем уверяла, что это кролик, но я готов поклясться, что кроличий хвостик и на милую никогда не мелькал там.

Последним номером в программе был лимонад. Его обносили кругом в небольших плоских стеклянных чашках и ставили около каждой тарелки. Я очень хотел пить, поэтому взял чашку и залпом выпил половину. Вот тут-то маленькая леди и ошиблась! Лимон она положила, а сахар позабыла, у лучших хозяек бывают ошибки! Я подумал, что, может быть, мисс Стерлинг еще только учится хозяйничать и стряпать. Можно было предположить это по кролику, и я сказал себе: «Маленькая леди, положили вы сахар или нет, я буду стоять за вас».

Тут я снова подымаю чашку и выпиваю свой лимонад до дна. И тогда все они подымают свои чашки и делают то же самое. А затем я смеюсь, чтобы показать мисс Стерлинг, что смотрю на это как на шутку и чтобы она не огорчалась своей ошибкой.

Когда мы перешли в гостиную, она села около меня и некоторое время разговаривала со мной.

— Это очень любезно было с вашей стороны, мистер Кингсбюри, — сказала она, — что вы так мило покрыли мой промах. Как глупо, что я забыла положить сахар.


— Не огорчайтесь, — сказал я, — какой-нибудь счастливец в скором времени набросит свою петлю на одну маленькую хозяйку неподалеку отсюда.

— Если вы говорите про меня, — громко рассмеялась она, — то надеюсь, что он будет таким же снисходительным к моему хозяйничанью, как вы сегодня.

— Пустяки, — сказал я, — не стоит и говорить об этом: я делаю все, чтобы угодить дамам.

Бед закончил свои воспоминания. Тогда кто-то спросил его, что он считает самой яркой и выдающейся чертой нью-йоркских жителей.

— Наиболее видной и особенной чертой нью-йоркца, — ответил Бед, — является любовь к Нью-Йорку. У большинства из них в голове Нью-Йорк. Они слышали о других местностях, как, например: Вако, Париж, или Горячие Ключи, или Лондон, но они в них не верят. Они думают, что их город это — все! Чтобы показать вам, как они любят его, я расскажу про одного нью-йоркца, приехавшего в Треугольник Б, когда я там работал.



Человек этот пришел искать работу на ранчо. Он говорил, что хорошо ездит верхом, и на одежде его еще видны были следы таттерсаля.

Некоторое время ему было поручено вести книги кладовой на ранчо, так как он был мастер по цифирной части. Но это ему скоро надоело, и он попросил более деятельной работы. Служащие на ранчо любили его, но он надоедал нам своими постоянными напоминаниями о Нью-Йорке. Каждый вечер он рассказывал нам об Ист-Ривер, и Д. Б. Моргане, и Музее Эден, и Хетти Грин, и Центральном парке, пока мы не начинали бросать в него жестянками и клеймами.

Однажды этот молодец хотел взгромоздиться на брыкливого коня, тот как-то вскинул задом, и парень полетел на землю; конь отправился угощаться травой, а всадник ударился головой о пень мескитного дерева и не обнаруживал никакого желания встать. Мы уложили его в палатке, где он лежал, как мертвый. Тогда Гедеон Пиз мчится к старому доктору Слиперу в Догтаун, за тридцать миль.

Доктор приезжает и осматривает больного.

— Молодцы, — говорит он, — вы смело можете разыграть его седло и одежду, потому что у него проломлен череп. Если он проживет еще десять минут, это будет поразительный случай долговечности.

Разумеется, мы не стали разыгрывать седло бедного малого, — доктор только пошутил. Но все мы торжественно стояли вокруг, простив ему то, что он заговаривал нас до смерти рассказами о Нью-Йорке.

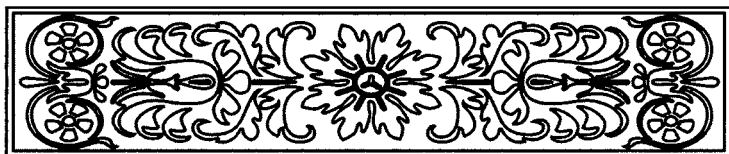
Я никогда не видел, чтобы человек, близкий к смерти, вел себя так спокойно. Глаза его были устремлены куда-то в пространство, он произносил бессвязные слова о нежной музыке, красивых улицах и фигурах в белых одеждах и улыбался, точно смерть была для него радостью.

— Он уже почти умер, — сказал доктор, — умирающим всегда начинает казаться, что они видят открытое небо.

Клянусь, что, услышав слова доктора, ньюйоркец вдруг приподнялся.

— Скажите, — произнес он с разочарованием, — разве это было небо? Черт возьми, а я думал, что это был Бродвей. Товарищи, подайте мое платье. Я сейчас встану.

— Будь я проклят, — закончил Бед, — если через четыре дня он не сидел в поезде с билетом до Нью-Йорка.



МЕТОДЫ ШЕМРОКА ДЖОЛНСА

Я горжусь тем, что знаменитый нью-йоркский сыщик Шемрок Джолнс принадлежит к числу моих близких друзей. Джолнс то, что называется «свой человек», в сыскной полиции города. Он виртуозно владеет пишущей машинкой, и когда требуется раскрыть какое-нибудь «загадочное убийство», ему неизменно поручают сидеть в Главном полицейском управлении и записывать телефонные исповеди всех сумасшедших, которым не терпится сознаться в совершенном ими злодеянии.


Но иногда, в дни «затишья», когда телефонные признания поступают лениво и три-четыре газеты уже выследили и держат за горло изрядное количество подозрительных типов, один из которых, несомненно, и должен оказаться убийцей, Джолнс любит прогуляться со мной по городу и продемонстрировать, к моему неизменному восхищению, свою поразительную наблюдательность и искусство дедукции.

Как-то раз я заглянул в Главное управление и увидел, что великий сыщик сидит в глубокой задумчивости, уставившись на свой мизинец, обвязанный зачем-то веревочкой.

— Доброе утро, Ватсоп,— сказал он, не поворачивая головы.— Очень рад, что вы провели-таки наконец у себя в доме электричество.

— Может быть, вы окажете мне любезность объяснить, как вы это узнали? — в полном изумлении спросил я.— Я еще не обмолвился об этом ни одной живой душе. И надумал-то как-то сразу, да и проводку только что закончили тянуть.

— Ничего не может быть проще,— снисходительно улыбнулся Джолнс.— Когда вы вошли, на меня повеяло запахом вашей сигары. Я умею отличить дорогую сигару от дешевой, и мне известно также, что в настоящее время всего три человека в Нью-Йорке могут себе позволить оплачи-



вать счета за газ и при этом курить дорогие сигары. Так что, как видите, это было просто. Но сейчас я бьюсь над разрешением одной маленькой загадки личного свойства.

— А для чего намотана у вас на палец эта веревочка? — спросил я.

— Вот в этом-то и загадка,— отвечал Джолнс.— Моя супруга намотала мне ее на палец сегодня утром, в качестве напоминания о том, что я должен что-то прислать домой. Присыдьте, Ватсоп, и разрешите мне немного поразмышлять.

Знаменитый сыщик подошел к висевшему на стене телефону и минут десять стоял, приложив трубку к уху.

— Вы выслушивали признание? — спросил я, когда он снова уселся на стул.

— Пожалуй, это можно назвать и так,— с улыбкой отвечал Джолнс.— Не скрою от вас, Ватсоп, я решил покончить с наркотиками. Я в течение столь долгого времени увеличивал дозу, что морфий совершенно перестал влиять на мою нервную систему. Мне теперь требуется более мощный раздражитель. Этот телефон соединен с номером отеля «Уолдорф», где один писатель читает сейчас вслух свое творение. Ну а теперь перейдем к тайне этой веревочки.

После пятиминутного углубленного раздумья Джолнс поднял на меня глаза, улыбнулся и кивнул головой.

— Уже? — воскликнул я.— Фантастика!

— Это же очень просто,— сказал он, подняв вверх палец.— Вы видите этот узелок? Он завязан для того, чтобы я чего-то не забыл. Значит, он должен говорить мне: «Не забудь!» Но, как известно, есть такой цветок — незабудка, и он любит сырую почву. Следовательно, я должен послать домой сыру.

— Великолепно! — воскликнул я.

— Может быть, мы теперь прогуляемся немного,— предложил Джолнс.— Сейчас имеется только одно более или менее стоящее внимания преступление. Старик Мак-Карти, ста четырех лет от роду, умер, объевшись бананами. Все улики так явственно наводят на след мафии, что полиция уже оцепила клуб «Гамбринус» № 2 на Второй авеню, и арест преступника — вопрос нескольких часов. К помощи сыскальной полиции пока еще не возникло необходимости прибегать.

Мы с Джолнсом вышли из дома и направились к остановке трамвая.

Пройдя с полквартала, мы повстречали Рейнгельдера — одного нашего знакомого, занимавшего должность в муниципалитете.

— Доброе утро, Рейнгельдер, — сказал, приостанавливаясь, Джолнс. — Вы отлично позавтракали сегодня.

Будучи всегда настороже, дабы не проморгнуть какого-нибудь неповторимого дедуктивного озарения великого сыщика, я заметил, как взгляд Джолнса на мгновение задержался на длинной, узкой капле чего-то желтого, оставшейся на пластроне сорочки Рейнгельдера, и на такой же, но поменьше — на его подбородке. И та и другая капли поразительно смахивали на яичный желток.

— А-а, этот ваш детективный штучка, — сказал Рейнгельдер, сияя улыбкой от макушки до пят. — Пьюсь оп заклат на выпивок и сигар, што вы не угадает, чем я сегодня зафтракал!

— Идет, — сказал Джолнс. — Вы ели сосиски и пили кофе с ржаными булочками.

Рейнгельдер подтвердил, что все отгадано точно, и оплатил пари. Когда мы двинулись дальше, я сказал Джолнсу:

— А мне показалось, что вы смотрите на следы яичного желтка у него на рубашке и на подбородке.

— Вы не ошиблись, — сказал Джолнс. — Это было отправной точкой моих дедукций. Рейнгельдер прижимист и бережлив. Вчера на рынке цена на яйца упала до двадцати восьми центов за дюжину. А сегодня она подскочила до сорока двух. Рейнгельдер ел яйца вчера, а сегодня вернулся к своему обычному рациону. Это все безделки, Ватсон, — арифметическая задачка для первого года обучения.

Войдя в трамвай, мы обнаружили, что все места в нем заняты — и преимущественно дамами. Мы с Джолнсом остались стоять на задней площадке.

На одном из сидений примерно посредине трамвая сидел пожилой, прилично одетый господин с короткой седящей бородкой — с виду типичный зажиточный нью-йоркский обыватель. На остановках в трамвай одна за другой стали входить женщины, и вскоре возле господина, занимавшего вожделенное сиденье, повисли, держась за ремни и испепеляя невежу взглядами, три-четыре дамы. Но невежа сохранял непреклонный вид и не двигался с места.

— Похоже, мы, ньюйоркцы, — заметил я, — утратили всякое представление о хорошем воспитании — или, во всяком случае, не очень-то демонстрируем его на людях.



— Возможно, вы правы, — небрежно подтвердил Джолнс, — но господин, которого вы, по-видимому, имеете в виду, — очень учтивый и галантный джентльмен из Старой Виргинии. Он приехал на несколько дней в Нью-Йорк со своей женой и двумя дочками и сегодня вечером отбывает на Юг.

— Так вы, значит, знакомы с ним? — удивленно воскликнул я.

— Я впервые в жизни увидел его сейчас здесь, в трамвае, — с улыбкой заявил знаменитый сыщик.

— Клянусь золотым зубом Эндорской колдуньи! — воскликнул я. — Если вам достаточно было один раз взглянуть на него, чтобы узнать все эти подробности, значит, вы просто занимаетесь черной магией.

— Немножко выработавшейся с годами наблюдательности и ничего больше, — отвечал Джолнс. — Если этот пожилой господин сойдет с трамвая раньше нас, мне кажется, я смогу доказать вам правильность моих умозаключений.

Через три остановки пожилой господин поднялся и направился к выходу. В дверях Джолнс остановил его вопросом:

— Прошу прощения, сэр, вы не полковник Хантер из Норфолка, штат Виргиния?

— Нет, сэр, — последовал вполне учтивый ответ. — Моя фамилия Иллисон, майор Уинфилд Р. Иллисон, к вашим услугам, сэр. Я из того же штата, из округа Фэрфакс. В Норфолке у меня много знакомых, сэр, — Гудричи, Толливеры, Крэбтризы, но я не имел удовольствия знать вашего друга, полковника Хантера, сэр. Я рад сообщить вам, сэр, что провел неделю в вашем городе с моей женой и тремя дочками и предполагаю отбыть обратно в Виргинию сегодня вечером. А дней через десять думаю побывать в Норфолке, и если вы пожелаете сообщить мне ваше имя, сэр, я буду счастлив отыскать полковника Хантера и передать ему, что вы спрашивались о нем, сэр.

— Премного обязан, — сказал Джолнс. — Если вас не затруднит, передайте ему привет от Рейнольдса.

Я взглянул на великого нью-йоркского сыщика и увидел, что тень глубокой печали затуманила его высокое чело. Малейший просчет в прогнозах всегда уязвлял Шемрока Джолнса в самое сердце.

— Вы как будто сказали: с вашими тремя дочками? — переспросил он джентльмена из Виргинии.

— Да, сэр, с моими тремя дочками, с самыми хорошенькими девушками на весь Фэрфакский округ,— последовал ответ.

После чего майор Иллисон остановил трамвай и ступил на подножку.

Шемрок Джолнс схватил его за руку.

— Одну минуту, сэр,— проговорил он небрежно-светским тоном, в котором один только я уловил оттенок тревоги.— Не ошибся ли я в своем заключении, что одна из ваших дочек является вашей приемной дочерью?

— Вы отнюдь не ошиблись, сэр,— сказал майор, уже стоя на мостовой,— но как, дьявол меня раздери, могли вы об этом догадаться, сэр,— вот чего я в толк не возьму.

— Да, признаться, и я тоже,— сказал я, когда трамвай двинулся дальше.

Обернув свое кажущееся поражение победой, Джолнс вновь обрел присущую ему невозмутимость и остроту глаза и, когда мы сошли с трамвая, предложил мне зайти в кафе, пообещав объяснить, путем какого умственного процесса пришел он к своему последнему поразительному открытию.

— Прежде всего,— начал он, после того как мы удобно расположились за столиком,— я понял, что этот господин не житель Нью-Йорка, потому что, хотя он и не встал и не уступил места дамам, но тем не менее чувствовал себя все же не в своей тарелке, краснел и ерзал на сиденье. А по его внешности я определил, что он скорее с Юга, нежели с Запада.

Затем я стал доискиваться до причины, не позволявшей ему уступить место даме, невзирая на явное — не скажу непреодолимое — побуждение сделать это. Загадку эту я разрешил очень быстро. Я заметил, что все лицо этого господина усеяно маленькими красными пятнышками величинной с кончик тупо отточенного карандаша, а уголок одного глаза покраснел и воспалился, вследствие сильного удара чем-то острым. На его лакированных туфлях я увидел множество небольших вдавленностей в форме усеченного овала. Однако в Нью-Йорке есть одно-единственное место, где мужчине трудно избежать такого рода отметин и повреждений лица и обуви. Это место — тротуары Двадцать третьей улицы и южной части Шестой авеню. По отпечаткам французских каблуков, топтавших его ноги, и по бесчисленным следам уколов, оставленных на его лице дамскими

зонтиками и шляпными булавками, я понял, что ему пришлось вступить в бой с воинственным племенем амазонок в торговом районе города. А так как он производил впечатление человека вполне здравомыслящего, я сделал вывод, что он не стал бы подвергать себя такой опасности сам, но был приневолен к этому дамами. Вот почему, будучи после этой баталии порядком разъярен и забравшись, наконец, в трамвай, он, вопреки своей врожденной южной галантности, ничем не хотел уступить места дамам.

— Все это прекрасно,— сказал я,— но почему же вы так настойчиво упоминали дочек, да к тому же еще двух? Разве жена не могла одна потащить его за покупками?

— Дочери должны были быть непременно,— спокойно возразил Джолнс.— Если бы при нем была только жена и, допустим, одного с ним возраста, он сумел бы как-нибудь отвертеться, чтобы ее не сопровождать. А имея он молоденькую жену, она сама предпочла бы прогуляться одна. Так что без дочек тут не обойтись.

— Готов согласиться и с этим,— сказал я.— Но, разрази меня гром, почему все-таки две дочери? И как могли вы, лишь только услышали, что у него их три, сразу угадать, что одна из них приемная?

— Почему же «угадать»? — с оттенком высокомерия сказал Джолнс.— Это слово неуместно в применении к процессу дедукции. В петлице майора Иллисона красовалась бугоньерка из гвоздики и бугона розы с листиком герани. Ни одна женщина в мире не позволит себе составить такую бугоньерку. Ну-ка, Ватсон, закройте глаза и дайте волю вашему воображению, не выходя за пределы логики. Неужели вы не видите прелестную Адель, вставляющую гвоздику папочке в петлицу, чтобы ему было веселее прогуливаться по улицам? А за ней и этот сорванец — Эдит Мэй, исполненная сестринской зависти, бежит вприпрыжку к папочке, чтобы украсить его петлицу еще и бутоном розы!

— А потом,— воскликнул я, понемногу впадая в раж,— когда он сказал вам, что у него целых три дочери...

— Тут я увидел,— подхватил Джолнс,— какую-то фигурку, стоящую поодаль и без цветов в руках, и понял, что это не кто иной, как...

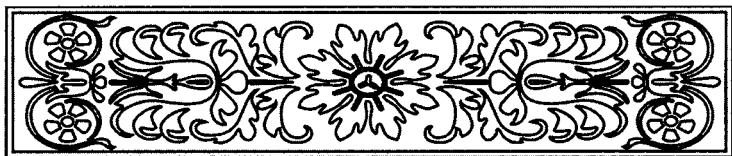
— Приемная дочь! — выпалил я.— Я снимаю перед вами шляпу. Но каким все же образом удалось вам узнать, что сегодня вечером он отбывает на Юг?



— Боковой карман его пиджака,— сказал великий сыщик, — оттопыривался от засунутого в него какого-то довольно большого предмета овальной формы. От Нью-Йорка до округа Фэрфакс путь неблизкий, а спиртные напитки в вагонах-ресторанах редко бывают хорошего качества.

— Еще раз склоняю перед вами голову,— сказал я.— И скажите мне, наконец, последнее: почему все-таки вы решили, что этот господин прибыл сюда из Виргинии?


— Да, признаться, запах был еле уловим,— сказал Шемрок Джолнс,— но все же ни один наблюдательный человек, обладающий кое-каким нюхом, не преминул бы заметить, что в трамвае пахло мятой.



ЛЕДИ НАВЕРХУ

Говорят, Нью-Йорк был тогда пустынным, и это, несомненно, объясняет, почему так далеко разносились эти звуки в тишине по летнему пространству. Дул легкий бриз с юга на юго-восток, была полночь, а тема — женская сплетня, переданная по беспроводочной мифологии. На высоте трехсот шестидесяти пяти футов над неостывшим асфальтом крадущееся на цыпочках божество — символ Манхэттена указывало своей дрожащей стрелой прямо в направлении ее восторженной сестры на Острове Свободы. Огни Большого сада погасли; все скамьи на площади были заняты спящими людьми, которые лежали в таких странных позах, что по сравнению с ними худосочные фигуры на иллюстрациях Доре к дантовскому «Аду» смахивали на портновские манекены. Статуя Дианы, установленная на башне над садом: ее постоянство демонстрирует установленный на ней флюгер, невинность — приобретенным золотистым налетом, верность стилю — уникальным, развевающимся платком, чистосердечие и безыскусственность — ее привычкой низко кланяться, метрополизм — ее позой, словно она мчит, чтобы сесть на гарлемский поезд, указывая своей стрелой куда-то через гавань. Если бы стрела была направлена строго горизонтально, то она возвышалась бы на пятьдесят футов над головой этой героини-матроны, главная обязанность которой всей своей литой железной фигурой радушно встречать угнетенных всей земли.

Она устремила свой напряженный взгляд на океан, разрезанный на бороздки винтами, послушными рулями и остающиеся за кормой пароходов. Переводчики тоже удружили ей. Прежнее ее название — «Свобода, освещающая мир», как ее окрестили создатели, не имело бы большего значения, если не считать ее размеров, чем какой-то электрик, или магнат «Стэндрт ойла». Но вот «Свобода, про-



свещающая мир» — совсем другое дело. Так ее окрестили наши гражданские хранители языка, англицизирував его, после чего она приобрела совершенно иные, более высокие качества. Теперь несчастная Свобода, вместо того чтобы пользоваться синекурой простого светильника, превращается в школьную учительницу из Чаутакуа, с океаном под ней, а не обычным, классическим тихим озером. Своим факелом без огня и пустой головой она должна разгонять тени мира и учить всех азбуке: А—Б—В.


— Эй там, миссис Свобода! — крикнул чей-то ясный, беззаботный голос, похожий на сопрано, в застывшем полудночном воздухе.

— Это вы, мисс Диана? Извините, что не могу повернуть головы. Я не такая подвижная и вихревая, как некоторые. И к тому же я ужасно охрипла, так что почти не могу говорить. Из-за скорлупы арахиса, которую набросала на лестнице, прямо в моем горле, последняя компания туристов из Мариетты, штат Огайо. А ведь был такой приятный вечерок, мисс.

— Если вы не против, я кое-что у вас спрошу,— раздался звонкий, как колокольчик, голос золотой статуи.— Мне хотелось бы узнать, откуда у вас этот акцент городской ратуши. Я не знала, что Свобода должна быть непременно ирландской.

— Если бы вы учили историю искусства вместе с ее заграничными усложнениями, то не стали бы задавать такого вопроса,— ответила офшорная статуя.— Если бы вы не были такой пустоголовой и она у вас так не кружилась, то вы знали бы, что я была сделана каким-то итальяшкой и подарена американскому народу от имени французского правительства для того, чтобы приветствовать ирландских иммигрантов, прибывающих в голландский город Нью-Йорк. Вот этим я и занималась с тех пор, как меня здесь установили. Вы должны знать, мисс Диана, что у статуи все так, как и у людей: их создатели не ставят своей целью каким-то образом повлиять с их помощью на язык, нет, главное для них — те ассоциации, которые мы вызываем, поверьте мне.

— Вы абсолютно правы,— согласилась Диана.— Я и сама по себе это заметила. Если бы какие-нибудь старики с Олимпа оказались возле меня и принесли с собой свой жаркий греческий климат, то я сразу по их разговору от-



личила бы их от акцента водителя с Кони-Айленда.

— Как я рада, что вы решили быть более общительной, мисс Диана, — сказала миссис Свобода. — Я веду такую скучную здесь жизнь. Ну а что там, в городе, что-нибудь происходит, мисс Диана, дорогая?

— О-ла-ла! Нет, — ответила Диана. — Вы слышите мои восклицания, тетушка Свобода? Это их «Париж ночью» подо мной, на крыше сада. Оттуда доносятся. Вы можете услышать эти «о-ла-ла!» в кафе Маккана, вместе с «гарсонами». Толпа богемы перестала там кричать «гарсон» после того как главный официант О'Рафферти отлупил троих за то, что они его так называли. Кажется, по вечерам все в городе слоняются без дела. Никто не сидит дома. Сегодня вечером видела на крыше сада одного торговца из нижней части города со стенографисткой. Шоу было таким скучным, что он уснул. Официант, надеясь получить от него дайм на чаевые, разбудил его. Тот вертит головой и видит перед собой свою маленькую стенографистку. «Гм! — произносит он. — Не запишем ли письмо, мисс де Сен-Монморанси?» — «Конечно, минуточку...» И, представляете, это самое интересное, что произошло на крыше. Видите, как же это все скучно. Ла-ла-ла!

— Но все же, мисс Диана, жизнь у вас там гораздо привлекательней. У вас была выставка кошек, потом выставка лошадей, затем проходили военные праздники, когда рядовые старались выглядеть как генералы, а генералы как дежурные администраторы. К тому же у вас было спортивное шоу, на котором девушка с размерами фигуры 36—19—45 готовила завтрак в вигваме из бересты на берегах Большого Венецианского канала под руководством одного из Вандербильгов, Бернарда Макфаддена и двух их преподобий — Дауи и Дасса. Потом у вас был французский бал, на котором эти оригиналы Коэны исполняли танец шотландских горцев с членами Общества Роберта Эммет-Зангербунда. У вас состоялся большой бал О'Райена, самое красивое в мире зрелище, когда французские студенты соревнуются с исполнителями тирольских песен в танце ке-куок.

— Все-таки как утомительно, — вздохнула статуя на острове, — пропагандировать науку Свободы в Нью-Йоркской бухте. Иногда, когда я смотрю вниз, на остров Эллис, и вижу на нем кучу иммигрантов, — мне ведь нужно их просве-

щать, — так хочется перекрыть газ, чтобы коронер не тянул с ними, поскорее выписывал им документы о натурализации.

— Действительно, какой позор, устраивать вам такую несносную жизнь, — послышалось сочувственное сожаление Дианы, этой богини стипльчеза. — Вероятно, вам так одиноко стоять одной, а вокруг столько воды. Я даже не могу себе представить, как это у вас не развиваются волосы. К тому же ваш наряд матушки Хаббарт уже лет десять, как вышел из моды. Думаю, что нужно привлечь к ответственности скульпторов за то, что они одели леди в железные и мраморные одежды. Вот в чем проявилась мудрость мистера Сен-Голенса. И хотя я всегда иду чуть впереди моды, она все равно быстро нагоняет меня. Простите меня, минуточку, — налетел порыв ветра с севера, вероятно, погода в Изопусе испортилась. Ну, все в порядке! Думаю, что на Западе, вон та золотая полоска на небе успокоит ветра, дующие в моем направлении. Так о чем вы говорили, миссис Свобода?

— Как мы славно с вами поболтали, мисс Диана, но, к сожалению, я вижу приближающийся из Европы лайнер, он подходит к узкой части бухты, и мне нужно заняться своими прямыми служебными обязанностями. Такая моя работа: протягивая вперед факел Свободы, приветствовать всех тех, кто страдает от качки и ударов лоцманов, которые ведут суда к причалу. В самом деле это — великая страна: сюда можно приехать всего за восемь долларов пятьдесят центов, а врач из иммиграционной службы может отправить вас назад бесплатно, если увидит, что у вас покраснели глаза из-за того, что вы так сильно плакали по ней.

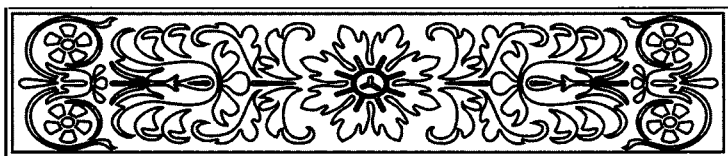
Флюгер золотистой статуи поворачивался от меняющего направление бриза, а ее золотая стрела угрожала каким-то точкам на горизонте.

— Ну, пока, тетушка Свобода! — сладким голосом попрощалась Диана со своей башни. — Как-нибудь вечерком, когда не будет сильного ветра, я позову вас снова. Послушайте, мне кажется, вы не слишком жалуетесь на свою работу. Я наблюдаю за островом Манхэттен с тех пор, как здесь стою. На нем какие-то болезненные сторонники свободы. Их выгружают у вашего подножия, но они там долго не остаются.



Я постоянно вижу, как эти ребята подписывают чеки, как они бросают в урну нужный бюллетень, как поощряют искусство и каждое утро принимают ванну. И все они оказались здесь благодаря докеру, родившемуся здесь, в Соединенных Штатах, который никогда в жизни не зарабатывал больше сорока долларов в месяц.

Так что не отказывайтесь от своей работы, тетушка Свобода! Вы так всем нужны, всем нужны...



НОВЫЙ КОНЭЙ


— В будущее воскресенье, — сказал Денни Канаган, — я пойду осматривать новый Остров Конэй, который вырос, как птица Феникс, из пепла. Я поеду туда с Норой Флин, и мы будем жертвою всех его мануфактурных обманов, начиная с краснофланелевого извержения Везувия до розовых шелковых лент на курячем самоубийстве в инкубаторах.

Был ли я там раньше? Был! Я был там в прошлый вторник. Видел ли я достопримечательности? Нет, не видел!

В прошлый понедельник я вошел в Союз Кладчиков Кирпича, и, согласно правилам, мне в тот же день было приказано бросить работу, чтобы выразить сочувствие бастующим укладчицам консервированной лососины в Такоме, Вашингтон.

Ум и чувства у меня были расстроены вследствие потери работы. Вдобавок было тяжело на душе от ссоры с Норой Флин, неделю назад, из-за резких слов, сказанных на полугодичном балу молочников и поливальщиков улиц. Слова же эти были вызваны ревностью, ужасной жарой и этим дьяволом Энди Коглином. Итак, говорю я, я поеду на Конэй во вторник, и если американские горы, смена впечатлений и кукуруза не развлекут меня и не вылечат, тогда уж не знаю, что и делать.

Вы, верно, слышали, что Конэй перестроен и в моральном отношении? Старый Бауэри, где вас силой заставляли сниматься на жестяной пластинке, где вам давали по шее, не прочитав даже линии на вашей руке, теперь называется Биржей. Киоски с венскими сосисками обязаны теперь по закону иметь телеграфное бюро, а орехи в меду каждые четыре года осматриваются отставным мореходным инспектором. Голова негра, в которую прежде бросали шары, теперь признана нелегальной и по приказанию полицейского комиссара заменена головой шофера. Я слышал, что прежние без-



нравственные увеселения запрещены. Люди, любившие приезжать из Нью-Йорка, чтобы посидеть на песке и поплескаться в волнах прибоя, теперь покидают свои дома для того, чтобы пролезать через вертящиеся рогатки и смотреть на подражание городским пожарам и наводнениям, нарисованным на холсте. Говорят, что изгнаны все достойные порицания и развращающие учреждения, позорившие старый Конэй, как-то: чистый воздух и незастроенный пляж. Процесс чистки заканчивается будто бы в том, что повышена цена с 10 до 25 центов и что для продажи билетов приглашена блондинка по имени Модди вместо Микки, плутовки из Бауэри. Вот что говорят; я сам точно ничего не знаю.

Итак, я отправился в Конэй во вторник. Я слез с воздушной железной дороги и направился к блестящему зрелищу. Было очень красиво. Вавилонские башни и висячие сады на крышах горели тысячами электрических огней, а улицы были полны народа. Правду говорят, что Конэй равняет людей всех положений. Я видел миллионеров, лузгающих кукурузу и толкущихся среди народа. Я видел приказчиков из магазина готового платья, получающих восемь долларов в месяц, в красных автомобилях, ссорящихся теперь из-за того, кто нажмет гудок, когда доедут до поворота.

Я ошибся, подумал я, мне нужен не Конэй. Когда человеку грустно, ему требуются не сцены веселья. Для него было бы гораздо лучше предаться размышлениям на кладбище или присутствовать на богослужении в Райском Саду на крыше. Когда человек потерял свою возлюбленную, для него не будет утешением заказать себе горячую кукурузу или видеть, как убегает лакей, подавший ему склянку с сахарной пудрой вместо соли, или слушать предсказания Зозоокум, цыганки-хиромантки, о том, что у него будет трое детей и что ему надо ожидать еще одной серьезной напасти: плата за предсказание двадцать пять центов.

Я ушел далеко, вниз на берег, к развалинам старого павильона, близ угла нового частного парка Дримленд. Год тому назад этот павильон еще стоял прямо, и слуга за мелкую монету швырял вам на стол недельную порцию клейкой рыбешки с сухарями и дружески называл вас «олухом»; тогда порок торжествовал, и вы возвращались в Нью-Йорк, имея достаточно денег в кармане, чтобы сесть в трамвай на мосту. Теперь, говорят, на берегу подают кроликов по-голландски, а сдачу вы получаете в кинематографе.

Я присел у стены старого павильона, глядел на прибор, разбежавшийся по берегу, и думал о том времени, когда прошлым летом я сидел на том же месте с Норой Флин. Это было до реформы на острове, и мы были счастливы. Мы снимались на жестяных пластинках, ели рыбу в притонах разврата, а египетская волшебница, пока я ждал у двери, по руке предсказала Норе, что для нее было бы счастьем выйти замуж за рыжеволосого малого с кривыми ногами. Я был вне себя от радости, услышав этот намек. Здесь, год тому назад, Нора Флин положила обе свои руки в мою руку, и мы говорили о квартире, о том, что она умеет стряпать, и о разных других любовных делах, связанных с такого рода событиями. Это был тот Конэй, который мы любили и на котором лежала рука Сатаны, Конэй дружественный и веселый и всякому по средствам, Конэй без забора вокруг океана, без излишнего количества электрических огней, которые освещают теперь рукав всякого пиджака из черной саржи, обвившийся вокруг белой блузки.

Я сидел спиной к парку, где у них были и луна, и грезы, и колокольни — все вместе! и тосковал по старому Конэй. На берегу было мало народа. Большинство бросало центы в автоматы, чтобы увидеть в кинематографе «Прерванное ухаживание»; другие дышали морским воздухом в каналах Венеции, а кое-кто вдыхал дым морского сражения между настоящими военными кораблями в бассейне, наполненном водой. Несколько человек на песчаном берегу любовались водой и лунным светом. И на сердце у меня было тяжело от новой морали на старом острове, а оркестры позади меня играли, и океан впереди меня ударял в турецкий барабан.


Я встал и прошелся вдоль старого павильона и вдруг вижу, что с другой стороны, наполовину в тени, на поваленных бревнах сидит тоненькая девушка и, — честное слово! — плачет в одиночестве.

— Вас что-то огорчает, мисс? — говорю я. — Чем я могу помочь вам?

— Это не ваше дело, Денни Карнаган, — говорит она, выпрямляясь.

И это был не чей иной голос, как голос Норы Флин.

— Не мое, так как вам будет угодно! — говорю я. — Хороший сегодня вечер, мисс Флин. Видели вы все зрелища на новом Конэй? Предполагаю, что вы для этого приехали сюда.



— Я все видела, — ответила она, — мама и дядя Тим ждут меня там. Я провела очень приятный вечер и видела все, что нужно.

— Вы совершенно правы, — сказал я Норе, — и я не знаю, когда мне было так весело, как сегодня. После посещения самых забавных и весьма приличных аттракционов я пошел на берег подышать свежим воздухом. А видели вы Дурбар, мисс Флин?

— Да, — ответила она, подумав, — но я думаю, небезопасно спускаться по откосам вниз в воду.

— А как вам понравилось стрелять по движущейся цели?

— Я боюсь ружей, — сказала Нора. — У меня от них шумит в ушах. Но дядя Тим стрелял и выиграл сигары. Мы сегодня очень веселились, мистер Карнаган!

— Я рад, что вам было весело, — сказал я. — Думаю, что вам доставили громадное удовольствие все здешние зрелища. А как вам понравились инкубаторы и вся эта чертовщина и ресторанчики?

— Я не была голодна, — сказала смущенно Нора. — Но мама ела везде. Мне очень нравятся все эти интересные вещи на новом Конэй, и я давно не проводила такого счастливого дня, как сегодня.

— Видели вы Венецию? — спросил я.

— Да, — ответила она, — какая красавица! Она была одета во все красное, и...

Я более не слушал Нору Флин, а подошел к ней и схватил ее в объятия.

— Какая вы выдумщица, Нора Флин, — сказал я. — Вы видели на новом Острове Конэй не больше моего. Сознайтесь теперь, вы приехали, чтобы посидеть около старого павильона у волн, где вы сидели прошлым летом и сделали Денни Карнагана счастливым человеком? Отвечайте, но говорите правду.

Нора уткнулась носом в мою жилетку.

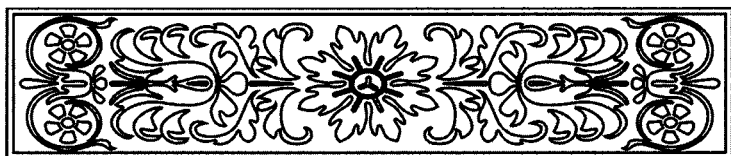
— Он мне противен, Денни! — сказала она, чуть не плача. — Мама и дядя Тим пошли осматривать выставки, а я пришла сюда думать о вас. Я не могла переносить огни и толпу. Вы простили меня, Денни, за ссору, которую я начала?

— Это была моя вина, — сказал я. — Я пришел сюда по той же причине. Посмотрите на огни, Нора, — сказал я, поворачиваясь спиной к морю. — Разве они не красивы?



— Очень красивы, — сказала Нора, и глаза ее загорелись. — А слышите вы, как играют оркестры? О, Денни, мне хотелось бы все это посмотреть!

— Старый Конэй умер, дорогая, — сказал я ей. — Все на свете идет вперед. Когда человек счастлив, ему нужны не грустные зрелища. Этот новый Конэй лучше старого, но мы не могли оценить его, пока у нас не было подходящего настроения. В будущем воскресенье, Нора, дорогая, мы осмотрим новый Остров Конэй от начала до конца.



ЗАКОН И ПОРЯДОК

Недавно я очутился в Техасе и осмотрел все старые места.

На овечьем ранчо, где я жил несколько лет тому назад, я остановился на неделю. И, как все посетители, я с головой ушел в текущую работу, которая оказалась купаньем овец.

Этот процесс настолько отличается от обыкновенного крещения человека, что нуждается в пояснении. Громадный железный котел с разведенным под ним огнем — половина всего адского огня — частью наполняется водой, которая скоро начинает неистово кипеть. Затем туда бросают известь, концентрированный щелок и серу; все это должно тушиться и выкипать до тех пор, пока это чертово варево не станет таким крепким, что могло бы обжечь руку ведьме.

Это конденсированное варево затем смешивается в длинном, глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды; овец ловят за задние ноги и бросают в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках специально для этого приставленного джентльмена овцам разрешается выкарабкаться по наклонным доскам в корраль и высохнуть там или околеть, в зависимости от того, что им подскажет состояние их организма. Если вам приходилось когда-нибудь ловить здорового двухгодовалого барана за задние ноги и чувствовать те 750 вольт пинков, которые он может пропустить через вашу руку, прежде чем вам удастся швырнуть его в чан, вы, конечно, семнадцать раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох.

Все это сказано для того только, чтобы объяснить, почему Бед Оклея и я после купанья овец радостно растянулись на берегу charco¹, радуясь благоприобретенному аппетиту

¹ Река ((ист.))

и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы. Стадо было небольшое, и мы закончили купанье в три часа пополудни. Бед вытащил из *могга*¹ на луке своего седла кофе и кофейник, а также большой каравай хлеба и ветчину. Мистер Мильс, владелец ранчо и мой давнишний приятель, уехал обратно на ранчо в сопровождении рабочих из мексиканских *trabajadores*².

В то время как ветчина, поджариваясь, приятно шипела, за нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии десяти футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника.

Такое отношение техасского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла, я увидел всадника в черной одежде, который мог быть адвокатом, или пастором, или же купцом. Он мирно ехал рысцой вдоль ручья.

Бед увидел мое движение и улыбнулся саркастически и печально.

— Вы слишком долго отсутствовали, — сказал он. — Вам больше не нужно оборачиваться в этом штате, когда кто-нибудь скачет сзади вас, пока что-нибудь не ударит вас в спину; но даже и в этом случае вам может угрожать только пачка брошюр или протест против трестов — для подписи. Я даже не посмотрел на *hombre*³, проехавшего мимо, но готов прозакладывать четверть овечьей мочки, что это какая-нибудь двуличная сволочь, разъезжающая для собирания голосов в пользу запрещения выпивки.

— Времена переменялись, Бед, — сказал я с видом оракула. — Закон и порядок теперь являются правилом на Юге и Юго-Западе.

Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Беда.

— Я не... — начал я поспешно.

— Разумеется, нет, — горячо сказал Бед. — Вы хорошо знаете. Вы здесь прежде жили. Закон и порядок, говорите вы? Двадцать лет назад они были здесь. У нас было всего два или три закона: об убийстве при свидетелях, о поимке на

¹ Подседельная сумка (*исп.*)

² Поденщики (*исп.*)

³ Человек (*исп.*)

месте при краже лошадей, о голосовании по республиканскому списку! А теперь что? Мы все время получаем приказы за приказами, а законность уходит из штата. Законодатели заседают в Аустине и ничего не делают, кроме того, что издают постановление против ввоза в штат керосина и школьных учебников. Я думаю, они боятся, что кто-нибудь вечером после работы зажжет лампу и получит образование, а затем примется за дело и составит закон об отмене вышеупомянутых законов. Я стою за прежние времена, когда законы и порядок были действительно тем, чем назывались. Закон был законом, а порядок — порядком.

— Но... — начал я.

— Пока закипит кофе, — продолжал Бед, — я хотел описать вам случай подлинного закона и порядка, которого я был свидетелем в те времена, когда дела разрешались в камерах шестизарядного револьвера вместо камер высшего суда.

Слыхали вы о старом Бене Киркмане, короле скота? Его ранчо тянулось от Нуэсес до Рио-Гранде. В те времена, как вы знаете, были бароны скота и короли скота. Разница между ними была следующая.

Если скотовод отправлялся в Сан-Антонио, заказывал пиво для газетных репортеров и сообщал им количество скота, которым в действительности владел, они в газетах называли его бароном. Если же он заказывал шампанское и к количеству купленного им скота прибавлял количество скота, им украденного, его называли королем.

Лука Семмерс был одним из работников на его ранчо. Однажды на ранчо короля явилась кучка восточных людей из Нью-Йорка, или Канзас-Сити, или откуда-то по соседству. Лука с небольшим отрядом был послан сопровождать их, смотреть, чтобы гремучим змеям было сделано должное внушение при их приближении, и отгонять с дороги скотину. Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй номер ботинок. Это — все, что я заметил у нее. Но Лука, вероятно, видел больше моего, так как женился на ней за день до того, как кавалькада отправилась домой. Он переехал в Канада-Варде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Лука взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями, и я ходил за скотом по его вкусу.

Я пропускаю многое из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого, но через три года по галерее и по дому ранчо Луки, переваливаясь и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, по-видимому, ценили. Я опять пропускаю многое из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей миссис Семмерс с Востока,— сестра, что ли, и двое или трое мужчин. Один был похож на чьего-то дядю, другой ни на что не был похож, а третий носил галифэ и говорил особенным тоном. Мне никогда не нравились люди, говорившие таким голосом.

Я пропускаю многое, что последовало, но однажды после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки гурта скота, я слышу словно выстрел из пугача. Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя выходит Лука и отдает приказание своим мексиканским работникам; они идут и выводят несколько экипажей, и вскоре после того выходит сестра или что-то в этом роде и кто-то из мужчин. Мужчины несут человека в галлифэ, говорившего особым голосом, и кладут его в одну из повозок. А затем видно было, что все они направляются по дороге домой.

— Бед,— говорит мне Лука,— прошу вас приодеться и поехать со мной в Сан-Антонио.


— Дайте мне надеть мои мексиканские шпоры, и я готов ехать.

По-видимому, одна из сестер, или в этом роде, осталась на ранчо с миссис Семмерс и ребенком. Мы едем в Эяси-наль, там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антонио утром. После завтрака Лука ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно.

— Никаких хлопот не будет, мистер Семмерс, — говорит адвокат. — Я сегодня же ознакомлю судью Симменса с фактами, и дело это будет проведено возможно скорее. В этом штате царят закон и порядок, такой же быстрый и верный, как где-либо в стране.

— Я подожду решения, если это не затянется долее получаса, — говорит Лука.

— Ну, ну, — говорит адвокат. — Закон должен идти своим течением. Возвращайтесь послезавтра к половине девятого.



К этому времени мы с Лукой являемся, и адвокат вручает ему сложенный документ. Лука выписывает ему чек.

На тротуаре Лука протягивает мне бумагу, кладет на нее палец величиной с щеколду у кухонной двери и говорит:

— Решение об окончательном разводе с присуждением ребенка!

— Не касаясь многого случившегося, чего я не знаю,— говорю я,— все это мне кажется похожим на шантаж. Что же, адвокат не мог разве уладить это?

— Бед,— говорит он с огорченным видом,— ребенок единственное, что мне осталось в жизни. Она может уходить, но мальчик — мой! Вы подумайте: я опекун моему ребенку.

— Хорошо,— говорю я.— Если это закон, подчинимся ему. Но я думаю, что судья Симменс мог бы применить в нашем случае известную милость или какой для этого употребляется легальный термин.

Видите ли, я не был особенно оболещен желанием иметь детей на ранчо, за исключением того сорта, которые сами кормятся и продаются по столько-то за штуку на копытах. Но Лука был заражен тем видом родительской дури, которую я никогда не мог понять. Все время, пока мы ехали со станции обратно на ранчо, он продолжал вынимать решение суда из кармана, класть палец на его изнанку и читать заглавие.

— Опека над ребенком, Бед — говорит он. — Не забудь: опека над ребенком.

Но когда мы достигли ранчо, мы увидели, что наш судебный декрет предупрежден и решение отменено. Мисисс Семмерс и ребенок исчезли. Нам рассказали, что через час после того, как я с Лукой отправилась в Сан-Антонио, она велела запрягать и отправилась на ближайшую станцию со своими чемоданами и ребенком.

Лука еще раз вытаскивает свой декрет и читает о своих правах.

— Ведь невозможно, Бед, чтобы это так осталось. Это противоречит закону и порядку. Ведь здесь же написано ясно, как цент! Опека над ребенком. Ребенок присужден мне!

— По человечеству,— говорю я, — следовало бы прихлопнуть их обоих... я говорю о ребенке.

— Судья Симменс,— продолжал Лука,— вернейший слуга закона. Она не имела права взять мальчика. Он принад-

лежит мне по статутам, принятым и утвержденным в штате Техас.


— Но он изъят из юрисдикции мирских приказов,— говорю я, — неземными статутами женского пристрастия. Будем восхвалять Творца и благодарить Его даже за малые милости...— начал я, но вдруг вижу, что Лука не слушает меня. Несмотря на усталость, он требует свежую лошадь и отправляется обратно на станцию.

Он возвращается через две недели и мало говорит.

— Мы не могли найти след,— заявляет он,— но мы телеграфировали столько, сколько могла вынести проволока. Мы пригласили для розысков этих городских ищеек, которые называются детективами. Пока же, Бед,— говорит он, — мы отправимся объезжать скот на Врэж-Крик и будем ждать действия закона.

После этого мы никогда больше не намекали на это происшествие. Пропускаю многое, что случилось за следующие двенадцать лет. Лука был назначен шерифом графства Мохادا. Он сделал меня своим помощником по канцелярии. Не создавайте в уме своем ложных представлений, будто заведующий канцелярией только ведет счета и снимает копии с писем прессом для выжимки яблок. В то время его делом было охранять окна сзади, чтобы никто не мог подойти к шерифу с тыла. Тогда у меня были качества, нужные для этого дела. В Мохадской провинции царили закон и порядок: были школьные учебники и виски сколько угодно. А правительство строило собственные военные корабли и не собирало деньги для их постройки со школьниками. И, как я говорил, царили закон и порядок, вместо всяких указов и запрещений, которые уродуют наш штат в настоящее время. Наша канцелярия помещалась в Бильдаде, главном городе графства, оттуда мы выезжали в редких случаях для усмирения беспорядков и волнений, случавшихся в районе нашей юрисдикции.

Пропуская многое, что случилось, пока мы с Лукой шерифствовали, я хочу дать вам представление о том, как в прежние времена почитался закон. Лука был одним из наиболее добросовестных людей в мире. Он никогда не был особенно хорошо знаком с писаным законом, но носил внедренными в свой организм природные зачатки справедливости и милосердия. Если какой-нибудь уважаемый гражданин, бывало, застрелит мексиканца или задержит



поезд и очистит сейф в служебном вагоне, и если Луке удастся поймать его, он делает виновному такое внушение и так выругает его, что тот вряд ли когда-нибудь повторит свой поступок. Но пусть только кто-нибудь украдет лошадь,— если только это не испанский пони,— или разрежет проволочную ограду, или иным образом нарушит мир и достоинство провинции Мохада, мы с Лукой напустимся на него с *habeas corpus*¹, бездымным порохом и всеми современными изобретениями справедливости и формальности. Мы, конечно, держали свою провинцию на базисе законности. Я знал людей восточной породы в примятых фуражечках и ботинках на пуговицах, которые выходили в Вильдаде из поезда и ели сандвичи на железнодорожной станции, не будучи застреленными или хотя бы связанными и утащенными гражданами нашего города.


У Луки были собственные понятия о законности и справедливости. Он как бы готовил меня в преемники по должности, всегда думая о том времени, когда оставит шерифство. Ему хотелось выстроить себе желтый дом с решеткой под портиком и хотелось еще, чтобы куры рылись у него во дворе. Самым главным для него был двор.

— Я устал от далей, горизонтов, территорий, расстояний и тому подобного, — говорил Лука. — Я хочу разумного дела. Мне нужен двор с решеткой вокруг, куда можно войти и в котором можно сидеть после ужина и слушать крик козодоя.

Вот какой это был человек! Он любил домашнюю жизнь, хотя и не был счастлив в подобного рода предприятиях. Он никогда не говорил о том времени на ранчо. Он как будто забыл о нем. Я удивлялся. Думая о дворах, цыплятах и решетках, он, казалось, забывал о своем ребенке, которого у него противозаконно отняли, несмотря на решение суда. Но он был не такой человек, чтобы можно было его спросить о подобных вещах, когда сам он не упоминал о них в своем разговоре.

Я полагаю, что все свои мысли и чувства он вложил в исполнение своих обязанностей шерифа. В книгах я читал о людях, разочаровавшихся в этих тонких и поэтических делах с дамами; эти люди отрекались от такого дела и углублялись в какое-нибудь занятие, вроде писания картин, или

¹ Закон о неприкосновенности (*лат.*)



разведения овец, или науки, или учительства в школах — чтобы забыть прошлое. Мне кажется, что то же было и с Лукой. Но так как он не умел писать картины, то стал ловить конокрадов и сделал графство Мохادا безопасной местностью, где вы могли спокойно спать, если были хорошо вооружены и не боялись тарантулов.


Однажды чрез Вильдад проезжала кучка капиталистов с Востока; они остановились здесь, так как Вильдад — станция с буфетом. Они возвращались из Мексики, где осматривали рудники и прочее. Их было пятеро. Четверо солидных людей с золотыми цепочками, которые в среднем стоили более двухсот долларов каждая, и мальчик лет семнадцати-восемнадцати.

На этом мальчике был надет костюм ковбоя; подобные костюмы эти неженки берут с собой на Запад. Легко можно было догадаться, как страстно юнец мечтал захватить пару индейцев или же убить одного-двух медведей из маленького револьвера с выложенной перламутром ручкой. Такой револьвер висел у него на ремне вокруг пояса.

Я спустился на станцию, чтобы присмотреть за этой публикой: чтобы они не арендовали какой-нибудь земли или не спугнули коней, привязанных пред лавкой Мурчисона, или не допустили бы другого предосудительного поступка. Лука отправился ловить шайку воров скота вниз на Фрио, а я всегда в его отсутствие наблюдал за законом и порядком.

После обеда, пока поезд стоял на станции, мальчик выходит из обеденного зала и важно разгуливает взад и вперед по платформе, готовый застрелить всех антилоп, львов и частных граждан, которые вздумают досаждать ему. Это был красивый ребенок, но такой же, как все эти пижоны; он не мог распознать город, где царили закон и порядок.

Вскоре подходит Педро Джонсон, владелец «Хрустального дворца» — харчевни, где подают рагу из бобов — в Вильдаде. Педро был человек, любивший позабавиться. Он стал преследовать мальчика, смеясь над ним до упаду. Я находился слишком далеко, чтобы слышать что-либо, но мальчик, очевидно, сделал Педро какое-то замечание, а Педро подошел к нему, ударом отбросил его далеко назад и захохотал пуще прежнего. Тут мальчик вскакивает на ноги скорее еще, чем упал, вытаскивает револьвер с перламутровой ручкой и — бинг-бинг-бинг! — три раза попадает в Пе-



дро, в специальные и наиболее ценные части его тела. Я видел, как пыль подымалась от его одежды всякий раз, как пуля попадала в него. Иногда эти маленькие игрушки тридцать второго калибра, следуя близко одна за другой, могут причинить неприятность.

Раздается третий звонок, и поезд медленно начинает отходить. Я направляюсь к мальчику, арестую его и отбираю оружие. Но в эту минуту шайка капиталистов устремляется к поезду. Один из них нерешительно, на секунду, останавливается передо мной, улыбается, ударяет меня рукой под подбородок, и я растягиваюсь на платформе в сонном состоянии. Я никогда не боялся ружей, но не желаю, чтобы кто-нибудь, кроме цирюльника, в другой раз позволял себе такие вольности с моим лицом. Когда я проснулся, весь комплект — поезд, мальчик и все остальное — исчезли. Я спросил про Педро; мне ответили, что доктор надеется на его выздоровление, если только раны не окажутся роковыми.

Лука через три дня вернулся. Когда я все рассказал ему, он совсем взбесился.

— Почему ты не телеграфировал в Сан-Антонио, чтобы там арестовали всю шайку? — спрашивает он.

— О,— говорю я, — я всегда восхищался телеграфией, но в ту минуту был больше занят астрономией. Капиталист этот здорово знает, как жестикулировать руками.

Лука все более и более бесился. Он провел расследование и нашел на станции карточку, оброненную одним из капиталистов и на которой имелся адрес некоего Скеддера из Нью-Йорка.

— Бед, — говорит Лука,— я отправляюсь за шайкой. Я еду в Нью-Йорк, захвачу того мужчину или мальчика, как ты говоришь, и привезу его сюда. Я — шериф графства Мохад и буду поддерживать закон и порядок в его пределах, пока я в состоянии держать в руках револьвер. Я желаю, чтобы ты ехал со мной. Никакой восточный янки не может подстрелить почтенного и известного гражданина города Вильдада, в особенности тридцать вторым калибром, и избежать законной кары. Педро Джонсон — один из наших выдающихся граждан и деловых людей. Я назначу Сэма Билла заместителем шерифа, с правом наложения исправительных наказаний, на время своего отсутствия, а мы оба сядем на поезд к Северу завтра, в шесть часов сорок пять вечера, и отправимся по следу.

— Хорошо, я еду с вами, — говорю я, — я никогда не видел Нью-Йорка и охотно посмотрю на него. Но, Лука, — говорю я, — не нужно ли тебе иметь какое-либо разрешение, или habeas corpus, или что-нибудь другое от штата, чтобы ехать так далеко за богатыми людьми и преступником?

— Разве было у меня разрешение, — говорит Лука, — когда я отправился в глубины Бразоса и привез обратно Билла Граймса и еще двоих за задержание международного поезда? Было ли у тебя или у меня полномочие, когда мы окружили тех шестерых мексиканских воров скота в Гидальго? Моя обязанность — поддерживать порядок в графстве Мохада!

— А моя обязанность, как заведующего канцелярией, — говорю я, — смотреть, чтобы все делалось согласно закону. Нам обоим следует держать все в образцовом порядке.

Итак, на следующий день Лука укладывает одеяло и несколько воротничков и путеводитель в дорожный мешок, и оба мы мчимся в Нью-Йорк. Это была страшно длинная дорога. Диваны в вагонах оказались слишком короткими для того, чтобы шестифутовым молодцам вроде нас было удобно спать на них, и кондуктору пришлось удерживать нас от намерения выйти в каждом городе, где были пятиэтажные дома. Но мы прибыли, наконец, в Нью-Йорк и сразу же увидели, в чем дело.

— Лука, — говорю я, — как заведующий канцелярией и с точки зрения закона, я не нахожу, чтобы этот город действительно и законно находился под юрисдикцией графства Мохада, Техас.


— С точки зрения порядка, — сказал он, — всякий несет ответственность за свои грехи перед законом, установленным властью, от Вильдада до Иерусалима.

— Аминь! — сказал я. — Но постараемся сыграть свою штуку внезапно и удерем! Мне не нравится вид этого места.

— Подумай о Педро Джонсоне, — сказал Лука, — о моем и твоем друге, застреленном одним из этих позолоченных аболционистов у самых своих дверей.

— Это случилось у дверей товарной станции, — сказал я. — Но закон из-за такой придирки обойти нельзя.

Мы остановились в одном из больших отелей на Бродвее. На следующее утро я спускаюсь по лестнице, мили две до самого дна гостиницы, и ищу Луку. Напрасно! Все вокруг — точно в день святого Хасинто в Сан-Антонио. Тысячи лю-



дей вертятся вокруг на каком-то подобии крытой площади, с мраморной мостовой и растущими прямо из нее деревьями. Найти Луку у меня было не больше шансов, как если бы мы искали друг друга в большой кактусовой заросли внизу у старого порта Юэль, но вскоре мы наскაკиваем друг на друга на одном из поворотов мраморных аллей.

— Ничего не поделаешь, Бед! — говорит он. — Я не могу найти, где бы нам поесть. Я по всему лагерю искал вывеску ресторана и нюхал, не пахнет ли где ветчиной. Но я привык голодать, когда приходится. Теперь, — говорит он, — я ухажу. Найму клячу и поеду по адресу на карточке Скеддера. Ты оставайся здесь и постарайся раздобыть какой-нибудь еды. Однако сомневаюсь, чтобы ты нашел что-нибудь. Жалею, что мы не взяли с собой кукурузной муки, ветчины и бобов. Я вернусь, повидав этого Скеддера, если только след не заметён.

Я отправляюсь в фуражировку за завтраком. Соблюдая честь Мохادا, Техас, я не хотел казаться перед этими аболиционистами новичком, а поэтому каждый раз, заворачивая за угол мраморного вестибюля, я подходил к первому попавшемуся столу или прилавку и искал еду. Если я не находил того, что мне нужно, то спрашивал что-нибудь другое. Через полчаса у меня в кармане была дюжина сигар, пять книжек журналов и семь или восемь расписаний железнодорожных поездов, но нигде ни малейшего запаха кофе или ветчины, который мог бы навести на след.

Раз какая-то леди, сидевшая у стола и игравшая во что-то вроде бирюлек, посоветовала мне пойти в чулан, который она называла № 3. Я вошел и запер дверь, и чулан сразу осветился. Я сел на стул перед полочкой и стал ждать. Сижу и думаю: «Это — отдельный кабинет», но ни один лакей не явился. Когда я совсем пропотел, то вышел оттуда.

— Получили вы, что вам нужно? — спросила она.

— Нет, мэм, — ответил я.

— Значит, с вас ничего не следует, — говорит она.

— Благодарю вас, мэм, — говорю я и снова пускаюсь по следу.

Вскоре я решаю отбросить этикет. Я ловлю одного из мальчиков в синей куртке с желтыми пуговицами спереди, и он ведет меня в комнату, которую называет комнатой для завтрака. И первое, что мне попадает на глаза, как только я вхожу, — это мальчик, стрелявший в Педро Джонсона. Он

сидел один за маленьким столиком и ударял ложкой по яйцу с таким видом, точно боялся разбить его.

Я сажусь на стул против него. Он принимает оскорбленный вид и делает движение, как будто хочет встать.

— Сидите смирно, сынок! — говорю я. — Вы захвачены, арестованы и находитесь во власти техасских властей. Ударьте по яйцу сильнее, если вам нужно его содержимое. Теперь скажите: зачем вы стреляли в мистера Джонсона в Вильядаде?

— Могу я осведомиться, кто вы такой? — говорит он.

— Можете, — говорю я, — начинайте.

— Допустим, что вы имеете право, — говорит малыш, не опуская глаз. — Но что вы будете есть? Человек, — зовет он, подымая палец, — примите заказ этого джентльмена!

— Бифштекс! — говорю я. — И яичницу. Банку персиков и кварту кофе! Этого, пожалуй, будет достаточно.

Мы некоторое время разговариваем о разных разностях, затем он заявляет:

— Что вы намерены сделать по поводу этой стрельбы? Я имел право стрелять в этого человека, — говорит он. — Он называл меня словами, которые я не мог оставить без внимания, а затем ударил меня. У него тоже было оружие! Что же мне оставалось делать?

— Нам придется увезти вас обратно в Техас, — говорю я.

— Я охотно бы поехал туда, — отвечает мальчик, усмехаясь, — если бы это не по такому делу. Мне нравится тамошняя жизнь. Мне всегда, с тех пор как я себя помню, хотелось скакать верхом, стрелять и жить на открытом воздухе.

— Кто были эти толстяки, с которыми вы ездили? — спросил я.

— Мой отчим, — говорит он, — и его компаньоны по мексиканским рудникам и земельным предприятиям.

— Я видел, как вы стреляли в Педро Джонсона, — говорю я. — Я отобрал у вас ваш маленький револьвер. И когда отбирал, то заметил три или четыре маленьких шрама рядом над вашей правой бровью. Вы уже раньше бывали в переделках, не правда ли?

— Эти шрамы у меня с тех пор, как я себя помню, — говорит он, — не знаю, отчего они.

— Были вы прежде в Техасе? — спрашиваю я.

— Я этого не помню, — говорит он, — когда мы попали в прерию, мне показалось, что я там бывал. Думаю, что не бывал.

— Есть у вас мать? — говорю я.

— Она умерла пять лет назад, — заявляет он.

Пропускаю большую часть того, что последовало. Когда вернулся Лука, я привел к нему мальчика. Лука был у Скеддера и сказал все, что ему нужно было. И, по-видимому, Скеддер сейчас же после его ухода поработал-таки по телефону. Потому что через час в наш отель явилась одна из этих городских ищеек, которые именуются детективами, и препроводила всю нашу компанию на так называемый полицейский суд... Луку обвиняли в покушении на похищение несовершеннолетнего и потребовали объяснений.

— Этот глупец, ваша честь, — говорит Лука судье, — выстрелил и предумышленно, с предвзятым намерением ранил одного из наиболее уважаемых граждан города Вильдада в Техасе и вследствие этого подлежит наказанию. Настоящим я предъявляю иск и прошу у штата Нью-Йорк выдачи вышеупомянутого преступника. Я знаю, что это он сделал.

— Есть у вас обычные в таких случаях и необходимые документы от губернатора вашего штата? — спрашивает судья.

— Мои обычные документы, — говорит Лука, — были взяты у меня в отеле этими джентльменами, представителями закона и порядка в вашем городе. Это были два кольца сорок пятого калибра, которые я ношу девять лет. Если мне их не вернут, то будет еще больше хлопот. О Луке Семмерсе можете спросить кого угодно в графстве Мохата. Для того, что я делаю, мне обычно не требуется других документов.

Я вижу, что у судьи совсем безумный вид. Поэтому я подымаюсь и говорю:

— Ваша честь, вышеупомянутый ответчик, мистер Лука Семмерс, — шериф графства Мохата, Техас, и самый лучший человек, когда-либо бросавший лассо или поддерживавший законы и примечания к ним величайшего штата в союзе. Но он...

Судья ударяет по столу деревянным молоточком и спрашивает, кто я такой.

— Бед Оклей, — говорю я, — помощник по канцелярской части шерифской канцелярии графства Мохата, Техас. Я представляю собой законность, а Лука Семмерс — порядок. И если ваша честь примет меня на десять минут для ча-

стного разговора, я объясню вам все и покажу справедливые и законные реквизиционные документы, которые держу в кармане.

Судья слегка улыбнулся и сказал, что согласен поговорить со мной в своем частном кабинете. Там я рассказываю ему все дело своими словами, и, когда мы выходим, он объявляет вердикт, согласно которому молодой человек отдается в распоряжение техасских властей. Затем он вызывает по следующему делу.

Пропуская многое из того, что случилось по дороге домой, расскажу вам, как кончилось дело в Вильдаде.

Когда мы поместили пленника в шерифской канцелярии, я говорю Луке:

— Помнишь ты своего двухлетнего мальчугана, которого у тебя украли, когда началась суматоха?

Лука нахмурился и рассердился. Он не позволял никому говорить об этом деле и сам никогда не упоминал о нем.

— Приглядишься,— говорю я.— Помнишь, как он ковылял как-то по террасе, упал на пару мексиканских шпор и пробил себе четыре дырочки над правым глазом? Посмотри на пленника,— говорю я,— посмотри на его нос и на форму головы. Что, старый дурак, неужели ты не узнаешь собственного сына? Я узнал его,— говорю, я,— когда он продырявил мистера Джона на станции.

Лука подходит ко мне, весь дрожа.

Я никогда раньше не видел, чтобы он так волновался.

— Бед,— говорит он.— Я никогда, ни днем, ни ночью, с тех пор как он был увезен, не переставал думать о моем мальчике. Но я никогда не показывал этого. Можем ли мы удержать его? Может ли он остаться здесь? Я сделаю из него самого лучшего человека, какой когда-либо опускал ногу в стремя. Подожди минутку,— говорит он возбужденно и едва владея собой, — у меня туг что-то есть в конторке. Полагаю, что оно еще имеет законную силу, я рассматривал его тысячу раз. «При-суж-дение ребенка, — говорит Лука, — при-суж-дение ребенка». Мы можем удержать его на этом основании, не правда ли? Посмотрю, не найду ли я этого постановления.

Лука начинает разрывать содержимое конторки на клочки.

— Подожди,— говорю я, — ты — Порядок, но я — Законность. Тебе нечего искать эту бумагу, Лука! Она находится в

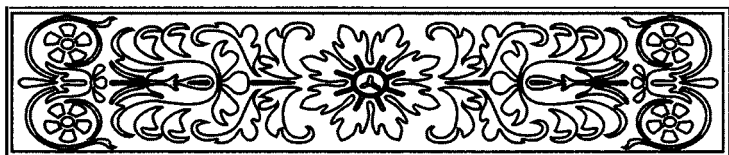


делах полицейского суда в Нью-Йорке. Я взял ее с собой, потому что я — управляющий канцелярией и знаю закон.

— Я получил мальчика обратно, — говорит Лука. — Он — снова мой, я никогда не думал...

— Подожди минутку, — говорю я. — Надо, чтобы у нас царили законность и порядок. Ты и я должны поддерживать их в графстве Мохата, согласно нашей присяги и совести. Мальчонка стрелял в Педро Джонсона, в одного из вильдадских выдающихся и...

— Чепуха! — говорит Лука. — Это ничего не значит! Ведь этот Джонсон был наполовину мексиканец.



ТАБАК

По поводу табаку, который сэр Вальтер Скотт считал утешающим зельем, вникнем в случай с Мартином Бэрнеем.


Вдоль западного берега Гарлемской реки прокладывали дорогу. Съестная барка Денниса Корригана, подрядчика, была привязана к дереву на берегу. Двадцать два ирландца надрывались над работой, от которой трещали кости. Один человек, орудовавший на кухне съестной барки, был немец. Над всеми ними высился злющий Корриган, обращавшийся с ними, как с командой каторжников. Он платил им так мало, что большая часть из артели, сколько бы люди ни потели, зарабатывала немногим больше, чем на пропитание и табак; многие были в долгу у рядчика. Корриган кормил всю артель на съестной барке и кормил хорошо; ему был расчет: они зато хорошо работали.

Мартин Бэрней отставал от всех. Это был маленький человечек, весь состоявший из мускулов, рук и ног, с щетинистой рыжей бородой с проседью. Он был слишком легок для этой работы, которая истощила бы силы и паровой машины.

Работа была тяжелая. Кроме того, берег реки кишел москитами. Как ребенок в темной комнате тревожно следит за гаснущими пятнами окна, так и эти труженики следили за солнцем, которое приносило им один-единственный час с менее горьким привкусом. После заката, поужинав, они собирались в кучу на берегу реки, и москиты начинали метаться и вопить, отгоняемые ядовитыми клубами дыма из двадцати трех вонючих трубок. Организовав таким образом совместную защиту против врага, они выжимали из этого часа несколько капель дымного блаженства.

Бэрней с каждой неделей все глубже залезал в долги. У Корригана был на барке небольшой запас товаров, и он продавал их рабочим, не вводя себя в убытки.

Бэрней был хорошим клиентом по табачному отделению этой лавочки. Один пакетик, когда он утром шел на ра-



боту, и второй, когда он вечером возвращался, — это составляло его ежедневный нараставший счет. Бэрней был изрядным курильщиком. Но все же это неправда, будто он обедал с трубкой во рту, как о нем говорили. Маленький человечек не жаловался на судьбу. Он был сыт, у него было много табаку, и был тиран, которого можно было проклинать. Что ему еще, ирландцу, надо, чтобы чувствовать себя удовлетворенным?

Однажды утром, направляясь с товарищами на работу, он остановился у соснового прилавка за своей обычной порцией табаку.

— Будет, — сказал Корриган. — ваш кредит закрыт. Вы — невыгодное помещение капитала. Нет, даже и табачку не дам, сынок. Кончился табачок «на запиши». Если хотите продолжать работать, кормить буду, пожалуйста, но табак будьте любезны на наличные. Так-то. Или ищите себе другую работу.

— Мне ведь нечего курить сегодня, мистер Корриган, — сказал Бэрней, не вполне соображая, что над ним могла стрястись такая беда. — Вот, трубка пустая.

— Заработайте, — сказал Корриган, — и купите.

Бэрней остался. Он не знал другого ремесла, да и где ее искать — другую работу? Он сначала не вполне сознавал, что табак заменял ему отца, и мать, и жену, и ребенка.

В течение трех дней он курил табачок Фабрики Чужого, но в конце концов товарищи отшили его все, как один человек. Они дали ему понять, грубо, по-дружески, что, конечно, отказывать приятелю в удовлетворении его срочной табачной нужды не приходится; но, ежели этот приятель начинает подрывать табачное благосостояние своих друзей столь усердно, что они вот-вот сами останутся без табаку, то грош цена такой дружбе.

В сердце у Бэрнея стало темно, как в колодце. Посасывая хладный труп своей трубки, он еле плелся за своей тачкой, нагруженной камнями и грязью, и впервые почувствовал над собою проклятие Адама. Другие люди, лишённые одного удовольствия, могут обратиться к другим наслаждениям, но у Бэрнея было в жизни всего два утешения. Одно была его трубка, а другое — горячая надежда, что на том свете не будут строить шоссе.

В обеденное время он пропускал других рабочих на барку, а сам, ползая на руках и на коленях, яростно шарил по



земле, где они раньше сидели, в надежде найти хоть крошку табаку. Однажды он побрел на берег реки и набил трубку засохшими листьями ивы. После первой струи дыма он плюнул по направлению к барке и наградил Корригана самым сильным из известных ему проклятий: оно начиналось с первого Корригана, рожденного на земле, и захватывало того Корригана, который услышит трубу Гавриила-архангела. Он начал ненавидеть Корригана всеми своими потрясенными нервами, всей душой. Он даже начал смутно мечтать об убийстве.

Пять дней бродил он без табачного вкуса во рту — он, куривший целыми днями и считавший потерянной ту ночь, в которую он не проснулся, чтобы курнуть раз-другой под одеялом.

Однажды у барки остановился человек и сообщил, что можно получить работу в Бронкс-парке; там требовалось много народу, ибо шел какой-то большой ремонт.

После обеда Бэрней отошел на тридцать шагов по берегу реки, чтобы уйти от с ума сводящего запаха чужих трубок. Он сел на камень. Надо будет отправиться в Бронкс. По крайней мере, он заработает там на табак. Что с того, что по книгам выходит, будто он должен Корригану? Работа каждого человека вполне оплачивает его содержание. Но ему невыносимо было уйти, не рассчитавшись с жестокосердым скрягой, который потушил его трубку. Да, но как это сделать?


Осторожно передвигаясь между комьями земли, к нему подходил Тони, немец, работавший на кухне. Он ухмыльнулся Мартину, а этот несчастный человек, исполненный расовой ненависти и презиравший правила вежливости, зарычал на него:

— Что тебе надо, немчура?

Тони также затаил обиду на Корригана и искал сообщников для затейного им заговора. Он носом чуял единомышленников.

— Как тебе нравится мистер Корриган? — спросил он. — Ты считаешь, что он хороший человек?

— Черт его побери! — сказал Бэрней. — Чтоб у него все кости потрескались от холода на сердце, чтоб на могилах его предков выросла крапива, а внуки его детей чтоб родились без глаз. Чтоб виски превращалось в желчь у него во рту, чтоб он с каждым чиханьем дырявил себе подошвы



обеих ног, чтоб он заплакал от дыма своей трубки и намочил своими слезами траву, которую едят его коровы, и их молоко отравило бы масло, которое он намазывает на свой хлеб.

Хотя все сложные красоты этих образов были недоступны Тони, как иностранцу, он все же пришел к убеждению, что тенденция их в достаточной степени антикорриганская. Поэтому он уселся с доверчивостью товарища-заговорщика рядом с Бэрнеем на камень и раскрыл свой замысел.

Замысел этот был по идее очень прост. Корриган любил вздремнуть часок после обеда на своей койке. На это время повар и его помощник Тони обязаны были покидать барку, чтобы никакой шум не беспокоил самодержца. Повар обычно посвящал этот час моциону. План Тони состоял в следующем: когда Корриган заснет, он (Тони) и Бэрней перережут веревки, привязывающие барку к берегу. У Тони не хватало решимости совершить это дело одному. Неповоротливая барка будет захвачена быстрым течением и, несомненно, перевернется, ударившись о подводную скалу.

— Пойдем и сделаем, — сказал Бэрней. — Если твоя спина также ноет от его тумачков, как мой желудок скулит по табак, то чем скорее мы перережем веревки, тем лучше.

— Отлично, — сказал Тони. — Но лучше подождем еще минут десять. Дадим Корригану время хорошенько заснуть.

Они ждали, сидя на камне. Остальные работали вне их поля зрения, за поворотом дороги. Все пошло бы как по маслу (кроме барки с Корриганом), если бы Тони не дернуло вдруг увенчать заговор его общепринятым дополнением. В его жилах текла актерская кровь, и он, может быть, по наитию догадался, какие аксессуары к злодейским махинациям предписываются традициями мелодрамы.

Он вытащил из-за пазухи длинную, черную, очаровательную ядовитую сигару и предложил ее Бэрнею.

— Не хочешь ли покурить покамест? — спросил он.

Бэрней схватил сигару и ввесься зубами в ее кончик, как терьер въедается в крысу. Он привлек ее к своим губам, как давно не виданную возлюбленную. Когда сигара задымила, он глубоко, протяжно вздохнул, и щетина его седоватых рыжих усов скрючилась над ней с обеих сторон, как когти орла. Вскоре краснота покинула белки его глаз. Он мечта-



тельно устремил взгляд на холмы по ту сторону реки. Минуты проходили.

— Теперь, пожалуй, пора, — сказал Тони. — Этот проклятый Корриган скоро очутится на дне.

Бэрней с ворчаньем очнулся от своего трансa. Он повернул голову и удивленно, огорченно и строго посмотрел на своего сообщника. Он вынул было сигару изо рта, но сейчас же снова втянул ее в себя, раза два любовно пожевал ее и заговорил, среди ядовитых клубов дыма, уголком рта:

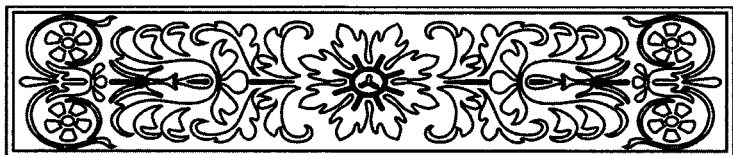
— Ты что же это задумал, язычник желторожий? Ты строишь козни против просвещенных рас земли, подстрекатель? Ты хочешь втянуть Мартина Бэрнея в грязные проделки бесстыдных иностранцев? Ты задумал убить своего благодетеля, доброго человека, дающего тебе хлеб и работу? Получай, желторожий убийца!

За потоком возмущенных слов последовала со стороны Бэрнея и физическая демонстрация. Носком своего сапога он опрокинул интригана с камня.

Тони встал и пустился бежать. Он перенес задуманную им вендетту в разряд мечтаний. Он пробежал мимо барки и помчался дальше. Он боялся оставаться здесь.

Бэрней, выпятив грудь, следил за исчезновением своего бывшего сообщника. Затем он также двинулся в путь, обратив свой тыл к барке, а лицо к Бронкс-парку.

За ним следовала в кильватере густая, зловредная струя отвратительного дыма, которая вносила успокоение в его душу и загоняла придорожных птиц в самую глубину чащи.



КАЛИФ И ХАМ

Безусловно, нет более интересного препровождения времени, как вращаться инкогнито среди людей богатых и с высоким положением.

Где, как не в этих кругах, можно наблюдать жизнь в ее примитивном, сыром виде, не скованную условностями, связывающими обитателей более низких сфер.


Был некий багдадский калиф, имевший привычку ходить среди людей бедных и низкого положения и удовольствия ради выслушивать их сказки и истории. Не странно ли, что люди скромные и бедные не воспользовались радостями, что могли бы узнать, одевшись в шелка и брильянты и разыгрывая калифа в местах, посещаемых высшим светом?

Был человек, увидевший возможность такого подражания Гаруну аль-Рашиду. Звали его Корни Бранниган, и был он ломовым извозчиком импортной фирмы на Канал-стрит. Если вы прочтете далее, то узнаете, как он превратил Верхний Бродвэй в Багдад и узнал о самом себе нечто, чего не знал раньше.

Многие назвали бы Корни снобом, предпочтительно по телефону! Главным интересом его жизни, его любимым удовольствием и единственным развлечением после рабочего дня было — противопоставить себя элегантным и богатым людям. Ведь у него не было надежды войти в их круг!

Каждый вечер, распрягнув лошадь и пообедав в закусочной, где быстрота услужения была специальностью, Корни одевался в вечерний костюм, такой же корректный, какой можно встретить только в вестибюле отелей. Затем он отправлялся по сверкающей восхитительной дороге, посвященной Теспису, Таис и Бахусу.

Некоторое время он бродил по передним шикарным отелей с чувством полного удовлетворения. Красивые




женщины, воркующие, как голубки, но украшенные перьями райских птиц, проходя, задевали его своими платьями. Их сопровождали изящные кавалеры, галантные и услужливые. А сердце Корни колотилось, как у сэра Ланселота, потому что зеркало говорило ему, когда он проходил мимо: «Корни, голубчик, между ними нет ни одного, который был бы элегантнее тебя. А ты погоняешь ломовых лошадей, тогда как они задают фасон, бывают в картинных галереях и имеют все, что только есть лучшего в стране».

Зеркало говорило правду. Мистер Корни Бранниган усвоил себе наружный лоск, если и не усвоил ничего иного. Продолжительное и внимательное наблюдение вежливого общества привило ему манеры, изящный вид и — что было труднее всего! — выдержанность и непринужденность.

Время от времени Корни удавалось заводить в отелях разговоры и краткие знакомства с солидными, если не знатными, посетителями. Со многими из них он обменялся карточками и полученные карточки тщательно хранил, надеясь впоследствии воспользоваться ими. Выйдя из вестибюля отеля, Корни с праздным видом бродил по улицам, останавливался у входа в театр и заходил в фешенебельные рестораны, как бы разыскивая знакомого. Он редко бывал посетителем этих мест, уподобляясь не пчеле, прилетевшей собирать мед, но бабочке, сверкающей крыльями среди цветов, в чашечках которых не содержалось для нее сладкого сока. Его жалованье было недостаточно, чтобы дать ему нечто большее, чем внешний вид джентльмена. Корни Бранниган охотно отдал бы свою правую руку, только бы быть одним из тех созданий, которым он так ловко подражал.

Однажды ночью с ним случилось следующее.

Насладившись прелестью часового шатания по главнейшим отелям на Бродвее, он перешел в театральный квартал. Кучера кебов окликали его, видя в нем пассажира, что доставляло ему тщеславное удовольствие. Томные взгляды были обращены на него, как на источник омаров и упоительной шипучки. Эти заигрывания и бессознательные комплименты Корни глотал, как манну, и надеялся, что Билли, его лошадь, утром будет меньше хромать на левую переднюю ногу.



Под купой молочно-белых электрических шаров Корни остановился для того, чтобы полюбоваться блеском своих низко вырезанных лаковых ботинок. В угловом здании помещалось претенциозное кафе. Оттуда вышла парочка, — дама в белом, прозрачном, как паутина, платье с накинутым на него, точно туманная дымка, кружевным манто, и мужчина, высокий, безукоризненный, самоуверенный — слишком самоуверенный. Они двинулись к краю тротуара и остановились. Глаза Корни, всегда ищущие примера в поведении щеголей, искоса следили за ними.

— Экипажа нет, — сказала дама, — вы приказали ему дожидаться?

— Я заказал его к половине десятого, — ответил фронт. — Он сейчас будет.

Знакомая нотка в голосе дамы привлекла особое внимание Корни. Она звенела в тоне, хорошо ему известном. Мягкий электрический свет падал на ее лицо. Для сестер по горю нет определенных кварталов. В указателе книги разбитых сердец вы увидите, что Бродвей следует очень близко за Бауэри. Лицо этой леди было печально, и голос ее звучал также жалобно. Они ждали экипажа, Корни тоже ждал, потому что был на улице и никогда не терял случая проследить за поведением джентльменов.

— Джек, — сказала дама, — не сердитесь. Я сделала сегодня все, что могла, чтобы угодить вам. Зачем вы так поступаете со мной?

— О, вы ангел, — ответил мужчина. — Известна женская манера во всем винить мужчину.

— Я не виню вас, я стараюсь сделать вас счастливым...

— Вы беретесь за это весьма странным образом!

— Вы без всякой причины были неласковы со мной весь вечер.

— О, причины нет никакой, кроме того, что вы надоели мне.

Корни вынул портфельчик для визитных карточек и пересмотрел свою коллекцию. Он выбрал одну, на которой было написано: «Мистер Уайт, Кенсингтон, Лондон». Эту карточку он получил от туриста в отеле «Король Эдвард». Корни подошел к джентльмену и подал ему карточку с самым корректным видом.

— Могу я спросить, чему я обязан этой честью? — спросил спутник леди.

Корни Бранниган обычно следовал весьма мудрому правилу: мало говорить во время своих подражаний багдадскому калифу. Он, никогда не слышав, верил в изречение лорда Честерфильда: «Носи черный фрак и держи язык за зубами». Но сейчас от него спрашивалось и требовалось слово.

— Никакой джентльмен, — сказал Корни, — не стал бы так разговаривать с леди. Стыдно, Вилли. Если она даже ваша жена, все же вам следует больше уважать свой наряд и не отталкивать ее таким образом. Может быть, это не мое дело, но все равно: вы, по моему мнению, совершенно не правы.

Спутник леди дал более элегантно выраженный, но дерзкий ответ. Корни, пользуясь своим лексиконом ломового извозчика, отвечал, насколько мог, вежливыми фразами. Затем дипломатические сношения прервались.

Последовала краткая, но оживленная стычка другим, не словесным, оружием, из которой Корни легко вышел победителем.

Подъехала карета, управляемая запоздавшим и взволнованным кучером.

— Не откроете ли вы мне дверцу? — спросила леди.

Корни помог ей войти и снял шляпу. Спутник ее начал подниматься с тротуара.

— Прошу извинения, м-ам, если это ваш муж, — сказал Корни.

— Он не мой муж, — сказала леди. — Может быть, он... но теперь уже нет надежды, чтобы это случилось. Поезжайте домой, Майкель. Если вам приятно, примите это и мою благодарность.

Три красные розы были брошены из окна кареты в руку Корни. Он схватил их, а также и руку, на одно мгновение, а затем карета умчалась. Корни поднял шляпу своего врага и начал счищать пыль с его одежды.

— Пойдемте, — сказал Корни, взяв его за руку.

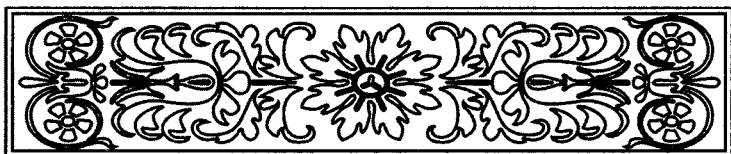
Бывший соперник был еще немного оглушен полученными ударами. Корни осторожно довел его до салуна, через три двери.

— Виски! — сказал Корни. — Для меня и моего друга!

— Вы — странный малый, — сказал бывший спутник леди. — Сперва вы колотите человека, а затем стараетесь привести его в себя.



— Вы — мой лучший друг! — восторженно произнес Корни. — Вы не понимаете? Так слушайте. Вы открыли мне глаза. Я долгое время разыгрывал джентльмена, воображая, что у меня только тряпки его, и ничего больше. Скажите: вы ведь барин, не правда ли? Вы вращаетесь среди этого класса. Я — нет. Но я открыл одну вещь. Я джентльмен, и теперь я твердо знаю это. Что вам угодно выпить?



БРИЛЬЯНТ БОГИНИ КАЛИ

Первоначальная статья, касающаяся брильянтов богини Кали, была вручена заведующему отделом городской хроники. Он улыбнулся и подержал ее мгновение над корзиной для мусора. Затем, положив статью обратно на письменный стол, он сказал:

— Попробуйте поговорить с сотрудниками воскресного приложения, они, может быть, и сделают что-нибудь из этого.

Воскресный редактор просмотрел статью и промычал:

— Гм!

Затем он послал за репортером и преподал ему пространные указания.

— Вы можете побывать у генерала Людло,— сказал он,— и составить из этого рассказ. Истории о брильянтах вообще дрянь, но этот достаточно крупен, чтобы его нашла уборщица завернутым в газету под линолеумом и засунутым в прихожей. Прежде всего узнайте, нет ли у генерала дочери, которая собиралась бы поступить на сцену. Если нет, то можете писать рассказ. Поместите выписки о Кохиноре и о коллекции Д. П. Моргана и всуньте картинки Кимберлийских рудников и Барни Барнато. Дополните сравнительной таблицей стоимости брильянтов, радия и телячьих котлет со времени мясной забастовки, и пусть все это займет полстраницы.


На следующий день репортер принес свой рассказ. Воскресный редактор пробежал глазами по строкам.

— Гм! — снова процедил он.

На этот раз рукопись почти без колебаний отправилась в мусорную корзину.

У репортера немного сжались губы, но, когда я часом позже пришел поговорить с ним об этом, он посвистывал не громко, но с довольным видом.

— Я не сержусь на старика,— сказал он великодушно. — Не сержусь за то, что он выбросил мою статью. Действи-



тельно, она могла показаться странной. Но случилось именно так, как я написал. Послушайте, отчего бы вам не выудить рассказа из корзины и не пустить его в дело? Он не хуже всей той чепухи, которую вы пишете.

Я принял комплимент. Если вы станете читать дальше, то познакомитесь с фактами, касающимися брильянта богини Кали, за верность которых ручается один из самых надежных репортеров.

Генерал Марцелус В. Людло живет в одном из разрушающихся почтенных старых домов из красного кирпича на одной из Двадцатых улиц Запада. Генерал — член старой нью-йоркской семьи, которая к рекламам не прибегает. Он — путешественник по рождению, джентльмен по вкусам, миллионер по милости неба и знаток драгоценных камней по роду занятий.

Репортер был принят немедленно, как только явился к генералу в дом, около восьми часов тридцати минут вечера, в день получения предписания. В роскошной библиотеке его приветствовал просвещенный путешественник и знаток — высокий, стройный джентльмен лет немногим больше пятидесяти, с почти белыми усами и такой военной выправкой, что в нем едва ли можно было найти след Национального Гвардейца. Его обветренное лицо осветилось чарующей улыбкой и выражением интереса, когда репортер познакомил его с целью своего прихода.

— А, вы слышали о моей последней находке? Я рад показать вам камень, который считаю одним из шести существующих на земле наиболее ценных голубых брильянтов.

Генерал открыл в одном из углов библиотеки небольшой сейф и вынул из него оклеенную плюшем коробку. Открыв ее, он выставил изумленному взгляду репортера громадный сверкающий брильянт величиной приблизительно с крупную градину.

— Этот камень, — сказал генерал, — нечто большее, чем драгоценность. Он прежде составлял центральный глаз трехглазой богини Кали, которой поклоняется одно из наиболее свирепых и фанатичных племен Индии. Садитесь поудобнее, и я расскажу вам, для вашей газеты, краткую историю этого камня.

Генерал Людло вынул из шкафа графинчик виски и стаканы и подвинул счастливому репортеру удобное кресло.

— Фансигары, или туги, — начал генерал, — являются одной из наиболее опасных и внушающих страх сект в Северной Индии. В религии они экстремисты и поклоняются ужасной богине Кали. Их обряды кровавы и интересны. По их странному религиозному кодексу ограбление и убийство путешественников считается достоинством и даже обязательным поступком.

Поклонение трехглазой богине Кали производится в такой тайне, что до сих пор ни одному путешественнику не выпало чести быть свидетелем их религиозных церемоний. Эта честь приберегалась для меня. Будучи в Сакаранпуре, между Дели и Келатом, я исследовал джунгли во всех направлениях, чтобы узнать что-нибудь новое об этих таинственных фансигарах. Однажды вечером, в сумерках, проходя через тиковый лес, я набрел на открытом месте на круглое углубленное пространство, посреди которого возвышался грубый каменный храм. Будучи уверен, что это один из храмов тугов, я спрятался в кустах и стал ждать.

Когда взошел месяц, углубленное пространство внезапно наполнилось сотнями призрачных, быстро скользящих фигур. В храме распахнулась дверь, открывая вид на ярко освещенную статую богини Кали, перед которой жрец в белой одежде стал произносить варварские заклинания. А в это время почитатели богини расprostерлись на земле.

Больше всего заинтересовал меня средний глаз громадного деревянного идола. По ослепительному блеску я видел, что это громадный бриллиант чистойшей воды. Когда кончилось служение, туги скрылись в лес так же безмолвно, как и пришли. Жрец постоял еще несколько минут в дверях храма, наслаждаясь ночной прохладой перед тем, как закрыть свое довольно жаркое жилище. Вдруг темная, гибкая тень скользнула в углубление, прыгнула на жреца и ударом блестящего ножа бросила его на землю. Затем убийца, точно кошка, бросился к статуе богини и выковырял ножом сверкающий средний глаз Кали. Держа в руках свою королевскую добычу, он побегал прямо на меня; когда он был на расстоянии трех шагов, я вскочил и со всей силы ударил его между глаз. Он упал без чувств и выронил из рук великолепную драгоценность. Это и есть тот восхитительный голубой бриллиант, который вы только что видели. Камень, достойный царского венца!



— Пикантная история, — сказал репортер. — Этот графинчик точно такой же, какой обыкновенно выставляет Джон В. Гец во время интервью.

— Простите, — сказал генерал Людло, — что, увлекшись рассказом, я позабыл о правилах гостеприимства! Наливайте себе!

— За ваше здоровье! — сказал репортер.

— Всего больше я теперь боюсь, — сказал генерал, понижая голос, — что брильянт может быть у меня украден. Драгоценность, образовавшая глаз богини, является для фансигаров священным предметом. Каким-то образом племя подозревает, что брильянт — у меня, и члены этой секты следовали за мной почти что вокруг света. Это — хитрейшие и жесточайшие фанатики во всем мире, и их религиозные обеты требуют убийства неверного, осквернившего их священное сокровище.

Однажды в Люкноу три агента, переодетые слугами отеля, пытались задушить меня при помощи скрученной скатерти. В Лондоне тоже два туга, переодетые уличными музыкантами, влезли ко мне в окно ночью и напали на меня. Жизнь моя постоянно в опасности. Месяц тому назад, когда я жил в отеле в Бергшире, трое из них ринулись на меня из-за придорожных кус тов. Я спасся тогда только вследствие знания их обычаев.

— Как было дело, генерал? — спросил репортер.

— Поблизости паслась корова, — ответил генерал Людло, — славная джерсейская корова. Я подбежал к ней и остановился. Три туга тотчас прекратили атаку, стали на колени и трижды лбами ударились о землю. Затем после многих почтительных поклонов они ушли.

— Испугались, что корова их забодает? — спросил репортер.

— Нет, у фансигаров корова считается священным животным. Кроме богини, они поклоняются и корове. Насколько известно, они никогда не совершали актов насилия в присутствии животного, которое почитают.

— Это чрезвычайно интересная история, — сказал репортер. — Если вы ничего не имеете против, я выпью еще стаканчик и сделаю несколько заметок.

— Я последую вашему примеру, — сказал генерал Людло, сделав галантное движение рукой.



— Если бы я был на вашем месте, — сказал репортер, — я бы увез брильянт в Техас, там бы я поселился на коровьем ранчо, и фарисеи...

— Фансигары, — поправил генерал.

— Ах, да! Они наталкивались бы на корову каждый раз, как врывались бы к вам.

Генерал Людло закрыл коробку с брильянтом и спрятал ее на груди.

— Шпионы выследили меня в Нью-Йорке, — сказал он, выпрямляя свою высокую фигуру. — Я знаком с Восточно-индийской организацией и знаю, что за каждым моим движением следят. Они, без сомнения, попытаются обокрасть и убить меня здесь.

— Здесь? — воскликнул репортер, схватив графин и вылив значительное количество его содержимого.

— В любое время! — прибавил генерал. — Но, как солдат и любитель, я продам свою жизнь и брильянт как можно дороже.

В этом пункте рассказа репортера ощущается некоторая неясность. Можно только догадаться, что послышался громкий треск за домом, в котором они находились. Генерал Людло плотно застегнул сюртук и побежал к двери, но репортер крепко вцепился в него одной рукой, в то время как другой держал графинчик.

— Прежде чем бежать, — произнес он, и в голосе его почувствовалась какая-то тревога, — скажите мне, не собирается ли какая-нибудь из ваших дочерей поступить на сцену?

— У меня нет никаких дочерей! Спасайтесь скорей, фансигары нападают на нас.

И оба выбежали через парадный подъезд дома.


Было поздно, когда ноги их коснулись тротуара. Станные люди, смуглые и страшные, как будто выросли из земли и окружили их. Один, с азиатскими чертами лица, близко надвинулся на генерала и закричал страшным голосом:

— Покупаю старую одежду!

Другой мрачный и с темными баками быстро подбежал к нему и начал жалостным голосом:

— Мистер, нет ли у вас десяти пенни для бедного человека, который?..

Они пробежали мимо, но попали в объятия черноглазого, темнобрового создания, подставившего им под нос



свою шляпу. В то же время товарищ его, также восточного вида, вертел неподалеку шарманку.

На двадцать шагов дальше генерал Людло и репортер очутились среди полудюжины людей подозрительного вида, с высоко поднятыми воротниками пальто и лицами, покрытыми щетиной небритых бород.

— Бежим, — крикнул генерал. — Они открыли владельца брильянтов богини Кали.

Оба помчались со всех ног. Мстители за богиню пустились за ними в погоню.

— Боже мой! — простонал репортер. — В этой части Бруклина нет ни одной коровы. Мы пропали.

Около угла оба упали на железный предмет, возвышавшийся на тротуаре, вблизи водосточного желоба. В отчаянии ухватившись за него, они ожидали решения своей судьбы.

— Если бы только у меня была корова, — стонал репортер, — или еще глоток из того графинчика, генерал.

Как только преследователи открыли убежище своей жертвы, они внезапно отступили и ушли на значительное расстояние.

— Они ждут подкрепления, чтобы напасть на нас, — сказал генерал Людло.

Но репортер залился звонким смехом и торжествующе замахал шляпой.

— Посмотрите-ка, — закричал он, тяжело опираясь на железный предмет, — ваши фансигары или туги, как бы они ни звались, народ современный. Дорогой генерал, ведь мы с вами попали на насос. Это в Нью-Йорке то же самое, что корова. Вот почему эти бешеные черномазые парни не нападают на нас. Насос в Нью-Йорке — священное животное.

Но дальше, в тени Двадцать восьмой улицы, мародеры собрали совет.

— Пойдем, Рэдди, — сказал один из них, — схватим старика: он целых две недели показывал брильянт величиной с куриное яйцо по всей Восьмой авеню.

— Не для тебя! — решил Рэдди. — Видишь, они собираются вокруг насоса. Это — друзья Билла. Билл не позволит ничего подобного на своем участке!

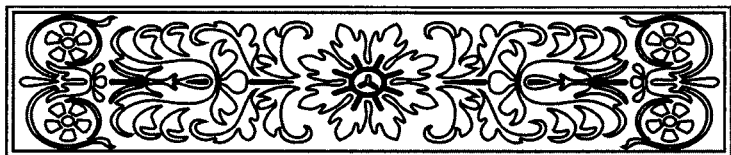
Этим исчерпываются факты, касающиеся брильянта Кали, но считаю вполне логичным закончить следующей



короткой (оплаченной) заметкой, появившейся двумя днями позже в утренней газете:

«Говорят, что племянница генерала Марцелуса Б. Людло появится на сцене в ближайшем сезоне.

Брильянты ее оцениваются в крупную сумму и представляют исторический интерес».



ДЕНЬ, КОТОРЫЙ МЫ ПРАЗДНУЕМ

— В тропиках,— сказал Бибб Поппрыгун, торговец заморскими птицами,— все перемешано; лето, зима, весна, каникулы, уик-энды и прочее сбиты в одну колоду и перетасованы; сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, и еще полгода пройдет, пока разберешься.

Лавочка Бибба — в самом начале Четвертой авеню. Бибб был когда-то матросом и портовым бродягой, а теперь регулярно ездит в южные страны и привозит оттуда, на собственный страх и риск, словоохотливых какаду и попугаевофилологов. Бибб хромает, упряма, у него железные нервы. Я зашел в его лавочку, чтобы купить к Рождеству попугая для тети Джоанны.

— Вот этот,— сказал я, отмахиваясь от лекции Бибба на календарные темы,— красный, белый и синий. Откуда такая зверюга? Цвета его льстят моей патриотической спеси. К тому же я нечувствителен к цветовой дисгармонии.


— Какаду из Эквадора,— ответил Бибб.— Пока знает только два слова, «Счастливого Рождества!», зато к самому праздничку. Отдаю за семь долларов. За те же два слова вам случалось платить и дороже, не правда ли?

И Бибб разразился внезапным громовым хохотом.

— Этот птенчик,— сказал он,— пробуждает у меня кое-что в памяти. В праздниках он, конечно, разбирается слабо. Уж лучше бы возглашал «E Pluribus Unum¹» по поводу собственной масти, чем выступать на ролях Санта-Клауса. А напомним он мне, как у нас с Ливерпулем-Сэмом как-то раз в Коста-Рике все в голове перепугалось из-за погоды и прочих тропических штучек.

Мы с Ливерпулем сидели в тех краях на мели; карманы были пустые, у кого призанять тоже не было. Мы приехали,

¹ «Из многих — одно» (*лат.*). Государственный девиз США (в ознаменование союза тринадцати колоний в борьбе за независимость).



он кочегаром, я — помощником кока, на пароходе из Нового Орлеана, прибывшем за фруктами. Хотели попробовать здесь удачи, да пробовать не пришлось — дегустацию отменили. Занятий, отвечающих нашим склонностям, не было, и мы перешли на диету из красного рома с закуской из местных фруктовых садов, когда нам случалось пожать, где не сеяли.

Городок Соледад стоял на наносной земле, без порта, без всякого будущего и без выхода из положения. Когда пароходов не было, городок сосал ром и дремал, открывая глаза лишь для погрузки бананов. Вроде того человека, который, проспав весь обед, продирает глаза, когда подают сладкое.


Мы с Ливерпулем опускались все ниже и ниже; и когда американский консул перестал с нами здороваться, мы поняли, что коснулись самого дна.

Квартировали мы у табачного цвета дамы по имени Чика, державшей распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице Сорока Семи Безутешных Святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой *noblesse oblige*¹ за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой. Этой ценой мы держались еще целый месяц на жарком из риса с бананами. Но, когда как-то утром Чика, с мрачной решимостью ухватив свою глиняную жаровню — наследие палеолита,— задала Ливерпулю-Сэму пятнадцатиминутную трепку, стало ясно без слов — эпоха гурманства кончилась.

В тот же день мы пошли и подписали контракт с доном Хайме Мак-Спиноза, метисом и обладателем банановой рощи. Подрядились трудиться в его заповеднике, в девяти милях от города. Другого выбора не было — нам оставалось питаться морской водой со случайными крохами сна и какой-нибудь жвачки.

Не стану хулить вам сейчас или чернить Ливерпуля-Сэма, я говорил ему те же слова и тогда. Но я полагаю, что если британец впадает в ничтожество, ему надо ловчее крутиться; иначе подонки других национальностей наплюют ему прямо в глаза. Если же этот британец вдобавок из Ливерпуля, можете быть совершенно уверены, спуску ему не дадут. Я лично природный американец, и таково мое мнение. Что касается данного случая, мы были с Ливерпулем на

¹ Высокое положение обязывает (*фр.*)



равных. Оба в лохмотьях, без денег, без видов на лучшее, а нищие, как говорится, всегда заодно.

Работа у Мак-Спинозы была такая: мы лезли на пальму, рубили гроздья плодов и грузили их на лошадок, после чего кто-нибудь из туземцев в пижаме с крокодиловым поясом и мачете в руке вез бананы на взморье. Случалось ли вам квартировать в банановой роще? Тишина как в пивной в семь утра. И пойдешь — не знаешь, где выйдешь, словно попал за кулисы в музыкальный театр. Пальмы такие густые, что неба не видно. Под ногами гниющие листья, по колено проваливаешься. И — полнейший мир и покой: слышно, как лезут на свет молодые бананы на место старых, что мы с Ливерпулем срубили.

Ночи мы коротали в плетеной лачужке у самой лагуны, в компании служивших у дона Хаиме красно-желтых и черных коллег. Били москитов, слушали вопли мартышек и хрюканье аллигаторов, и так до рассвета, чуть-чуть забываясь сном.

Вскорости мы позабыли о том, что такое зима и что лето. Да и где тут понять, если восемьдесят по Фаренгейту и в декабре и в июне, и в пятницу, и после полуночи, и в день выборов президента и в любой другой Божий день. Иной раз дождь хлещет покруче, и в этом вся разница. Живет себе человек, не ведая бега времени, и в самую ту минуту, когда он решил наконец покончить с этой мурой и заняться продажей недвижимости — бац! вдруг приходят за ним из Бюро похоронных процессий.

Не сумею вам точно сказать, сколько мы проторчали у дона Хаиме. Помню, что миновало два-три сезона дождей, раз семь или восемь мы подстригали отросшие бороды и напрочь сносили по три пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ром и на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело.

И все же ударил час, когда мы с Ливерпулем почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать. Так бывает со всеми белыми в Южной Америке. Вас вдруг схватывает словно бы судорога или внезапный припадок. Хочется вынь да положь, побалакать по-своему, взглянуть на дымок парохода, прочитать объявление в старой газете о распродаже земельных участков или мужского платья.

Соледад манил нас теперь как чудо цивилизации, и под вечер мы сделали ручкой дону Хаиме и отрясли прах плантации с наших ног.

До Соледада было двенадцать миль, но мы с Ливерпулем промучились двое суток. Попробуй найди дорогу в банановой роще. Легче в нью-йоркском отеле через посыльного отыскать нужного вам человека по фамилии Смит.

Когда впереди, сквозь деревья, замелькали дома Соледада, я вдруг с новой силой почувствовал, как действует мне на нервы Ливерпуль-Сэм. Я терпел его, видит бог, пока мы, двое белых людей, были затеряны в море желтых бананов. Но теперь, когда мне предстояло снова увидеть своих, обменяться, быть может, с каким-нибудь землячком парой-другой проклятий, я понял, что первый мой долг окоротить Ливерпуля. Ну и видик же был у него, доложу вам: борода ярко-рыжая, синий нос алкоголика и ноги в сандалиях, распухшие как у слона. Впрочем, возможно, и я был не худшим красавцем.


— Насколько разумнее было бы, — говорю я ему, — когда бы Великобритания держала бы под замком подобных лакателей рома и жалких подонков и не оскверняла бы их присутствием заморские страны. Мы уже раз задали вам знатную взбучку в Америке, но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду.

— А поди ты туда и туда, — говорит Ливерпуль. Других аргументов я от него не слышал.

После плантации дона Хаиме Соледад показался нам совсем недурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем, мимо отеля Grande и каталажки, через центральную plaza и дальше к домику Чики, где Ливерпуль, на правах законного мужа, мог раздобыть нам обоим что-нибудь пожевать.

Минуя двухэтажное деревянное здание Американского клуба, мы заметили, что балкон разукрашен цветами и гирляндами из вечнозеленых кустарников, а на флагштоке на крыше развевается флаг. На балконе дымили сигарами Стэнци, наш консул, и Аркрайт, владелец золотых рудников. Мы помахали им давно не мытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбке, но они повернули спину, словно нас и не видели. А не так ведь давно мы все вместе играли в покер, правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов.

По всему было видно, что праздник, но летний, осенний или, может, весенний — угадать было мудрено.



Еще немного пройдя, мы увидели Пендергаста, священника, проживавшего в Соледаде, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в черном куце альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом в руках.

— Ах, мальчики, мальчики,— сказал он, взирая на нас сквозь синие стекла очков.— Я вижу, дела совсем плохи. Неужели дошли до крайности?

— До самой последней крайности,— сказал я ему.— До мельчайших дробей.

— Сколь прискорбно,— сказал Пендергаст,— видеть своих земляков в таких обстоятельствах.

— Что ты мелешь? — сказал Ливерпуль. — Я отпрыск аристократической английской фамилии.

— Заткнись! — сказал я Ливерпулю.— Ты на территории иностранной державы.

— И в такой торжественный день,— продолжал Пендергаст,— в этот светлый великий день, когда мы торжествуем победу над злом и рождение христианской цивилизации.

— Мы заметили,— говорю,— преподобнейший, что город украшен цветами и флагами, но не сразу сумели смекнуть, что за день вы тут празднуете. Не листали давненько календаря, даже толком не знали, лето сейчас или осень.

— Вот вам по доллару,— говорит Пендергаст и достает две здоровенных серебряных чилийских монеты.— Ступайте, ребята, и проведите этот праздничный день как подобает.

Почтительно поблагодарив его, мы затопали дальше.

— Пожрем? — спросил я Ливерпуля.

— Ты спятил,— сказал Ливерпуль.— Кто на жратву тратит деньги?

— Хорошо,— сказал я,— раз ты так ставишь вопрос, выпьем по маленькой.

Зашли мы в кабак, взяли с ним квартиру рома и сразу на взморье, под сень кокосовой пальмы, чтобы отметить там праздничек.

Поскольку я двое суток кормился лишь апельсинами, том ром возымел свое действие, и я сразу почувствовал, что терпеть не могу англичан.

— Вставай, Ливерпуль,— говорю,— вставай, жалкий выходец из конституционно-монархической деспотии. Сей-

час ты получишь еще один Банкер-Хилл¹. Пендергаст, благороднейший из людей, велел нам отметить праздник подобающим образом, и я сделаю все, чтобы его деньги не пропали впустую.

— А поди ты туда и туда,— сказал Ливерпуль.

И я навернул ему левой по правому глазу.

Ливерпуль был когда-то заправским бойцом, но алкоголь и дурная компания сделали из него тряпку. Через десять минут он лежал на песке и просил пардона.

— Поднимайся,— сказал я, лягая его под ребро,— поднимайся и следуй за мной.

Ливерпуль полпелся за мной, вытирая кровящую со лба и под носом. Я привел его прямо к дверям Пендергаста и попросил преподобного выйти на улицу.

— Взгляните, сэр, на него,— говорю,— вот останки того, кто считал себя гордым британцем. Вы нам дали два доллара и велели отметить праздник. Ура! Да здравствует звездно-полосное знамя!

— Боже мой! — сказал Пендергаст, помавая руками.— В такой день устроить побоище! В светлый день Рождества!

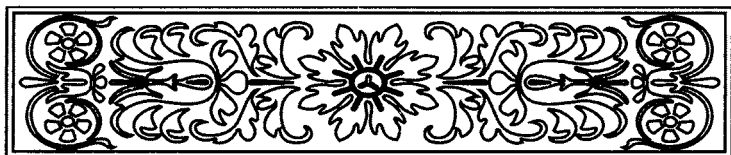
— В светлый день Рождества?! — сказал я.— К чертовой бабушке!! Разве сегодня не Четвертое июля?

— Счастливого Рождества! — закричал красно-белосиний какаду.

— Уступлю за шесть долларов, — сказал Бибб Поппрыгун. — Птенец перепутал свои цвета и не разбирается в праздниках.

¹ При Банкер-Хилле (1775 г., одном из первых сражений Войны за независимость), англичане понесли большие потери.

² 4 июля американцы празднуют День Независимости (освобождения от британского владычества).



ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ (Strictly Business), 1910

Деловые люди (Strictly Business), 1908. На русском языке под названием «Люди дела» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Золото, которое блеснуло (The Gold That Glittered), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Младенцы в джунглях (Babes in the Jungle), 1903. На русском языке под названием «Дети в джунглях» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

День воскресения (The Day Resurgent), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Пятое колесо (The Fifth Wheel), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поэт и поселянин (The Poet and the Peasant), 1905. На русском языке под названием «Поэт и крестьянин» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

Ряса (The Robe of Peace), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Женщина и жульничество (The Girl and the Graft), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Комфорт (The Call of the Tame), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Неизвестная величина (The Unknown Quantity), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.



Театр — это мир (The Thing's the Play), 1906. На русском языке под названием «Жизнь — игра» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Блуждания без памяти (A Ramble in Aphasia), 1905. На русском языке под названием «Афазия» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Муниципальный отчет (A Municipal Report), 1909. На русском языке под названием «Провинция» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Помещая в эпиграфе слова известного романиста, своего современника, Фрэнка Норриса о безнадежной заурядности жизни в американской провинции, О. Генри берется оспорить их. Сообщая план будущего рассказа в письме к приятелю-журналисту Уильяму Гриффиту, он дает такой комментарий: «Я хочу показать, что раз речь идет о жизни живых людей, ни один самый будничней, прозаичнейший город ни в чем не уступит Сан-Франциско, Парижу или Багдаду».

Психея и небоскреб (Psyche and Psky-scraper), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.


Багдадская птица (A Bird of Bagdad), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

С праздником! (Compliments of the Season), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Новая сказка из «Тысячи и одной ночи» (A Night in New Arabia), 1908. На русском языке под названием «Ночь в Новой Аравии» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сила привычки (The Girl and the Habit), 1905. На русском языке под названием «Барышня и привычка» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Во вступлении к рассказу — характерное для О. Генри скопление юмористических ассоциаций, намеков и проч., которые он предлагает читателю ловить и расшифровывать «на лету». Материал для его игры — имена. Сперва он составляет «четверку» из радикального американского экономиста Генри Джорджа, первого президента США Джорджа Вашингтона, писателя-классика Вашингтона Ирвинга и популярного современного беллетриста Ирвинга Бачеллера, связав их единственно по тому признаку, что фамилия каждого предыдущего служит именем последующего. Далее, заведя речь о Западе и Востоке, он



формирует комическую по несхожести пару из двух Джеймсов: Джесси Джеймса, известного бандита из западных штатов, и представляющего несколько чопорную традицию восточных штатов писателя Генри Джеймса, над изысканной прозой которого О. Генри любил подтрунивать. И под конец, обьявив о своем намерении обратиться за темой рассказа «к полному толковому словарю», О. Генри попутно делает героиню рассказа тезкой книгоиздательской фирмы Мэррием, выпускающей известный толковый словарь Вебстера.

Теория и практика (Proof of the Pudding), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова. О. Генри усложнил и развил здесь сюжет напечатанного двумя годами ранее рассказа «Ценитель и пьеска» (см. сб. «Остатки»).

Во втором часу у Руни (Past One at Rooney's), 1907. На русском языке под названием «После часа у Руни» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Искатели приключений (The Venturers), 1909. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поединок (The Duel), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

«Кому что нужно» («What You Want»), 1908. На русском языке под названием «Чего вы хотите» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

КОЛОВРАЩЕНИЕ (Whirligigs), 1910

Дверь и мир (The World and the Door), 1907. На русском языке под названием «Как я выкупил Мака» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Теория и собака (The Theory and the Hound), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. В. Азова.

Гипотетический казус (The Hypotheses of Failure), 1904. На русском языке под названием «Гипотетический случай» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Шифр Кэллоуэя (Calloway's Code), 1906. На русском языке публикуется впервые.

Вопрос высоты над уровнем моря (A Matter of Mean Elevation), 1904. На русском языке под названием «Уровень мо-



ря» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

«**Девушка**» («Girl»), 1906. На русском языке под названием «Девушка» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Костюм и шляпа в свете социологии (Sociology in Serge and Straw), 1906. На русском языке под названием «Социология, шевиот и солома» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова. Фельетон О. Генри на социальные темы. Ср. «Социальный треугольник» (в сб. «Горящий светильник»).

Вождь краснокожих (The Ransom of Red Chief), 1907. На русском языке под названием «Красный вождь» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Брачный месяц Май (The Marry Month of May), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Формальная ошибка (A Technical Error), 1910. На русском языке под названием «Техническая ошибка» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Так живут люди (Suite Homes and Their Romance), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. Зин. Львовского.

Коловращение жизни (The Whirligig of Life), 1903. На русском языке под названием «Круговорот жизни» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Жертва не попад (A Sacrifice Hit), 1904. На русском языке под названием «Решительный удар» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Дороги, которые мы выбираем (The Roads We Take), 1904. На русском языке под названием «Пути, которые мы избираем» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сделка (A Blackjack Bargainer), 1901. На русском языке под названием «Необыкновенная продажа» в журнале «Красная нива», 1924, № 33, 34, пер. Зин. Львовского.

Оперетка и кварталный (The Song and the Sergeant), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Фальшивый доллар (One Dollar's Worth), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сила печатного слова (A Newspaper Story), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Громила и Томми (Tommy's Burglar), 1905. На русском языке под названием «Громила маленького Томми» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова. О. Генри высмеивает здесь слащавую беллетристику в современных американских журналах «для семейного чтения».

Рождественский подарок (A Chaparral Christmas Gift), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Особенный нью-йоркский колорит (A Little Local Color), 1904. На русском языке публикуется впервые.

Резолюция (Georgia's Ruling), 1900. На русском языке под названием «Постановление Джорджии» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Перспектива (Blind Man's Holiday), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Мадам Бо-Пип на ранчо (Madame Bo-Peep of the Ranches), 1902. На русском языке под названием «Игрушечка-пастушечка» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ (Sixes and Sevens), 1911

Последний трубадур (The Last of the Troubadours), 1908. На русском языке в журнале «Красная нива», 1924, № 2, пер. Зин. Львовского.

Ищейка (The Sleuths), 1904. На русском языке под названием «Сыщики» в книге: О. Генри. Нью-йоркские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Додонова. Пародия О. Генри на детективную беллетристику, в частности, на получившие широкую известность к этому времени рассказы А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

Чародейные хлебцы (Witches' Loaves), 1904. На русском языке под названием «Заколдованные хлебцы» в журнале «Огонек», 1923, № 1, пер. Р. Райт.

Гордость городов (The Pride of the Cities), 1904. На русском языке под названием «Своеобразная гордость» в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Налет на поезд (Holding Up a Train), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского. Очерк был написан в 1902 г. «по заказу» О. Генри его другом Элом Дженнингсом, еще отбывавшим в то время свой срок заключения (см. о Дженнингсе во вступительной статье). Позднее очерк был обработан О. Генри для публикации. «Когда вы увидите своего первенца напечатанным, — писал он в тюрьму Дженнингсу, — не удивляйтесь, если заметите на нем чужое тавро. Я подправил его, подстриг и кое-что выдумал (сохранив ваши факты и мысли — а это ведь главное)». Первоначально очерк имел другое заглавие: «Техника и юмор вооруженного ограбления».

Улисс и собачник (Ulysses and the Dogman), 1904. На русском языке под названием «Освободился» в журнале «Прожектор», 1924, № 6, пер. Зин. Львовского.

Чемпион погоды (The Champion of the Weather), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Родственные души (Makes the Whole World Kin), 1904. На русском языке под названием «Братство» в книге: О. Генри. Нью-йоркские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Додонова.

В борьбе с морфием (At Arms with Morpheus), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Призрак возможности (A Ghost of a Chance), 1903. На русском языке под названием «Призрак» в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Джимми Хейз и Мьюриэл (Jimmy Hayes and Muriel), 1903. На русском языке под названием «Друзья-приятели» в журнале «Литературный еженедельник», 1923, № 37.

Дверь, не знающая покоя (The Door of Unrest), 1904. На русском языке под названием «Дверь, не знающая отдыха» в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского. В сбивчивый рассказ полубезумного старика сапожника О. Генри вводит мотивы средневековой легенды об Агасфере, или «Вечном жиде», иудее-ремесленнике, обреченном на вечные скитания по свету за то, что он не дал Христу, шедшему к месту казни, отдохнуть у своего порога. В числе упомянутых в рассказе книг — роман второстепенного английского романтика Джорджа Кроли «Салатиель» (1829), где Агасфер выведен на фоне событий римской истории в правление Нерона.

Коварство Харгрейвза (The Duplicity of Hargraves), 1902. На русском языке под названием «Коварство Харгрэвса» в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского. Этот рассказ написан О. Генри в тюремные годы.

Дайте пощупать ваш пульс (Let Me Feel Your Pulse), 1910. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского. Автобиографическая юмореска, написанная О. Генри в последний год жизни, когда его одолевали болезни.

Октябрь и июнь (October and June), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Церковь с наливным колесом (The Church with an Overshot-Wheel), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Нью-Йорк при свете костра (New York by Campfire Light), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Методы Шемрока Джолнса (The Adventures of Shamrock Jolnes), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Нью-йоркские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Додонова. Пародия О. Генри на рассказы о Шерлоке Холмсе. Здесь он высмеивает «строго логический» метод знаменитого сыщика.

Леди наверху (The Lady Higher Up), 1904. На русском языке публикуется впервые.

Новый Коней (The Greater Coney), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

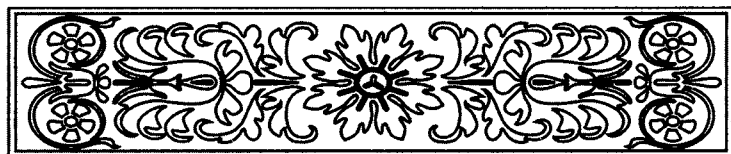
Закон и порядок (Law and Order), 1910. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Табак (The Transformation of Martin Burney), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Калиф и хам (The Caliph and the Cad), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

Брильянт богини Кали (The Diamond of Kali), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.

День, который мы празднуем (The Day We Celebrate), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Шестерки-семерки. Л., 1924, пер. Зин. Львовского.



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Деловые люди. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	7
Золото, которое блеснуло. <i>Перевод В.Азова</i>	19
Младенцы в джунглях. <i>Перевод Е. Калашиниковой</i>	28
День воскресения. <i>Перевод М. Кан</i>	35
Пятое колесо. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	42
Поэт и поселянин. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	55
Ряса. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	62
Женщина и жульничество. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	67
Комфорт. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	74
Неизвестная величина. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	80
Театр — это мир. <i>Перевод Л. Беспаловой</i>	86
Блуждания без памяти. <i>Перевод Н. Галь</i>	94
Муниципальный отчет. <i>Перевод И. Кашкина</i>	106
Психея и небоскреб. <i>Перевод М. Кан</i>	123
Багдадская птица. <i>Перевод В.Азова</i>	131
С праздником! <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	136
Новая сказка из «Тысячи и одной ночи». <i>Перевод</i> <i>О. Холмской</i>	146
Сила привычки. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	163
Теория и практика. <i>Перевод М. Богословской</i>	169
Во втором часу у Руни. <i>Перевод Л. Беспаловой</i>	180
Искатели приключений. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	194
Поединок. <i>Перевод под ред. М. Лорие</i>	206
«Кому что нужно». <i>Перевод Т. Озерской</i>	211

КОЛОВРАЩЕНИЕ

Дверь и мир. <i>Перевод И. Гуровой</i>	219
Теория и собака. <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	232
Гипотетический казус. <i>Перевод В. Муравьева</i>	243
Шифр Кэллоуэя. <i>Перевод Л. Каневского</i>	255
Вопрос высоты над уровнем моря. <i>Перевод</i> <i>О. Холмской</i>	264
«Девушка». <i>Перевод под ред. В.Азова</i>	275
Костюм и шляпа в свете социологии. <i>Перевод</i> <i>Т. Озерской</i>	281

Вождь краснокожих. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	289
Брачный месяц Май. <i>Перевод под ред. В. Азова</i>	300
Формальная ошибка. <i>Перевод И. Гуровой</i>	306
Так живут люди. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	312
Коловращение жизни. <i>Перевод Т. Озерской</i>	318
Жертва невпопад. <i>Перевод Н. Галь</i>	325
Дороги, которые мы выбираем. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	330
Сделка. <i>Перевод М. Лорие</i>	335
Оперетка и квартальный. <i>Перевод В. Александрова</i>	349
Фальшивый доллар. <i>Перевод под ред. В. Азова</i>	356
Сила печатного слова. <i>Перевод под ред. В. Азова</i>	364
Громила и Томми. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	368
Рождественский подарок. <i>Перевод под ред. В. Азова</i>	374
Особенный нью-йоркский колорит. <i>Перевод</i> <i>Л. Каневского</i>	380
Резолюция. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	387
Перспектива. <i>Перевод В. Александрова</i>	401
Мадам Бо-Пип на ранчо. <i>Перевод И. Гуровой</i>	423

ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ

Последний трубадур. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	443
Ищейки. <i>Перевод В. Додонова</i>	455
Чародейные хлебцы. <i>Перевод Р. Райт</i>	462
Гордость городов. <i>Перевод В. Азова</i>	466
Налет на поезд. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	471
Улисс и собачник. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	483
Чемпион погоды. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	490
Родственные души. <i>Перевод В. Додонова</i>	495
В борьбе с морфием. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	500
Призрак возможности. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	505
Джимми Хейз и Мьюриэл. <i>Перевод М. Лорие</i>	513
Дверь, не знающая покоя. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	519
Коварство Харгрейвза. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	529
Позвольте проверить ваш пульс. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	543
Октябрь и июнь. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	557
Церковь с наливным колесом. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	560
Нью-Йорк при свете костра. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	572
Методы Шемрока Джолнса. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	576
Леди наверху. <i>Перевод Л. Каневского</i>	583
Новый Коней. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	588
Закон и порядок. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	593
Табак. <i>Перевод В. Азова</i>	608
Калиф и хам. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	613
Брильянт богини Кали. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	618
День, который мы празднуем. <i>Перевод Зин. Львовского</i>	625
<i>Примечания А. Старцева</i>	631

Литературно-художественное издание

О. Генри

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 5 ТОМАХ

Том четвертый

**ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
КОЛОВРАЩЕНИЕ
ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ**

Составитель *С. Валов*

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренко*

Выпускающий редактор *Ю. Денисова*

Редактор *А. Храмков*

Компьютерная верстка: *Т. Полина*

Корректор *Н. Кузнецова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 07.02.2006 г.

Формат 84x108/32. Гарнитура «Baltica»

Бумага офсетная. Печать офсетная

Печ. л. 20. Доп. тираж 4 000 экз.

Заказ № 751

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ООО «РИЦ Литература»

115407, Москва, ул. Судостроительная, д. 40

ООО «ИД «РИПОЛ классик»

107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ISBN 5-7905-3823-1



9 785790 538230

